КЛАССИКИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ МЫСЛИ
ДОМАРКСИСТСКОГО ПЕРИОДА

I

М. А. БАКУНИН

МОСКВА—1935

М. А. БАКУНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

1828—1876

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПРИМЕЧАНИЯМИ
Ю. М. СТЕКЛОВА

ТОМ ТРЕТИЙ

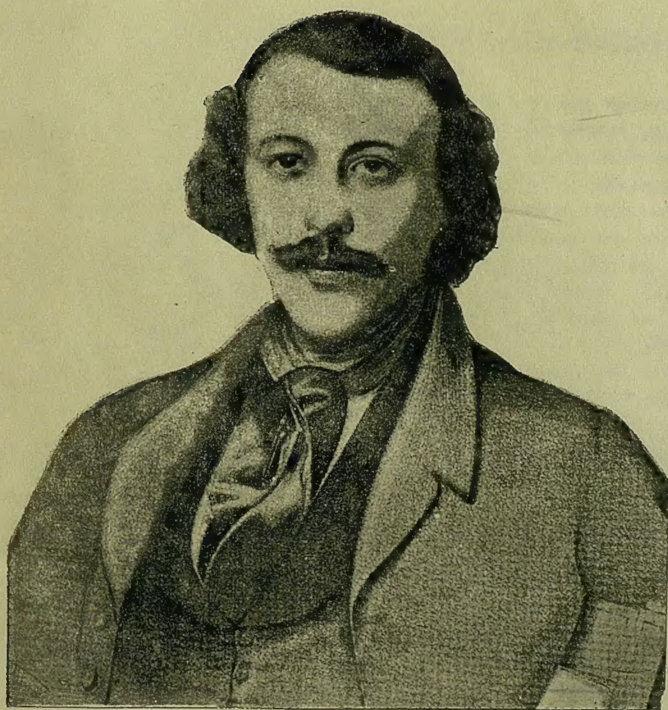
ПЕРИОД ПЕРВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

1840—1849

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

Супер-обложка и переплет
худ. Н. П. Дмитревского

Сдано в производство 8/V—34 г.
Подписано к печати 15/XII — 34 г.
Ответ. редактор И. А. Теодорович
Технический редактор Ф. М. Точилин
Формат бумаги 62 x 94 см., 38½ п. л.
Изд. № 183. Уп. Главлита В 89156
В п. л. 38400 зн. Нар. 214 Тир. 10000
Типо-литография имени Воровского,
улица Дзержинского, 18



М. А. Бакунин в 1842 году.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ БАКУНИНА

Бакунин вошел в историю и известен широким кругам как основоположник и теоретик боевого, «революционного» анархизма. Но его продолжительная и многосторонняя деятельность, равно как многочисленные работы и письма далеко не покрываются понятием анархизма, который характеризует лишь последнее десятилетие жизни Бакунина. Да и самый анархизм его является далеко не столь цельным и последовательным, как это могло казаться большинству его современников и сторонников. Бакунин-революционер, как мы это увидим, оказывается нередко выше Бакунина — теоретика анархизма. Эта внутренняя противоречивость и борьба тенденций в его доктрине являются результатом того, что огромный революционный опыт Бакунина, особенно опыт европейских революций 1848—1849 гг., не был им освещен и переработан при помощи цельной и единой теории и вместе с тем вызывал ряд трещин в его анархистских взглядах. Являясь в основном представителем революционного мелко-буржуазного утопического социализма (на ином крыле этого революционного утопического социализма стоял, как известно, другой великий революционер той эпохи — Бланки), Бакунин далеко не сразу стал прямым сторонником и пропагандистом не только анархических, но даже и «социалистических» взглядов. Кроме того, как деклассированный русский дворянин, он в свою революционную идеологию, питавшуюся в значительной мере стихийной ненавистью крестьянских масс России к своим угнетателям, вносил некоторые черты и пережитки своего собственного социального положения. Все это, вместе взятое, делает анализ социально-политических взглядов Бакунина в их эволюции и их влияния в Европе и России необходимой предпосылкой для понимания не только его сложной и бурной деятельности, но и его сочинений и писем.

I

Эволюция политических взглядов Бакунина тесно связана с эволюцией его философских взглядов. Его первое увлечение германской идеалистической философией во второй половине 30-х годов вызывало в нем какие-то смутные порывы, поиски какого-

то идеала, ощущение того, что ему предстоит крупная будущность. Но вместе с тем характер этих философских увлечений уводил его в сторону от окружавшей его политической действительности и даже в период преклонения перед Гегелем Бакунин, так же как и Белинский, надолго попал в плен дурно ими понятой знаменитой формулы — «все действительное разумно, и все разумное действительно». В этот период можно характеризовать Бакунина, как «правого» гегельянца.

В своем предисловии к переводу «Гимназических речей» * Гегеля Бакунин является восторженным поклонником «примирения с действительностью». «Счастье не в призраке, — писал он, — не в отвлеченном сне, а в живой действительности: восставать против действительности и убивать в себе всякий живой источник жизни — одно и то же; примирение с действительностью во всех отношениях и во всех сферах жизни есть великая задача нашего времени... Будем надеяться, что новое поколение сроднится, наконец, с нашей прекрасной русской действительностью и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно ощутит, наконец, в себе законную потребность быть действительными русскими людьми». Что значило в глазах тогдашнего Бакунина понятие «действительный русский человек», видно из одного его частного письма от 30 марта 1839 г., в котором он дает характеристику своего брата Николая: «Николай — славный человек. Он не заражен нашей общею русской ленью и бездейственностью, а с другой стороны, не заражен также пошлым французским романтизмом и либерализмом. Он весь предан царю и отечеству, он — истинный русский и, верно, пойдет далеко: в нем верный и крепкий практический ум» **.

Повидимому, до самого своего отъезда за границу в 1840 г. Бакунин оставался совершенно чужд какой бы то ни было политической оппозиционности и даже осуждал политический либерализм декабристов. Это он сам впоследствии признал в своей брошюре «Наука и насущное революционное дело», где он писал, вспоминая свои московские годы: «После декабристов героический либерализм образованных дворян переродился в либерализм книжный, в доктринаризм более или менее ученый, вследствие чего он стал, разумеется, еще бессильнее... С высоты метафизического самоудовлетворения стали смотреть на все революционные помышления, на все попытки смелого публичного протеста, как на проявление ребяческого фанфаронства. Я говорю об этом знаемо, потому что в 30-х гг., увлеченный гегелианизмом, сам участвовал в этом грехе» ***.

---

* Напечатано в 1838 г. в журнале «Московский наблюдатель», выходившем под ред. Белинского. См. т. II настоящего издания, стр. 177—178

** Том II настоящего издания, стр. 234.

*** «Наука и насущное революционное дело», Женева, 1870, стр. 31.

Таким образом, страстное стремление Бакунина попасть за границу вызывалось не политическими идеалами, а жаждой знаний, которые он хотел почерпнуть из самого источника тогдашней философской мысли, т. е. в Германии. Вот почему он стремился именно в Германию, а не во Францию, которая в то время являлась в полном смысле слова лабораторией социальных и политических идей для всей Европы.

Но, попав в Германию и познакомившись с радикальной молодежью лево-гегельянского направления, а также окунувшись в атмосферу европейских политических идей, Бакунин быстро проделал путь от правого гегельянства к гегельянству левому, которое очень скоро приняло у него характер радикально-политического и демократического мировоззрения.

В первой же своей статье, напечатанной в Германии в октябре 1842 г. за подписью Жюль Элизар, под названием «Реакция в Германии. Очерк француза», Бакунин писал: «Свобода, реализация свободы — кто станет отрицать, что сейчас этот лозунг стоит на первом месте в порядке дня истории?» И далее: «Народ, беднейший класс, который уже, без сомнения, представляет большинство человечества; класс, права которого уже признаны теоретически, но который до сих пор по своему рождению, по условиям своей жизни, осужден на нищету, на невежество, а, следовательно, и на фактическое рабство; этот класс, который собственно и есть настоящий народ, принимает везде угрожающее положение, начинает... требовать практического приложения своих прав, уже признанных всеми за ним. Все народы и классы полны тревожного предчувствия... Даже в России, этой бесконечной, покрытой снегом империи, которую мы так мало знаем и которой, может быть, предстоит великая будущность, — даже в России собираются тяжелые грозовые тучи! О, воздух душен, он чреват бурями!»

В этой же статье Бакунин высказал тот знаменитый афоризм, который впоследствии стал лозунгом боевого анархизма: «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть» *.

По прочтении этой статьи Герцен, не знавший, что за псевдонимом Элизар скрывается сам Бакунин, писал в своем дневнике: «Это чуть ли не первый француз (которого я знаю), понявший Гегеля и германское мышление. Это громкий, открытый, торжественный возглас демократической партии, полный сил, твердый в обладании симпатий в настоящем и всего мира в будущем... Вся статья от доски до доски замечательна» **.

Таким образом, переход от правого гегельянства и от «примирения» с российской действительностью к радикально-демокра-

* Статья Бакунина помещена целиком в книге А. А. Корнилова «Годы странствий Михаила Бакунина» (стр. 179—198). См. т. III настоящего издания. № 448.

** Герцен, Полное собр. соч., т. III, стр. 88.

тическому мировоззрению, воспринимавшему Гегеля уже как «алгебру революции» (выражение Герцена), — этот переход совершился у Бакунина без каких-либо заметных промежуточных ступеней. Ни в его письмах, ни в его позднейших воспоминаниях нет никаких следов того, что он переживал стадию умеренного либерализма. Только свою позднейшую программу всеславянского братства и общеславянской революции он сам приписывал уже в «Государственности и анархии» южному обществу декабристов и лишь в этом пункте как бы устанавливал некоторую преемственность своих взглядов на славянский вопрос с левыми декабристами, причем ошибочно приписывал Пестелю программу, которую на самом деле выдвинули не южные декабристы, а «Общество соединенных славян».

Собственно революционную деятельность Бакунина, а следовательно и эволюцию его революционных взглядов, можно разделить на два основных периода: первый период от 1844 до 1864 г., когда Бакунин по сути дела оставался революционным демократом, проникнутым полународническими и панславистскими тенденциями, и второй, от основания I Интернационала, когда он стал тем, что его прославило, — анархистом, «апостолом» всемирной анархической революции. Конечно, в течение этих двух периодов взгляды Бакунина тоже эволюционировали и менялись, приобретая те или иные оттенки, чему, особенно в первом периоде, содействовало крушение многих иллюзий 1848 г., а также переживания Бакунина в тюрьме и ссылке, а во втором периоде, после Парижской Коммуны, крушение надежд на близость всемирной антикапиталистической революции. Но все же, на основании всех писаний и высказываний самого Бакунина, мы имеем право утверждать, что в первом периоде он выступал по преимуществу как революционный демократ, а во втором — как анархист, крайний революционный идеолог мелко-буржуазного социализма.

Сравнивая «Исповедь» Бакунина перед Николаем I с его публичными выступлениями 40-х годов, равно как с подготовлявшейся им и незаконченной обширной политической запиской своему германскому адвокату, мы видим, что хотя в «Исповеди» Бакунин нередко хитрил и лицемерил с целью воздействовать на своего коронованного исповедника, тем не менее в основном сообщаемые в ней автобиографические данные являются правильными, так что ничего существенного в своей деятельности и взглядах Бакунин от Николая не скрыл, лишь смягчив свою ненависть к деспоту и, быть может, сгустив краски в своем разочаровании европейской революцией. Таким образом, наряду с другими источниками для характеристики идейно-политического портрета Бакунина в предреволюционную и революционную эпоху 40-х годов, «Исповедь» дает несомненно ценнейший материал.

Что же писал Бакунин в «Исповеди» о своем отношении к

социализму 40-х годов? «Я знал, — говорит он, — впоследствии многих французских, немецких, бельгийских и английских социалистов и коммунистов, читал их сочинения, изучал их теорию, но сам не принадлежал никогда ни к какой секте, ни к какому обществу и решительно оставался чужд их предприятиям, их пропаганде и действиям. Я следовал с постоянным вниманием за движением социализма, *особенно же коммунизма*, ибо смотрел на него, как на естественный, необходимый, неотвратимый результат экономического и политического развития Западной Европы; видел в нем юную, элементарную, себя еще не знающую силу, призванную или обновить или разрушить вконец западные государства». Другими словами, Бакунин заявляет, что смотрел на развитие социалистических идей с интересом, пониманием и сочувствием, многому научился у этих идей, *но прямым сторонником их не сделался* *. В частности, говоря о Вейтлинге, Бакунин заявляет: «Против теории его я спорил, факты же выслушивал с большим любопытством: тем ограничились мои отношения с Вейтлингом. Другой связи у меня ни с ним, ни с другими коммунистами ни в это время, ни потом решительно не было, и я сам никогда не был коммунистом». Бакунин далее признается в своем знакомстве со многими французскими социалистами, а Прудона, хотя и «утописта», характеризует как одного «из замечательнейших современных французов» **. Мы знаем, что и Вейтлинг и особенно Прудон сыграли очень большую роль в развитии миросозерцания и политических взглядов Бакунина. Но конкретно это сказалось лишь позднее, в анархический период его деятельности.

Бакунин не скрывает также своих симпатий к парижским рабочим в 1848 г. и уверяет даже, что «ни в одном классе, никогда и нигде не нашел я столько благородного самоотвержения, столько истинно трогательной честности, столько сердечной деликатности в обращении и столько любезной веселости, соединенной с таким героизмом, как в этих простых необразованных людях, которые всегда были и будут в тысячу раз лучше всех своих предводителей». Характерно при этом, что особенно поразил его в них «глубокий инстинкт дисциплины; в казармах их *** не могло существовать ни установленного порядка, ни законов, ни принуждения, но дай бог, чтоб любой вымуштрованный солдат умел так точно повиноваться, отгадывать желания своих начальников и так свято соблюдать порядок, как эти вольные люди; они требовали приказаний, требовали начальства, повиновались с педан-

---

* Это он самым категорическим образом высказал в неоконченной и неподписанной статье «Коммунизм», напечатанной в Цюрихе в 1843 г. (см. т. III наст. изд., № 475).

** «Материалы для биографии Бакунина», под ред. В. Полонского. т. I, ГИЗ, 1923, стр. 109—110 и 119.

*** Бакунин имеет здесь в виду революционных рабочих, находившихся в первые недели революции 1848 г. в распоряжении временного начальника полиции, бывшего члена тайных революционных обществ — Коссидьера.

тизмом, со страстью, голодали на тяжкой службе по целым суткам и никогда не унывали, и всегда были веселы и любезны» *. Конечно, возможно, что Бакунин льстит здесь любви Николая к дисциплине; но это не ослабляет того впечатления, что ему как революционному демократу нравились во французских рабочих именно те качества, которые он впоследствии в своей «Государственности и анархии» приписывал германскому народу, как качества *отрицательные*, враждебные анархической идее. С другой стороны важно отметить, что это сочувствие к рабочим не отразилось на деятельности Бакунина в 1848—1849 гг.: он никогда не выступал как идеолог рабочего класса, а лишь как идеолог демократии, «народа», а также угнетенного славянства.

Революционный демократизм Бакунина этой эпохи питался прежде всего ненавистью к русскому самодержавию и надеждой на крестьянское восстание в России. В своем втором воззвании к славянам («Русские в Семиградьи. Обращение к чехам») он писал: «Славяне, прислушайтесь к голосу русского, который знает и любит свое отечество и который теперь обращается к вам от имени русского народа. Хотите знать, чем стала Россия под властью своих царей? В этой великой, беспредельной империи, занимающей почти шестую часть земли, от севера до юга, от востока до запада, слышен теперь только один единственный звук, это — свист кнута, гуляющего неутомимо с раннего утра до вечера по спинам шестидесяти миллионов подданных царя... Славяне, желателен ли вам кнут? Хотите ли вы, чтоб вас продавали, как скот и как бездушные вещи? Хотите ли вы, чтоб вас гнали в Сибирь и забирали в русскую армию? Всего этого должны вы желать, если вы хотите русского царя, ждете от него дружбы и помощи!»

В этом же воззвании Бакунин выступает как пораженец, обращаясь с увещанием к славянам: «Разбейте русскую армию!» Вместе с тем он рекомендует также братание с русскими солдатами. Ибо «солдаты и народ уже давно устали от рабства, уже давно жаждут они освобождения. Только одно пламенное слово, и ледяная кора, покрывающая их сердца, растает, и эти угнетенные и опечаленные сердца раскроются, наконец, познают в вас своих братьев, своих спасителей, и великий день русской революции настанет» **.

---

* «Материалы для биографии Бакунина», под ред. В. Полонского, т. I, ГИЗ, 1923, стр. 130.

** Т. III наст. изд., № 525. Здесь Бакунин имел в виду лишь демократическую революцию, направленную против царского самодержавия и крепостнического дворянства, тогда как в свой анархический период он мыслил себе революцию в России, как революцию не только антидворянскую, но и антибуржуазную. Так, в цитировавшейся уже нами брошюре «Наука и насущное революционное дело» Бакунин, анализируя классовый или, как он говорил, «сословный» характер России конца 60-х гг., писал:

«Над крестьянством и над мещанством возвышается в деревнях общество кулаков, в городах купеческие гильдии, несомненно эксплоатирующие

В своей исключительно интересной политической записке немецкому адвокату, писанной в 1849 году в крепости Кенигштейн, Бакунин дал своеобразную философию истории России, наряду с анализом политического положения и национального вопроса в Германии, Австрии и Италии. По его мнению, «можно оспаривать право на революцию в разных странах, но в России это право не вызывает ни малейшего сомнения» *. В своей исповеди, обращенной к Николаю, Бакунин выразил ту же мысль в смягченной форме: «Когда обойдешь мир, везде найдешь много зла, притеснений, неправды, а в России, может быть, более, чем в других государствах»; или в другом месте: «Везде воруют и берут взятки и за деньги творят неправду — и во Франции, и в Англии, и в честной Германии; в России же, думаю, более, чем в других государствах». Ибо на Западе «публичный вор» не может скрыться от общественного мнения, «и тогда уж никакое министерство не в силах защитить вора». — «В России же иногда и все знают о воре, о притеснителе, о творящем неправду за деньги; все знают, но все же молчат, потому что боятся, и само начальство молчит, зная и за собою грехи» **.

В своем письме к немецкому адвокату из крепости Бакунин уверяет, что фанатичная преданность русского народа своему правительству давно уже отошла в область предания, о чем свидетельствует развитие религиозных сект, которые считают царя чуть не антихристом. По мнению Бакунина, «восстание Пугачева далеко еще не получило в Европе надлежащей оценки. Это была первая крестьянская революция в России, а не последняя»,— «крестьянская революция в России нанесет правительству смертельный удар и разрушит это государство. А революция эта неизбежна. Ничто не может отвратить ее: рано или поздно она прорвется — и чем позднее, тем страшнее, тем разрушительнее».

Эту свою надежду на грядущее крестьянское восстание в России Бакунин основывает не только на том убеждении, что

народ, но в свою очередь эксплоатируемые, так же, как и сам народ, богатейшим купечеством, поповством, дворянством и паче всего низшим и высшим правительством». Из этого Бакунин делал следующий вывод о характере грядущей революции:

«Что нужно народу? На это «К о л о к о л» в 1862 г. отвечал и отвечал превосходно: «Народу нужна земля и воля!» Больше ничего. Но посмотрим, что заключается в этих двух словах. Народу нужна земля, в с я з е м л я, значит, надо разорить, ограбить и уничтожить дворянство, а т е п е р ь у ж н е т о л ь к о о д н о д в о р я н с т в о (подчеркнуто нами.—*Б. Г.*), но и ту довольно значительную часть купечества и кулаков из народа, которые, пользуясь новыми льготами, в свою очередь стали помещиками, столь же ненавистными и чуть ли не еще более притеснительными для народа, чем помещики стародавние. Народу нужна воля, н а с т о я щ а я, полная воля, значит, надо уничтожить чиновничество и все войско. Значит, надо уничтожить государство». («Наука и насущное революционное дело», стр. 7 и 28).

* «Материалы» и т. д., т. II, Соцэкгиз, 1933, стр. 225.

** Там же, т. I, стр. 162 и 163—164.

«монархический строй все более и более теряет свой ореол в глазах русского народа и что в настоящее время народ и монархия почти ничем не связаны между собой», но и на особых свойствах русского крестьянина, отличающих его от крестьянина европейского и галицийского. «Он обнаруживает гораздо больше энергии, самостоятельности, даже большую свободу сознания, нежели последний, хотя гнет, висящий над ним, гораздо тяжелее того, какой когда-либо приходилось терпеть галичанину... Русский крестьянин не находится ни под каким официальным влиянием и носит в себе... целый безграничный мир — безграничный мир желаний, надежд и мести» *.

Впрочем, уже в эту эпоху складывается у Бакунина тот взгляд на роль крестьянства как решающего фактора и для грядущих европейских революций, который характерен для Бакунина 70-х годов. Так, в своей «Исповеди», критикуя поведение дрезденских повстанцев 1849 г., он в числе прочих обвинений, среди которых особенно подчеркивалось отсутствие у восставших *плана* восстания и необходимой революционной иерархии, выдвигает особенно тот факт, что ничего не было сделано для того, чтобы *поднять деревню:* «Должно было перенести революционерную пропаганду из городов в села, уговорить мужиков принять участие в движении для того, чтобы революция была общенародною, сильною, а не уединенно-городскою, легко побеждаемою... Одним словом, саксонские демократы сделали довольно для того, чтобы быть осужденными потом как государственные преступники, но не сделали ничего для успеха самой революции» **.

Имел ли какое-нибудь влияние на Бакунина 40-х годов Карл Маркс, с которым он встречался и в Париже и в Брюсселе? Несомненно, философские и исторические взгляды Бакунина испытали большое влияние Маркса, в чем он сам впоследствии признавался. Но в политике они уже тогда были антиподами. В частности, когда Бакунин со второй половины 40-х годов и особенно во время революции увлекался объединением всех славян и освобождением их от гнета деспотических правительств России и Австрии, Маркс и Энгельс усмотрели в этой бакунинской идее, независимо от субъективных намерений самого Бакунина, привкус реакционного панславизма, с которым носился император Николай.

В двух статьях, под названием «Демократический панславизм», напечатанных в «Новой Рейнской Газете» 14 и 15 февраля 1849 г., Энгельс подверг критике брошюру Бакунина «Призыв к славянам. Сочинение русского патриота Михаила Бакунина, члена Славянского Конгресса в Праге». Энгельс указывал в этих статьях на контрреволюционную роль австрийских славян в революции 1848 г. и подчеркивал противоречивость их национальных стремлений в то время. Ибо «австрийские панслави-

* «Материалы», т. II, стр. 230 и 234.
** Там же, т. I, стр. 231—232.

сты должны понять, что все их желания, поскольку они вообще осуществимы, осуществлены в восстановлении «австрийской объединенной монархии» под охраною России. Если Австрия распадется, им предстоит революционный терроризм немцев и мадьяр, а отнюдь не — как они воображают — освобождение всех наций, порабощенных под скипетром Австрии. Они должны поэтому желать, чтобы Австрия сохранилась — более того, чтобы Галиция осталась у Австрии, дабы славяне сохранили большинство в государстве. Таким образом, уже в этом панславистские интересы прямо противоречат восстановлению Польши, ибо Польша без Галиции... это — не Польша... Ввиду этого реализация панславизма должна будет ограничиться русским патронатом над Австрией». Развивая эту мысль, Энгельс писал: «У всех панславистов национальность, т. е. фантастическая общеславянская национальность, стоит выше революции... Но революция не позволяет ставить себе никаких условий. Приходится либо быть революционером и принять последствия революции, каковы бы они ни были, либо броситься в объятия контрреволюции и в одно прекрасное утро очутиться, быть может, против собственного желания, рука об руку с Николаем и Виндишгрецом» *.

Правда, Бакунин призывал славян к борьбе прежде всего против русского деспотизма, но подозрения Маркса и Энгельса имели все же основание. В самом деле, в «Исповеди» Бакунин сообщал Николаю, что собирался написать ему письмо из-за границы и тут же рисовал перед ним заманчивую перспективу стать во главе всего славянского освободительного движения. Это было так комично, что даже Николай, которому весьма мало доступно было чувство юмора, сопроводил это предложение ироническим замечанием на полях. «Если б вы, государь, — писал Бакунин, — захотели тогда поднять славянское знамя, то они без условий, без переговоров, но слепо предавая себя вашей воле, они и все, что только говорит по-славянски в австрийских и в прусских владениях, с радостью, с фанатизмом бросились бы под широкие крылья российского орла и устремились бы с яростью не только против ненавистных немцев, но и на всю Западную Европу» **.

Что это было не только простым подхалимством, не только средством вызвать благосклонность Николая, видно из дальнейшего поведения Бакунина. Попав в Иркутск, где генерал-губернаторствовал его родственник Муравьев-Амурский, Бакунин, как он сам сообщал в своих письмах к Герцену, стал возлагать на него надежды на освобождение славян и восторженно отзывался о его либерализме и демократизме.

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. VII, стр. 217 и 219. Виндишгрец — реакционный австрийский генерал, подавлявший революцию в Праге и Вене.

** «Материалы», т. I, стр. 183. Ироническую приписку Николая I на полях бакунинской рукописи см. в примечаниях в конце т. IV.

Мало того, уже попав за границу и познакомившись с положением дел как в России, так и в Европе, Бакунин издал в 1862 г. брошюру под характерным названием: «Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель?» В этой брошюре Бакунин решительно осудил прокламацию «Молодая Россия» за ее мнимое пренебрежение к народу и его нуждам, а также за ее резкий революционный тон, за которым не было революционного дела. Сам он полагал, что России предстоит в самом близком будущем страшное народное восстание, и считал, что единственным средством избежать его и связанных с ним кровавых жертв было бы, *если бы сам царь стал во главе народа,* созвал бы всенародный земский собор и отдал бы народу землю. Впрочем, в этот момент он не верил уже, чтобы Александр II был способен на такую роль. Идеал Бакунина это — народное самоуправление сверху донизу; «с царем или без царя, все равно, и как захочет народ. Но чтоб не было в России чиновников». — «Отношение наше к Романову ясно, мы не враги и не друзья его, мы друзья народно-русского, славянского дела. Если царь во главе его, — мы за ним. Но когда он пойдет против него, мы будем его врагами». Таким образом, царь в глазах Бакунина мог стать не только во главе славянского освобождения, но и во главе освобождения русского крестьянства и национализации земли, «так, чтоб не было ни одного русского, который не имел бы части в русской земле» *.

Наконец, эти же мысли Бакунин в основном повторил год спустя, во время своего увлечения польским восстанием, в ряде статей, напечатанных в мае 1863 г. в шведских газетах. По мнению Бакунина, если бы Александр II обладал большим умом, «или, по крайней мере, благородным сердцем», «он один мог бы освободить Россию, не пролив ни одной капли крови». При этом Бакунин высказал, под несомненным влиянием Герцена и Огарева, народнический взгляд на «три принципа», которые будто бы сохранил русский народ в неприкосновенности за два века рабства и которые «послужат ему исторической основой будущего развития». Этими принципами является убеждение народа, что вся земля принадлежит ему, затем уважение к общине и, наконец, самоуправление общины. Результатом применения этих трех принципов было бы, по мнению Бакунина, кроме федеративной организации государства, также введение «выборного начала к замещению всех должностей, за исключением монарха, власть которого должна была бы остаться наследственной, — одним словом, окончательный отказ от немецкой системы бюрократического централизма, введенной Петром Великим и развитой Екатериной II и Николаем I» **.

---

* «Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель?». М., 1917, стр. 42 и 44.

** «Материалы», т. II, стр. 624—625.

Мало того, выступая тогда же на банкете в Стокгольме, Бакунин высказался еще решительнее: «Мы, которых зовут революционерами, мы даже не республиканцы во что бы то ни стало»... Если бы Александр II «захотел стать откровенно во главе политической и социальной революции», дал свободу Польше, административную автономию провинции и «выставил славянское федеральное знамя», «мы были бы его самые верные слуги» *.

Таким образом, обосновывая частично взгляды будущего народничества, рекомендуя даже молодежи (в брошюре «Народное дело») итти к народу и сближаться с ним, чтобы в момент восстания быть вместе с ним, — Бакунин в то же время в статьях по поводу польского восстания, обращенных к европейскому общественному мнению, считает возможным в принципе *соединение в России демократического и общинного строя с наследственной монархией*. Это лишний раз подтверждает, как прав был Маркс в своей подозрительности по отношению к бакунинскому панславизму 40-х годов и как сильны были дворянские пережитки даже в революционном демократизме Бакунина» **.

Этим пережиткам надо отчасти приписать не только позорно малодушное поведение Бакунина в русских крепостях, выразившееся в «Исповеди» и в подаче Александру II прошения о помиловании (что так резко отличало Бакунина от подлинного и стойкого демократа Чернышевского), но и те практические советы, которые давал Бакунин из крепости в письмах к своим родным. Так, в письме к брату от 1852 г. Бакунин между прочим писал: «Хотя я и не большой друг телесных наказаний, но я вижу, что, к несчастью, они еще очень нужны, — вели же сечь, дорогой друг, вели сечь, но никогда не секи сам, это не благородно; наказывай всегда так, чтобы крестьяне были убеждены в справедливости понесенного наказания» ***. Является ли этот совет результатом искреннего убеждения (после революции 1848 г., после знаменитого письма Белинского к Гоголю со страстным протестом против телесного наказания!) или же он имеет целью показать свою «благонадежность» читавшим переписку жандармам, он одинаково отвратителен и свидетельствует о больших и странных провалах в моральных и социально-политических убеждениях Бакунина — революционного демократа.

---

* «Письма Бакунина к Герцену и Огареву» под ред. Драгоманова, стр. 247—248.

** Впрочем, эта вера в возможность «народного» и «демократического» царя, идеального царя, который мог бы проводить в жизнь даже общинные иллюзии русского крестьянина, — эта вера отчасти сближает Бакунина той эпохи с мирным утопическим социализмом. Ведь и Оуэн одно время возлагал надежды на русского царя Николая I, которому, как он думал, при его всемогуществе легко было бы осуществить в России оуэновскую утопию.

*** «Материалы», т. I, стр. 261—262. Письмо писано по-французски.

II

После неудачи польского восстания *, разочаровавшись в своей идее общего славянского восстания против правительств России, Австрии и Пруссии, Бакунин на время отходит от русских и славянских дел и переносит свое внимание и революционную деятельность в область европейского рабочего движения. Только с этого времени, со вступления его в I Интернационал, т. е. с 1864 г., начинают определенно складываться и формироваться анархические взгляды Бакунина. В этом процессе на первых порах еще сильно сказываются демократические пережитки первого периода. Об этом между прочим свидетельствует участие Бакунина в буржуазно-демократической «Лиге мира и свободы» и его иллюзия привлечь эту Лигу к работе «Международного товарищества рабочих». Таким образом, только со второй половины 60-х годов Бакунин окончательно становится убежденным и воинствующим анархистом. Вместе с тем, несмотря на то, что именно в это время Бакунин вступает в открытую и яростную борьбу с Марксом, организуя одновременно внутри руководимого Марксом Интернационала свой тайный международный «Альянс», чисто теоретическое влияние Маркса начинает сильно чувствоваться в сочинениях Бакунина. Это особенно относится к историческому материализму Маркса, который Бакунин проводил в своих работах этого периода, правда, в значительно упрощенном понимании и с неизбежными противоречиями, вызывавшимися его анархическим и утопическим мелкобуржуазным социализмом. На словах принимал Бакунин также и экономическое учение Маркса и даже восторженно отзывался о «Капитале», хотя подлинной сущности этого учения он никогда не понимал.

Между Марксом и Бакуниным оставалась непроходимая пропасть, отделяющая научный, пролетарский коммунизм от утопического, мелко-буржуазного социализма, опирающегося в основном на разоряющиеся слои мелких производителей, как земледельческих, так и городских. Эта пропасть особенно ярко проявлялась в самом понимании грядущей социалистической революции и в центральном вопросе этой революции — *в вопросе о власти.*

В самом деле, Бакунин не понимал важнейшей проблемы пролетарской социалистической революции, а именно проблемы

---

* В этом восстании, к которому Бакунин относился горячо и с энтузиазмом, не разделяя герценовского скептицизма, он видел не только проявление своей любимой идеи славянской революции, но и прежде всего пожар, который должен был вызвать крестьянскую революцию в России. В отношении к польскому восстанию сказалась и сила и слабость Бакунина: с одной стороны, его готовность поддерживать всякое восстание против русского царизма, а с другой — неумение четко разобраться в классовой и политической обстановке восстания.

организации производства. Для Бакунина, как для идеолога мелких производителей, все дело было в том, чтобы организовать коллективное производство *снизу*, т. е. путем объединения, «ассоциации» отдельных мелких производителей города и деревни. Он не понимал той центральной марксовской идеи, что развитие капитализма и производимое им фактическое, объективное обобществление средств производства, при сохранении частновладельческого права собственности и индивидуального присвоения, приводит пролетариат неизбежно к идее единого, из центра руководимого планового хозяйства. В знаменитом месте первого тома «Капитала», в конце главы о «так называемом первоначальном накоплении» Маркс указал на «историческую тенденцию капиталистического накопления», которая выражается именно в централизации и концентрации производства: «Один капиталист убивает многих. Рука об руку с этой централизацией или экспроприацией многих капиталистов немногими развивается все в более широком масштабе кооперативная форма процесса труда, сознательное техническое применение науки, планомерная эксплоатация земли, выработка таких средств труда, которые допускают лишь совместное применение, экономизация всех средств производства путем применения их как средств производства комбинированного, общественного труда, вовлечение всех народов в сеть мирового рынка и, следовательно, интернациональный характер капиталистического режима». Но при этом «монополия капитала становится оковами того способа производства, который вместе с нею и благодаря ей достиг расцвета. Централизация средств производства и обобществление труда достигает уровня, при котором они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Последняя разрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экпроприируют» *. Таким образом, победивший пролетариат получает в свое распоряжение централизованное и обобществленное производство, которое ему предстоит развивать в своих интересах и, в отличие от капиталистической анархии, строго планировать.

Для Бакунина вся эта теория Маркса — *книга за семью печатями.* Поэтому отчасти в его собственной теории такое центральное место заняло отрицание государства, в том числе и диктатуры пролетариата. Не понимая огромных экономических задач пролетарской революции, Бакунин вместе с тем — в неразрывной связи с этим непониманием — так враждебно относился к идее завоевания государственной власти победившим в революции пролетариатом. Мы увидим в дальнейшем, что это целиком вытекало из классовой основы бакунинского мелко-буржуазного социализма.

На эту связь централизованной государственной власти с необходимостью руководства сложной экономической жизнью

* К. Маркс, «Капитал», т. I, изд. 1923 г., стр. 756.

коллективного планового хозяйства указал Энгельс в своей статье «Об авторитете», напечатанной в 1874 г. и направленной против анархического отрицания самого «принципа авторитета» и особенно «авторитарного» государства.

«Исследуя экономические, промышленные и земледельческие отношения, лежащие в основе современного буржуазного общества, — писал Энгельс, — мы находим, что они тяготеют к тому, чтобы все больше и больше заменять разрозненные действия комбинированной деятельностью людей. Вместо небольших мастерских разрозненных производителей появилась современная промышленность с ее огромными фабриками и заводами, в которых сотни рабочих управляют сложными машинами, приводимыми в движение паром; дилижансы и повозки на больших дорогах вытеснены железнодорожными поездами, а маленькие парусные шхуны и фелюги — пароходами. Даже в земледелии все больше начинают господствовать машина и пар, медленно, но неуклонно заменяющие мелких собственников крупными капиталистами, которые обрабатывают с помощью наемных рабочих большие площади земли. Таким образом, комбинированная деятельность, усложнение процессов, зависящих друг от друга, становятся на место независимой деятельности отдельных лиц. Но комбинированная деятельность означает организацию, а возможна ли организация без авторитета?.. Желать уничтожения авторитета в крупной промышленности значит желать уничтожения самой промышленности». Что же касается политической власти, «авторитета» государства, то в ответ «анти-авторитаристам», которые требуют, «чтобы первым актом социальной революции была отмена авторитета», Энгельс в этой же статье писал: «Видали ли эти люди когда-нибудь революцию? Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков и пушек, т. е. средств чрезвычайно авторитарных; и если победившая партия не хочет потерять плоды своих усилий, она должна удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее оружие. Если бы Парижская Коммуна не опиралась на авторитет вооруженного народа против буржуазии, то разве она продержалась бы дольше одного дня? Не в праве ли мы, наоборот, порицать Коммуну за то, что она слишком мало пользовалась этим авторитетом? Итак, одно из двух: или анти-авторитаристы не знают сами, что они говорят, и в этом случае они сеют лишь путаницу, или они это знают, и в этом случае они изменяют движению пролетариата. В том и в другом случае они служат реакции» *.

Бакунин хорошо знал, что такое революция. И в этом, как мы увидим дальше, коренится причина тех противоречий, какие

* Маркс и Энгельс, Соч., т. XV, стр. 134—135 и 137.

имеются в его взглядах на революцию. Но ему была совершенно чужда мысль об *экономической* роли революционной государственной власти пролетариата в переходный период строительства социализма, и поэтому он смотрел на государство исключительно как на ненавистный орган насилия.

Впрочем, и в глазах Маркса современное буржуазное государство, как и всякое государство вообще, есть лишь организация классового господства. И, по Марксу, с исчезновением классов исчезнет и государство. Но для марксистов не безразличны разные формы государственного строя: для них конституционное государство вообще, а особенно демократическая республика, есть та форма, которая предоставляет пролетариату больше свободы и организационных возможностей для борьбы. Наконец, первым решающим этапом на пути к полному освобождению революционные марксисты считали и считают завоевание рабочим классом политической власти, *диктатуру пролетариата*. Вот почему Ленин в своей работе «Государство и революция», поясняя и развивая мысль Маркса о том, что после своей победы «рабочие придают государству революционную и переходящую форму вместо того, чтобы сложить оружие и отменить государство», говорит: «Пролетариату только на время нужно государство. Мы вовсе не расходимся с анархистами по вопросу об отмене государства, как *цели*. Мы утверждаем, что для достижения этой цели необходимо временное использование орудий, средств, приемов государственной власти *против* эксплоататоров, как для уничтожения классов необходима временная диктатура угнетенного класса. Маркс выбирает самую резкую и самую ясную постановку вопросов против анархистов: свергая иго капиталистов, должны ли рабочие «сложить оружие» или использовать его против капиталистов для того, чтобы сломить их сопротивление? А систематическое использование оружия одним классом против другого класса, — что это такое, как не «преходящая форма» государства?» *.

Для Бакунина-анархиста, наоборот, всякое государство есть абсолютное зло. Если он и является республиканцем, то для него слово «республика не имеет другой цены, кроме *чисто отрицательной:* оно означает разрушение, уничтожение монархии». Государство демократическое может оказаться даже хуже монархии:

«Между монархиею и самою демократическою республикою существенное различие: в первой чиновный мир притесняет и грабит народ для вящшей пользы привилегированных, имущих классов, а также и своих собственных карманов, во имя монарха; в республике же он будет точно так же теснить и грабить народ для тех же карманов и классов, только уже во имя народной во-

* Ленин, Соч., т. XXI, стр. 411.

ли... Но народу отнюдь не будет легче, если палка, которою его будут бить, будет называться палкою народной» *. Далее: «Нужно быть ослом, невеждою, сумасшедшим, чтобы вообразить себе, что какая-нибудь конституция, даже самая либеральная и самая демократическая, могла бы изменить к лучшему это отношение государства к народу; ухудшить, сделать его еще более обременительным, разорительным, пожалуй — хотя и трудно, потому что зло доведено до конца, но освободить народ, улучшить его состояние, это — просто нелепость» **.

Не представляет исключения для Бакунина — теоретика анархизма — и революционная диктатура:

«Между революционною диктатурою и государственностью вся разница состоит только в внешней обстановке. В сущности же они представляют обе одно и то же управление большинства меньшинством во имя мнимой глупости первого и мнимого ума последнего. Поэтому они одинаково реакционерны, имея как та, так и другая, результатом непосредственным и непременным упрочение политических и экономических привилегий управляющего меньшинства и политического и экономического рабства народных масс» ***. Сообразно с этим Бакунин и проповедует не завоевание государственной власти, а полное и немедленное ее разрушение.

Бакунин-анархист выступает как самый решительный противник участия рабочих в парламентских выборах и участия в каких бы то ни было представительных учреждениях. Но он идет еще дальше. Отрицая всякую государственную власть, — ибо, где есть государство, — говорит он, — там есть господство одних и рабство, угнетение, эксплоатация других, — Бакунин столь же решительно отрицает и чисто рабочую власть, диктатуру пролетариата.

«Пролетариат, — писал Бакунин, критикуя и искажая точку зрения Маркса, — должен совершать революцию для овладения государством — средство героическое. По нашему мнению, раз овладев им, он должен *немедленно* его разрушить, как *вечную тюрьму народных масс*, по теории же Маркса народ не только не должен его разрушить, а, напротив, должен укрепить и усилить и в этом виде передать в полное распоряжение своих благодетелей, опекунов и учителей — начальников коммунистической партии, словом, господину Марксу и его друзьям, которые начнут освобождать по своему. Они сосредоточат бразды правления в сильной руке, потому что невежественный народ требует весьма сильного попечения; создадут единый государственный банк, сосредоточивающий в своих руках все торгово-промышлен-

---

* «Государственность и анархия», избр. соч. Бакунина, изд. «Голос труда», т. I, стр. 83.

** Там же, стр. 136—137.

*** Там же, стр. 239.

ное, земледельческое и даже научное производство, а массу народа разделят на 2 армии: промышленную и землепашескую, под непосредственной командой государственных инженеров, которые составят новое привилегированное научно-политическое сословие» *.

Эта претендующая на ядовитость карикатура взята нами же из той же книги Бакунина «Государственность и анархия», изданной впервые на русском языке в 1873 году, наиболее полно и подробно излагающей анархистское миросозерцание Бакунина и ставшей на ряд лет основным теоретическим символом веры русских народников-бакунистов 70-х годов. Тотчас после выхода в свет этой книги Маркс внимательно изучил ее в русском оригинале и составил подробный конспект, снабженный рядом как иронических и насмешливых замечаний по адресу Бакунина, так и серьезных теоретических возражений. Этот конспект, найденный в бумагах Маркса лишь в настоящее время и хранящийся в Институте Маркса-Энгельса-Ленина, напечатан в XV т. собрания сочинений Маркса и Энгельса и дает нам возможность познакомиться с марксовской оценкой важнейших положений Бакунина-анархиста под непосредственным впечатлением книги «Государственность и анархия». Мы приведем здесь несколько ярких и важных замечаний Маркса, имеющих притом непосредственное актуально-политическое значение для политики диктатуры пролетариата в нашей стране.

Бакунин спрашивает: «Что значит — пролетариат, возведенный в господствующее сословие?» Маркс отвечает: «Это значит, что пролетариат, вместо того, чтобы в каждом отдельном случае бороться против экономически привилегированных классов, достиг достаточной мощи и организованности, чтобы в борьбе против них применять общие средства принуждения; однако он может применять лишь такие экономические средства, которые упраздняют его собственный характер как наемного рабочего, следовательно, как класса; поэтому с полной его победой кончается и его господство, ибо кончается его классовый характер». Далее, на недоуменный вопрос Бакунина: «Неужели весь пролетариат

* «Государственность и анархия», избр. соч. Бакунина, изд. «Голос труда», т. I, стр. 298. Здесь Бакунин сознательно игнорирует то основное положение Маркса, особенно ярко сформулированное им в манифесте Генерального Совета Интернационала по поводу Парижской Коммуны — «Гражданская война во Франции», т. е. за два года до выхода книги Бакунина, — что пролетариат, захватив власть, не должен просто использовать буржуазный государственный аппарат, а совершенно его разрушить и на его развалинах построить свою, пролетарскую государственную диктатуру, принципиально отличающуюся от буржуазного государственного аппарата. Маркс писал даже, что если бы Коммуна победила в Париже и в ряде других городов, то Франция превратилась бы в «федерацию коммун». На этих положениях Маркса, как известно, основывался Ленин, выдвигая еще в своих знаменитых апрельских тезисах 1917 г. для русской революции лозунг «государства-коммуны», опирающегося на советы рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов.

будет стоять во главе управления?», Маркс отвечает рядом встречных вопросов: «Неужели, например, в профессиональном союзе весь союз образует его исполнительный комитет? Неужели на фабрике исчезнет всякое разделение труда и различные функции, из него вытекающие? А при бакунинском построении *снизу вверх* разве все будут *вверху?* Тогда ведь не будет никакого *внизу*. Неужели все члены общины будут в равной мере ведать общими интересами *области?* Тогда ведь не будет никакого различия между общиной и областью».

Бакунин знал, что для Маркса диктатура пролетариата — лишь переходная форма государственной власти, ставящая своей задачей уничтожение классов вообще, а следовательно и отмирание государства как организации классового господства. По словам Бакунина, для марксистов «анархия или свобода — цель, государство или диктатура — средство. Итак для освобождения народных масс надо их сперва поработить». А так как диктатура пролетариата, по убеждению Бакунина, выродится в «весьма деспотическое управление народных масс новою и весьма немногочисленною аристократиею действительных или мнимых ученых», то «марксисты чувствуют это противоречие и... утешаются мыслью, что эта диктатура будет временная и короткая». На это Маркс немедленно реагирует: «Нет, дорогой мой! *Классовое господство* рабочих над сопротивляющимися им прослойками старого мира *должно длиться до тех самых пор*, пока не будут уничтожены экономические основы существования классов». Далее Маркс в следующих словах поучает Бакунина о социальном значении диктатуры пролетариата: «Ввиду того, что в период борьбы за разрушение старого общества пролетариат действует еще на основе старого общества и поэтому придает еще своему движению политические формы, более или менее соответствующие ему, — в этот период он не достиг еще своей окончательной организации и применяет для своего освобождения средства, которые после освобождения отпадут; отсюда г-н Бакунин умозаключает, что пролетариату лучше ничего не предпринимать, а выжидать... дня *всеобщей ликвидации* — страшного суда» *.

Наконец, на «ехидный» вопрос Бакунина, над кем будет господствовать пролетариат, и не будет ли находиться под его властью «крестьянская чернь», Маркс дает следующий обстоятельный и гениально пророческий ответ: «Это значит, что покуда существуют еще другие классы, в особенности класс капиталистический, покуда пролетариат с ним борется (ибо с приходом пролетариата к власти еще не исчезают его враги, не исчезает старый общественный строй), он должен применять меры насилия, стало быть, правительственные меры; если сам он остается еще классом и если еще не исчезли экономические условия, на которых основывается классовая борьба и существование классов,

* Маркс и Энгельс, Соч., т. XV, стр. 188 и 192—193.

они должны быть насильственно устранены или преобразованы, и процесс их преобразования должен быть насильственно ускорен». Что касается специально взаимоотношений пролетариата и крестьянства в период пролетарской диктатуры, то пролетариат, по словам Маркса, «должен в качестве правительства принимать меры, вследствие которых положение крестьянина непосредственно улучшится и которые, таким образом, привлекут его на сторону революции; меры, однако, которые в зародыше облегчают переход от частной собственности на землю к собственности коллективной, так что крестьянин сам приходит к этому хозяйственным путем»; «тем более нельзя укреплять мелкую собственность, увеличивая мелкие участки просто путем передачи больших имений крестьянам, как в революционном походе Бакунина». А так как Бакунин выражает дальше опасение, не явятся ли при грядущей революции славяне в таком же подчиненном положении у германцев, как крестьяне у рабочих, то Маркс на это отвечает: «Ученический вздор! Радикальная социальная революция связана с определенными историческими условиями экономического развития; последние являются ее предпосылкой. Таким образом, она возможна только там, где вместе с капиталистическим производством промышленный пролетариат занимает, по меньшей мере, значительное место в народной массе. И для того, чтобы он имел какие-нибудь шансы на победу, он должен быть в состоянии mutatis mutandis* сделать для крестьян по меньшей мере столько же, сколько французская буржуазия во время своей революции сделала для тогдашнего французского крестьянина». Бакунин, по мнению Маркса, «абсолютно ничего не смыслит в социальной революции, знает о ней только политические фразы. Ее экономические условия для него не существуют»... Он полагает, что радикальная революция возможна при любой степени экономического развития и «хочет, чтобы европейская социальная революция, основывающаяся на экономическом базисе капиталистического производства, произошла на уровне русских или славянских земледельческих и пастушеских народов»**.

Здесь Маркс нащупывает самый корень бакунинского мелкобуржуазного социализма, основную классовую основу его анархистской программы и тактики. В самом деле, в то время как марксизм является идеологией рабочего класса и на него возлагает свои главные надежды в деле осуществления социализма, Бакунин, как мы видели, не хотел господства этого класса, недоверял ему. Он, в глазах Бакунина, должен был являться лишь застрельщиком будущей революции, важнейшие же его надежды были обращены к *крестьянству*.

---

* То есть с соответствующими изменениями, на другой исторической и социальной основе. — *Б. Г.*)

** Маркс и Энгельс. Соч., т. XV, стр. 186—188.

В крестьянстве видел Бакунин главного двигателя, главную социальную базу грядущей анархической революции, а марксистам приписывал страх перед крестьянской революцией, причем он смешивал Маркса с Лассалем и проявлял полную невежественность относительно подлинных взглядов Маркса на роль новой «крестьянской войны» в будущей пролетарской революции. «Для коммунистов или социальных демократов Германии крестьянство, всякое крестьянство, есть реакция; а государство, всякое государство, даже бисмарковское — революция... Впрочем, марксисты и думать иначе не могут; государственники во что бы то ни стало, они должны проклинать всякую народную революцию, особенно же крестьянскую, по природе анархическую и идущую прямо к уничтожению государства. Как все-поглощающие пангерманисты, они должны отвергать крестьянскую революцию уже по тому одному, что эта революция специально славянская» *.

С другой стороны, Бакунин считал социализм Маркса книжным, надуманным, и этому «доктринерскому» социализму иногда даже противопоставлял «стихийный» социализм деревни, опирающийся на ее примитивную экономику, которую разрушает капитализм. «Мы не только не имеем намерения, — писал он, — и малейшей охоты навязывать нашему или чужому народу какой бы то ни было идеал общественного устройства, вычитанного из книжек или выдуманного нами самими, но в убеждении, что народные массы носят в своих более или менее развитых историею инстинктах, в своих насущных потребностях и в своих стремлениях, сознательных и бессознательных, все элементы своей будущей нормальной организации, мы ищем этого идеала в самом народе» **.

Крестьяне, по мнению Бакунина, глубоко революционны. Для того, чтобы крестьянин поднялся, надо только уметь подойти к нему; необходимо отказаться от насильственного навязывания крестьянам городской цивилизации, даже от насильственного навязывания социализма. «Крестьяне, — писал Бакунин в своей во многих отношениях чрезвычайно интересной работе «Письма к французу», — любят землю, пусть заберут всю землю и выгонят оттуда всех собственников, обрабатывающих ее чужим трудом. У них нет никакой охоты платить гипотеки и налоги. *Пусть не платят их*. Пусть те из них, которые не хотят платить своих частных долгов, не принуждаются к их платежу. Наконец, они терпеть не могут рекрутчины, пусть их не заставляют итти в солдаты». При таких условиях, по мнению Бакунина, «ничего не стоит поднять любую деревню». «Крестьянин ненавидит все правительства, он их терпит из благоразумия», платя налоги и да-

---

* «Государственность и анархия», стр. 254.
** Там же, стр. 237.

вая своих сыновей в солдаты, так как не видит способа избавиться от этого *.

Бакунин решительно борется с широко распространенным мнением о реакционности крестьянства. Не следует также смущаться кажущейся преданностью французских крестьян Бонапартовской империи (это писано в августе 1870 г., т. е. до крушения империи). Правильная революционная линия поведения должна преодолеть их страх перед коммунизмом, их индивидуализм и собственнические инстинкты. «Собственность, любовь не к удовольствиям, а к барышам и пользование ими сделали их порядочными эгоистами, это правда, но они не уменьшили их инстинктивной ненависти против *нарядных бар*, и в особенности против буржуазных собственников, которые пользуются земными благами, не производя их трудом своих рук» **.

Впрочем, иногда у Бакунина проскальзывает сознание того, что и деревня не представляет собой однородной в социальном отношении среды. Он допускает возможность, что восстание вызовет гражданскую войну в самой деревне, и не только не пугается этого, но считает ее фактом положительным. «Что вы предпочитаете, чтобы ваши 10 миллионов крестьян (имеются в виду французские крестьяне.—*Б. Г.*) объединились против вас в одну дружную, компактную массу, движимые общей ненавистью, вызываемою в них вашими декретами и революционными насилиями, или же, чтобы между ними была рознь, вызванная этой анархической революцией, что позволит вам образовать среди них могучую партию? Но разве вы не видите, что крестьяне так отсталы именно потому, что гражданская война не внесла еще рознь в деревню? Компактная масса представляет человеческое стадо, мало способное к развитию и мало благоприятное для пропаганды среди него идей. Наоборот, гражданская война, вызывая рознь в этой массе, порождает идеи, создавая различные интересы и стремления». При этом Бакунин был убежден, что при уничтожении всякой официальной государственной власти частная собственность не укрепится в деревне, и деревенские богачи не в состоянии будут взять перевес над остальной массой. «Богатство богатых не будет больше охраняться законами, оно перестанет, стало-быть, быть силой» ***.

Здесь сказывается социальная наивность Бакунина, его непонимание механизма классовой борьбы, его непонимание того, что деревенская беднота может одержать прочную победу над «богатыми» *лишь под руководством революционной пролетарской диктатуры*. Еще в большей мере проявляется наивность Бакунина в том, что центральным актом всякого вооруженного восстания, как начала революции, он считает уничтожение всяких су-

---

* Бакунин, избр. соч., т. IV, изд. «Голос труда», стр. 187.

** Там же, стр. 170.

*** Там же, стр. 188 и 189.

дебных и административных архивов, юридических сделок и даже сводов законов. Правильно критикуя своего учителя Прудона за то, что он «идеалист и метафизик», что «его точка отправления— абстрактная идея права, от права он идет к экономическому факту» *, Бакунин сам представлял себе переход к социализму, кроме отмены права наследства, еще в форме «сожжения всех бумаг для того, чтобы уничтожить семью и собственность с юридической стороны». В этом чувствуется чисто крестьянская ненависть к таинственной силе «бумаги». Эту ненависть Бакунин возводит в принцип революционной тактики, к которому он возвращается неоднократно. Вот как представлял себе Бакунин характер предстоящей социальной революции. Она «начнется с разрушения всех организаций и учреждений: церквей, парламентов, судов, административных органов, армии, банков, университетов и пр.» — «Одновременно приступят в общинах и городах к конфискации в пользу революции всего того, что принадлежало государству; конфискуют также имущество всех реакционеров и предадут огню все судебные дела и имущественные и долговые документы, а всю бумажную гражданскую, уголовную, судебную и официальную труху, которую не удастся истребить, объявят потерявшей силу, оставив всех в status quo их обладания. Таким путем завершится социальная революция».

Здесь чрезвычайно характерными для мелко-буржуазного, в частности крестьянского социализма и анархизма Бакунина являются следующие моменты. Прежде всего, оказывается, что социальная революция, кроме государственных имуществ, конфискует имущество, только принадлежащее *«реакционерам»*, а не буржуазии вообще; мало того, она даже оставит все имущественные отношения такими, какими они сложатся немедленно после общенародного восстания. Другими словами, кто сколько успеет захватить в свою пользу, тот и останется собственником захваченного. Это, конечно, типичная мелко-буржуазная революция, ничего общего не имеющая с социализмом и резко противоречащая надеждам Бакунина, что без государственной власти, не укрепится в деревне ни частная собственность, ни преобладание «богатых». Противоречит эта программа и всем принципиальным высказываниям Бакунина относительно его «коллективизма», общинной собственности и т. п. Но подобные противоречия и составляют характерную черту мелко-буржуазного социализма. С другой стороны, возникает вопрос: раз не будет государства и никаких властей, кто же «объявит» потерявшими силу все прошлые законы и сделки, всю «гражданскую, уголовную, судебную и официальную труху»?

Итак, бакунинский идеал — уничтожение государства и всего государственного аппарата, «уничтожение буржуазной цивилиза-

* «Государственность и анархия», стр. 246—247.

ции, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов, организация разнузданной чернорабочей черни, всего освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира» *, который, по мнению Бакунина, осуществится в результате всеобщего крестьянского восстания, — этот идеал на самом деле отвечает смутному, инстинктивному протесту крестьянина, особенно в отсталых странах, как тогдашняя Россия и Италия, против закрепостившего его помещичьего бюрократического государства и эксплоатирующего его капитала.

Кроме крестьянства, Бакунин возлагал свои революционные надежды также на «люмпен-пролетариат», босяков, вообще на деклассированные, выбитые из колеи элементы, в частности на деклассированную интеллигенцию, к которой принадлежал сам Бакунин и от которой он ждал больших революционных дел. Именно их и считал Бакунин настоящими революционерами, тогда как к рабочим, занятым в промышленности, относился с некоторым недоверием, как к людям, уже зараженным «буржуазностью».

«Может быть, нигде так не близка социальная революция,— писал Бакунин, — как в Италии... В Италии не существует, как во многих других странах Европы, особого рабочего слоя, уже отчасти привилегированного благодаря значительному заработку, хвастающегося даже в некоторой степени литературным образованием и до того проникнутого буржуазными началами, стремлениями и тщеславием, что принадлежащий к нему рабочий люд отличается от буржуазного люда только положением, отнюдь же не направлением». В Италии, по словам Бакунина, «преобладает тот нищенский пролетариат, о котором господа Маркс и Энгельс, а за ними и вся школа социальных демократов Германии отзываются с глубочайшим презрением, и совершенно напрасно, потому что в нем и только в нем, отнюдь же не в вышеозначенном буржуазном слое рабочей массы заключается весь ум и вся сила будущей социальной революции» **. Надо отдать справедливость Бакунину, что он здесь отчасти предугадал соглашательскую роль современной «рабочей аристократии» капиталистических стран. Но он по существу своей теории должен был несколько недоверчиво относиться вообще ко всей массе промышленного, особенно более квалифицированного пролетариата, на который всегда опирался революционный марксизм.

Что касается России, то Бакунин видел недостатки и темные стороны русской общины и в письмах к Герцену отмечал то порабощение и принижение человеческой личности, которому подвергала своих членов община, или деревенский «мир».

Уже в середине 60-х годов Бакунин резко критиковал умеренность и половинчатость политических взглядов Герцена и вместе с тем высмеивал его мистическую веру в русскую общину. Но

* Этими словами оканчивается «Государственность и анархия».
** «Государственность и анархия», стр. 60—61.

так как это было сделано в частном письме к Герцену и Огареву, то эта любопытная сторона бакунинского мировоззрения оставалась неизвестной нашим народникам 70-х годов, которые вместе с основными взглядами Бакунина усвоили также герценовскую веру в общину.

Вот что писал Бакунин Герцену и Огареву в замечательном письме от 19 июля 1866 г.: «Знаю, вам ненавистно слово «революция», но что-ж делать, друзья, без революции ни для вас, ни для кого нет ни шагу вперед. Вы во имя вящшей практичности составили себе невозможную теорию о перевороте социальном без политического переворота, теорию столь же невозможную в настоящее время, как и революция политическая без социальной». И далее: «Вы все готовы простить государству, пожалуй, готовы поддерживать его, если не прямо, — было бы слишком стыдно,— так косвенно, лишь бы оно оставило неприкосновенной ваше мистическое святая святых: великорусскую общину, от которой *мистически*,— не рассердитесь за обидное, но верное слово, — да, с мистическою верою и теоретическою страстью вы ждете спасения не только для великорусского народа, но и для всех славянских земель, для Европы, для мира... Почему эта община, от которой вы ждете таких чудес в будущем, в продолжение 10 веков прошедшего существования не произвела из себя ничего, кроме самого печального или гнусного рабства?» При этом Бакунин конкретно указывал на приниженное и порабощенное состояние деревенской женщины, на патриархальный деспотизм, на бесправие лица перед миром, готовность этого «мира», т. е. общины, отдать всякое право за ведро водки и т. п. *.

Зато он находил в России революционные элементы вне сословной крестьянской организации, в лице гонимых раскольников, сектантов и т. д. и, наконец, в лице *уголовных преступников*. Здесь Бакунин как бы перекликался с германским утопическим социалистом конца 30-х и начала 40-х годов, портняжным подмастерьем Вильгельмом Вейтлингом, который предлагал в первый же момент начавшейся народной революции открыть тюрьмы и выпустить всех уголовных преступников, как стихийных бунтовщиков против буржуазной собственности и буржуазной цивилизации. Возможно даже, что эта мысль впервые внушена была Бакунину именно Вейтлингом во время их встречи в Швейцарии в 1843 г., причем она выкристаллизовалась у Бакунина значительно позднее, лишь в пору его анархизма. По мнению Бакунина, единственное лицо, которое «смеет итти против мира, это — разбойник. Вот почему разбой составляет важное историческое явление в России; Пугачев и Стенька Разин были разбойниками».

* Письма М. А. Бакунина к Герцену и Огареву под ред. Драгоманова, стр. 283—284. В этой критике половинчатой позиции Герцена (а позднее, в 70-х гг., и Лаврова), равно как в трезвом взгляде на русскую общину Бакунин был прав, и в этом его большая заслуга.

Кроме деклассированных элементов в самом крестьянстве, Бакунин выдвигал на первое место деклассированную интеллигенцию. Ожидая крестьянского восстания в России, он, в качестве предводителя и руководителя его, указывал на «образованную молодежь» этого «*коллективного Стеньки Разина*», на этих «беспардонных юношей, не находящих себе ни места, ни возможности занятий в России». Под влиянием знакомства с Нечаевым и его рассказов о революционных настроениях студенчества Бакунин в 1869 году выпустил листок под заглавием «Несколько слов к молодым братьям в России». В этом листке, указывая, что прошлые крестьянские восстания погибли вследствие недостатка организации, несмотря даже на такого предводителя, как Разин, Бакунин заявляет: «Теперь будет не то. Не будет, вероятно, народного богатыря Стеньки Разина, сосредоточивающего в своем лице всю народную жизнь и силу. Но будет зато легион бесславной и безымянной молодежи, живущей уже теперь народной жизнью и сплоченной крепко между собой одной мыслью и целью. Соединение этой молодежи с народом — вот залог народной победы», ибо у народа теперь будет «коллективный Стенька Разин».

«Итак, молодые друзья, — писал Бакунин, — бросайте скорей *этот мир, обреченный на гибель*, эти университеты, академии и школы, из которых вас гонят теперь и в которых стремились всегда разъединить вас с народом. *Ступайте в народ*. Там ваше поприще, ваша жизнь, ваша наука. Научитесь у народа, как служить народу и как лучше вести его дело. Помните, друзья, что грамотная молодежь должна быть не учителем, не благодетелем и не диктатором — указателем для народа, а только повивальной бабкой самоосвобождения народного, сплотителем народных сил и усилий... Не хлопочите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель. Наука же новая и живая несомненно народится потом, после народной победы, из освобожденной жизни народа».

Классовая основа бакунинского мелко-буржуазного социализма и анархизма объясняет нам чрезвычайную бедность его программы революции экономическими моментами. На это правильно указал Маркс в своих замечаниях на «Государственность и анархию», подчеркивая, что Бакунин совершенно не понимает экономической сущности и экономических проблем будущей социальной революции. В самом деле, мелкое крестьянское хозяйство — это та форма производства, которая как будто переживала до тех пор все революции и все режимы и об организации которой заботиться не приходится. А для деклассированных элементов рабочего класса и интеллигенции производство вообще — чужое дело. Их интересуют только вопросы распределения. Поэтому для Бакунина, как и для многих последующих анархистов,

вопросов организации производства не существовало вовсе. Единственная конкретная экономическая мера, которой требовал он от государства раньше его разрушения, была *отмена права наследования* *, т. е. опять-таки мера не в области производства, а в области распределения богатств, вернее, в области юридических прав собственности. Вот в каких словах выражена была программа Бакунина в 1868 г. в № 1 журнала «Народное Дело», который тогда же, попав в Петербург, жадно читался революционно настроенными студентами. Кроме уже известного нам «упразднения права наследственной собственности», а также уравнения прав женщины и уничтожения брака, Бакунин «основой экономической правды» выставлял «два коренных положения: земля принадлежит только тем, кто ее обрабатывает своими руками — земледельческим общинам. Капиталы и все орудия работы — работникам, рабочим ассоциациям». Наконец, «вся будущая политическая организация должна быть не чем иным, как свободною федерацией вольных рабочих — как земледельческих, так и фабрично-ремесленных — артелей (ассоциаций)» **.

Классовая основа бакунинского учения объясняет нам также типичные для него противоречия в области *национального вопроса*. Бакунин искренно считал себя интернационалистом. Он проповедывал разрушение всех государств и братский союз народов. Но между народами у него были народы-любимцы и были народы-враги, для которых он находил лишь самые мрачные краски. Прежде всего он питал пристрастие к *славянам*, и хотя в свой анархический период уже отказался от всяких пережитков панславизма, хотя он звал славян к полному разрушению и уничтожению царской империи, но все же важнейшей задачей своей жизни он считал объединение славянства *без различия классов* и его борьбу с *германской нацией*. Мало того, возлагая большие революционные надежды на французов и особенно на итальянцев, он Германию подчас прямо ненавидел и находил в ней лишь одни отрицательные стороны.

Для Бакунина весь германский народ — прирожденные лакеи и рабы. Ни в одной стране нет такого бюрократизма, такого милитаризма, такого культа столь ненавистной Бакунину государственности. Эту «государственность» немцев Бакунин особенно противопоставляет мнимым анархическим, анти-государственным стремлениям славян. Самого Маркса он считал германским патриотом, «пангерманистом», делающим по существу, лишь с другой стороны, ту же работу, что и Бисмарк. Но еще более пристрастно и односторонне, чем к немцам, относился Бакунин к евреям. Его многочисленные выходки против евреев носят характер самого грубого и вульгарного антисемитизма. Он считал всех

* Заимствованная им у сен-симонистов.

** Эта программа перепечатана полностью в «Историко-революционной хрестоматии», изд. «Новая Москва», 1923, стр. 74—76.

евреев эксплоататорами и паразитами и видел в них лишь одни недостатки. Все евреи, к каким бы партиям они ни принадлежали, связаны между собой общностью интересов и только этим интересам и служат. Все, что Бакунину не нравилось в Марксе и Лассале *, он объяснял, кроме их германского патриотизма, еще их еврейским происхождением. «Я убежден, — писал Бакунин, — что с одной стороны Ротшильды ценят заслуги Маркса, а с другой — Маркс чувствует инстинктивное влечение и глубокое уважение к Ротшильдам».

Этот антисемитизм Бакунина, с одной стороны, отражает ограниченный кругозор мелкого буржуа, особенно разоряющегося, который все свои несчастья склонен приписывать конкуренции еврейского капитала. Не даром еще Бебель называл антисемитизм «социализмом дураков». Но в то же время бакунинский антисемитизм объясняется также пережитками той социальной среды, из которой он вышел, его дворянским и офицерским воспитанием.

III

Борьба Маркса против Бакунина в I Интернационале означала не только идейную борьбу научного пролетарского коммунизма с мелко-буржуазным анархическим социализмом. Она имела огромное *практическое* значение, так как от ее результатов в значительной мере зависело направление рабочего движения в Европе в ближайшие десятилетия. Ибо бакунизм своим отрицанием политики и участия пролетариата в политической жизни, не говоря уже об отрицании необходимости для пролетариата борьбы за власть, за его революционную классовую диктатуру, — вносил разложение в рабочее движение, отвлекал его от прямых и насущных задач. Между тем, несмотря на то, что в основе учения и агитации Бакунина лежал главным образом стихийный протест разоряющегося мелкого производителя, как деревенского, так и городского, против торжествующего шествия капитализма, Бакунину все же удалось на довольно продолжительное время овладеть умами значительных групп революционных рабочих Италии, Испании, отчасти также Франции и Швейцарии, еще не «выварившихся в фабричном котле». Что касается Италии и Испании, то успех Бакунина объяснялся именно отсталостью и аграрным характером этих стран, в которых очень многие рабочие (как это еще в большей мере имело место и в России) были связаны с деревней. А во Франции и Швейцарии преобладало еще ремесленное и полуремесленное производство, причем во Франции консервативный мелко-буржуазный социализм Прудона, владевший в 60-х годах умами значительных групп рабочих,

* При этом он не видел огромного различия между ними.

особенно в Париже, — под влиянием обострения классовой б[illegible] бы и идей Интернационала, уступал место левому, революци[illegible]ному мелко-буржуазному социализму Бакунина.

Борьба Бакунина против Маркса носила и организацио[illegible] характер. Как известно, Бакунин нападал на Маркса за центр[illegible]изаторский характер руководимого им Интернационала и за его мнимые диктаторские замашки в этом Интернационале. В «Государственности и анархии» Бакунин писал *: «Как все теоретики, Маркс неизменный и непоправимый мечтатель на практике. Он доказал это своей несчастною кампаниею в Интернационал[illegible] обществе, имевшею целью установление его диктатуры в Ин[illegible]национале, а посредством Интернационала над всем револ[illegible]онным движением пролетариата Европы и Америки. Надо [illegible] или сумасшедшим или весьма отвлеченным ученым, чтобы зад[illegible]ся такой целью». В этой организационной борьбе Бакунин [illegible]единял также и ряд элементов рабочего движения разных стр[illegible] (например, Бельгии), которые не шли за бакунинским анар[illegible]мом, но по тем или иным причинам были недовольны полити[illegible] Генерального совета Интернационала. Все это вместе взятое соз давало опасность серьезного раскола в рабочем движении Евро пы 60-х и 70-х годов, раскола, который увлек бы многочислен ные группы революционно настроенных рабочих на заведомо [illegible]бельный путь и надолго обессилил бы рабочий класс. Этим [illegible]ясняется та страстность, которую проявили Маркс и Энгел[illegible] борьбе с Бакуниным; они совершенно правильно подозревали [illegible] в стремлении самому стать диктатором в рабочем движении. [illegible] была борьба не лиц, а разных методов, борьба научной, последовательной и выдержанной пролетарской программы и сплоче ной организации против путаной беспринципной демагогии и дез[illegible]организации. Это полностью подтвердил уже опыт первого восстания бакунистов в Испании в 1873 г., где бакунинское «воздержание от политики» внесло разложение в ряды восставших рабочих и фактически повело их за буржуазно-демократическими партиями. Критике этого восстания Энгельс и посвятил свою известную статью под названием «Бакунисты за работой».

В самом деле, не ко всем представителям мелко-буржуазного социализма относился Маркс с такой враждебностью, как к Бакунину. Ведь и Бланки был тоже представителем революцион[illegible] мелко-буржуазного социализма. Но его идеология была т[illegible] связана с традициями рабочих парижских предместий и со вс[illegible] французскими революциями. При всех его ошибках, при [illegible] его утопизме и идеализме и отсутствии четкой классовой позиции, он звал рабочих *на борьбу за власть*, он был сторонником революционной диктатуры, и это делало бланкизм на изв[illegible]стный период и до известной степени не только предшественником, но и попутчиком и союзником марксизма. Вот почему Маркс

* «Избранные сочинения», т. IV, стр. 299.

еще в 50-х годах называл Бланки единственным истинным вождем партии пролетариата в Париже в 1848 г. Вот почему также, относясь весьма критически к русским бакунистам, он с большим сочувствием и даже уважением относился к деятельности «Народной Воли», которая в значительной мере проникнута была идеями бланкизма.

Маркс лишь догадывался, что под видом раскольнической борьбы в Интернационале против его мнимой диктатуры кроется стремление самого Бакунина к диктатуре. Маркс знал, что Бакунин в недрах I Интернационала организовал свое собственное международное общество, так называемый «Альянс». Но чего Маркс не знал и что открылось лишь в наше время, это то, что Бакунин проявлял в своей борьбе с Марксом, выражаясь современным языком, своеобразное «двурушничество», а именно: нападая на руководство Интернационала за его централизацию и стремление к диктатуре, Бакунин, наряду с своим официальным учением, проповедывал среди особо доверенных и приближенных своих последователей организационные и политические принципы, *прямо противоположные этому учению.*

Прежде всего в организованном им еще до «Альянса» тайном обществе «Интернациональные братья» и особенно в уставе этого общества Бакунин призывал к строжайшей дисциплине. Вот в каких словах он формулировал эту дисциплину: «В недрах совета каждый брат имеет право и даже обязанность стараться проводить свои личные взгляды, но раз большинство совета или директории, во имя верховного авторитета, приняло решение, противное его мнению, никто уже не имеет права каким бы то ни было образом воздействовать на общественное мнение в несогласном с этим высшим решением направлении» *. При этом во главе проектируемого Бакуниным тайного международного общества должна была стоять еще более тайная, невидимая директория с почти неограниченными диктаторскими полномочиями.

Эту же диктатуру, диктатуру тайную, скрытую не только от врагов, но и от народных масс, предполагал проводить Бакунин и во время будущей революции. Если публично он неоднократно выражал ту мысль, что «страсть к разрушению есть в то же время творческая страсть», что из анархии сам собою рождается порядок, если в 1869 году находившийся тогда под его влиянием Нечаев (а, может быть, он сам) писал: «Мы имеем только один отрицательный, неизмеримый план — общего разрушения... созидать не наше дело, а других, за нами следующих», — то вот что писал Бакунин год спустя одному из своих близких агентов, французу Ришару: «Больше не будет *ни общественного порядка, ни общественного интереса.* Что же должно занять их место, дабы революционная анархия не привела к реакции? Коллективное действие невидимой организации, раскинутой по всей стране.

* «Материалы для биографии Бакунина», т. III, стр. 79.

Если мы не создадим этой организации, мы никогда не выйдем из состояния бессилия» *. И характерно, что в качестве примера такой невидимой и всемогущей организации Бакунин тут же приводил католический орден иезуитов, в котором было достигнуто полное растворение личности в коллективе и где царила железная дисциплина. В другом месте Бакунин еще точнее выразил свою мысль: «Существует одна лишь единственная власть, единственная диктатура, коей организация благотворна и возможна: коллективная незримая диктатура членов Альянса во имя нашего принципа». — «Мы будем... вызывать анархию» и, «незримые кормчие, руководить ею в народной буре» **.

Таким образом, резко выступая в своих официальных писаниях против централизованных и дисциплинированных партий, руководящих революционным рабочим движением, основоположник новейшего анархизма предлагал в то же время невидимую диктатуру тайной революционной организации, которую массы не только не могли бы контролировать, но о существовании которой они даже не должны были знать. Другими словами, пытаясь взорвать своей раскольнической деятельностью руководимый Марксом Интернационал во имя якобы самодеятельности и свободы рабочих масс, Бакунин в своих конфиденциальных письмах и организационных проектах проявлял чисто иезуитские взгляды на необходимость держать в руках поднятые будущей революцией массы при помощи тайной диктаторской власти, во главе которой должен был, конечно, стоять он сам.

С другой стороны, в некоторых его произведениях можно найти целый ряд мест, где Бакунин-революционер предлагал тактику, явно противоречащую основным принципам Бакунина-анархиста. А именно, отрицая, как мы знаем, какую бы то ни было государственную власть, даже самую революционную, Бакунин вынужден был в революционные моменты, когда требовалось немедленное практическое вмешательство в события, сам такую власть рекомендовать и даже создавать.

В упоминавшейся нами работе «Письма к французу», во многих отношениях гораздо более интересной и богатой мыслями, чем «Государственность и анархия», посвященной анализу положения Франции во время франко-прусской войны и проповеди социальной революции, мы почти на одной и той же странице встречаем следующие прямо противоположные мысли и предложения. «Чтобы спасти Францию, вы должны разрушить» французское государство, — писал Бакунин. — «Но раз государство, официальное общество будет разрушено, со всеми своими политическими, полицейскими, административными, юридическими, финансовыми учреждениями, возникнет естественное общество, на-

* Там же, стр. 159. Курсив наш.
** Там же, стр. 268—269.

род вернет себе свои естественные права *. Это будет спасение Франции единением деревень и городов в социальной революции». Такова была официальная точка зрения бакунинского теоретического анархизма, согласно которой из анархии сам собою рождается порядок путем добровольного на договорных началах объединения общин в свободную федерацию. Но как только дело доходило до практических политических советов, Бакунин вынужден был апеллировать к старому революционному лозунгу — лозунгу временного революционного правительства. Так, на той же самой странице, где говорится об уничтожении государства, предлагается «правительству, избранному парижским населением», выпустить воззвание ко всей Франции, которое пригласило бы все провинции, города и деревни, «восставшие во имя спасения Франции, федерироваться между собою, опять-таки снизу вверх, и послать своих делегатов в назначенное им место, куда Париж тоже, конечно, пошлет своих делегатов. И собрание этих делегатов составит новое временное и революционное правительство Франции» **.

Как видим, непосредственно революционная ситуация вынуждала Бакунина как революционера-практика требовать создания революционного правительства. При этом, в виде сделки с собственной анархистской «совестью», выдвигалось то соображение, что при выборе делегатов в этот новый конвент города и деревни будут «федерироваться между собою снизу вверх». Но это утешение неубедительное, так как всякие, столь ненавистные Бакунину демократические выборы происходят всегда именно «снизу вверх», и ничего анархического в этом нет.

Эту же мысль о временном правительстве развивал Бакунин и в частном письме к Ришару от 4 сентября 1870 г.: «Призыв ко всем коммунам: пусть они организуются и вооружаются, отбирая оружие у всех, кто его в настоящее время держит в руках и прячет. Пусть они пошлют своих делегатов в какое-нибудь место вне Парижа, чтобы составить временное правительство, фактическое правительство спасения Франции» ***. Инициативу этого должен был, по мнению Бакунина, взять на себя крупный провинциальный центр — Лион или Марсель. Мало того, во время лионского восстания в сентябре 1870 г. Бакунин даже подписался под прокламацией, которая, правда, в § 1 упраздняла государство, но в § 5 учреждала «комитеты спасения Франции», «которые, под непосредственным контролем народа, будут заниматься всеми делами правления», а в § 6 постановляла даже созвать «*революционный конвент* спасения Франции». При этом сам Бакунин давал такие советы лионскому «комитету спасения», ко-

* Здесь Бакунин возвращается к давно похороненной теории «естественного права» и «естественного состояния общества» мыслителей XVIII в., особенно Руссо.

** Бакунин, «Избр. сочинения», т. IV, стр. 205.

*** «Материалы», т. III, стр. 278.

III*

торый, правда, просуществовал лишь несколько часов, пока, по выражению Маркса, государственная власть в лице роты солдат не разогнала его: «Не теряйте времени в пустых разговорах. Действуйте: арестуйте всех реакционеров. Бейте реакцию в голову». Все это очень мало согласовалось с теорией немедленного упразднения всякой власти. И в то же время не случайным для Бакунина является оперирование такими терминами из эпохи Великой французской революции, как «комитет спасения» или революционный конвент, которые, как известно, воплощали в классической форме революционную *диктатуру*.

В самом деле, Бакунин несомненно сочувствовал якобинцам французской революции, творцам этой революционной диктатуры. В тех же «Письмах к французу», сравнивая деятелей 1848 и 1870 гг. с якобинцами Великой революции, Бакунин писал: «Помимо этих личных качеств, которые придают поистине характер героев людям 1793 г. («революционный ум, воля, энергия», словом, «бес в теле»), у якобинцев Национального конвента так удачно вышло с чрезвычайными комиссарами еще потому, что этот конвент был действительно революционным, и потому, что, опираясь сам в Париже на народные массы, на чернь, в стороне от либеральной буржуазии, он дал приказ своим проконсулам, посланным в провинции, опираться также всегда и везде на ту же чернь». А на следующей странице Бакунин как бы оправдывает комиссаров перед своей анархистской совестью: «Они не являлись в какую-нибудь местность для того, чтобы диктаторски провести в ней волю Национального конвента. Они делали это лишь в очень редких случаях и когда они являлись в местность, вполне и целиком враждебную и реакционную. Тогда они не являлись одни, а в сопровождении *войска*, которое *присоединяло аргумент штыка к их гражданскому красноречию*» *.

Итак, по мнению Бакунина выходит, что в борьбе с враждебными революции элементами весьма полезной оказывается революционная диктатура и «аргумент штыка». Но этим самым теоретически разбиваются в прах все отвлеченные рассуждения бакунинского анархизма и полностью подтверждаются те слова Маркса о задачах диктатуры пролетариата, которые мы приводили выше из его замечаний на «Государственность и анархию».

Позже, в статье о Парижской Коммуне Бакунин, правда, заявлял, что он ее сторонник «в особенности потому, что она была смелым, ясно выраженным отрицанием государства» (как известно, Маркс, Энгельс и Ленин видели в ней, наоборот, зародышевую форму пролетарской диктатуры); но в то же время он очень снисходительно относился в этой статье к «якобинскому» большинству коммуны и оправдывал «соглашательское» поведение склонявшегося к анархизму меньшинства следующим соображе-

* «Избранные сочинения», т. IV, стр. 149 и 150. Курсив наш.

нием: «Правительству и версальскому войску они были вынуждены противопоставить революционное правительство и войско, т. е. чтобы одолеть монархическую и клерикальную реакцию, они должны были, забыв и поступившись первыми условиями революционного социализма, прибегнуть к якобинской реакции» *. Здесь совершенно ясно из контекста, что упрек в забвении «первых условий революционного социализма» (так иногда называл Бакунин свой анархизм) приведен снова только для успокоения «теоретической совести», что все симпатии Бакунина-революционера на стороне «якобинской реакции», т. е. на стороне смелого и решительного революционного правительства.

Таким образом, если, как мы видим, во всех серьезных, решающих случаях Бакунин-революционер, с его бурным и страстным революционным темпераментом, с его ненавистью к господствующим классам, с его чутьем революционной обстановки, побеждал Бакунина, непримиримого теоретика анархии, то это делает честь *личности* Бакунина, но вместе с тем свидетельствует о банкротстве анархизма, как практической революционной *теории*, даже у величайшего ее основоположника. Ибо в чем была главная беда бакунизма, если отвлечься от его мелко-буржуазной основы, от того, что он был идеологией не промышленного пролетариата, а отсталых крестьянских и полупролетарских масс, которым капитализм несет гибель? Беда бакунизма, как *практического*, боевого, революционного учения — в том, что он не представлял себе, пока оставался на почве теории, в каких конкретных условиях будет происходить борьба и особенно *победа революции*. Все анархические идеи об упразднении государства разлетаются в прах, как только дело доходит до действительной гражданской войны, особенно, если она победоносна.

Огромный революционный опыт Бакунина внушал ему иногда и другие интересные и правильные взгляды на характер будущей социальной революции. Так, в «Государственности и анархии», анализируя опыт городских восстаний 1848 г., Бакунин отмечает, что в прежних революциях власти и армия имели против себя «не только народные массы, но и почтенных граждан, стоящих в их главе, университетское и политехническое юношество и, наконец, национальную гвардию, большею частью состоявшую из буржуа». — «Ни со стороны народа, ни со стороны войска никому в голову не приходило, что можно безнаказанно разрушать дома, улицы или резать десятки безоружных людей» (это, добавим от себя, конечно, не относится к подавлению июньского восстания парижского пролетариата в 1848 г.). А «с тех пор как беспощадность и всеразрушение стало паролем военного действия, старая, классическая, невинная буржуазная революция, посредством уличных баррикад, стала детскою игрою. Чтобы с успехом бороться против военной силы, отныне не уважающей ни-

* «Избранные сочинения», т. IV, стр. 252 и 256.

чего и притом вооруженной самыми страшными орудиями разрушения и готовой всегда воспользоваться ими для уничтожения не только домов и улиц, но целых городов со всеми их жителями, — чтобы бороться против такого дикого зверя, надо иметь другого, не менее дикого, но более правого зверя: всенародный организованный бунт, социальную революцию, которая так же, как и военная реакция, ничего не пожалеет и не остановится ни перед чем» *.

О Бакунине нередко высказывается мнение, что он считал революцию и восстание возможными в любой момент и при любых обстоятельствах. Это не совсем верно. Хотя, по мнению Бакунина, «всякий бунт, как бы неудачен он ни был, всегда полезен», так как развивает революционную энергию масс и может перекинуться на другие местности, стать всеобщим, тем не менее ему было не чуждо понимание того, что мы называем революционной ситуацией. В «Письмах к французу» Бакунин подчеркивает, что для восстания недостаточно еще ни нищеты и недовольства рабочих масс, ни даже их веры «в справедливость и необходимость торжества их дела», причем самая эта вера тоже далеко не всегда присуща массам. «Мы видим, что есть народы, доведенные до степени крайней нищеты, которые однако молчат... Это происходит оттого, что у них нет сознания своего права, ни веры в свою собственную силу; и так как у них нет ни этого сознания, ни этой веры, они в продолжение целых веков остаются беспомощными рабами». Но и сознание это и вера, раз возникнув, далеко не всегда развиваются, а иногда даже в этом отношении наблюдается определенный регресс и упадок. «Это, очевидно, зависит от характера событий данной исторической эпохи. Есть события, которые электризуют народ и толкают вперед; другие — оказывают до такой степени плачевное, отчаянное, угнетающее действие на общее состояние народного сознания, что крайне подавляют его... Можно вообще отличить в историческом развитии народа два противоположных движения, которые я позволю себе сравнить с морским приливом и отливом» **.

Конечно, все это рассуждение отличается своей абстрактностью и особенно столь характерным для Бакунина отсутствием сколько-нибудь четкого экономического и классового анализа конкретных исторических эпох. Но в то же время оно несомненно свидетельствует о том, что взгляды Бакунина на условия и предпосылки революции являлись далеко не столь упрощенными и наивными, как обычно думают. Впрочем каковы бы ни были те отдельные проблески революционного чутья и понимания революционной обстановки, какие встречаются в сочинениях и письмах Бакунина, они, повторяем, лишний раз подтверждают, что монументальная революционная фигура Бакунина была гораздо

* «Государственность и анархия», стр. 268 и 269—270.
** «Избр. сочинения», т. IV, стр. 214—215.

выше созданной им теории, но они в то же время ни в малейшей степени не ослабляли того вредного и разлагающего влияния, какое вносил бакунизм в рабочее движение эпохи I Интернационала. И именно эти характерные для бакунизма отрицательные черты и подхвачены были всеми позднейшими анархистами разных стран. Вот почему марксизм не только при жизни Бакунина, но и гораздо позднее, решительно боролся со всеми попытками его последователей, до анархо-синдикалистов включительно, отвлечь рабочее движение от его важнейшей задачи — борьбы за диктатуру пролетариата.

IV

Когда на Гаагском конгрессе I Интернационала в 1872 г. Маркс потребовал исключения Бакунина и его сторонников, то кроме его раскольнической политики против него были выдвинуты также обвинения в сношениях с известным русским революционером Нечаевым, заговорщицкие методы которого могли скомпрометировать европейское рабочее движение. Но при этом Маркс не знал, что именно Бакунин являлся автором того самого нечаевского «катехизиса революционера», который фигурировал на нечаевском процессе и на ряд лет дискредитировал нечаевские методы в глазах русских революционеров. Предположение об авторстве Бакунина высказал на процессе адвокат Спасович, но оно не встретило поддержки в широких революционных кругах. А знавший об авторстве Бакунина его ближайший единомышленник и сотрудник М. П. Сажин хранил об этом молчание *в течение более полувека*. Поэтому бакунинское учение было воспринято русскими революционерами-семидесятниками в его, так сказать, чистом, не затемненном никакими противоречиями анархическом виде. Но нескольких лет было достаточно, чтобы опыт борьбы с самодержавием показал всю несостоятельность и внутреннюю противоречивость бакунизма в русских условиях даже для народников, и бакунизм был вытеснен из русского революционного движения сперва «Народной Волей», а затем марксизмом.

По известному выражению Ленина, «анархизм нередко являлся своего рода наказанием за оппортунистические грехи рабочего движения. Обе уродливости взаимно дополняли друг друга». В самом деле, при частичном возрождении бакунизма в конце XIX и особенно в XX веке (в форме анархо-синдикализма) он имел наибольшее влияние там, где революционные элементы рабочего класса, которых отталкивала соглашательская и предательская политика реформистов, не создали прочной и сильной марксистской партии. С этой точки зрения чрезвычайно поучительна также судьба бакунизма в России, где он пережил законченную эволюцию от бакунизма 70-х годов до махновщины.

Если сам бакунизм являлся в значительной мере идеологией

не городского промышленного пролетариата, а разоряемых капитализмом мелких сельских и городских производителей, а также деклассированной интеллигенции, то как объяснить живучесть бакунизма и его пережитки в Европе и Америке XIX и даже XX века? В своей замечательной статье «Разногласия в европейском рабочем движении», напечатанной в 1910 г., Ленин объясняет как реформизм, так и анархо-синдикализм в европейском рабочем движении противоречиями капиталистического развития, а также непрерывным пополнением пролетарской армии все новыми слоями вливающихся в него элементов мелкой буржуазии. «Капитализм прогрессивен, ибо уничтожает старые способы производства и развивает производительные силы, и в то же время, на известной ступени развития, он задерживает рост производительных сил. Он развивает, организует, дисциплинирует рабочих, — и он давит, угнетает, ведет к вырождению, нищете и т. д.». Не умея по-марксистски диалектически понять эти противоречия, и анархо-синдикализм и реформизм, по мнению Ленина, хватаются «за *одну* сторону рабочего движения». В частности, если «ревизионисты считают фразами все рассуждения о «скачках» и о принципиальной противоположности рабочего движения всему старому обществу» и «принимают реформы за частичное осуществление социализма», то «анархо-синдикалист отвергает «мелкую работу», особенно использование парламентской трибуны. На деле эта последняя тактика сводится к поджиданию «великих дней» при неумении собирать силы, создающие великие события».

С другой стороны, «привлечение новых и новых «рекрутов», втягивание новых слоев трудящейся массы неизбежно должно сопровождаться шатаниями в области теории и тактики, повторениями старых ошибок, временным возвратом к устарелым взглядам и к устарелым приемам и т. д.». Наконец, «китайской стены между пролетариатом и соприкасающимися с ним слоями мелкой буржуазии, в том числе и крестьянства, нет и быть не может. Понятно, что переходы отдельных лиц, групп и слоев от мелкой буржуазии к пролетариату не могут не порождать, с своей стороны, колебаний в тактике этого последнего» *.

Так, мы уже знаем, что в I Интернационале Бакунин опирался в своей борьбе против Маркса на итальянские, испанские и частично швейцарские секции. При этом созданный Бакуниным, после его исключения из Интернационала, анархистский интернационал просуществовал до 1877 г. Затем анархистские идеи возродились на некоторое время в Германии под влиянием ставшего анархистом Иоганна Моста и в противовес оппортунистическим шатаниям германской социал-демократии конца 70-х годов, шатаниям, которые резко критиковали также Маркс и Энгельс. В 80-х и 90-х гг. анархизм переживает полосу упадка и вырождается в акты индивидуального террора (Франция, Ита-

* Ленин, Соч., т. XV, стр. 5—9.

лия, отчасти США), нередко связанные с провокациями секретной полиции и являющиеся ответом на террор буржуазии и реакцией на реформизм социалистических и профсоюзных вождей. Лишь после революции 1905 г. начинается полоса возрождения бакунизма в новой форме анархо-синдикализма, охватывающего так называемые романские страны и опять-таки США, где возникает своеобразная анархо-синдикалистская организация «Индустриальных рабочих мира». Анархо-синдикализм стоит уже на почве крупной промышленности, опирается на профсоюзы, но отрицает парламентаризм и вообще политическую борьбу и ставит своей задачей совершить социалистическую революцию при помощи всеобщей стачки и затем передать фабрики и заводы в распоряжение отдельных профсоюзов. В этом опять-таки сказывается характерное для Бакунина и бакунистов непонимание всего значения планового хозяйства в деле строительства социализма.

Известно, как боролись анархисты против диктатуры пролетариата после Октябрьской революции. Но характерно при этом то упорное непонимание экономической роли диктатуры пролетариата в переходный период, которое сказалось даже у виднейших идеологов нашего отечественного анархо-синдикализма. Так, анархо-синдикалист Волин в ряде длиннейших статей, помещенных в газете «Голос Труда» в ноябре и декабре 1917 года под общим заглавием «Наши ближайшие задачи» и «Нужен ли нам центр», развивал следующую любопытную идею. Никакого централизованного руководства ни производством, ни распределением, вообще никакого единого, планового, социалистического хозяйства не нужно. Ведь существует же капиталистическое хозяйство, функционируя в общем бесперебойно и удовлетворяя все важнейшие потребности общества, — без всякого плана и всякого централизованного руководства. *То же самое* надо сделать и у нас после социалистической революции. Стоит только заменить отдельных капиталистов и мелких производителей коммунами, группами производителей, рабочими и крестьянскими организациями, имеющими в своих руках те или иные фабрики, заводы, участки земли и т. д., и между всеми этими самостоятельными коллективами будет происходить обмен ко всеобщему благополучию. Таким образом, как и в капиталистическом обществе, спрос и предложение являются единственными регуляторами всего народного хозяйства. Все остается на своих местах, процесс перехода к анархо-коммунистическому строю совершается без всякой ломки общества.

И вот, казалось бы, Россия, где на протяжении последних 50 лет быстрое развитие капитализма в его новейших формах совмещалось с отсталым общественно-политическим строем, в котором долго сохранялись и остатки натурального хозяйства, и пережитки крепостничества, и самый дикий азиатский деспотизм государственной власти, — представляла особенно благоприятную почву для развития бакунизма. Между тем, если борьба анар-

хизма против марксизма-ленинизма еще частично продолжается в капиталистических странах, несмотря на великий опыт Октябрьской революции, то в России анархизм никогда не пользовался широким влиянием в народных массах, а в стране диктатуры пролетариата, Советском Союзе, борьба бакунизма с научным коммунизмом получила свое историческое завершение *и в теории и в практике.* Анархизм совершенно обанкротился и исчез с общественной арены.

«Если в России, — писал Ленин в «Детской болезни «левизны» в коммунизме», — несмотря на более мелко-буржуазный состав ее населения по сравнению с европейскими странами, анархизм пользовался в период обеих революций (1905—1917) и во время подготовки к ним сравнительно ничтожным влиянием, то это, несомненно, следует поставить отчасти в заслугу большевизму, который вел всегда самую беспощадную и непримиримую борьбу против оппортунизма. Говорю: «отчасти», ибо еще более важную роль в деле ослабления анархизма в России сыграло то, что он имел возможность в прошлом (70-е годы XIX века) развиться необыкновенно пышно и обнаружить до конца свою непригодность как руководящей теории для революционного класса» *.

В самом деле, русская революционная, демократическая интеллигенция 70-х годов охотно восприняла бакунизм, как свой символ веры, не только вследствие своей ненависти к царскому самодержавию, не только даже вследствие своего разочарования в европейских формах господства буржуазии, особенно после Парижской Коммуны, но и потому, что идеология этой интеллигенции косвенно отражала также смутные настроения крестьянской массы, страдавшей и от помещиков, и от разорявшего ее капитализма, и от угнетавшей ее орды чиновников. Вот одна из причин той тяги, того влечения к крестьянству, того желания слиться с ним, стать выразительницей его нужд, интересов и упований, которые так характерны для революционной интеллигенции 70-х годов. Вот почему также это мировоззрение, получившее название *народничества,* можно считать одной из разновидностей — по-интеллигентски понятого и выраженного — утопического, уравнительного крестьянского социализма с его ненавистью ко всякому государству и всякой государственной власти, ненавистью, уживавшейся еще с наивной верой в царя и его справедливость.

В своей статье «Демократия и народничество в Китае», говоря о платформе временного президента китайской республики демократа и революционера Сун-Ят-Сена, Ленин отмечал, что «передовой китайский демократ рассуждает буквально, как русский. Его сходство с русским народником так велико, что доходит до полного тождества основных мыслей и целого ряда отдельных выражений». Поэтому ленинская характеристика Сун-Ят-Сена и

---

* Ленин, Соч., т. XXV, стр. 180.

шедших за ним китайских народников целиком относится и к нашему народничеству 70-х годов.

«Без высокого, искреннего демократического подъема, который зажигает трудящиеся массы и делает их способными совершать чудеса и который виден в каждой фразе платформы Сун-Ят-Сена, было бы невозможно действительное освобождение китайского народа от векового рабства. Но эта идеология боевого демократизма сочетается у китайского народника, во первых, с социалистическими мечтами, с надеждой миновать путь капитализма для Китая, предупредить капитализм, а во вторых, с планом и проповедью радикальной аграрной реформы. Именно эти два последние идейно-политические течения и представляют тот элемент, который образует *народничество* в специфическом значении этого понятия, т. е. в отличие от демократизма, в добавление к демократизму». Далее, духовный и революционный подъем масс «предполагает и порождает самое искреннее сочувствие к положению трудящихся масс, самую горячую ненависть к их угнетателям и эксплоататорам. А в Европе и Америке, от которой передовые китайцы, *все* китайцы, поскольку они переживали этот подъем, заимствовали свои освободительные идеи, на очереди стоит уже освобождение *от* буржуазии, т. е. социализм. Отсюда неизбежно возникает сочувствие китайских демократов социализму, их *субъективный* социализм» *.

Как видим, субъективный, утопический «крестьянский социализм» (Ленин) наших народников 70-х годов вполне соответствовал тому левому крылу утопического, мелко-буржуазного социализма, которое было представлено яркой фигурой Бакунина. Но зато специфический бакунинский анархизм, с его теорией немедленного и окончательного разрушения всякого государства, попав на русскую почву, испытал ряд злоключений, запутался в безвыходных противоречиях и был отброшен огромным большинством русских революционеров 70-х—80-х годов. Действительно, согласно учению Бакунина, революционеры-народники считали, что борьба за конституцию, за политическую свободу не только не нужна народным массам, но является вредной и даже опасной, так как конституция лишь укрепила бы у нас буржуазию и содействовала бы развитию ненавистного капитализма. Но логика борьбы с правительством, которое их беспощадно преследовало, и разочарование в близости крестьянской революции привели их к необходимости бороться именно за политические права, за конституцию, за учредительное собрание.

При этом характерно, что именно бакунинская идея «разрушения» или по крайней мере «дезорганизации» правительственного аппарата, — идея, которую в 1869 г. с особой силой и настойчивостью проводил Нечаев, наиболее была воспринята во 2-й половине 70-х гг. южно-русскими бакунистами — «бунтарями».

---

* Ленин, Соч., том XVI, стр. 26 и 28. Курсив принадлежит Ленину.

этими особенно типичными выразителями мелко-буржуазной стихии. Но эта самая «дезорганизация» неизбежно, непосредственной логикой борьбы превращалась в чисто политический террор, который и возник прежде всего на юге и который должен был завершиться центральной террористической организацией, поставившей своей целью — вместо всеобщего крестьянского восстания — борьбу с царизмом, т. е. борьбу политическую.

Если, таким образом, одна часть бывших бакунистов из организации «Земля и Воля» в процессе своего развития пришла к своему собственному отрицанию и в лице созданной ею новой организации «Народной Воли» стала государственниками, боровшимися за политические реформы или даже за власть, то другая часть, вышедшая из «Черного Передела», этого наследника старой «ортодоксальной» «Земли и Воли», часть, наиболее связанная с рабочим классом, восприняла учение Маркса и стала родоначальницей российской социал-демократии.

Так завершилась первая фаза в развитии русского анархизма. Те противоречия, какие были заложены в учении самого Бакунина, выявились во весь рост в процессе реальной революционной борьбы.

Что касается анархизма эпохи первой революции, то он вырос уже на почве капитализма и являлся перенесением на русскую почву европейского анархизма XX века. При этом он не получил большого распространения не только потому, что в России была подлинно революционная пролетарская партия в лице большевиков, которая боролась с оппортунизмом всякого рода, но и потому, что большевизм боролся *на два фронта*, и против открытого оппортунизма, и против мнимо-революционной фразеологии, что большевизм продолжал традиции Маркса и Энгельса в своей борьбе *и с самим анархизмом*. Так, подобно тому, как Энгельс в начале 90-х годов одобрил исключение анархистов из II Интернационала, Ленин в 1905 г. считал вполне правильным постановление Петербургского совета рабочих депутатов о недопущении анархистов в Исполнительный комитет и Совет. При этом Ленин делал существенное различие между революционными демократами, с которыми марксисты могут блокироваться в известных случаях во время борьбы с царизмом, и анархизмом.

«По существу дела, — писал Ленин. — Совет Рабочих Депутатов является неоформленным, широким, боевым союзом социалистов и революционных демократов, причем, конечно, «беспартийная революционность» прикрывает целый ряд переходных ступеней между теми и другими. Необходимость в таком союзе очевидна для ведения политических стачек и других, более активных форм борьбы за насущные, признанные и одобренные гигантским большинством населения, демократические требования. Анархисты в таком союзе будут не плюсом, а минусом; они внесут лишь дезорганизацию; они ослабят этим силу общего на-

тиска; они еще «могут спорить» о насущности и важности политических преобразований... В боевом союзе место только тем, кто борется за цель этого союза». — «Международные социалистические съезды, — продолжал Ленин, — недаром приняли решение о недопущении анархистов. Между социализмом и анархизмом лежит целая пропасть, которую тщетно пытаются представить несуществующей провокаторствующие агенты сыскной полиции или газетные прислужники реакционных правительств. Миросозерцание анархистов есть вывороченное наизнанку буржуазное миросозерцание. Их индивидуалистические теории, их индивидуалистический идеал находятся в прямой противоположности к социализму. Их взгляды выражают не будущее буржуазного строя, идущего к обобществлению труда с неудержимой силой, а настоящее и даже прошлое этого строя, господство слепого случая над разрозненным, одиноким мелким производителем. Их тактика, сводящаяся к отрицанию политической борьбы, разъединяет пролетариев и превращает их на деле в пассивных участников той или иной буржуазной политики, ибо настоящее отстранение от политики для рабочих невозможно и неосуществимо» *.

Позорное поведение виднейших анархистов и анархо-синдикалистов во время мировой войны, причем ближайший ученик Бакунина Гильом выставлял его как французского патриота и ярого германофоба, а другой ученик Бакунина Кропоткин сделался преданным рыцарем Антанты, затем борьба анархистов против пролетарской диктатуры в России, закончившаяся трагикомической карикатурой бакунизма в лице махновщины, — все это подвело окончательный итог исторической тяжбе бакунизма с марксизмом в I Интернационале. Вот почему программа Коминтерна говорит, что анархизм, отрицая диктатуру пролетариата во имя абстрактной «свободы», «лишает пролетариат важнейшего и самого острого орудия против буржуазии, ее армий, всех ее репрессивных органов. Далекий от какого бы то ни было массового движения в важнейших центрах пролетарской борьбы, анархизм все более превращается в секту, всей своей тактикой и всеми своими выступлениями, в том числе и выступлениями против диктатуры рабочего класса в СССР, объективно включающую себя в единый фронт антиреволюционных сил».

А та разновидность бакунизма, которая называет себя «революционным синдикализмом» и анархо-синдикализмом, или частично переходит на службу к фашизму, как это имело место в Италии, или, как в испанской революции, сыграла и играет до сих пор определенно дезорганизующую, а то и прямо штрейкбрехерскую и предательскую роль и тем содействует временному торжеству буржуазии. Еще раз,— надеемся, в последний,— в но-

* Ленин, Соч., т. VIII. стр. 410—411.

вой обстановке и как раз в тех странах, где Бакунин пользовался наибольшим успехом, показали себя *«бакунисты за работой»*.

Впрочем, историческое банкротство бакунизма, доказанное всем опытом рабочего движения в капиталистических странах и победоносной пролетарской революцией на одной шестой части земного шара, не ослабляет интереса к огромной и своеобразной фигуре Бакунина-революционера.

Б. Горев.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Третий том сочинений и переписки Бакунина, содержащий его произведения за первый период его пребывания за границей, охватывает время от начала июля 1840 г. до выхода его брошюры «Русские дела», летом 1849 года.

Это был один из важнейших и плодовитейших периодов в жизни Бакунина, когда до тех пор смутные философские и политические воззрения его оформились в более отчетливую систему, приняв в первой области облик фейербаховского материализма, а во второй отлившись в форму крайнего левого демократизма и «крестьянского социализма». К сожалению дошедшие до нас документы (как письма самого Бакунина, так и свидетельства его современников, для первого периода с 1840 п 1842 год весьма немногочисленные) не дают нам возможности заглянуть в ту лабораторию, где совершались ломка его прежних правогегелианских воззрений и выработка новых, сначала левогегелианских, а затем и определенно фейербаховских взглядов в области философии и радикально-демократических стремлений в области политики. Обо многом здесь приходится только догадываться и судить о бурном процессе идейной ломки, совершавшейся за эти годы в душе Бакунина, по результатам этого глубокого психологического процесса, ярко выразившимся как в его письмах к родным и друзьям от 1842—1843 гг., так и в его статьях «Реакция в Германии», «Письмо с острова Ж.-Ж. Руссо» и «О коммунизме», напечатанных в этом томе под №№ 448, 471 и 475.

Быстрота этого процесса философского и политического полевения Бакунина позволяет нам предположить, что зародыши этого крутого перелома заложены были в душе его благодаря впечатлениям, вынесенным из русской жизни. Очевидно уже в России Бакунин, несмотря на квиетическую и консервативную «словесность» его московской переписки, бесед в кружке Станкевича и статей в «Московском Наблюдателе» (предисловие к «Гимназическим речам Гегеля») и «Отечественных Записках» («О философии»), напечатанных во втором томе настоящего издания, не был свободен от критического настроения, можно да-

же сказать — отрицательного отношения к явлениям тогдашней русской общественной жизни. Только в таком смысле можно толковать слова Герцена о «революционном такте» Бакунина, который не позволял ему заходить в приятии николаевской «действительности» так далеко, как это делал неуемный В. Белинский. Стоило только под влиянием находившейся тогда в процессе брожения европейской жизни и воспоминаний о мерзостях жизни российской сбросить с себя ярмо навязанного себе насильно квиетизма и искусственно надетые на себя из отчаяния и неверия в возможность борьбы шоры преклонения перед «разумной действительностью» для того, чтобы сразу повернуть на 180 градусов. Если Белинский после нескольких месяцев проживания в Петербурге, центре российского палочного государства, поспешил непочтительно распрощаться с философским колпаком Гегеля и признать борьбу с «поганой расейской действительностью» первою задачею всякого честного человека, то Бакунину в Берлине, этом центре мятущейся тогда Германии, получавшем вдобавок нескончаемые электрические зарядки от непереставшего извергать пламя парижского вулкана, было еще легче проделать этот процесс освобождения от идеологии, в свое время усвоенной только в результате отсутствия в России 30-х годов шансов на революцию и неверия в возможность появления сил, способных эту революцию осуществить.

Далее начинается эволюция Бакунина от философского свободомыслия к радикальным политическим воззрениям, принимающим, особенно к середине 40-х годов в Париже, форму крайнего демократизма с туманным социалистическим уклоном и анархистскими симпатиями, форму крестьянского социализма, выражавшего стремления как русского крепостного крестьянства, так и сельской демократии славянских стран Австро-Венгрии, где Бакунину пришлось действовать в 1848 году. В конечном счете эти радикально-демократические и крестьянско-социалистические стремления Бакунина вылились в инспирированный им богемский заговор 1849 года, который должен был повести к радикальному устранению всех пережитков абсолютизма и феодализма и к созданию вольной мужицкой демократии, а затем в отчасти вынужденное участие Бакунина в неожиданно вспыхнувшем майском восстании в Дрездене, которое и оказалось лебединой песней первого периода его европейской деятельности и закончилось его арестом, после чего он на долгие годы исчез за высокими стенами различных крепостей, а затем в снегах сибирских пустынь.

И этот дальнейший процесс идейной эволюции Бакунина находит в документах третьего тома далеко не полное отражение. О многих стадиях этого процесса, равно как о причинах его и побудительных мотивах, зачастую приходится скорее догадываться по интуиции, чем умозаключать по точным текстам. Нужно впрочем сказать, что об этом периоде его жизни, охватывающем

примерно время с переезда в Париж, т. е. с лета 1844 года, до ареста, т. е. до мая 1849 года, — эпохе, пожалуй самой решительной в биографии Бакунина и окончательно определившей весь дальнейший ход его жизни, — имеется больше свидетельств как современников и друзей Бакунина, так и его самого, чем о предыдущем. В ряде своих последующих писаний и особенно в «Исповеди» (печатаемой в четвертом томе настоящего издания) Бакунин сообщает ряд фактов, относящихся к ходу его умственного развития и политического роста, но все же этих сообщений недостаточно для полного проникновения в скрытый механизм пережитого им идейного перерождения. Указания самого Бакунина и его современников мы большей частью приводим в комментариях как к третьему, так и к четвертому тому настоящего издания. Вот почему читателю, желающему составить себе более ясное и полное представление об этом предмете, следует считаться с документами и комментариями обоих указанных томов.

Как показывают печатаемые в третьем томе документы, Бакунин с этого времени выходит на широкую политическую дорогу, на которой с перерывами, не от его воли зависящими, остается до конца дней своих. Отныне с его именем связаны крупнейшие исторические события как в России, так еще больше в Западной Европе. Теперь становится возможным говорить о его политических взглядах. Правда, в рассматриваемый период они еще не отливаются в окончательную форму; в дальнейшем они подвергаются еще довольно существенным изменениям. Но в общих чертах они уже складываются в некоторую более или менее определенную систему, которая в главном при всех вариациях и дополнениях сохраняется у Бакунина до конца.

Третий том сочинений Бакунина содержит 140 документов, в том числе много впервые публикуемых как на русском языке, так и вообще. Печатаемые в этом томе документы можно разделить на четыре основные группы: 1) письма Бакунина к родным, в большей части опубликованные А. Корниловым сначала в «Былом», а затем во втором томе семейной хроники Бакуниных («Годы странствий Михаила Бакунина»). У Корнилова эти документы напечатаны отчасти в неточном переводе, отчасти с пропусками и ошибками: все эти недостатки устранены в настоящем издании, в котором документы эти публикуются нами с оригиналов, хранящихся в бывшем Пушкинском Доме, ныне Институте Русской Литературы Академии Наук Союза ССР; 2) документы, взятые у Бакунина при обыске, частью в копиях пересланные в свое время в Россию и содержащиеся в третьеотделенском «Деле» о М. А. Бакунине, а оттуда перепечатанные в первом томе «Материалов для биографии М. А. Бакунина» Вяч. Полонского. Все недостатки публикаций А. Корнилова, неполнота и неточность перевода в издании Вяч. Полонского достигают гомерических размеров, доходя до прямого извращения текста; поэтому эти переводы пришлось полностью забраковать и произ-

вести всю работу заново, так что в нашем издании эти документы даются в точном виде; 3) письма Бакунина к разным лицам, хранящиеся в различных архивах (чешских, польских, германских и пр.) и до сих пор выявленные: часть из них уже была опубликована до нас, но везде, где это было возможно, мы старались сверить эти публикации с оригиналами (как мы сделали это с письмами к П. Анненкову, Г. Гервегу и т. п.) или с фотокопиями (как мы сделали с письмами к Л. Ходьзко, к Лемпицкому и т. д.); 4) статьи и брошюры Бакунина, опубликованные им в французских, польских, чешских и немецких газетах и журналах или отдельно: везде, где это было возможно, мы старались использовать для нашего издания оригинальный текст или фотоснимки, и только в тех случаях, когда это оказывалось решительно невозможным, мы пользовались печатным текстом других авторов, стараясь подходить к нему критически и вносить в него требуемые смыслом поправки, всюду разумеется оговариваемые нами. В комментариях мы даем подробные указания относительно происхождения и местонахождения всех публикуемых нами документов и относительно поправок, вносимых нами или в текст самого Бакунина (где явно видна описка или опечатка), или в текст, опубликованный до нас другими авторами.

В заключение выражаем горячую благодарность лицам и учреждениям, помогшим нам в составлении настоящего тома путем предоставления нам ряда публикуемых в нем документов, в особенности администрации б. Пушкинского Дома, администрации Института Маркса, Энгельса и Ленина, директору Центрального литературного музея т. В. Д. Бонч-Бруевичу, Всесоюзному Обществу политкаторжан и ссыльно-поселенцев и др.

Повторяю свою просьбу сообщать мне о неопубликованых рукописях или портретах М. А. Бакунина по адресу: *Москва, пл. Свердлова 2/4, «Метрополь», 1-й подъезд, кв. 12, Ю. М. Стеклову.*

Москва, 2 июня 1934 г.

Ю. Стеклов.

М. А. БАКУНИН

ПЕРИОД ПЕРВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

№ 399. — Письмо родным.

На пароходе. — 30 часов от Травемюнде. — Четверг. 10 часов утра.

4-го июля 1840 [года].

Милые друзья! Вот я и на открытом море, — уже два дня, как не видно берегов. В продолжение всего нашего плавания был противный ветер, даже маленькая буря. Почти всех укачало, исключая меня и еще двух пассажиров. Я почти не сходил с палубы и не спускал глаз с величественного, для меня совершенно нового зрелища. Вчера погода утихла, небо было ясно, и я видел захождение солнца, восхождение луны вчера вечером, а сегодня восхождение солнца. Наконец-то я увидел настоящее безграничное море, и никогда не позабуду его.

Петербург произвел на меня тяжелое впечатление *; мелочные дрязги моего былого кружка настигли меня и в Петербурге, и я искренно распростился со всеми этими господами. Мне не очень-то легко было порвать все эти связи, которыми я в свое время так дорожил. Но в конце концов это стало необходимо. У меня не может быть ничего общего с теми мелкими, жалкими погремушками, которые ныне заполняют их существование, с этими мелкими самолюбьицами, воскуряющими фимиам друг другу, — и я отошел от них с душевной радостью.

Вот почему пребывание в Петербурге оставило во мне тяжелое, томительное чувство [1]. Правда, что я несколько отдохнул душою в обществе Герцена и жены его **, но только *несколько*. Нужно было другое, сильнейшее средство, — и я нашел его в море. У меня нет описательного слога, и потому я не стану описы-

* Отсюда до конца абзаца по-французски в оригинале.
** Александр Иванович и Наталья Александровна.

вать его; скажу только, что оно мало-по-малу освободило мою душу от всех мелочей, томивших ее, и настроило ее к чему-то торжественному.

Да, милые, добрые друзья, все глупое, пошлое и мелочное, все это исчезло из моей памяти; осталось только существенное, только то, что действительно входило в мое развитие, в мою внутреннюю жизнь. Как часто я думал об вас, как желал вашего присутствия, для того чтобы передать вам чувство невыразимого восторга, наполнявшего душу мою. Да, друзья, наша взаимная неразрывная любовь есть наше общее, драгоценнейшее сокровище; в ней чувствую я себя дома, в ней все для меня понятно, в ней не боюсь я глупых недоразумений, не боюсь предаться свободному течению своей жизни, которое может иногда заблуждаться, но которое никогда не теряет из виду истины, — своей единственной цели и своего единственного назначения.

Покамест прощайте, иду на палубу смотреть на остров Борнгольм.

«Законы осуждают предмет моей любви».

Танюша, это к тебе относится. Милая, хорошая девочка, пиши мне скорее и люби меня по-прежнему [2].

А ты, милая Ксандра *, не позабывай своего обещания, я с тобой был откровенен, плати мне тем же [3].

Ваш

М. Бакунин.

4-го июля, четверг. — 12 часов. В 10 часах от Травемюнде.

Завтра часов в 10 утра мы прибудем в Травемюнде. Сегодня проехали два острова: Борнгольм и Рюген, — последний представил мне мало замечательного, но первый поразил меня. Берега: гранитные высокие скалы, на высшей из них — древний, полуразрушенный замок, вдали цветущие луга, рощи, деревни, — все это так мило, грациозно; маленькие, чистенькие домики с красными крышами, купающиеся в садах; а берег такой грустный, унылый; множество чаек. Я вспомнил стихи Гейне, так верно выговаривающие эту строгую и вместе глубокую северную красоту, да еще «Pirate» ** Вальтер-Скотта. Во всем что-то груст-

---

* Сестра Александра.

** «Пират» — роман Вальтер-Скотта.

ное, унылое и вместе величественное, бесконечное, могучее, — северная жизнь и красота.

Покамест прощайте, друзья; из Гамбурга еще напишу.

Итак завтра я вступаю в новый мир, — с верою и с свежим, теплым чувством, открытым для всех впечатлений. Все, что хоть несколько войдет в мою жизнь, будет мне * известно. Прощайте, милые, хорошие друзья. Пишите мне скорее.

Послезавтра я буду в Гамбурге, где пробуду до вторника, а в среду буду в Берлине.

5-го июля.

Сейчас приехал в Любек. Сейчас же едем в Гамбург. Оттуда немедленно буду писать родителям, у которых прошу теперь поцеловать ручки.

№ 400. — Письмо сестре Варваре.

Гамбург, 18 $\frac{8}{20}$ 40. Июль. Понедельник.

(8 — 20 июля 1840 года).

МилаяВаринька! Я пишу тебе с художником Серебряковым [1], с которым мы выехали вместе из Петербурга и с которым вероятно расстанемся сегодня вечером. Он думает быть дней через 20 на Лукских водах, где вероятно найдет тебя, [Н. В.] Станкевича и [А. П.] Ефремова.

Вот и я также за границею, Варинька. Во мне еще такая ералашь, что я ничего не могу сказать тебе о себе определительного, — и грустно и весело вместе; опять вера, опять надежды; все окружающее меня так ново, оригинально, все это дышит такою веселою, живою жизнью. Теперь спешу в Берлин, где должна начаться моя новая жизнь. Я уверен, что мне будет хорошо там, потому что я всею душою предамся науке, а наука для меня — не только одно отвлеченное знание, но и жизнь вместе. В последнее время я стал несколько пиетистом; беспорядок в занятиях, почти совершенное одиночество в стремлении к высшему религиозному и философскому знанию, неопределенность моей

* Это — явная описка вместо «вам».

будущности, — все это вместе с некоторыми весьма неприятными и запутанными обстоятельствами согнуло мою прежнюю энергию и, породив во мне тяжелое, постоянное уныние, заставило меня спрятаться в себе. Одним словом мне было нехорошо, я был болен и чувствую теперь, что мне необходимо крещение; я жду этого возрождения в Берлине и, кажется, найду в нем то, чего ищу.

Ты не можешь себе вообразить, как грустно мне было расставаться с Прямухиным. Маменька осталась та же — ein Naturkind, etwas durch eine falsche Erziehung verdorben *; иногда добра, иногда очень сердита, капризна, несправедлива, привязчива; манерами, словами и поступками своими беспрестанно оскорбляет эстетическое чувство; совершенное отсутствие женственности. Впрочем она любит нас, я в этом убедился при расставании. Но папенька совершенно изменился. Он стал так мягок, кроток, снисходителен: святой старик. В последнее время он был так грустен, ему было так грустно расставаться со мною, что я готов бы был остаться, если б не был убежден, что, оставшись, я буду в тягость и себе самому и всему семейству. Сестер ты знаешь, и потому мне нечего говорить тебе о них; разница только та, что после твоего отъезда и после кончины Любаши они почти совсем утратили ясность духа; они почти всегда грустны, бедные девочки, им тяжело жить на свете.

Ты поймешь, как грустно нам было расставаться. Одно успокаивает меня: брат Николай, который служит теперь в артил[лерийской] бригаде, стоящей в Твери, — славный, благородный, умный человек, с любящею душою; он будет заменять меня, будет крепкою подпорою для сестер. Кроме этого и другие братья уже подросли. Павел — уж совсем не ребенок; в последнее время мы с ним очень сблизились и были почти неразлучны. Алексей берет уроки у Лангера и совершенно счастлив; Лангер же удивляется его способностям и его прилежанию. Александр будет брать уроки рисования и верно будет хорошо рисовать. Илья — добрый и благородный малый, влюблен в Анну Петровну Ушакову и потому несколько фразерствует. С Беeровыми ** произошла также счастливая перемена: Наталья стала менее тре-

---

* Дитя природы, несколько испорченное фальшивым воспитанием.

** Сестры Наталья и Александра Андреевны Беер.

бовать от жизни и образовала в себе действительную покорность судьбе и действительное самоотвержение, а Alexandrine смягчила несколько свое стоическое, отвлеченное самоотвержение, стала человечнее в своих отношениях с друзьями и не боится более требовать от них и от жизни. Они — святые женщины, так горячо и свято любят, так немногого требуют и так свято и кротко умеют покоряться необходимости, что ты не узнала бы их. Константин * — также славный, благородный малый, под флегматическою внешностью его скрывается горячее, любящее сердце. Он принадлежит к нашему маленькому, тесному кружку, в котором мы все так свободны, так счастливы, так уверены друг в друге.

Вот тебе, милая Варинька, полный и подробный отчет во всем касающемся до наших родных и друзей. Я ни слова не сказал тебе об Alexandrine **; — но я жду от тебя ответа на мое последнее письмо, которое вероятно удивило тебя, и тогда уже скажу тебе все, что думаю и знаю.

Тебе теперь хорошо, друг, ты окружена родными, любящими тебя людьми, ты теперь отдыхаешь от всего перенесенного и выстраданного тобою. Напиши мне в Берлин хорошее, большое письмо; тогда я буду уже и сам вероятно в состоянии отвечать тебе отчетливее, чем теперь; а теперь у меня сумбур в голове. Скажи [Н. В.] Станкевичу, что я не пишу ему, потому что еще не могу писать; приеду в Берлин — напишу. Что его здоровье? Не давай ему простужаться. Я знаю, и ему будет хорошо с тобой. Попроси его, чтобы он прислал мне рекомендательное письмо к Вердеру [3]. Папенька писал к St.-Эльмскому коменданту *** и к Муравьеву **** во Флоренцию [4]; смотри, чтобы они не писали, что ты поехала в Рим, ведь ты ничего не писала об этом родителям. Прощай, друг, из Берлина напишу.

М. Бакунин.

Поклонись от меня [А. П.] Ефремову.

---

* Брат предыдущих.

** Сестре Александре (Бакуниной) [2].

*** Генерал Руберти.

**** Муравьев-Апостол, Иван Матвеевич.

№ 401. — Письмо сестрам Беер.

Берлин. 18 $\frac{25}{13}$ 40. Июль.

(13 — 15 июля 1840 года).

Вот я наконец и в Берлине, друзья. Сухопутное и морское странствие мое продолжалось ровно 22 дня. 22-го июня отправились мы вместе с сестрами и братьями в Казицино, и вечером часов в 9 простился я с ними надолго. Со мной поехали в Торжок Павел и Алексей, с которыми я простился 23-го июня поутру и сел в дилижанс; 25-го прибыл в С[ан]кт-Петербург; 26-е, 27 и 28 июня употребил на разные хлопоты; виделся несколько раз с Белинским; последнее свидание наше вполне убедило меня в том, что мы совершенно разошлись с ним. Было время, когда мы могли понимать друг друга, когда в наших существованиях было что-то единое, нераздельное; теперь же мы потеряли друг друга из созерцания; мы идем совершенно противоположными путями. Не знаю, как он обо мне думает, но я никогда не перестану думать и быть уверенным, что при всем его внешнем цинизме и несмотря на совершенно ложное направление, которому он теперь следует, в нем много глубокого, святого. Мне грустно за него, потому что он глубоко страдает; он — мученик обстоятельств и своего ложного направления *. В данный момент это — неудавшаяся жизнь; но наступит время, я в этом вполне уверен, когда он найдет осуществление более полное и более отвечающее его глубокой натуре.

Герцен, а особливо жена его, были моею отрадою в Петербурге; он — прекрасный, умный, благородный человек; а она — святое, любящее, истинно женственное существо. Я был дома с ними. 29-го июня поутру сел я на маленький пароход, который должен был отвезть пассажиров в Кронштадтский рейд на большой любекский пароход. Но противный ветер был так силен, что после двух часов плавания мы должны были возвратиться в Петербург. В 6 часов вечера опять отправились и прибыли в Кронштадт в 1 час ночи. Из Кронштадта выехали 30-го июня в полдень и пробыли на море 5 дней и 5 ночей. Я в первый раз в жизни видел настоящее безбрежное море. Если б вы знали, друзья, как оно хорошо. Я долго, долго смотрел на него, и чего не пере-

* Дальше до конца абзаца по-французски в оригинале.

чувствовал и не передумал в этом безмолвном и совершенно одиноком созерцании, — одиноком, потому что я оставался на палубе поздно ночью в то время, как все уходили в каюты спать, смотрел на луну и беспрестанно думал об вас, сестрах и братьях, моих истинных и единственных друзьях. В эти пять дней я успел передумать все прошедшее и с трепетным ожиданием смотрел на свою будущность, которая, верьте, друзья, нераздельна с вашею будущностью. Наши жизни крепко связаны неразрывными, священными узами, и что вы ни говорите, ничто не в силах расторгнуть их. Неправда ли, друзья, вы сами уверены в этом?

4/16 * июля прибыли мы в Травемюнде, на который вид с моря восхитителен; все так живо, деятельно, оригинально. Из Травемюнде отправились мы втроем, полковник Ломан, художник Серебряков и я, в Любек. Последний познакомился во Флоренции с Станкевичем и Ефремовым; он поехал в Италию, к Лукским водам, где увидится с ними и с Варинькою; вследствие чего я ему поручил отдать ваши вещи Станкевичу и Вариньке.

Германия произвела на меня чудное впечатление; теперь я не могу еще отдать в нем полного отчета. Хорошо, очень хорошо. Она даст мне то, что мне нужно. Я достигну в ней своей цели.

4/16-го ** же июля прибыли мы втроем в Гамбург, где и пробыли три дня. Не смейся, Костя! *** Окрестности чудесные, немки премиленькие, все говорят: «Ja wohl».

9/21-го полковник Ломан и я выехали с лон-кучером **** из Гамбурга; с нами ехали плотники из Бремена, — молодые люди, которых по обыкновению бременский магистрат послал путешествовать и работать в чужих людях; они пели нам свои национальные песни. На дороге купил одну философскую книжку и читал ее всю дорогу, а сегодня в 6 часов вечера прибыли в Берлин. С завтрашнего дня начнутся мои хлопоты; нужно устроиться. Город прекрасный, мне будет в нем хорошо во всех отношениях.

Теперь пора спать; прощайте, друзья. Я не прошу вас не позабывать меня и любить меня попрежнему, потому что уверен в неизменяемости вашей, но прошу вас верить в глубину и неизменяемость моей любви к вам.

---

* В оригинале по ошибке сказано: 4/12.

** Тоже.

*** Беер.

**** Извозчик.

Покамест пишите ко мне Poste-restante *, а когда устроюсь, напишу вам свой настоящий адрес.

Прощайте. Ваш

М. Бакунин.

Настасье Владимировне ** прошу засвидетельствовать мое глубочайшее почтение.

Перевод с немецкого

№ 402.— Письмо родным.

[Берлин, 28 июля — 9 августа 1840 года.]

(После просьбы Варвары, чтобы сестра Татьяна прислала ей дневник своей болезни, который будет показан известному врачу Шенлейну, продолжает М. Бакунин).

Слышишь, Танюша, непременно, без всяких отлагательств. Это может быть для твоего здоровья очень полезно. А ты знаешь, как здоровье необходимо для крепкой, духовной жизни ***.

Любезные друзья, ваше желание исполнилось, мы соединились с Варинькой, но мы слишком дорогою ценою заплатили за это соединение: Станкевич, этот святой, возвышенный человек, нас оставил. Я не знаю как, но его смерть не подавляет меня, напротив в ней есть нечто возвышающее, внушающее веру и крепость. Его бессмертный дух парит над нами, он передал нам священное назначение и безмерно глубокую загадку своей жизни как единственную цель, к которой мы все должны стремиться и осуществление которой будет неисчерпаемым источником блаженной **** любви и наслаждения. Он теперь к нам ближе, чем когда-либо прежде, он нас не оставил. Такая смерть, как его, есть преодоление смерти, высокое откровение бессмертия и бесконечной мощи живого и поистине вечного духа. В Вариньке, ее личности все мы, включая сюда Бееров, неразрывно связанных

* До востребования.

** Беер, мать Натальи и Александры.

*** Дальше по-немецки в оригинале.

**** В оригинале сказано «seeligen», т. е. душевной, но это — вероятно обычная бакунинская манера писать слово «selig» (блаженный), как во времена увлечения Фихте (см. т. I).

с нашей небольшой духовной семьей, осуществили наше полное примирение. Он наш, ему не чуждо высшее и глубочайшее слово нашей общей жизни и стремления. Да, друзья, я надеюсь, я совершенно уверен в том, что его смерть и вас не придавит, и что вы, как и мы, понимаете ее глубокое и освободительное значение и живо и глубоко прочувствуете ее в себе и найдете в ней новый неисчерпаемый источник духовной, высокой и блаженной жизни. Друзья, мы все много выстрадали, мы понесли большие потери, но мы должны и можем встречать это радостно. В основе всей нашей жизни лежит бесконечная истина, единственно делающая нас человечными и блаженными; и это святое основание нашего общего духовного бытия составляет также его единую цель, цель, которая не является недостижимой и которой мы достигнем. Наш союз, наша взаимная любовь зиждутся на прочном основании, и потому они также нерасторжимы.

Опыт и время разбили все, что действительно к ней не принадлежало; мы остались одиноки, вокруг нас простирается лишь огромная пустыня, на которой нам попадались карикатурные тени нашей собственной внутренней жизни, — тени, которые мы по ошибке принимали за родственные души. Теперь мы очень хорошо знаем, что это за души, и как мало они нам родственны. Мы чувствуем себя одинокими, но в этом одиночестве мы не одни: из бесконечной глубины вечной истины течет к нам полнота истинной, духовной и блаженной жизни. Вот почему, друзья, мы хотим взаимно хранить верность друг другу.

Саша *, если ты истинно любишь Б[откина], то выходи за него замуж. Мы тебя любим, а истинная любовь не в состоянии требовать и принимать жертв. Но знаешь ли ты, что значит любить? Женщина, любящая мущину, находит в нем и только в нем одном высочайшее разрешение и осуществление своей глубочайшей внутренней жизни. Скажи мне, милая, является ли его существо как раз таким, которое гармонически объединяет в себе священнейшие стороны твоего существа, находишь ли ты в нем осуществленным твой идеал настоящего, божественного мужа? Если это так, то выходи за него замуж. Но горе тебе, если все это было лишь обманчивой фантазией. Она отнимет у тебя святость твоей жизни, священное достоинство твоей женственности и блаженство любви — если не навсегда, то надолго, и ввергнет

* Слово «Саша» (т. е. сестра Александра) по-русски в оригинале.

тебя в грязную, совершенно чуждую духу прозу повседневной обыденщины. Брак, основанный на истине и проникнутый истинною, божественною любовью, составляет высшее достоинство жены, высшее увенчание всей ее жизни. Но чем глубже и священнее сущность брака, тем грязнее и унизительнее не соответствующая его сущности действительность. Взойди в самое себя и следуй только истинному побуждению твоего духа *.

Наша берлинская жизнь совершенно тиха и вполне отвечает потребностям нашего духа. Мы познакомились с Вердером: это — прекрасный человек. Он уже несколько раз был у нас. Теперь он уехал на два месяца. Зимой мы надеемся его часто у нас видеть. Мои занятия пойдут хорошо. Этой зимой я буду слушать лекции Вердера: 1. по логике и 2. истории философии; Ватке [1] — по теологии; Габлера [2] — по феноменологии и физике **.

Милый Паша, дай осмотреться, обо всем буду писать, а при случае пошлю тебе несколько полезных тебе книг. Не можете ли вы как-нибудь прислать нам песни Лангера? Когда будешь в Москве, пришли мне адрес Редкина *** и Грановского ****. Месяц посвящаю немецкому языку, а через месяц примусь за греческий. Скажите папеньке, что я непременно пришлю ему семян.

Друзья, пишите больше и обо всем до вас касающемся.

На-днях напишу Бееровым и Шпилевскому *****.

Ваш брат и друг

М. Бакунин.

Вариринькино присутствие в Берлине должно оставаться величайшею тайною ******.

Пишите мне обо всём — и худом и хорошем без исключения, что родители обо мне и о Вариньке будут говорить.

---

* Весь этот абзац выпущен у Корнилова, но пропуск не указан и не оговорен.

** Отсюда по-русски в оригинале.

*** Петр Григорьевич.

**** Тимофей Николаевич.

***** Тверской полковник.

****** Отсюда по-немецки в оригинале.

№ 403. — Письмо братьям и сестрам.

18 $\frac{30}{18}$ 40 августа. Берлин.

(18 — 30 августа 1840 года).

Милая, бедная Танюша! Тяжело тебе теперь жить на свете; все кругом страдают. Саша молчит, да про себя знает; Паша ждет только берлинского пистолета для того, чтоб застрелиться; а ты должна утешать то того, то другого; к тому же никто и утешиться не хочет, все хотят страдать. В самом деле, милая, хорошая, добрая девочка моя, тебе должно быть часто тяжело *. И твоя собственная внутренняя жизнь сама еще не свободна от бесконечных горестей и противоречий. Ты дорогой ценой купила высокое достоинство своего любвеобильного женского сердца. Мои слова, Танюша, не являются какой-нибудь незаслуженной похвалой. Ты можешь сама в себе сомневаться; нет ничего естественнее, что в то время, как ты о самой себе рефлектируешь (а одностороннее рефлектирование о самой себе составляет еще довольно часто твой величайший грех), ты открываешь в себе чудовищнейшие чувствования и помышления. К сущности рефлексии и принадлежит то, что когда отчаиваешься в своей любви и достоинстве, не находишь в себе никакой любви и никакого достоинства. Всякая человеческая натура содержит в себе возможность всякого зла, как и всякого добра, и когда слишком много о себе рефлектируешь, когда слишком много занимаешься жалкими мелочами своей отдельной индивидуальности, то возможность зла представляется действительностью, а возможность добра — полнейшим отсутствием такового. Но все это — одна видимость: из копания в своем отдельном я не может явиться истина. Правда, все мы это прекрасно знаем, в этом все мы совершенно убеждены, и, несмотря на это, мы, впав в такую несчастную рефлексию, мучимся так, как будто бы мы об этом ничего не знали. Отчаяние в своей любви и в своем достоинстве служит наилучшим доказательством их присутствия в человеке; когда нас к чему-нибудь тянет, значит это что-то имеется в нас; иначе и само это влечение было бы невозможно; это — только внутреннее противоречие, а

---

* Дальше по-немецки в оригинале.

всякое внутреннее противоречие необходимо указывает на свое разрешение.

Отчаяние в самом себе есть болезнь, которая может быть излечена лишь с помощью вдумчивого рассмотрения и воли; это еще некий род эгоизма, скверного ячества; однако против бесконечной силы воли они устоять не могут; они должны ей покориться и приспособиться к бесконечному достоинству и божественному блаженству проникнутого любовью и вечно отрицающего себя в любви человека.

Постоянное самоотрицание есть величайшее страдание, но вместе с тем и высочайшее блаженство. В нем сама конечность, этот единственный источник всех наших страданий, становится источником высшего блаженства, поскольку она существует лишь для того, чтобы раствориться в бесконечности.

Wohl endet Tod des Lebens Noth,
Doch schauert Leben vor dem Tod.
So schauert vor der, Lieb'ein Herz,
Als ob es sey vom Tod bedroht.
Denn wo die Lieb erwachet, stirbt
Das Jch, der dunkele Despot.
Du lass ihn sterben in der Nacht
Uud athme frey in Morgenrot *.

Самоотрицанием *только* конечного и личного в человеке в нем становится действительным и жизненным богочеловек, вечная история вочеловечения бога **.

Милая, прекрасная другиня моя, я теперь вполне понимаю всю истину совета, данного мне [Н. В.] Станкевичем в его последнем письме ко мне: жить тихо, спокойно, наслаждаться тем, что дает настоящее, делать все, что можно, в настоящем, не требовать от себя слишком многого, но вместе и не давать себе слишком много воли, и не слишком думать и заботиться о буду-

---

* Хотя кончает смерть нужду жизни,
Однако жизнь трепещет перед смертью,
Так трепещет сердце от любви,
Как если бы ему грозила смерть.
Ибо, где родится любовь, там умирает «я»,
Этот мрачный деспот.
Ты оставь его умирать в ночи
И свободно дыши на заре.

** Дальше по-русски в оригинале.

щем[1]. Эти слова основаны на глубоком знании человеческой природы; вот смысл, скрывающийся в них: человек рожден от духа божьего, божественная истина — его начало и его конец, единственная цель его жизни. По существенной природе своей он бесконечен и может удовлетвориться, быть истинно счастливым и спокойным только в бесконечном. Но он и конечен также и как конечный не соответствует своей бесконечности, не может вполне осуществить ее в себе; как конечный он окружен препятствиями, противоречиями, от которых находится в зависимости, не может заключить в одном определенном действии всей бесконечности своей духовной натуры; часто падает, противоречит самому себе. Это противоречие есть необходимый результат его конечности; но оно — не неразрешимое противоречие. Оно не только что не должно разрушать гармонии, но существует единственно только для истинной гармонии, которая не иначе возможна как через самоотрицание конечного в бесконечном.

Всякая истинная потребность, всякое истинное движение — все это необходимо должно осуществиться. С этой уверенностью можно быть спокойным.

Ein guter Mensch im seinem dunklem Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst *

1 сентября ** 1840 [года].

Милая Танюша, видишь, как я разболтался. Все эти дни мне так хотелось говорить с тобой и Павлом.

Вот вам обоим мое наставление:

Не теряйте времени в сомнениях в себе, потому что это — пустейшее занятие из всех выдуманных человеком.

Не рефлектируйте на свое прошедшее и не думайте о том, что то, что было, могло бы быть иначе, и что если это было бы иначе, то оно было [бы] лучше. Такая рефлексия есть ложь и грех против духа, потому что в ней заключается следующая мысль: «правда, что во мне л е ж а л а возможность лучшего, но эта возможность есть только п р о ш е д ш а я, и с ч е з н у в ш а я

---

* «Добрый человек в своем стремленье темном
Найти сумеет настоящий путь».
(«Фауст»).

** В оригинале описка: сказано «августа».

возможность, и для меня теперь нет выхода». Такая мысль есть л о ж ь, потому что она отрицает сущность духа. Дух не есть прошедшее, но н а с т о я щ е е: die ewige Gegenwärtigkeit *, вечное присутствие составляет его сущность. Правда, что в конечном п р о и с х о ж д е н и и своем, как человеческий дух, он зависит от индивидуальности человека, от временного развития ее и от внутренних и внешних обстоятельств, [об]условливавших его. Как конечный дух он имеет п р о ш е д ш е е, от которого зависит его настоящее; но это настоящее не есть еще истинное, вечное п р и с у т с т в и е духа, но конечное, ограниченное прошедшим и будущим. Оставаясь в нем, человек может и должен страдать, может и должен жаловаться на свое прошедшее и бояться за свое будущее. Но он не должен оставаться в этом конечном настоящем, er soll nicht die endlicne, vergängliche Gegenwart seines indiwiduellen Lebens gegen die wahre und ewige Gegenwart des Geistes erstarren **. В этом настоящем есть еще остаток эгоизма, потому что эгоизм есть не что иное как удержание, противоположение своей конечности бесконечному. Человек должен отрицать свою конечность, свое конечное настоящее, — которое вследствие своей конечности беспрестанно проходит, — в бесконечной, свободной и благодатной истине вечного, безвременного присутствия духа. С этим отрицанием конечного, которое в свою очередь есть не что иное как отрицание бесконечного, с этим отрицанием отрицания человек возвышается в свою истинную сущность, в свою истинную, святую, благодатную отчизну, где он чист, свят, достоин, не потому, что он не грешен, и не потому, что он никогда уже не будет более грешить, но потому, что в сознании своей истинной бесконечной сущности, в области вечного духа он снял свой грех, сознал его ничтожество и вместе первоначальную свободу и святость своего духа ***.

«В области конечного существует условие, что каждый остается тем, что он есть; сделал он зло, он — злой человек; зло

---

* Вечное настоящее.

** Он не должен конечное, преходящее настоящее своей индивидуальной жизни противопоставлять истинному и вечному настоящему духа.

*** На полях здесь написано: «Die Phänomenologie führt mit Nothwendigkeit auf den Anfand der Logik», т. е. «Феноменология ведет с необходимостью к началу логики». Эта надпись показывает, что письмо написано на листе, который первоначально намечался под какой-то конспект.

существует в нем как его качество. Но уже в морали и еще более в сфере религии дух *сознает себя свободным*, утвердительным в себе самом, так что та ограда его, которая тянется вдаль ко злу, для бесконечности духа не существует: *дух может сделать случившееся неслучившимся;* действие остается в воспоминании, но дух отбрасывает его» *.

Мы мерим обыкновенно вечного духа своею индивидуальною, конечною меркою, и в этом заключается наша главная ошибка, ложь и причина всех наших рефлексий и страданий. Никогда нельзя *слишком много* полагаться на могущество его; все это будет напротив *слишком мало* в отношении к нему. Как только мы возвысились в его область, мы уже не зависим более ни от прошедшего, ни от настоящего, потому что он не имеет другой причины и другого начала кроме самого себя **. С того момента, как я до него возвысился, я от всего конечного и злого свободен; прошедшее становится ничем, только вечное присутствие духа становится моею действительностью и истиною. В этот момент я обладаю всею полнотою истины, несмотря на мое конечное прошлое. Для меня, как для конечного, этот момент постижения в вечном присутствии духа опосредствован моим прошлым, но в тот самый момент, когда я себя в нем постигаю, я уже не конечен, а действительно бесконечен, т. е. бесконечен в моей конечности, и для меня как для бесконечного уже не существует никакого прошлого. Дух есть первое и последнее, он опосредствуется только через себя и собою, победоносен и единственно истинен и действителен. В нем лишь мы истинны и действительны, в нем наша индивидуальность становится личностью.

Это можно понимать так, что истина состоит в абстрагировании от всякой индивидуальности, в полном исчезновении индивидуальности. Но это — не действительная, не живая истина, которая для меня действительна и жива лишь постольку, поскольку она в своем инобытии, в конечном и определенном находит свою бесконечную полноту.

Человек не должен застаиваться в бесконечной и общей неопределенности своего существования — в этом абстрактном пребывании он будет хотя и бесконечен, но в то же время и бессодержателен и мертв. Он должен жить и действовать, но когда

---

* Этот абзац по-немецки в оригинале; дальше по-русски.

** Дальше по-немецки в оригинале.

он живет и действует, он становится конечным и определенным. Бесконечный дух, составляющий его существо, его истину, может проявляться в нем лишь конечным способом, в такой-то определенной и определенными обстоятельствами модифицированной индивидуальности, в такое-то определенное время, в таком-то ограниченном пространстве и при определенных обстоятельствах. Стану ли я отсюда заключать, что я, хотя являюсь в возможности бесконечным, в действительности только конечен? Да, когда я стану отстаивать конечность временного пребывания, ограниченного пространства и моей естественной индивидуальности против моей истины, против бесконечной истины духа, — тогда я конечен. Когда я поддерживаю их в окоченелости и вместе с тем хочу найти в них истину и бесконечность, я необходимо должен страдать; однако причина моего страдания будет корениться в моем эгоизме, в моей окоченелости. Но когда я привожу их в текучее состояние, когда я снимаю их в истине как подчиненные моменты и рассматриваю их в свете вечности, тогда я совершенно свободен и вопреки блаженству моей конечности или вернее именно вследствие моей конечности, моей снятой конечности, тогда я даже в конечном, определенном, ограниченном обладаю полнотою божества и блаженством единого сына человеческого, навеки примиренного с богом.

Поэтому, милые, будьте спокойны и веселы. Стремитесь и имейте всегда цель вашего стремления в себе.

Gedenke deiner Fehler nicht mit Leid,
Mit Rache gegen dich; du strafst sonst Jemand,
Der damals noch nicht war, den Besseren.
Du willst dich strafen, also bist du besser;
Heut lebst *Du*, sie sind nicht mehr *deine* Fehler.
Gedenke deiner Fehler nicht mit Freude—
Dann sind sie, dann beginnst du noch von heute.
Ungöttlich ist die Reue, die versteinert!
Die dich zu alten Höllengeistern stösst!
Denn in dir tiefgeheim und seligrein
Lebt immer fort ein heiligstiller Geist
Viel edler, reiner als ein Wille je.
Der Geist ist Mensch. Als dieser Geist soll sich
Der Mensch empfinden. Dieser immer seyn!
Du sollst ein Mensch sein, immer, immer wieder,
Nach jeder Nacht, so wie nach jedem Fehl
Nach jedem Tag, so wie nach jedem Guten.
Das du gefehlt hast, lehre dich das Eine:

Du kannst auch heut' in andern Dingen fehlen:
Nur denke nicht: wie wirst du Morgen fühlen?
Was Morgen Gutes thun? Was schlimmes fehlen?
Die Stunde bringt dem Menschen seine That;
Es bringt der Feind dem Tapfern seine Kraft;
Den nächsten Schritt allein thu immer richtig!
Die nächste That allein thu immer gut!
Das gute nur zu thun, gedenke immer,
So meidest du auf Götterart das Böse *.

Вот тебе, милая Танюша, выписка из сочинений L. Schefer [2], которые мы с Варинькой купили для того, чтоб при первом случае переслать к тебе.

Еще несколько слов из Гегеля, и моя длинная проповедь кончена **.

«В духе лежит сознание, что нет такого греха, который нельзя было бы отпустить, если утрачена естественная воля,

---

* Не вспоминай о своих ошибках с сожалением,
С злобою против себя; иначе ты караешь того,
Которого тогда еще не было: лучшего.
Ты хочешь себя наказать, значит ты лучше.
Сегодня живешь *ты*, это уже больше — не *твои* ошибки.
Не вспоминай о своих ошибках с радостью:
Тогда они существуют, тогда ты теперь начинаешь их заново.
Небожественно такое раскаяние, от которого человек каменеет,
Которое толкает тебя к старым адским духам.
Ибо в тебе в тайной глубине и блаженной чистоте
Постоянно живет свято-тихий дух,
Более благородный и более чистый, чем воля.
Дух это — человек. Этим духом должен
Сознавать себя человек, всегда им быть.
Ты должен быть человеком, всегда и всегда.
После каждой ночи, как и после каждого проступка,
После каждого дня, как и после каждого доброго дела.
Пусть твои промахи учат тебя одному:
Ты можешь провиниться и сегодня, в других вещах.
Только не думай о том, что ты будешь чувствовать завтра,
Что делать завтра доброго, что делать злого.
Час приносит человеку его дело,
Враг приносит храброму силу.
Делай лишь ближайший шаг всегда правильно!
Делай лишь ближайшее дело всегда хорошо!
Помни всегда о том, чтобы делать одно добро.
Так по-божески избегнешь ты дурного.

** Последние два короткие абзаца по-русски в оригинале.

кроме только греха против духа святого, отречения от духа; потому что только он есть власть, могущая все отменить» *.

Итак безграничная вера в духа и добрая и сильная воля. С ними можно жить спокойно, беззаботно, как бы сказать, припеваючи; я начинаю это чувствовать, дай бог и вам того же **.

Дорогие друзья, часто вам должно быть очень тяжело на сердце. Вы много выстрадали внутренне и внешне. Но вместе с тем вы щедро вознаграждены, — ваши души чисты и богаты и обращены только к истине, красоте и добру. Честь и счастье быть истинным человеком слишком много стоют. Но венцом и высшим наполнением жизни является святая любовь, а потому объединимся еще крепче, еще теснее, если это только возможно. Одна любовь способна освободить и завершить человеческую жизнь ***.

Милые друзья, с тех пор как я здесь с Варинькою, я начинаю понемногу оживать; опять вера и сила; все так тихо, верно, хорошо; за логику я уж принялся, и дело пошло хорошо; чувствую, что все пойму и все узнаю.

Zwar weiss ich viel, doch möcht ich alles wissen! (Wagner) ****.

Паша, теперь я делаю дельные записки; не огорчайся, ты также все узнаешь. Так как здесь за письма в Россию денег не берут, то я буду писать для тебя самые ясные и вместе самые спекулятивные записки и буду посылать тебе. Я уж начал. Ты все поймешь: зная тебя, я в этом уверен. Через два месяца выйдет «Логика» Вердера. Я тебе пришлю ее, пришлю также записки, слово в слово составленные с его лекций. Я взял их у студента Menzer, с которым в отсутствие Вердера прохожу теперь логику — не за деньги, а по дружбе. Он — умный, хороший человек, логику всю хорошо произошел. Милый Паша, я велю переписать эти записки и пришлю тебе. Ты мне пиши свои сомнения, а я буду разрешать их. Только непременно принимайся за Логику. После наших зимних толков ты теперь смело можешь за нее приняться.

Прощайте, милые друзья, в будущем письме буду писать более описательным слогом.

М. Бакунин.

---

* Дальше по-русски в оригинале.

** Отсюда снова по-немецки в оригинале.

*** Отсюда снова по-русски в оригинале.

**** «Я знаю, правда, много, но знать хотел бы все» (Вагнер в «Фаусте»).

№ 404. — Письмо сестрам Беер.

18 $\frac{9}{28}$ 40. Сентябрь. Берлин.

(28 августа/9 сентября 1840 года).

Милые друзья, Вы вероятно уже знаете, что Варинька здесь, что мы живем с нею вместе, и вследствие какого грустного обстоятельства она сюда приехала. Станкевич умер. Иногда это меня нисколько не удивляет, иногда же кажется так странным, невозможным, что до сих пор не верится почти. Его нет более на свете; его образ, его голос, жесты, одним словом вся светлая личность его, которая так живо сохранилась в памяти каждого из нас, — мы ее более не увидим. Ужасно странно. А я только-что стал снова верить в возможность сближения с ним, я так много ожидал от свидания, от нового соединения с ним, вера в возможность этого нового, еще полнейшего соединения давала мне так много блаженства. И вот все теперь рушилось, его более нет на этом свете.

Есть минуты, когда его смерть нисколько не удивляет: жил, умер — тут ничего странного, необыкновенного. Но когда представишь его себе живее, когда вспомнишь, чем он был для каждого из нас, как он между нами всеми и истиною был всегда живым, святым посредником, как он одним присутствием своим пробуждал в душе человеческое, тогда смерть его наводит страх. Иногда мне кажется, что с его смертью разорвалась последняя связь между нами и небом. Но нет, друзья, смерть его не должна отрывать нас от неба, но напротив еще крепче соединять с ним. Его личность была свята и истинна, но истинное не умирает, и его смерть есть лучшее удостоверение в бессмертии индивидуального духа. Он и здесь не умер для нас; его образ никогда не исчезнет в нас, никогда не перестанет быть для нас живым путем к святому; а дух его еще сильнее укоренится в нас; посеянное им не засохнет, не умрет в нас, но принесет живой плод. Да, я верю в это, всякий раз, как я чувствую в себе присутствие бесконечного, присутствие любви и истины, он присутствует во мне и благословляет жизнь мою. Вы должны чувствовать то же самое, и это общее чувство, эта живая, плодотворная вера должны еще крепче соединить нас.

Милые друзья, вы в своей жизни много вынесли, еще много ужасных страданий висят над вашими головами; но если вы вспо-

2*

мните, чего вы достигли путем ваших страданий, то вы должны благословлять их. Вы достигли человеческого сознания и возможности человеческой жизни в глубоком, в бесконечном значении этого слова, а для достижения такой цели можно много вынести.

Alexandrine, вы были больны; и мне кажется, я почти уверен, что причина вашей физической болезни заключается в болезни вашего еще не примиренного духа. Будьте спокойнее, не давайте ложным рефлексиям приводить вас в отчаяние и отнимать у вас то, чем вы так богаты и что так неотъемлемо принадлежит вам. Вы ищете любви, а ее так много в собственной груди вашей. Доверяйте ей только более, дайте ей волю, и, поверьте, она не обманет вас, она даст вам все, что вам нужно, все, чего вы только, как истинная, святая женщина, имеет только * право требовать **.

Вы хотите понимать, дорогой друг, и думаете, что Вы лишены этой способности, ибо не можете делать все сразу. Не впадайте только в отчаяние: Вам все удастся. Всякое истинное и действительно живущее в человеческой груди стремление должно исполниться. Все, чего требует Ваше любящее сердце, дастся Вам. Доверьтесь только больше Вашим внутренним порывам, не давайте своему духовному взору померкнуть от туч, поднимающихся из геены пустого и растлевающего рефлектирования. Загляните смело в глубь Вашей души, и Вы откроете там такие сокровища любви, истины и блаженства, о которых Вы и не подозревали. Святого духа любви, исполняющего всю нашу жизнь, следует искать не вдали, не вне нас, — он живет внутри нас, и мы можем его слышать, ощущать и сознавать, если только умолкнут дурные страсти и ложь конечного мышления. Против страстей и лености духа мы должны направить волю. Воля всемогуща, для нее нет ничего невозможного, потому что ее природа бесконечна, потому что ее сущностью является бесконечная свобода. Воля это — бесконечная сила самоотрицания в истине, отрицание всех узких противоречащих человеческой природе побуждений и конечного, противного истине мышления, отрицание своего дурного ячества, а результатом этого самоотрицания является благодать, пребывание духа, бесконечной любви в человеке. Чем глубже внутреннее существо

* Два раза «только» в оригинале.
** Дальше по-немецки в оригинале.

человека, тем сильнее его враги, а чем сильнее враги, тем глубже и шире святое примирение вновь нашедшего себя в любви человека. О, друг, как осчастливливает нас сознание нашего ничтожества, нашей слабости, если оно одновременно является полным самоотречением, признанием бесконечной мощи обитающего в нас святого духа. Раскаяние только тогда истинно и свято, если оно одновременно является возвышением и просветлением, если оно одновременно является самоотречением и любовью. Только эта святая скорбь истинна; иное раскаяние, ведущее к отчаянию, есть ложь, и мы не должны ему доверять, мы должны преодолевать его бесконечной мощью нашей воли и нашего мышления. Спокойствие и доверие к богу и к себе самим и вера в святые нерасторжимые узы любви, объединяющей всех нас с вами, вот единственное средство против Вашей болезни *.

Но впрочем вы не должны пренебрегать и физическими средствами. Вы должны лечиться у умного, хорошего доктора. Впрочем я уверен, что за этим наблюдает, как следует, Костя, который теперь верно с вами. Поцелуйте его за меня в лоб и потрепите за подбрадие. От него я не надеюсь получить строчки и потому прошу вас написать мне, что он делает, в каком бывает обыкновенно расположении духа и чем занимается и, если на что-нибудь решился, чему хочет посвятить жизнь свою. Я знаю, что между нами иногда было что-то такое, что не позволяло нам жить всегда во едину душу, но между нами было, есть и будет также и много общего; я его истинно люблю и уважаю, и мои чувства к нему никогда не изменятся. Милые девочки, пишите мне как можно подробнее обо всем до вас и до вашей частной жизни касающем[ся]. Нам, т. е. мне и Вариньке, нужно, необходимо [знать] об вас все без исключения.

Теперь вам вероятно будет интересно знать что-нибудь и о нашей жизни. Мы живем здесь тихо; лекции еще не начались, но я уж начал заниматься логикой и вижу, что все пойму, и потому мало-по-малу успокаиваюсь. Многое может случиться, будущего знать нельзя, но я смело гляжу вперед и готов теперь на все: что будет, то и будет, лишь бы настоящее прожить почеловечески. Быть истинным человеком во всех отношениях, внутри и совне, быть всегда наравне с обстоятельствами, образовать в себе благородный, истинно человеческий характер — вот

* Отсюда по-русски в оригинале.

моя единственно цель, о которой думаю и к которой стремлюсь денно и нощно.

Часто думаем и говорим мы о вас, любим вас попрежнему и чувствуем нашу любовь к вам еще сильнее прежнего. Всякую среду слушаем по одной симфонии Бетговена — сегодня слышали Symphonie pastorale. Бранимся с Варинькою также попрежнему, впрочем скоро и миримся. Я работаю над логикою много; кроме этого переписываю теперь для Паши записки Логики, составленные по лекциям Вердера, и на-днях пошлю ему начало со своими примечаниями — очень умными примечаниями [1]. Гуляю иногда с Варинькою из милости (варинькино присутствие в Берлине должно оставаться величайшею тайною), Unter den Linden * и в Tiergarten **; хожу всякий день в кондитерскую и читаю там газеты. Раз слышал Löwe ***, в которую я с первого разу влюбился, — не говорите только Грановскому, а то он меня застрелит. Что Грановский? Какое влияние произвело на него известие о смерти Станкевича? Я боюсь за его здоровье, оно так слабо. Виделись ли вы с ним? Он — прекрасный, умный, благородный человек. Если вы что-нибудь узнаете о нем, напишите мне пожалуйста. Хоть обстоятельства и не позволили мне близко сойтись с ним, но я его очень люблю. Вердер много спрашивал о нем. Кстати мы, т. е. Ich (я) и Варинька, мы познакомились с Вердером — чудный человек. Он скоро должен возвратиться в Берлин. Если будем живы, мы проведем чудную зиму в Берлине. Скажите Грановскому, что мы ждем на-днях бумаги и вещи Станкевича, которые перешлем к нему как к его законному наследнику. Станкевич любил его более всех и был ближе с ним, чем с нами.

Что сказать вам еще? Немцы очень смешны, и [А. П.] Ефремов над ними острит. Он всем вам кланяется. Теперь также проходит логику, да дурак, ничего не понимает.

Прощайте, друзья, спать хочется.

Ваш истинный друг

М. Бакунин.

(Дальше идут приписки В. Дьяковой и А. Ефремова).

---

* «Под Липами» — улица в Берлине.

** Ботанический сад (парк) в Берлине.

*** Леве — примадонна берлинской оперы, которою увлекался Т. Н. Грановский, как видно из его переписки.

№ 405. — Письмо сестрам Беер.

18 $\frac{12}{1}$ 40. Октябрь. Берлин.

(1/13 * октября 1840 года).

Милые пташечки! Что вы замолкли? Уж давно бы пора мне получить от вас письмо. Что делается у вас? Как живете, как верите и как сомневаетесь, как радуетесь и как горюете? Я ничего не знаю об этом, а мне ведь следовало бы знать. Как Ваше здоровье, милая Alexandrine? Как покорилась бедная Наталья необходимости расстаться с своею милою природою, состояние которой всегда так удивительно соответствует ее состоянию духа, и как решилась она опять запереться на целую зиму в комнате? Где вы проведете зиму — в Шашкине, в Москве, в Твери или в Попове? Что Константин? Служит ли он? Если служит, где и как? А если нет, то на что он решился? Все это мне необходимо знать, и потому прошу вас отвечать мне на все мои вопросы.

Бедные девочки, вам будет везде грустно жить; теперь менее, чем когда-нибудь, найдете вы со-вне утешение, если не находите его в себе. В деревне скучно и кроме вас трех совершенное отсутствие людей, а люди, истинные люди, так необходимы для жизни. Кроме этого Шашкино так далеко от Прямухина. В Москве еще грустнее! Там некогда жили, исполненные не только внутренней, но даже внешней жизни, там надеялись, там верили, там любили вы. Там некогда жил наш общий искупитель [Н. В.] Станкевич, и вокруг него прекрасный кружок наш, проникнутый его высоким духом. А теперь все исчезло, и многое, многое совершенно разрушилось. Не поезжайте в Москву, вам будет тяжело в ней. Но нет, если бы вы были там, вам бы была там одна отрада: братья **. Вы были бы там их сестрами, друзьями, миром, в котором бы они отдыхали и приходили черпать веру в жизнь и силу для жизни. Нет, друзья, все не исчезло, Станкевич не оставил нас, он оставил нам живую память о себе, память о прошедшем, которое никогда не должно переставать быть настоящим и которое живет в нас, которое освящает нас своим святым присутствием. Да, я в этом убежден, он любит, и

---

* В оригинале описка: 12/1 вместо 13/1.

** Бакунины.

мы снова увидимся с ним. Да, друзья, в вашем прошедшем и в вашем настоящем много тяжелого, много безотрадного; но все это ничего не значит, если вы только вынесли из тяжелой борьбы любовь и чувство святого значения жизни. И я знаю, они пребывают в вас, эти залоги вечности. Не грустите, не жалуйтесь на судьбу свою, но радуйтесь, что вам было дано испытать страдания и радости святой человеческой жизни. Большая часть людей не имеет и предчувствия о том, что такое человеческая жизнь. Милые друзья, ваш мир, ваше спасенное и неотъемлемое сокровище это — святость душ ваших, святость, на которую вы часто клевещете, которую вы часто отрицаете, но которая ясна и не подвержена никакому сомнению для любящих, а следовательно и знающих вас, это — наша взаимная любовь, которую мы все вынесли полною и неприкосновенною из противоречий и мелочей жизни.

Теперь пришло время, когда судьба Александрины * должна решиться. Назначенный срок кончился; может быть, в это самое время, как я пишу, в Прямухине происходят ужасные сцены. Вы не можете себе вообразить, как тяжело быть в неизвестности. После такого долгого испытания Alexandrine должна наконец знать, любит ли она [В. П.] Б[откина] или нет. Что она узнала и на что решается? Я боюсь двух вещей: чтобы ее не смутила ложная мысль об обязанности к Боткину, а с другой стороны, чтобы ее не связала боязнь огорчить родителей и расстаться с нами ** — как то, так и другое будет ложно. Ее руководителем должна быть единственно только одна чистая, святая истина. Дай бог, чтобы в ней было довольно силы, веры и самосознания, для того чтобы следовать ее голосу. Друзья, напишите, пожалуйста, что знаете — Саша *** ничего не пишет.

Все это время я был в хлопотах. Варинька серьезно заболела, Саша **** также — теперь ей лучше, и Саша совсем здоров. Бедная Варинька! как много она перенесла в своей жизни. Но видите ли, все ее предчувствия исполнились — она нашла то, чего так давно искала. Время, проведенное ею со Станкевичем

---

* Александры Бакуниной.

** Неразборчивое слово: «с ними», «с нами», «с надежд».

*** Александра Бакунина, выше названная Александриной.

**** Александр Дьяков, сын Варвары.

в Риме, было для нее временем осуществления *; она и Станкевич сознали, что они любят друг друга, и оба выговорили это друг другу без всяких пошлых церемоний. Когда она будет здоровее и когда прошедшая жизнь перестанет быть только жизнью чувства и перейдет в ее сознание, тогда она сама поверит вам все. Милая Варинька, она так сильна, так религиозно покорна судьбе своей. А здоровье ее сильно расстроено. Доктор Baré [1] сказал мне: «sa santé est complètement ruinée et demande de grands soins et beaucoup de temps pour son retablissement» **. Однако он берется ее вылечить. Саша славный мальчик—несколько испорченный Лизавет[ой] Ивановною ***,— он приехал сюда с ужасными капризами и великим фразером. Когда его связывали — это сильнейшее наказание,—тогда он просил бога, чтобы он уморил его, и говорил Вариньке, что он плачет не о себе, а об ней, что она — такая злая. Но мы с божьей помощью угомонили его. Он меня несколько побаивается.

Скоро начнутся лекции. Я примусь живо, весело и крепко за работу. Она уж и теперь славно идет. Логику я понимаю и буду еще лучше понимать. Мне легко и весело на душе — здесь можно все узнать, и я все узнаю. Скоро, недели через две, приедет сюда Вердер. Он познакомился уже с Варинькой и, как кажется, будет к нам часто ходить. Мы будем славно жить. Прощайте, милые, хорошие друзья. Пишите чаще. Скоро получите от меня через Пашу книжку Schefer's «Laienbrevier» ****. Там много прекрасного, глубокого. Читайте и вспоминайте обо мне. Оставляю здесь место для Вариньки.

Ваш М. Бакунин.

Получили ли наше прошедшее письмо?

Если бы Вы видели, милая Наталья, как Ваша пышная и аллегорическая заметочка ***** лежит у меня в большой Логике Гегеля и беспрестанно переменяет место, беспрестанно подвигаясь вперед, то Вам стало бы весело.

Adieu ******.

---

* В оригинале: осуществлением.

** «Ее здоровье совершенно разрушено и требует больших забот и много времени для своего восстановления».

*** Остзейская немка, гувернантка сына Варвары (Саши), вывезенная В. Дьяковой с собою из России и в Италии ею отпущенная.

**** «Молитвенник для мирян» Л. Шефера.

***** Закладка для книг.

****** Прощайте.

Перевод с немецкого.

№ 406. — Письмо родным.

[Начало октября 1840 года. Берлин].

Милые друзья, не тревожьтесь насчет Вариньки [и] ее здоровья. Она — вне всякой опасности. Все пойдет хорошо. Завтра я вам напишу.

Целую вас тысячу раз.

М. Бакунин.

№ 407. — Письмо родителям.

18 $\frac{8}{26}$ 40. Октябрь. Берлин.

(26 сентября/8 октября 1840 года).

Любезные родители! С неделю тому назад я получил ваше письмо и до сих пор не отвечал, потому что был в ужасных хлопотах. Варинькино здоровье, и без того слабое, в последнее время совершенно ей изменило; она должна была слечь в постель. Саша также занемог, и она, бедная, несмотря на свое совершенное расслабление, несколько ночей не спала и ходила за ним. Теперь ей несколько лучше. Доктор Baré, который теперь ее лечит (Schönlein уехал из Берлина), сказал мне третьего дня, que sa santé est complétement ruinée et demande de grands soins et surtout la tranquilité la qlus complète *. Он берется ее вылечить, но говорит, что болезнь ее так сложна и так устарела в ней, что это не иначе возможно, как в продолжение довольно долгого времени. Я долго не решался писать вам об этом, зная, что это вас сильно потревожит; но с другой стороны я видел, что долго скрывать от вас ее болезни нельзя, тем более что теперь она вне всякой опасности. Кроме этого письмо ваше побудило меня сказать вам всю истину: это необходимо для избежания новых недоразумений. Любезные родители, я не показывал ей еще вашего письма: оно слишком бы взволновало ее, и это было [бы] ей очень вредно. Теперь она еще слаба, и от нее должно отстранять всякую причину волнения. Когда она не-

* Что ее здоровье совершенно подорвано и требует серьезного ухода и полнейшего спокойствия.

сколько поправится, тогда я отдам ей его; пусть она сама отвечает вам, как знает и как чувствует.

Любезные родители, письмо ваше глубоко огорчило меня. В нем опять появились все старые подозрения, которые так мешают любви и которые, если не в силах заглушить ее, то всегда стесняют ее свободное проявление. Вы подозреваете, что съезд наш в Берлине был между нами условлен. Как доказать вам, что это подозрение несправедливо? Что, приехав в Берлин, я был в полной уверенности, что Варинька была в Италии. Если я стану уверять вас, то вы скажете, что я лгу. Клятвы и уверения ни к чему не служат, когда нет веры. Доказать вам, что наша встреча в Берлине была *для меня* совершенно неожиданна (Варинька знала, что я еду в Берлин, из писем сестер), я также не могу, потому что вы можете принять все мои доказательства за хитросплетения. Любезные родители, после всех страшных подозрений, которыми вы в продолжение некоторого времени обременяли меня, у меня нет более духа доказывать вам и уверять вас; я могу только одно: просить вас поверить мне, что я говорю вам правду.

Любезные родители, позвольте мне еще раз повторить вам мою древнюю и до сих пор еще к несчастью тщетную просьбу: браните нас, указывайте нам без всякой жалости на наши недостатки — мы с любовью, с покорностью, с безграничным уважением будем выслушивать слова ваши, мы с благодарностью, с истинною, горячею благодарностью будем принимать ваши советы, но ради бога не уничтожайте нас более такими подозрениями, которые леденят сердце и заставляют иногда сомневаться в любви вашей. Мне кажется, что если б я подозревал человека в том, в чем вы нас и особливо меня подозревали и до сих пор подозреваете, то я не мог бы любить его. Но полно об этом; говоря о ваших подозрениях, я всегда боюсь увлечься. Да, я верю, я хочу верить, что придет скоро время, когда вы нам опять возвратите вашу полную, нераздельную доверенность. Это будет золотое время, любезные родители, потому что глубокая взаимная любовь, которая никогда не оставляла нашего семейства, но которая, напуганная несчастными обстоятельствами нашей семейной жизни, глубоко скрылась в сердце каждого и лишилась всякой возможности свободного проявления, эта любовь снова разогреет и оживит жизнь нашего семейства, и его вечер будет, может быть, еще светлее и глубже, чем его утро.

Еще одно, любезные родители. Я читал письмо Вариньки к вам и, право, не помню, чтоб она говорила в нем об *«исполинской силе»* [Н. В.] Станкевича. Это выражение в самом деле так странно, так похоже на фразу, что оно не могло уйти от моего внимания. Кроме этого, сколько я заметил, Варинька никогда не говорит пустых фраз. Впрочем я мог и не заметить. Во всяком случае я уверен, что если Варинька и употребила его, то это без всякой претензии на красноречие, а так, потому что оно первое попалось ей под перо.

Дух Вариньки в самом деле несколько расстроен; в ней нет еще того ясного спокойствия, которое позволяет соединить рассудительный взгляд на вещи с глубокою и горячею жизнью души. Впрочем это весьма понятно и извинительно, любезные родители. Если вы вспомните *все*, что она перенесла с самого замужества своего и до сих пор, если б вы знали, *как* расстроено теперь ее здоровье, которое имеет такое сильное влияние на духовную жизнь человека, и если бы вы видели, сколько в ней еще силы, не пустой самолюбивой силы, но силы, вытекающей единственно только из религиозной преданности воле провидения, то вы стали бы судить ее снисходительнее, вы отдали бы ей даже тогда справедливость. Слабость ее иногда доходит до того, что она почти ходить не может, потому что ноги не повинуются ее воле; не может играть на фортопьянах, потому что пальцы не хотят двигаться. Ведь при таком здоровьи тяжело жить на свете, а она переносит все это без всякого ропота и с удивительною покорностью.

9-го октября.

Любезные родители! Сегодня я перечел свое письмо и чуть было не разорвал его. При всем старании не увлекаться, я все-таки несколько увлекся более нужного. Подумав несколько, я решился не рвать его, а послать так, как оно есть. Вы поймете меня, вы простите мне мою горячность. Милые добрые родители, если бы вы посмотрели в сердца наши, то убедились бы, что мы горячо любим вас, что наша главная потребность — ваша любовь и ваша доверенность. В них заключается главное, необходимое условие нашего собственного счастья. Милые родители, помогите нам только разогнать эти серые и холодные тучи сомнений и недоразумений, дайте нам окружить вас любовью, возвратите нам

уверенность, что за нашими недостатками, которых в каждом из нас очень много, вы видите и признаете нашу светлую, добрую сторону, и что никакие подозрения, никакие черные клеветы внешнего и чуждого нам мира не в силах потрясти вашей веры в благородство и святость наших намерений. Если, осуждая нас во многих заблуждениях, вы верите в истину и чистоту наших стремлений, то нам этого довольно. Всякий человек может заблуждаться, но тот — худой, неблагородный человек, кто с намерением заблуждается.

Теперь возвратимся снова к Вариньке. Вы находите противоречие в наших письмах: это противоречие весьма легко объясняется. Вы верно не сомневаетесь в потребности Вариньки возвратиться к вам и отдохнуть, согреться под теплым крылышком вашей любви, ваших попечений. Но вместе с этим в ней есть одна боязнь, которая превращается в болезненное чувство: мысль о свидании с [Н.] Дьяковым * потрясает все существо ее, разрушает все ее внутреннее спокойствие; она просто чувствует к нему неодолимое отвращение, которого победить никак не может. Она не требует развода, если он невозможен, но полной достоверности, что она у вас будет совершенно ограждена от его притязаний. Зная, что в нем нет никакой самостоятельности, никакой воли и что, находясь под влиянием каждого, он беспрестанно переменяет свои решения, она не верит в безопасность своего пребывания в России до тех пор, пока оно ограждено *только его обещанием.* Ей необходимо убедиться, что если бы даже он и хотел принудить ее жить с собою или отнять у нее сына, то вы могли бы оградить ее от этого. Ей необходимо знать, что и при худых намерениях он не будет иметь средств к их исполнению. И мне кажется, что в этом она совершенно права.

Я с моей стороны убежден в необходимости как для вас, для сестер, так и для нее в необходимости ее скорейшего возвращения в Россию. Кроме этого я уверен, что кроме обещания Дьякова она имеет еще другую, сильнейшую ограду в вас, в вашем праве быть ее заступниками и опекунами, любезные родители; я уверен, что вы примете все нужные меры для ее безопасности. Вот почему я писал вам, что если здоровье ее позволит, то она возвратится к вам весною.

Вы упрекаете меня в расточительности, любезные родители,

---

* Н. Дьяков — муж Варвары.

и удивляетесь, что я так скоро истратил 2365 руб., которые у меня были при отъезде за границу. Но из этих 2365 рублей:

Я отдал полковнику Шпилевскому	500 р.
За место на пароходе	175 „
Место на дилижансе, три дня в Петербурге и некоторые необходимые покупки около	150 „
Выкупил часы	150 „
На пароходе, дорога из Травемюнде в Гамбург, три дня в Гамбурге и дорога из Гамбурга в Берлин около . . .	250 „
Всего . . .	1.225 р.

$$\begin{array}{r} 2365 \\ -\,1225 \\ \hline 1140 \end{array}$$

Я приехал в Берлин, и у меня было * одеяния только один старый сюртук с заплатками, старый изношенный фрак, две пары сапог с заплатками, один старый жилет, а другой годный только к дороге. Я должен был одеться и издержал на платье и на сапоги около 100 талеров — 333 рублей.

$$\begin{array}{r} 1140 \\ -\,333 \\ \hline 807 \end{array}$$

Варинька привезла с собою только 200 франков; да по счету нашлось, что она должна [А. П.] Ефремову 250 франков, из которых мы до сих пор должны ему 50 франков.

Счет за два месяца с половиною, прожитые нами в Берлине, я вам пришлю потом; он теперь у Вариньки. Она также должна была себе и Сашеньке сшить платье. Доктор, который посещает ее каждый день, лекарства etc., etc. — все это требовало много денег, и у нас нет ни копейки. Мы взяли теперь еще 50 т[алеров] у Ефремова и с большим нетерпением ждем обещанные вами деньги. Любезные родители, поверьте мне, нам не до того теперь, чтобы расточать деньги понапрасну. Мы слишком живо теперь чувствуем их необходимость. Если бы я был один, то мне этих денег достало бы по крайней мере на пять месяцев. Но вы верно не станете бранить меня *за то*, что я *по необходимости* издержал для Вариньки.

Теперь издержки наши увеличились еще более. Приближение зимы и болезнь Вариньки и Саши заставили меня усту-

* Зачеркнуто «негодного».

пить им комнату, занимаемую мною подле них. Это было необходимо для их спокойствия и для предохранения их от простуды. Я должен был нанять маленькую комнату в другой улице, за которую плачу 5 тал[еров] в месяц.

Деньгами, посланными вами в Милан, мы также не можем воспользоваться, потому что, выехав из Италии, Варинька была должна генер[алу] Руберти * 1000 руб., а Лизав[ете] Ивановне 200 руб. Теперь она написала банкиру, чтобы он послал деньги в Неаполь Руберти, и известила также об этом и последнего.

И потому, любезные родители, прошу вас, пришлите скорее нам денег, у нас нет ни копейки, а у Ефремова также денег нет.

Прощайте, добрые родители, прошу вашего благословения и остаюсь преданный вам сын ваш

М. Бакунин.

№ 408. — Письмо А. И. Герцену.

[23 октября 1840 года. Берлин.].

Любезный Герцен! Ты вероятно уже получил книги, посланные мною тебе с г-м Черняевым, и удивился, что после такого долгого молчания я сопроводил их весьма коротенькою записочкою. На это были своего рода причины, о которых я теперь распространяться не буду. Сначала я написал тебе большое письмо, но потом заменил его тою маленькою записочкою, которую ты верно уже имел удовольствие получить.

Я надеялся, что до отъезда Черняева выйдет логика Вердера, и хотел послать ее тебе, но она к несчастью еще не вышла, и ты должен довольствоваться первою частью вновь изданной энциклопедии; с Вердером я уже познакомился; на вакациях он уехал из Берлина, но на-днях должен возвратиться. Как только приедет, я немедленно начну брать у него уроки. Какой он славный человек, Герцен! Дух, знание стало в нем плотью; в нем так много Gemütlichkeit, [не той], которая, противополагая себя разумному содержанию духа, выдает себя за истину, но той, которая

---

* Итальянский генерал, комендант С.-Эльмской крепости в Неаполе, дом которого Варвара посещала.

вытекает из живого, свободного единства знания и жизни *, не мертвая буква, но плод религиозного, внутреннего стремления. Я надеюсь сблизиться с ним и ожидаю от него много пользы как в интеллектуальном, так и в нравственном отношении. Если будет возможность выслать тебе эту логику, то я непременно ею воспользуюсь.

Надеюсь, что Наталья Александровна не вознегодовала на меня за смелость, с которою я без всякого позволения поднес ей книгу не моего сочинения, но сочинения Шефера **: я решился на эту дерзость в уверенности, что сия книга доставит ей много наслаждения. Шефер написал по одному стихотворению на все 365 дней, которые, как вам известно, составляют (исключая високосный год) целый год; разумеется, что в таком множестве должно быть много пустых стихотворений, но зато и очень много глубоких вещей. Наталья Александровна, прочтите пожалуйста стихотворение на 20 декабря, в нем высказано все, что только можно пожелать глубокой, святой женщине, и потому примите его за выражение моих желаний Вам!

Вы верно захочете знать, как я провел эти три месяца. Большая часть времени была посвящена заботам. Сестра, о которой я тебе уже говорил, здесь с сыном и к тому же больная, так что в продолжение некоторого времени я боялся даже за ее жизнь. Теперь ей несколько лучше, но все еще весьма слаба. Бедная, она вынесла так много страданий, так много внешних и внутренних отрицаний в своей жизни, что я удивлялся еще крепости ее организма. Одна смерть Станкевича, которого мы все так горячо любили, должна была сильно потрясти ее. А что, Герцен, вот и Станкевича нет! Единственный человек, одно непосредственное присутствие которого заставляло *** верить в идею, — этот человек оставил нас; его смерть еще более убедила меня в необходимости бессмертия индивидуального духа. Штраус и Вердер также верят в бессмертие; я не успел еще много говорить об этом предмете с Вердером и потому не знаю еще, есть ли эта вера результат его философского знания или нет.

Несмотря на великие и многосложные заботы, я успел одна-

---

* У Драгоманова это место искажено: сначала пропущены слова «не той», взятые у нас в прямые скобки; а дальше вместо «но той» напечатано «не той». Мы исправили это место по смыслу.

** Леопольда («Laienbrevier»).

*** У Драгоманова напечатано «заставляет».

ко несколько оглядеться и приняться за дело. Логику прочел до Quantität *, и что я прочел, кажется мне так ясно, что я могу это передать ребенку. Теперь я чувствую, что узнаю все, что мне нужно, и потому покоен. Через 6 дней начнутся лекции, я буду слушать:

1) Werder. 1. Logik. 2. Geschichte der neuen Philosophie.
2) Hotho. 1. Aesthetik.
3) Watke. 2. Menschenwerdung Gottes **.
4) Курс физики.
5) Фехтование и верховая езда.

А дома буду заниматься кроме этого новейшею историею.

Берлин — город хороший; музыка отличная, жизнь дешевая, театры очень порядочные, в кондитерских журналов много, и я их читаю все подряд, — одним словом все хорошо, очень хорошо.

Немцы — ужасные филистеры; если б десятая часть их богатого духовного сознания перешла в жизнь, то они были бы прекрасные люди; но до сих пор, увы, пресмешной народ: вот тебе две надписи, прочитанные мною на домах во время последних празднеств.

На одной нарисован прусский орел, а под ним портной гладит, под портным же написано:

„Unter deinen Flügeln
Kann ich ruhig bügeln" ***.

А на другом транспаранте:

Es lebe hoch das Königspaar
Und wenn es möglich ist, zwei tausend Jahr.
Doch wenn es auch unmöglich scheint,
So ist es doch recht gut gemeint ****.

---

* Количество.

** 1) Вердер. 1. Логика. 2. История новой философии. 2) Гото. 1. Эстетика[1]. 3) Ватке. 2. Вочеловечение бога.

*** Под твоими крыльями
Я могу спокойно гладить.

**** «Да здравствует королевская чета, если возможно, тысячу лет. А если это кажется невозможным, то все же пожелание подсказано хорошим чувством».

А на третьем:

> Ein preussich Herz, ein gutes Bier,
> Was wollen sie noch mehr von mir? *

И много других разных острот.

Что делаешь ты? Чем занимаешься? Веришь ли или сомневаешься? Я думаю, что и то другое вместе; это — общее состояние духа. Приезжай скорее сюда; наука разрешит все сомнения или по крайней мере покажет путь, на котором они должны разрешиться. Напиши мне пожалуйста о вашем житье-бытье; я слышал, что Огарев ** собирается в Берлин, — правда ли это, и где он теперь? Где Сатин ***, что Кетчер ****? При случае поклонись им от меня. Что русская журналистика, что доказывает Белинский, и чему верят Языков ***** и Панаев ******.

Не вышло ли чего-нибудь из сочинений Пушкина, Гоголя и Лермонтова?

Пожми пожалуйста руку Ветлицкому; другой раз я ему напишу. Скажи ему, чтобы он написал мне письмо, не ожидая моего. Не собирается ли он на Кавказ и посещает ли университет?

Прощай, милый Герцен.

От души твой

М. Бакунин.

Мой адрес: à m-r Mendelsohn et Comp., à Berlin, pour remettre à M. Bakounine *******

Напечатана ли вторая половина моей статьи, и если напечатана, нравится ли она публике и тебе в особенности? [2].

---

* «Прусское сердце, хорошее пиво,— чего же вам больше нужно?»
** Николай Платонович.
*** Николай Михайлович.
**** Николай Христофорович.
***** Михаил Александрович.
****** Иван Иванович.
******* «Г-ну Мендельсону К°, в Берлине, для передачи М. Бакунину».

Перевод с немецкого.

№ 409. — Письмо Юлии Ниндель*.

[29 октября 1840 года. Берлин.]

(Сначала идет письмо Варвары, а затем письмо Михаила).

Милая Юлия, Вы уже не удивитесь, получив из Берлина письмо от Вариньки и от меня. Варинька однажды уже писала Вам из Берлина, и Вам должно быть известно, как и вследствие каких обстоятельств мы с нею встретились здесь в Берлине. Вчера мы совершенно случайно столкнулись с Фейгерлем **. Он не знал о нашем пребывании в Берлине, а мы еще меньше о нем. Весьма возможно, что без этого случая мы бы вовсе не свиделись. Наша радость при встрече с ним не поддается описанию, ибо, что бы Вы ни говорили по этому поводу прежде, а быть может и теперь, мы всегда остаемся верными и твердыми друзьями. Что однажды вошло в святыню нашей внутренней жизни, то никогда не исчезает из нашего сердца. Фейгерля я лично очень мало знаю, но наши личные встречи всегда происходили при самых дурных созвездиях. Однако я знаю его по жизни моих сестер, в которой он играл такую большую и благотворную роль. А Вы знаете, что жизнь сестер это — моя жизнь, что мы неразрывно связаны любовью и общим, непрестанным стремлением ко всему хорошему, прекрасному и истинно человеческому. Поэтому моя радость была не меньше, чем радость сестры. К сожалению он недолго остается здесь, возможно, что он сегодня даже отсюда уедет.

Подумайте, Юлия, я — в Берлине, я учусь теперь. Я достиг своей цели, но, боже мой, если бы Вы только знали, с каким трудом мне это досталось. Сколько воды утекло ***, говорит русская пословица. Жизнь прекрасна, но она вместе с тем также тяжела, очень тяжела. Человек должен страдать, чтобы быть человечным. Страдание это — оживотворяющий принцип существования; оно просветляет непосредственное, возвышая его до духовного. Без страдания, без отрицания все было бы мертво и непод-

---

* Бывшая гувернантка Бакуниных.

** Бывший преподаватель музыки в доме Бакуниных.

*** Эти три слова по-русски в оригинале.

вижно. Вот почему мы не станем жаловаться, а будем радоваться тому, что были избраны для того, чтобы по-человечески страдать и наслаждаться и просветить вечною мыслью сбивчивый и запутанный ход повседневности. Вечное находится не вне времени, а внутри него; вечное нас никогда не оставляет, если только мы сами его не оставляем.

Не забывайте нас, Юлия, Вы постоянно пребываете в нашем сердце. Любовь и дружба — высшая действительность истинного в человеке; только они в состоянии озарить жизнь. Господь с Вами.

Ваш друг

М. Бакунин.

№ 410. — Письмо родителям.

18 $\frac{11}{30}$ 40. Ноябрь. Берлин.

(30 октября/11 ноября 1840 года).

Милые, добрые родители! Как выражу я вам благодарность свою за ваше письмо, за ваше доброе, снисходительное письмо? Я боялся, что мое письмо оскорбит и огорчит вас, ожидал от вас упреков и заместо этого нашел в вашем ответе только доброту, снисхождение, только чистые выражения вашей любви к нам. Успокойтесь, добрые родители, Вариньке лучше. Болезнь, о которой я писал вам, была не более как припадок, частное проявление ее главной закореневшей в ней хронической болезни. После этого припадка она стала чувствовать себя даже лучше прежнего, так что в некотором отношении он был ей даже полезен.

Доктор ручается за ее выздоровление, хотя не скорое, но зато совершенное. Болезнь устарела в ней и требует большого, постоянного внимания. Она становится крепче и спокойнее духом, а это очень важно для ее выздоровления; Саша также поправляется, хотя для полного выздоровления может быть будут необходимы место и воды так же, как и для Вариньки. Во всяком случае время свидания с вами скоро, и это, я надеюсь, довершит ее внутреннее и внешнее выздоровление.

Я живу недалеко от нее — она должна была переменить квартиру — и вижусь с нею почти только по вечерам. Утро и после-

обеда заняты лекциями и домашними занятиями. Теперь я сделал несколько хороших знакомств и постараюсь познакомить ее с одним или двумя хорошими семействами, — для того чтобы она имела общество женщин, и для того, чтобы вырвать ее понемножку из этого внутреннего, абстрактного уединения, в котором она так долго жила и которое может превратиться наконец в неисцелимую болезненность духа. И себя также хочу я воспитать в этом отношении. Непривычка к светскому обществу порождает в человеке какую-то робость и неловкость. Для того чтобы сделаться половчее, я намерен взять несколько уроков в фехтовании и в гимнастических упражнениях, и вы увидите, каким я сделаюсь ловким молодым человеком.

От Александра Максимовича * деньги получил и сегодня возьму и от банкира.

Прощайте, добрые родители, пора итти на лекцию. Опаздывать нехорошо, во-первых потому, что можно потерять связь лекций, и во-вторых потому, что студенты шаркают ногами.

Ах, я вам еще, кажется, не писал, что и я сделался германским студентом: я должен был имматрикулироваться как студент для избежания многих неприятностей и для свободного слушания лекций и получил диплом, в котором получил название vir juvenis ornatissimus **.

Прошу вашего благословения и остаюсь

Преданный вам сын ваш

М. Бакунин.

Милые сестры! Сегодня некогда писать. Завтра напишу непременно. Целую вас.

Перевод с немецкого.

№ 411. — Письмо сестрам.

18 $\frac{16}{4}$ 40. Ноябрь. Понед[ельник]. Берлин.

(4—16 ноября 1840 года).

Милые, добрые сестры! Уже давно я чувствую потребность писать вам, и однако протекло очень много дней, прежде чем я

---

* А. М. Княжевич, приятель отца Бакунина.

** Прекраснейший молодой человек. — В оригинале сказано: «Virum juvenem ornatissimum», т. е. поставлен винительный падеж.

собрался это сделать. Теперь у меня страшно много работы; почти каждая минута поглощена моим излюбленным учением, так что я сам не замечаю, как уходит время. Не думайте однако, чтобы эта непрерывная учеба могла вытеснить память о вас из моего сердца. О нет, напротив оно теснейшим образом связано с вами. Мои занятия отнюдь не сводятся к холодному, педантическому собиранию внешних и мертвых знаний, а представляют религиозное, глубочайшее порывание всего моего существа к истине. Теперь я переживаю наполнение моей глубочайшей внутренней жизни, а вы все так неразрывно с нею переплетены. Да, я чувствую это, мы вместе составляем глубокий, нераздельный мир любви и истины; все мы являемся членами этого возвышенного, всем нам, сестрам и друзьям, свойственного мира; в нем мы признаем и любим друг друга; и любим друг друга лишь постольку, поскольку мы в нем живем. Велика и блаженна жизнь, — это я снова заявляю с полною, возродившеюся убежденностью. Неподвижная окоченелость, которая уже начала было угрожать текучести моего внутреннего существования, мало-по-малу исчезает; я чувствую себя живым и свободным; вера в бога и в вечное, бессмертное достоинство каждого отдельного человека вновь во мне ожила. А с этою верою можно смело и свободно смотреть в лицо будущего. Дорогие друзья, как бы я был счастлив, если бы мог внушить вам эту дарующую блаженство веру, это бесконечное мужество жизни; только в этом уповании жизнь является человеческою, исполненною духа божия жизнью.

Бедная Александрина! * Она не сознает самой себя, она не сознает тех бесконечных сокровищ, которыми ее наделила ее богатая натура. Удивительно, что она и Наталия ** не получили моих писем. Я им обеим много писал и адресовал свои письма в Мценск ***. Теперь я снова [им] написал **** и посылаю мое письмо вам, для того чтоб оно не потерялось, как другие. И Варинька им также писала. Странно, что они не получили наших писем, и жалко очень, потому что Варинька говорит, что мои письма к ним были хорошие письма, а я могу засвидетельствовать то же и про ее письма. Друзья! Пишите и вы ей ***** так-

* А. А. Беер.

** Н. А. Беер.

*** Слово «Мценск» по-русски в оригинале.

**** Отсюда по-русски в оригинале.

***** Александре Беер.

же. Соберемте все наши силы, для того чтобы разрушить этот ложный мир рефлексии, который мучает ее и закрывает от нее ее истинный, глубокий мир. Для этого не нужно много рассуждений, рассуждения бывают часто бессильны; для этого необходима любовь, которая выше, сильнее и истиннее всех рассуждений. Только любовь всемогуща, потому что только она одна истинна. Я верю в ее духовное выздоровление; она сама себя не знает и не видит. То, что она называет собою, так далеко от ее истинной сущности *.

А ты, милая, добрая другая Александрина **, поверь мне, я вполне понимаю твое трудное положение. Я боюсь только одного, а именно того, что ты любишь [В. П.] Боткина и решилась принести свою любовь в жертву посторонним соображениям. Послушай меня, дружок, ибо я говорю тебе со всем моим убеждением: если ты его действительно любишь, то ты не должна, ты не вправе жертвовать своею любовью. Если ты любишь, Александрина, то знаешь всё лучше, чем мы, потому что любовь есть единственно истинное познание. Принесение в жертву своей любви равносильно принесению в жертву высшей стороны своей жизни. А жертва своей высшей стороной есть прегрешение перед самим собою, грех против истины ***. И потому умоляю тебя, друг, хорошенько проникнуть в себя, позабыть все внешнее, все внешние отношения, все, что тебе говорили и говорят, и только тогда на что-нибудь решиться, когда ты можешь сделать это с полным, нераздельным убеждением. Я понимаю твое тяжелое положение также и в том случае, когда ты не любишь его. Грустная, тяжелая ошибка, но не безвыходное положение. Для свободного духа человека есть всегда выход, и этот выход есть истина.

18 $\frac{9}{27}$ 40. Декабрь. Вечером.

(27 ноября/3 декабря 1840 года).

Милые девочки, вы видите, как давно уже начато это письмо и все не докончено и не послано! Стыдно мне, неправда ли? Не браните меня; вы сами знаете, как затягиваются письма. Иногда хочется писать, да некогда, а иногда есть время, да не

* Отсюда снова по-немецки в оригинале.
** То-есть сестра Михаила — Александра Бакунина.
*** Отсюда по-русски в оригинале.

умеешь слова написать. Вот так и со мной было. Мне часто бывало так грустно по вас. Ты, Саша, написала нам так[ое] светлое, хорошее, грустное письмо, а мы до сих пор молчали, и ты могла принять наше молчание или за холодность или за недоверие. Нет, друг, не сомневайся в нас, мы имеем полную веру в тебя; будь только сама собой, и ты будешь всегда наша *.

Дорогие, дорогие друзья, как меня тянет к вам! Что вы делаете теперь? Вероятно грустите. Я не суеверен, но не знаю, что со мною делается. Каждый раз, как я думаю о вас, меня охватывает такое тяжелое чувство, что я иногда начинаю думать, что вы переживаете теперь нечто тяжелое, какое-то несчастье. Бог да сохранит вас! Будьте тверды, спокойны, проникнуты спокойствием вечного духа. Смотрите на все в свете вечности: таким путем вы сделаетесь сопричастницами священного покоя божества **.

Так давно от вас никаких писем нет. Грустно и страшно. Если причина вашего молчания та же, что и наша, то это еще не беда. Ради бога пишите нам скорее. Где вы теперь, в Прямухине или в Твери? Если в Твери, то как проводите время? Что брат Николай? Он верно с вами; это меня успокаивает. Он — прекрасный, глубокий человек, он может быть вашею крепкою подпорою. Попросите его написать мне или Вариньке хоть словечко. А от других братьев также ни слова. От Беeровых также нет. Знаете ли, мне иногда приходит в голову, что братья... да нет, не хочу договаривать: мое предположение не может быть истинно. Слишком было бы грустно. А если оно и истинно, то я не чувствую в себе силы противодействовать ему.

Скажите Павлу, что я потому еще не послал ему обещанных записок, что я стал их переделывать по лекциям и урокам Вердера. Весной приедет в Москву Тургенев ***, который уже раз слушал курс и брал уроки у Вердера и с которым мы теперь вместе работаем над логикою. Я с ним близко сошелся. Мы живем с ним в одном доме, в третьем этаже, в одном коридоре друг против друга, и работаем вместе от раннего утра до позднего вечера. Он обещал мне, милый Паша, пройти с тобою логику. Ты полюбишь его, я в этом уверен. Варинька, письма которой я не читал,

---

* Отсюда по-немецки в оригинале.

** Отсюда по-русски в оригинале.

*** Иван Сергеевич [1].

вероятно написала вам о своих новых знакомствах. Она мало-помалу становится крепче духом. Единственное желание мое для вас, для родителей и для нее это — ее скорейшее возвращение к вам. Родители сомневаются в этом желании. Если б они знали, как жажду я их спокойствия, то они не сомневались бы. Это желание останавливается только перед одною вещью — перед ее безопасностью. Только с уверенностью, что она будет вполне свободна, может она возвратиться к вам. Впрочем я с радостью увидел из письма родителей, что они не иначе хотят ее возвращения. Прощайте, добрые друзья, пожалуйста пишите скорее.

Ваш друг и брат
М. Бакунин.

Если вы встречаете г-жу Ушакову *, передайте ей мой почтительнейший и искреннейший привет. Попросите барышен не совсем забывать меня. Спросите у мадемуазель Аннет, дал ли мой душистый горошек много цветов, и просила ли она у тебя, Танюша, как она мне это обещала, разрешения взять несколько из них, а у мадемуазель Катерины спросите, не побудила ли их всерьез заняться изучением немецкого языка прекрасная книга Гете, которую эти девицы себе купили **.

№ 412. — Письмо сестрам.

Берлин $18\frac{16}{4}40$. Декабрь. Середа вечером, 11 часов.

(4/16 декабря 1840 года).

Милые девочки, записывая сегодняшнее число, я вспомнил, что сегодня маменькины именины. У нас теперь еще верно много гостей, и вы, может быть, пойдете скоро ужинать, усталые, разряженные. Вероятно вы уже в Твери. Если в Твери, то вам сегодня легче, потому что вы свободнее. Милый Николинька *** и Ушаковы с вами. Как я рад для Николая и для вас, что вы теперь вместе. Подле вас — теперь человек, вполне достойный этого

* Ольга Яковлевна; ее дочери—Анна Петровна (Аннет) и Екатерина Петровна.

** Эта приписка по-французски в оригинале.

*** Брат Николай.

имени, живой, благородный человек. Скажите Николаю, что я всегда с каким-то особенным наслаждением думаю о нем и что я от него многого, очень многого ожидаю. А Ушаковым поклонитесь от меня, и чтобы этот поклон не был бы холодною формою, но живым, горячим приветствием. В последнее время нашего знакомства я от всей души привязался к ним и чувствую к ним нежность брата. Вы можете сказать им это, потому что мы долго, долго еще не увидимся, и до времени нашего свидания еще много воды утечет. Скажите им, что я никогда не позабуду последнего дня, проведенного мною в Сакулине *.

Что же до вас касается, милые девочки, то я чувствую, что время никогда не унесет нашей святой, взаимной любви. Чем долее я живу в разлуке с вами, тем глубже и живее чувствую я, как вы, Наталья и Alexandrine **, неразрывно связаны с моею судьбою, как глубоко вы необходимы для полноты и истины моего существования. Я сейчас пришел домой от Вариньки; мы вместе с нею пели наши прямухинские песни, из которых почти каждая напоминает какое-нибудь обстоятельство из нашей общей жизни. Я всегда с каким-то горьким, грустным наслаждением погружаюсь в это живое прошедшее, в котором мы вместе становились людьми путем познавания истины, путем необходимых заблуждений, путем святых ошибок, любви, страданий, радостей и веры в лучшее, святое назначение человека. Друзья, в прошедшем нашем нет ни одной точки, которой бы я не благословлял, на которой бы я не останавливался с грустью и любовью, и которая не сохранилась бы во мне как живой, необходимый элемент моего духа. Да, друзья, верьте, любите, будьте полны упования, — всё, все истинные требования, все надежды, самые таинственные и невыговариваемые предчувствия духа должны исполниться, потому что назначение человека — осуществить в себе полноту божией любви, потому что это — движение бессмертного духа, стремящегося к своему источнику. Пути различны, — иным суждено достигать цели через множество заблуждений; всякий необходимо должен заблуждаться и всякий заблуждается по своему, — но цель одна и всякий необходимо должен достигнуть ее. Вера в духа должна вынесть нас из всех бурь, из всех застоев жизни, — любовь, благодать божия исполнится в нас.

---

* Имение Ушаковых в Тверской губернии.
** Н. и А. Бееры.

Милая Саша, я не стану утешать тебя, потому что всякий человек должен искать утешения, силы и разрешения противоречий в самом себе, — всякий человек носит в таинственной сокровищнице души своей средство и возможность разрешения всех противоречий, и всякий должен разрешать их по-своему. Но не забывай только одного, друг, не забывай нашей любви к тебе; помни всегда, что ты нам так же необходима, как мы тебе. Это должно быть для тебя одним из сильнейших средств излечения.

Не знаю, описывала ли вам Варинька нашу берлинскую жизнь. Попробую я описать ее, потому что знаю, что вам интересно знать все подробности нашей жизни, хотя с другой стороны неохотно принимаюсь за такое трудное дело, — уж вы знаете, что у меня нет охоты и умения рассказывать сказочки. Начинаю.

Варинька живет сама по себе, я сам по себе, т. е. она живет на особенной квартире с Сашею * и с нанятою девушкою; занимает она две комнаты с коридором. Одна комната — ее гостинная (квартира на третьем этаже), комната большая, теплая, угловая, вид из нее отличный (на восток и на юг); мебель хорошая, фортепиано, на окошках разные растения, чижик летает по ним на свободе, а снегирь в клетке удивляется его подвигам **.

Мы живем, т. е. я и Тургенев живем недалеко от нее. Заняты целый день лекциями и домашними занятиями, а вечером обыкновенно отправляемся к Вариньке. Довольно часто слушаем вместе симфонии, квартеты (большею частью Бетховена) и оратории. Варинька познакомилась с m-lle Froman; у нее бывает иногда и Вердер. Воскресенье вечером был день его рождения. Froman была у нас, и он прочел нам пролог и 1-й акт своей трагедии «Кристоф Колом[б]» — чудное, глубокое произведение. А большею частью вечером у нее кроме нас двоих, т. е. меня и Тургенева, никого нет, — и мы говорим обо всем, и о серьезных и смешных и трогательных предметах. Спорим, смеемся, поём вместе, и нам бывает и весело и грустно, и часто грустно и весело вместе. Варинька — милая, очень милая дама, я ее все-таки немножко в руках держу, иногда она такая глупая, как ты, Саша. Ну, на сей раз описаний довольно. Вы мне должны заплатить тем же, всё должны рассказывать. Милая Саша, береги свои светлые глаза, и когда тебе грустно от бездействия, сочиняй мне

* Ее сын.

** В письме набросан план квартиры с подробными указаниями мебели, окон, дверей и т. д.

сказочки и диктуй Танюше, которая сама глупая и не умеет сочинять сказок.

Беровы к вам приедут, и так мое желание наконец исполнится: вы опять увидитесь. Это было необходимо. Вам должно многое друг другу передать, что недоступно письменным отношениям, и снова переплесть свои жизни. Я получил от [них] на этих днях такие милые письма. Кажется, что Alexandrine * стала здоровее и телом и духом. Вам непременно было нужно увидеться **. Что касается могущих проистечь отсюда неприятностей, то вы не должны обращать на них внимания. Кесарю нужно воздавать только кесарево; существенным же, любовью ему нельзя и невозможно жертвовать.

Прощайте, девочки, пишите скорее.

Ваш брат и друг

М. Бакунин.

Поклонитесь от меня моему доброму полковнику ***, спросите у него, получил ли он мое письмо.

Будревичу **** хорошенько поклонитесь от меня.

413. — Письмо брату Павлу.

[Конец января 1841 года. Берлин.]

Милый брат, я давно хотел писать тебе, да все как-то не удавалось. Но ты ведь уверен в том, Паша, что я не позабыл тебя, неправда ли? Всякий новый успех мой в науке был связан с мыслью о тебе. И вот теперь, милый Паша, явилось и средство к осуществлению моих любимых фантазий. Твое здоровье необходимо требует поездки за границу. Ты увидишь из письма моего к [Т. Н.] Грановскому, в чем дело, и какие средства я считаю действительными для достижения этой цели. За средствами дело не станет. Тургенев даст нам взаймы денег столько, сколько нам

---

* Беер.

** Дальше до конца абзаца по-немецки в оригинале.

*** Шпилевскому.

**** Офицер в Твери.

для этого будет нужно; мы заплатим ему, когда у нас будет свое собственное имение. Нужно испросить позволение графа Строганова *; в этом тебе могут помочь Грановский и другие знакомые профессоры, которые верно не откажутся быть тебе полезными. К Грановскому будь вполне доверчив; между мною и им большое отдаление, но не менее того я его глубоко уважаю как друга Станкевича и как благородного человека. Я знаю, он сделает все, что от него зависит, для нашего семейства и будет рад быть ему полезным. Он также может помочь тебе уговорить родителей. Ты знаешь, какое уважение имеет папенька к мнению начальников (посредственных и непосредственных) детей своих.

Ты непременно должен прочесть мое письмо к Грановскому; повторять сказанного мне не хочется. Ты увидишь, что мой замысел не ограничивается только твоею поездкою, и что я хочу, чтобы ты привез к нам Титану **. Все это может показаться диким и невозможным с первого разу; были минуты, когда оно мне самому так казалось, но это — глупые минуты. Мы все так покорились пошлой действительности, что нам всякое свободное, широкое решение кажется диким. Твое здоровье, болезненное состояние твоего духа (о чем папеньке никак говорить не должно или по крайней мере очень осторожно) требуют этой поездки. Для Танюши, положение которой ты так же хорошо знаешь, как и я, она также необходима. А если мы наконец убедились в этой необходимости как для тебя, так и для нее, то не гораздо ли диче, невозможнее и непростительнее, сложа руки, ничего не делать и предоставить все пошлому и пагубному ходу ежедневности? Веры, веры больше — в вере истина и сила. В наших мыслях, в чувствах и намерениях, вытекающих из глубины душ наших, мы видим наше высшее, то, что дает нам право называться святым именем человека; а между тем, когда приходит час их столкновения с ежедневностью, тогда мы называем их призраками, пустыми фантазиями, тогда мы заставляем их преклоняться перед этою ежедневностью, которую мы прежде так глубоко презирали. Нет, не они — призраки, но эта ежедневность есть самый страшный призрак, оковывающий нас ничтожными, но вместе с этим сильными невидимыми цепями. Силою веры и силою воли, всегдашней сопутницы веры, мы должны свергнуть эти оковы.

---

* Попечитель Московского учебного округа.

** Сестра Татьяна (Танюша).

Я несколько увлекся; дело в том, что мысль моя совсем не так неудобоисполнима, как оно может показаться с первого раза. Родители легко согласятся на твой отъезд, и когда твое дело будет уже решено, тогда вы должны говорить о Танюше. Дай бог, чтобы вы пришли только в то состояние духа, в котором все легко, все удается, перед которым все препятствия исчезают. Это состояние духа есть то, в котором вера так сильна, что она перестает быть движением экзальтации, порывом, но становится простым, спокойным, кротким, мягким и вместе бесконечно твердым и сильным чувством. Мне кажется, что если б я был теперь с вами, то родители скоро согласились бы; впрочем я напишу им письмо, которое пошлю тебе или Николаю, для того чтобы вы могли отдать его им, если по вашему благорассмотрению оно может быть полезно. Во всяком случае я уверен, что вы, милые братья и сестры, сумеете всё сами сделать. В этаком деле, да вообще и во всяком, должно быть истинным, избегать всякой лжи, но вместе с тем говорить правду умеючи. Цель вам дана; а что и как должно сделать для достижения ее, это вы сами должны знать и будете знать, проникнувшись необходимостью достигнуть ее с ясною, чистою душою и соображаясь с обстоятельствами.

Тут предстоит одно затруднение. Родители ожидают Вариньку осенью; но она только тогда возвратится, когда мы вполне убедимся, что ей не угрожает ни малейшая опасность со стороны [Н.] Д[ьякова]. Это решено. Об этом я хочу писать тетеньке Татьяне Михайловне *, которая, может быть, вам будет полезна. Старайтесь выхлопотать себе от родителей позволение остаться за границею до будущей весны. Если же нет, то [до] будущей осени, и тогда, если ваше здоровье вам позволит, вы должны будете возвратиться осенью.

Главное как можно больше веры и деятельности и как можно менее уныния. Принимайтесь сейчас же за дело ясно, твердо и коротко, и вы успеете, — в этом нет никакого сомнения. Особливо не давайте спать брату Николаю, он может иметь сильное влияние на родителей.

Наше дело истинно. Я знаю, какие препятствия оно может встретить со стороны отца. Как грустно и тяжело огорчать нашего святого старика. Да оно необходимо, а потому и должно и может быть достигнуто.

* Полторацкая.

Кроме этого остается еще одно затруднение: Саша останется одна. Но, с одной стороны, вы можете устроить так, что Annete Rjevsky *, одна из Ушаковых и, может быть, Alexandrine Beer **, которой я завтра напишу, [переедут к нам]. Но главное ее будет поддерживать мысль, что твое и Танюшино здоровье поправляется, и что мы некоторое время будем вместе. Я знаю, эта мысль ей будет большим утешением, счастьем даже, и потому за нее бояться нечего. Что ее глаза? Напишите, милые братья, вы мне ничего не пишете — ведь я ничего не плачу за ваши письма; а если я вам не пишу, то из этого не следует, чтобы вы также избавлены были от труда писать мне.

Я никому не писал, потому что во мне происходит новый переворот ***.

Я прохожу процесс нового становления, пыль **** спадает, и на душе у меня снова становится ясно и мощно. Этою зимою я жил знаменательною жизнью, возрождение, к которому меня так тянуло, уже начинает сказываться в моей душе; чувство старчества, столь меня угнетавшее, исчезло; я снова чувствую себя юным и живым; моя старая вера и моя сила собираются как будто воскреснуть, — и все это укреплено и обогащено рассудительностью, которую я приобрел в труднейшие часы моей жизни. Жизнь прекрасна, хотя она и тяжела, и она прекрасна и истинна именно потому, что тяжела. Вера и мужество — вот лозунги,— мужество последовательности. Да сохранит нас господь от всякой жалкой уступчивости: лучше быть последовательно абстрактным, чем с помощью этой немощной уступчивости удерживаться в конкретном мире. Последовательность в абстракции скоро приводит к сознанию своей односторонности и к действительному освобождению. У компромисса же нет никакого выхода, ибо он повидимому владеет всем, а на деле не имеет ничего, ибо он ничего не воспроизводит из себя, а принимает в себя все, что ему попадается навстречу. А лишь то истинно и действительно для человека, что он воспроизводит из глубочайшего источника своего своеобразия.

---

* Анна Константиновна Ржевская.

** Александра Беер.

*** Дальше по-немецки в оригинале.

**** Неразборчивое слово, которое можно прочесть и как «Steile» (крутизна), тем более что при нем стоит член в женском роде «die», тогда как «Staub» (пыль) мужского рода.

Милая Саша, ты верно теперь еще в Москве *. Ты много выстрадала, добрая сестра, но это во всяком случае гораздо лучше, чем выйти замуж за человека, которого действительно не любишь. Утешься, в жизни ничто не пропадает. Даже ошибки необходимы. Их возможность должна проявиться и осуществиться, для того чтобы они могли быть действительно заглажены. Следует хранить лишь себя, святость своей внутренней жизни, — с этим водителем можно не бояться ничего. Быть истинным внутри и со-вне — такова единственная путеводная нить, способная вывести нас из любого лабиринта. Только в этой истине живут и любят действительно. А разве наша любовь, сестра, не есть твоя отчизна, разве она не делает тебя счастливою? Разве то, что мы, находясь на таком расстоянии друг от друга, одинаково любим, думаем и чувствуем, не является священным чудом, не является высочайшим откровением и блаженством? Жизнь есть действительно блаженство, но не тусклое, а такое, где гремит буря и носятся черные тучи, для того чтобы слиться в некоей более высокой гармонии **.

Прощайте, добрые друзья. Завтра напишу Танюше, Николаю и Бееровым.

Отвечайте мне скорее и соберите все свои силы для достижения нашей цели.

Ваш

М. Бакунин.

Перевод с немецкого.

№ 414. — Письмо сестре Татьяне.

1841 год. $\frac{13}{1}$ февраля. Берлин.

(1/13 февраля 1841 года).

Милый друг, сейчас получил твое письмо. Я еще не отдавал его Вариньке.

Вечером.

Письмо-то я уже отдал, да все это не мешает мне продолжать начатую речь. Сомнения твои естественны, потому что они

* Эта фраза по-русски в оригинале; отсюда снова по-немецки.

** Отсюда до конца по-русски в оригинале.

Н. Г. Фролов.

И. С. Тургенев в 40-х годах.

вытекают из большей или меньшей болезненности твоего духа — болезненности, причину которой я глубоко понимаю. Но они совершенно неосновательны. Поверь мне, друг: что ты для Вариньки, тем никто другой не может быть для нее. Это до такой степени справедливо, что если мне невозможно разлучить в мыслях и в чувствах своих одного члена нашего тесного кружка от других, то еще невозможнее разлучить тебя от Вариньки. Вы две составляете одно прекрасное, полное, драгоценнейшее для меня всего в мире существо. Думая о Вариньке, я невольно думаю о тебе, и думая о тебе, я невольно думаю о Вариньке; вы дополняете друг друга точно так же и еще в теснейшем смысле, как мы все дополняем друг друга. Жизнь нас тесно, неразрывно связала, и ничто в мире не развяжет союза, совершившегося во имя любви и истины. В развитии всех глубоких элементов, заключающихся в нем, должна заключаться вся наша жизнь, все наше счастье *.

Стать человеком — таково высочайшее призвание человека. Сделать своего гения, предвечно воплощенного *в его личности* бога, сознательным содержанием своей жизни, — такова единственная задача жизни. Все великое, таинственное и святое заключается единственно лишь в том непроницаемом и простом своеобразии, которое мы называем личностью. Общее, взятое абстрактно по себе, что бы о нем ни говорить, остается поверхностным, плоским и мертвым. Только лично проявившийся в откровении бог, только бессмертная и духом божиим просветленная особенность и своеобразие личного человека есть живая истина, и реализация этой истины есть одна лишь любовь, и высочайшею ступенью всякого дела и знания ** является именно та, где оно собственными силами поднимается к живому пламени любви и к священной действительности личного духа. Жизнь и истина в основе своей так просты, и однако в действительности они встречаются нам столь сложными и разнообразно трудными. Бывают минуты, когда все так ясно, когда каждая в другое время трудная задача в данном случае легко разрешается: только в такие моменты человек бывает счастливым, потому что тогда он видит и имеет самого себя, все свое *я* и бога в себе в гармоническом и

---

* До сих пор по-русски, отсюда по-немецки в оригинале.

** Это слово «Wissen», можно прочесть и как «Willen» (воля, хотение), но это было бы неправильно, так как палочки не прямые, а изогнутые, то есть не l, а s.

простом единстве. В такие минуты кажется странным, что в другое время приходилось так мучиться, чтобы найти истину, которая столь глубоко коренится в сердце каждого человека как единственная его природа, как единственный живой источник его богочеловеческой жизни. И тем не менее это многообразие, я мог бы сказать — это злосчастное рассеяние в запутаннейшем клубке жизни, необходимо. Простота, истинно божественная простота — а она есть не что иное, как первобытная личность, первобытное своеобразие каждого человека в боге, — должна сама родиться в многообразии и путем его преодоления. Что такое душа, жизненный элемент всякого великого музыкального произведения? Простая и величественная мелодия. В противном случае вся пьеса представляет сборное нагромождение звуков, бессмысленную шумиху, способную обмануть только пошляков. Но с другой стороны, чем была бы мелодия (независимо от ее простой красоты) без гармонического развития? Гармония составляет ее живое саморазвитие, самопорождение. Живое порождение есть единственная жизнь; все остальное есть никчемная чепуха. И производить можно лишь самого себя, свою живую простоту; а последняя есть личность, и единственное прирожденное ей средство ее осуществления есть любовь. Любовь есть высшее, ибо она есть откровение, самопорождение личности. Будь спокойна и бодра, друг, горе преходяще, а радость вечна, человек призван к человечности, к богочеловеческой жизни, т. е. блаженству; и каждый человек без исключения должен рано или поздно достичь блаженства, ибо он — человек. Имей твердую веру в бога, в простой голос твоей прекрасной, благородной души; следуй лишь ее побуждениям, люби нас и не забывай никогда, что твоя любовь есть наша отчизна, святая обитель нашего общего счастья *.

Да, друг, я понимаю все твои страдания; я вполне знаю все твои потребности и вижу, как окружающий тебя мир мало способен осуществить их. Но, друг, в тебе скрыто такое глубокое сокровище жизни, любви — дай ему полное, свободное развитие; не сомневайся в своей личности, потому что это — грех; живи как птица божия — бери то, что тебе дается жизнью, и без ропота, без отчаяния, без холодного стоицизма, не отказываясь ни от чего ожидай с покорностью времени, назначенного судьбою, когда

* Дальше по-русски в оригинале.

осуществятся все твои главные желания. Вера в жизнь и в себя есть единственное условие жизни.

Теперь прощай, девочка, — спать пора.

Паше напишу.

Прощай, девочка, посылаю тебе это письмо — многое еще хотелось бы сказать, да боюсь, залежится.

(Не подписано).

№ 415. — Письмо брату Николаю.

18 $\frac{29}{17}$ 41. Март. Берлин.

(17/29 марта 1841 года).

Милый Николай! Давно уже собираюсь писать тебе, а ты вероятно уже давно ждешь письма от меня, ну вот я теперь и пишу тебе, да к тому же еще и о весьма важном деле. Ты знаешь, вероятно, что брат Павел серьезно болен, что его здоровье требует скорых и решительных мер, и что вследствие этого родители решились взять его из университета, для того чтобы он мог отдохнуть в деревне. Но я знаю, и ты знаешь это точно [так] же, как и я, что это средство будет недостаточно для его выздоровления. Половина его болезни заключается в его духе. Я ее хорошо знаю, в этом отношении мы имеем с ним много общего. С одной стороны ему необходимо хорошее и умное телесное лечение, но с другой и еще нужнее спокойствие, возвращение жизни, деятельности, веры его духу. Родители этого не поймут, но для нас это как день ясно. В этом отношении пребывание в деревне не только что ему не поможет, но напротив будет ему положительно вредно. Мысль, что ему уже 21 год и что между прочим он не идет вперед, одним словом все мучения, болезни и сомнения, необходимо сопряженные с неудовлетворением живой потребности знания и духовной жизни, — болезни, которые я глубоко испытал, которые мучили меня очень, очень долго и которые потому я очень хорошо знаю. В этой духовной болезни, которая — я знаю — развилась в нем до сильной степени, заключается основная причина болезни его уж и без того слабого организма. Прибавь ко всему этому das verständige Wesen meines Vaters, seine jede lebendige Bewegung des Gei-

stes niederdrückende Reden, die unsichtbare und doch schreckliche geistige Krankheit, die den Organismus unseres Familienlebens durch und durch durchdringt *, все эти повидимому маленькие, но в сущности так тяжело и пагубно на всех действующие недоразумения и неприятности, и тогда ты вполне убедишься, что пребывание в Прямухине не только что не будет спасительно, но напротив пагубно для него. А здоровье его находится в опасном положении; обманывать себя не должно: при таком слабом организме, в таком состоянии духа и при таких обстоятельствах он может легко погибнуть. И ждать разрешения от времени, в то время как мы знаем наверное, что оно не может быть иначе как гибельным разрешением, было бы с нашей стороны преступлением, просто убийством. Да, милый Николай, мы не должны себя обманывать, не должны быть слепы, любовь должна быть зряча. От того, кто не любит, от того пошлая ежедневность и призрак обыкновенности может закрывать то, что происходит в груди других людей, то, что им угрожает. Но нас ежедневность обмануть не может. Кроме этого любовь не должна и не может ограничиваться только теоретическим пониманием другого, — только та любовь жива и действительна, которая действует. То не любовь, что смотрит, сложа руки, на тяжелое состояние других любимых людей и не чувствует в себе ни силы, ни веры, ни способности, для того чтоб помочь им, — не любовь, а болезненное, подгнившее чувство. Истинная любовь видит все, как оно есть, и она одарена этою проницательностью не для того, чтобы приходить в отчаяние и уныние, но для того, чтобы живо и всемогуще действовать. Да, Николай, ты верно все это так же хорошо знаешь и чувствуешь, как и я, и потому приступаю скорее к делу.

Я в свое время много действовал для сестер и братьев, теперь наступила твоя пора. Вот в чем дело: единственное средство для спасения брата Павла это — поездка за границу (на год). Во-первых он полечится здесь у доктора Schönlein [1], который считается лучшим медиком в Германии и который делает здесь чудеса: он в продолжение этой зимы просто спас многих из моих знакомых; во-вторых это совершенно восстановит здоровье и

---

* «Рассудочный характер нашего отца, его речи, убивающие каждое живое движение духа, невидимую и тем не менее ужасную душевную болезнь, насквозь пропитавшую наш семейный организм».

силу его духа; как и почему, тебе толковать нечего. Итак жизнь брата Павла находится в опасности; верное и единственное средство для его спасения есть поездка за границу; вследствие этого мы должны употребить все наши усилия для осуществления ее. Теперь нужно поговорить о средствах. Во-первых не нужно, чтобы эта поездка портила его карьеру; он не должен терять времени, и потому он должен получить от университета отпуск на год для поправления своего здоровья, с тем чтобы по возвращении ему было позволено держать экзамен через курс; таким образом он не отстанет от братьев. Об этом я писал Грановскому и просил его, чтобы он вместе с другими профессорами выхлопотал этот отпуск у графа Строганова, который без всякого сомнения согласится дать его во-первых потому, что здоровье Паши действительно требует его, во-вторых потому, что он точно таким же образом дал отпуск своему сыну, и в-третьих потому, что Паша заслужил это своим прилежанием.

Во-вторых необходимо согласие родителей. Тут также может вам помочь Грановский. Я просил его вместе с другими профессорами написать к папеньке письмо и доказать ему необходимость этой поездки. Наконец ты, сестры и брат Павел сам должны тут действовать ясно, кротко и твердо вместе.

Третье и почти главное — это денежные средства. Во-первых наше состояние совсем не в таком несчастном положении для того, чтобы папенька (если захочет) не мог дать средств, а во-вторых я нашел средства. Тургенев, с которым я здесь подружился, предлагает мне нужные деньги, с тем чтобы отдать ему их, когда у нас будет свое собственное имение. Об этом папеньке должно говорить осторожно и только в крайности; во всяком случае он должен дать денег. Во всех ваших действиях и разговорах с родителями вы должны скрывать свою экзальтацию в самих себе и говорить с ним *рассудительно*, спокойно и твердо; это — самое лучшее оружие против их несогласия. Кроме этого войди в сношение с Грановским; я знаю, он с радостью сделает все, что от него зависит.

Ну что-ж, милый Николай, ты теперь доволен, видишь, что дело не так трудно, как кажется с первого раза, и радуешься этому легкому случаю отличиться на родном поле нашего семейства? Нет, постой, милый брат, это — только цветочки, а сейчас будут ягодки. Ты должен устроить, *чтоб с братом Павлом родители отпустили и сестру Танюшу.* Что, ошеломил, неправда ли?

Как обухом по лбу! Но не менее того это точно так же необходимо, хотя и гораздо труднее. Но необходимо, а следовательно и возможно.

Необходимо потому, что Танюша точно в таком же опасном положении, как и Паша. Она старается скрывать свою болезнь, но ее болезнь очень опасна и тем опаснее, что половина ее заключается в ее духе точно так же, как болезнь брата Павла.

Танюша уж очень давно и духовно и физически опасно больна. У нас этого никто не примечает, а если и примечают, то стараются отвлекать[ся] от этого, не думать об опасности. Во всем нашем семействе царствует какая-то гибельная усталость, какое-то болезненное равнодушие: дни текут, все страдают, все больны, опасность увеличивается с каждым днем, а между тем все, сложа руки, стараются не думать об опасности. Никто не пошевелит пальцем для того, чтобы помочь злу, все погружены в какую-то постыдную апатию. Знаешь ли, милый Николай, кутить и горячиться, когда в сущности все спокойно и обыкновенно, есть фразерство и мальчишество; но стараться быть спокойным и следовать пошлому ходу ежедневности, когда опасность, действительная опасность угрожает, это пошло, грязно, это — признак отсутствия жизни и любви. Любовь должна быть деятельна и смела, она не должна бояться никаких препятствий, потому что ей дано свыше знать и действовать и потому что она знает, что она делает. Милый Николай, я знаю, ты любишь, глубоко любишь сестер и ты способен к сильной энергии. Но в тебе есть что-то флегматическое, ленивое, которое ты на это время должен стряхнуть с себя. Вспомни, что ты призван теперь быть спасителем брата и сестры. Кроме этого, я знаю, тебе может помешать твоя нежность, твоя боязнь огорчить родителей, твое маленькое православие. Поверь мне, милый брат, я уважаю в тебе эти прекрасные, святые стороны; но я знаю также, что бывают такие минуты и такие обстоятельства, когда нужно подчинить их высшему долгу, высшей цели. Эта святая сторона может превратиться в преступление, когда она может помешать тебе действовать для спасения сестры и брата, в преступление против них, против себя, против родителей. Скажи мне, разве родителям моим будет легче, когда, повинуясь эгоистически тесному кругу своих мыслей и своей недальновидности, когда для эгоистического сохранения временного спокойствия они погубят сестру и брата? Положим даже, хотя это предположение и совершенно

несправедливо, совершенно невозможно, что они могли бы предпочесть сохранение временного спокойствия и соблюдение обыкновенного порядка спасению детей своих; то мы, разве мы имеем право покоряться их воле; разве мы не должны разорвать эту пошлую ежедневность и исполнять священный долг наш, повиноваться святому голосу любви? Да, Николай, я бывал в таких обстоятельствах, где для спасения сестер я должен был идти против воли отца, должен был огорчать его. Мне было грустно, тяжело, но я не колебался, потому что во мне говорила и действовала любовь; а только одна любовь свята и истинна. Все остальное, как бы оно ни называлось, — пошлость, глупость, грязь и грех. Да, Николай, я знаю, как тяжело огорчать нашего святого старика, но что-ж делать! С разорванным сердцем мы должны исполнять долг наш. А этот долг — священный долг, он наложен на нас любовью. Поверь мне, Николай, я дорого бы заплатил за возможность окружить нашего бедного старика любовью и спокойствием, ничто так не необходимо мне, как вера его в любовь мою, как его благословение. Но что же делать мне? Судьба поставила меня в такие отношения, что это почти невозможно. Впродолжение нескольких лет я должен был бороться с ним за сестер и братьев и теперь еще должен продолжать ту же самую борьбу, Он требует возвращения Вариньки и требует вместе, чтоб она написала благодарственное письмо Д[ьякову], чтобы она примирилась с ним. Ты чувствуешь сам, что это невозможно; что это погубило бы ее, потому что возвратило бы ее к тому же самому унижению, от которого она избавилась отъездом за границу. Варинька не может иначе возвратиться за границу * как с полною уверенностью, что она будет у вас вне всякой опасности от притязаний Д[ьякова]. Это — условие non plus ultra **. Иначе она не может возвратиться и не возвратится, — это решено. Вы должны употребить все средства для того, чтобы уговорить отца законным образом устроить ее безопасное возвращение. Но об этом потом. Я об этом напишу тебе больше с Тургеневым, который — мой истинный друг, друг моей сестры, а потому будет и вашим другом. Я знаю, мне не суждено доказать отцу любовь свою. Теперь мне

---

* По смыслу должно быть: «из-за границы».

** Крайнее (повидимому вместо «sine qua non» — абсолютно необходимое).

стало это ясно, он никогда не поверит ей. Он всегда более или менее будет видеть во мне врага своего спокойствия. Да, Николай, эта мысль иногда раздирает мою душу, мне бывает очень, очень грустно. Но что-ж делать, я до последней капли крови буду исполнять долг свой, и потому я спокоен вместе; я опять здоров и крепок.

Но перейдем теперь к Танюше. Поездка эта будет ее спасением. Сперва нужно выхлопотать согласие родителей на поездку брата Павла, а потом уже говорить о Танюше, — если можно на год, а если уж никак нельзя, то хотя до будущей осени. Пусть родители дадут столько денег, сколько нужно, а остальное мы добавим другими средствами и экономиею.

Ну, брат Николай, встань, вооружись и действуй. Вот тебе обширное поле для действия. Дальнейшие советы, как действовать, будут бесполезны, во-первых потому, что вы сами все знаете, а во-вторых потому, что нужно соображаться с обстоятельствами, которых я здесь видеть не могу. Главное будьте истинны, истина — лучшее оружие, лучшая руководительница в трудных, да и вообще во всяких обстоятельствах. Кроме этого скажи братьям, чтоб они прислали тебе мое письмо к Павлу. Действуйте вместе, с общего совета, для того чтобы был план, чтобы было единство в ваших действиях. Отправьте их к нам как можно скорее. Мы будем ждать их в Берлине, посоветуемся с Schönlien и отправимся, куда следует.

Еще одно. Я знаю, что Танюше будет тяжело оставить сестру Alexandrine. Но во-первых она должна вспомнить, какое счастье будет для Вариньки увидеться с нею; во-вторых, что сохранение жизни и здоровья есть святая обязанность. И в-третьих какое счастье будет для самой Alexandrine знать, [что] они здоровы, счастливы. Пусть она вообразит себе, что должна ехать Alexandrine, и как бы оскорбительно было для нее, если бы Alexandrine не соглашалась ехать, для того чтобы не оставить ее одну, и тогда она почувствует, что в любви ничего не делать для себя точно так же эгоистично, как ничего не делать для другого.

Кроме этого можно и должно устроить, чтобы Alexandrine не оставалась одна; это можно будет устроить с помощью Alexandrine Beer * или Ушаковых. Alexandrine Beer я завтра

---

* Александра Беер.

напишу и пошлю письмо к тебе, потому что не знаю, где она теперь пребывает. Если она не в Твери, то ты немедленно же пошли мое письмо к ней. Rappelle moi au souvenir de m-me Ouchakoff et des Demoiselles Cathérine et Annete*; ты можешь даже показать им мое письмо с одним условием, чтобы Екатерина Петровна не смеялась над моею безграмотностью; я здесь совсем разучился писать по-русски.

Поклонись хорошенько от меня полковнику Шпилевскому; скажи ему, что я здесь часто о нем вспоминаю, что я его так же горячо люблю, как и прежде. Я ему писал, но он не отвечал мне. Получил ли он мое письмо? Пожми руку Будревичу, хорошенько. Прощай, Николай.

Брат Павел привезет назад Танюшу с Варинькою, если это будет возможно, или без нее в случае невозможности. Не теряй ни минуты, будь деятелен и отвечай мне немедленно [2].

Твой брат и друг

М. Бакунин.

№ 416. — Письмо А. П. Ефремову.

[9 апреля 1841 года. Ней-Бранденбург.]

Милый Ефремов! Спасибо тебе за твое письмо. Буду отвечать тебе по пунктам.

1. Квартиру следует удержать, если это еще возможно, до Johannis **, т. е. до последних чисел июня. Это будет весьма хорошо, т. е. zweckmässig ***.

2. С мебельщиком разделайся как-нибудь, осторожно и как можно мирнее. Эти проклятые филистры с своими глупыми законами ужасно горды, когда дело идет до их маленькой собственности.

3. Что ж касается до прохода через сад, то это — дело совершенно принадлежащее твоему дипломатическому призванию.

Вот и все пункты разрешены, да кроме первого мне и раз-

* «Передай от меня поклон г-же Ушаковой и барышням Катерине и Аннете».

** Иванов день (24 июня).

*** Целесообразно.

решать было нечего. Да ты просто глуп, друг мой. Тургенев * об этом с утра до вечера здесь толкует, так что и я наконец этому поверил. Спасибо тебе за высокое покровительство, оказываемое тобою сестре **. Мы скоро возвратимся. Нам здесь хорошо: почет большой и кушаний вдоволь, что нашего любезного Ивана Сергеевича *** приводит в немалый восторг. А впрочем прощай. Кланяйся сестре.

Твой

М. Бакунин.

*(Дальше следует приписка Германа Мюллера-Стрюбинга **** с поклоном Варваре Дьяковой).*

Перевод с немецкого.

№ 417.—Письмо сестре Татьяне.

(15/27 апреля 1841 года. Берлин).

(Сначала идет письмо Варвары, а затем письмо Михаила).

Милая Танюша, если ты ничего еще не знаешь из моих писем к братьям, то ты ничего не в состоянии будешь понять в варинькином письме. Павел должен приехать в Берлин: этого необходимо требует состояние его здоровья. Я думаю, что родители найдут к тому средства. Но трудность состоит в том, что не он один, но и ты должна с ним совершить эту поездку. Средства для того уж как-нибудь найдутся. Нужные для того деньги мне даст взаймы Тургенев. Об этом написано моим братьям и особенно брату Николаю. Дело устроится, но вы все вместе должны мне в этом помочь. Тебе трудно будет решиться оставить Александрину одну хотя бы на короткое время. Но ты должна сделать это для Вариньки, для своего здоровья, всегда составляющего необходимое условие всякой духовной жизни. Вы вернетесь вместе с Варинькою, после того как вы все подлечитесь и окрепнете. Разлука продлится недолго. Для Павла, для

---

* Иван Сергеевич.

** Варваре Александровне Дьяковой.

*** Тургенев.

**** О Г. Мюллере-Стрюбинге см. коментарий 2 к № 432.

Вариньки, для всех нас, — не исключая Александрины, ибо она нас любит, — это будет счастьем. Пишите мне только поскорее, для того чтобы я знал, как обстоит дело.

Трудности не должны нас пугать. Нужно только действовать с верою и силою, и мы несомненно добьемся своей цели.

При сем прилагается письмо Вариньки к Д[ьякову] — оно написано очень хорошо. Ты можешь смело отдать его родителям и ты мне сообщишь, какое впечатление оно на них произвело [1].

Прощайте, я должен спешить. Отвечайте мне поскорее, друзья.

18 $\frac{27}{15}$ 41. Апрель. Берлин.

Ваш

М. Бакунин.

№ 418. — Письмо братьям и сестрам.

1841 $\frac{15}{3}$ мая. Берлин.

(3/15 апреля 1841 года).

Братьям и сестрам всеобщее послание!

Тургенев оставляет нас и возвращается в Россию. Он едет отсюда [в] понедельник 17-го числа и через недели две с половиной будет у вас в Прямухине. Примите его как друга и брата, потому что в продолжение всего этого времени он был для нас и тем и другим и, я уверен, никогда не перестанет им быть. После вас, Беєровых и [Н. В.] Станкевича он — единственный человек, с которым я действительно сошелся. Назвав его своим другом, я не употребляю всуе этого священного и так редко оправдываемого слова. Он делил с нами здесь и радость и горе. В продолжение целой зимы мы жили с ним почти в одной комнате, целые дни от 6 часов утра и до позднего вечера были неразлучны и работали вместе, и это не только что не ослабило, но напротив укрепило нашу связь. Каждый вечер проводили мы вместе с Варинькою и втроем с нею пережили чудные минуты. Варинька говорит, что она полюбила его как брата. От него у нас не было ни одной тайны; и потому вы видите, друзья, он не может вам быть чужим человеком. Он вам много, много

будет рассказывать об нас и хорошего и дурного, и печального и смешного. К тому же он — мастер рассказывать, — не так, как я, — и потому вам будет весело и тепло с ним. Я знаю, вы его полюбите.

А мы останемся здесь сиротами; будем ждать Пашу. Надеялись, что и Танюша приедет, да, видно, тщетная надежда! Твое письмо, милая Танюша, тронуло и убедило меня. Поступай всегда из свободной полноты своей жизни, и твои поступки всегда будут истинны, и ты никогда не утратишь себя в своей жизни.

С Варинькою вы вероятно увидитесь скоро, вероятно будущею осенью. Мне необходимо только совершенно убедиться в ее безопасности от притязаний [Н.] Дьякова — в такой безопасности, которая бы не была основана только на его доброй воле.

Я и Варинька дали Тургеневу совершенное полномочие; он должен вам помочь устроить это дело.

Прощайте, друзья. Скоро буду писать вам.

Ваш
М. Бакунин.

№ 419. — Письмо сестрам Беер.

[Середина мая 1841 года. Берлин.]

Милые друзья! Отдаст вам это письмо Тургенев, ваш сосед по Орловской губернии. Мы с ним близко сошлись. Он — прекрасный человек. Он был все это время мне и Вариньке истинным другом. Он вам много будет рассказывать об нас.

Друзья, давно я не писал к вам. Может быть, мое молчание подало повод к некоторым сомнениям. Но верьте, друзья, моя любовь к вам ни на каплю не уменьшилась. Все это время я не мог писать: я переживал много нового, много прекрасного и много тяжелого и до сих пор еще не могу отдать отчета ни в чем ни вам, ни себе. Придет время, и я стану говорить перед вами, милые, святые друзья мои, как перед самим собою. Но до тех пор любите меня и верьте мне попрежнему.

Ваш
М. Бакунин.

№ 420. — Письмо родным.

18 $\frac{19}{7}$ 41. Сентябрь. Эмс.

(7/19 сентября 1841 года).

Милые девочки, хотел было вам писать, Паша и место оставил, да завтра рано уезжаем отсюда в Дрезден. Хлопот много, денег мало, а у меня целая семья на руках. Милые, добрые девочки, в последнее время я вам редко, почти совсем не писал. Но не заключайте из этого, чтоб я разлюбил вас. Нет, я весь, весь ваш так же, как и прежде. Я во многом переменился, но в отношении к внутреннему смыслу моей жизни и к моей любви к вам, что во мне неразрывно связано, я остался тот же самый, с той только разницею, что как то, так и другое стало во мне глубже и действительнее.

Милая Саша, ведь ты теперь умная и опиуму пить не станешь, и про себя знать не будешь, и нас действительно любишь, действительно, т. е. так, что у тебя нет особенной, от нас скрытой жизни, неправда-ли? А ты, девочка моя, девочка par excellence *, ты меня также попрежнему любишь, и если бы я приехал, стала бы так же слушаться, как и прежде, и не стала бы бунтовать? А ты, Мяколушка **, ты их всех в руках держишь? Вот тебе и во второй раз суждено быть атаманом после меня. А ты, Илинька, говорят, философом стал, развиваешь свою собственную философию и опровергаешь с некоторою ироническою улыбкою всякую другую? А ты, Саша ***, рисуешь? А ты, Алеша ****, готовишься в мои капельмейстеры?

Всех вас крепко, крепко обнимаю.

Весь ваш

М. Бакунин.

---

* По преимуществу. Речь идет о сестре Татьяне, которую Бакунин особенно любил.

** Брат Николай.

*** Брат Александр учился рисованию.

**** Брат Алексей.

№ 421. — Письмо сестре Варваре и брату Павлу.

18 $\frac{27}{15}$ 41. Октябрь. Галле.

(15/27 октября 1841 года).

Добрые друзья, вы удивитесь такому нечаянному письму. Сегодня только расстался с вами и сегодня же пишу к вам, — необыкновенная нежность, неправда ли? Но не спешите хвалить меня. К несчастью полковник Дюгамель был прав: теперь из Дрездена в Берлин в один день приехать нельзя. Я узнал об этом, как только сел в карету, т. е. еще тогда, когда глаза мои наслаждались лицезрением Мадонны. Но я не сказал тебе этого, милый Павлинька, для того чтобы понапрасну не огорчать тебя мыслью, что мы могли бы пробыть еще несколько часов вместе, если бы справились во-время. В продолжение дороги до Лейпцига я все читал «Politique du peuple» (Lamennais) *, читал и восторгался. Право, мне стало очень весело при чтении этой книги. Сначала было очень грустно; я думал о вас, моих бедных сиротах; беспрестанно видел твое грустное лицо, Паша; вспоминал твое заплаканное лицо, моя милая девочка **, вспоминал еще многое другое, — вот мне и стало грустно и жаль и вас и себя. Для того чтобы положить конец этой меланхолии, которая, как знаете, мне не к лицу, я решился читать Lamennais и не успел прочесть несколько страниц, как душа моя наполнилась самою живою, самою широкою жизнью. Эта книга Lam[ennais] гораздо лучше его «Religion» ***. В последней чувствуешь присутствие истинного инстинкта в нем, но инстинкта еще неясного, несвободного, окованного еще формами настоящей действительности. Вопрос о религии не может быть разрешен *утвердительным* образом, рассуждениями и рефлексиею, потому что дело их в этой сфере есть только отрицание того что, потеряв живую душу свою, принадлежит не настоящему более, но прошедшему. [Вопрос о религии будет разрешен только тем, кто выговорит простое, а потому и всеобъемлющее, и практическое], и живо-

---

* «Народная политика» Ламенне [1].

** Сестра Варвара.

*** Вероятно Бакунин имеет в виду «De la religion considerée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil» (1824).

творное начало новой религии, новой жизни, новой действительности. Но это выговаривание произойдет не в области теорий и книг, а в области жизни, а потому-то оно и будет новое откровение, а потому мы и не можем определить его в книгах. «La politique du peuple» потому лучше, что, обнимая всю настоящую действительность, указывая на беспрестанные и повсеместные противоречия ее, самою святою добросовестностью и без всякой пощады, Lamennais руководим в ней тою простою любовью и тою глубокою непоколебимою верою в будущность человечества, которые составляют единственную основу всякого истинного апостольства.

В наше время гораздо более склонны верить в самые сложные, себе противоречащие положения, чем в простую истину, потому что сложные положения уже по одной сложности своей не принуждают к действию, а вследствие этого и служат удобным покрывалом гнилости нашего существования, и потому, что простая истина слишком светла, слишком естественно горяча для нашего тепличного, разными искусственными средствами удобренного быта. Простая истина даже не переходит в действие, потому что она уже по своей сущности есть действие.

По моему мнению Lamennais — не только замечательный человек, но кто хочет хоть несколько живым образом проникнуть в вопросы нашего времени, должен непременно читать, изучать его. Во время чтения его книги мне пришло много хороших мыслей о том, как теперь должно заниматься историею и политикою. Нынешней зимой я непременно стану [осуществлять их; и это занятие мне тем ближе к сердцу, что именно теперь настало время], когда политика есть религия и религия — политика. Я как будто вижу будущее и чувствую, что теперь ничто в мире не будет в силах потрясти моих верований. Вперед, друзья, вперед, с чистою душою, с любовью, с практическою любовью и с святою верою в сердце, беспрестанно очищаемом свободною мыслью, мы дойдем до своей цели. Это так же верно, как дважды два четыре.

Вот таким образом я и доехал до Лейпцига в 10¼. Остановился в Hôtel de Rome, выбрился да и проспал до обеда; а после обеда, как следует благородному человеку и дворянину, выкурил трубку да и опять сел на паровоз и в продолжение часа опять читал Lamennais. В 3 часа приехал в Галле; выходя из кареты, потерял 1-ю часть Lamennais (Паша, достань непре-

менно «Politique du peuple» да и подари мне) и остановился в Hôtel du Prince, откуда немедленно же отправился к профессору Шаллеру, пробыл у него часа два, много говорил с ним, а потом пошел читать газеты, прочитал все старое и новое, да и принялся за это письмо, окончив которое лягу спать, т. е. читать 2-ю часть Lam[ennais]; а завтра в 7¼ утра выеду отсюда и приеду в Берлин в 2 часа после обеда.

Прощайте, друзья. Крепко, крепко вас обнимаю. Из Берлина буду часто вам писать; вы делайте то же, таким образом мы все-таки будем вместе. Я буду работать и вы также — таким образом мы опять-таки будем вместе. Паша приедет ко мне через три недели, а [недель через шесть я приеду к вам на целый месяц].

Милые друзья, кружок наш здесь тесен; нас всегда только трое, нам бывает иногда очень тяжело, но в нем для нас такой бесконечный источник жизни, что нам, право, хорошо жить на свете; будем же верны друг другу и не будем же никогда позабывать, что ничто в мире не может заменить для нас друг друга.

Прощайте.

Ваш друг и брат

М. Бакунин.

Поклонитесь от меня хорошенько Елизавете Петровне * и Екатерине Петровне * и всем барышням, и Григорию Михайловичу ** и попросите их не совсем позабывать меня.

Варинька, если ты не послала еще моего письма к Тургеневу, то пожалуйста пошли как можно скорее ***.

---

* Языковы.

** Г. М. Толстой [2].

*** Фразы, заключенные в прямые скобки, отсутствуют теперь в оригинале. Повидимому нижние строчки страниц 1, 2 и 3 этого письма были еще в целости, когда письмо находилось у А. Корнилова. Эти фразы мы и заимствовали у Корнилова, опубликовавшего (с некоторыми ошибками) это письмо в «Былом» за 1923 год и в книге «Годы странствий Михаила Бакунина», Лен., 1925, стр. 87—89.

Карл Фогт в 40-х годах.

Арнольд Руге.

№ 422. — Письмо родным.

1841 $\frac{\text{3-го ноября.}}{\text{22 октября.}}$ Берлин.

Милые, добрые друзья!

Уж я так давно не писал вам, что не знаю, с чего начать: извинениями? Но это будет несообразно с моим достоинством, да вы и загордитесь слишком. И потому начну прямо повествовательным слогом. Вам известно уже, что мы были в Эмсе в продолжение трех месяцев; что Варинька и Саша * купались там и пили воды; что в это время Паша, не нашедши нас в Берлине, писал мне и [А. П.] Ефремову письма почти во все города Германии; что мы познакомились и сблизились в Эмсе с двумя семействами: 1-е — с семейством Елагиных, которое я описывать не стану, потому что ты, милая Саша, их всех знаешь; скажу только, что мы их всех полюбили, и они нас также, и 2-е — с семейством Языковых, о котором я писал к папеньке **. Кроме этого вам также известно, что мы приехали в Дрезден в первых числах октября; что Варинька и Павел там поселились; что я прожил там с ними почти целый месяц, что мы вместе слушали Липинского и ходили в знаменитую галлерею. С Липинским мы очень сблизились: он не только царь в музыке, но еще и человек прекрасный; в нем так много гуманности, мысли и простого, прямого чувства, что мы все его от души полюбили. При сем прилагаю для Алеши визитную карточку его, написанную его собственною рукою.

Кроме этого я познакомился в Дрездене с доктором Руге [1], издателем Deutsche (прежде они назывались Hallische) Jahrbücher. Он — интересный, замечательный человек, замечателен более как журналист, как человек необыкновенно твердой воли и ясностью своего рассудка, чем спекулятивною способностью. Он без всякого исключения враждебно относится ко всему, что имеет хоть малейший вид мистического. Разумеется, что вследствие этого он впадает в большие односторонности во всем, что касается религии, искусства и философии. Но во многих других отношениях эта односторонность и абстрактное направление его

* Сын Варвары.
** Письмо это до нас не дошло.

приносят немцам большую пользу, вырывая их из гнилой, золотой и неподвижной середины, в которой они так давно покоятся. 27-го октября (по нашему 15-го) я выехал рано поутру из Дрездена по железной дороге и в тот же день по железной же дороге прибыл в Halle * и там познакомился с профессором Шаллером, с тем, который написал против Штрауса «den historischen Christus» ** Шаллер не вполне удовлетворил меня. Правда, что из двухчасового разговора человека нельзя вполне узнать, но мне не понравилась в нем какая-то бесхарактерная определенность, которая проглядывает через все существо его.

На другой день я приехал в Берлин и на другой же день моего приезда: 1-ое был у Вердера, который встретил меня с открытыми объятиями, говоря, что ему давно было нужно видеться со мною для того, чтобы освежиться в моей Rücksichtslosigkeit ***. Я был тронут его встречею. Мы с ним провели часа три; условились в наших уроках. Через две недели я буду брать у него по два урока в неделю: один раз буду заниматься с ним логикою, а другой раз читать с ним Фихте и Шеллинга. Я от него много, много ожидаю. Его логика (напечатанная до Quantität **** — глубокая вещь: она воскресила систему Гегеля, которая в старых представителях своих, как философия, чуть было не заснула на своих лаврах; а в новых представителях пустилась в аферы, т. е. в критику, а критика по натуре своей уж необходимо противоречит свободному и глубокому спекулятивному мышлению. Вердер теперь весь в заботах — через недель пять здесь дают его «Колумба», о котором вы верно уж много слышали от Тургенева.

2-ое был в университете и записался на лекции. В этот год я буду слушать: а. Логику у Вердера; Philosoph[ie] der Offenbarung ***** — у Шеллинга, «Geschichte der neuesten Zeiten» ****** — у Ранке [2] и кроме этого буду заниматься политическою экономиею и латинским языком. Работы много, как вы видите, но она не пугает меня: я теперь привык много рабо-

---

* Галле.

** «Исторического Христа».

*** Безпардонности.

**** Количество.

***** «Философия откровения».

****** «История новейшего времени».

тать, и предметы-то (кроме латинского языка) все такие интересные.

3-е отправился к Шеллингу, для того чтобы взять у него номер, кланялся ему от Елагиной *, с которой он виделся в Карлсбаде. Говорил с ним о моих занятиях, о том, что он будет читать, — все это в продолжение получаса. Он пригласил меня приходить к нему, и я постараюсь поближе познакомиться с ним. Он почти совсем не похож на свой портрет, — маленького роста, но глаза у него чудесные. Говорят, что дочь его прекрасна собою, с глубоким выражением в лице. Ай, ай, ай, я, может быть, и влюблюсь в нее, — и это тем опаснее, что я слышал об ней от русских, от Елагиных, а не от немцев, которые готовы назвать wunderschönes Mädchen ** урода. Вы не можете вообразить себе, с каким нетерпением я жду лекций Шеллинга. В продолжение лета я много читал его и нашел в нем такую неизмеримую глубину жизни, творческого мышления, что уверен, что он и теперь откроет нам много глубокого. Четверг, т. е. завтра, он начинает. Через несколько времени напишу вам об нем.

4-е — нанял квартиру (Dorotheen-Str[asse] № 28, 2 Treppen hoch; адресуйте так ваши письма) и теперь уже совершенно устроился.

Вы видите, что я в один день сделал много дела. До сих пор я занят был устроением своего хозяйства, и потому мне некогда было думать о другом; но теперь, как все хлопоты кончились, мне стало очень грустно: я в первый раз в жизни (разумеется, исключая моей военной службы) один. Прошедшую зиму я был с Варинькой и с Тургеневым, весною и летом — с Варинькой, а с конца лета до сих пор — с Варинькой и Павлом: теперь же я в некотором отношении совершенно один. Впрочем это хорошо: я лучше войду в себя и еще действительнее сроднюсь с своею внутреннею жизнью, чем прежде. Через полтора месяца будет месяц вакаций, и я проведу его в Дрездене. С Павлом я еще более сблизился, он теперь совершенно воскресает как духовно, так и физически. Варинька также стала веселее; ей и нам всем хочется устроить дела так, чтобы ей можно было возвратиться весною. Это зависит от многих обстоятельств, для этого

---

* Авдотья Петровна.

** Прекраснейшая девушка.

нужно еще устранить много препятствий, а возвращение это необходимо ей еще более, чем вам. Я уверен, что оно совершенно увенчает ее излечение. Что будет, то будет. Не станем только спешить; будем осторожны, спокойны и вместе решительны, как следует быть людям верующим, людям, исполненным высшею, святою жизнью.

Милые друзья, какие бы обстоятельства нас ни ожидали, что бы ни случилось с нами, мы всегда будем вместе, неразлучны; наша взаимная любовь — ведь не тень, не мечта, но самая святая, действительная истина. До сих пор она сохраняла нас; видимо или невидимо, она никогда не переставала быть единственною сферою нашей жизни, нашим ангелом-хранителем в самых трудных обстоятельствах жизни, единственным источником нашей веры, нашей любви, всего святого и живого в нас. Ее разрушение было бы разрушением каждого из нас, и потому она не может рушиться. Она развивается и углубляется в себя вместе с нами, и потому не станем унывать и, полные сознания, что жизнь прекрасна, божественна, что она проста и чудотворна для всех искренно стремящихся к ней, — станем спокойно ожидать будущего *. Одушевление истины не исключает спокойного, рассудительного рассмотрения. Напротив такая рассудительность возможна лишь при истинном одушевлении, а одушевление лишь тогда действительно, когда оно стало сильно и столь действительно переполнено своим предметом, что само может быть рассудительным. Когда мы говорим, что жизнь прекрасна и божественна, то этим самым мы говорим, что она полна противоречий; а когда мы говорим о противоречиях, то это не пустое слово. Мы говорим о таких, которые являются не пустыми тенями, а действительными, кровавыми противоречиями. И эти противоречия и одни они являются теми, которые могут разрешаться в полной гармонии любви и блаженства; и они должны разрешиться именно потому, что они — *действительные* противоречия. И это — не просто словесные ухищрения, годные лишь на высказывание в минуты удовлетворения, но святая истина, глубочайший основной закон всякой жизни и всякой действительности. Отвергать этот основной закон значило бы отнять у жизни всякое божественное значение и ввергнуть ее в пошлость повседневности. Середины между этими двумя воззрениями нет:

* Дальше по-немецки в оригинале.

или не существует ничего божественного, ничего человеческого, ничего значительного в жизни, или же жизнь, несмотря на все ее конечные проявления, только божественна, есть только любовь, только блаженство. Но, скажут нам, ведь противоречия существуют в действительности. Совершенно верно, но именно благодаря своей действительности они должны разрешиться, ибо в гармонической силе любви заключается лишь действительное, а действительно только то, что развивается и бьется в гармонии целого. Противоречия составляют жизнь, прелесть жизни, и кто не в состоянии их преодолеть, тот не может одолеть и жизни. Но этого *должен*, а значит и *может* достигнуть каждый человек: в этом и состоит вся его человеческость. Милые друзья, вы так же верите в это, как и я, а с этою верою можно страдать, много и глубоко страдать, но не погибнуть, ибо она есть не что иное как вечно живое и вечно *личное* дело человекостановления. Эта вера есть сохранение себя своим делом для вечности, эта вера как небо от земли далека от пассивного восприятия истины, она есть дело и только собственное дело. Лишь тот существует, кто сам себя самого создает. Это — человеческое достоинство и бесконечность, источник всякой любви и всякого блаженства *.

Милые, добрые друзья, я грешен против вас: так давно не писал вам. Но ведь вы знаете, что я никогда, никогда не переставал любить вас так же действительно, как и прежде. Ведь я беспрестанно был с вами и вы со мною. Теперь я каждую неделю буду писать вам хоть по строчке, для того чтобы вы лучше чувствовали мое присутствие между вами. Я буду вам все писать, что до меня касается, все, все без исключения, для того чтобы вы снова могли находиться в моей жизни и для того чтобы вы не стали чуждыми ей. И вы также пишите мне все. Не бойтесь огорчить меня худым состоянием вашего духа или здоровья или обстоятельств; ведь я не легко пугаюсь, потому что знаю, что перед вечностью все — ничто, и что в сущности, в истине все хорошо. А то иначе мы отчуждаемся друг [от] друга. Прощайте, друзья, жду ваших писем. Пишите мне чаще, потому что я один и мне, бедному, бывает очень грустно. Алеша, а ведь мы с Павлом были в Люцене у монумента Густава Адольфа, смотрели и трогали тот самый камень, на котором он стоял, когда был

* Отсюда по-русски в оригинале.

убит. А ты там не был, потому что ты глупый, братец ты мой, да и все братья и сестры глупы, не исключая Николая, — я один умный.

Прощайте.

Ваш брат и друг

М. Бакунин.

№ 423. — Письмо брату Павлу и сестре Варваре.

$18\frac{4}{23}41$ Novembre. Berlin.

[$\frac{\text{4 ноября}}{\text{23 октября}}$ 1841 года. Берлин]

Милые друзья! Ради бога будьте спокойны. Правда, что письма [И. С.] Тургенева и Alexandrine Beer * очень грустного содержания; но ведь Тургенев пишет из Москвы, а следовательно после письма Alexandrine, что Танюше гораздо лучше. Причина ее болезни заключается в духе, а потому она и не неизлечимо больна. Должно принять только скорые и решительные меры.

Вот что я писал Тургеневу: 1-ое, чтобы он *подробно* и *основательно* переговорил с братом Николаем о возможности твоего возвращения в Россию, милая Варинька. Этот вопрос можно и должно привести теперь в *абсолютную* ясность, и мы теперь приведем его к ней; будь в этом уверена, я тебе за это отвечаю. Если ты можешь возвратиться в Россию *с полною* уверенностью, что у тебя не захотят или не будут во власти отнять сына, тогда ты можешь возвратиться даже весною. В противном случае не можешь и не должна возвращаться, потому что в таком случае твое возвращение не только что не поможет Танюше, но погубит тебя, ее и твоего Сашу **. А можешь ли, имеешь ли ты право взять это на свою ответственность?

2. В случае невозможности твоего возвращения, и если здоровье, а главное — состояние духа Танюши не поправятся *радикально*, в чем мы также себя обманывать и утешать не станем, потому что теперь малейший призрак был бы преступлением и несчастием, то она будущею весною приедет к нам. Как и какими

---

* Александры Беер.

** Сын Варвары.

средствами, это само собою окажется. Мы все устроим с помощью нашего друга Тургенева и брата Николая. Тут встретятся большие внешние и внутренние препятствия: я не обманываю себя, напротив я до последнего пересчитал и обдумал их; но вопрос стал так важен, что медленность, нерешительность и бездействие были бы также постыдным преступлением. Я уж теперь знаю, как победить все препятствия, и отвечаю тебе за это. Если тебе нельзя будет возвратиться в Россию, Танюша приедет к нам.

3. Но эти обе меры, — как твое возвращение, так и твой приезд, — невозможны прежде весны. Теперь должно принять другие действительные меры, и потому я писал Тургеневу, чтобы он, узнав, как ее лечат и кто ее лечит и отвечает ли доктор за ее выздоровление, устроил в случае нужды с Николаем, чтобы ее повезли в Тверь или в Москву. Кроме этого или чтобы Alexandrine Beer приехала к ней на зиму в Прямухино, или чтоб она, как сестра Alexandrine в прошедшую зиму, провела зиму в Москве. То или другое, сообразуясь с обстоятельствами, будет сделано. Я сегодня же пишу об этом Alexandrine Beer, присутствие которой Танюше во всяком случае будет необходимо и спасительно. Кроме этого я всякую неделю буду писать им, и вы делайте то же. Не бойтесь, друзья, все будет хорошо. Мы не дадим нашей Танюше погибнуть, мы ее вылечим, сохраним ее для себя *. Только побольше спокойствия, побольше смирения, дорогие друзья.

Дорогая Варинька, посылая мне твое письмо к Дьякову, ты хорошо знала, что я его ему не отошлю, неправда ли? Мне не приходится тебе говорить, что я понимаю и разделяю все чувства, которые тебе его подсказали. Тебе известно, что мы по этому поводу думаем одинаково. Но во-первых состояние взволнованности и лихорадочного возбуждения, в которое тебя ввергли письма Тургенева и Алекс[андры] Беер, заставили тебя выразить свои чувства и мысли в непоследовательной и беспорядочной форме, я сказал бы — даже недостойной тебя, недостойной, ибо достоинство женщины заключается в святости и чистоте спокойствия и смирения, которые должны не с внешней стороны регулировать ее страсти, но пропитать и освятить их **. Я не послал твоего письма Дьякову во-первых потому, что я не хотел

* Отсюда по-французски в оригинале.
** Дальше снова по-русски в оригинале.

позволить ему торжествовать над тобою; а оно нравственно подчинило бы тебя ему. Теперь ты, может быть, не поймешь этого, но я привезу тебе его, и ты согласишься со мною. Кроме этого письмо твое не только что не достигло бы своей цели, но напротив испортило бы все дело. Вообрази себе, что было бы, если бы он показал это письмо родителям, нашей любезной родне и наконец правительству. Одно это письмо могло бы быть для нашего правительства побудительною причиною отнять у тебя сына. Ты думаешь, может быть, что оно тронулѣ бы его? Как ты мало знаешь людей! Ты позабыла слова Спасителя: не бросайте бисера перед свиньями. Твое письмо взбесило бы его и дало бы ему удобный случай и прекрасный предлог для того, чтобы прямо действовать против тебя. Поверь мне, Варинька, я знаю это лучше тебя. Ведь ты знаешь, что я не принадлежу к числу тех холодных людей, которые ничему другому не верят кроме всемогущества ежедневного рассудка и его бедных вычислений. Ты знаешь, что я абсолютно, безусловно верю во всемогущество живой истины и любви. Но только истины и любви, Варинька, а не страсти, которая, не имея своей меры, своего закона в себе, теряется и делает человека, исполненного ею, рабом обстоятельств и другом низших его людей. Я верю только могуществу той любви, которая, заключая всю силу, всю жизнь свою в себе, сознательна, спокойна, прозрачна — именно потому, что она всемогуща. И потому я не пошлю твоего письма к Дьякову.

Сегодня же я напишу для тебя письмо к Дьякову, которое ты перепиши, переделай его, как хочешь, но ни на шаг не отсту[пая] от духа его, и пришли мне, а я пошлю его брату Николаю. Милые друзья, еще раз заклинаю вас, не делайте ни одного шагу без моего ведома, — это, право, не самолюбие, но сознание, что я, начавший все это дело, знающий все малейшие нити его, что только я могу вполне удовлетворительно разрешить его. Будьте крепки, спокойны и достойны себя, друзья. Жизнь — не шутка, она полна самых ужасных противоречий, и эти противоречия — не пустые тени, нет, они часто заставляют проливать кровавые слезы. И жизнь прекрасна, полна мистического, святого значения, полна присутствия вечного, живого бога единственно только потому, что она заключает их в себе. Полнота любви, блаженства и достоинства измеряется единственно только силою противоречий. Это не пустые слова, потому что, если б это были пустые слова, то вся жизнь была бы пустою,

бессмысленною ежедневностью. Если бы жизнь не заключала в себе таких противоречий, тогда бы все люди, жаждущие истинного, значительного в жизни, должны бы были с отчаяния перестреляться *. Смелее, смелее, друзья, будьте достойны себя самих и своего высокого призвания и не забывайте никогда, что в вечной истине, составляющей нашу единственную отчизну, все противоречия, все страдания уже ныне божественно разрешены, и что вечность согласно своему вечному и божественному закону осуществится рано или поздно.

Прощайте, друзья. Пишите чаще. Паша, ты мне ничего не пишешь об моем письме из Halle **. Получили ли вы его?

Ваш друг и брат
М. Бакунин.

Мой адрес: Dorotheen-Strasse, № 28. — 2. Treppen.

Я не благодарю Вас, Елизавета Петровна ***, за Ваше письмо. Мои чувства Вам известны; они глубже благодарности. Сегодня же буду отвечать Вам, и если не успею послать моего письма, пошлю его завтра.

№ 424. — Письмо брату Павлу и сестре Варваре.

18 $\frac{12}{31}$ 41. Октябрь. Берлин.

Три часа ночи.

(31 октября/12 ноября 1841 года).

Видите, что я даже в позднюю ночь о вас думаю — впрочем теперь поневоле. Вот уже шестая ночь без всякого преувеличения, которую я провожу без сна. У меня на правой щеке самый сильный, православный флюс: теперь уж это не подвержено никакому сомнению, потому что нарыв стал совершенно ясен. Ведь вы знаете, мои милые, что флюс уж сам по себе — вещь весьма неприятная, но если вы к нему прибавите еще то обстоятельство, что я со времени субботы до сегодняшнего дня, т. е. до пятницы, не смыкал глаз от самой ужасной боли, что у меня вследствие этого в голове самая ужасная лихорадочная ералашь, и что кроме

* Отсюда до конца абзаца по-немецки в оригинале.
** Из Галле (см. выше № 421).
*** Языкова.

всех приятных ощущений, собственно принадлежащих флюсу, у меня еще все эти дни голова болит без умолку и так, что я прежде и не представлял себе и возможности такой боли, так что, если смотрю на свет, становится тошно и больно, а закрою глаза — все идет кругом, то вы будете иметь тогда полное понятие о моем бедственном положении. Третьего дня мне уж стало невтерпеж, и я послал за доктором. Он мне прописал рвотное, которое я принял вчера вечером и которое так раздражило голову мою и флюс, что я бегал всю ночь как сумасшедший. Лекарство однако принесло свою пользу — теперь щека хоть и жестоко болит у меня, но голова довольно чиста и свободна, а потому я могу писать вам. Беспрестанно жду, что нарыв прорвется, потому что право уж пора. Я сам на себя стал непохож. Вообразите себе, какое это будет блаженство! В продолжение всех этих ночей у меня спал Менцер, который на-днях возвратился из Киля, а сегодня Брюгеман.

Видишь, Паша, какие они все добрые? А ты теперь верно спишь, кисынька, и думаешь или, лучше сказать, видишь сон о логике. Письмо твое я получил сегодня поутру и читал со вниманием столько по крайней мере, сколько мне позволял флюс. Твое логическое развитие в основной мысли своей истинно, но в исполнении во многом ковыляет. Теперь право не в состоянии входить в развитие далее, а потому оставим его до удобнейшего случая. Варинька, глупая, презирает меня, совсем писать не хочет, ну да бог с ней. Елизав[ета] Петро[вна] * пишет, что Вольф очень счастливо вылечил Сашу **, что вследствие этого Варинька стала верить в него. Ты не можешь себе вообразить, как это меня радует.

Прощайте, друзья, право больше не могу писать. Письмо [Н.] Дьякову пришлю по окончании флюса, потому что его нужно написать не только с чувством, но и с рассуждением, а я теперь к большому-то рассуждению не слишком способен.

Елизавете Петровне буду писать завтра или, лучше сказать, сегодня поутру.

Прощайте.

Ваш

М. Бакунин.

---

* Языкова.

** Сын Варвары.

11 часов утра.

Шеллинг еще не начинал *. Ты можешь себе вообразить, как я этому рад. Вердер был у меня два раза и оба раза сидел очень долго, мы с ним много, много говорили. Вообрази, Паша, все, что мы с тобой переговорили о знании и жизни, о религии и политике, в продолжение этого лета также занимало Вердера — многое глубже, чем нас, а многое не так энергически, как нас с тобою. Я к этому человеку от всей души привязан, я чувствую, что мы дополняем друг друга. Я ему передал некоторые новые — и для тебя также новые — мысли о начале философии, и он с восторгом принял их. Они должны переродить всю систему Гегеля. Теперь не могу еще развить их тебе — щека жестоко болит. Уроки мои с ним скоро начнутся. Он познакомился с Шеллингом, который принял его самым дружеским образом — можно сказать, почтительно. Об этом подробнее также после флюса. Кроме приглашения самого Шеллинга я теперь имею в Вердере самое лучшее средство сблизиться с ним. Прощай. Узнай от Елизаветы Петр[овны] поподробнее, когда она поедет в Берлин. Надо рассчитать так, чтобы ты приехал сюда прежде или после нее, чтобы Варинька не оставалась одна. У меня все для тебя готово. Может быть, тебе можно будет приехать через неделю.

(Приписка на полях). Ты ничего не пишешь о Липинском, виделись ли вы с ним после меня?

№ 425. — Письмо сестре Варваре.

Ноябрь, 18 $\frac{15}{3}$ 41. Берлин.

(3/15 ноября 1841 года).

Друг, я благословляю тебя на путь. Поезжай с богом в Россию. Не должно слишком полагаться на *расчеты рассудка;* должно верить внутреннему инстинкту, внутреннему голосу совести, который бывает умнее и глубже бедного рассудка, всякий раз как он выговаривается ясно, цельно, нераздельно. Его советы и требования всегда истинны, и потому их бояться нечего. Страшно только заблуждение, принимающее иногда выражения разгоряченной, болезненной фантазии за его святое проявление. Но

* Своих лекций.

теперь этого заблуждения нет и быть не может; а потому ты можешь, ты должна ехать. Только одно, Варинька: в твоих движениях и действиях должно быть больше спокойствия, — того спокойствия, которое есть присутствие силы и залог успеха, которое есть всемогущество женского достоинства. Откинь эту детскую торопливость, которая не идет тебе и не соразмерна важным обстоятельствам, окружающим нас. Теперь все между нами решено, решено неизменно, и потому нам хлопотать не о чем. Полные любви, будем с верою действовать, не терять ни одной минуты, но вместе и не делать ни одного лишнего шага, — в этом заключается залог успеха. Вспомни, что ты приближаешься к одному из важнейших, к решительному моменту твоей жизни. Для тебя все должно разрешиться, и потому собери всю себя, будь с собою истинна и действуй из целой полноты твоего духа — и тогда все твои действия будут сильны, верны, достойны тебя.

Я получил письмо от Тургенева. Он пишет мне, что брат Николай, имеющий очень сильное влияние на Д[ьякова], отвечает за твою безопасность; отвечает за то, что Д[ьяков] будет только изредка посещать Сашу, очень изредка, никогда не увидит тебя. Итак для твоего возвращения приготовлено все, что можно было приготовить; остальное предоставим провидению. Может быть, тебя ожидает в России много неприятностей, много горя, но где его нет? Всего предвидеть и рассчитать нельзя. Решаясь выбрать одну дорогу, человек не может знать, меньше ли он встретит на ней препятствий и опасности, чем на той, которую он оставил; и потому должно любить, должно верить, должно быть целым человеком и быть готовым на все, как на радость, так и на горе, и никогда не позабывать, что

И горе и радость — все к цели одной! *

Что твое присутствие оживит нашу бедную Танюшу, в этом нет никакого сомнения: и я согласился уже на твой отъезд в Россию еще прежде получения письма Тургенева. Только ради бога не пишите Танюше таких писем, из которых бы она могла заключить, что ты возвращаешься для нее. Это испортило бы все дело; это одно могло бы быть в ней причиною новой болезни. С нею должно поступать теперь очень осторожно. Необходимо

* Стих из В. Жуковского («Теон и Эсхин»).

нужно, чтобы она уверилась, что ты возвращаешься собственно для себя самой. И это нетрудно будет тебе, потому что это — правда. Ведь ты в самом деле для себя возвращаешься; ведь мы в таких отношениях, что мы не можем что-нибудь делать для другого, жертвовать чем-нибудь. В любви всякий делает только для самого себя: это — истина и торжество любви.

Поверьте, друзья, все будет хорошо, будем только сами достойны хорошего. Какое счастье, что Тургенев в России. Он сблизился, подружился с братьями и теперь так же ревностно и неутомимо действует, как бы я действовал. Он уже исполнил все, что я придумал. Танюша проведет зиму в Москве и Беєровы также. Пишите к ней чаще. Как свято, как глубоко ее письмо! Боже мой, когда она упрекает себя в отсутствии любви и истины, что же остается сказать нам, бедным людям? Письмо ее расшевелило всю мою душу и крепко заставило призадуматься. Она глубоко, свято страдает. Нет, это не должно дольше продолжаться, она не выдержала бы этого; ей необходимо утешение, отрада, и все это дастся ей твоим присутствием, друг. Вместе вы обе будете здоровы и счастливы — тем здоровьем и тем счастьем, которые не зависят от внешних обстоятельств, потому что они цветут и зарождаются только в таинственной, непроницаемой глубине духа и составляют вечную сущность его. Возвращенные друг другу, вы будете возвращены и нам всем; найдя друг друга, вы найдете и нас в себе, и, может быть, наше сокровище, наша святая прямухинская жизнь, теперь усталая, больная от множества претерпенных бедствий, воскреснет вновь как духовное Прямухино, обогащенное всеми прошедшими страданиями и отрицаниями, воскреснет и заживет новою, могучею, полною, роскошною жизнью. Вот мое предсказание, — оно сбудется, верно сбудется. Нас еще ждет много прекрасного впереди, только вера, деятельность и спокойствие должны быть отныне нашим девизом.

Милые, добрые друзья, как чувствую я ваше отсутствие; одиночество мое бывает часто очень, очень тяжело. Друзья, дадим теперь друг другу обет: в отсутствии никогда не прекращать нашей действительной связи. Мы все более или менее ленивы, все слишком много рефлектируем; любовь проста, и сообщения ее должны быть так же просты. Будем часто писать друг другу. Знаете ли, это даже необходимо для внутреннего очищения, для освобождения себя от застоя жизни. Неправда ли, вы

согласны со мною и будете так же, как и я, стараться победить лень и рефлексию?

Варинька, если б я не боялся оставить тебя одну, то я попросил бы Пашу приехать ко мне на неделю сейчас же по получении сего письма, — мне необходимо обо многом переговорить с ним. Подумайте об этом. Ты, Варинька, только не великодушничай, пожалуйста не великодушничай, ведь я могу и подождать. Деньги вас не должны останавливать. Мы скоро получим оных от родителей и от Тургенева довольное количество.

Прощайте, мои милые, добрые.
Поверьте, все будет хорошо.

Ваш

М. Бакунин.

Паша, пожми крепко ручку у Лизаветы Петровны * или лучше поцелуй нежно, как можно нежнее ее ручку. Я получил ее письмо в самом разгуле моей зубной боли, и оно почти вылечило меня. Скажи ей, что ее откровенность, ее доверенность ко мне делает меня счастливым. Сейчас буду писать Alexandrine Beer **, потом Тургеневу, а потом брату Николаю, и если успею, напишу ей сегодня же, а нет, так завтра непременно.

(Приписка на полях):

Я вам пишу вечером, после лекции Шеллинга (sehr interessant, aber genug unbedeutend und dem Gemüte gar nicht ansprechend; dis jetzt aber will ich nichts schliessen,— ich werde ihm unbefangen zuhören) ***.

От меня только что ушли мои русские и немецкие товарищи — счетом 10 человек. Об лекции Шеллинга потом.

Вчера в первый раз вышел.

Варинька, ты мне не прислала твоего письма к Д[ьякову].

---

* Языковой.

** Александре Беер.

*** «Очень интересно, но довольно незначительно, и ничего говорящего сердцу; но пока не хочу делать никаких выводов; хочу еще послушать его без предубеждения».

№ 426. — Письмо сестре Варваре.

[Конец ноября 1841 года].

Берлин.

(Сначала идет письмо Павла Бакунина, датированное $\frac{24}{12}$ ноября, а затем письмо Михаила Бакунина):

Милая Варинька, я рад, что ты теперь ясно видишь все *возможные* неприятности, ожидающие тебя в России, что ты не обманываешь себя. Теперь я на твой счет совершенно покоен, потому что уверен, что ты найдешь в себе средства против всего худого: силы и средства истинного духа неисчерпаемы. Милый друг, ты сама не знаешь сил своих и ищешь их иногда там, где их нет и быть не может *. Будь лишь едина сама с собою, будь лишь верна самой себе, не растрачивайся ни на внутренние, ни на внешние мелочи, будь целиком и нераздельно сама с собой, не давай своим собственным или чужим пустяковинам отклонять тебя от простой, прекрасной и великой цели твоей жизни, ищи своей силы и мудрости не иначе как в сокровеннейшем источнике твоей любви и твоей жизни, будь снисходительна к другим и к себе самой, снисходительна, но не слепа, не забывай никогда, что все сознательно или самосознательно движется божественною любовью, — и я могу тебя уверить, что жизнь, невзирая на ее трудности и нелепости, снова станет для тебя ясной и легкой.

Милая сестра, наши роли на сей раз переменились. Учитывая твою натуру, бесконечный источник скрытой в тебе любви, было бы собственно твоим призванием наставлять меня. Сейчас дело обстоит наоборот, но скоро наступит время, когда ты снова вернешься к врожденной тебе полноте [духа] и когда я снова начну учиться у тебя вере и любви к людям. Дорожи лишь больше своею любовью, чем своею (неразборчивое слово), и тогда ты сделаешься сопричастницею истинной, простой, любящей мудрости. Побольше только спокойствия, побольше рассудительности и побольше действительной преданности. Сдержанность тогда лишь истинна и свята, когда она является неограни-

* До сих пор по-русски; отсюда по-немецки в оригинале.

ченным самоотречением; в противном случае это — ложь и грех *.

Прощай, девочка, через недели три и несколько дней увидимся, а Паша уедет отсюда в понедельник 29 ноября.

Твой

М. Бакунин.

№ 427. — Письмо сестре Варваре.

($\frac{\text{11 декабря}}{\text{29 ноября}}$ 1841 года).

(Приписка на письме Павла Бакунина).

Свидетелем был и руку приложил Михаил Бакунин.

1841. 11 декабря, град Берлин.

До свидания, Варинька, вот — для того чтобы употребить любимое выражение Павла, — вот мы и опять через два или три дня, т. е. во вторник, будем вместе. Елиз[авете] Петров[не] ** хорошенько поклонись от меня.

Фердинанд VIII, король испанский.

№ 428. — Письмо сестре Варваре и брату Павлу.

[Декабрь 1841 года. Берлин.]

Милые друзья! Я хотел выехать отсюда во вторник, но в четверг вечером дают здесь «Stabat Mater» Rossini [1], и потому я *по долгому колебанию* решился выехать не прежде пятницы. Хорошо ли я сделал или нет? С одной стороны во мне пробудилась такая непреодолимая потребность скорее видеться с вами, а с другой — «Stabat Mater»: думал, думал я вчера вечером, а наконец и решился. [В] пятницу поутру мы выедем вместе с Пановым *** и [в] пятницу же вечером прибудем в Дрезден.

Милая Варинька, мне грустно, что мысль о приезде моем может пробудить в тебе страх. Это недостойно ни тебя, ни меня.

---

* Отсюда снова по-русски в оригинале.

** Языковой.

*** Василий Алексеевич [2].

Если обращение мое с тобой могло подать повод к нему, то я еще раз прошу тебя простить меня. Наши отношения должны быть просты и свободны, потому что только простота и свобода — достойное выражение любви. Этот страх, друг, — плод сухой рефлексии. Брось ее, будь сама собою. Не логика, но только твоя собственная личность может спасти тебя *. Нужно жить величественно и просто, все внешние требования должно отклонять и выдвигать на первый план только самого себя в своей первоначальной простоте и красоте как единственный источник всякой истинной, исполненной бога жизни **. Вот что ты, кажется, позабыла. Поверь, друг, любовь есть сила, а где нет силы, там любовь помрачена ложною рефлексиею. Ты как женщина, и как женщина, одаренная такою богатою натурою, должна бы была знать это лучше меня. Ты как женщина должна бы была быть ежедневным доказательством этой святой истины. Проста, широка и свободна должна быть жизнь, иначе же она ни копейки не стоит. Друг, истина не далеко от тебя; она не вне тебя — ты сама истина; будь же только сама собою и жизнь твоя будет истинна, могуча и полна любви. Твоя ошибка состоит в том, что ты ищешь вне себя то, что в тебе, — ты ищешь саму себя не любовью, но рефлексиею.

Скоро увидимся и много будем говорить об этом, будем говорить не споря, без досады, но просто, с любовью, и я надеюсь, что мы поймем друг друга и что наши разговоры не будут бесплодными ***. В трудные, как бы богом забытые минуты нужно обладать волею и смирением, но в бурные минуты вдохновения — рассудком и самообладанием; одним словом нужно жить в меру самого себя, никогда не терять собственной меры: такова твоя единственная задача, и она разрешается только на деле, т. е. ни абстрактно-теоретически, ни абстрактно-практически. Поверь мне, не логика, а только живой, личный бог, коренящийся в глубочайшей индивидуальности каждого человека, может дать тебе разрешение ****.

Теперь довольно об этом предмете. Ободрись только, друг, силою воли и веры прогони все эти тени, которые так пугают тебя, — они не более как тени, — и поверь, все будет хорошо.

---

* Отсюда по-немецки в оригинале.

** Отсюда снова по-русски в оригинале.

*** Отсюда снова по-немецки в оригинале.

**** Отсюда снова по-русски в оригинале.

Милый Паша, я не пишу особенно Елизавете Петровне*: скоро всякий день будем говорить с ней; но скажи ей, что ее коротенькое письмо всего меня проникло самою светлою, святою радостью.

Прощайте, друзья.

Ваш друг и брат

М. Бакунин.

№ 429. — Письмо сестрам.

[Начало декабря 1841 года. Берлин.]

Милые, хорошие девочки.

Я обещал писать вам всякую неделю и до сих пор еще не исполнил своего обещания. После моего письма из Берлина у меня сделался сильный флюс, продолжавшийся более недели. А там разные хлопоты по университету до сих пор не позволяли мне приняться за перо. К этому вероятно также тайно присоединилась и трудность, с которою я нынче решаюсь написать письмо. Одним словом до сих пор я не писал вам, но никогда почти я не думал о вас так много, как в это время. И грустно, и весело было мне думать о вас — грустно потому, что болезнь твоя беспокоит меня, милая Танюша, потому что я уверен, что главный источник ее заключается в твоем духе. Вам часто бывает очень грустно, очень тяжело, бедные девочки. Окружающий вас мир нисколько не соответствует вам. Вам необходим широкий мир любви, знания и деятельности, где бы вы могли дышать свободно, а действительность, теперь окружающая вас, подавляет и оскорбляет вас на каждом шагу. Вам нужно много силы, много любви и много веры, для того чтобы сладить с ним и сохранить себя в нем; но, милые друзья, вы будете сильны: ваша вера и ваша любовь сохранят и спасут вас. И вот что радует меня: никогда не была так сильна во мне достоверность, что мы связаны друг с другом высшею силою, высшим благословением. Посмотрите, мои милые, как много тяжелого было в нашей жизни, как часто мы теряли из виду всякое значение ее, как каждый из нас по очереди становился как будто совершенно холодным и равнодушным ко

* Языкова.

всему и ко всем. И что же, ведь любовь наша не исчезла и не уменьшилась; ведь мы так же сильно любим друг друга и верим друг в друга, как и прежде, если еще не сильнее; потому что любовь и вера наша уже не в первой молодости, когда все противоречия и трудности были еще впереди, в будущем. Каждый из нас был сильно испытан действительностью; мы все уж испытали горечь жизни и все-таки не утратили и теперь уж можем быть уверены, что никогда не утратим их. Наша взаимная дружба — вот мир, в котором мы можем быть полными людьми, в котором мы можем дышать и двигаться совершенно свободно. Многое, к чему бы мы были способны и к чему мы ощущаем в себе непреодолимую потребность, нам не дано жизнью. Но что же делать? Тут должно резиньироваться. Все, что нам необходимо, всякая истинная потребность удовлетворится. Когда и где, я этого не знаю. Но что до этого! Ведь каждый из нас бессмертен, в этом нет никакого сомнения. Это — краеугольный камень всякой веры, всякой любви, основание, без которого все здание жизни было бы основано на песке. В бессмертии, в личном бессмертии заключается все достоинство человека.

Милая, хорошая девочка *, ты теперь в Москве, и письмо это, писанное сначала вам обеим, отправляется теперь туда же. Саше ** сегодня же буду писать особенно. Мне было так весело читать ее письма: она славу богу теперь совсем вырвалась из того болезненно-фантастического мира, в котором она так долго оставалась и который ей, бедной, так дорого стоил. Теперь она действительна не в смысле [В. Г.] Белинского, но в истинном, святом смысле этого слова. Она действительна потому, что снова стала сама собою; в каждом слове ее так много истинной и простой теплоты, так много прекрасного, милого, что чувствуешь, что теперь она говорит сама, а не фантом, который не раз наводил на нас всех ужас. Теперь уж можно поручиться, что она никогда не перестанет быть собою. Знаешь ли, друг, ведь нам не мешало бы теперь вновь познакомиться. В сущности мы правда никогда не раззнакомливались, мы всегда были верны друг другу. Но ведь мы много пережили со времени нашей разлуки, много испытали и, я думаю, все стали лучше, действительнее; а сколько я знаю, существенная, личная сторона нашей жизни еще мало пе-

---

* Сестра Татьяна.

** Сестра Александра.

реходила в наши письма. Будем же знакомиться понемногу; не будем бояться обеспокоить и огорчить друг друга и станем говорить и открывать друг другу все, что на душе, — все, все без исключения. Ведь такое новое знакомство будет заключать в себе много прелести, оно будет для нас всех источником самых живых наслаждений. Мы должны все мало-по-малу и осторожно прогнать этот фантом, который так долго разделял нас и мешал живой действительности наших отношений и нашей переписки. Как ты думаешь об этом, девочка? Ведь право пора.

Что касается до Вариньки, то не бойся: мы будем осторожны и постараемся избегнуть всякого опрометчивого шага. Необходимо только, чтобы вы снова соединились — и, может быть, для нее еще необходимее, чем для тебя. Знаешь ли, Танюша, какая огромная деятельность тебе предстоит? Не только маленький Саша будет ее предметом, но и сама Варинька. В ее духе есть такие больные стороны, которые могут быть вылечены только тобою, только твоею любовью, — я в этом уверен. Присутствие Вариньки оживит тебя, а твое присутствие оживит ее; вы не можете и не должны быть долее разлучены. Как совершится ваше соединение, — мы это решим нынешнею зимою с братьями и с нашим новым братом Тургеневым. Будь только спокойна, будь осторожна, лечись хорошенько, делай все, что от тебя зависит, для...

(Конец письма не сохранился).

(Наверху первой страницы этого письма имеется надпись).

Сейчас отыскал письмо, написанное мною еще месяц тому назад в Берлине. Посылаю его Татьяне, но без конца, потому что конец потерялся.

№ 430. — Письмо сестрам.

[Конец декабря 1841 года — начало января 1842 года. Дрезден.]

Милая Танюша! где ты теперь? В Москве, в Торжке или в Прямухине? Я бы желал, чтоб ты была еще в Москве и чтобы еще долее, как можно долее пробыла в ней. Ты там отдохнешь, а тебе нужно много, много отдыхать. Там вероятно также Natalie и Alexandrine *, там братья и наконец там [И. С.] Тургенев. Меж-

* Наталья и Александра Беер.

ду вами осуществился вероятно теплый, прекрасный кружок, как живое продолжение нашего старого и вместе всегда юного кружка, в котором было так много и веселого и грустного, который был нашим общим воспитанием и к которому мы все, как бы нас ни разбросала жизнь, будем принадлежать до последней минуты. Танюша, я надеюсь, что тебе хорошо теперь: ты отдыхаешь между друзьями. Всего более радуюсь я твоему пребыванию в Москве, потому что ты освободилась хоть на короткое время от тяжелого окружения нашей, к несчастью теперь бедной прямухинской жизни. Милый друг, я вполне понимаю, как вам должно быть тяжело теперь. Чувствовать в себе все глубокие требования любви и истины, чувствовать в себе способность к истинному счастью, к счастью в самом широком значении этого слова, и быть принужденными жить в таком тесном, безотрадном кругу, где самые святые мысли и чувства вечно должны оставаться неосуществляемыми мечтами. Да, друг, я понимаю, как при таком отсутствии истинной живой действительности самые святые движения могут быть испорчены, подточены рефлексиею, и как эта рефлексия, беспрестанно поддерживаемая пустотою и пошлостью окружающего вас мира, может наконец привести к мысли, что и внутренняя жизнь ваша точно так же бедна, как и внешняя.

Утро 1-го Генваря 1842-го по здешнему, а впрочем теперь и по моему, потому что я ведь басурманом стал.

Милая Танюша, скажи Тургеневу, что я с тех пор, как проснулся, думал о нем и о том, как мы вместе встречали у Вариньки 1841-й год; скажи ему, что я часто, часто вспоминаю о нем и всегда благословляю небо за друга, которого оно мне дало в нем. Чудную жизнь вели мы в Берлине. Напомни ему наши поздние бдения у меня в комнате — он подле своей любезной печки, а я на диване. Прикосновение его духа всегда очищало, освящало меня: говоря с ним, я становился сам собой. Напомни ему наши общие фантазии, предчувствия, надежды, напомни также, как, сознавая, что жизнь наша при всей полноте своей еще отвлеченна, идеальна, мы решались броситься в действительный мир, для того чтобы жить и действовать, и как вследствие такого благородного решения мы на другой же день отправлялись к m-lle Solmar * он в зеленом, донжуановском бархатном, а я в лиловом,

* Генриетта фон Зольмар — берлинская знакомая Бакуниных, приятельница Варнгагена фон Энзе.

также бархатном жилете. Напомни ему толстую, идеальную племянницу и другую маленькую барышню — Fräulein Lamprecht, которую Вердер находил очень geistreish (wir sassen und tranken am Theetisch) * и вследствие этого разговаривал с нею всегда о высоких материях. Напомни ему также наши вечера у Вариньки после бетховенских симфоний, где за чаем и копчеными языками мы долго, долго говорили и пели и смеялись. Напомни ему ужас Вариньки при виде въезжающих к ней разных мебелей и масло, намазанное на хлеб хитрыми руками Иоханны и расплывающееся от жару подобно тем сальным свечам, которые мы с ним так славно передразниваем. Напомни ему также и окончание лекций Вердера, Stündchen **, последнюю лекцию, знакомство с Беттиною *** и скажи ему, что это время уже никогда не возвратится. Впрочем он знает это не хуже меня. Скажи ему, что это короткое время заключало в себе всю первую юность нашей дружбы, и что вследствие этого оно полно, исполнено, окончено и совершенно заключено в себе. Оно было прекрасно как юность и заключало в себе все преимущества, достоинства и все недостатки юности. Теперь и даже еще прежде, скоро после Stündchen Вердера, настало время мужества, действительности, дела; и мы тогда еще оба чувствовали это и внешним образом стали чужды, по крайней мере несколько чужды друг другу; что-то тяжелое легло между нами; с тех пор и до получения письма его в Дрездене было время тяжелого перехода, где я часто терялся и сбивался с толку. Но с получением его письма для нас начался новый период: прекрасная юность наших отношений подтвердила себя в действительности как действительная дружба. Я писал ему в ответ, что с этих пор малейшее сомнение в его любви ко мне сделалось для меня невозможным, и чувствую, что я не солгал и сказал не пустую фразу. Он мой точно так же, как и я — его. Скажи ему все это, милый друг. Я мог бы сам все это сказать ему, но не знаю, почему мне так захотелось, чтобы он услышал все это от тебя; это еще более сблизит тебя с ним, а я хочу, чтобы ты, чтобы вы все так же любили его, как и я [1]. Пусть будет

---

* «Мадемуазель Лампрехт, которую Вердер находил очень умной (мы сидели и пили за чайным столом)».

** Серенада.

*** Фон Арним.

он принадлежать вам всем, друзьям моим так же, как и мне, пусть будет он вам братом и другом. Вот вам мое благословение и мой подарок на новый год, — и вы должны принять его, потому что ведь я всегда был вашим духовным отцом, и хотя теперь на короткое время, волнуемый беспрестанными противоречиями и теряясь часто в них, я и отказался от этой роли, но я отказался от нее не навсегда. И скоро придет время, когда вы все будете получать от меня снова длинные и поучительные послания.

3 Генваря. Дрезден.

Милый друг, вчера вечером я снова перечитал ваши письма, и мне стало весело и досадно на себя, на то, что я вам так редко и мало пишу. Ты просишь, чтобы я не отталкивал тебя, друг,—эта просьба самое лучшее наказание за молчание мое. Я заслужил его молчанием своим, но зато и ничем другим кроме молчания. В душе моей я никогда не расставался с вами, никогда не переставал чувствовать, что вы принадлежите мне так же безусловно, как и я принадлежу вам. Со времени нашей разлуки я не пережил ни одной человеческой, святой минуты без мысли о вас, и это потому, что вы неразрывно связаны со всем, что во мне есть человеческого и святого. Я люблю, искренно и глубоко люблю вас, друзья, и никогда не стану вам чуждым, будьте в этом уверены, всегда и несмотря ни на какие внешности и недоразумения. Отчего же я так редко пишу вам? Это — такой вопрос, на который мне очень трудно отвечать. Было время, когда я легко и охотно писал письма, это было время нашей бурной, освобождающейся юности, когда мы все были полны энтузиазма, не знали меры силам и требованиям своим, когда мы все бессознательно ждали, что вот совершится чудо и осуществит все наши желания. Это было время, когда слово «действительность» еще не было произнесено между нами и не разрушило еще свежести и полноты наших верований. После этого мы пережили много, много тяжелого, и я стал мало-по-малу терять способность писать письма. Ведь я не могу сказать, чтоб я был теперь в дисгармонии или еще менее — в апатии. Напротив я чувствую, что моя жизнь стала полнее и действительнее, чем когда нибудь. Я стал ровнее, спокойнее, я теперь таки порядочно владею собою и, несмотря на это, не могу еще свободно говорить о себе, а особливо в письмах. В душе моей лежит какая-то постоянная тяжесть, что-

то неразрешенное и парализирующее все свободные проявления ее. Но довольно об этом. С этих пор я стану принуждать себя писать вам, и это не только для вас одних, но и для меня самого. Мне точно так же необходимы живые сообщения с вами, как и вам самим.

Милая Саша, я хотел писать тебе особенно, — сбирался, сбирался, да и не написал, как это со мною часто случается. А мне давно хотелось сказать тебе, чтобы ты несколько занялась италианскою музыкою. У тебя голос такой прекрасный. Паша говорит, что в моем отсутствии он еще более развился и стал еще гуще. Ты будешь прекрасно петь италианские арии. Попроси Тургенева прислать тебе несколько арий из «Нормы» (Bellini), из «Lucia di Lammermoor» (Доницетти), из «Lucrecia Borgia», — ты увидишь, какое глубокое наслаждение они доставят тебе; они откроют тебе новую, широкую, доселе тебе незнакомую область в музыке. В италианских ариях есть что-то особенное, в высшей степени страстное, о чем немцы за исключением немногих не имеют и малейшего понятия. Не думай, чтобы во мне хоть несколько уменьшилось уважение в германской музыке. Напротив оно усилилось, стало действительнее, а потому и свободнее. Как бы мне хотелось, чтобы обстоятельства позволили тебе брать уроки в пении; я уверен, что несколько уроков принесли бы тебе самую большую пользу. Кроме собственного наслаждения ты принесешь еще и большее удовольствие папеньке, напомнив ему его старые, прошедшие годы, где он был еще счастлив и доволен. А наш бедный старик уже давно не знает счастья. Знаешь ли, друг, я бы на твоем месте стал учиться по-итальянски с помощью папеньки. Это было бы полезно тебе для пения, а во-вторых ты могла бы читать папеньке итальянские книги, которые Тургенев и братья могли бы присылать вам из Москвы.

Милые друзья, Варинька непременно должна приехать к вам и не так еще для вас, как для самой себя. Ее может удержать только одно обстоятельство: это — Д[ьяков]; но я начинаю убеждаться теперь, что с ним можно будет сладить, он — не злой, а напротив добрый человек. Правда, что он иногда капризен, и его капризы могут иногда тревожить Вариньку; но я уверен, что с кроткою твердостью и ровным, достойным обращением она может отвратить от себя со-временем все неприятности. Она не может здесь оставаться долее: ей нужно спокойствие, ей необходимы любовь и присутствие ваше. Что мы глубоко любим ее, в этом ни

вы, ни она сомневаться не можете; но мы не можем вас заменить ей. Ее здоровье может поправиться только между вами; ее дух может успокоиться единственно только в вашем присутствии; между вами она опять станет собою, тою богатою, глубокою и свободною Варинькою, которою она была и снова должна быть. А здесь какая-то теснота, отчасти причиненная болезнью, отчасти и рефлексиею, воцарилась в ее сознании. У нас бывают с нею частые разговоры и даже споры об этом; мы как-то иногда не понимаем друг друга. Что все это мимоходно и что все это пройдет, в этом нет никакого сомнения *, — и однако иногда в наших отношениях чувствуется нечто мучительное, натянутое, часто приводящее меня в отчаяние. Но я не поддаюсь и не пугаюсь этого. Я это расхождение преодолею, и добьюсь этого очень скоро, так как я успокоюсь не прежде, чем достигну прекращения этого состояния.

Не пугайтесь однако слишком, милые друзья, это — маленькая преходящая духовная болезнь, которую вы скоро вылечите. Вы видите, я ничего не скрываю от вас. Следуйте также моему примеру. Говорите нам все хорошее и худое, а главное старайтесь быть покойными. Будьте всегда проникнуты верою и любовью, верьте тому, чего еще не понимаете, и старайтесь осторожно и понемногу понимать то, чему вы верите. Будьте всегда кротки и смиренны духом в истинном значении этого слова; верьте в свой внутренний инстинкт: он вас никогда не обманет.

Милая Танюша, ты сомневаешься в бессмертии личного духа. Было время, когда я не только что сомневался в нем, но положительно отвергал его как нелепость. А теперь, друг, безусловно верю в него. Я не могу сказать, чтобы я разрешил для себя все противоречия, связанные с этим вопросом. Но во-первых противоречия для меня — не только что не опровержение, но напротив подтверждение бессмертия. А кроме этого, отвергая бессмертие, впадаешь в точно такие же противоречия, если еще не в худшие. Я думаю, что всякий человек должен пройти через сомнение в бессмертии, для того чтобы окончательно очиститься от всякого индивидуального эгоизма и для того чтобы просветлиться в этом очистительном огне сомнения и самоотрицания до светлой бессмертной личности. Бессмертие не должно быть требованием эгоизма, болезненной индивидуальности, стесненной *здесь*

* Отсюда до конца абзаца по-немецки в оригинале.

и ищущей худого выхода *там*, но блаженным, вечно присущим (gegenwärtiges) *самосознанием исполнившего* и себя обнимающего личного духа. Индивидуальность должна пройти, исчезнуть, для того чтобы стать личностью; не личностью вообще, но *этою* неделимою личностью. Вот по моему мнению смысл и единственное назначение всех сомнений в бессмертии души. Самоотрицание есть общий и высший закон всякой духовной жизни. В противоположность материальной жизни, которая только то имеет, что она берет себе, дух имеет только то, что он отдает. И смерть, это совершенное разрушение индивидуальности, есть высшее исполнение этого таинства, а потому и высшее исполнение личности. И вот почему смерть присутствует в своем утвердительном значении в самых высоких и блаженных минутах жизни. Утвердительное, благодатное, исполняющее значение смерти должно быть проведено через всю жизнь нашу, для того чтобы она была жизнью. Человек должен беспрестанно умирать, для того чтобы беспрестанно жить: беспрестанно отдавать себя всего без всякого исключения и без всякой рефлексии, для того чтобы всегда обладать собою: *

И только для жизни, лишенной благодати, смерть есть худое отрицание, а жизнь — худое продолжение. Для человека, проникнутого благодатью, смерть есть жизнь жизни, источник ее роскошной полноты и ее самосознательной бесконечности. Желать смерти — грех, потому что желаемая смерть не есть та истинная, вечно в *жизни, как и источник ее движения*, присутствующая смерть, но сухое и бесцветное стремление к худому концу худой жизни. «Да будет воля твоя» есть единственная молитва, потому что единственно только в ней сопринимаются жизнь и смерть.

Прощайте, друзья. Еще много хотелось бы сказать, да лучше отложим до будущего письма, а то пожалуй это так долго залежится, что я наконец и не пошлю его.

Ваш

М. Б[акунин].

---

* Здесь в оригинале незаполненное место в несколько строк, повидимому оставленное для какой-то цитаты, привести которую автор однако забыл.

№ 431. — Письмо Александре Беер.

[Январь 1842 года. Дрезден].

Милая Александрина, скажу Вам только несколько слов, ибо как же Вы хотите, чтобы я много Вам сказал в настоящее время, когда мы оба нуждаемся в новом ознакомлении друг с другом, для того чтобы иметь возможность действительно разговаривать? Приезжайте-ка сюда, заключим новое знакомство, станем изучать друг друга, каковы мы в действительности, и я надеюсь, я уверен, что тогда наши отношения станут истиною. Я приглашаю Вас сюда потому, что в противном случае мы рискуем пожалуй никогда больше не свидеться. Ибо, видите ли, Александрина, я не только не возвысился вместе с вами до той действительности, которою все вы так кичитесь, но и стал больше чем когда-либо идеалистом, и у меня осталось только два-три месяца обеспеченного существования, я стараюсь наполнить их согласно моим идеям и верованиям, а об остальном не забочусь. В переживаемое нами время нужно быть последовательным и верным своим убеждениям вплоть до риска своей головой, потому что эта последовательность и эта верность составляют единственную охрану нашего достоинства. Очень трудно быть последовательным, но позорно не быть таковым.

Итак, как сказала бы Наталья, которая не должна воображать, будто мое молчание равносильно забвению, я всегда остаюсь верным, я Вам уже это сказал, и это — не фраза, — итак, плыви, мой челн...

Ваш

М. Бакунин.

№ 432. — Письмо родным.

18 $\frac{4}{20}$ 42. Февраль. Берлин.

(20 января/4 февраля 1842 года).

Милые друзья, что ж это вы совсем замолчали? Не вздумали ли вы уж нас наказывать за наше молчание? Но ведь мы уж исправились. Варинька и Павел вам часто пишут, да и я даже месяц тому назад писал вам из Дрездена. Впрочем, если это

только наказание или просто лень с вашей стороны, то это еще ничего. Но здоровы ли вы? Вот что нас тревожит. Ни от Тургенева, ни от вас нет ни малейшего известия. Здорова ли ты, Танюша? Где ты — в Москве или в Торжке? Пожалуйста пишите к нам, — ведь вы по опыту знаете, как тяжело ничего не знать о тех, кого любишь, а мы очень, очень любим вас, вы — наше единственное сокровище; нам нужно знать все, что вы делаете. Право, друзья, мы не должны отдавать себя во власть пространству; оно не должно и не может разделить нас. Но если мы будем все молчать, то поневоле сделаемся друг другу чуждыми — разумеется, только со-вне, но и внешнее отчуждение также очень тяжело. Пожалуйста напишите нам скорее хоть коротенькие письма.

Вот уже с месяц, как я опять в Берлине. Скоро после приезда сделался у меня флюс и продержал неделю в комнате. Теперь же я здоров и работаю прилежно. Занимаюсь философиею, историею и политическою экономиею; целый день почти сижу дома. Много думаю как о практическом, так и о теоретическом; мне бывает и грустно и весело, и тепло и холодно; вообще хорошо. Одиночество мне всегда полезно, потому что заставляет далеко уходить в себя. Впрочем у меня здесь есть маленький круг знакомых, которых я вижу всякий день. После отъезда Фролова *, с которым я было очень сблизился, он состоит преимущественно из немцев, с которыми мы часто по вечерам читаем Шекспира. Тургенев хорошо знает их: это — Мюллер **, Брюгеман и Менцер. Кроме этого хожу иногда слушать симфонии Бетховена, после которых всегда бываю несколько взволнован, и думаю о вас всех и о том, как мы слушали их вместе с Варинькою и Тургеневым. Вы видите друзья, что моя жизнь очень однообразна, и я радуюсь этому, — я более и более знакомлюсь с собою и с своими средствами и готовлю себя к жизни. Придет ли она когда-нибудь, это — другое дело; но я думаю, что придет.

Варинька занимается много музыкою; берет уроки на фортопианах и генерал-баса. В прошедшем году она уж много сделала по теоретической части, теперь же занимается генерал-басом более практически. Летом она непременно приедет к вам; это уже между нами решено; теперь должно известить об этом родите-

---

* Николай Григорьевич [1].

** Мюллер-Стрюбинг [2].

лей. Во время моего пребывания в Дрездене она уж написала одно письмо, но я должен был совершенно переправить его, потому что она написала много глупостей. Помнишь, Танюша, как бывало она взбунтуется и решится, никого не слушая, сделать по-своему, а потом и покорится. Так было и теперь, только что-то она слишком долго переписывает письмо. Я жду его, чтобы написать родителям.

Павлу я послал отсюда много книг: греческих, латинских, немецких и английских, для того чтобы кроме логики он занимался и положительными предметами. Вчера я получил письмо от Языковой * (которая мне очень часто пишет). Она говорит, что Павел и Варинька несовсем здоровы: это — влияние воздуха, потому что у нас здесь уже давно начинается весна, и погода до сегодняшнего дня была несносная. Впрочем не пугайтесь, милые друзья, c'était une petite indisposition qui doit être déjà passée maintenant **. Они всякий день видятся с Языковыми, с которыми, как я вам уже писал, мы очень сблизились. С Елизаветой Петровной Языковой я просто подружился; она — чудная, редкая женщина. Паша был немножко влюблен — не в нее, а в дочь ее; но уж это прошло. Его прозвали все «Мадонною» и все очень полюбили.

Маленький Саша *** здоров: гомеопатический доктор совсем поставил его на ноги. И в нравственном отношении он стал гораздо лучше и благонравнее. У него буйная натура, и хитрости очень много. Тебе, Танюша, будет много работы с ним.

Скажите Тургеневу, что я с неделю тому назад был у Бетины ****, которой до моего отъезда в Дрезден еще не было в Берлине. Она приняла меня очень радушно и дружески. Как обыкновенно, я просидел у нее около трех часов. Она расспрашивала о Тургеневе и велела ему сказать, что если он напишет к ней, то она будет отвечать ему.

Вот все, что я могу сказать вам, друзья. Теперь обращаюсь к тебе, *Николай.*

Твое письмо глубоко порадовало и тронуло меня. Я не отвечал тебе, но поверь, милый брат, что это не от недостатка

---

* Елизавета Петровна.

** «Это было маленькое недомогание, которое, должно быть, теперь уже прошло».

*** Сын Варвары.

**** Фон Арним.

любви. Мысль, что мы все, братья и сестры, составляем одно нераздельное существо, для меня не нова, но всякий раз, как она приходит мне в голову, она является мне как новое, невыразимое счастье. Мы так богаты, так могучи этою взаимною любовью. Друг, если бы тебя не было, то я ни на минуту не мог [бы] успокоиться насчет сестер и папеньки, но ты там, и потому я спокоен, — я знаю, что ты можешь много сделать и что ты сделаешь все, что будет от тебя зависеть. Летом к вам приедет Варинька. Она будет под твоим непосредственным покровительством и прибавит много богатства к вашей жизни. Как только получу Варинькино письмо к родителям, я тебе напишу еще особенно и подробнее.

Прощайте, друзья.

Ваш

М. Бакунин.

№ 433. — Письмо сестрам.

8 февраля [1842 года.]

(Приписка на письме брата Павла).

Милые девочки, не сердитесь за краткость моих писем, которых даже и письмами назвать нельзя. Но во первых я теперь так занят, так ушел в свою милую единственную науку, что мне некогда много писать. А во вторых на все есть свое время. Был период долгих писем, а теперь пришел срок и коротким.

Прощайте, девочки. Когда то мы увидимся? Бог знает!

Брат ваш

М. Бакунин.

№ 434. — Письмо брату Николаю.

1842 [год]. 10 февраля. Берлин.

Милый Николай! Посылаю тебе письмо Вариньки и мое письмо к родителям. Прочти как то, так и другое, и, если можно, т. е. если обстоятельства твои позволят, прочти их сам папеньке, с

которым ты теперь непременно должен подробно и откровенно переговорить о возвращении сестры и о жизни ее в России. На тебе будет лежать великая обязанность; ты должен будешь оградить ее независимость как от Д[ьякова], так и от самих родителей. Она должна будет иметь независимое состояние. Ты легко поймешь, что она не может и не должна возвратиться в * старое патриархальное и безусловно зависимое отношение к родителям. Я знаю, что ты встретишь много затруднений, но это дело не невозможное, и если ты будешь поступать твердо и осторожно, ты непременно достигнешь своей цели. Начало будет труднее всего; но если вам удастся, — в чем я нисколько не сомневаюсь,— определить все ее отношения в начале ее приезда к вам, тогда все пойдет хорошо. Я ничего не определяю далее потому во первых, что ты сам — малый умный и сам будешь уметь рассудить дело, а во вторых потому, что ты будешь соображаться с обстоятельствами. Пожалуйста пиши нам теперь чаще, для того чтобы мы могли знать все, что у вас делается. Вот уже более двух месяцев, как мы не получаем от вас писем, и бог знает какие мысли приходят нам в голову. Что Maman **, здорова ли она? Здоров ли папенька? Милый Николай, отвечай пожалуйста скорей. Пиши мне обо всем, и если б даже случилось какое-нибудь несчастье, не скрывай его от меня ***. Я — мущина и все перенесу как подобает мущине: ужаснее всего неизвестность.

Впрочем я надеюсь, что у вас все хорошо.

Милый друг, я давно хотел уже поговорить с тобой об одном предмете: правда ли, что ты любишь, и что А. П. **** тебя также любит? Скажи мне, ведь я право заслуживаю твою доверенность. Если это правда, то я благословляю тебя и глубоко радуюсь за тебя, друг. Она — святая девушка, а любовь — высшее счастье и высшее достоинство человека. Николай, будь откровенен со мною, не закрывай от меня самых святых сторон твоей жизни. Я с любовью и с уважением буду слушать тебя и буду радоваться твоему счастью.

---

* В оригинале «к» (Бакунин сначала хотель написать «к старому» и т. д.).

** Неразборчиво. Возможно, что надо читать «Maman» (маменька) или «Таня».

*** Отсюда до конца абзаца по-немецки в оригинале.

**** Анна Петровна (Ушакова), впоследствии жена Николая [1].

Теперь обращаюсь к вам, милые девочки. Письмо это адресовано на имя Саши. Распорядитесь им по вашему благорассмотрению. Сделайте все умно и осторожно. Ждите Вариньку, которая выедет не позже июля месяца. Пишите к нам чаще и подробнее. Вы уж давно молчите, ведь это право нехорошо, мы сильно беспокоимся на ваш счет, и потому вы обязаны вывести нас из этой тяжелой неопределенности. Через неделю я поеду в Дрезден, адресуйте ваши письма туда. Ведь вы знаете адрес Вариньки и Павла. Теперь они оба здоровы и также жалуются на ваше молчание и так же беспокоятся, как и я, если еще не более, потому что они оба — люди слабые и глупые. Прощайте, милые, будьте умны, здоровы и пишите к нам чаще [2].

Ваш

М. Бакунин.

Перевод с французского.

№ 435. — Письмо Александре Беер.

18 $\frac{7}{26}$ 42. Апрель. Дрезден.

(26 марта — 7 апреля 1842 года).

Дорогая Александрина, не сердитесь на Павла за то, что он показал мне Ваше письмо. Этим он дал мне возможность оправдаться перед Вами. Милый друг, Вы ко мне несправедливы. Верно, что вначале я не заметил истинности Вашего чувства к Павлу. Не буду говорить Вам о различных причинах моей ошибки. Если бы я мог с Вами разговаривать устно, то я бы Вам все сказал и уверен, что Вы бы меня поняли и простили. Но в письме это — вещь невозможная и бесполезная. Достаточно того, что я признаю свою ошибку. Да, Александрина, я ошибся: Ваша любовь, равно как любовь Павла, свята и истинна, она благословлена на небесах, и если мое благословление может иметь здесь какое-либо значение, то я даю его Вам от всей глубины моего сердца. Что бы Вы ни говорили, между нами всегда существовало святое родство; он прошло через много испытаний; в разные периоды нашей взаимной жизни бывали моменты, когда оно, казалось, исчезало полностью и навсегда. Но это было лишь обманчивою видимостью. Снова повторяю Вам то, что некогда я повторял

Вам столько раз: то, что раз было связано на небе наших святейших убеждений, не будет никогда развязано на земле и под земными влияниями. Наше родство из идеального, каким оно было, сделалось реальным: оно реализовалось для нас всех в той прекрасной и святой любви, которая связывает Вас с Павлом.

Вы несправедливы ко мне, милая сестрица, считая меня способным на мелкие действия и мелкие средства, для того чтобы каким бы то ни было образом воздействовать на свободу Павла. Значит Вы совсем забыли меня и совсем потеряли из вида, если могли заподозрить меня в таких делах? А не сказывается ли здесь косвенное влияние всех тех грязных клевет, которым я подвергаюсь ныне и которые могли внушить Вам такие подозрения? Каково бы ни было их происхождение, признаюсь Вам, они глубоко меня оскорбили *. Я повторяю Вам то же, что я недавно писал родителям: нравственная свобода всякого человека, а особливо человека, которого я люблю и уважаю, для меня неприкосновенная святыня. В ней заключается все его достоинство, в ней единственный источник его силы, а любовь, не уважающая достоинство любимого человека, ложная любовь. Когда я в первый раз узнал о вашей любви, это было для меня так ново, так неожиданно. Кроме этого состояние Вашего духа и духа Павла показалось мне так лихорадочно и так радражительно, что я сначала не поверил истине любви вашей. В этом состояла моя ошибка. Я откровенно высказал свое мнение Павлу и сделал это по обязанности и по праву. Но этим и ограничилось все мое действие на него; после этого я постоянно избегал с ним разговоров об этом предмете, — избегал именно из уважения к его личной свободе и для того, чтобы не иметь на него в этом отношении никакого влияния. Вы видите, Alexandrine, что ваши обвинения несправедливы; но мы оба друг перед другом виноваты, а потому и простим друг друга **.

Если Вы меня забыли, я надеюсь, что Вы возвратите мне хотя бы часть Вашей прежней дружбы, видя мое нежное отношение к Павлу и все заботы, которыми я постараюсь его окружить. Его здоровье очень хрупко и требует большого ухода. Положитесь на меня, дорогой друг, и будьте уверены, что я сделаю для него все, что от меня будет зависеть. У него святая и пре-

* Отсюда по-русски в оригинале.

** Отсюда снова по-французски в оригинале.

красная душа, в нем столько любви и самоотречения, что он привлекает симпатии и возбуждает любовь во всех окружающих. В этом отношении он составляет полную противоположность мне. Я знаю, что во мне есть что-то отталкивающее, и что меня очень трудно любить. Это не потому, чтобы я был неспособен к любви, — о нет, я могу любить очень глубоко, я чувствую в себе неутолимую жажду любви, но боюсь, что мне выпала на долю участь Тантала, так как мое сердце при всей таящейся в нем страсти окружено толстою ледяною корою, которая отталкиваст даже тех, кто хотел бы приблизиться ко мне, и очень мало людей способны ее разбить. Павел принадлежит к числу этих людей: в его лице я имею искреннего друга. Он всегда проявляет по отношению ко мне столько нежности и столько терпения, что он трогает меня до глубины души. Я чувствую, что он влияет на меня благотворным и смягчающим образом, и я надеюсь, что связующая нас дружба всегда будет предохранять меня от дурноты характера, присущей мне по природе, но с другой стороны порожденной и развитой всеми несправедливостями, жертвою которых я являлся до сих пор.

То, что Вы говорите о нашей бедной Танюше *, жестоко меня огорчает, тем более, что я не могу ничего для нее сделать, что я здесь совершенно бессилен. Она права, когда говорит, что источник ее болезни коренится в ее душе: потребность деятельности и потребность любви, не находящие удовлетворения, набрасываются сами на себя и сами себя пожирают за неимением другой пищи. Бедная сестра, она заслуживает совершенно другой участи, она — святая в полном смысле этого слова, и она сама себя не понимает за отсутствием предмета, на который она могла бы излить всю широту своей любви, и потому, что действительно познать себя можно только в любви к другому. Это — мученица, страдающая за святое дело и гаснущая вследствие неимения средств к распространению вокруг себя святых предвидений своего благородного сердца. О, наша мать, испортившая жизнь нам всем, причинила ей много вреда! За нею накопилось столько преступлений. Пусть Господь милосердный ей их простит; что касается меня, я их не могу ей простить. Я глубоко опечален, Александрина, я ничего не могу сделать для моей нежно любимой сестры, для той, которую я всегда любил больше, чем всех дру-

---

* Слово «Танюше» по-русски в оригинале.

гих. Она думает, что я ее забыл, что я ее уже не люблю попрежнему, она конечно неправа, но я молчу, потому что сознаю свое бессилие сделать что-либо для нее. У меня остается еще одна надежда: я надеюсь, что возвращение Вариньки * будет для нее полезно, что она вдохнет новую жизнь в этот прекрасный светоч, грозящий потухнуть. Варинька вернется в начале лета, я бы хотел, чтобы она выехала отсюда в середине мая месяца. Значит вы скоро свидитесь.

Что же я скажу Вам о себе самом? О, я мог бы многое Вам сказать, и однако не могу сказать Вам ничего. Мы так давно расстались, что стали довольно чужими друг для друга. Несмотря на это, дорогая Александрина, верьте всегда в прочность моих чувств, будьте уверены, что я свято сохраняю вас всех ** в моем сердце, что я никогда не стану неверен вам, и что никогда и ни при каких обстоятельствах я не изменю святому делу, которое нас всех свято объединяло.

Прощайте, сохраните для меня хотя бы часть той веры, какую Вы некогда в меня имели, и не позабывайте меня окончательно.

Ваш

М. Бакунин.

№ 436. — Инструкция сестре Варваре.

[Первая половина июня 1842 года.]

Вторник.

В 6 часов утра выезжаешь из Дрездена и приезжаешь в *Лейпциг.* Сейчас же отправляешься в Hôtel de Rome. Там приказываешь *немедленно* лондинеру, отдав ему билет на вещи, прямо переложить их на паровоз, идущий в *Магдебург* (по железной дороге — он отправляется вероятно через час по твоем приезде в Лейпциг) и взять на них, так же как и для вас, билеты ***. Вечером ты приезжаешь в *Магдебург,* велишь везти се-

* Слово «Варинька» по-русски в оригинале.

** В оригинале сказано «toutes et tous», всех мужчин и всех женщин, т. е. всех мужских и женских членов кружка.

*** Променять свои деньги на прусские талеры. Кроме этого в Лейпциге же узнать, идет ли пароход из Магдебурга в Гамбург; если же нет, то прямо из Лейпцига в Любек, так чтобы поспеть туда в пятницу часов до 5 вечера. (*Примечание М. Бакунина*).

7*

бя на коляске в лучший Hôtel (о котором разведаешь в Лейпциге). Там, немедленно отдав билет на вещи *кельнеру*, велишь их перевесть в Hôtel — сейчас же узнаешь о пароходе, идущем в *Гамбургъ* и распорядишься там, чтобы тебе были взяты во-время билеты (тебе и Саше на 1-ом, а Катерине на 2-ом или на 3-ем месте). (Возьмешь лондинера, которому дашь за вечер и утро один талер) и перевезешь на пароход твои вещи.

Середа и Четверг.

Поутру садишься на пароход и приезжаешь [в] *четверг вечером* в Гамбург; на пароходе узнаешь: 1-ое, в каком гамбургском готеле * остановиться, и во-вторых, каким образом распорядиться так, чтобы твои вещи в тот же вечер были доставлены с парохода в оный Hôtel. Справиться также и о дилижансе, который ежедневно *в 7 часов утра* отправляется в *Любек*, и распорядиться, чтобы в оном были взяты во-время для вас трех места, и чтобы вещи были также во-время отданы в дилижансовую контору.

Пятница.

Не проспать, сесть в дилижанс, который, говорят, после семичасовой езды приезжает в *Любек;* там остановиться в Hôtel du Nord. Написать un billet doux et parfumé à M-r Schlötzer, Consul Russe **, и переговорить о посланных сундуках (заплатить ему за них деньги) и о том, как в скорейшее время, сиречь не теряя минуты, переправить их со своими глупыми персонами в Травемюнде. В тот же день взять билеты на пароход, идущий в Санкт-Петербург.

Суббота.

Ехать на пароходе ли или иначе (в коляске) в Травемюнде и сейчас же идти на большой пароход.

---

* Так по-русски в оригинале.

** «Милую и надушенную записочку г-ну Шлецеру, русскому консулу».

№ 437. — Письмо А. М. Княжевичу.

[Первая половина июня 1842 года. Дрезден.]

Милостивый государь

Александр Максимович!

Возвращаясь в Россию, сестра моя непременно хочет познакомиться с Вами, для того чтобы лично поблагодарить Вас за все Ваши попечения о ней во время ее пребывания за границей, и я пользуюсь этим случаем, для того чтобы с своей стороны выразить Вам за них всю свою признательность. Я бы давно сделал это, милостивый государь Алекса[ндр] Макс[имович], если бы не боялся обеспокоить Вас. Зная, что Вы обременены делами и не считая себя в праве утруждать Вас своими письмами, я решился ждать удобного случая для того, чтобы исполнить мое давнишнее желание. Теперь этот случай представился, и я спешу воспользоваться им.

Мы все, братья и сестры, даже и не исключая меня самого, мало знакомы Вам. В детстве своем прежде вступления моего в артиллерийское училище я имел удовольствие быть часто в Вашем обществе и пользоваться Вашим благорасположением, которое я, разумеется, приписываю не самому себе, но Вашей дружбе к батюшке, потому что тогда я не мог еще сам заслужить его. Время нашего знакомства продолжалось очень недолго, но оно оставило во мне неизгладимое впечатление. После этого, вступив в артиллерийское училище, я был лишен возможности продолжать его, и вот уже почти восемь лет прошло с тех пор, как я имел в последний раз удовольствие видеться с Вами. Итак, милостивый государь А[лександр] М[аксимович], Вы почти совсем не знаете нас, но мы все привыкли с самого детства нашего уважать и любить Вас как друга нашего отца, который частыми разговорами о Вас вселил в нас уважение ко всему Вашему семейству, и были бы счастливы, если бы Вы перенесли на нас хоть малую часть Вашего расположения к батюшке, и если б судьба доставила нам случай чем бы то ни было заслужить его и доказать Вам истину слов моих.

Если мое пребывание за границей может быть Вам, м[ило-

стивый] г[осударь] А[лександр] М[аксимович], в чем бы то ни было полезно, то я прошу Вас распоряжаться мною.

В ожидании Ваших приказаний

имею честь быть,

м[илостивый] г[осударь] А[лександр] М[аксимович],

с глуб[очайшим] почт[ением] Вашим покорнейш[им] слуг[ою]

М. Бакунин.

Перевод с французского

№ 438. — Письмо сестрам Беер.

28/16 июня [1842 года.] Вторник. [Дрезден.]

(Сначала идет письмо Павла; дальше начинается приписка Михаила).

Не верьте ему: он все врет. Но не в этом дело. Чего вы там перепугались, милые друзья? Ведь я еще не умер, да и бог знает еще, умру ли так скоро или нет. По крайней мере я не думаю еще особенно приготовляться к походу и готов к нему столько же, сколько каждый добрый солдат на воинственном поприще мира сего должен быть готов *. Зачем придавать всему этому делу такую устрашающую и мрачную окраску? Разве не вполне естественно, что люди дерутся, когда нужно? Вы уже воображаете, что я уже умер и Павел также. Господи боже мой, если бы люди умирали так легко, то в сем мире было бы не много живых, а между тем нет почти ни одного человека, у которого в жизни не было бы по крайней мере хотя бы одного подобного дела. Возможно, что я буду убит, но я не усматриваю в этом абсолютной необходимости **.

Будьте покойны, милые друзья, мы с Павлом не станем делать глупостей, не станем донкихотствовать и горячиться по пустому. Итак, что будет, то будет ***.

Милые, нежные подруги, ваши страхи меня несколько рас-

* Отсюда по-французски в оригинале.

** Отсюда снова по-русски в оригинале.

*** Дальше по-французски в оригинале.

смешили, но ваша дружба, ваш интерес ко мне нашли глубокий отклик в моем сердце. Я верю в вас, в искренность вашей дружбы ко мне. Сохраните ее для меня навсегда, будьте верны, как я верен всегда всем моим старым симпатиям, и верьте, что я не окажусь недостойным вашей дружбы, что она никогда не падет на неблагодарную почву, но всегда встретит оттолосок в моем сердце, которое никогда от вас не отрекалось и которое всегда останется глубоко к вам привязанным *.

За Павла же я уж и не понимаю, как вы боитесь. Разве вы думаете, что как только я умру, так и он, не говоря ни слова, так возьмет и умрет? Мы с ним дружны, очень, очень дружны, да ведь из этого же не следует, чтоб он так сейчас и умер. Перестаньте же тревожить себя пустым страхом, верьте напротив, что все будет хорошо, и что мы оба еще много, много с ним накутим на белом свете.

Прощайте, милые и глупые девочки, я теперь никогда не стану писать вам длинных писем, но всякий раз, как Павел станет писать вам, также буду прибавлять по нескольку слов.

Ваш друг

М. Бакунин.

Костеньке ** от меня низкий поклон. Пожмите ему руку и попросите, чтоб он не совсем позабывал меня.

№ 439. — Письмо сестрам Варваре и Александре.

16/28 июня [1842 года.] Вторник.

[Дрезден.]

(Сначала идет письмо Павла Бакунина, а затем письмо Михаила).

Пиши нам скорее, друг. Глупенькая, ты просишь, чтобы мы не позабыли тебя. Милая Варинька, все, что разделяло нас, уже нами позабыто, но ты никогда не перестанешь живо присутствовать в нас, — ты и твой Саша ***. Он меня так тронул своими слезами при расставании, — знаешь ли, мне даже стало сове-

* Отсюда снова по-русски в оригинале.
** Константин Андреевич Беер, брат А. и Н. Беер.
*** Сын Варвары.

стно перед ним: ведь я ему показывал всегда более строгости, чем любви. Но ведь ты знаешь, друг, что эта жесткость только вне меня и что во мне бьется горячее сердце. Пиши же нам чаще, как можно чаще, не скрывай от нас ничего. Пусть только действительность наша будет содержанием твоих писем, — и твои письма будут живы и жизнью же отзовутся в ответах наших.

И ты, Саша *, пиши к нам чаще. Милая, в последнее время моя любовь и мое уважение, да, мое уважение к тебе еще более усилились. Ты показала так много сильной, деятельной любви, так много благородного самоотрицания, а вместе так много простоты, святой простоты любящего и сильного сердца. Я уверен, тебе хорошо, очень хорошо тебе. Ты стала сама собою, ты теперь действительно живешь, и я уверен, что ты в это короткое время узнала в тысячу раз более, чем в продолжение всей своей жизни.

Друзья, любите нас, живите с нами и дайте нам жить своею жизнью.

Ваш друг и брат

М. Бакунин.

Братьев поцелуйте.

№ 440. — Письмо сестре Варваре.

[Вторая половина июня 1842 года.

Дрезден.]

Милая Варинька, ты получишь это письмо в Прямухине, а давно ли были мы вместе! Наконец после четырехлетнего отсутствия ты снова дома, с папенькой, с сестрами и с братьями. Все для тебя еще ново, многое неприятно поразит тебя, но ты найдешь вознаграждение в сестрах и братьях. Кроме этого, милый друг, ты найдешь вознаграждение в том, что для тебя наконец наступило время действительности, действительного осуществления того, что в тебе жило до сих пор как чувство, как мысль, а в такой действительности заключается вся жизнь. Мы тебя будем поддерживать издали, будем сочувствовать и радоваться каждому успеху твоему **, ибо жить значит не только мудрство-

---

* Александра Бакунина (сестра).

** Дальше по-немецки в оригинале.

вать, но и быть, то есть быть реально действующим, активным человеком. Только дело есть настоящая жизнь, а действительное дело возможно лишь при действительном противоречии, только при действительных препятствиях. Из нашей прежней идеальности мы ничего не собираемся уступать, напротив мы хотим усилить и расширить ее чудом живого дела. Жизнь проста, когда она истинна; жизнь есть легкая игра, если она приемлется в своей истине, простым и цельным сердцем, и верь мне, все тебе будет удаваться; в тебе есть еще много скрытых, тебе самой неизвестных сил: только теперь они проявятся, так как для тебя наступил момент быть действительным человеком *.

Милый друг, ты обещала нам много и подробно писать, беспрестанно знакомить нас с своею новою жизнью. Поверь мне, мы будем делать то же самое. Кроме этого ты обещала нам снова познакомить нас с сестрами. Смотри же, сдержи свое обещание: мне это еще необходимее, чем Павлу, который расстался с ними целым годом позже, и у которого сердце мягче моего. Обними их крепко, крепко за меня, скажи им, как я их люблю и как я уверен, что при первом свидании, в первую минуту мы точно так же поймем друг друга, как и во время оно, если еще не больше. Милую Танюшеньку, которая, как ты сама знаешь,— моя барышня исключительно, до тех пор пока она не нашла Телемака, держи в руках, не давай ей умничать.

Варинька, как странно, что я тебе пишу теперь в Прямухино. Милая, пищи нам только чаще. Мы не сделаемся никогда друг другу чуждыми. Братьев также обними за меня. Алексею не вели писать грубых писем,— он называет нас дураками,— да вели ему писать чаще.

Прощай. Твой

М. Бакунин.

№ 441.—Письмо Александре Беер.

Июля 7
——— [1842 года.] Четверт.
Июня 25 [Дрезден.]

(Приписка к письмам Павла Бакунина).

Милая Alexandrine, еще прошедший понедельник сбирался я писать Вам, но не успел. Паша дает мне иногда читать Ваши

* Дальше снова по-русски в оригинале.

письма (которые, признаться сказать, очень нечетко писаны, — пожалуйста не перечеркивайте, т. е. не пишите поперек страницы, когда вздумаете писать мне). В это время я понемногу снова знакомлюсь с Вами. Это меня глубоко радует. Только вот что: вы все очень смешны, что вздумали учить нас с Павлом. Собрались петушки да курочки да и начали кудахтать. А помните, как после одного из тех всемирных происшествий, которые во время оно у нас в Прямухине случались почти каждый день, вы две да сестры собрались в зале в кружок хлопотать и толковать, и как я вас славно разогнал всех по вашим конуркам? Берегитесь же: приеду и опять всех вас приберу к рукам.

А теперь пока прощайте.

Много любящий вас

М. Бакунин.

№ 442. — Письмо брату Алексею.

[Начало июля 1842 года. Дрезден.]

Здравствуй, Алеша, как поживаешь ты? Ну, давай целоваться, помнишь, как во время оно. А с тех пор прошло уже целых два года, воды много, много утекло: мы все переменились, поумнели, ты стал пламенным юношею, а я седовласым мужем. Ведь в самом деле мы уж давно не видались и не говорили друг с другом; но письмо твое доказало мне то, в чем я и прежде был уверен, а именно, что мы никогда не станем чуждыми друг другу. Павел давно говорил мне, что из всех братьев мы трое, т. е. ты (старичок), он (скорбящий) и я (молодец), несмотря на все различие наших натур, принадлежим к одному и тому же миру, и что для нас троих никогда не нужно будет многих слов, а всегда будет довольно одного малейшего намека, чтобы вполне понимать друг друга. Ведь это прекрасно. Знаешь ли, нам всем, братьям и сестрам, дано такое богатое сокровище, которое составляет удел весьма немногих под луною: это — наша взаимная дружба, наша вера друг в друга. Ведь нам и теперь тепло вместе, теперь, когда мы еще только мысленно вместе, — что ж будет, когда мы все, проникнутые одним общим великим присутствующим делом, будем жить в готическом замке, на высокой скалистой и неприступной горе, в замке с огромным запасом съестных припасов,

вина и табаку и окруженном прекрасным садом в нашем общем вкусе?

Милый Алексей, меня глубоко радует мысль, что мы теперь чаще будем писать друг другу и будем знать друг о друге. Ведь это необходимо. Пиши нам обо всем, передавай нам самого себя, сколько можешь, и [можешь] быть уверен, что мы станем делать то же самое. Теперь тебе остается всего только год пробыть в университете; не приедешь ли ты к нам, — то-то мы заживем! Ведь нам будет прекрасно вместе: мы с Павлом как опытные люди (Павел всякий раз, как пьет или ест что-нибудь новое или странное, вспоминает о тебе с чувством необыкновенного достоинства и всегда сбирается перед тобой похвастываться), — мы с Павлом будем вывозить тебя в свет, и из тебя под нашим руководством выйдет молодой человек хоть куда.

Ну что ж сказать тебе о нас? Я недавно ездил за несколько миль от Дрездена в маленький городок, в котором живет семейство, знакомство которого я сделал в Дрездене. Это, видишь ли, милый братец, была попытка влюбиться, но нет, не влюбился, никак не мог, несмотря на все старание свое. Уж я настраивал, настраивал себя, — да уж никак не мог чувствительно настроиться. А в это время мошенник Огарев * проехал через Дрезден. Паша уверяет, что он отпустил усы и похож на кота Бурмасека, и что он хотел было поймать его за усы. Паша встретил его на террасе и сначала не узнал. Огарев подал ему руку и сказал: «вы не узнаете меня?». Павел начал было также подавать руку да на половине дороги, узнав его, опустил ее и, ни слова не говоря, отвернулся. Огарев же с горя стал есть рака да и уехал на другой день поутру. Я в тот же день приехал, а его нет, — что делать? Денег нет ни копейки, а потому поймать его невозможно. Вот и отложили кровавое мщение до первой встречи; когда она случится, не знаю [1].

Мы живем здесь тихо. До обеда работаем, после обеда также, а вечером ходим на террасу на Эльбе и там ужинаем. Вид прекрасный, музыка скрозь важная. Там встречаем мы часто доктора Руге (Hall[ische] Jahrb[ücher]) **, с которым очень дружны и которого Паша прозвал мужичком, — знак необыкновенной нежности.

---

* Николай Платонович.

** «Галлеские Летописи» — журнал, редактируемый Арнольдом Руге [2].

Я пишу статью на немецком языке, где сильно достается немцам и философам. Статья выходит изрядная и скоро кончится [8].

Милый Алеша, что сказать тебе о нашей внутренней жизни и о наших планах? Как то, так и другое в письмах не выговариваемо. Приезжай к нам, и все тебе передадим. Прощай, друг, пиши теперь чаще, хоть по маленькой строчке.

Твой

М. Бакунин.

Ведь Варинька уже с вами; мы об ней еще ничего не знаем. Последнее письмо было из Любека. Поцелуй ее, сестер, маленького Сашу *, братьев и заставь всех писать.

Возьми у Вариньки все статьи Станкевича, перепиши их и отдай Грановскому; пожалуйста, Алеша, сделай это немедленно, — я обещал Фролову.

Когда приедет Тургенев? Мы его ждем с нетерпением. Скажи ему, что я ему отвечал давно на его письмо из Петербурга, в Москву, в дом Лошаковского. Теперь не буду писать, потому что жду. Мюллер ** ждет его также с нетерпением.

Скажи родителям, что мы уже давно учимся питаться воздухом, но еще не выучились; ведь это просто смешно.

Нельзя [ли] посоветовать родителям прислать нам поскорее денег? Ведь мы — без копейки.

А что касается до их поучений, которые они нам впродолжение целой зимы присылали вместо денег, то мы их носили к банкиру, но он не берет, говорит, что эти ассигнации не в ходу.

Да и долгу-то у нас много. Того и гляди, что посадят в тюрьму.

№ 443. — Письмо родным.

[Июль 1842 года. Дрезден.]

Милые друзья! Павел вам пишет длинное письмо, я же на сей раз ограничусь маленьким. Право, совсем разучился писать письма. Ну, что же делать? Не могу, да и кончено. Твое

* Сын Варвары.

** Мюллер-Стрюбинг.

письмо, Варинька, сняло тяжелый камень с душ наших. Мы уж начинали фантазировать с Павлом о возможных случившихся с тобою несчастиях, и фантазии наши были так неутешительны, что мы каждый держал их про себя. Мы наконец стали уже избегать всякого разговора о тебе. Впрочем все это прошло, тебе хорошо теперь, друг, ты счастлива; только позволь мне войти опять в свою старинную роль разочарователя. В своей новой радости не позабывай, что новый путь, предстоящий тебе, скрывает еще много, много грустного, тяжелого. Поверь мне, друг, всякое состояние заключает в себе свое особенное горе, так же, как и свою особенную радость, — и до тех пор, пока человек не понял этого и действительно не примирился с этим, до тех пор он еще не достиг своей действительности. Будь осторожна, проста и тверда, в минуты восторга не позабывай, что твое солнце еще часто будет покрываться тучами, а во время горя, разочарования, — что над тучами сияет неугасающее солнце *. Следует быть рассудительною и в особенности простою. Если человеческость еще не уплотнилась в тебе до простоты, значит она в тебе еще действительно не присутствует. Не нужно никакого логического и теоретически-религиозного фантазирования о конечном и бесконечном: такие вещи можно понять только с помощью живого дела **.

Прощайте, мои милые.

Ваш

М. Бакунин.

№ 444. — Письмо сестре Татьяне.

[Конец лета 1842 года. Дрезден.]

Танюше.

Милый друг, твое письмо глубоко тронуло меня. Оно снова и с новою силою пробудило во мне живое, действительное чувство любви, соединяющей нас. Оно меня опять сроднило с тобой. Да, Танюша, ты — моя, а я — твой преимущественно перед всеми другими. Я давно знал это, но давно, очень давно так живо не

* Отсюда по-немецки в оригинале.
** Дальше снова по-русски в оригинале.

чувствовал этого, как теперь. Письмо твое растворило мою душу, смягчило ее, и ты не знаешь, как это для нее необходимо; любовь никогда не исчезала в ней, но она покрылась непроницаемою, холодною корою, которая часто отталкивает людей от меня, а часто бывает мне самому тяжела. Продолжай писать мне, друг, помоги мне выйти из самого себя и говорить с тобою, и ты увидишь тогда, как сильна, как постоянна и как пламенна моя любовь к тебе. Я перестал писать вам не потому, что разлюбил вас, но потому, что стал замечать, что наша переписка беспрестанно становилась формальнее и незначительнее, что она перестала быть выражением нашей действительной жизни и стала какой-то ложью перед собою и перед другими. Я прекратил ее, потому что всякая ложь для меня нестерпима, а истинны только присутствующие, действительные интересы; только они могут пробуждать человека и вызывать из него живое слово и живую душу.

Не бойся за меня, друг: что будет, то будет, а будет то, что должно быть. Я еще должен много сделать, а потому по всем вероятностям буду еще долго жить. Во всяком случае на этот предмет не должно смотреть с обыкновенной точки зрения. Если все ежедневно, тогда и жить не стоит; если же нет, тогда и смерть не страшна, но имеет напротив великое, святое, прекрасное значение. Впрочем, друг, ты не должна бояться, чтоб я как шестнадцатилетний юноша стал делать глупости. Я решился, но мое решение не исключает ни осторожности, ни даже возможности другого выхода; в моем решении нет ни страсти, ни гнева; оно спокойно и твердо, потому что вышло из сознания долга. Я сделаю то, что должен буду сделать, — не менее, не более. И потому не предавайся бесплодному страху, который теперь не имеет большего основания, чем и во всякое другое время. Человек беспрестанно находится в опасности потерять жизнь. Жизнь его зависит часто от самых мелких и непредвиденных обстоятельств. Это — судьба и непременное назначение всякого, назначение, связанное самым крепким образом с природою человека, со всем, что только есть великого и прекрасного в жизни. С этой мыслью должно не только примириться, но ее должно полюбить, как с единственным живым и таинственным источником жизни. Если смерть есть зло, если она хоть сколько-нибудь страшна, то в жизни нет никакого смысла. А потому еще раз, не бойся, друг, но верь, ожидай всего хорошего и радуйся со мной тому, что боязнь твоя за жизнь мою, может быть, возвратит нам действи-

тельную, уже давно нами утраченную взаимную жизнь, которая заключается в нашей взаимной любви, без которой, как ты сама знаешь, ведь нет никакой жизни. Лучше одно мгновение действительной жизни, чем ряд годов, прожитых в мертвом призраке. И потому об этом довольно. Ты можешь быть уверена, что я ничего от тебя скрывать не стану. Я не верю в пользу предостережений и обманов, не верю в эту людскую премудрость, лишенную всякой силы и всякой веры, и думаю, что чистая истина есть лучшее и благотворительнейшее средство во всех обстоятельствах.

Теперь обратимся к тебе. Береги себя, друг, не думай беспрестанно о своей смерти. Поверь мне, жизнь и смерть приходят без всякого зову и тогда именно, когда их менее всего ожидают. Теперь перед тобой открыто огромное поприще. Варинька теперь с вами, — помогайте друг другу жить не мечтами, а в действительности, и будьте уверены, что действительность, истинная действительность, а не та, про которую беспрестанно толкуют умные люди, окружающие вас, совсем недалека от вас. Она — в вас самих, в ваших личностях, но она доступна только тем, которые приступают к ней с свободным, чистым и смиренным сердцем; она проста и потому недоступна для теоретических построений. Только свободное дело может понять ее, — жизнь понимается жизнью и дело только делом. Смирение, о котором я говорю, опять-таки не есть то ложное и малодушное смирение, о котором твердят вам, но напротив высшая гордость человека. Она только противоположна теоретическому и бездейственному высокомерию, а не гордости, не высокому достоинству человека, сознающего бога только свободным, неограниченным свободным делом. Бог есть свобода, а свобода сознается только свободою. Свобода же есть высшая, себя производящая, себя создающая деятельность *.

Личность бога, как и бессмертие и достоинство человека, — а по моему мнению все это тесно связано, — могут быть поняты только практически, только путем свободного дела, рождающегося из первоначальнейшей глубины *личного* духа и из него оплодотворяющегося, ибо сам бог есть не что иное как чудотворное самотворчество, творчество, которое, чтобы быть действительно понятым и усвоенным, должно каждый раз снова

---

* Отсюда по-немецки в оригинале.

пониматься; и природа дела в том и заключается, что оно постоянно утверждает бога внутри самого себя. Это дело есть высочайшая гордость и величайшее смирение человека перед богом, — и только это дело, дело сожжения себя в *самом* себе, простое, невинное сердце, прозрачное осуществление вечной личности человека *.

Вот вам и богословские рассуждения, как в старину. Варинька, вспомни, что я говорил тебе. Ты не узнаешь себя в Прямухине: все, что ты поняла здесь, станет там в тебе действительностью.

(Конца нет).

[Осень 1842 года. Дрезден.]

№ 445. — Письмо родным.

Милые друзья! Последнее мое письмо к вам было грозное письмо. Бог знает, какое впечатление произвело оно на вас. Может быть, вы подумали, что после такого долгого, постоянного молчания я не должен был, не имел права начинать таким образом переписку, что такой грозный, бранчливый тон позволителен еще при близких отношениях и что он неуместен при таком большом внутреннем и внешнем отдалении. Но, милые друзья, что до меня касается, то, несмотря на мое упорное молчание, я никогда не переставал быть с вами в самых близких отношениях. Я не говорю уже о вас, о сестрах, с которыми мы уж так много вместе пережили, что в сущности никакое отдаление не может отдалить нас, но я близок также и к брату Николаю, несмотря на то, что, может быть, он сам и не знает этого, и что наше знакомство с ним было гораздо кратковременнее. Я так мало раскаиваюсь в своем письме, что если б я не написал его тогда, то верно написал бы его теперь; я должен был выговорить вам то, что я думаю и чувствую, а первое чувство мое было негодование. Но последнее письмо мое выговорило только одну сторону моих отношений к вам, — суровую сторону; но не выговорило, может быть, довольно сильно и ясно моей привязанности, моей любви к вам. Милые, если б вы только знали, как мы с Павлом глубоко сочувствуем вам, как мы страдаем вашим страданием, и как нам горько, что мы не можем помочь вам

---

* Дальше снова по-русски в оригинале.

живым делом. О, я уверен, что если б мы были с вами, то мы воскресили бы вас, вырвали бы вас из этого глухого, невыговариваемого страдания, в котором вы все погружены. Наши судьбы были всегда так слиты, что невидимая нить и теперь без всякого сомнения связывает наши существования. Да мы и теперь можем помочь вам, несмотря на отдаление, разделяющее нас. Наши слова — живые слова, проникнутые любовью. И потому не читайте наших писем как прекрасные теоретические рассуждения, но как живые слова, как живые излияния живых людей, глубоко, глубоко любящих вас. Предайтесь, верьте нам со всею доверенностью любви, и мы спасем вас *, мы вытянем вас всею энергиею всемогущей любви из тяжелого положения, в котором вы все находитесь, мы пробудим в вас живую, практическую веру вашей молодости, мы убьем в вас последний след того теоретического суемудрствования, которое губит вас и к развитию которого в вас я так много способствовал.

Поймите только, что ваши судьбы, ваши страдания — не частные и не случайные страдания, поймите их в необходимости общего движения, а особливо в необходимости нашего родного, русского развития, и тогда они проникнутся для вас самих таким святым значением, таким благодатным светом, они наполнят вас такою гордостью и достоинством, что вы ни за что в мире не отдадите их. Я не стану говорить, как Павел, что они — призраки, теоретические фантомы: он юн и зелен, он еще молода детина. Напротив я сознаю все глубокое, *действительное* значение их: они — предтечи будущей религии, они полны религиозной будущности, и не всякому дано пережить их. Вы — избранные между весьма малыми, и потому вы должны быть достойны своего избрания, вы должны быть сильнее, проще, достойнее других, вы должны сознать свое дело и искать его не в птичьем и не скотном дворе, но в строгом исполнении своих действительных обязанностей. А первая ваша обязанность есть сила, терпение, гордость. Вы должны быть горды не собою, но истиною, которая живет [в] вас. Вы должны требовать уважения не для себя, но для истины, которою вы исполнены. Как первые христиане, слабые по числу, но могущие истиною, которой они были сосудами, и со всех сторон окруженные врагами, вы должны еще теснее связаться друг с другом и действовать и жить

---

* В оригинале: «вам».

заодно. Я не говорю вам о счастии, и трудно говорить о нем, потому что трудно определить его. Счастие, то счастие, о котором мы все мечтаем, очень редко дается, а особливо тем, которые носят будущность в груди своей. Но достоинство, практическое достоинство, невольно признанное другими, должно быть нашим законом, первым условием нашей жизни. И это достоинство заключается не в том, что мы с волками живем по-волчьи, но в том, что мы никогда, ни в каком случае не изменяем своим убеждениям. Поверьте, друзья, вне этого достоинства, вне этой твердости и силы для нас нет и не может быть чистоты и святости. И потому сомкнемся еще крепче и будем жить одною жизнью: это будет для нас чистым источником силы и наслаждения! Мы будем счастливы по-своему и не отдадим своего счастья ни за какое другое. . .

Тургенев месяца через полтора будет у вас и привезет вам мою статью, а может быть, если у нас будут деньги, и наши портреты.

Прощайте.

Ваш

М. Бакунин.

Танюша, если мы выиграем в лотерею, то ты непременно приедешь к нам.

№ 446. — Письмо родным.

9-го октября. 1842 [года].

Дрезден.

Милые друзья! Хорошо, что вы наконец вздумали написать нам. Вы не знаете верно, с каким беспокойством мы ожидали ваших писем, как страшно нам иногда становилось за вас. Ведь вы теперь знаете, что мы имеем самое кривое представление о вашей жизни. Мы думали, что вы *спите* или, лучше сказать, что вы живете лихорадочною жизнью, а выходит напротив, что вы никогда не засыпали и всегда жили деятельно, спокойно, твердо и без всякой рефлексии. Мне кажется, что я еще не вполне убежден в полноте вашей жизни, многое кажется мне еще в ней непонятным, противоречащим; но я знаю также, что не дол-

жно мерить чужую личную жизнь на свой аршин. Если я не понимаю ее, то из этого можно только заключить, что мы отчудились друг от друга до такой степени, что потеряли способность понимать друг друга. Винить тут никого нельзя, потому что вина может быть только там, где есть сознательное, свободное действие, а верно никто из нас не мог иметь желания отчудиться от другого, и если это случилось, так это вытекло из обстоятельств, а может быть, от различия наших натур, наперекор которым мы не должны и не можем поступать. И потому здесь вины нет, а есть судьба.

Вы видите, друзья, что я откровенен. Мы все уж в таких летах, что нам было бы непростительно жить играючи и обманывать себя призраками: мы все можем повторить теперь слова Фауста:

Ich bin zu alt, um nur zu spielen,
Zu jung, um ohne Wunsch zu sein! *

А говорить о нашей вечной дружбе, о незримых нитях, связывающих наши существования, как я сам это часто делывал, без непосредственного, реального и живого присутствия этой дружбы и без всякой способности действительно проникать друг в друга, было бы теперь для нас смешно и детски. Вы верно точно так же, как и я, чувствуете в себе непреодолимую потребность вырваться из этого мира призраков, бессильных чувств и безжизненных мыслей, в котором мы все во время оно более и[ли] менее жили, для вас верно так же необходимо, как и мне, называть вещи их именем и жить только теми чувствами и мыслями, которые имеют силу непосредственного, живого осуществления. Только действительность может удовлетворить нас, и это потому, что только действительность есть сильная, энергическая, т. е. истинная истина. Все же остальное есть вздор, призрак и, если Варинька позволит мне употребить это выражение, постный идеализм.

Вот почему, милые друзья, я хотя с одной стороны и уверен, что при первом свидании мы действительно сошлись бы друг с другом, вот почему я теперь не верю в нашу настоящую дружбу. Не верю потому, что не чувствую ее живого, действительного

---

* Я слишком стар, чтоб лишь играть,
И слишком юн, чтоб не желать.

8*

присутствия. Танюшино письмо, хоть относящееся и не ко мне, еще сделало на меня живое впечатление. Оно писано не из моего мира, но звуки его для меня живы, реальны; я услышал в нем родной, хоть и давно замолкший голос. Но в твоем письме, милая Варинька, я ничего не понял; понял, если ты хочешь взять это слово в его абстрактном смысле, как общее теоретическое рассуждение о жизни, о грации, об истинном достоинстве, рассуждение, которое, если оно будет подвергнуто философской критике, заключает в себе много истинного и много ложного; но не понял в практическом, личном смысле этого слова. Знаешь ли, Варинька, переписка точно так же, как и разговор между двумя людьми, только тогда понятна, когда она действительна, а действительна она только тогда, [когда] она есть откровение одной личности для другой, когда в ней совершается таинство приобщения двух личностей, так что иногда простой рассказ, простое, с небрежностью брошенное слово гораздо более выражает, чем * длинные рассуждения и построения своей жизни, построения, которые все передают кроме того, что они должны были передать.

Ты видишь, Варинька, я решился быть откровенным и тебе советую последовать моему примеру. Стыдно утешать себя ложью. Достоинство человека неразрывно с действительностью его жизни; идеализм только потому свят и истинен, что он есть идеализм живого, реального мира, а всякий идеалист, будь он хоть семи пядей во лбу, если он — только идеалист, если он не бросается страстно и смело в роскошные и сначала чуждые для него волны действительной жизни, если он не осуществил внутреннего мира своего в живой любви и в живом деле, если он не преклонил своей теоретической гордости, своего мудреного идеального мира перед евангельскою простотою действительности,— такой идеалист, Варинька, несмотря на то, что у него скрываются в душе

И всяки высокие мысли,
И разны глубокие чувства.

ни копейки не стоит.

Ведь оттого, что мы мышь назовем слоном, она не сделается же слоном, и потому перестанем прикрывать нищенскую бедность наших настоящих отношений громкими словами, в верность ко-

---

* В оригинале по ошибке написано «что».

торых мы и желали бы верить, да не можем. Если это справедливо, — спросишь ты меня, — то по какому же праву написал я свои последние письма? На такой вопрос мне нечего будет отвечать, потому что в самом деле я сознаю, что я не имел права писать их. Вы верно столько не позабыли меня, чтобы не понять, что источник их был чист, что мне хотелось вырвать [вас] из тяжелого апатического состояния духа, в котором я думал, что вы все сидите; но я не имел права писать их, потому что мои отношения с вами не живые отношения. Это была последняя попытка насильно связать себя с вами, можно сказать — судорожная попытка разбить кору чуждости, разделяющей нас, и вот почему оно было так беспокой[но], так лихорадочно страстно написано. Я хотел насильно вбросить в вашу жизнь мою жизнь, но такие вещи не делаются насильно, они совершаются какою-то благодатью, которая достигает этой цели самыми простыми средствами. Я думаю, письмо мое показалось вам очень дико. Не оскорбляйтесь им, милые друзья, и особливо попросите Николая не сердиться на меня. Вы — добрые, а ведь он — сердитый, — gewiss, es war nicht schlecht gemeint, et de plus je fais devant vous tous amende honorable *.

То, что я говорю о нашей переписке, может быть применено и к нашим отношениям впродолжение всего времени, что мы были вместе, милая Варинька. Мы хотели понимать друг друга, мы хотели быть дружными, но не могли; и тут никто из нас не был виноват. Я не говорю о твоих отношениях с Павлом, но только о самом себе, потому что в делах дружбы и любви не может быть ничего общего; что не лично, то абстрактно, а потому и ложно. Я говорю, что никто из нас не был виноват, мы с самого начала нашей встречи жили такими различными, друг другу чуждыми жизнями, что нам трудно было понять друг друга. Чья жизнь была лучше, также очень трудно сказать, потому что для личной жизни также нет и не может быть общей мерки. Я не спорю, что я часто бывал резок, часто обижал тебя, но поверь мне, Варинька, это так тяжело падало на меня самого, я всякий раз так искренне и горячо раскаивался в этом, что ты должна простить меня. Кроме этого источник моей резкости опять-таки был чист: я хотел быть дружным с тобою, хотел сделать насиль-

* Конечно, мысль в основе была недурная, а сверх того я торжественно у всех у вас прошу прощения.

но то, что не делается насильно. Это было детски, я в этом согласен и уверяю тебя, что уж больше никогда не буду.

Что же касается до моих отношений с Елизаветой Петровной *, то ты не можешь судить об них, Варинька, не можешь потому, что ты не жила ими. Может быть, придут такие обстоятельства, которые внешним образом разделят нас с нею; может быть, вследствие долгой разлуки мы потеряли привычку так говорить друг с другом, как говорили прежде; но это ничего не значит, вечность не заключается в бесконечном продолжении. Продолжение зависит от обстоятельств, но вечность есть бессмертное мгновение, такое мгновение, в сравнении с которым вся другая жизнь есть только длинное и иногда весьма тяжелое и сухое приготовление. Ты не знаешь еще, Варинька, как страстно я люблю эту женщину, как я предан ей, чем она была для меня и какими неотъемлемыми сокровищами, каким неистощимым запасом жизни она меня одарила. Ты не знаешь ее, я ее знаю и преклоняюсь перед нею, боготворю ее, несмотря на то, что лучше тебя знаю ее недостатки, лучше тебя, так долго и прилежно занимавшейся исчислением их. Я знаю, чем я был для нее, чем она была для меня, и этого мне довольно. То, что я называю вечным мгновением, никогда не проходит, а будущее — в руках судьбы. И потому не станем лучше говорить об ней, — мы не поймем друг друга.

Ну, да и вообще перестанем рассуждать об отношениях. Это — грустный предмет, а я право не хочу огорчать вас. Я сказал то, что должен был сказать, и больше говорить об этом не стану.

Поздравьте от меня Николая [1]. Скажите ему, что я искренно глубоко радуюсь его счастью и для него, и для Анеточки **, и для вас всех. Действительное счастье будет наконец присутствовать между вами, и вы, бедные, отдохнете в нем. Оно распространит между вами всеми совершенно новую, живую, светлую атмосферу, в которой вам будет легко дышать. До сих пор только страдания и несчастия были вашими суровыми учителями, и вам необходим другой учитель. Учение действительного, присутствующего счастья ничем не может быть заменено ***, оно

---

* Языкова.

** Анна Петровна Ушакова, вскоре вышедшая замуж за Николая Бакунина.

*** В оригинале сказано «не могут быть заменены».

растворяет душу, плодотворит ее. Скажите Анеточке, что я всегда смотрел на нее как на сестру и любил ее как сестру, скажите ей, Екатерине Петровне и Ольге Яковлевне *, что в душе моей хранится и никогда не исчезнет святое, теплое воспоминание о них. Вероятно, что мы никогда не увидимся с ними, жизнь забросила меня далеко от вас и почти решительно отрезала всякую возможность встречи, но я никогда не перестану глубоко и горячо любить вас, и ваше горе и ваши радости всегда будут находить во мне живой отголосок.

Милая Natalie **, поверьте мне, что я так же люблю Вас, как и прежде. Вы видите, я не в расположении обманывать себя и других, и потому Вы должны верить мне. Одним словом вы должны быть все без исключения уверены, что всякое *живое* слово ваше везде и во всякое время будет *живо* отзываться во мне.

Ваш

М. Бакунин.

Милая Варинька, я с тобою совершенно согласен, что мы должны заплатить долг наш Елизавете Петровне; но предоставь распоряжение платежа нам самим, потому что мы лучше тебя знаем состояние наших финансов. Прежде сделай, чтобы нам прислали *** все свободные деньги, ибо мы находимся сейчас в самом пакостном положении. Если бы я сегодня не раздобыл денег, то послезавтра мы очутились бы в невероятном затруднении, т. е. на волосок от тюрьмы. Ты не понимаешь, как мне тяжело сидеть на шее родителей. Я не перестаю мечтать о том времени, когда я в состоянии буду сам снискивать себе средства на жизнь. В этом году я рассчитываю заработать 400—500 талеров, а со-временем и смогу стать совершенно независимым ****.

Тургенев здесь и кланяется вам всем; большого письма писать не может, а маленького писать не хочет. Через месяц будет в Питере, а через 6 недель надеется вас увидеть.

---

* Екатерина Петровна — сестра Анны Петровны; Ольга Яковлевна — ее мать.

** Наталья Андреевна Беер.

*** Отсюда по-французски в оригинале.

**** Дальше снова по-русски в оригинале.

Вчера было общим советом решено, что *Павел* едет в Россию вместе с Тургеневым. Итак, милые друзья, вот вам и утешение. Так же, как иногда горести собираются вдруг над головою человека, точно так же и радости. Николай женится, у вас одною прекрасною сестрою более, и наконец Павел также возвращается к вам. Он едет с большими планами—дай бог ему успеха *. Вся семья снова соберется вместе, я говорю «вся семья», так как что меня касается, то на меня вам приходится смотреть как на мертвого члена. Бог знает когда и как мы свидимся! Наши пути столь различны и так далеко расходятся друг с другом. С отъездом Павла для меня начнется новая жизнь, жизнь крайне печальная, крайне суровая и крайне одинокая, но серьезная и вместе с тем деятельная. Я на нее не жалуюсь, ибо сам избрал ее, как единственно мне подходящую. Не забывайте меня совсем, а чтобы это было для вас более трудно, я пришлю Танюше с Тургеневым мой портрет.

Прощайте, бог да благословит вас.

Ваш М. Бакунин.

№ 447. — Письмо брату Николаю.

9-го октября 1842 [года].

Дрезден.

Милый Николай! Тургенев уезжает, и я пользуюсь этим случаем для того, чтобы переговорить с тобой о деле.

После долгого размышления и по причинам, которые объяснит тебе Тургенев, я решился никогда не возвращаться в Россию. Не думай, чтоб это было легкомысленное решение: оно связано с внутреннейшим смыслом всей моей прошедшей и настоящей жизни. Это — моя судьба, жребий, которому я противиться не могу, не должен и не хочу. Не думай также, чтобы мне было легко решиться на это, — отказаться навсегда от отечества, от вас, от всего, что я только до сих пор любил. Никогда я так глубоко не чувствовал, какими нитями я связан с Россиею и со всеми вами, как теперь, и никогда так живо не представлялась мне одинокая, грустная и трудная будущность, вероятно ожи-

* Отсюда до конца по-французски в оригинале.

дающая меня впереди на чужбине, и, несмотря на это, я безвозвратно решился. Я не гожусь теперешней России, я испорчен для нее, а здесь я чувствую, что я хочу еще жить, я могу здесь действовать, во мне еще много юности и энергии для Европы. Одним словом, худо ли, хорошо ли, но я решился и не переменю своего решения.

Но для этого мне необходимо хоть несколько обеспечить свое состояние *. До сих пор мы жили только как на биваках, но это не может дольше продолжаться. Я уже не молод, я должен рассчитать свои действия, для того чтобы сделаться чем-нибудь и не испортить единственную оставшуюся мне карьеру. И вот я обращаюсь к тебе, дорогой друг, в уверенности, что ты сделаешь все от тебя зависящее. Так как ты скоро женишься и устроишься в Прямухине в качестве руководящего делами лица, то только к тебе я и могу обратиться, и только ты и можешь сделать что-нибудь **.

Вот в чем дело: я желаю, чтобы папенька отделил бы мне достающуюся мне часть имения; отделил бы не на словах только, но так, чтоб я мог продать ее и распорядиться капиталом, как хочу. Как велика будет эта часть, я это безусловно предоставляю папенькиному и вашему решению. Как поступить с этой частью, я об этом подробно переговорю с Тургеневым, который поможет тебе все устроить. Я знаю, что мое желание встретит в папеньке сильную преграду. Но это необходимо, Николай, от этого зависит вся моя будущность; ich widerhole es Dir: ich bin nicht mehr jung und ich darf nicht mein Leben verscherzen ***. Это необходимо, а потому и возможно. Для сильной воли, когда она устремлена на благоразумную, основательную цель, нет ничего невозможного; и я уверен, что, убедившись в законности и необходимости моего желания, ты употребишь всю свою энергию для того, чтобы быть мне полезным ****. Я предоставляю тебе полную свободу действий. Скажи отцу все, что тебе угодно, употреби все средства, какие покажутся тебе разумными и справедливыми; скажи ему даже, если это необходимо, что я решился не возвращаться в Россию, что я оставил отече-

---

* Отсюда по-французски в оригинале.

** Дальше снова по-русски в оригинале.

*** Повторяю тебе: я уже не молод, и не вправе шутя относиться к своей жизни.

**** Отсюда по-французски в оригинале.

ство навсегда; я даже напишу ему письмо, которое тебе передаст Тургенев, а ты ему его прочтешь, когда захочешь. Я бы хотел, чтобы ты сделал это до смерти отца. Ты видишь, я решился говорить обо всем, даже о самых тягостных предметах. Но что поделаешь, милый, это приходится сделать: мне необходимо, неизбежно сказать все, чтобы быть правильно понятым. Мною движет не эгоистическая цель, нет, а заставляет меня высказать тебе все без малейшего изъятия то, что есть действительно священнейшего во всей моей жизни, моя будущность в самом широком смысле этого слова. Так вот я бы хотел, чтобы это дело устроилось до смерти отца, ибо я не верю в добрые намерения матери. Женщина, способная в присутствии детей сказать какому-то презренному Сергею Ивановичу *, что может наступить время, когда ей понадобится его покровительство, женщина, произносящая такие слова во время болезни своего мужа, а нашего отца, такая женщина не может пользоваться моим доверием. А затем я знаю, Николай, она меня не любит, она меня терпеть не может, и я не могу на это жаловаться, так как я ее тоже не люблю. В день моего отъезда за границу отец заявил мне, что он оставит ведение дел и управление всеми имуществами маменьке и что он надеется, что мы никогда не станем протестовать против нее. Я ему это обещал, потому что я бы промолчал даже в том случае, если бы он совершенно лишил меня наследства, но не из доверия к ней. Во всяком случае с этим делом нужно покончить быстро, потому что я не могу терять времени. Я решил через год переехать во Францию и устроиться в Париже. Для этого мне нужна известная внешняя независимость. Я рассчитываю года через два-три достигнуть этого собственным трудом, но для этого я должен предварительно иметь обеспеченную базу. Итак ты видишь, друг мой, что мне надобно спешить да и тебе тоже **. Надо следовать русской пословице «куй железо, покуда горячо», и я уверен, что ты не дашь ему ни в себе, ни в других остынуть.

Я тебе сказал, Николай, обо мне и о моем желании все, что только может быть сказано в письме. Остальное объяснит тебе Тургенев лично. Теперь позволь мне (неразборчивое слово) ска-

---

* Имя и отчество по-русски в оригинале. Речь идет о соседе Бакуниных Гронеко.

** Отсюда по-русски в оригинале.

зать тебе несколько слов о тебе самом, о сестрах и братьях. Не думай пожалуйста, чтобы я хотел умничать, чтобы я хотел учить тебя, — нет, друг, я уверен, что тебя не нужно учить, что ты сам со временем, когда будет нужно, все поймешь и сам сумеешь все устроить, но ты должен простить мне эту слабость, общую всем старшим братьям, слабость учить младших и воображать, что они умнее их. Кроме этого это письмо — моя духовная, а ты знаешь, что умирающие имеют право многое выговаривать. Ты теперь — глава семейства. Что ты должен быть покровителем и опорою сестер и братьев, об этом я не стану говорить, потому что ты сам это очень хорошо знаешь. Я хочу обратить только твое внимание на одну вещь, от которой мы до сих пор отвлекали[сь] отчасти по весьма законным причинам, а отчасти и (неразборчивое слово) вследствие абстрактной идеальности. Мы до сих пор в разговорах своих с родителями и в наших действиях (неразборчивое слово) касались всех вопросов кроме вопроса о нашем материальном существовании. Я вообще не доверяю маменьке, я думаю, что по смерти папеньки она самовольно подчинится влиянию враждебно к нам расположенных людей. Вообрази себе, если внешняя независимость сестер не будет обеспечена при жизни отца, что они будут под непосредственным покровительством, под патриархальным владычеством какого-нибудь Сергея Ивановича, Александра Павловича Полторацкого или подобных им людей. Не упрекай меня в преувеличении, не говори, что я несправедлив к маменьке. Во-первых, я знаю ее лучше тебя; я мог бы рассказать и доказать тебе такое, от чего у тебя сердце перевернулось бы. Но положим даже, что я несправедлив, положим, что отдаление преувеличивает все в моем воображении, положим, что маменька — самая простая, ни слишком добрая, ни слишком злая женщина, — то и тогда очень естественно будет, если она подпадет чужому влиянию; слабость, соединенная с худыми инстинктами, с худыми побуждениями, превратившимися вследствие долгой привычки во вторую природу, — такая слабость есть источник всякого греха, всяких худых поступков. Вспомни, что маменька несколько раз пробовала даже и теперь, когда ее пошлая природа и ее нечистые наклонности еще уравновешены благородною, хоть к несчастию и несколько испорченною природою отца, — вспомни, что она даже и теперь несколько раз пыталась подчинить чистый, святой мир сестер своему нечистому миру; вспомни, что в самый день смер-

ти Любаши, когда Любаша, узнав, что Наталья * приехала, радовалась и звала ее к себе, маменька, позабыв и свое горе и свои фразистые изъявления любви, вспомнила, что она ненавидит Наталью, и сделала сцену сестрам. Но какая бы она там ни была, Николай, ведь ты знаешь, что ее мир и мир сестер несовместимы; один решительно исключает другой; но ты верно успел узнать ее довольно, для того чтобы быть уверенным, что она не только не пожертвует сестрам своим миром, но будет до последней минуты требовать, чтобы они подчинились ему. Ты скажешь, что в случае нужды ты будешь их покровителем; в нравственном отношении — я верю, но в материальном как же ты это сделаешь, если сестры не будут иметь своего независимого состояния? Процессом? А ты ведь верно знаешь, Николай, что нравственная свобода без внешней — самый пустой призрак. Неужели бедные сестры наши, которые в течение своей жизни так много страдали и так мало знали радости, неужели они и в будущем осуждены на совершенную зависимость? Неужели должны они вечно быть лишены этого последнего утешения, — будут лишены средств свободно располагать собою? Ведь ты чувствуешь, что это невозможно, Николай, они должны быть свободны, а для того чтобы быть действительно свободными, они необходимо должны иметь свое, совершенно независимое состояние. Это — такой важный вопрос, от которого зависит вся будущность их; и ты, как покровитель их, не должен бояться думать об этом грустном предмете, не должен отвлекаться от него, для того чтобы не возмущать своего личного внутреннего спокойствия. Ты должен обратить на него все свое внимание и много, долго думать о нем. Ты должен до тех пор думать о нем, пока ты действительно, т. е. на деле, не разрешишь его. Я знаю, что ты встретишь много препятствий, но ты должен преодолеть их и, не теряя ни минуты, устремить на достижение этой цели всю свою энергию.

10 октября.

Многое еще сказал бы я тебе, но в письме всего не выговоришь. Я надеюсь, что ты мне будешь отвечать, и вопрос понемногу объяснится. Кроме этого Павел решился ехать к вам

---

* Н. Беер.

с Тургеневым, и он тебе все дополнит, потому что мы с ним обо всем переговорили. Ты и Павлу также поможешь, друг, он решился привести свое положение в определенность и без всякого сомнения встретит очень много трудностей. Смотрите все за ним, не давайте ему делать глупостей, заставляйте его беречь свое здоровье. Вольф * обещал мне дать ему письмо к гомеопатическому доктору в Москве, письмо, в котором он изложит все лечение, которому он должен следовать. Заставьте Павла сейчас же по приезде в Москву явиться к доктору и строго следовать его приказаниям. Вообще, милые друзья, поддерживайте друг друга все и любовью и словом и делом, и вы будете и крепки и счастливы по возможности. Вы все — живые люди, пусть же будут ваши отношения живыми отношениями, и ваша жизнь — живою человеческою жизнью. Теперь ты счастлив, Николай, истинно счастлив. Ты избранный, потому что счастье действительной любви дается очень немногим. Множество людей, чувствующих в себе способность любить, никогда не достигают действительного осуществления любви, а любовь — я в этом убежден — есть высшее счастье; перед нею все остальное вздор. Напомни меня Анне Петровне, скажи, что далеко, далеко за морями, за долами живет брат, который ее очень любит.

И вы, друзья, не позабывайте меня. Мне будет очень грустно одному. С отъездом Павла начинается моя новая жизнь. Расставшись с ним, я во второй раз, и теперь уже решительно расстаюсь с моим отечеством и расстаюсь с ним навсегда. Вы не можете себе вообразить, как мне грустно, более чем грустно. Иногда мне становится страшно: все так пусто и безотрадно впереди; я буду один, без любви, может быть даже и без всякого живого участья. Но не бойтесь за меня, друзья, я ведь — русский человек и не позабыл слова «авось», не бойтесь за меня: рано или поздно, это должно было случиться, а вы знаете: «чему быть, того не миновать». Одиночество лежало на пути моем, и рано или поздно я должен был вступить в эту пустыню. Не бойтесь за меня, потому что у меня есть дело, которое я люблю, которому я предан всею полнотою своего существования; я до сих пор ни разу не изменил ему: вся моя жизнь, все мои поступки, как бы они нелепы ни казались другим, были необходимыми ступенями моего приближения к нему. И теперь

* Дрезденский врач, гомеопат.

также останусь я себе верным, и что бы там ни случилось, никогда не откажусь от того, что я считаю своим призванием.

Прощайте.

Ваш

М. Бакунин.

5-го ноября.

Милые, добрые друзья! Сейчас получил ваши письма. Вы правы, вы были умные, а мы — глупые. Мне стыдно, что я написал вам такие глупые письма. Вот что значит потерять друг друга из виду; сейчас впадаешь в крайности и нелепости. И Наталья * — умная.

Пишите мне чаще, пишите всякий вздор, и умное и глупое вместе. Спешу отослать эти письма в Берлин. Скоро опять буду писать. Я написал маменьке письмо.

Прощайте, друзья.

Перевод с немецкого

№ 448. — Реакция в Германии.

(Очерк француза).

[17—21 октября 1842 года. Дрезден.]

Свобода, реализация свободы, кто станет отрицать, что сейчас этот лозунг стоит на первом месте в порядке дня истории? И друг и недруг признают и должны это признать; более того, никто не решится дерзко и открыто объявить себя врагом свободы. Но одно слово, голое признание ничего не стоют, как известно еще евангелию, ибо к сожалению немало есть до сих пор людей, которые в действительности, в глубине своего сердца не верят в свободу. Уже в интересах самого дела стоит познакомиться с этими людьми, так как они по природе своей бывают очень различны.

Прежде всего встречаются среди них высокопоставленные, пожилые и опытные люди. В юности они сами были дилетантами политической свободы, ибо для знатного и богатого чело-

* Беер.

века разговоры о свободе и равенстве сопряжены с некоторым пикантным удовольствием, а сверх того делают его вдвойне интересным в обществе; ныне же, когда способность к юношеской восторженности у них прошла, они пытаются скрыть свою физическую и духовную усталость под маскою «опыта», — слово, которое так часто давало повод к злоупотреблениям. С подобными людьми нечего вообще разговаривать, они никогда не принимали свободу всерьез, и никогда свобода не была для них религиею, доставляющею величайшее наслаждение и высочайшее блаженство только на путях глубочайших противоречий, горчайших страданий и полного, безусловного самоотречения. Да уже потому не стоит с ними разговаривать, что они стары и волей-неволей скоро отправятся на тот свет.

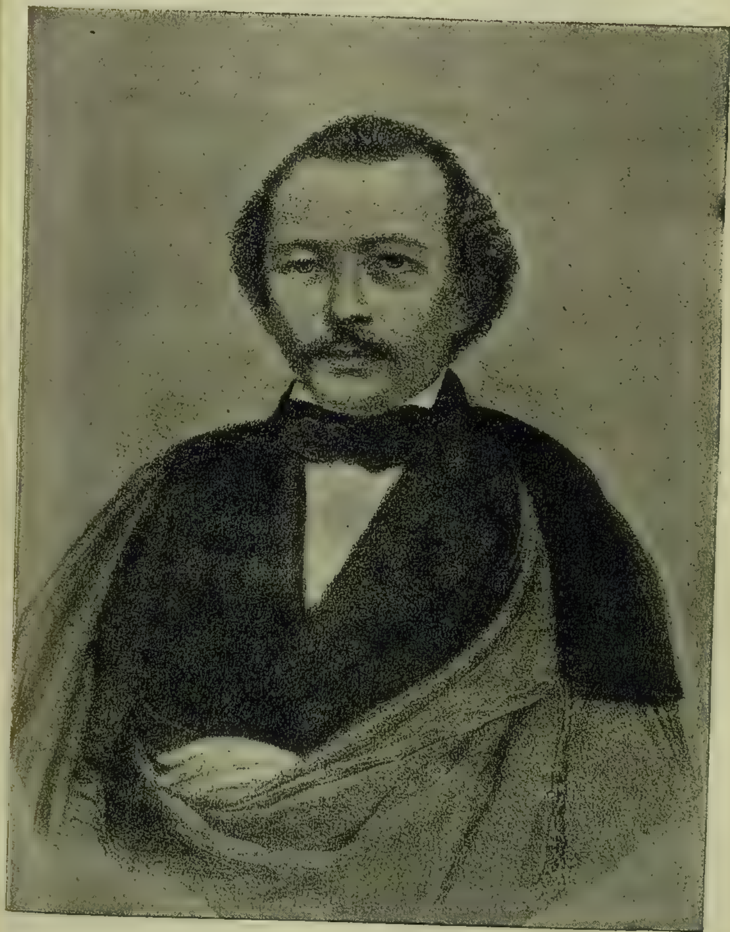
Но к сожалению существует также много молодых людей, разделяющих те же убеждения или вернее отличающихся таким же отсутствием всяких убеждений. Эти (и таких большинство) принадлежат или к аристократии, в Германии по самому существу своему политически давно умершей, или к буржуазному, торговому и чиновничьему классу. И с этими также не стоит иметь никакого дела и даже меньше, чем с первой категорией умных и опытных стариков, стоящих одной ногой в могиле: у тех хоть была по крайней мере видимость жизни, а эти с самого начала безжизненные и мертвые люди, с головою погрязшие в своих мелочных карьеристских или меркантильных интересах и совершенно поглощенные своими повседневными заботами, они не имеют ни малейшего представления о жизни и о том, что вокруг них происходит, так что если бы они в школе не слыхали кое-чего об истории и развитии человеческого духа, они наверно думали бы, что на свете всегда было то же самое, что теперь. Это — бесцветные, похожие на призраков люди; они не могут ни вредить, ни приносить пользу; нам нечего их бояться, потому что действует только живое, а так как теперь прошла мода возиться с призраками, то мы и не намерены терять на них свое время.

Но существует еще третья категория противников принципа революции: это — возникшая вскоре после Реставрации и распространившаяся по всей Европе *реакционная партия:* в политике она носит название *консерватизма,* в правоведении — *исторической школы,* а в спекулятивной науке — *позитивной философии.* С нею мы хотим поговорить. С нашей стороны было бы неле-

ностью игнорировать ее существование и действовать так, как будто бы мы не придавали ей никакого значения. Напротив мы совершенно откровенно признаем, что она повсюду теперь является правящею партиею, более того, мы готовы признать, что ее нынешнее могущество не есть игра случая, а глубоко коренится в развитии современного духа.

Я вообще не придаю случайности никакого реального значения в истории: история есть свободное, но вместе с тем необходимое развитие свободного духа. И если бы я назвал теперешнее преобладание реакционной партии случайным, то я этим оказал бы плохую услугу демократическому мировоззрению, которое основывается единственно и всецело на безусловной свободе духа. Прибегать к такому плохому и ложному успокоению было бы для нас тем опаснее, что мы к сожалению в настоящее время далеко не понимаем своего положения, и что при слишком частых ошибках в определении истинного источника наших сил или природы нашего врага мы или совершенно утрачиваем мужество, подавленные печальным зрелищем повседневности, или, что пожалуй еще хуже, предаемся необоснованному, ребяческому и бесплодному задору, так как отчаяние у живого человека долго держаться не может.

Ничто не может быть полезнее для демократической партии, чем уразумение своей временной слабости и относительной силы своих противников. Только благодаря такому уразумению она из области неопределенной фантазии вступает в действительность, в которой она должна жить, страдать и в конце концов победить. Далее благодаря этому уразумению ее одушевление становится осмотрительным и сдержанным. И только после того как демократическая партия пройдет суровую школу действительности и таким путем придет к осознанию своего святого, жреческого служения; когда она увидит из тех бесконечных трудностей, которые повсюду стоят на ее пути и которые проистекают не только из обскурантизма ее противников, как она слишком часто повидимому думает, но скорее из полноты и многообразия человеческой природы, не могущей быть исчерпанною одними абстрактно теоретическими положениями; когда она из этих трудностей познает все несовершенство всего своего теперешнего существования, а, познав ее, поймет, что враг ее находится не только вовне, но и в большей степени внутри ее самой, и что она должна начать с преодоления этого внутреннего врага; когда она убе-



М. А. Бакунин в 40-е годы.

дится в том, что демократия заключается не только в оппозиции властям предержащим, не только в каком-то особом конституционном или политико-экономическом преобразовании, но что она знаменует полный переворот всего мирового уклада и предвозвещает еще небывалую в истории совершенно новую жизнь; когда из всего этого она поймет, что демократия есть религия, когда, уразумев это, она сама станет религиозною, т. е. не только проникнутою своим принципом в мышлении и в суждениях, но и преданною ему на деле, в мельчайших проявлениях жизни, — только тогда демократическая партия действительно победит весь мир.

Этим мы хотим открыто признать, что нынешнее могущество реакционной партии не случайно, а необходимо. Оно основано не на несовершенстве демократического *принципа* (последний ведь представляет осуществляющееся в свободе равенство людей, а вместе с тем самое глубокое, общее и всеобъемлющее, словом единственно проявляющееся в истории существо духа), а на несовершенстве демократической *партии,* которая еще не пришла к аффирмативному сознанию своего принципа, а потому существует *только* как *отрицание* настоящего положения вещей. В качестве такового, в качестве только отрицания она прежде всего необходимо стоит вне целостной полноты жизни, полноты, которую она еще не может развить из своего принципа, понимаемого ею почти исключительно в отрицательном смысле. Но потому-то она и является до сих пор только партией, а еще не живою действительностью, — будущим, а не настоящим. Уже одно то, что демократы образуют только партию, и притом в силу внешних условий ее существования партию слабую, и что они в качестве только партии предполагают существование другой, им противоположной, сильной партии, уже одно это должно было бы открыть им глаза на их собственные, необходимо присущие им недостатки. По своему существу, по своему принципу демократическая партия есть всеобщее, всеобъемлющее, но по своему существованию в качестве партии она представляет нечто особое, *отрицательное,* которому противостоит другое особое, *положительное.* Все значение и вся непреодолимая сила отрицательного заключается в разрушении положительного; но вместе с положительным оно идет к гибели само, как дурное, особое и своему существу неадэкватное бытие. Демократизм существует еще не как сам по себе в своем аффирмативном богатстве, а только

как отрицание положительного, и потому он в этой несовершенной форме должен погибнуть вместе с положительным, чтобы затем из своего свободного основания воспрянуть в возрожденном виде как живая полнота самого себя. И это внутреннее перерождение демократической партии будет не только *количественным* изменением, т. е. не только расширением ее нынешнего особого и потому дурного существования, — боже упаси, подобное расширение привело бы только к всеобщему опошлению, и конечным результатом всей этой истории было бы абсолютное ничтожество, — но и *качественным* преобразованием, новым, живым и животворящим откровением, новым небом и новою землею, юным и прекрасным миром, в котором все современные диссонансы разрешатся в гармоническом единстве.

Еще менее можно помочь несовершенству демократической партии устранением односторонности ее существования в качестве партии при помощи внешнего примирения ее с положительным. Это было бы тщетною попыткою, потому что положительное и отрицательное друг с другом совершенно несовместимы. Отрицательное, поскольку оно в своем противоположении положительному берется изолированно и само по себе, ближайшим образом кажется бессодержательным и безжизненным; и эта кажущаяся бессодержательность является в то же время главным упреком, который позитивисты делают демократам. Однако этот упрек основан на недоразумении, ибо отрицательное вовсе не есть нечто изолированное, — как таковое оно было бы ничем, — оно существует лишь как противоположное положительному; вся его суть, содержание и жизненность заключаются в разрушении положительного. «Революционная пропаганда, — говорит Пентархист *, — по своей глубочайшей сути есть *отрицание* существующего государственного строя, потому что по своей внутренней природе она не имеет никакой другой программы кроме разрушения существующего». Но возможно ли, чтобы то, чья жизнь полностью сводится к разрушению, могло внешне мириться с тем, что оно по своей внутренней природе должно разрушить? Так могут думать только бездушные человечки, которым так же мало дела до отрицательного, как и до положительного **.

---

* Стр. 154 *(Примечание автора)* [1].

** Здесь кончается первая часть статьи Бакунина (в № 247).

Реакционная партия внутри себя разделяется теперь на две главные части: на чистых, *последовательных* и на непоследовательных, *склонных к соглашению* реакционеров. Первые осознают противоположение в его чистом виде; они прекрасно чувствуют, что положительное и отрицательное в такой же мере соединимы, как огонь и вода, а так как они в отрицательном не видят его аффирмативной сути и потому не могут отрицательному верить, то они делают отсюда совершенно правильный вывод, что положительное должно быть обязательно сохранено путем полного подавления отрицательного. Что они при этом не замечают, что положительное лишь постольку является *данным* положительным, ими отстаиваемым, поскольку ему противополагается отрицательное, и что следовательно в случае полной победы над отрицательным и устранения противоположения оно перестало бы быть положительным и скорее было бы завершением отрицательного, — что они этого не замечают, нужно им простить, так как слепота составляет основную характерную черту всего положительного, проницательность же составляет удел только отрицательного. Но в наше дрянное и беспринципное время, когда столь многие из трусости стараются скрыть от самих себя строгие выводы из своего собственного принципа и таким путем избежать опасности быть потревоженными в искусственном и шатком здании своих надуманных убеждений, — следует отдать справедливость этим господам. Они искренни, честны, они хотят быть цельными людьми. Много разговаривать с ними не удается, потому что они никогда не желают вступать в разумные разговоры. Им так тяжело приходится теперь, когда разлагающий яд отрицания распространился повсюду; им так трудно, даже почти невозможно удержаться на позиции чистой позитивности, что они должны отвлекаться от собственного разума и бояться самих себя, малейшей попытки доказать свои убеждения, что было бы опровержением последних. Они это хорошо чувствуют и потому ругаются там, где надо говорить. Но все же они — честные и цельные люди или вернее хотят быть честными и цельными. Как и мы, они ненавидят всякую половинчатость, так как знают, что только цельный человек хорош, и что половинчатость есть гнилой источник всякой скверны.

Эти фанатические реакционеры объявляют нас еретиками; если бы это только было возможно, они пожалуй извлекли бы

9*

из арсенала истории адское могущество самой инквизиции, чтобы пустить его в ход против нас. Они отрицают в нас наличие всего доброго и человеческого, они не видят в нас ничего другого кроме воплощенного антихриста, против которого все средства дозволены. Станем ли мы платить им тою же монетою? Нет, это было бы недостойно нас и того великого дела, орудиями коего мы являемся. Великий принцип, служению которого мы себя посвятили, дает нам между многими другими выгодами прекрасное преимущество быть справедливыми и беспристрастными, не вредя этим нашему делу. Всем, что только основано на односторонности, истина не может пользоваться даже как оружием, ибо истина и односторонность противоположны. Все одностороннее должно быть в своем проявлении пристрастным и фанатичным; его необходимым выражением является ненависть, ибо оно не может утвердиться никаким другим путем кроме насильственного подавления всех других противоположных ему и столь же, как и оно само, оправданных односторонностей. Одна односторонность уже самым своим существованием предполагает существование других односторонностей, и все же она в силу своей природы должна в целях самоутверждения исключать их. Это противоречие есть проклятие, нависшее над нею, врожденное ей проклятие, превращающее все лучшие чувства, присущие каждому человеку уже как человеку, при внешнем их проявлении в ненависть.

В этом отношении мы бесконечно счастливее. Как партия мы противостоим позитивистам и боремся с ними, а благодаря этой борьбе в нас также пробуждаются все дурные страсти. Постольку, поскольку мы сами принадлежим к партии, мы также бываем весьма часто пристрастны и неправы. Но мы — не только партия отрицания, противопоставленная позитивистам, — у нас имеется живительный источник во всеобъемлющем принципе безусловной свободы, в принципе, который также содержит в себе все то хорошее, что есть в позитивизме, и который стоит выше позитивизма, равно как выше нас самих как партии. Как партия мы ведем только политику, но в качестве таковой мы оправданы только нашим принципом; в противном случае у нас не было бы лучшего основания, чем у позитивистов, а потому мы должны хотя бы в интересах самосохранения оставаться верными нашему принципу свободы как единственному источнику нашей силы и нашей жизни, т. е. мы постоянно должны стараться под-

нять это одностороннее, чисто политическое существование до религии нашего всеобъемлющего и всестороннего принципа. Мы должны действовать не только политически, но и в нашей политике мы должны действовать религиозно, религиозно в смысле свободы, единственно истинным выражением которой являются справедливость и любовь. Да, только нам одним, ославленным как враги христианской религии, нам одним предназначено и даже вменено в высочайшую обязанность действительно выполнять даже в разгар борьбы высочайшую заповедь Христа и единственную сущность истинного христианства — любовь.

Поэтому мы хотим быть справедливыми и по отношению к нашим врагам; мы хотим признать, что они *силятся действительно* желать хорошего, более того, что они по своей природе призваны к добру, к живой жизни и только по непонятной несчастной случайности уклонились от своего предназначения. Мы говорим не о тех, кто примкнул к партии лишь для того, чтобы найти там свободное применение своим дурным страстям. К сожалению во всех партиях имеется много Тартюфов. Мы говорим только об искренних защитниках последовательного позитивизма. Последние радеют о добре, но не могут проявить сильнодейственной воли; их величайшее несчастье заключается в их внутреннем раздвоении. В принципе свободы они усматривают лишь холодную и бессодержательную абстракцию (чему немало способствовали также некоторые пустые и сухие ее защитники), абстракцию, исключающую все живое, прекрасное и святое. Они не замечают, что отнюдь не следует смешивать этот принцип с его современным дурным и чисто отрицательным проявлением, и что он может победить и осуществиться только как живое утверждение себя самого, одинаково уничтожающее как положительное, так и отрицательное. Они полагают, — это мнение к сожалению даже разделяется еще некоторыми приверженцами партии отрицания, — они полагают, что отрицательное стремится к распространению как таковое, и думают, как и мы сами, что распространение последнего привело бы к опошлению всего духовного мира. В то же время непосредственность их чувства внушает им вполне справедливое стремление к живой, полной жизни, а так как в отрицательном они видят лишь опошление этой последней, то они возвращаются к прошлому, к тому прошлому, какое существовало до возникновения противоположности между положительным и отрицательным. Они правы постольку, по-

скольку это прошлое действительно представляло некую живую цельность и как таковое представляется теперь более жизненным и богатым, чем разорванное настоящее. Но их большая ошибка заключается в допущении, что они смогут восстановить теперь это прошлое в его былой жизненности; они забывают, что минувшая цельность им самим может ныне представляться не иначе как в разлагающем и расщепляющем отражении современной, неизбежной и из нее самой возникшей противоположности; они забывают, что эта цельность в качестве положительного есть бездушный, т. е. преданный механическому и химическому процессу рефлексии труп самой себя. Как приверженцы слепого позитивизма они этого не понимают, но как живые по природе люди они очень хорошо ощущают этот недостаток жизненности. А так как они не знают, что уже по одному тому, что они — позитивисты, в них самих есть нечто от отрицательного, то они и сваливают всю вину за этот недостаток жизненности и всю тяжесть своего стремления к жизни и истине, превратившегося благодаря их бессилию доставить себе удовлетворение в ненависть, на отрицательное начало. Таков неизбежный внутренний процесс в каждом последовательном позитивисте, и потому-то я и говорю, что они действительно достойны сожаления, так как источник их стремлений почти всегда чист.

Позитивисты-соглашатели занимают совершенно другую позицию. От последовательных позитивистов они с одной стороны отличаются тем, что будучи больше их подвержены современной болезни рефлексии, они не только не отвергают безусловно отрицательного начала, как абсолютное зло, но даже признают за ним условное, временное право на существование; а с другой стороны тем, что они не обладают такою же энергическою чистотою, чистотою, к которой последовательные позитивисты по крайней мере стремятся, и которую мы признали признаком полной, цельной и честной натуры. Точку же зрения соглашателей мы наоборот можем определить как позицию *теоретической нечестности*, я говорю «теоретической», так как старательно избегаю всякого конкретного, личного обвинения и не верю, чтобы личная злая воля могла с действительным успехом задерживать развитие духа, хотя приходится сознаться, что теоретическая нечестность по необходимым свойствам своей природы почти всегда переходит в практическую.

Позитивисты-*соглашатели* умнее и проницательнее последо-

вательных. Они — умницы, теоретики par excellence и постольку они являются главными представителями современности. Мы могли бы применить к ним то, что в начале июльской революции было сказано одним французским журналом по поводу «juste milieu»*: «правая сторона говорит: дважда два = четыре, левая — 2 × 2 = 6, а «juste milieu» говорит 2 × 2 = 5» **. Но они пожалуй обидятся на нас за это; а потому попробуем исследовать их темную и сложную сущность самым серьезным образом и с глубочайшим почтением перед их мудростью. Но с ними справиться гораздо труднее, чем с последовательными позитивистами. Последние обладают практическою энергиею своих убеждений; они знают, чего хотят, и открыто высказывают это; подобно нам они ненавидят всякую неопределенность, всякую неясность, ибо в качестве практически энергичных натур могут свободно дышать только в чистом и прозрачном воздухе. С соглашателями же дело совершенно особого рода; они хитры, о, они умны и мудры! Никогда не дадут они практическому порыву к истине разрушить затейливую постройку своих теорий; они слишком умны, слишком опытны, для того чтобы сочувственно прислушаться к повелительному голосу простой, практической совести. С высоты своих умозрений они с важностью взирают на нее сверху вниз, и когда мы говорим, что только простое истинно и реально, ибо единственно оно способно творчески действовать, они напротив утверждают, что истинно только сложное, так как им стоило величайшего труда сварганить это сложное, и так как оно является единственным признаком, по которому их, умных людей, можно отличить от глупцов и необразованной черни. С ними очень трудно справиться уже по тому одному, что они всё знают, ибо они, эти мировые мудрецы, считают для себя непростительной слабостью приходить от чего-либо в смущение, ибо они со своею рефлексиею обшарили все уголки физического и духовного мира и после этого долгого утомительного идейного путешествия пришли к убеждению, что реальный мир не заслуживает труда, чтобы вступить с ним в действительно живое соприкосновение. С этими людьми трудно до чего-либо толком договориться, потому что они подобно немецким конституциям правою рукою отнимают то, что дают левою. Никогда они не

* Золотая середина.

** Слова в кавычках по-французски в оригинале.

отвечают «да» или «нет», а говорят: «до *известной степени* вы правы, *однако, но*.......», когда им уже совершенно нечего сказать, они заявляют: «Да, это — особь статья».

И все же мы хотим попробовать договориться с ними. Партия соглашателей, несмотря на свою внутреннюю бессодержательность и на свою неспособность что-либо произвести из себя, является сейчас могучею, пожалуй самою могучею партиею. Само собою разумеется, что она обязана этим только своей численности, а не своему внутреннему содержанию. Она — одно из самых важных знамений времени, а потому нельзя ее игнорировать или обходить *.

Вся ее мудрость состоит в утверждении, что два противоположные направления уже как таковые являются односторонними, а потому и неверными. А когда оба члена противоположения, взятые абстрактно сами по себе, неверны, то истина должна лежать посредине между ними, а потому для получения истины нужно объединить их друг с другом. С первого взгляда это рассуждение кажется неопровержимым. Ведь мы сами согласились с тем, что начало отрицательное, поскольку оно противополагается положительному и при этом противоположении замкнуто в себе, является односторонним. Но разве отсюда не следует с необходимостью, что оно находит свое существенное дополнение и завершение в положительном начале? И не правы ли соглашатели, когда хотят объединить положительное с отрицательным? Да, правы, если слияние возможно; но возможно ли оно в действительности? Разве не в разрушении положительного заключается все значение отрицательного? Если соглашатели обосновывают свою точку зрения на природе противоположения, а именно ссылаются на то обстоятельство, что две противоположные односторонности взаимно предполагают друг друга как таковые, то они должны признать эту природу и считаться с нею во всем ее объеме. Они должны сделать это ради последовательности, чтобы остаться верными себе самим и своей точке зрения везде, так как благоприятная им сторона противоположения неразрывно связана с неблагоприятною для них его стороною. А эта неблагоприятная сторона заключается в том, что предположение одного члена противоположения другим имеет не положительный, а *отрицательный*, разрушительный характер. Этих

* Здесь кончается вторая часть статьи (в № 248).

господ надлежит отослать к Логике Гегеля, где так хорошо изложена категория противоположения.

Противоположение и его имманентное развитие составляют один из главных узловых пунктов всей гегелевой системы, а так как эта категория является главною категориею, господствующею чертою нашего времени, то и Гегель безусловно является величайшим философом современности, высочайшею вершиною нашего современного односторонне *теоретического* образования. Более того, именно в качестве этой вершины, именно потому, что он понял и таким образом разрешил эту категорию, именно потому он является также началом необходимого саморазрешения современного образования. В качестве такой вершины он уже перерос теорию (сначала конечно в пределах самой теории) и постулировал новый практический мир, мир, который никоим образом не будет рожден путем формального приложения и распространения готовых теорий, а будет создан только самобытною работою практического автономного духа. Противоположение составляет внутреннюю суть не только всех определенных, особых теорий, но и теории вообще, а потому момент постижения теории есть вместе с тем и момент ее завершения; завершение же ее есть ее саморазрешение в самобытный и новый практический мир, в действительное царство свободы. Здесь однако еще не место для подробного развития этой мысли, а потому обратимся вновь к выяснению логической природы противоположения.

Противоположение само по себе, как объемлющее оба свои односторонние члена, целостно, абсолютно, истинно. Его нельзя упрекнуть в односторонности и неизбежно связанных с нею поверхностности и бедности, так как в нем содержится и отрицательное и положительное, и так как оно в качестве всеобъемлющего есть цельная, абсолютная, ничего вне себя не имеющая полнота. Это обстоятельство дает соглашателям право требовать, чтобы не хвататься только за один из обоих односторонних членов, а брать их в их необходимой связи, в их неразрывности, как нечто цельное: только противоположение истинно, говорят они, а каждый из его противопоставленных членов, взятый сам по себе, односторонен и потому неверен; следовательно, чтобы овладеть истиною, мы должны брать противоположение в его цельности. Но тут-то и начинается трудность. Противоположение действительно есть истина; но оно существует не как

таковое, оно проявляется не как эта цельность; оно есть лишь в себе сущая, скрытая цельность, а его существование именно и есть противоречащее себе раздвоение обоих его членов — положительного и отрицательного. Противоположение как целостная истина есть неразрывное единство простоты и самораздвоения в одном; это — его в себе существующая, скрытая, а вместе с тем его ближайшим образом непостижимая природа, и именно потому, что единство это — скрытое, противоположение существует также односторонне только как раздвоение его членов; оно проявляется лишь как положительное и отрицательное, а эти последние взаимно столь решительно исключают друг друга, что это их взаимоисключение и определяет целиком их природу. Но как же тогда понимать цельность противоположения? Здесь повидимому могут представиться два выхода. Или надо сознательно отвлечься от раздвоения и обратиться к простой, предшествовавшей раздвоению противоположения цельности, но это невозможно, потому что непостижимое однажды остается непостижимым, и потому что противоположение как таковое непосредственно существует только как раздвоение и вне него не существует. Или попытаться по-امатерински помирить противоположные члены: в этом и состоит все стремление соглашательской школы. Посмотрим, удается ли им это в действительности.

Положительное представляется на первый взгляд застывшим, неподвижным; оно только потому и является положительным, что оно без помехи покоится в себе и не имеет в себе самом ничего такого, что могло бы его отрицать, только потому, что внутри его самого не происходит никакого движения, ибо всякое движение есть отрицание. А положительное является как раз таким, в котором заложена неподвижность как таковая; таким, которое мыслится как абсолютная неподвижность. Но мысль о неподвижности неразрывно связана с мыслью о движении или вернее обе они составляют одну и ту же мысль. И таким образом положительное, абсолютный покой является положительным лишь по отношению к отрицательному, абсолютному непокою. Положительное внутри самого себя отнесено к отрицательному как к своему собственному живому определению. Таким образом положительное имеет двоякое положение относительно отрицательного: с одной стороны, оно покоится в самом себе и в этом апатическом покое ничего в себе от отрицательного начала не имеет; но с другой стороны и именно благодаря

этой неподвижности оно, как нечто в самом себе противополагаемое отрицательному, деятельно исключает из себя отрицательное; но эта работа исключения есть движение, и таким образом положительное как раз благодаря своей положительности становится само в себе не положительным, а отрицательным: исключая из себя отрицательное, оно исключает себя из самого себя и само толкает себя к гибели.

Следовательно положительное и отрицательное не равнозначащи, как полагают соглашатели; противоположение есть не равновесие, а *перевес* отрицательного, которое составляет его преобладающий момент. Отрицательное, как определяющее жизнь самого положительного, содержит в себе одном цельность противоположения, а потому является абсолютно правомочным. Как, быть может, спросят меня, разве Вы сами не признали, что отрицательное, взятое абстрактно само по себе, столь же односторонне, как и положительное, и что распространение его в его современной несовершенной форме означает опошление всего мира? Да, но я говорил только о современной форме существования отрицательного, об отрицательном, поскольку оно, будучи исключено положительным, неподвижно замыкается в себе и таким образом само становится положительным. В такой форме оно также отрицается положительным, и последовательные позитивисты логически выполняют священную обязанность, когда отвергают существование отрицательного, его спокойное замыкание в себе. Но они не ведают, что говорят. Они думают, что отрицают отрицательное, но на самом деле они отрицают его лишь постольку, поскольку оно само становится положительным; они пробуждают отрицательное из филистерского покоя, к которому оно не предназначено, и возвращают его к его великому призванию — безостановочному и безоглядному разрушению всего положительно-установленного.

Мы согласны с тем, что положительное и отрицательное равноценны, когда последнее спокойно и эгоистично замыкается в себе и таким образом само себе изменяет; но отрицательное начало не должно быть эгоистичным, оно должно с любовью отдаться положительному, для того чтобы поглотить его, и в этом религиозном, полном веры, жизненном деле разрушения выявить неисчерпаемую и чреватую будущим глубину своей природы. Положительное отрицается отрицательным и наоборот отрицательное отрицается положительным, — что же в обоих общего и что

выше их обоих? Отрицание, толкание к гибели, страстное уничтожение положительного, даже если последнее пытается хитро укрыться под личиною отрицательного. Только в качестве такого безоглядного отрицания отрицательное имеет право на существование и как таковое оно получает абсолютное оправдание, ибо в качестве такового оно является делом даже в противоположении незримо присутствующего практического духа, который с помощью этой разрушительной бури властно зовет к покаянию грешные души соглашателей и возвещает свое близкое пришествие, свое близкое откровение в истинно-демократической и всемирно-человеческой церкви свободы.

Это саморазрешение положительного есть единственно возможное сочетание положительного с отрицательным, ибо оно-то и есть имманентное, цельное движение к энергии самого противоположения, а потому всякий другой способ объединения этих начал является произвольным, и всякий, кто стремится к любому другому способу, этим только доказывает, что он еще не проникся духом времени и потому или глуп или беспринципен, ибо признать умным и нравственным можно только того человека, который всецело предается этому духу и проникнут им. Противоположение цельно и истинно; против этого не возражают и соглашатели; а как цельное оно насквозь жизненно, и энергия его всеобъемлющей жизненности состоит, как мы только что видели, именно в этом беспрестанном самосожжении положительного в чистом пламени отрицательного.

Что же делают теперь соглашатели? Они во всем с нами соглашаются и подобно нам признают цельность противоположения, но только они отнимают или вернее пытаются отнять у последнего его движение, его жизненность, всю его душу, так как жизненность противоположения есть практическая, с их половинчатыми и бессильными душонками несовместимая, но именно потому возвышающаяся над всеми их попытками задушить ее сила. Положительное, как мы сказали и доказали, взятое само по себе, не имеет права на существование; оно приобретает его лишь в той мере, в какой оно отрицает покой отрицательного, его замыкание в себе самом, в какой оно безусловно и решительно исключает из себя отрицательное и этим поддерживает его деятельность, в какой оно само превращается в действенное отрицательное начало. Эту действенность отрицания, до которой возвышаются даже позитивисты под влиянием непреодолимой

силы противоположения, незримо присутствующей во всех живых натурах и которая одна дает им право на существование и служит единственным признаком их жизненности, эту-то действенность отрицания и хотят запретить им соглашатели. По какому-то странному и непонятному злому року или вернее по вполне понятному злому року своей практической беспринципности, своей практической импотентности они признают в позитивистах как раз то, что в них мертво, гнило и достойно только уничтожения, и отвергают в них все, что составляет всю их жизненность: живую борьбу с отрицательным, живое присутствие в них противоположения *.

Они говорят позитивистам: «Господа, вы правы, охраняя прогнившие и высохшие остатки старины; так хорошо и приятно живется в этих развалинах, в этом противном разуму мире рококо, воздух которого в такой же мере полезен нашему чахлому духу, как воздух стойла для чахоточного организма; что касается нас, то мы с величайшей радостью устроились бы в вашем мире, в мире, в котором не разум и не разумные определения человеческой воли, а длительное существование и косность являются мерилом истины и святости и в котором согласно этому принципу Китай с его мандаринами и бамбуковыми палками должен признаваться абсолютною истиною! Но что же делать, господа? Настали плохие времена, и наши общие враги, отрицатели, отвоевали очень много места; мы ненавидим их так же, как и вы, а может быть даже и больше, ибо они в своей развязности позволяют себе нас презирать; но они стали сильны, и с ними волей-неволей приходится считаться, чтобы не быть ими совершенно уничтоженными. Не будьте же такими фанатиками, господа, предоставьте им небольшое местечко в вашем обществе: что вы потеряете, если они займут в вашем историческом музее место некоторых в прежнее время весьма почтенных, а *нынс* совершенно развалившихся руин? Поверьте нам, что они будут совершенно осчастливлены честью, которую вы им этим окажете, и станут вести себя в вашем почтенном обществе очень спокойно и скромно; ведь в конце концов это — только молодые люди, которые озлоблены нуждою и недостатком обеспеченного существования ** и только потому так кричат и шумят, что надеются

---

* Здесь кончается третья часть статьи Бакунина (в № 249).

** См. мнение, высказанное Маргейнеке в деле Бруно-Бауэра, стр. 86[2].

таким путем приобрести известный вес и создать себе выгодное положение в обществе».

Затем они обращаются к отрицателям и говорят им: «Стремления ваши благородны, господа! Мы понимаем ваше юношеское воодушевление чистыми принципами и питаем к вам величайшую симпатию. Но, верьте нам, чистые принципы в их чистоте неприменимы в жизни; жизнь требует некоторой доли эклектизма; свет не поддается такой переделке, какую вы хотите ему придать; надо кое-что уступить ему, чтобы получить возможность на него воздействовать, — иначе вы совершенно скомпрометируете свое положение в нем». И как о польских евреях рассказывают, что они во время последней польской войны старались одновременно служить обеим боровшимся сторонам, как русским, так и полякам, и вешались теми и другими, так хлопочут эти горемыки вокруг невыполнимого дела внешнего примирения и в благодарность добиваются презрения со стороны обеих партий. Жаль только, что наше время слишком слабо и неэнергично, чтобы применить к ним закон Солона!

Все это фразы, возразят мне; соглашатели — в большинстве случаев почтенные и научно-образованные люди; между ними есть много всеми уважаемых и высокопоставленных личностей, а вы представили их людьми без ума и без убеждений. Но что же я могу поделать, если это действительно так? Я не хочу никого задевать лично; внутренний мир каждого индивидуума — для меня неприкосновенная святыня, нечто безмерное, о чем я никогда не позволю себе судить. Этот внутренний мир может для самого индивидуума иметь бесконечную ценность, но для света он действительно имеет ценность лишь постольку, поскольку он проявляется во-вне, и имеет лишь такую ценность, какую проявляет. Каждый человек есть действительно только то, чем он бывает в действительном мире, и не могу же я называть черное белым.

Да, возразят мне, вам их стремления кажутся черными или вернее серыми; на деле же они хотят и имеют единственной целью только прогресс, которому они способствуют гораздо больше вас самих, так как они подходят к делу разумно, а не самонадеянно подобно демократам, желающим перевернуть весь мир. Но мы видели, что представляет этот мнимый прогресс, к которому стремятся соглашатели; мы видели, что он является не чем иным как удушением единственно живого принципа нашей и без

того бедной современности, удушением творческого и многообещающего принципа разрешающего движения. Они так же ясно, как и мы, видят, что наше время есть время противоположения; они соглашаются с нами, что это — дурное, в самом себе разорванное состояние, но вместо того чтобы, доведя его до конца, помочь ему перейти в новую, аффирмативную и органическую действительность, они хотят путем бесконечного постепенства навеки сохранить его, это в его нынешнем существовании столь убогое и чахоточное состояние. И это есть прогресс? Они говорят позитивистам: «Сохраняйте старое, но одновременно позвольте отрицателям постепенно разрушать его», отрицателям же они говорят: «Разрушайте старое, но не сразу и не совсем, чтобы у вас всегда оставалось какое-нибудь дело», т. е. «оставайтесь каждый в своей односторонности, а мы, избранные, сохраним наслаждение цельностью для себя» — жалкая цельность, какою могут удовольствоваться только нищие духом! Они отнимают у противоположения его движущую, практическую душу и радуются тому, что могут расправляться с ним по произволу. Великое нынешнее противоположение для них является вовсе не практическою силою современности, которой бесповоротно должен отдаться каждый живой человек, если он хочет остаться живым, а только теоретическою забавою. Они не проникнуты современным практическим духом, а потому они — безнравственные люди. Да, они, столь бахвалящиеся своею моральностью, являются безнравственными людьми, потому что нравственность вне блаженнотворящей церкви свободного человечества невозможна. Им нужно повторить то, что Апокалипсис говорил современным ему соглашателям:

«Знаю твои дела; ты ни холоден и ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч!

«Но как ты тепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих.

«Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг».

Но, скажут мне, не возвращаетесь ли Вы с вашими раздельносуществующими крайностями к абстрактной точке зрения, давно преодоленной Шеллингом и Гегелем? Разве этот так высоко Вами ценимый Гегель не сделал сам весьма важного замечания о том, что в чистом свете так же плохо видно, как и в аб-

солютной темноте, и что только конкретное единство обоих делает возможным зрение? И разве великая заслуга Гегеля не состоит как раз в доказательстве того, что каждое живое существо лишь потому жизненно, что его отрицание находится не вне его, а в нем как имманентное условие жизни, и что если бы оно было только положительно и имело отрицание вне себя, то оно было бы неподвижно и безжизненно? Все это, господа, я знаю прекрасно! Я согласен с вами, что например живой организм только потому и жизненен, что носит в себе зародыш своей смерти; но если вы хотите цитировать мне Гегеля, то цитируйте его полностью. Тогда вы увидите, что отрицание остается условием жизни данного организма лишь до тех пор, пока оно находится в нем как определенный момент в его цельности, но что в известном пункте постепенное действие отрицания внезапно прекращается, так что последнее превращается в самостоятельный принцип, и этот момент есть смерть данного организма, момент, который в философии Гегеля характеризуется как переход природы в качественно новый мир, свободный мир духа.

То же повторяется и в истории: принцип свободы в теории давал о себе знать например в католическом мире с самого начала его существования; принцип этот был источником всех ересей, которыми так богат был католицизм. Но без этого принципа католицизм был бы инертен, и таким образом этот принцип был вместе с тем принципом его жизненности, но лишь до тех пор, пока он оставался просто элементом в цельности католицизма. Отсюда постепенно зарождался и протестантизм; начало его относится к началу самого католицизма; но в один прекрасный момент эта постепенность оборвалась, и принцип теоретической свободы вырос в самостоятельный, независимый принцип. И только тут противоположение сказалось во всей чистоте, и вы, господа, вы, называющие себя протестантами, очень хорошо знаете, что ответил Лютер соглашателям его времени, когда они предложили ему свои услуги.

Вы видите, что мой взгляд на природу противоположения не только логически верен, но подтверждается и историческими фактами. Но я знаю, что вам никакими доказательствами не поможешь, потому что вы в своей безжизненности ни за какое другое дело не беретесь так охотно, как за переделку истории посвоему. Недаром вас прозвали сухими правщиками!

«Мы еще не разбиты, — быть может ответят соглашатели,—

все, что Вы говорите о противоположении, — верно; только в одном мы с Вами согласиться не можем, а именно в том, что в наше время дела обстоят так скверно, как Вы утверждаете; конечно в настоящее время есть много противоположений, но они вовсе не так опасны, как Вы уверяете. Взгляните, везде спокойно, повсюду движение улеглось. Никто не помышляет о войне, и большинство народов и живущих ныне людей напрягают все свои силы, чтобы сохранить мир, ибо они хорошо знают, что материальные интересы, которые повидимому стали теперь главным делом политики и общей культуры, без мира не получат удовлетворения. Сколько представлялось серьезных поводов к войне и к ниспровержению существующего порядка, начиная со времени июльской революции и до наших дней! На протяжении этих 12 лет создавались такие запутанные положения, что трудно было ожидать их мирного разрешения, бывали такие минуты, когда всеобщая война была как будто неизбежна, и когда нам угрожали страшные бури, — все же постепенно все трудности разрешались, все оставалось спокойным, и мир повидимому навсегда снизошел на землю!» *

Мир, — говорите вы; да, что только называть миром! Я же напротив утверждаю, что еще никогда противоположения не выступали в такой резкой форме, как сейчас, что вечное противоположение, остающееся всегда одним и тем же во все времена, но только все более усиливающееся и развивающееся на протяжении истории, противоположение свободы и несвободы в наше время, столь сходное с критическими периодами языческого мира, дошло и поднялось до своего последнего и высшего предела. Разве вы не читали на фронтоне воздвигнутого революцией храма свободы таинственных и страшных слов: Liberté, Egalité и Fraternité **, и неужели вы не знаете и не чувствуете, что эти слова означают полное уничтожение существующего политического и социального строя? Разве вы ничего не слыхали о бурях революции, и разве вы не знаете, что Наполеон, этот мнимый укротитель демократизма, в качестве достойного сына революции распространил победоносною рукою ее нивелирующие принципы по всей Европе? Не слыхали ли вы, быть может, кое-чего о Канте, Фихте, Шеллинге и Гегеле и неужели вы действитель-

* Здесь кончается четвертая часть статьи Бакунина (в № 250).
** Свобода, равенство и братство.

но ничего не знаете о философии, выдвинувшей в интеллектуальном мире тот же нивелирующий, революционный принцип и принцип автономии духа, и неужели вы не понимаете, что этот принцип находится в глубочайшем противоречии со всеми ныне существующими положительными религиями, со всеми современными церквами?

«Да,—ответите вы мне, — все эти противоречия отошли уже в область истории; революция в самой Франции побеждена мудрым правлением Луи-Филиппа, а новейшая философия недавно преодолена одним из ее величайших основоположников, самим Шеллингом. Противоречие ныне разрешено повсюду, во всех областях жизни». И вы действительно верите в это разрешение, в это преодоление революционного духа? Что же вы слепы и глухи, и не видите и не слышите того, что вокруг вас происходит? Нет, господа, революционный дух не побежден; он только снова ушел в себя, после того как его первое появление потрясло весь мир в его основаниях; он только углубился в себя, чтобы затем вскоре снова проявиться в качестве аффирмативного, творческого принципа и, если мне дозволено будет употребить здесь выражение Гегеля, роется теперь как крот под землею; а что он трудится не напрасно, это вы можете увидеть по тем обломкам, которыми покрыта наша религиозная, политическая и социальная почва. Вы говорите о разрешении, о примирении! Оглянитесь только вокруг и скажите мне, что́ уцелело от старого католического и протестантского мира? Вы говорите о преодолении принципа отрицания! Но разве вы ничего не читали из *Штрауса, Фейербаха, Бруно Бауэра* и не знаете, что их сочинения находятся во всех руках? Разве вы не видите, что вся немецкая литература, книги, брошюры, газеты, даже сочинения позитивистов бессознательно и невольно проникнуты этим духом отрицания? И это вы называете примирением и спокойствием!?

Вы хорошо знаете, что человечество, следуя своему высокому назначению, может умиротвориться и успокоиться только на универсально-практическом принципе, принципе, который мощно включает в себя тысячекратно различные проявления духовной жизни. Но где же этот принцип, господа? Ведь и вам в течение вашей иначе столь печальной жизни тоже приходится переживать живые, человеческие минуты, такие минуты, когда вы отбрасываете пошлые мотивы своей повседневной жизни и тянетесь

к истине, к великому, к святому. Ответьте же мне откровенно, положа руку на сердце, нашли ли вы где-нибудь что-либо живое? Обрели ли вы среди окружающих нас обломков тот страстно желанный мир, где вы могли бы целиком отречься от себя и вновь возродиться в этом великом общении со всем человечеством? Может быть, этим миром является для вас протестантизм? Но он отдан во власть ужасающей анархии; на какие только враждующие секты он не распался! «Без великого всеобщего энтузиазма могут существовать только секты, но никак не общественное мнение», — говорит Шеллинг, а современный протестантский мир как небо от земли далек от проникновения этим всеобщим энтузиазмом, это — самый трезвенный мир, какой только можно себе представить! Может быть, искомым миром является католицизм? Но где его былое великолепие? Разве не превратился он, некогда царивший над миром, в послушное орудие чуждой ему, безнравственной политики? Или, может быть, вы готовы успокоиться на современном государстве? Да, уж действительно это было бы замечательное успокоение! Государство раздирается сейчас глубочайшими внутренними противоречиями, так как государство невозможно без религии, без сильного общего всем настроения. Если вы хотите в этом убедиться, взгляните только на Англию и Францию; о Германии же я и говорить не хочу.

Загляните наконец в самих себя, господа, и скажите мне откровенно, довольны ли вы сами собою и можете ли вы быть собою довольны? Разве сами вы без исключения не представляете печальное и убогое явление нашего печального и убогого времени? Разве вы не исполнены противоречий? Разве вы цельные люди? Верите ли вы во что-нибудь искренно? Знаете ли вы, чего вы хотите, и можете ли вы вообще хотеть? Разве современная рассудочность, эта чума нашего времени, оставила в вас хоть одно живое место, и разве вы не проникнуты ею насквозь, не парализованы, не изломаны ею? В самом деле, господа, вы должны признать, что наше время — печальное время, а все мы — еще более печальные его дети!

Но с другой стороны вокруг нас появляются признаки, возвещающие нам, что дух, этот старый крот, уже выполнил свою подземную работу, и что скоро он явится вновь, чтобы держать свой суд. Повсюду, особенно во Франции и в Англии, образуются социалистически-религиозные союзы, которые, оставаясь совершенно чуждыми современному политическому миру, по-

черпают свою жизнь из совершенно новых, нам неизвестных источников и развиваются и расширяются в тиши. Народ, бедный класс, составляющий без сомнения большинство человечества, класс, права которого уже признаны теоретически, но который до сих пор по своему происхождению и положению осужден на неимущее состояние, на невежество, а потому и на фактическое рабство, — этот класс, который собственно и есть настоящий народ, принимает везде угрожающее положение, начинает подсчитывать слабые по сравнению с ним ряды своих врагов и требовать практического приложения своих прав, уже всеми признанных за ним. Все народы и все люди полны каких-то предчувствий, и всякий, чьи жизненные органы еще не парализованы, смотрит с трепетным ожиданием навстречу приближающемуся будущему, которое произнесет слово освобождения. Даже в России, в этом беспредельном, покрытом снегами царстве, которое мы так мало знаем, и которому может быть предстоит великая будущность, — даже в России собираются мрачные, предвещающие грозу, тучи! О, воздух душен, он чреват бурями!

И потому мы взываем к нашим заблудшим братьям: покайтесь! покайтесь! царство божие близко!

Позитивистам мы говорим: «Откройте ваши духовные очи, предоставьте мертвецам погребать своих мертвых и убедитесь наконец, что духа вечно-юного, вечно-рождающегося нечего искать в обрушившихся развалинах!» А соглашателей мы увещеваем раскрыть свои сердца для истины и освободиться от своей убогой и слепой мудрости, отказаться от своего теоретического высокомерия и холопского страха, который сушит их души и парализует их движения.

Дайте же нам довериться вечному духу, который только потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечно-созидающий источник всякой жизни. Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть!

Жюль Элизар.

№ 449. — Письмо родным.

1842 [года]. Дрезден. 4-го ноября.

Паша и Тургенев уехали. Завтра я пошлю это письмо в Берлин, где они пробудут три дня. Простившись с ним, я еще

раз — да, в последний раз — простился с вами, с Прямухиным, с Россиею, со всем прошедшим. Паша был для меня последним отголоском моего родного, милого прямухинского мира. Этот отголосок замолк; его и вас нет более подле меня. Прощайте, прощайте. Меня окружают только чужие лица, я слышу только чужие звуки; замолк родной голос. Да, я не знал, что я так люблю его, я не знал, что я еще так к вам привязан. Пишу вам да плачу, плачу как ребенок. Это — слабость, но я не стану скрывать ее от вас; я так давно не мог говорить с вами. Отъезд Павла разрушил кору, покрывавшую мое сердце, я опять чувствую вас в себе, чувствую для того, чтобы в последний раз, навсегда с вами проститься. Да, я хочу говорить теперь — может быть, это мое последнее слово к вам, может быть, завтра, послезавтра сердце мое снова почерствеет, и я не буду в силах вызвать из него живого звука. Мне нужно было остаться совершенно одному, чтобы плакать; прежде я не знал, что такое слезы. Только уезжая из Казицина *, плакал я, как теперь плачу. Да, я уверен, это — мои последние слезы, мне нечего более терять. Я все потерял, со всем простился, — прощайте, друзья, прощайте.

Проводив их до железной дороги, я возвратился домой и стал ходить и думать, и вся прошедшая прямухинская жизнь возобновилась в душе моей. Вы все во мне ожили, впродолжение каких-нибудь двух часов вся наша общая жизнь пронеслась передо мною так живо, что я видел, слышал вас всех. Милые друзья, еще раз прощайте. Мне так было грустно, что несколько раз я желал смерти. Видите ли, какой я слабый. Отдайте мне Павла, посмотрите на него, поживите с ним и отдайте мне его. Пусть возвратится он будущею весною. Ведь вас много вместе, а я — один. Мне Павел нужен и, знаю, я ему также нужен. Он не может жить без меня, он меня любит более, чем вы все; он привык читать в моем сердце. Один я очерствею совсем. Видите ли, я слаб, я прошу вас как женщина, потому что в эту минуту я слаб как женщина. Это пройдет, я знаю, пройдет скоро; но пройдет только как выражение, а никогда не пройдет как самая внутренняя сущность моего сердца.

Но полно; пора успокоиться, а то ведь вы будете иметь о моей твердости худое мнение. Прощайте, милые друзья, дайте мне руки ваши, и ты, Танюша, и ты, Саша, и ты, Варинька, полно

* В 1828 году.

сердиться, дай руку, ведь это в последний раз, на прощание. Дайте руки и вы, братья, простите мне всё, в чем я был против вас виноват, все мои несправедливости, оскорбления. Позабудьте все это, но не позабывайте меня, не позабывайте брата, который всегда был вам предан всем сердцем и всей душою и который вас оставляет потому, что он должен это сделать, должен для того, чтобы не изменить самому себе. Вы не можете себе вообразить, как мне странно, что Павел уехал — он так сросся со мною; я не знал еще, как я привык беспрестанно видеть и слышать его. Прощайте и Вы, Natalie *, ведь Вы также моя сестра, ведь наши судьбы были также неразрывно связаны; мы много пережили друг с другом. Я посылаю Вам крест: пусть будет он стоять в Вашей комнате, на Вашем столе, пусть напоминает он Вам меня и мои пророчества Вам и себе; ведь я также ношу крест, вы не знаете, как страшно то, на что я решился: я обрек себя на вечное одиночество и сиротство; дайте же и Вы мне руку на прощанье, мы с Вами также вероятно никогда не увидимся. Милые друзья, пришлите мне свои портреты; брат Александр нарисует их: он, говорят, — мастер. Александр, нарисуй пожалуйста, — это будут твои письма ко мне. Я вам посылаю мой портрет — пусть будет он принадлежать вам всем, а *особенно Танюше*.

Вот я теперь и чай пью, а Павла нет со мной; а мы бывало сидим вместе на диване и набиваем друг другу трубочки, а теперь я сам должен набивать, ou bien je suis obligé de le faire par les mains mercenaires de mon domestique **.

Милая Танюша, повесь мой портрет в своей комнате, я для тебя нарисовал его. Может быть, он оживит меня в твоем сердце. Признайтесь, друзья, ведь я для вас стал тенью, о которой вы ничего не знаете. Портрет мой и рассказы Павла оживят меня для вас; Варинька не могла этого сделать, потому что она меня совсем не знала и теперь не знает.

Помните ли вы, как мы раз осенью поздним вечером представляли картины на заборе между Лопатиным и Мытницкою рощею? Помните ли вы, как пролетела стая журавлей? Теперь я в той стороне, куда от вас журавли летают. Помните ли наши прогулки к Мытницкой роще? Ходили ли вы по моей любимой

---

* Наталья Беер.

** *Или же я принужден делать это наемными руками своего слуги.*

дороге нынешним летом? Что мое дерево в маленькой роще? Там мы раскладывали огонь весною на страстной неделе. Любаша уже была больна и близка к смерти, — она приехала к нам на дрожках. Несколько дней по тому я рано поутру поехал в Москву, и вы проводили меня за мост, до берез, которые растут против маленькой рощи, налево от большой дороги, подле известной ямы. После этого я привез вам Лангера и Поля *. Тут началось твое освобождение, Варинька, но ты не освободилась еще. Потом ты уехала, Любаша умерла, и первый акт кончился. Второй акт так грустен, что я не хочу вспоминать о нем. А потом я уехал. Боже мой, как разрывалось мое сердце, когда я прощался с папенькой, как грустно было мне покидать нашего бедного святого старика, который хотел нашего счастья, но испортил жизнь нашу, испортил ее потому, что в нем недостало веры в свои собственные убеждения. Теперь я совершенно исключен из его сердца; если б он знал, как я люблю его. Берегите его, друзья: он — страдалец, он был достоин лучшего жребия. Потом уехали мы все вместе в Казицино; и потом, помните, сестры, как мы вечером прощались? Чувствовали ли вы, что мы с вами никогда более не увидимся? Помнишь, Алеша, как мы поздно вечером ехали втроем в Торжок, ехали да плакали, а малиновка пела в кустах? С тобой, Алексей, мы еще увидимся. Я знаю, ты любишь меня, ты не позабыл меня. Я знаю, ты будешь живым человеком, перед тобой лежит большая, широкая...

(Здесь недостает части письма.)

... мне предстоит великая будущность. Да, предчувствия мои не могут же меня обманывать; о, если мне удастся осуществить только малейшую часть того, чем полна грудь моя, то я не хочу ничего более. Я не хочу счастья и не думаю о счастье. Дела, дела, широкого, святого дела хочу я. Передо мною широкое поле, и моя участь — не жалкая участь.

Сейчас только возвратился я домой; у меня голова заболела, и я должен был проходиться. Пошел сперва к Рейхелю **, но не застал дома. Потом попробовал поесть чего-нибудь в Hôtel de Saxe, но не оказалось аппетита. Потом пошел в Café Français;

---

* Московские музыканты, гостившие в Прямухине.

** Адольф [1].

там нашел Кеслера и Кёхли[2], поболтал с ними и теперь только возвратился.

Перечитал письмо, и мне самому стало совестно и даже смешно, что я так расчувствовался, — ну да бог простит, вперед не буду. А все очень грустно, ну да ведь и это пройдет, это был последний кризис моего расставания с Россиею. Теперь я опять тверд, ничего не боюсь и готов итти вперед, очертя голову. Но, друзья, знайте, что за морем живет человек, который никогда не перестанет быть вашим другом, который жаждет вашей любви, потому что у него кроме вас нет родного мира. О, пишите мне иногда, не позабывайте меня, пишите мне хоть по одной строчке в две недели. Положите себе законом писать мне хоть по нескольку слов в две недели раз. Ведь вам не будет стоить большого труда, а для меня это будет счастье, без всякого преувеличивания. Не разучайтесь говорить со мной или, лучше сказать, приучите себя вновь говорить со мной. Танюша, неужели ты в самом деле позабыла меня? Ты сказала нынешним летом, что если бы ты не была моею сестрою, то полюбила бы меня. Я говорю тебе то же самое: я люблю тебя, друг, глубоко люблю. Бедная девочка, нам не дано с тобой счастье; что ж делать, покоримся судьбе — судьбы божии неисповедимы. Знаешь ли, постарайся приехать сюда с Павлом для своего здоровья, ведь мы должны еще раз в жизни увидеться. Не мешай Павлу устроить твою поездку за границу. Танюша, будь со мной откровенна, и тебе будет легче; не бойся огорчить меня, мне весело будет разделить твое горе. Я жду твоего ответа.

А ты, Саша, писала мне, но я тогда был глупый, не отвечал тебе. Павел скажет тебе, как я люблю тебя, и как я стал в последнее время уважать тебя, продолжай, друг, так жить, — man muss thun, immerwährend thun, um Mensch zu sein, und das wirkiche Selbstgefühl, das Gefühl der menschlichen Würde in sich zu haben *.

А тебе, Вариныка, что скажу я? Мы отдалились друг от друга, постараемся снова сблизиться, бросим все теории в огонь, они портят жизнь и особливо жизнь женщины.

А ты, Илья, ведь ты также не позабыл меня, хоть и говорят, что ты нападаешь теперь на философию и на всех филосо-

* Нужно действовать, всегда действовать, чтобы быть человеком и обладать чувством самого себя, чувством человеческого достоинства.

фов. Но я все-таки уверен, что ты любишь меня. Я знаю, что ты за каждого из нас пойдешь в огонь и в воду; я в этом уверен; ты — также наш брат, хоть иногда и взбалмошный брат. Что твой Кавказ? Напиши мне, ты можешь быть уверен, что все до тебя касающееся интересует меня. Смотри же, непременно напиши.

Я надеюсь, что Анна Петровна не откажется принять от меня маленькую корзиночку для духов в знак памяти.

Прощайте, друзья, еще раз прощайте. Махнем рукою да и будем жить без оглядки.

Ваш

М. Бакунин.

№ 450. — Письмо брату Павлу.

[6 ноября 1842 года. Дрезден.]

Милый Паша, вот тебе твой цигарошный футляр; я сам наделал для тебя сегодня цигарок, цигарочницы же твоей не нашел. Посылаю тебе в память мои сломанные щипчики. Прощай, Паша, пиши мне скорее и чаще. Не позабудь исполнить мои поручения. Тургеневу пожми руку и скажи ему, чтобы он хоть несколько слов написал мне из Берлина. Из Петербурга напиши мне все, что заметишь насчет расположения Елизаветы Петровны * к нам, — все без исключения. Тебе я поверю так же. как и самому себе.

Еще раз прощай.

Твой

М. Бакунин.

6 ноября. Воскресенье.

Только вчера после обеда начал я убираться. Утром писал письма. Вечером был сперва у Рейхеля, которого не застал дома, а потом у Львовых **. Вольф при мне объявил им, что смерть

* Языкова.

** Львовы — соседи Бакуниных по Тверской губернии.

Alexandrine очень близка. Мне было тяжело смотреть на них, а сегодня она скончалась. Сегодня утром начал свои занятия чтением Штейна. *.

Дрезден 1842.

№ 451. — Письмо и инструкция брату Павлу.

[6 ноября 1842 года. Дрезден.]

Инструкция Павлу.

1. Заставь Мюллера ** при себе выслать все мои книги и все мои вещи.

2. Попроси *Гервега* ***, чтобы он дагеротипировал себя для меня и для себя также. Руге тоже. Сам также дагеротипируйся. Непременно, Паша.

3. Вышлите мне скорее обещанные 60 талеров.

4. У Ефремова *непременно* отбери портрет Станкевича; да узнай, что они там сделали с бюстом; если есть литографированные портреты или бюстики, пришли мне один и возьми несколько для Прямухина и Шашкина.

Все пришли с Руге.

5. Напиши мне письмо из Берлина.

Adieu!

6. Попроси Тургенева, чтобы он утешил *Бессера* и *Гоинга* (портного).

Милый Паша! Прощай, прочти мое письмо к сестрам и ты увидишь, как мне было грустно без тебя. Павел, приезжай поскорее назад; ты мне нужен; и тебе также грустно без меня. А во время нашей разлуки пиши мне, Павел, пиши чаще и обо всем, для того чтобы я знал всю жизнь твою. Пиши мне обо всем без всякого страху, не бойся недоразумений.

* Лоренца Штейна [1].
** Мюллер-Стрюбинг.
*** Георг [1].

Скажи мне, любишь ли ты Александрину * или нет? Тут не о достоинстве дело; я знаю, что она достойна самой глубокой любви: она — редкая женщина. Но тут дело в любви; если ты в самом деле любишь ее, о, я тогда с радостью благословляю твою любовь и все решения и все деяния, вытекающие из нее. Но если ты убедишься, что твоя любовь была фантазия, — будь тверд, Павел. Тогда тебе угрожает, может быть, ужасная катастрофа. Будь тверд, помни, что в жизни есть великое дело, великие обязанности, и что человек должен думать не о счастии, но об исполнении этих обязанностей. Всякий живой человек принадлежит не самому себе, но своему делу.

Кроме этого, Павел, когда ты будешь впадать в уныние, вспомни обо мне; вспомни, что ты, именно ты мне нужен; что в моем сердце есть для тебя верное и теплое отечество. Возвратись ко мне; мы будем делить вместе и радость и горе; и если судьба определила нам и внутреннее и внешнее нищенство, то мы и нищенство будем делить вместе.

Рассмотри письма хорошенько; прочти их. Там есть письмо для Елизаветы Петровны **, а также и для маменьки; тебя это удивит, но прочти письма сестер, и ты поймешь, почему я написал ей. Я дал себе клятву никогда более не говорить о ней худо ни с кем, решительно ни с кем, даже с самим собою, и сдержу ее. Пришли мне назад письма сестер. —

Прощай, Павел, прощай.

Твой

М. Бакунин.

№ 452. — Письмо и инструкция И. С. Тургеневу.

[6 ноября 1842 года. Дрезден.]

Инструкция Тургеневу.

Ты обещал мне достать и прислать мне 2000 талер[ов]. Распорядись ими следующим образом:

1. Приехав в Петербург, сходи к банкиру Штиглицу и справься у него, получил ли он от родителей 500 т[алеров] на

* Беер.

** Языковой.

вексель, данный мною Мейеру 27/15 сентября и посланный к нему немедленно.

2. Дала ли ему Елизавета Петровна Языкова 575 тал[еров] для Каскеля?

Если он не получил еще ни тех, ни других денег, то постарайся дело устроить так, чтобы в Дрездене эти проклятые цапли не налетели на меня как злые соколы.

3. Если Елиз[авета] Петр[овна] дала Штиглицу 575 тал[еров], скажи ей, что ты немедленно вышлешь их из деревни.

4. Постарайся выслать мне к 1-му ноября нового стиля по крайней мере 400 талер[ов].

1-го ноября я должен заплатить:

Меблёрщику 230 т. — тюрьма.

Вольфу 150 т. — бесчестье.

5. Постарайся выслать мне остальные деньги к 1-му генварю по новому стилю, а если можно, [то] и прежде: мне всякая минута дорога.

Когда получишь от родителей 575 т., заплаченных тобой Елиз[авете] Петр[овне] Языковой, вышли мне их немедленно.

Прощай и ты, друг. С тобой мы еще дольше не увидимся; мы идем совершенно разными, противоположными путями. Не позабывай меня, — я тебя никогда не позабуду, никогда, никогда не перестану действительно, конкретно любить тебя и верить тебе. Когда ты позабудешь, я подумаю, что ты умер. Хорошо, что мы еще раз виделись; мы узнали друг друга, и я уверен, что где бы нам ни пришлось встретиться, в каких бы обстоятельствах мы ни были бы, мы пожмем друг другу руку.

Неужели мы в самом деле не увидимся прежде пяти лет? Как мы тогда увидимся? Что расскажем друг другу? Может быть, много горького, может [быть], неудачи, несчастья? Но я уверен, что мы проживем жизнь нашу человечески, и это — главное; это — наша обязанность; остальное зависит от случая или от провидения, — не знаю, но только не от нас самих.

Итак дай мне еще раз руку.

С богом в дальнюю дорогу!

Твой

М. Бакунин.

Береги Павла, смотри за ним в России и, если будет нужно, спаси его.

№ 453. — Письмо брату Павлу.

(8 ноября 1842 года).

Милый Паша! Сейчас же по получении сего письма ступай к нашему священнику Дормидонту Васильевичу. Если ты не знаешь его квартиры, то справься об ней в нашем посольстве. Леонид Николаевич * ждал для похорон Александрины греческого архимандрита из Лейпцига; но он болен и не может приехать, а потому он решился просить Дормидонта Васильевича. С этою же почтою получит он приглашение, которое придет к нему не прежде завтрашнего дня, а тело лежит уже два дня, и потому должно спешить. Пойди к нему и попроси, уговори его от моего имени и от имени Леонида Николаевича немедленно ехать в Дрезден, не теряя минуты: тело начинает портиться. Посоветуй ему остановиться в Hôtel de Pologne и[ли] Hôtel de France, во-первых потому, что это будет ближе, а во-вторых, что если он остановится в Hôtel de Vienne, то подвергнет себя простуде на мосту.

Скажи Тургеневу, что я в точности исполню его поручение и завтра же напишу. Посоветуй ему написать брату, чтобы он выплатил 400 р. с. Штиглицу **, не ожидая его отъезда. Болезнь Тургенева может задержать вас, и тогда Мейер прижмет Рихтера, а Рихтер — меня. Не выезжайте прежде, чем Тургенев совсем выздоровеет. В голове моей блеснула было мысль прикатить к вам в Берлин. Но это было бы неблагоразумно: во-первых в отношении к Леониду Никол[аевичу], во-вторых в отношении к финансам, а в-третьих потому, что не должно затягивать прощания: один раз надо проститься. Прощайте, милые друзья, завтра напишу больше и подробнее, а сегодня некогда, надо итти к Леон[иду] Никол[аевичу].

Ваш

М. Бакунин.

1842. Дрезден. 8 ноября.

Через 12 дней мои именины.

Алекс позабыл снесть это письмо. Вчера я получил письмо от Елизаветы Петровны Языковой, милое, прекрасное письмо.

---

* Львов.

** Банкир.

Она заплатила деньги Штиглицу, Пинский *, через которого ты должен отыскать ее, переменил квартиру: он теперь живет на Большой Морской в доме Барбе. Она ожидает тебя с нетерпением. Что, Тургенев, ты опять болен? Теперь тебе уж лучше, неправда ли? У Геденуса ** я еще не был, потому что зубная [боль] не позволяла мне до сих пор выйти из квартиры; сегодня все устрою.

Прощайте, друзья. Опять получил записку от Львовых, которые зачем-то зовут меня.

Ваш

М. Бакунин.

10 ноября.

Я послал вам отсюда во-первых ящик с портретом, пакет с книгами и твою цигарошницу в трех посылках.

№ 454. — Письмо брату Николаю.

[11 ноября 1842 года. Дрезден.]

Милый Николай!

Я взял у Пимена Петровича 100 руб[лей] серебр[ом], которые прошу тебя заплатить ему немедленно по предъявлении сей записки в счет 500 руб[лей], о которых я вас прошу. Если же не можешь заплатить в день его к вам приезда, то как можно скорее, и никак уже не позже месяца.

Твой

М. Бакунин.

Алексей, пришли свой романс на слова Беранже, а если сочинил еще что-нибудь хорошее, пусть Татьяна выберет, и пришли также сонату Бетховена, ту самую, о которой я тебе часто говорил, одну из его последних, с вариациями, также «Ифигению в Тавриде» Глюка и «Les 7 Paroles de Jesus Christ arrangées pour le piano».

---

* Матвей Михайлович [1].

** Неразборчивое слово.

№ 455. — Письмо брату Павлу и И. С. Тургеневу.

(1/13 ноября 1842 года).

Милые друзья! Где вы теперь — в Берлине или уже на пути в Петербург? Во всяком случае я решаюсь еще раз написать вам в Берлин. Странная вещь: казалось, мы уже все рассказали друг другу, а теперь я вижу, что мне осталось так много сказать вам обоим. Мне грустно, что я не умел выразить вам во время нашего пребывания в Дрездене, как я люблю вас, и как вы оба мне необходимы. Но что ж делать? такова участь человека: мы все более или менее страдаем импотентностью выражения; внутри нас много богатства, но этому богатству еще не дана сила, благодать выражения. Все равно, вы знаете, вы должны знать, как я вас люблю; ведь были же такие минуты, где моя несчастная, жесткая внешность смягчалась и становилась способною к выражению моего внутреннего мира. Вы еще за границей, я еще могу в письме сказать вам много, что потом будет невозможным, и я уверен, что как только вы будете в России, язык так и будет чесаться, а должно будет молчать. Вот какая странность!

Милые друзья, напишите мне еще раз из Берлина. Помни, Тургенев, свое обещание писать мне по крайней мере в две недели раз, — а из Берлина напиши о Вердере, Фейте *, о рабе моем Ефремыче **. Священник наш говорит, что странное случилось у него в носу, — что ж бы такое это было? Уже не...***? Боже его упаси. Правда, нос велик, может вынесть много отрицаний и уменьшений, а все-таки жалко; хоть и говорят, что в Италии делают отличнейшие носы, а все-таки жалко будет его носу, который отличался необыкновенным достоинством. Поклонись ему от меня, попроси его не сердиться более. Он погорячился, я погорячился, но неужели это может разорвать нашу старую, столько раз испытанную приязнь? Поцелуй его за меня в его страждущий нос. Ведь он — мой сын духовный: боюсь только, что он, пользуясь моим отсутствием, станет шеллингианцем и начнет вместе с К. **** конструировать чорта, архангела Михаи-

* Берлинский студент.

** А. П. Ефремов.

*** Повидимому Бакунин имеет в виду сифилис.

**** Возможно что речь идет о М. Н. Каткове, который тоже слушал в Берлине лекции по философии и сочувствовал Шеллингу, а не его противникам.

ла и вочеловечение сына божия, рождение от духа святого. Au reste il est acheté pour le faire, — car il paraît que c'est aussi le St.-Esprit qui lui a fait cadeau d'un fils *. Без помощи какой-нибудь иностранной державы дело не могло обойтиться.

Что твое здоровье, Тургенев? Напиши мне, Павел: если б была какая-нибудь опасность, то я, несмотря на все препятствия, прикатил бы к вам; и непременно сделаю это, если вы будете принуждены остаться в Берлине дольше. Только ты очень глуп, Павел, что не пишешь.

Сначала мне очень трудно было приняться за занятия, а теперь распустил паруса, и все идет живо и хорошо. К генварю месяцу моя книга будет непременно кончена [1].

Прощайте, друзья, будьте здоровы. Что бы там ни случилось и что бы нас ни ожидало, мы будем людьми: man muss nur immer den Muth seiner Uebetzeugungen haben **.

Прощайте.

Ваш

М. Бакунин.

1/13 ноября 1842. Дрезден.

NB. Елиз[авета] Петр[овна] *** внесла деньги; но по недоразумению Штиглиц выслал их не Каскелю, но Мейеру, — ты знаешь, Павел, по векселю, который я ему дал на отца. Боюсь, чтобы Штиглиц не возвратил ему те деньги, которые отец пошлет ему для Мейера. Это будет плохо: а Каскелю еще ничего не заплочено.

Непременно сходите к Штиглицу и устройте, чтобы он написал к Каскелю, а мне из Петербурга напишите.

№ 456. — Письмо брату Павлу и И. С. Тургеневу.

($\frac{4}{16}$ ноября 1842 года).

Милые друзья! Вчера получил ваши письма, а вместе и письма от сестер, которые не посылаю вам, потому что боюсь, чтобы они не застали вас в Берлине и не затерялись. Они пишут, что папенька не мог еще заплатить Штиглицу и прислать

* Впрочем ему и полагается так поступать, ибо, кажется, именно святой дух наградил его сынком.

** Нужно лишь всегда смело исповедывать свои убеждения.

*** Языкова.

Эмма Зигмунд
(жена Гервега).

Георг Гервег.

мне денег для заплаты Каскелю. Теперь вообразите себе, какая вышла ералашь; я уже писал вам, что Штиглиц заплатил деньгами, полученными им от Елизаветы Петровны *, Мейеру. Каскель еще ничего не получил, и я боюсь, чтобы Штиглиц не отказался принять деньги, которые папенька пришлет ему для Мейера, не имея на них никакого векселя. Вследствие этого я решился дать Каскелю вексель в 500 т[алеров] к Штиглицу, а то ведь Рихтер меня со свету сживет. Кроме этого 1 декабря я должен буду заплатить мебельщику 230 т[алеров] да Вольфу 150; от родителей еще не надеюсь получить, и потому буду опять стараться занять. Как приедешь в Петербург, Тургенев, постарайся повернуть небо и землю, а то опять придется рисовать карту поражений. Во всяком случае знай, для того чтобы иметь более живое созерцание моей теперешней жизни, что я опять ищу денег pour ne pas être pris à l'impoviste dans 15 jours, c'est-à-dire dans le moment où je devrai faire tous mes payements **. Впрочем не думайте, друзья, чтобы я был повергнут в то же самое уныние, в каком вы меня видели тогда. Во-первых мысль, что я теперь один, поддерживает меня; а когда человек один, тогда в нем более гордости; а во-вторых надежда на близкое разрешение, т. е. на субсидию Тургенева, подкрепляет мои силы.

Кроме этого я теперь сильно работаю. Рассказ Руге о берлинской молодежи возжог во мне желание скорее написать статью о берлинских философах [1]. Прощайте, милые, я вас очень, очень люблю. Нет, Тургенев, мы еще раз увидимся с тобой, — увидимся, когда жизнь наша будет полнее. Вчера я был на бале, у m-me la Chambellane de Kennerlitz [2] и танцовал, — и знаешь ли еще с кем, Тургенев? С женою французского посланника, которая очень мила и умна. Каково? Прощайте.

Ваш

М. Бакунин.

1842. — $\frac{16}{4}$ ноября. Дрезден.

Через четыре дня, т. е. 20/8 ноября, мои именины. Вы будете на дороге, — выпейте за мое здоровье.

---

* Языковой.

** Чтобы не быть захваченным врасплох через 15 дней, т. е. в момент, когда я должен буду совершать все мои платежи.

Тургенев, ты мне ничего не сказал о Вердере; напиши мне, какое он сделал на тебя впечатление *.

Знаете ли вы, что позавчера я чуть было не уехал в Берлин? Когда я прочитал в письме Павла, что вы остаетесь еще на восемь дней, я не мог больше сдержаться, я велел приготовить себе паспорт и уложить мои вещи **. Но потом обдумал, расчитал, что эта поездка будет стоить мне по крайней мере 50 талеров, и остался. Вы не можете вообразить себе, как мне было грустно остаться.

Тургенев и Павел, как приедете в Петербург, ступайте к Штиглицу и устройте, чтобы он переслал деньги для Мейера (от родителей) к Каскелю. Да напиши мне свой адрес, Тургенев, напиши из Берлина; а то я не буду знать, как писать к тебе. Поклонись от меня Мюллеру ***.

Милый Мюллер ****, я тебе отвечу, скоро отвечу. Надеюсь, что мы скоро увидимся, в Берлине или в Дрездене. Поклонись Брюгеману и скажи ему, что я был очень рад, когда узнал от Руге, что он в конце концов сошелся с последним. Теперь Руге о нем чрезвычайно хорошего мнения. То, что Руге рассказал мне о бауэровском круге, меня также порадовало. Ничто не может меня так радовать, как диалектика пустоты и тщеславия. Его рассказы показали мне, что я собственно хотел сказать, когда приступил к писанию статьи о берлинских философах. Теперь я очень прилежно работаю над нею *****.

Паша, пришли мне также свой дагеротипированный портрет.

№ 457. — Письмо брату Павлу и И. С. Тургеневу.

(8/20 ноября 1842 г.).

[Дрезден.]

Милые, хорошие друзья мои, не странно ли это, что мы теперь так близки друг к другу, теперь, перед разлукою, которая

* Отсюда по-французски в оригинале.
** Дальше снова по-русски в оригинале.
*** Мюллер-Стрюбинг.
**** Отсюда по-немецки в оригинале.
***** Дальше снова по-русски в оригинале.

бог знает, сколько продолжится, и что мы не вместе? Если б вы знали, какую Sehnsucht * я иногда чувствую в себе прилететь к вам, как мне грустно без вас! Ах, друзья, я многое перечувствовал и передумал впродолжение последних двух недель. Да, я иногда впадал в уныние, так безотрадна и бесплодна являлась мне иногда моя будущность **. Я подверг сам себя строгому суду, дабы убедиться, что мое решение — не каприз и не пустая фантазия, и я убедился, что это так. Я не обманываю себя: источник моего решения чист; я поступаю так из внутреннейшей необходимости моего существа, иначе я не могу делать, что бы ни произошло в будущем. Я знаю, моя жизнь будет очень печальна; но я по крайней мере останусь верен себе, а к этому я только и стремился ***. Что же мне делать, если я чувствую и беспрестанно более и более убеждаюсь, что здесь мое место; что здесь я яснее всех вижу, чувствую и знаю, что нужно?

Вчера был у меня Руге целый вечер (между прочим у меня флюс, и я не выхожу из дому, — помните, как я вам описывал свое горестное положение?). Путешествие в Берлин было ему очень полезно; он испытал и знает теперь всю пустоту и безысходность негативных теоретиков ****; он полностью освободился от теоретического угара, в котором так долго пребывал, и видит действительность во всей ее жалкой наготе *****. Вчера он пришел ко мне унылый, с поникшею головою и с самыми черными мыслями. Я ободрил, оживил его; я сказал ему, что именно теперь настало время, где он должен доказать самому себе, что его твердость — действительная твердость, и что его вера и его призвание — действительные вера и призвание. Доказал ему, что переход из ложного и обманчивого мира теории необходимо должен быть сопряжен с болью и страданием; напомнил ему фразу из своей статьи ******: негативная партия должна перейти из неопределенной сферы мечтаний в действительность, в которой она должна жить, *страдать* и в конце концов победить *******. Он согласился, что мои пророчества сбываются.

* Страстное желание, порыв.
** Дальше по-немецки в оригинале.
*** Отсюда снова по-русски в оригинале.
**** Отсюда по-немецки в оригинале.
***** Дальше снова по-русски в оригинале.
****** Отсюда по-немецки в оригинале.
******* Дальше снова по-русски в оригинале.

Мы много говорили о том, что мы должны вновь переучиваться и начать реформу с самих себя; что мы должны сами освободиться и начать новую жизнь для того, чтобы освободить других и влить в них новую жизнь. Мы с ним в первый раз так горячо, плодоносно и тепло говорили, и оба чувствовали, что мы расстались друзьями. Он решился дать «Deut. Jahrb.» новое, совершенно другое направление, и я обещал ему работать и помогать ему, сколько могу и как умею. Видите, друзья, работы много, деятельность предстоит широкая! Но никогда не исчезнет во мне грусть, глубокая, разрывающая грусть по отчизне, по вас, по моем родном Прямухине. Сердце мое с вами, с вами все мои горячие, сокровеннейшие чувства. Я вас люблю, друзья, горячо люблю — и остаюсь здесь потому, что должен остаться.

Теперь я уж очень много работаю, паруса мои распущены, и я быстро лечу к своей цели. Разобьюсь ли о скалу или, что еще хуже, сяду ли на мель, — не знаю. Знаю только, что до тех пор не перестану лететь, пока во мне останется хоть капля крови *. Мне нужно много страсти и много самоотречения, забвения о себе самом, чтобы добиться своей цели; без того моя жизнь была бы бедною и слишком жалкою. О, только любовь способна заполнить жизнь **. Что же касается до *нее*, то еще не встретил да и вероятно не встречу. Знаете ли, друзья, я почти отказался от *нее*; по крайней мере особенно искать не буду. Двум господам служить нельзя, а я хочу хорошо служить своему господину. Что будет, то будет.

До сих пор я представлен здесь в 12 домах, делаю изредка визиты, кой-когда посещаю вечера.

Ну, а вы что делаете? Что такое сделал Мюллер, что делает Гервег, что Вердер, Ефремыч, *помнит ли меня еще Гервег?* Мне грустно было бы, если бы он меня позабыл. Напишите мне обо всем истинно, откровенно, все ваши хорошие и худые впечатления и замечания. Непременно напишите.

Паша, пришли мне свой дагеротип да, если можно, все мои вещи, книги и портрет Станкевича. Пришли сам, Мюллер ведь об этом не думает. А мне многие книги необходимы.

Милый друг, я знаю, что в тебе теперь происходит. Будь тверд, — и знаешь ли что? Если только материальные средства заставляют тебя ехать в Россию, возвратись в Дрезден. Мы и

* Отсюда по-французски в оригинале.
** Дальше снова по-русски в оригинале.

без тебя посредством Тургенева и брата Николая все устроим. Если же тебя зовет другой долг, — поезжай с богом, но ради бога будь тверд и верен самому себе. Я говорю серьезно, подумай об этом хорошенько и решись. Не стыдись возвращаться, une fausse honte ne doit pas te retenir, elle ne doit pas te décider dans une question aussi grave; tu doit être audessus de toute fausse honte*. Во всяком случае будь уверен, друг, что ты имеешь во мне истинного, живого друга, которому ты точно так же необходим, как он тебе необходим. Если ты хочешь ехать, то поспеши все устроить, не теряй времени и возвращайся скорее. Нам некогда терять времени. Тургенев, ты обещался мне помочь ему возвратиться.

А тебе что скажу, милый друг? Что я очень, очень люблю тебя, что сердце мое будет повсюду следовать за тобою и будет радоваться твоею радостью и грустить твоею грустью. Да, я знаю, что ты меня любишь, а ты знаешь про меня то же самое; и мы никогда не потеряем способности понимать друг друга. Как бы продолжительна ни была наша разлука, нам немного нужно будет времени, чтобы найтиться друг в друге. Ты не можешь вообразить, как мне весело и страстно и спокойно становится на душе, когда я думаю о тебе. Ты ведь — мой и никогда не перестанешь быть моим.

Итак еще раз прощайте, друзья. Знаете ли что? Пересмотрите все ваши вещи, бумажки, письма, прежде чем переезжать за границу, и спрячьте их осторожно. У меня какое-то предчувствие, что вас будут *необыкновенно* осматривать. А ты ведь веришь предчувствиям, Тургенев!

Прощайте.

Ваш

М. Бакунин.

20/8 ноября — мои именины.

Перевод с французского.

№ 458. — Письмо родным.

[8/20 ноября 1842 года. Дрезден].

Милые друзья! Мне грустно и весело было читать ваши письма. Итак вы еще не позабыли меня; о, вы не можете вооб-

* Ложный стыд не должен тебя удерживать, он не должен диктовать тебе решение в столь серьезном вопросе; ты должен стоять выше всякого ложного стыда.

разить себе, как это меня обрадовало. Что до меня касается, то я никогда не изменю моему милому, *святому* прямухинскому миру. Я не могу изменить ему, в нем источник моей жизни, начало всего, что во мне есть живого, лучшего. Я вас люблю, друзья, и никогда не перестану любить. Я не хотел огорчать вас, говоря вам, что пути наши теперь различны; я сказал вам истину: они в самом деле различны. Не произвольно и не с радостью, но с разрывающею грустью в душе отрываюсь я от вас. Поступая таким образом, я следую своему долгу, повелительному голосу своей совести, своего призвания. Да, мы, вероятно, никогда более не увидимся. Зачем себя обманывать? Поверьте, эта разлука тяжелее, в тысячу раз тяжелее мне, чем вам: вас много, вы между собою, вы беспрестанно окружены людьми, любящими вас и живущими с вами одною жизнью; я же один, для меня разлука с вами есть совершенное одиночество. Я уж несколько раз испытал и теперь убежден, что ничто в мире не в силах заменить мне вас. Вы сопряжены и связаны во мне со всяким грустным чувством, со всяким горем; вы бессознательно делите их во мне со мною. Итак не бойтесь, чтобы я позабыл вас: я не могу вас позабыть.

Знаете ли, я сегодня видел во сне Николая с Анной Петровной * вместе; я не помню подробностей этого сна, но он проник меня таким светлым, теплым и вместе грустным чувством, которое я разве только могу сравнить с небом и с благоуханием того утра, когда в ожидании Дьякова мы читали подле забора между Лопатиным и Мытницкою рощею, кажется, Марбаха; а бабушка, — дай бог ей царство небесное, — приехала из Твери и дала нам выборгских кренделей. Анна Петровна была так хороша, так мила, она была вся проникнута таким тихим и прекрасным светом, а Николай был так благородно счастлив, что я проснулся еще весь полный этой святой картины. Вот почему мне захотелось написать вам, а то бы, бог знает, как бы долго еще я не принялся за перо. Мне так хорошо и вместе так грустно теперь; я знаю, я в этом уверен, мне не суждено, так же, как и вам, мои бедные друзья, любить и быть любимым; но я не завидую Николаю, в душе моей нет места для зависти, мне только грустно, но эта грусть прекрасна, полна силы и самоотвержения. Да, Николай будет счастлив и Анна Петровна также;

---

* Ушаковой.

им дано осуществить между собою всю роскошную полноту благородного человеческого счастья. Я рад за них и за вас, друзья; их счастье будет для вас оазисом в пустыне, вашим приютом, вашим отдохновением. Николай сердится на меня; он не понял моего письма; впрочем он прав: я не имел права так писать к нему. Ведь мы друг друга не знаем, мы друг другу почти совершенно чужды; это был абстрактный поступок, как говаривал бывало про меня Белинский, которого он верно припомнил, читая мое письмо. Я не хотел обидеть его, но если я обидел его, то скажите ему, что я раскаиваюсь в этой право невольной обиде, я искренно и от всей души прошу у него прощения. Скажите ему, что если мы — и не друзья, то мы — все-таки братья, и что брату многое простительно.

Что же касается до вас, друзья, то я вас также обидел и еще раз прошу вас простить меня: это был последний, лихорадочный отголосок моего старого, во мне уже совершенно потухшего мира. Вы можете быть уверены, что вы более никогда ничего подобного не услышите от меня. Теперь вы самостоятельны, тверды, я это ясно вижу и глубоко радуюсь этому, потому что самостоятельность ваша была всегда моею первою потребностью. Я знаю, что вы не поверите этому. Помнишь, Танюша, ты назвала раз меня деспотом? Еще менее поверит Варинька, которая вполне уверена, что покорение других всегда была и есть единственная цель моих поступков, но она право ошибается. Я ей давно говорил, что она совсем не знает меня; ей некогда было заниматься другими, потому что до сих пор или по крайней мере до ее отъезда из Дрездена она исключительно была занята сама собою. Не говори, Танюша, чтоб я не любил Вариньку; нет, я так же люблю ее, как вас всех, она во мне так же тесно и неразрывно связана со мною, как и вы все, но если настоящий путь мой отделяет меня от вас, то я могу сказать, что между моею и ее *теперешнею* жизнью нет ничего общего. Вот почему мы не понимаем и не можем понять друг друга. Все, что я говорю здесь, истинно: я люблю Вариньку, но теперь не имею с ней ничего общего и не стану объяснять, почему; во-первых потому, что это не есть обвинение, но только сознание существующего факта, а во-вторых потому, что, не понимая ее, я могу быть к ней несправедливым. Время все объяснит.

Павла здесь нет, но он еще в Берлине, потому что Тургенев там простудился. Дня через три или через 4 они выедут и будут

в Петербурге (по отъезде из Берлина) через неделю, а между Петербургом и вами только два дня езды. На-днях я получил письмо Alexandrine * к нему; он мне дал право читать все письма, полученные в его отсутствие, и я прочел его. Alexandrine очень строго судит меня; она осуждает всю настоящую и прошедшую жизнь мою. Из ее письма только увидел я, как мои письма оскорбили и огорчили вас, и вы не можете вообразить себе, как мне стало грустно и досадно на себя. Да, я еще раз повторяю вам, я искренно и от всей полноты и глубины души своей раскаиваюсь в своем поступке. И вы, друзья, не должны принимать этого раскаяния и этой просьбы о прощении за фразу или за иронию, но за истинное выражение моих чувств.

Но Alexandrine слишком строго судит меня. В минуту ложной и натянутой экзальтации я просил и требовал от Natalie **, требовал именем нашей старой дружбы, чтобы она отдала письмо Николаю, и вот что Alexandrine пишет мне ***:

«Разве Мишель не знает, что среди нас действует один только закон, закон любви, а если он не любит, то по какому праву требует он повиновения? Мишель, полагаете ли Вы, что Наталья не одарена благородным характером женщины, возмущающейся против рабства и деспотизма? Человек, повелевающий женщине, которую он не любит, есть деспот, а третировать женщину как рабу значит выражать ей презрение. Заслужила ли Наталья Ваше презрение? Вы не питаете к ней чувства дружбы, зачем же говорить во имя дружбы, особенно в таком пустячном случае, как просьба передать письмо? Наталья может жить и умереть, может радоваться и страдать — и все это ничуть Вас не тронет, ни в чем не изменит Вашей обычной жизни и даже распорядка Вашего дня. В чем же тут дружба?

«Нет, Мишель, Наталья — не раба. Со времени последнего письма она поняла свое положение по отношению к Вам, и я предупреждаю Вас, что Вы не имеете никакого права приказывать. Всякая любящая женщина заслуживает уважения, даже если она так слаба, как Марта в «Орасе» ****, но Марта достойна преклонения за свое самоотречение, Орас же за свое отношение к ней заслуживает *презрения*».

---

* Беер.

** Н. А. Беер.

*** Отсюда по-французски в оригинале.

**** Роман Жорж-Занда.

Вы хорошо понимаете, что после употребленного Александриною выражения «презрение» всякий ответ ей и всякое оправдание перед нею становятся для меня невозможными. Мне нечего ей отвечать, и у меня нет никакой охоты оправдываться перед нею. Я был чувствителен к ее хотя и незаслуженным упрекам, пока не прочитал этого выражения. Прочитав его, я начал совершенно индиферентно относиться к ее мнению обо мне и к ее взглядам на меня. Но, боже правый, я далеко не так индиферентно отношусь к тому впечатлению, какое моя просьба могла произвести на Наталью. Нет, я никогда не хотел ее оскорблять, никогда я ее не презирал, — о, как далеко презрение от того чувства уважения и глубокой симпатии, которое я всегда к ней питал! Сравнивая меня с Орасом, Александрина побудила меня серьезно задуматься над моими отношениями с Натальей, и после долгого размышления, после строгого анализа наших былых отношений я пришел к следующему глубокому и грустному убеждению: нет, никогда я не играл перед Натальей роли Ораса; я всегда действовал по совести, был проникнут святой любовью и искренним уважением к ней. Боже мой, я мог конечно наделать много ошибок, мог не раз невольно ее оскорбить, — и я хорошо знаю, что у меня грубый характер, что мои ухватки жестки и отталкивающи: я изведал это по горькому опыту. Я слишком часто заставлял вас страдать, вас всех, которые так сильно меня тогда любили. В моей былой абстрактности я совершил множество промахов, но никогда я не грешил презрением, чувствами, недостойными вас. Никогда не требовал я повиновения ради повиновения и ради удовольствия командовать: это — несправедливое обвинение, я в праве заявить это всем в лицо. Если я ей не писал, то не потому, что я ее позабыл, а потому, что знал, что она страдает, потому что понимал всю глубину и *законность* ее страдания, и потому, что в то же время с грустью сознавал, что не в силах помочь ее горю, не могу ничего ей дать. Значит я молчал из чувства уважения и бессилия, а не потому, что забыл ее или перестал ей симпатизировать. Верьте мне, я был бы счастлив знать, что она счастлива, а ее горести печалят меня, она всегда находит во мне верный отголосок. Никогда еще я никому не изменял. Было время, когда и Варинька отдавала мне эту справедливость. Если я позволил себе давать Наталье советы, то я думал, что могу принести ей пользу. Я был тогда в экзальтации от моих убеждений не только за себя, но и за других; теперь я

испытываю это чувство только за себя одного. Для себя я продолжаю ту же жизнь, хотя бы она угрожала довести меня до гибели; но я уже не притязаю на водительство других. Письмо, доставившее всем вам столько неприятностей, было последним выражением этого состояния. Тогда я был фанатиком, теперь я уже им не являюсь, — и вот объяснение моего молчания по отношению к Наталье. Но передайте ей пожалуйста, что никогда я не переставал ее уважать, сочувствовать ей и любить ее очень глубокой и святой братской любовью.

Александрина говорит еще следующее *:

«Я человека всегда знаю не из того, что он делает в какую-нибудь одну определенную минуту. Вам вздумалось, что сестер должно разбудить, — вот Мишель взял перо, и полились сарказмы. Я узнаю здесь прежнего Мишеля, — он всегда употреблял с нами всеми иронию, сарказмы; *он то же употреблял и с московскими друзьями своими.* Те все, оскорбленные, бросили его и стали чернить. Мы все любили и любим его; но я прежде замолчала, другие после».

Неужели мои отношения с моими *московскими друзьями*, которые впрочем совершенно вышли из моей памяти как предмет, недостойный моего внимания, и о которых мне здесь, в моем кругу, при моих занятиях и при моем направлении право некогда и нет ни малейшего повода думать, потому что они мне все — извините мне эту гордость — являются как маленькие букашки, — неужели мои прошедшие отношения с ними могут быть каким бы то ни было образом сравнены с моими отношениями с вами? Эта возможность в первый раз явилась мне; она заставила меня задуматься. Итак в моих отношениях с вами не было ничего другого кроме сарказмов, иронии и желания власти? **.

Я должен обладать слишком слабою способностью выражать свои внутренние переживания, то, что заставляет меня действовать и говорить, если люди, полагающие, что хорошо меня знают, могли составить себе такое обо мне мнение. Бывают призраки, держащиеся очень упорно. Я давно и очень хорошо знал, что вы в свое время возвели меня на пьедестал, и это возвеличение не только не было настоящею любовью, но даже скорее помехою к любви. Но все же я всегда думал, что в основе этого лежит доля действительной любви, доля такой любви, какая могла бы

* Дальше по-русски в оригинале.

** Отсюда снова по-французски в оригинале.

соответствовать той, которая, поверьте мне, никогда не переставала гореть в моем сердце. Но я не знал, что мне придется пасть так низко с того пьедестала, на который вы меня прежде вознесли. Александрина хорошо говорить «мы все-таки любим его» *, но я не хочу такой любви, любви из жалости, добродетельной любви, великодушно снисходящей на меня вопреки всем моим преступлениям. Мне конечно нужна любовь, но еще больше мне нужно мое личное достоинство, а было бы недостойно меня принимать столь великодушно жалуемую мне любовь. Я предпочитаю быть совершенно одиноким, ибо мое сердце возмущается при одной мысли о даруемой мне милости.

Простите мне этот порыв протеста, дорогие друзья, но есть, видите ли, вещи, которых я никогда не мог переваривать, и думаю, что в этом пункте я не исправлюсь никогда. Итак оставим эту тему, тем более что произнесли эти слова не вы, а Александрина. Но ее письмо заставило меня призадуматься. Я начал всерьез сомневаться в проблематической пользе, которую я вам якобы принес. Я думаю, что и эта польза есть тоже призрак, который в настоящее время подлежит разрушению. Разрушим же его поскорее, — вы не знаете, как радостно разрушать. Долой призраки, долой обманы, одна истина, чистая истина, я жажду неумолимой истины! Да, друзья мои, я желал вам добра, я это знаю, и вы это тоже знаете, и за это доброе намерение, за мою любовь к вам вы меня любите. Ибо вы меня любите, я знаю. Но я вам не принес добра, я причинил вам одно зло, и в этом я раскаиваюсь, глубоко раскаиваюсь. Что касается меня, я не жалуюсь на свое прошлое: оно было необходимо, совершенно необходимо в моей личной жизни, которая, как я надеюсь, не пройдет бесплодно. Но я вовлек вас в беспорядочную жизнь, какую я вел, я лишил вас простой евангельской веры, которую я не мог заменить другою, я причинил вам зло, много зла, и вы должны простить мне то зло, которое я причинил вам по неведению моему. Вы можете простить мне его теперь, когда вы снова очутились у пристани, сильные и спокойные и наслаждающиеся всем, что осталось у вас после той бури, какую я произвел.

Прощайте, мои добрые друзья, а главное не будем больше говорить об этом предмете, пусть это будет последним словом о прошлом — и к будущему!

Ваш М. Бакунин.

20/8 ноября 1842 [года]. Дрезден.

* Слова Александрины по-русски в оригинале.

№ 459. — Письмо брату Павлу.

(2 января 1843 года).

Милый Павел! Я спешу; вследствие непредвиденных обстоятельств я должен оставить Дрезден; вследствие этого мне нужно много денег, и потому прошу тебя употребить все возможные средства для того, чтобы они прибыли скорее, и еще в большем количестве, чем я просил прежде. Деньги должны быть посланы по старому адресу в Дрезден. Я распорядился, чтобы они мне были доставлены.

Прощай, друг; я тебе скоро напишу. Пиши мне в Дрезден. Schloss-gasse, № 17.

Твой

М. Бакунин

Дай знать об этом Тур[геневу] и спеши, потому что дело весьма важное.

Лейпциг. 2 генваря 1843 [года].

Перевод с немецкого.

№ 460. — Письмо Отто Виганду.

8 января 1843 [года]. Базель.

Милый друг! Вчера мы благополучно и без малейшей опасности прибыли в Базель и завтра уезжаем в Цюрих. А что произошло с Вами, каковы результаты страшного терроризма, от которого мы все разлетелись в разные стороны как куропатки от ястреба? Надеюсь, что теперь вы снова успокоились и не имели никаких неприятностей. Как обстоит дело с старым Колиньи? * Напишите нам поскорее, милый папа Блюхер **, и дайте мне ответ на все эти вопросы. Мы с своей стороны также будем вам прилежно писать, и Жюль Элизар *** тоже не станет лениться.

Никогда я не забуду тех немногих дней, которые мы вместе провели в Лейпциге. Не забывайте меня также и приезжайте весною в Швейцарию. Гервега сейчас нет дома. Сегодня споза-

---

* Арнольд Руге.

** Отто Виганд.

*** Михаил Бакунин.

ранку он по своим политическим делам выехал в окрестности Базеля, и я жду его с минуты на минуту: он обещал мне вернуться к вечернему чаю, а я уже начинаю чувствовать голод. Он Вам также будет писать.

Сегодня я больше не стану Вам писать, так как очень устал, но из Цюриха я Вам сообщу подробные сведения.

Прощайте, милый друг.

Ваш

М. Бакунин.

Перевод с французского.

№ 461. — Письмо Эмме Зигмунд.

15 января 1843 [года].
[Страсбург.]

Вот мы и в Страсбурге, мадемуазель. Втечение нашего долгого и скучного путешествия мы имели достаточно времени поразмыслить, и мне теперь кажется, что наше бегство из Дрездена, особенно мое, было несколько поспешным. Впрочем дело сделано, и я в этом не раскаиваюсь. Я всегда так рад переменить свой образ жизни и так счастлив быть вместе с Вашим «сокровищем» *, что могу только поздравить себя с тем, что мы покинули Германию. Теперь мы оба ожидаем Вас; приезжайте поскорее и привозите с собою Руге, чтобы он рассказал нам «историю о лисице». Знакомство наше очень недавнее, мадемуазель, но несмотря на это я питаю к Вам очень глубокую и искреннюю симпатию.

М. Бакунин.

Перевод с немецкого.

№ 462. — Письмо Арнольду Руге.

Цюрих, 19 января 1843 года.

Дорогой друг!

Я не стану больше говорить Вам о своей благодарности: я Вам ее раз навсегда высказал и теперь буду ждать удобного

* Георг Гервег.

случая, чтобы доказать Вам ее на практике, хотя я знаю, что Вы не нуждаетесь в таких доказательствах, для того чтобы мне поверить. Запрещение «Deutsche Jahrbücher» [1] здесь никого не удивило, так как каждый из нас был к этому готов как к неизбежному последствию давно уже угрожавшей нам, а теперь открыто проявившейся реакции. Но зато это запрещение подало всем нам надежду на то, что теперь Вы нас скоро посетите и, быть может, даже решитесь пробыть в Швейцарии подольше. Я думаю, что Вам здесь понравится. Кружок не велик, но действительно очень приятен и душевен [2]. Все питают к Вам самую горячую симпатию, каждый с удовольствием ждет более близко знакомства с Вами, особенно Фоллен *, хотя при первой встрече вы оба, кажется, не очень-то друг другу понравились. У него против Вас было предубеждение, от которого он теперь совершенно освободился, и я уверен, что и Ваше предубеждение против него, если таковое существует, при более близком знакомстве с ним совершенно исчезнет. Это — действительно прекрасный человек, человек практичный и идейный, а это много значит в нашем безыдейном, абстрактно-теоретическом мире.

Гервег все это время плохо себя чувствовал: быстрая смена впечатлений во время путешествия несколько его утомила. Но теперь ему уже гораздо лучше. Вчера он в первый раз вышел из дому. Вскоре после нашего приезда сюда студенты устроили ему серенаду; ремесленники также собираются это сделать. Но с другой стороны на него часто нападают здешние аристократические газеты. Читали ли Вы его краткий ответ Шенлейну? Думаю, что он задаст работы в Германии многим праздным языкам и головам. «Deutsche Bote» скоро выйдет. Кстати будьте так добры, вышлите мне как можно скорее мои бумаги, для того чтобы я мог начатую было мною работу для покойных «Deutsche Jahrbücher» продолжить теперь для «Deutsche Bote».

Через два дня после приезда в Цюрих я имел большое счастье увидеть и услышать обоих Ромеров **, мессию и его брата, а именно на процессе против Фребеля *** и Фоллена перед верховным судом. Хочу попробовать привести Вам небольшой пример красноречия и изумительной логики Фридриха.

«Много говорят о возвещенной мною науке мира. Да, госпо-

* Август Адольф Людвиг [3].

** Фридриха («мессию») и Теодора [4].

*** Юлий [5].

да, это — великое, замечательное произведение и вместе с тем простое, крайне простое. Это — практическое произведение, оно должно помочь миру, спасти мир. Я — не только человек науки, господин председатель и достопочтенные господа, но и государственный муж, заметьте это, сие важно, весьма важно, я — государственный муж и скоро это докажу, скоро, очень скоро, и вскоре вся Германия будет меня почитать. Меня упрекают в том, что я уже давно возвещаю это произведение, но до сих пор оно не появляется. На то у меня имеются свои основания, основания очень важные и практические. Если бы оно вышло в старой форме, то даже образованным людям понадобилось бы два месяца, чтобы его понять, а после предпринятой мною переделки каждому крестьянину потребуется на это каких-нибудь четыре месяца. Меня упрекают еще в том, что я пью много вина, но, господин председатель и высокопочтенные господа, разве Гете, Наполеон и даже Александр Великий не пили вина? Разве к примеру министры и высокопоставленные персоны не пьют охотно тонкого вина? А я знаю и должен здесь заявить: я — высокопоставленная персона и вскоре я это докажу, очень скоро, и это весьма важно».

Здесь публика разразилась хохотом, так что он совершенно переконфузился и после нескольких неудачных попыток снова заговорить принужден был отказаться от слова.

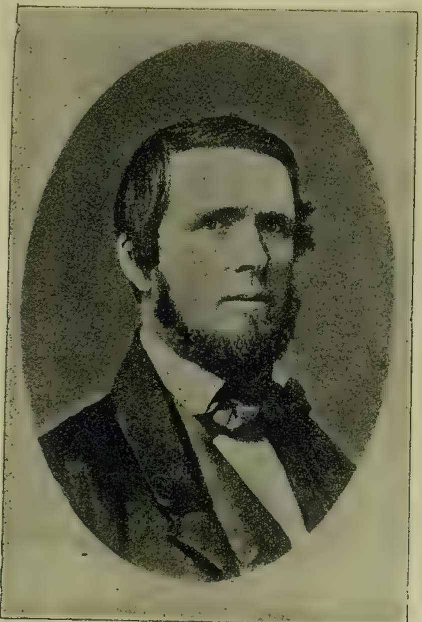
Фребель давно бы уже выслал Вам «Анекдоты» [6], если бы можно было оплатить пакеты здесь — он хотел избавить Вас от расхода. Но скоро Вы их получите. Статья какого-то «Рейнца» о новой цензурной инструкции превосходна, Ваша статья о печати — также. Я еще не прочел всей книги, но думаю, что она произведет очень большое действие и главное * испортит коекому много крови. Только одна статья мне крайне не понравилась, а именно статья Фейербаха. Это — догматическое опровержение догматизма; ее афористический тон содержит в себе какое-то несносное важничанье, а в конечном счете он говорит то же самое, что сказал мне мой друг Менцер: если философия теснее свяжется с естествознанием, то мир несомненно будет спасен. Эти теоретические рецепты спасения в высшей степени комичны, и поистине нужно обладать большою способностью отвлекаться от действительности, для того чтобы забавляться ими в нашей бедной, столь нуждающейся в практицизме совре-

* Это слово (surtout) по-французски в оригинале.

менности. Не сердитесь на меня, дорогой Руге, я знаю, что Вы весьма высокого мнения о Фейербахе; я — также, я считаю его безусловно единственным живым среди философов; в нем много гениальности, самобытности, которые сказываются и в этой статье; *он существует*, и это — главное, так как другие даже не существуют. И тем не менее его статья — плохая, несуществующая, т. е. чисто теоретическая, недейственная статья. Это — еще одна попытка спасти теорию, которая однако должна в своей целостности разложиться изнутри, — в этом ее единственное спасение. Практика *внутри* теории есть величайшее противоречие.

Недавно вышло новое, *первое* немецкое коммунистическое сочинение некоего портного Вейтлинга («Гарантии свободы и гармонии» Вильгельма Вейтлинга. Веве, декабрь 1842 года). Этот Вейтлинг[7] очень беден; а так как никаких иных средств у него не было, то ему пришлось самому, т. е. *собственноручно* напечатать свою книгу. Это — действительно замечательная книга. Правда, вторая, органическая ее часть сильно пострадала благодаря односторонним, произвольным построениям, но первая, дающая критику современного положения, проникнута жизнью, а часто содержит верные и глубокие мысли. Чувствуется, что она написана на основании практического осознания современности; даже теоретические конструкции интересны, так как они представляют не продукт умеренной, интеллигентской теории, а выражение стремящейся возвыситься до сознания новой практики. Читая эту книгу, ощущаешь, что Вейтлинг высказывает именно то, что действительно чувствует и в качестве пролетария думает и должен думать. И это чрезвычайно интересно, можно даже сказать — самое интересное в наше время. Иногда он выражается весьма энергично:

«Но размер бедствия должен быть представлен всем в легко понятной форме: тогда возрастет смелость наложить руку разрушения на дело тысячелетнего нестроения. Если мы покажем обществу, что оно собою представляет при своей плохой организации и чем оно могло бы быть при лучшей, и если оно это поймет, то нам нисколько не придется беспокоиться о созидании и придавать слишком много значения нашим излюбленным планам построения нового здания. Но станем решительно, все более решительно расправляться с старым хламом, а также с всякими новыми лесами и всяким новым фундаментом, в которых скрываются малейшие остатки старого зла».



Вейтлинг

П.-Ж. Прудон в 40-х годах

«И вот, читатель, если ты найдешь в этой книге истины, то возьмись за их распространение, ибо нельзя терять времени. Миллионы несчастных созданий вопиют к богу о помощи. Налогами и милостынею, законами и карами, прошениями и религиозными утешениями здесь горю не поможешь. Старое зло въелось слишком глубоко. Разрыв между добром и злом должен быть произведен путем катастрофы. Она не преминет разразиться, если каждый по мере сил будет стараться ее подготовить».

«Совершенное общество не имеет правительства, а имеет только управление, не имеет законов, а имеет обязанности, не имеет кар, а имеет средства исправления».

Если бы я вздумал выписать Вам все, что мне понравилось в этой книге, то мне не достало бы места. Вероятно Вы эту книгу сами прочтете. Я непременно хочу познакомиться с этим Вейтлингом.

Прощайте, дорогой друг, будьте здоровы и благонравны, с добрым утром. Проезжая через Баварию, я все время вспоминал о Вас: все баварские ямщики произносят «с добрым утром», как Вы. Не могу выразить Вам, с каким нетерпением я дожидаюсь того времени, когда снова услышу Ваше «с добрым утром». То, что Вы сообщаете мне о моем брате во Христе, меня огорчает, но не удивляет, и я думаю, что Вы, бедный и неизменный * друг, уже не раз имели такой печальный опыт. Я рад, что Кёхли [8] проявляет себя с хорошей стороны; кланяйтесь ему от меня. Что же касается всезнающего и вездесущего д-ра Франка [9], то я в его деятельность вовсе не верю: он теряет слишком много времени на посредничество между бароном Бюловым [10] и мисс Остин [11], и хотя он также не молод, имеет слишком мало права сказать вместе с Фаустом: «Я слишком стар, чтоб лишь играть» и осуществить нечто действительное.

Прощайте. Кланяйтесь Вашей супруге и скажите своим детям, что в Дрездене Вы — уже не настоящий Руге, а только изображение Руге, и что настоящий Руге со времени запрещения «Немецких Летописей» живет в Швейцарии и особенно в моем сердце.

Прощайте.

Ваш М. Бакунин.

---

* В оригинале описка: „unwalderbarer“ вместо „unwandelbarer“

Передайте через Пескантини [12] мое письмо барону Плоху [13]. И пришлите мне статью Жюля Элизара о реакции в Германии, Фоллен хочет ее прочесть.

Прощайте.

Перевод с французского.

№ 463.—Письмо Эмме Зигмунд.

3 февраля 1843 года. Цюрих.

Если бы я не боялся показаться фразером, то я постарался бы, мадемуазель, выразить Вам мою признательность за Ваше любезное и очаровательное письмо, но мне кажется, что лучше не подвергаться такому риску, и, минуя признательность и глубокую радость, мною испытываемую, спешу сообщить Вам все просимые Вами сведения.

Ваше «сокровище» * был некоторое время болен, теперь ему гораздо лучше: он работает, выходит, хотя и жалуется еще на некоторое недомогание, и физическое и душевное, недомогание, которое по моему мнению окончательно пройдет только с Вашим приездом в Цюрих. Мне незачем напоминать ему о Вас, потому что — видите ли, мадемуазель, и я надеюсь, что Ваше «плохое сокровище» (имя, которое он однажды Вам дал) не будет сердиться на меня за признание, которое я от его имени Вам делаю, — Вы глубоко любимы. Однажды он сказал мне: «Я приобрел в своем сокровище бесконечную опору». Не естественно ли поэтому, что в Ваше отсутствие он этой опоры лишен, т. е. несколько нездоров? Но Вам нечего бояться, мадемуазель: в его болезни нет ничего серьезного. Постарайтесь лишь сюда приехать, как только обстоятельства и разные «соображения», столь же многочисленные и священные в Германии, как церемонии в Китае, Вам это позволят.

Вы не можете себе представить, с каким нетерпением Вас здесь ожидают, — все считают мгновения, некоторые из любопытства, которое составляет повидимому одну из добродетелей швейцарских городов, другие вследствие участия, которое принимают в Гервеге. Круг знакомых не блестящ, но приятен, и, думаю, он придется Вам по вкусу. Впрочем Вы ни в ком не будете нуждаться, раз Вы будете здесь вместе с Гервегом. Вы очень сча-

---

* Георг Гервег.

стливы, мадемуазель: Вы любите и любимы. Я не думаю, чтобы Вы чувствовали себя спокойно. Но это по моему не так уже плохо: я смотрю на спокойствие, которое так превозносят, как на величайшее несчастье, какое может постигнуть человека, и Вы верно согласитесь со мною. Любовь, соединенная с непрестанною широкою деятельностью, — вот единственное действительное счастье; я думаю даже, что это — единственная и действительная добродетель, тогда как все остальное только суета и ложь.

Что сказать Вам еще, мадемуазель? Говорить ли Вам о том нетерпении, с каким я сам Вас ожидаю? О, Ваше присутствие обещает мне столько прекрасных и светлых радостей, я буду так счастлив Вас видеть, оба мы будем счастливы, — а потом, потом мы расстанемся, и каждый из нас пойдет своей дорогой. У меня нет родины, так как от своей я отказался, и, подобно вечному жиду, я покорно пойду по пути, указанному мне моею судьбою и моими верованиями. Невозможно создать себе новое отечество, и я не буду давать себе этого напрасного труда, тем более что, как я чувствую, чем дальше я отхожу от своего, тем сильнее я его люблю и тем глубже я убеждаюсь в том, что оно призвано сыграть великую роль на священном поприще демократии. В этом я твердо убежден, и только под этим условием я его люблю.

Жюль Элизар * работает над статьей для «Deutsche Bote», статьею, которая, надеюсь, будет лучше и практичнее первой [1].

Прощайте, мадемуазель, поклонитесь пожалуйста от меня Вашему брату и передайте от меня привет Вашему другу Цыбульскому [2].

Преданный Вам

М. Бакунин.

Я только что получил Ваше письмо к Гервегу и передам его немедленно.

№ 464. — Письмо брату Павлу.

Цюрих. 1843 [года]. 10 февраля / 29 генваря

Милый друг! Я уж давно не писал тебе. Нечаянная перемена в моих обстоятельствах прервала на некоторое время обык-

* Т. е. сам Бакунин.

новенный ход моей жизни и моих занятий; теперь я опять успокоился; надолго ли, не знаю. Почти месяц прошел с тех пор, как я — в Цюрихе, и только недавно принялся я за дело *.

Каждая перемена в моей внешней жизни оказывает на меня сильнейшее действие. Каждый раз, как я попадаю в новый круг, я настолько опустошаюсь, что принужден свою веру и мышление налаживать, так сказать, сначала. Непроизвольно я столь добросовестно отношусь к своему внутреннему миру, что когда я встречаюсь с каким-либо новым внешним явлением, несогласным с моим мировоззрением, то я сначала отношусь к нему чисто пассивно и с недоверием к самому себе. Для меня это всегда — очень болезненные минуты, от которых я однако никогда не позволю себе отвлечься, так как я из моей рефлексии и особенно из моего жизненного опыта знаю, что отрицание составляет единственную пищу и основное условие всякой живой жизни. Но для меня и невозможно было бы это сделать, так как я подобно тебе отличаюсь непроизвольным стремлением к отрицанию и к опровержению своих собственных убеждений. Вот почему во всех моих изысканиях мне приходится начинать с серьезно продуманного противоположения самому себе. Это заложено в моей природе, и иначе я не в состоянии поступать **.

Как часто вспоминал я о тебе впродолжение всего этого времени. Знаешь ли, Павел, я заметил в себе странное свойство: личность людей, которых я люблю, так сливается со мною, что даже в их отсутствии, и особенно в их отсутствии, я невольно смотрю их глазами и чувствую их чувством. Как бы объяснить мне это тебе? Нисколько не теряя своей самостоятельности, я становлюсь еще богаче и полнее. Дня три тому назад гулял с одним профессором ботаники у подошвы Ütliberg; время было прекрасное, более 10 градусов тепла; трава зеленая, Schneeglöcken ***, желтые цветы; между прочим нашли мы прекрасное цветущее ядовитое деревцо (Daphne mecereum ****, цветы лиловые, пахнут как гиацинты, я посылаю тебе три цветка). Вид был прекрасный: снежные горы, Цюрихское озеро, окруженное селениями, с другой стороны лес; ну, вообрази ж себе, мне

* Отсюда по-немецки в оригинале.
** Дальше снова по-русски в оригинале.
*** Подснежник.
**** Daphne mecereum — волчник-ягодки.

почти казалось, что я — ты; я радовался твоею радостью, выговаривал без всякой рефлексии, но совершенно невольно, твои мысли, одним словом был в продолжении некоторого времени и тобою и самим собою.

Я живу здесь очень одиноко, нанял себе маленькую квартиру на самом берегу Цюрихского озера, передо мною все озеро и горы, вечно покрытые снегом. Вот тебе расположение моей комнаты *:

a) *печка*, хорошая, теплая,

b) *шкап* с книгами,

c) два окна большие высокие, с двойными рамами, друг подле друга, так что почти составляют одно окно,

d) *диван*, хороший, широкий, длинный и мягкий, с подушками, у самого окна,

e) *стол* круглый у дивана,

f) бюро,

g) стол,

k) Zürichberg.

Иногда я лежу по целым часам на диване и смотрю на озеро, на горы, которые особенно прекрасны при заходящем солнце, следую за маленькими изменениями этой картины, — а эти изменения беспрерывны, — и думаю, думаю обо всем: и грустно, и весело, и смешно, и впереди все покрыто туманом.

12 февраля

Сегодня поутру получил твое письмо. Грустно, Павел. Итак *наш* прямухинский мир умер или умирает: мы с тобой остались единственными живыми представителями его!

Бедная Танюша, она недолго проживет. Да, Павел, я был бы счастлив, если б еще раз мог увидеть ее. Странная вещь! Как можно ко всему привыкнуть! Что было [бы] со мной, если б я узнал о положении Танюши года два тому назад! А теперь я спокоен, сердце мое проникнуто раздирающею грустью, но я спокоен. Сколько пережить, через сколько переворотов должен был я перейти, для того чтобы быть так спокойным! Ах, Павел, тебя нет со мной, ты увез с собою мое последнее отечество. Приезжай скорее назад и привези мне Танюшу. Грустно, друг,

* Здесь нарисован план комнаты с видом из окон.

очень грустно, но спасибо тебе за твою откровенность. Между нами не должно быть тайн; ведь ты понимаешь меня, ты понимаешь, что мне не нужны утешения, я жажду горькой истины, и никогда не станешь обманывать меня. Говори мне все просто, без всякого украшенья, для того чтоб я знал, что твои слова ни более, ни менее истины. А ты что? На что решился ты в отношении к Alexandrine? * Будь только истинен, Павел. Истина горька, но она возвышает человека, она дает ему силы. Ты просил моего совета; я только одно могу тебе сказать: кончи поскорее все твои дела, не теряй их ни минуты, пока они не окончены, а окончив их, приезжай ко мне. Помнишь ли, как мы говорили, когда мы еще были вместе, как бы мы хорошо действовали, если б были теперь в Прямухине? Ну вот, ты теперь там; действуй же, отвлеки на некоторое время твое внимание от твоих внутренних, теоретических вопросов и кончи дело, для которого ты приехал и которое так важно для нас обоих. Wir müssen wenigstens uns einen äusseren Grund sichern, — sonst würden wir schon zu grundlos sein **.

Николай говорит, что исполнение моей просьбы папеньке невозможно. Скажи и объясни ему, что оно только и возможно при жизни папеньки. Я знаю, что это дело трудно, но оно необходимо.

Пиши мне, Павел, чаще, как можно чаще и обо всем. А с сестрами, Павел, не спорь много, но действуй на них любовью. Только одна любовь может действительно убедить. Я не сержусь на Вариньку за письмо, которое она написала Елизавете Петровне ***, но мне грустно за нее ****. Куда же девалась эта столь широкая и любвеобильная душа, эта доброта, эти благородные порывы и сердечная простота, которые однако были в ней? Или же болезнь сузила и иссушила ее сердце? Это непостижимо! ***** Постоянное чтение George Sand ****** — вот единственное лекарство для ее больной души. Если оно не поможет, если оно не возвратит ее к старым, живым верованиям,

* Александра Беер.

** Мы должны по крайней мере обеспечить себе внешнее основание, — иначе мы будем совершенно беспочвенными.

*** Языковой.

**** Отсюда по-французски в оригинале.

***** Дальше снова по-русски в оригинале.

****** Жорж Занд.

-то она неизлечимо больна. Ce qui me fait le plus de peine c'est qu'il y a de la mesquinerie dans sa lettre à Елиз[авета] Петр[овна] *. Павел, читай сам беспрестанно George Sand и сестры также. Я теперь не расстаюсь с нею.

Мое предложение начинается так **:

«В жизни бывают моменты, когда человек начинает путаться в собственных убеждениях; когда все, что в другое время составляет предмет его глубочайшей веры, становится для него самого сомнительным и представляется ему пустым и безжизненным. Это — печальные, болезненные моменты: в них человек переживает несказанную муку чувствовать себя одиноким в мире, без любви, без веры и цели, совершенно покинутым всем тем, что в иное время связывает его с остальными людьми и со всем миром» и пр. и пр. ***.

Через месяц поеду я вероятно в Женеву к итальянцу Pescantini, который купил себе недавно имение на берегу Женевского озера. Я познакомился и подружился с ним в Дрездене скоро после твоего отъезда; с его женою также ****. Пескантини это — прекрасный и великодушный тип итальянца: очень страстный, очень образованный и вполне артист. Его жена — лифляндка. Посылаю тебе одно из ее писем, для того чтобы ты мог сам о них судить, ибо мне, видишь ли, нужно, чтобы ты знал все, что делается во мне и вокруг меня *****.

Я представил им Рейхеля и papa Coligny ******. Рейхель теперь в Вене, а papa Coligny приедет к нам в мае месяце [1]. Он теперь свободен, потому что D[eutsche] J[ahrbücher] сели на мель. Мы часто катаемся на лодке по озеру с моим милым живописцем ******* и правим попеременно и фантазируем и смеемся и грустим вместе. Он тебя очень любит и ко мне очень нежен; я его люблю, как брат любит сестру. Тебе это покажется смешно; но, знаешь ли, он, который так силен и смел и тверд духом, он физически очень слаб; я не видал еще организма нежнее его. А

* Больше всего огорчает наличие мелочности в ее письме к Елизавете Петровне.

** Отсюда по-немецки в оригинале.

*** Дальше снова по-русски в оригинале.

**** Отсюда по-французски в оригинале.

***** Дальше снова по-русски в оригинале.

****** Прозвище Арнольда Руге («старик Колиньи»).

******* Георг Гервег.

ведь ты знаешь, что я — русский мужик. Теперь он болен, невеста его приедет сюда через три недели, вследствие письма, которое я ей написал. У Pescantini я вероятно проведу целое лето и буду у него ждать тебя с Танюшею.

Вот все, Павел, что я теперь могу сказать тебе. Разве еще одно: Тургенев до сих пор никому не выслал денег, ни мне, ни Рихтеру. Рихтер написал мне вследствие этого уж с десяток самых приятных записочек. Что ж делать? Я теперь кругом обесчещен. Теперь я живу Христа ради; ради бога устрой мои дела. Sonst werde ich zu Grunde gehen ohne zur Existenz zu kommen *; мой добрый гений отказался служить мне; я стал глуп теперь.

Я, кажется, писал тебе, что я самым неожиданным образом получил письмо от Белинского и Боткина [2]; я отвечал им и, позабыв все старое, с радостью подал им руку. Ты увидишь Боткина, поклонись и пожми ему руку за меня. А об братьях, об Алексее, ты ничего не пишешь, что они и как они? Получили ли сестры псалмы Marcello **, которые я послал им с графом Valentini через дядю m-me Pescantini (в Риге)? Теперь я совершенно лишен музыки и потому живу здесь как рыба без воды.

Что Москва? Может быть ты теперь и в ней? Что Елагины, Грановский, старые, молодые профессоры? Болтают, чай, не на живот, а на смерть, конструируют от нечего делать, братец ты мой! Эх, народец!

Когда увидишь Ушаковых, скажи им, что стыдно, что они позабыли меня. Я не позабыл их. Скажи, что сделалось с Ильею? Я получил от него длинное письмо, донос на всех сестер и братьев, с запрещением отвечать ему, если я хочу браниться, и я не знаю, что и как отвечать ему. Мне жалко его; его задавило глупое и злое воспитание; в нем много хорошего.

Прощай, друг. Пиши мне чаще и посылай письма с деньгами (если такие еще возможны; я начинаю думать, что деньги — миф) в Дрезден по старому адресу, а простые письма в Zürich, Poste-Restante ***.

---

* Иначе я погибну, не начав жить.

** Бенедикт [3].

*** Цюрих, до востребования

№ 465.—Письмо сестрам.

Цюрих. 1843 года $\frac{20}{8}$ февраля.

Милые добрые сестры, вы опять стали писать мне и верно стали бы писать еще чаще, если б знали, как я бываю счастлив, когда получаю от вас письма. Вы думали, что я позабыл вас, но разве вы не знаете по своему собственному опыту, что мы не можем позабыть друг друга? Разве я хуже вас; разве я не ощущаю в себе потребности любить? или вы сомневаетесь в моей способности любить? Я не писал вам, потому что в продолжение некоторого времени переписка наша приняла принужденный характер, потому что она была лишена истины; всякий из нас хранил про себя и для себя то, что его действительно интересовало, и поверял письму только общие места, общие рассуждения. А что может быть мучительнее писем, лишенных всякой истины, лишенных всякого присутствия жизни? Я знаю: мы молчали не потому, что мы не хотели, а потому, что мы не умели искренно говорить друг с другом. Теперь это неумение, эта немощь прошли, и мы будем часто писать друг другу. Главным условием нашей переписки должна быть безусловная откровенность; мы ничего не должны скрывать друг от друга, мы не должны бояться испугать и огорчить друг друга. Скажите, что может теперь испугать нас? Разве мы уже не испытали в продолжение короткого времени более горького, чем иному суждено испытать в продолжение целой жизни? Будем же действительно и безусловно любить друг друга и будем помогать друг другу не советами, но любовью. Танюша, ты спрашиваешь меня, должна ли ты ко мне приехать или нет? Я думаю, что я отдал бы полжизни для того, чтобы тебя еще хоть раз, хоть на самое короткое время увидеть. Но ты должна быть сама судьею в этом деле; если ты думаешь, что ты обязана остаться, — оставайся. Oui, mon amie, le dévouement est un grand bonheur, — peut être que c'est l'unique bonheur qui nous soit réservé*. Если же возможно будет тебе приехать, — приезжай, друг!

* Да, мой друг, самопожертвование есть большое счастье, — может быть — единственное счастье, которое досталось нам в удел.

Вы не можете себе вообразить, какая прекрасная погода: более 12 градусов тепла; мои окна отворены; перед ними в двух шагах чудное Цюрихское озеро; горы, селения, рощи, окружающие его, покрыты легким, мягким, прозрачным, роскошным туманом; озеро, чистое как зеркало, отражает в себе солнечные лучи. Целое утро читал я* Жорж Занд «Лелия»: это — мой любимый автор, я с ним больше не расстаюсь. Каждый раз, когда я читаю ее произведения, я становлюсь лучше, моя вера укрепляется и расширяется. Я нахожу себя здесь во все моменты. Ни один поэт, ни один философ не симпатичен мне так, как она. Ни один также не выразил так хорошо мои собственные мысли, мои чувства и мои запросы. Читайте ее, мои добрые друзья. Так как мы — одного закала, так как наши стремления во всем тождественны, вы должны будете испытать то же самое, и одним связующим нас звеном прибавится больше. Для меня чтение Жорж Занд это — как бы культ, как бы молитва. Она обладает способностью открывать мне глаза на все мои недостатки, на все слабости моего сердца, не удручая и не подавляя меня. Наоборот, она при этом пробуждает во мне чувство достоинства, показывая наличие во мне сил и средств, каких я до того сам в себе не сознавал. Жорж Занд — не просто поэт, но и пророк, приносящий откровение.

О, как мелки и жалки все фантазии Беттины перед этою великою апостольскою фигурою**. Мир Беттины это — абстрактно-теоретический мир. Природа дала ей необыкновенный дар созерцания, и она начала этим гордиться, даже чваниться.

Она ничего не знает о великих страданиях практической, действительной жизни. Она является лишь воплощением теоретического созерцания, и больше ничего. Она взирает сверху вниз на все, что страждет, на все, что не является ею самою. И это делает ее смешной и мелкой, ибо практическое страдание гораздо величественнее и глубже, чем теоретическое фантазирование на тему о блаженстве. Жорж Занд — апостольская, религиозная натура; ее простота — истинна, не является продуктом искусственного сочинительства и рефлексии, потому что она есть практическая, живая, действительная простота***. Ее лю-

* Отсюда по-французски в оригинале.

** Дальше по-немецки в оригинале.

*** Отсюда по-французски в оригинале.

бовь, ее доброта это — действительная доброта, ибо она практична. Она не презирает и не осуждает, но любит и жалеет; она насквозь проникнута сочувствием, она является глубоким источником святых утешений. Истина Беттины не практична, потому что она представляет лишь холодную видимость истины, потому что она является умственными эгоизмом и тщеславием, не скажу даже — гордостью. Она презирает людей, а презрение к людям есть самое презренное чувство на свете. Если кто-нибудь хочет презирать, пусть начнет с самого себя, ибо если он захочет быть хоть сколько-нибудь добросовестным, то он найдет в себе все, что он повидимому презирает в других. И это — счастье, ибо в противном случае истинная, святая доброта, доброта, обновляющая мир, была бы невозможна. Теоретические, т. е. исключительно внутренние добродетель, величие и красота представляют лишь жалкие и смешные гримасы, лишенные всякой жизненности, всякой теплоты, ибо в них нет смирения сердца, которое составляет источник всякой действительной истины *.

Слава богу время теории прошло; все более или менее чувствуют это; заря нового мира уже осеняет нас; будем же достойны возобновления; пусть мысль, что все наши страдания не тщетны, поддерживает нас; и стоит ли говорить и хлопотать о своих собственных страданиях, когда целый мир страдает родами нового, прекрасного мира **? Человечность, великие таинства человечности, которые были открыты нам христианством, которые были для нас сохранены им, несмотря на все его заблуждения, в качестве священного мистического сокровища, все эти глубокие и простые таинства вечной жизни будут отныне осязательной, реальной, присутствующей истиной. И все, кто страдает, должны благословить свои страдания, ибо только страдание может сделать нас достойными того нового мира, который мы предчувствуем в себе. Смелее же, друзья, изгоните из ваших сердец все то, что может еще там иметься убогого, узкого. Сердце не может быть настолько широко, чтобы вместить широкое откровение, которое совершится еще в наши дни и в большей или меньшей мере через каждого из нас.

Варинька, я тебя не узнаю. Письмо, которое ты написала Елиз[авете] Петр[овне] ***, чувства презрения и гордыни, какие

* Дальше по-русски в оригинале.

** Отсюда снова по-французски в оригинале.

*** Слова «Елизавета Петровна» по-русски в оригинале

тебя теперь повидимому обуревают, та суетная сухость сердца, та неумолимость к другим и снисходительность к себе самой, которую ты выказала нам в последнее время, — не в твоем характере. Ты выказала себя мелочной и узкой, но ты не такова, я знаю. У тебя благородный и прекрасный характер, твое сердце не узко, а широко, в нем заключена глубокая потребность любви и бесконечная способность к ней. Откуда же эта перемена? Прости меня, друг мой, но я должен высказать тебе правду, потому что я тебя люблю и уважаю. Я не хочу сравнивать ваши характеры, но в данный момент Елиз[авета] Петр[овна] * выше тебя. Она любит глубоко. Она не виляла, она не сробела перед любовью, явившейся освятить ее сердце, она не испугалась ее последствий. Она была сильна и мужественна в своем культе; сердце ее исполнено доброты; в самых трудных обстоятельствах она проявила практическое мужество своего положения. Вот уже 11 лет, как она любит, и любовь ее остается такою же пылкою, какою она была вначале. Она открыто признала или скорее заставила признать свою любовь всех окружающих, и все с уважением преклонились перед нею. Одним словом ее любовь такова, что если бы я, согнувшись под тяжестью обстоятельств и тайн человеческой жизни, вздумал когда-либо усомниться в возможности любви, то мне достаточно было бы вспомнить о ней, чтобы уверовать снова и сильнее, чем прежде. И ты презираешь эту женщину, ибо — не обманывай себя,Варинька, справедливость, которую ты ей отдаешь, есть не что иное, как презрение, — ты ее презираешь, ты отвлекаешься от всего этого, для того чтобы с каким-то небывалым пуританством перечислить все ее мелкие недостатки, которые, если бы ты захотела поискать, имеются наверно и у тебя, быть может в другой форме!

Еще раз, друг мой, прости меня. Я мог выбрать только одно из двух: или молчать, или открыто сказать тебе то, что я думаю. И я избрал последнее как наиболее достойное нас обоих, как единственно достойное той святой дружбы, которая связывала нас с самого нашего детства, которая уже выдержала столько испытаний и которая, разумеется, не будет разрушена моею прямотою. Повторяю, я тебя люблю и уважаю серьезно и непоколебимо, но я не могу относиться с любовью и уважением к источнику твоих последних слов и действий. Я подал тебе при-

* Слова «Елизавета Петровна» по-русски в оригинале.

мер, Варинька. Будь так же откровенна, и если ты полагаешь, что мои нынешние слова и дела продиктованы не любовью к истине, а каким-нибудь дурным чувством, заяви мне об этом прямо, не боясь меня оскорбить: я отвечу тебе с такою добросовестностью, на какую только буду способен. Варинька, я тебя призываю только к тебе самой, к твоему благородному характеру, к тем благородным порывам и к той страсти любви и прощения, которые одни достойны наполнять твое сердце. Я призываю тебя к уважению и к культу, какие ты обязана воздавать себе самой. Я тебя не сужу и не осуждаю. Всякий из нас падает и восстает, и проклят будь тот, кто бросит первый камень в грешника, ибо этим он совершит величайшую ложь. Мы здесь не для того, чтобы судить друг друга, а для того, чтобы помогать друг другу подняться, чтобы любить и прощать друг друга.

Итак ты не будешь сердиться, мой друг: моя откровенность не может тебя задеть. Дай же мне руку и прости меня, если я ошибаюсь.

А ты, Александрина, ты также очень грустна. Смелее, смелее, друзья! Снова повторю вам мое старое присловие, и на сей раз повторю его с еще большим убеждением, чем прежде: всякая действительная потребность сердца рано или поздно получит удовлетворение, и в более великолепной форме, чем мы себе это представляли, так как мы — дети вечности, а вечность есть наше достояние, наше будущее.

Прощайте, мои добрые друзья.

Ваш брат и друг

М. Бакунин.

Танюша, получила ли ты мой портрет и довольна ли ты им или нет? Alexandrine, отдал ли тебе Павел мои волосы? Сестры, получили ли вы Псалмы Marcello?

Отдайте мое письмо маменьке и другое письмо Наталье *.

Мой адрес: Zürich, poste-restante **.

---

* Беер.

** Вся приписка (после подписи) по-русски в оригинале.

№ 466. — Письмо сестрам.

(14/26 февраля 1843 года. Цюрих).

$\frac{26}{14}$ Fevrier 1843. Zürich.

Милая Варинька! Я непременно должен еще раз говорить с тобой; я боюсь недоразумений; мне грустно б было, если б, не поняв существенного смысла моего последнего письма, ты приписала бы его отсутствию любви к тебе. Варинька, милый друг, ты не можешь не верить, ты должна безусловно верить моим уверениям. Скажи мне, что может заставить меня теперь обманывать тебя? Ведь мы никогда не увидимся с тобой; что ж могло бы заставить меня писать тебе, если б я был к тебе равнодушен? Разве не легче бы мне было молчать, если б я не любил тебя? Или ты думаешь, что страсть к спорам, к полемике принуждает меня говорить тебе неприятности? Но ты не можешь так думать; ведь мы — не дети более; мы испытали так много горького, настоящая жизнь наша так трудна, а потребность живой, согревающей любви в каждом из нас так сильна, что мы совершенно потеряли способность находить наслаждение в ребяческих спорах.

Верь мне, Варинька, я горячо и глубоко люблю тебя; все большие и маленькие недоразумения, разделявшие нас, давно исчезли из моей памяти; в сердце моем сохранилась только ты, истинная, живая Варинька, судьба и жизнь которой с самого детства моего неразрывно связаны с моею судьбою и жизнью.

Друг, пойми хорошенько, что я не могу оторваться от вас; мое я, мой собственный, личный внутренний мир вмещает вас в себе невольно, без всякого усилия; когда я говорю я, я говорю *мы*. Я не существую отдельно от вас; это мне еще яснее стало со времени моей разлуки с Павлом, а особливо в моем теперешнем одиночестве; и потому, Варинька, когда я осуждаю тебя, я осуждаю вместе и самого себя; я не осуждаю тебя как другой, но как ты сама осуждаешь себя. Я не осуждаю, но люблю тебя. Варинька, постарайся понять меня, войти в мое теперешнее положение. Я один, совершенно один, в душе моей замолкли все маленькие чувства, во мне нет теперь ни капли самолюбия; окруженный самыми трудными обстоятельствами, ничего не ожидая собственно для себя от темной будущности, самовольно покорившись своей судьбе и отказавшись от всего, что составляет

счастье человека и наслаждение жизнью, я теперь стою один, без ропота, без уныния, без горечи в душе, стою перед верованиями, которым я посвятил всю жизнь свою, и перед вами, кровными друзьями моими. Пойми, друг, что я говорю с тобою как умирающий, и что всякое слово мое проникнуто любовью и искренним убеждением. Я думаю, что ты рано или поздно поймешь, что я был прав, но если даже я и ошибаюсь, то в моей ошибке нет ни малейшего следа худых чувств. Варинька, ты должна верить, ты должна чувствовать, что я люблю тебя и как я люблю тебя, — или в тебе самой нет любви ко мне. Друг, дай же мне правую руку твою, пусть внешняя разлука наша никогда не будет внутреннею разлукою: мы не должны разлучаться, мы должны быть всегда вместе в любви нашей. Ты больна, друг, и физически и духовно больна, и я вполне сочувствую тебе, потому что я знаю, что такое духовная болезнь; я сам был долго, очень долго болен и только теперь начинаю понемногу выздоравливать. Но будем верить, друг, будем вместе стараться воскресить наши свежие юношеские верования, в которых было так много святой, глубокой истины! Будем хранить души наши от всех стесняющих предубеждений, откроем их снова всем живым впечатлениям, будем много и горячо любить, — потому что только одна любовь очищает и оправдывает человека, и предадимся смиренно и без ропота, но с верою воле провидения, которое рано или поздно и где бы то ни было приведет нас к нашей взаимной цели. Любить, прощать другим их вольные и невольные прегрешения, прощать и разрешать свои собственные грехи властью всеочищающей любви и действовать по мере сил своих, — вот, Варинька, единственный путь, предстоящий нам. И потому еще раз прошу тебя, дай мне руку твою и верь мне; не позабывай никогда, что ты имеешь во мне друга, который если и позволяет себе иногда заступать место твоей собственной совести, делает это только потому, что он любит тебя, как самого себя, и потому, что он не умеет разделять себя от тебя.

Прощай, друг. Никогда не переставай верить моей дружбе. Поцелуй и благослови за меня твоего Сашу.

Твой

М. Бакунин.

Милые сестры! Танюша, Саша, не позабывайте меня, мне грустно, очень грустно теперь. Целые два часа ходил я по озеру вечером, уж было темно; тучи черные, тяжелые, ветер порывистый, сырой, холодный, волны высокие, озеро синее, серое; а я с одним мальчиком распустил два паруса, быстро полетел по целому озеру, и мне было очень хорошо и весело, во мне пробудились такие бурные фантазии, что я заблагорассудил возвратиться домой, для того чтобы не позабыть действительности.

Перевод с немецкого.

№ 467. — Письмо Арнольду Руге.

Цюрих, 11 марта 1843 года.

Дорогой Руге!

Моя любовь и уважение к Вам и выказанное Вами мне участие вынуждают меня поговорить с Вами совершенно откровенно о моем теперешнем положении. Более того, я даже испытываю потребность сделать это и по мере возможности предупредить те сомнения, которые вероятно уже родились в Вас в результате странного стечения обстоятельств, но поистине не по моей вине. Я не стану повторять Вам того, что я уже говорил в моих прежних письмах относительно добросовестности моих надежд на получение денег: или Вы мне верите, и тогда повторения излишни, или же Вы мне не верите, и тогда они были бы столь же бесполезны, так как я уже сказал Вам все, что мог сказать.

Но я хочу Вам сообщить, что́ я решил сделать в случае, если ожидаемые мною из России субсидии не придут. Тогда у меня останутся только два выхода: или записаться в ряды chevaliers d'industrie * и унизиться до попрошайничества, или зарабатывать себе хлеб собственным трудом, так как в Россию, даже если бы мне обещали абсолютнейшую безопасность, я не возвращусь. Еще меньше могу я согласиться на позорную роль паразита. Таким образом у меня останется только работа в поте лица моего.

Здесь возникает вопрос, какую же работу я выберу. Я еще так непрактичен, у меня еще так мало практической и теоретической подготовки, что эта задача действительно трудно разрешима. Писательство было бы пожалуй таким средством; но дол-

* Человек, имеющий нечистые источники существования, мошенник.

жен признаться Вам, дорогой Руге, что я испытываю какое-то отвращение к писательству как единственному источнику заработка. Распространение идей и убеждений должно быть культом, и разве не рискуешь принизить этот культ, делая его единственным средством существования? Иначе пожалуй обстоит дело с теми, кто большими знаниями, талантом и прежними значительными произведениями уже составили себе имя, так что они своими новыми писаниями могут зарабатывать свой хлеб, не будучи при этом вынуждены изменять самим себе и деликатному сознанию религиозной убежденности спешкою и почти всегда неразлучно связанным с нею шарлатанством. Но я, обладающий столь небольшими знаниями и столь слабым формальным талантом, никому еще неизвестный, и только имеющий составить себе имя, я, способный писать только тогда, когда я бываю действительно и настоящим образом воодушевлен и проникнут своим убеждением, и столь еще слабый, что не в состоянии вынести охлаждающих рамок определенного срока, к которому должна быть готова моя работа, — я не могу и не смею прибегнуть к этому средству.

Фоллен, осведомленный вероятно Гервегом о моем трагикомическом положении, предложил мне, правда в самой деликатной форме, но все же так, что у меня сердце сжалось, не как равный равному, а скорее как покровитель (за что я на него также не в претензии, так как в конце концов он таким путем хотел мне помочь), — Фоллен предложил мне написать книгу о России. Против этого предложения я, сверх вышесказанного, имею возразить следующее:

1) Для того, чтобы написать что-либо порядочное, я должен был бы поработать над этой книгой целый год; а так как никаких иных средств на пропитание у меня не было бы, то я принужден был бы в течение всего этого времени жить на чужой счет, а это для меня невозможно, я за последнее время слишком хорошо это почувствовал. Хороша ли эта гордость или дурна, но я твердо решился впредь больше никому не быть обязанным — обязанным в материальном отношении. Да, милый друг, эта гордость безграничной независимости составляет для меня единственное условие, условие sine qua non * моего личного достоинства, а последнее есть единственное достояние, которое я спас во время

---

* Обязательное.

моего кораблекрушения. Я должен сохранить ее чистою от всякого пятна, даже от малейшей видимости загрязнения. Обстоятельства и нынешнее мое настроение заставляют [меня] теперь держаться самого ригористического пуританизма.

2) Если бы я хоть был уверен, что моя книга о России встретит действительно сочувственный прием и принесет мне средства для уплаты денег, потраченных мною в течение этого года работы; но как я могу это знать? В своей доброй воле, в своем образе мыслей, в своей решимости сохранить верность своим убеждениям, доколе в жилах моих будет течь хоть одна капля крови, я уверен. Но образ мыслей — еще не талант. Я не знаю, есть ли у меня действительный талант, способен ли я действительно создать что-либо значительное. Не думайте, будто я настолько самонадеян, что считаю свою небольшую и неважную статью в «Немецких Летописях» доказательством своего таланта и призвания. Итак мне, быть может, придется потратить целый год и жить из милости других для того, чтобы после того убедиться в своей неспособности выкупиться из этой неволи признательности. Нет, это для меня невозможно, на это я не могу пойти.

Но есть еще и *третья* причина, по которой я не могу согласиться на предложение Фоллена. Я могу решиться писать о России и высказать насчет России самую горькую и печальную правду, ничуть не опасаясь согрешить этим против своего отечества. Но никогда я не смогу решиться написать такую книгу о России из нужды: это противоречит моей любви к родине. Милый Руге, надеюсь, что Вы меня поймете, и что если это соображение даже покажется Вам слишком претенциозным и слишком деликатным, Вы мне простите его, считаясь с моим несколько остро-раздражительным настроением [1].

Что же я теперь предприму?

Я еще немного подожду; я далеко еще не уверен в том, что деньги не придут; напротив, я еще довольно твердо надеюсь вскоре их получить, а потому всякий решительный шаг был бы пока еще донкихотством. Отношения и обстоятельства должны еще больше выясниться; я буду ждать еще месяц, пожалуй даже два месяца. А затем я продам все мое хорошее платье, все, что у меня есть в качестве члена образованного общества, за исключением книг и некоторых мелочей, дорогих мне по воспоминаниям, и сделаюсь настоящим пролетарием, ремесленником [2].

Вы, быть может, скажете, что и это сопряжено с известными трудностями. Я хорошо это знаю: трудности, и даже очень большие трудности, имеются во всем, что предпринимается всерьез. Прекрасно знаю, что в любое ремесло я приду без всяких знаний, но я верю, что с помощью твердой воли, более того — страстной, религиозной воли можно преодолеть все трудности.

Быть может, этот шаг покажется Вам слишком эксцентричным, слишком отчаянным. Но именно по этой причине я и собираюсь его сделать.

Милый Руге, попробуйте на минуту поставить себя в мое положение. До сих пор я жил в достатке и в материальной независимости; теперь обстоятельства заставляют меня от этого отказаться, и таким образом у меня остается только два выхода: или занять половинчатое, непрочное, насквозь зависимое, а потому недостойное положение, или же перейти в совершенно новое и, философски выражаясь, качественно отличное положение, в некий — даже в своей бедности или, точнее, именно благодаря своей бедности — независимый и цельный мир. Да, милый друг, признаюсь Вам откровенно, я нахожу некоторую заманчивость в том, чтобы так поступить, чтобы дать себе самому это реальное и несомненное доказательство моей свободы. Вы знаете, человек так уже устроен, что всякое принятое им решение сопровождается в его сердце множеством фантазий. И у меня есть свои фантазии. Кто знает, не буду ли я полезен на этом пути? Быть может, полезнее, чем на всяком ином? В таком случае я за немногими изъятиями распрощусь со всеми знакомыми и друзьями и целиком и безраздельно предамся с религиозною страстью новому миру, к которому отныне буду принадлежать. В этом мире я стану искать себе новых друзей и новых братьев, я пущу в ход все присущие мне физические и духовные силы, чтобы создать что-нибудь хорошее, и буду искать своего собственного, личного счастья в сознании и в чувстве моей любви, моего самоотречения и моего незапятнанного достоинства. И если даже мне не удастся создать что-либо, то я по крайней мере сохраню ненарушимое сознание своего достоинства и своей доброй воли, не отступающей ни перед какою последовательностью. Впрочем, Вы не должны особенно тревожиться насчет моей судьбы: я, благодарение *разуму*, здоров и могу многое вынести, и если мне действительно придется совершить нечто значительное, то никакая жертва не может почитаться достаточно великою, чтобы возблагодарить за

13*

это судьбу. Если же я по природе обречен на духовное бессилие, то мне поистине и без фраз совершенно безразлично, умру ли я так или иначе.

Но теперь остается еще последняя трудность, а именно мои *долги*. И это — единственное, что меня действительно мучит. Мое самолюбие никак еще не может свыкнуться с призраком нечестности, от которого я не могу отвязаться *. Но что делать? Придется примириться и с этим последним унижением. Впрочем, это не сможет долго продолжаться **. В случае, если благодаря обстоятельствам я действительно принужден буду обратиться в пролетария, я попрошу Вас взять от меня формальный вексель на всю сумму моего долга; никакое правительство не в состоянии будет воспрепятствовать его оплате, и я ни на минуту не сомневаюсь в том, что Вам будет по нему уплачено. Тогда Вы будете так добры, что расплатитесь со всеми моими кредиторами. А до тех пор я прошу Вас больше за меня не отвечать; с моей стороны было бы нечестно допускать Вашу дальнейшую ответственность за меня, так как в настоящий момент я потерял всякое мерило уверенности: по законам человеческой уверенности я давно уже должен был бы получить ожидаемые деньги, а между тем их все еще нет. Если бы я мог только открыто написать в Россию, но с русской цензурой писем ничего не поделаешь. Я мог бы только скомпрометировать моего брата Павла и [И. С.] Тургенева[3].

Ну-с, милый Руге, теперь я доволен, исповедавшись перед Вами полностью. Отныне я могу снова говорить с Вами свободно. Но сейчас я не воспользуюсь этою свободою, так как уже очень поздно, и я должен пойти спать, чтобы *** завтра встать пораньше. Я теперь работаю весьма прилежно и небесплодно.

Вы наверно уже знаете, что Гервег 8 марта обвенчался в Бадене. Он и его жена совершенно счастливы. Он написал уже множество эпиграмм, которые своею меткою и изящной простотою зададут этим господам жару и будут для них весьма неудобоваримы. Подробнее об этом в другом письме. Теперь я должен кончать.

Еще одна просьба, дорогой Руге. Покажите это письмо г-же Пескантини и от моего имени попросите ее перевести его

* Дальше по-французски в оригинале.

** Отсюда снова по-немецки в оригинале.

*** В оригинале описка: und вместо um.

своему мужу: он также принимал участие во мне и в моих долгах, и потому я должен быть откровенным и с ним.

Прощайте. С добрым утром, дорогой друг.

Ваш

М. Бакунин.

Перевод с немецкого.

№ 468. — Письмо Арнольду Руге.

Цюрих. 19 марта [18]43 года.

Дорогой Руге! * Я вполне согласен с Вашей идеей и посылаю Вам при сем вексель на 2½ тысячи талеров на Петербург. Из моего письма ** Вы усмотрите, что я уже сам имел это намерение. Это — очень хорошее средство, так как никакое правительство не будет в состоянии воспрепятствовать оплате этого векселя. В данном случае это вряд ли мыслимо, хотя необходимо сказать, что для нашего правительства нет ничего невозможного. Моя догадка, что российское правительство является единственною причиною неаккуратности моих родных и друзей, которая иначе была бы совершенно непонятна (здесь два слова зачеркнуты), теперь превратилась в уверенность. Представьте себе, что я до сих пор не получил ответа на мои письма из Лейпцига и Швейцарии, а я очень много писал моим родителям, Павлу и другим моим братьям и сестрам, Тургеневу и г-же Татищевой (?). Вы вообще знаете, как часто мне писали из России. В последнем письме от 14/26 января моя сестра пишет мне, что она получила письмецо от меня к Павлу *** и немедля перешлет его в Москву. Я его написал (одно слово зачеркнуто) за два часа до своего отъезда из Лейпцига. Письма отсюда прекрасно доходят в два дня в Москву. Но допустим даже, что Павел получил его 2 или 3 февраля. Содержание его было столь важно, что он несомненно ответил [бы] мне немедленно. Письма из Мо-

* Имя Руге кем-то зачеркнуто, но что это письмо именно к нему, не может быть сомнения.

** От 11 марта 1843 года (№ 467).

*** От 2 января 1843 года (№ 459).

сквы в Дрезден доходят в 14 дней. Следовательно его ответ должен уже давно был быть здесь, точно так же ответы на письма, которые я писал всем 9 января из Базеля. Лень моих русских корреспондентов никак не может быть причиною их молчания, так как они в общем никогда не были ленивы и так как бывают обстоятельства, когда самый ленивый становится прилежным. Невозможно также, чтобы все они умерли или с ними случилось несчастье! Несомненно тут действует рука русского правительства, так что я теперь сам боюсь писать в Россию. Это могло бы скомпрометировать моих родных и друзей.

Что касается меня лично, то я уже ничего больше не боюсь, так как я давно и абсолютно скомпрометирован. Теперь я со дня на день жду приказа моего правительства, и мне не приходится говорить Вам, что я на это отвечу. Я предпочитаю свободу и нищету позолоченному, блестящему рабству. А так как я имею здоровые руки и ноги и к тому же твердую и сильную волю, то, надеюсь, буду в состоянии избежать нищеты[1].

Итак я посылаю Вам вексель на 2½ тысячи талеров через Тургенева для оплаты банкиром Штиглицем в Петербурге. Лучше всего было бы оплатить его через лейпцигского банкира, так как Ташель и Басанге в Дрездене — банкиры нашего посольства. Я прилагаю небольшое письмо к Тургеневу, которое вы будете любезны переслать ему через того же банкира. Адрес я сам надписал. Быть может, таким образом письмо дойдет к нему, не возбудив внимания русского правительства. Я написал на векселе 2½ вместо 2 тысячи талеров, чтобы и мне кое-что из этого осталось. Денег, которые останутся мне тогда по уплате моих долгов, хватит мне до лета, а весною мои родители уже найдут средства, чтобы послать мне деньги, так как к этому времени всегда имеется много отъезжающих.

Признаюсь от всего сердца, дорогой Руге, что я до сих пор был беспорядочным человеком. Но с другой стороны я знаю также, что я уже преодолел эту беспорядочность. Бережливость впервые практически предстала предо мною как основное условие моего личного достоинства. Смею уверить Вас, что этот урок не пропал напрасно.

О моих дальнейших планах на будущее я немного могу Вам теперь сказать. Я уже писал Вам, что я решил сделать на тот случай, если не получу из России денег; при этом я остаюсь. Верьте мне, друг мой, что это — не эксцентрическая причуда, а

плод зрелого размышления и необходимый результат моего нового опыта и всего моего теперешнего настроения.

Что касается предложения Пескантини, то я не знаю, вправе ли я теперь принять его. Я в свое время принял его и просил Пескантини заняться моими денежными делами, потому что я считал себя еще состоятельным человеком и думал, что тогдашнее расстройство моих денежных дел было лишь преходящим. Как независимый человек, т. е. обладая материальной возможностью в любой момент оставить его, я мог бы без малейших угрызений совести оставаться у него целый год, ибо взаимное удовольствие совместной жизни было бы тогда единственною причиною моего продолжительного пребывания у него. Я убежден, что это было бы для меня больше чем удовольствием, так как я от всего сердца уважаю и люблю Пескантини, равно как и его жену. Его благородный, открытый характер внушает мне величайшую симпатию. Но теперь обстоятельства изменились. Я больше не независим, я уже не имею средств, чтобы жить нестесненным. Я буду вынужден оставаться там, где я бы не хотел или не должен был оставаться. Если бы я принял предложение Пескантини, то я каждый момент боялся бы оказаться ему в тягость своим присутствием и тем не менее не мог бы его оставить. Быть может, эти мои опасения оказались бы совершенно необоснованными. Но Вы знаете, дорогой друг, что действительно свободное усмотрение возможно только при действительно практической свободе и что практическое неустройство является неизбежным источником сомнений и рефлексий. Я вполне убежден, что самому Пескантини было бы совершенно безразлично держать меня у себя в качестве состоятельного и независимого или бедного и зависимого человека. Я знаю, что он слишком благороден, чтобы хоть сколько-нибудь считаться с этим. Но для меня это не безразлично. Чистое, незапятнанное чувство моей независимости является для меня, как я уже Вам писал в предыдущем письме, условием sine qua non моей нравственной силы, моего достоинства, и если я потеряю их, то что мне тогда останется? Ведь это теперь — единственное добро, которое я действительно могу назвать своим. Прошу Вас, дорогой друг, и это письмо показать его супруге и просить ее перевести его ее мужу. Мне теперь очень важно быть безусловно откровенным с людьми, которых я уважаю и люблю, потому что только откровенность может теперь в моем новом

положении сохранить для меня в чистоте отношения, которые мне дороги.

Впрочем я еще ничего не решаю определенно *. Пескантини прибудет в Швейцарию в мае, говорите Вы, а до того многое может еще измениться.

Что же сказать Вам еще, мой дорогой друг? Я начал переводить на французский язык Вашу жалобу в саксонскую палату **. Перевод будет готов в 3—4 дня. Тогда я напишу небольшую статью о немецких делах и пошлю все Пьеру Леру [2] для его «Revue Indépendante». Не думайте только, что обстоятельства подействовали на меня деморализующим образом. Напротив я чувствую в себе юношескую силу, которая, надеюсь, поможет мне еще многое перенести и, быть может, также создать нечто хорошее. У меня в голове много немецких и французских планов. Я теперь прилежно работаю над тем, что мне необходимо для исполнения их.

Гервега я уже давно не видал по той весьма простой причине, что у меня сейчас нет достаточно денег даже для небольшой поездки в Баден. Впрочем я знаю, что он и его жена здоровы и счастливы. Он много работает и снова начинает проявлять производительность.

В цюрихской мировой политике нет ничего нового. Ново только то, что повидимому носятся с намерением выслать меня отсюда. Я не знаю причины этого, потому что невозможно вести себя спокойнее и безобиднее, чем я это делаю. Я почти никого не вижу и по целым дням сижу дома. Но повидимому мне оказывают честь считать меня опасным и значительным человеком [3]. Я спокойно буду ждать результатов, тем более что ничего другого мне и не остается. Что я предприму в случае, если меня действительно вышлют отсюда, я не знаю и в настоящее время очень мало об этом забочусь. Если до этого дойдет, тогда видно будет. Мое теперешнее положение настолько смехотворно, что я действительно с некоторым безразличным любопытством выжидаю результата. С того момента, как я нашел для себя в пролетариате радикальное средство против всех превратностей судьбы, я вполне успокоился насчет своей будущности и всецело погрузился в настоящее моих трудов [4].

---

* Эта фраза написана по-французски.

** Речь идет о петиции, поданной А. Руге в саксонский сейм («земские чины») по поводу закрытия его журнала «Deutsche Jahrbucher».

Мой милый друг, будьте здоровы, кланяйтесь всем Вашим и не забывайте меня.

Ваш

М. Бакунин.

Вексель и письмо к Тургеневу я Вам пошлю завтра. Я еще спрошу у [Ю.] Фребеля, правильно ли я его написал.

№ 469. — Письмо брату Павлу.

[Цюрих. Апрель 1843 года.]

Милый друг! Наконец получил я от тебя ответ после долгого и беспокойного ожидания. Беспокойство мое касалось гораздо более тебя, чем меня самого, потому что, сделав все, что от меня зависело, для того, чтобы освободиться из неприятного положения, я предался воле судьбы и был готов на все, что со мною могло случиться. В последнее время я даже перестал ждать от тебя писем, полагая, что причины, независящие от тебя, мешают тебе отвечать мне. Последние три месяца, протекшие со времени моего отъезда из Дрездена, были для меня довольно трудным, но вместе и весьма полезным испытанием. Я убедился, что моя воля, мое решение быть верным самому себе, несмотря ни на какие обстоятельства, в самом деле действительны; я убедился, что я не обманываю себя и других фразами, и что путь, избранный мною, назначен мне моею судьбою, определением моей собственной сущности. И потому я был спокоен, работал и двигался вперед по мере сил своих. — Но с беспокойством думал я о тебе; мне иногда становилось за тебя страшно; я ничего не знал о твоем свидании с Alexandrine *, не знал, где ты и на что ты решился.

С невыразимым беспокойством думал я также о Танюше и Вариньке; я знал из предыдущих писем, что обе больны, и боялся за них обеих. Слава богу! Все идет еще хорошо, по крайней мере гораздо лучше, чем я думал. Твое коротенькое письмо освободило меня от огромной тяжести. Милый друг, ты просишь, чтобы я не позабывал тебя, чтобы я не уединялся от тебя. Тебе не нужно просить меня об этом; ты для меня — то же, что я для тебя; я не могу стать для тебя чуждым, мы слишком глубоко сжились друг с другом, для того чтобы отчуждение бы-

* Беер.

ло для нас в малейшей степени возможным. Когда мы снова увидимся, — и я надеюсь, что это будет очень скоро, — ты найдешь во мне ту же любовь, ту же откровенность. Да, моя любовь к тебе стала еще глубже со времени нашей разлуки; ты никогда не перестанешь занимать первое место в моем сердце. Будь только во мне столько уверен, сколько я уверен в тебе, будь только мне столько же верен, сколько я тебе, и я ничего более не требую.

Твое свидание с Alexandrine было грустно, Павел, но слава богу, что оно уже позади тебя. Я не хочу ни оправдывать, ни утешать тебя: ты сам знаешь все, что я мог бы сказать тебе в твое оправдание и утешение; и к чему оправдываться? Ты был виноват против нее, но в твоей вине не было ничего низкого, бесчеловечного. Ты ошибался с нею вместе. Одного желаю я только для тебя, — сохранения святых, дружеских отношений с нею, если это только возможно. Вы оба достойны такой дружбы и, я думаю, оба способны к ней. Для вас обоих будет такая дружба источником горького, но вместе святого утешения [1].

Я жду тебя, Павел, и, если возможно, привези ко мне Танюшу [2]. Она могла бы возвратиться осенью, а свидание было бы для нас обоих таким счастьем; неужели это решительно невозможно? Она вздохнула бы свободно и хоть минуту пожила бы свободною, полною жизнью, а минут презирать не надо; ведь ты знаешь: вечность — минута.

Как расположена теперь Варинька к Ел[изавете] Петр[овне]? * Я не мог удержаться, я должен был высказать ей мои чувства насчет ее поступка с Ел[изаветой] Петр[овной]. Как приняла она слова мои? Неужели упорствует она в своем гордом и нищенском теоретическом самосозерцании? Неужели успела она предубедить сестер против женщины, которую мы с тобою так свято, так страстно любим и которой мы так много, так много обязаны? Я не могу перестать любить Вариньку; моя любовь к ней не зависит от моей воли; но я не могу свободно говорить с ней, и свободное выражение моей любви к ней до тех пор будет невозможным, пока она не освободится от этих мелочей, пока она не возвратится в ту широкую и свободную область, в которой основана наша дружба, в которой мы во время оно понимали и чувствовали друг друга. И потому мне предстояло только два выбора: или выговаривать ей мои чувства без всякого ограничения или молчать. Я избрал первое, потому что я верю в глубо-

* Языковой.

кое основание нашей дружбы, потому что верю в неразрывность ее. Ты знаешь, я ненавижу осуждения, когда они касаются практических, свободных поступков человека. Ошибка для меня не только простительна, но в некотором отношении священна. Но теоретическое самодовольствие во лжи, но теоретически-мелочная торговля для меня невыносимы. Милый Павел, я на твоем месте не был бы спокоен, пока мне не удалось бы убедить по крайней мере других сестер в несправедливости их предубеждений против Елиз[аветы] Петр[овны], пока я не заставил бы их полюбить ее. И я уверен, что это совсем не трудно; сестры имеют потребность любить и умеют любить; а кто имеет потребность любить, кто практически знает, что свобода — только в любви, и что только действительная любовь может освободить человека от тесных границ индивидуальности, для того встреча с новым предметом любви — счастье.

Милые, добрые сестры, не сердитесь на меня; будьте уверены, что не любовь к спорам, но любовь к вам, к вам трем без всякого исключения заставляет меня так говорить. Что же делать? Я не могу перемениться, я должен волею или неволею следовать законам и независящим от меня условиям моей природы. Я не могу говорить иначе; я должен или говорить так, как я думаю или чувствую, или молчать, — а ведь вы не хотите, чтоб я молчал с вами.

Танюша, получила ли ты мой портрет и довольна ли ты им? Получили ли вы псалмы Marcello и другие духовные сочинения, посланные мною вам через Ригу?

Поблагодари Николая за все его хлопоты обо мне; женился ли он наконец * и подарил мне новую сестру, сестру, которую я обещаю ему любить весьма нежно? Будет наконец г-жа Бакунина, которую мы сможем любить и уважать от всей глубины наших сердец. Ты счастливее нас, мой добрый, мой благородный Николай: вместе с такою женою, как Анна Петровна **, ты приобрел еще мать, ты будешь знать, что значит иметь мать, чего мы никогда не знали, что бы ты об этом ни говорил.

Ольга Яковлевна *** всегда была для меня идеалом матери и осталась им до сего дня. Теперь она — твоя мать или скоро

---

* Дальше по-французски в оригинале.

** Слова «Анна Петровна» (Ушакова) по-русски в оригинале.

*** Слова «Ольга Яковлевна» (мать Анны Петровны) по-русски в оригинале.

станет ею. Но это преимущество я хочу разделить с тобою. Я знаю, что у нее всегда была слабость, нечто вроде предпочтения ко мне, и отныне я объявляю себя ее сыном, даже не спрашивая ее разрешения. Поклонись ей от меня, равно как своей жене или невесте и Екатерине Петровне *.

Ну, Павел, теперь еще несколько слов о наших *вечных* финансовых делах. Ты пишешь, что родители послали мне 1800 р., а Тургенев пишет, что он также посылает 1000 рублей. Вероятно, что эти деньги посланы вами в Дрезден, где их Руге употребил вероятно на заплату части моих долгов. Я говорю вероятно, потому что от него я об этом не имею еще никакого известия. Как бы то ни было, но я в Цюрихе все еще сижу как рак на мели, т. е. с долгами и без копейки денег. И потому я прошу тебя или Тургенева выслать мне, если есть только возможность, 1 500 или 2000 рублей прямо в Zürich, poste-restante **. Впрочем я описал тебе в предыдущих письмах свое положение и уверен, что вы сделаете все, что от вас будет зависеть. Главное, отвечай мне только скорее и пиши мне чаще, — ведь я ничего не плачу за письма.

Эти три месяца я работал очень прилежно и обогатился многими мне необходимыми познаниями. Между прочим сделал большие успехи в итальянском языке и напишу тебе скоро, caro amico, una epistola italiana per provarti che non hò perduto il mio tempo nella tua assenza ***. Многое, что при тебе было для меня еще в форме предчувствия, стало для меня теперь совершенно ясным, а старые предчувствия уступили место новым.

Дня через четыре отправлюсь я навстречу Pescantini на остров J.-J. Rousseau в lac du Bienne ****; там проведу я с Pescantini и с женою его дней десять и опять возвращусь в Цюрих, а в конце мая оставлю Цюрих и поселюсь у Pescantini на берегу Женевского озера и буду ждать там тебя с Танюшею [3].

Прощай, Павел, прощайте, друзья.

Ваш

М. Бакунин.

---

* Слова —Екатерина Петровна» (сестра Анны Петровны) по-русски в оригинале. Дальше снова по-русски в оригинале.

** Цюрих, до востребования.

*** «милый друг, итальянское письмо, чтобы доказать, тебе, что я с твоего разрешения не терял даром времени» (по-итальянски в оригинале).

**** Остров Ж.-Ж. Руссо на Бьеньском озере.

Перевод с французского и немецкого.

№ 470. — Письмо братьям.

10-го мая 1843 [года. Цюрих].

*A Paul ou à Nicolas ou, s'ils ne sont pas là, à mes soeurs**.

Милый Павел! Сейчас только возвратился я домой и нашел на столе письмо от Р[уге], которое прилагаю тебе. Не получая ни от кого из вас писем и полагая, что мои и ваши письма *теряются* **, я решился послать Тургеневу по требованию Руге через банкира вексель в 2.500 тал[еров], с приложением записки, в которой я говорю ему, чтобы он не пугался; что вексель *не должен быть* выплачен немедленно, чтобы он дал мне денег столько, сколько может, а об остальном, в случае же безденежья — обо всем дал бы знать через тебя отцу. Между тем я получил от вас и от Тургенева письма. Тургенев пишет мне, что он берется выплатить 2.000 т[алеров] впродолжение года, и что он известил уже об этом Р[уге]. Кроме этого он мне пишет, что он выслал уже мне 1.000 руб. Ты же пишешь, что папенька выслал мне 1.800 руб. Вопервых ни я ни Руге не получали со времени твоего отъезда и до сих пор ни копейки, а вовторых прочти письмо Руге и ты поймешь, в каком я теперь нахожусь положении. Я не хочу писать Тургеневу: он сам мне ничего не пишет. Что он не заплатил банкиру, мне понятно; но я не понимаю, почему, зная очень хорошо, что мне приходится плохо не на шутку, он не дал тебе знать о векселе, почему он прямо отказался быть посредником между Штиглицом и отцом.

Впрочем теперь не до Тургенева. Что заставило его так поступить, не знаю; может быть, причины, не зависящие от него. Я надеюсь, что ничто другое.

Вспомни, Павел, в каком финансовом положении ты меня оставил, вспомни, что до сих [пор] я решительно не получил еще ни копейки, и что я был следовательно принужден жить на счет других.

Теперь все остальные средства истощены. Впрочем, если б и были еще средства, то я ни за что в мире не решился бы более прибегнуть к ним. Я мог занимать до тех пор, пока был уверен

---

* Павлу или Николаю или, если их там нет, моим сестрам.

** Курсив намекает на то, что письма перехватываются жандармами.

в Тургеневе и в успехе твоих забот, в которые я безусловно верю, друг; но теперь это было бы с моей стороны бесчестно: в чем могу я быть теперь уверен?

Павел, мое положение так невыносимо тяжело, что если б во мне было менее веры, то я право застрелился бы. Впрочем и на это я не имею права теперь: сперва я должен заплатить долги. Je ne suis plus libre, je suis esclave, je n'ai pas même le droit de disposer de ma vie *.

Павел, мне грозит бесчестье и совершенный разрыв всех моих отношений **. Я готов на все, я буду бороться с обстоятельствами до последней возможности, я погружусь в полное одиночество, я сделаюсь рабочим и постараюсь сохранить в себе веру, которая до сих пор так хорошо меня поддерживала. Не бойся же за меня, ты меня достаточно знаешь. У меня есть энергия в воле и хорошее здоровье, значит я могу еще многое вынести. Но наша обязанность, наш священнейший долг заключается в том, чтобы сделать все зависящее от нас ради спасения от бесчестья, если вообще спасение еще возможно. Нельзя терять ни минуты: ты должен все сказать отцу. Посоветовавшись предварительно с братом Николаем, ты должен передать отцу прилагаемое при сем письмо. Я понимаю, что вам тяжело будет сделать это, но здесь колебаться не приходится, ибо бесчестье представляется не далекою возможностью, — оно уже налицо, оно уже наступило: чтобы убедиться в этом, достаточно тебе прочесть только письмо Р[уге].

Вы должны просить его уплатить долги и дать мне сумму денег на прожитие в течение одного-двух лет. Вот все, чего я прошу; после этого я никогда ничего не попрошу. Если он даст мне 16.000 рублей, мне этого хватит: 10.000 р. для уплаты долгов и 6.000 р. для меня. С этими деньгами я проживу два, даже три года, а затем будет так, как захочет судьба. Но тогда я буду по крайней мере свободен и ответствен только перед самим собой.

Я снова перечитал письмо Р[уге]. Я его еще не хорошо понял: оно гораздо еще хуже, чем я воображал. Павел, нельзя те-

---

* Я более не свободен, я — раб, я даже не вправе распорядиться своею жизнью.

** Отсюда до конца письма по-французски в оригинале.

рять ни минуты. Как я проживу завтрашний день, не знаю: у меня в кармане всего 2 франка *.

Прощай, завтра напишу папеньке. Сегодня не в состоянии.

Твой

М. Бакунин.

Пошли письмо R** Тургеневу и объяснись с ним. Я не в состоянии.

Поцелуй за меня сестер и братьев и не показывай письма моего Танюше. Она, бедная, больна.

В случае нужды прибегни к тетеньке Анне Михайловне ***. Она могла бы заложить именье.

Не теряйте времени, братья. Поймите, как тяжела для меня каждая минута, проведенная в этом недоумении. Поймите, что теперь мое положение ежеминутно будет ухудшаться.

Отвечайте мне немедленно, братья! Не обманывайте себя ****. Чтобы получить сумму, нужную мне сейчас, есть только два средства: или отец должен решиться на продажу одного из своих имений, или тетушка Анна Михайловна должна заложить ***** свое. Если оба они откажутся это сделать, я — банкрот и обесчещен, так как я не могу ждать даже и полгода. Вот даже сегодня я вышлю всем своим кредиторам векселя на три месяца, до 3/15 августа. По истечении этого срока они будут иметь право и возможность посадить меня в тюрьму. И я не только не стану уклоняться от этой неприятности, но напротив сам буду искать ее как крайнего средства доказать им, что я не хотел их обмануть.

Если родители или тетушка Анна Михайловна ****** дадут формальное согласие, т. е. так, чтобы немедленно в тот же день приступить к необходимым мерам для выполнения своего согласия, тогда вы сможете принять и другие меры. Ибо даже в случае их согласия дело на некоторое время все же затянется,

* Дальше по-русски в оригинале.

** Руге.

*** Бакунина.

**** Отсюда снова по-французски в оригинале.

***** Слова «Анна Михайловна» и «заложить» по-русски в оригинале.

****** «Анна Михайловна» по-русски в оригинале.

а мои дела обстоят так, что для меня даже малейшее промедление сделалось невозможным. *Мне больше не доверяют,* меня считают обманщиком или мошенником.

[1.] В случае формального согласия того или другого лица напишите Тургеневу или Елиз[авете] Петр[овне] * и просите их раздобыть для вас денег, которые вы уверенно сможете обещать им выплатить в скором времени, т. е. немедленно по устройстве дела. Но обратиться к ним вы можете только в случае полной уверенности, иначе ни за что на свете.

2. Павел, ты должен немедленно написать доктору Руге (которому нужно заплатить в первую очередь, если возможно — безотлагательно, ибо его дела пришли в расстройство и он страдает по моей вине), а также доктору Вольфу, Герсткампфу и Арнольду через Руге (адрес Руге: г-ну доктору Арнольду Руге в Дрездене).

3. Затем, *все в случае успеха,* — ибо я предпочитаю умереть с голода, чем получать от вас деньги, прежде чем не уверюсь твердо, что моим кредиторам будет скоро, *скоро* заплачено, — вышлите мне деньги в Цюрих.

Вот все, что я могу вам сказать в данный момент, ибо я не в состоянии что-либо прибавить. Милые друзья мои, сделайте то, что от вас будет зависеть. Если вам удастся, тем лучше; если нет, не впадайте в отчаяние: есть несчастия большие, чем это, и есть несчастные, положение которых много хуже моего.

Только любите меня всегда и не позабывайте меня.

Прощайте.

Ваш брат

М. Бакунин.

Не дожидайтесь крупных сумм для отсылки Руге; сначала посылайте ему, сколько можете. Но главное напишите ему.

* Слова «Тургеневу» и «Елиз. Петр.» по-русски в оригинале.

[*Первое приложение к письму.*].

Мой долг.

T. N.g. Pf.

1. Pescantini (Пескантини) . . . 131—18
2. Ruge (Руге) . . . . 541—25—6
3. Bondi (Бонди) 6
4. D-r Wolff (д-р Вольф) 300
5. Schneider Müller (портной Мюллер) 100
6. Kourmousi (Курмузи) . . . . . 33—21—6
7. Alex (Алекс) 40
8. Gerstkampf (Герсткампф) . . 444
9. Marie Ditmarsch (Мария Дитмарш) . . . . 26— 4
10. Netke (Нетке) . . . . 41—17—5
11. Arnold (Арнольд) . . . . . 453— 2—5
12. Schuster Gömann (сапожник Геман) . . . . 30— 5

2.148—4—2

В Берлине 400
В Цюрихе с заплатою Schnei.
Schneider'a 400

2.948—почти 10.000 руб.

Долги, требующие немедленной заплаты.

1. Ruge . . . . 541—25
2. Bondi 6
3. D-r Wolff 150
4. Schneider Müller 100
5. Kourmousi . . . . 33—21
6. Alex 40
7. Gerstkampf 200
8. Ditmarsch . . . . 26— 4
9. Netke . . . . 41—17
10. Arnold 200
11. Schuster . . . . 300— 5

1.470 и
400 в Цюрихе

1.870

Pescantini обещал мне и может подождать.

Что ж касается до Вольфа, Герсткампфа и Арнольда, то если им будут высланы назначенные суммы с письменным обещанием скоро выслать остальное, то они на некоторое время успокоятся *.

[*Второе приложение к письму*].

Вот письмо Руге**.

Несколько дней тому назад я получил обратно Ваш вексель с следующим письмом Бассенге ***: «Настоящим извещаем Вас, милостивый государь, что по сообщению, полученному сегодня из Санкт-Петербурга, г. Иван Тургенев письменно заявил, что не в состоянии ныне заплатить сумму в 2500 талеров и на этот счет уже написал векселедателю г. М. Бакунину. Поэтому мы вынуждены возвратить Вам этот вексель».

Весь Ваш долг составляет 2150 талеров.

Каким путем Вы сумеете уплатить эту сумму, представляется мне чрезвычайно сомнительным. Вы *переоценили* как средства Ваши и Вашего батюшки, так и кассу Тургенева. *О моих я уже и говорить не стану, так как здесь я сам кругом виноват, ибо сам добровольно дважды предоставил в Ваше распоряжение как мое поручительство, так и мою кассу.* От всей души желаю Вам выпутаться из этого затруднительного положения и убедить Вашего отца, что он не должен был так долго оставлять Вас и других членов Вашего семейства за границею без денежной помощи.

Счета посторонних лиц я не могу дольше оставлять без движения. Арнольдам я уже сообщил ответ Бассенге. Они обратились прямо к Павлу, после того как Рихтер дал им его адрес. С Герсткампфом я еще не разговаривал. Напишите мне, что Вы намерены предпринять с другими счетами. Должен ли я переслать их Вам или временно вернуть владельцам? Ведь если я оставлю их у себя, то этим я возьму на себя перед этими людьми обязательство, выполнить которое я в ближайшее время не сумею. Если все пойдет согласно Вашему желанию, то Павлу и без того придется снова приехать сюда лично, и тогда он смо-

---

* Переводы в скобках даны редакцией.

** Дальше следует сделанная рукою Бакунина копия немецкого письма Руге.

*** Банкир в Берлине.

жет заняться непосредственным улажением всего дела. Итак Вам угодно будет самому получить счета, просмотреть их и написать Павлу, какие он должен оплатить целиком, а какие со скидкою.

Ответит ли мне снова Тургенев, я не знаю. По времени это возможно, так как я писал ему гораздо позже отсылки векселя в Петербург. Вы не будете на меня в претензии за то, что настоящий оборот Ваших дел меня в известной мере расстраивает. Поэтому сегодня я не расположен больше ничего прибавлять.

Ваш
А. Руге *.

Комментарии не нужны. Впрочем не обвиняйте Р[уге]. Он прав, он сделал для меня все, что мог сделать, il m'a montré beaucoup, beaucoup d'amitié **.

Перевод с немецкого.

№ 471. — Письмо Арнольду Руге.

Остров Петра на Бьеньском озере.

Май 1843 года.

Наш друг М. передал мне Ваше письмо из Берлина. Вам, кажется, не нравится положение в Германии. Вы не видите ничего кроме семьи и филистера, который засел в своих четырех стенах со всеми своими мыслями и желаниями, и не хотите верить в весну, которая выманит его наружу. Милый друг, только не теряйте веры, именно Вы не теряйте ее. Подумайте, я, русский, варвар, не теряю ее, я не перестаю надеяться на Германию, а Вы, стоящий в самом сердце ее движения, Вы, доживший до его начала и столь пораженный его расцветом, Вы хотите теперь обречь на бессилие ту мысль, которой Вы доверили все, пока еще не была испробована ее мощь? О, конечно, я согласен, что еще очень далеко до немецкого 1789 года. Но когда же немцы не отставали на целые столетия? Однако это не значит, что теперь время сидеть сложа руки и приходить в малодушное отчаяние. Если уж такие люди, как Вы, перестают верить в бу-

* Отсюда снова по-русски в оригинале.

** «Он выказал мне много, много дружбы» (по-французски).

14*

дущее Германии и не хотят больше для нее работать, кто же будет тогда верить, кто будет работать?

Я пишу это письмо на острове Руссо на Бьеньском озере. Вы знаете, что я не живу в области фантазий и фраз, но по всем моим жилам пробегает трепет при мысли, что я как раз сегодня приведен судьбою в это место, когда мне приходится писать Вам о таком деле. О, я знаю, моя вера в победу человечества над попами и тиранами есть та же вера, которую великий изгнанник вливал в миллионы сердец, которую он и сюда принес с собою. Бессмертные Руссо и Вольтер снова молодеют; они празднуют свое воскресение из мертвых в наиболее одаренных головах немецкой нации. Высокое воодушевление гуманизмом и государственностью, принципом которой стал наконец действительно человек, страстная ненависть к попам и наглому осквернению ими всего человечески великого и истинного снова овладели миром. Философии снова предстоит сыграть ту же роль, какую она так славно сыграла во Франции; и нисколько не говорит против нее то обстоятельство, что враги ее уяснили себе раньше, чем она сама, ее могущество и внушаемый ею страх. Она наивна и вначале не ждет ни борьбы, ни преследований, потому что она считает всех людей разумными существами и обращается к их разуму, как будто последний является неограниченным руководителем. Совершенно естественно, что наши противники, обладающие достаточною наглостью для того, чтобы объявить: «мы неразумны и хотим таковыми остаться», начинают фактическую борьбу и восстание против разума неразумными средствами. Это положение доказывает лишь, что перевес — на стороне философии, эти крики против нее уже равносильны ее победе. Вольтер как-то сказал: «Вы, маленькие людишки, занимающие какую-нибудь мелкую должность, дающую вам маленькую власть в вашей маленькой стране, — вы кричите против философии?» *. Мы живем в Германии Руссо и Вольтера, и «те из нас, кто достаточно молод, чтобы дожить до плодов нашей работы, увидят великую революцию и эпоху, ради которой стоит родиться». Мы отваживаемся повторить и эти слова Вольтера, не опасаясь того, что во второй раз история подтвердит их не так ярко, как в первый.

Сейчас французы — все еще наши учителя. В политическом

* Слова Вольтера по-французски в оригинале.

отношении они опередили нас на столетия. И чего только отсюда не получается! Эта могучая литература, эта свободная поэзия, изобразительное искусство, эта всеобщая культурность и одухотворенность всего народа — все это такие вещи, которые мы понимаем только издали! Мы должны догнать их, мы должны выдрать розгами наше метафизическое высокомерие, от которого миру ни тепло ни холодно, мы должны учиться день и ночь, мы должны работать, дабы добиться возможности жить как люди с людьми, быть свободными и делать других свободными. Мы должны — я не устану это повторять — подчинить наше время нашим мыслям. Мыслителю и поэту дозволено предвосхищать будущее и построить среди развалин и тлена, окружающих нас, новый мир свободы и красоты.

И при наличии всего этого, будучи посвященным в тайну вечной силы, порождающей из недр своих новую эпоху, Вы приходите в отчаяние? Если Вы и отчаиваетесь в Германии, не отчаивайтесь только в самом себе. Вы отрекаетесь от силы истины, которой Вы себя посвятили. Немногие люди настолько благородны, чтобы отдаться целиком и бесповоротно делу и творчеству освобождающей истины; немногие способны передать своим современникам эти сердечные чувства и мысли, но кому хоть раз удалось стать устами истины и пленить мир серебристым тоном ее голоса, тот может быть уверенным в победе своего дела, чего другой может достигнуть такою же работою и такою же удачею.

Я готов допустить, что мы должны порвать с нашим собственным прошлым. Мы были разбиты, и если препятствия на пути стремлений мыслителей и поэтов были даже поставлены просто грубою силою, то сама эта грубая сила была бы невозможна, если бы мы не вели изолированную жизнь на небесах научной теории, и если бы народ был на нашей стороне. Мы не отстаивали его дела перед ним самим. Французы действовали иначе. Ведь и их освободители были бы задавлены, если бы только хватило сил это сделать.

Я знаю, Вы любите французов, Вы чувствуете их превосходство. Для твердой воли в великом деле этого достаточно, чтобы устремиться по их следам и догнать их. Какое ощущение! Нет названия этому блаженству, этому стремлению и этой мощи! О, как завидую я Вам в этой работе, даже Вашему гневу, ибо и он является чувством всех благородных людей среди Вашего

народа. О, если бы только я был в состоянии действовать вместе! Отдать всю мою жизнь и кровь за освобождение этого народа! Поверьте мне, он воспрянет и добьется светлого дня в истории человечества. Не всегда же немцы будут гордиться своим позорным положением лучших слуг всякой тирании. Вы упрекаете германский народ в том, что он — несвободен, что он — не общественный народ. Вы указали только на то, что он есть, но как же Вы можете этим показать, чем он будет?

Разве во Франции не было того же самого, а как быстро Франции открылись все возможности свободного существования, а ее сыны стали политическими деятелями. Мы не в праве оставлять народного дела, даже если сам народ оставляет его. Филистеры, о, эти отпадут от нас, они будут нас преследовать, но тем вернее станут дети их служить нашему делу. Отцы их стремятся задушить свободу, а они пойдут за нее на смерть.

А как велико наше преимущество перед людьми XVIII века! Они начали проповедывать в то время, когда кругом царила пустыня. А мы можем наглядно наблюдать огромные результаты их идей, мы можем практически войти с ними в соприкосновение. Стоит нам поехать во Францию, стоит нам перешагнуть Рейн — и мы сразу очутимся среди новых стихий, которые в Германии еще не родились. Распространение политических идей во всех слоях общества, напряженность мысли и пропаганды, зарождающаяся в передовых умах уже только потому, что сила целого народа дает себя чувствовать в каждом живом слове, — все это мы можем теперь изучать путем непосредственного наблюдения. Поездка во Францию и даже длительное пребывание в Париже принесло бы нам огромную пользу.

Немецкая теория вполне заслужила нынешнее падение с своего пьедестала, когда невежественные богословы и тупые дворянчики треплют ее за уши как охотничью собаку и указывают ей, куда бежать. Благо ей, если это падение излечит ее от высокомерия. Целиком будет зависеть от нее самой, захочет ли она теперь извлечь урок из постигшей ее участи, когда в уединении на мрачной высоте она заброшена и только в сердце народа может обрести гарантию безопасности. Кто привлечет на свою сторону народ, мы или вы? — так кричат эти темные кастраты философам. Стыд и срам! Но честь и слава тем людям, которые доведут до победного конца дело человечества!

Здесь, только здесь начинается борьба. И так сильно наше

дело, что мы, кучка разбросанных повсюду людей со связанными руками, приводим в ужас и отчаяние мириады наших врагов одним нашим боевым кличем. Отлично, пусть так! И я, скиф, разорву ваши оковы, германцы, желающие стать греками. Шлите мне Ваши сочинения! На острове Руссо я напечатаю их и огненными буквами напишу еще раз на челе истории: гибель персам!

Перевод с французского.

№ 472. — Письмо родным.

[Середина мая 1843 года. Цюрих.]

Милые друзья, боюсь, что напугал вас своим последним письмом, и спешу написать вам еще раз, чтобы сгладить дурное впечатление, которое оно могло на вас произвести. Правда, что мое внешнее положение далеко не радужно; но незачем впадать в отчаяние. Господи боже мой, если приходить в отчаяние по всякому поводу, что бы мы стали делать в случае действительного, большого несчастья? Так что у меня это был момент слабости, который скоро прошел. Я снова силен и доволен и прошу вас быть такими же. Постигшие меня ныне неприятности отчасти вызваны моим собственным безрассудством, допущенною мною беспорядочностью в делах и отсутствием бережливости. С другой стороны я очень хорошо их предвидел, когда выезжал за границу. Ясно, что, расставаясь с вами, я не воображал, что путь мой будет усыпан розами. Как вы хорошо помните, мы говорили тогда об отрицаниях и диссонансах как необходимом элементе жизни, как о жизненном начале счастья. Мы были тогда правы, но не следует оставаться при словах. Нужно практически доказать, что понимаешь и любишь жизнь. В самом деле, если мы станем падать духом вследствие таких пустяков, то мы покажем, что недостойны жизни. Это поучение я отношу не к вам, а к себе самому, так как именно я поддался настроению непростительной слабости. Ибо я знаю, милые друзья мои, вы сильны и покорны. Ты же, Павел, должен проявить больше силы, чем теперь *. Собери все свои силы, друг, брось один раз на наше дело и на все обстоятельства, связанные с ним, ясный, обнимающий взгляд и не обманывай себя пустыми надежда-

* Дальше по-русски в оригинале.

ми, не давай пугать себя пустым страхом, начинай действовать; не ищи отдохновения в утомительном бездействии, а главное никогда не переставай верить в звезду, которая до сих пор так неизменно вела нас. Я впадаю в кажущееся противоречие, говоря тебе, чтобы ты не обманывал себя и верил вместе; но тут нет противоречия: обман не есть вера, и, веря, ты так мало обманываешь себя, что напротив ты обманывал бы себя, не веря.

Милый друг, мы многого не понимаем в жизни, потому что наперекор всем рационалистам и всем готовым истинам в жизни скрывается несоизмеримая, таинственная сила, ведущая всякого, действительно жаждущего жизни, к цели. Рассчитывай все внешние условия жизни, старайся смотреть на них ясно, но никогда не утрачивай веры в эту благодатную, чудотворную силу, творящую неожиданное. Она не доступна для отвлеченной теории, для бесстрастного расчета, потому что она — более, чем теория, она есть высшее действие, свободное разгулье святой страсти: эта сила есть любовь. А ты ведь знаешь, действие познается только действием, свобода — только свободою и любовь — только любовью. Познавать истину не значит только мыслить, но жить; а жизнь — более, чем мышление: жизнь есть чудотворное осуществление мысли.

Не переставай же верить, Павел, верить в вечное откровение жизни, в откровение, совершающееся для нас посредством нашей собственной жизни, нашего собственного самостоятельного развития, нашего собственного свободного дела, посредством нашей собственной любви.

Вы видите, милые друзья, что за меня нечего бояться. Я преспокойно продолжаю философствовать в письмах, а это — верный знак здоровья. Милая Танюша, благодарю тебя за твою доверенность: еще в Дрездене узнал я обо всем от Тургенева, но не хотел говорить тебе об этом в письме до тех пор, пока ты сама не дашь право на это *. Спасибо, мой добрый, нежный друг, ты устранила последнее препятствие, которое лежало не между нами и нашим взаимным доверием, а между нашими словами, которые являются однако необходимыми между людьми, любящими друг друга так, как мы любим. Александрина Беер писала, что то, что произошло между тобою и Т[ургеневым], должно заставить меня порвать с ним. Она ошибается. Для того,

* Отсюда снова по-французски в оригинале.

чтобы я с кем-либо порвал, я должен перестать верить в этого человека. Никакая другая причина не может довести меня до разрыва. Я никогда не был рабом условных идей, управляющих светом, а сейчас мне слишком поздно стать им. Я люблю Тургенева; мне хорошо известны его недостатки, главный источник которых заключается в его крайней молодости, но я этим не занимаюсь: когда хочешь любить, то не имеешь времени на подсчитывание чужих недостатков. Так например он является частично причиною того затруднительного положения, в котором я сейчас нахожусь, так как при отъезде он уверил меня, что, пока наши родители устроят свои дела, он вышлет мне все нужные деньги для покрытия моих долгов; он обещал мне выслать их в течение двух месяцев после приезда своего в Петербург. Если бы я не полагался на его обещание, я бы раньше написал родителям, и, может быть, теперь все было бы уже улажено. И все же я на него не сержусь: он действительно имел похвальное намерение притти мне на помощь, но он наобещал больше, чем мог. Однако намерения его были хорошие и честные, а это все, чего можно требовать от человека.

Но я увлекся и заговорил о Т[ургеневе], когда хотел говорить о тебе, мой добрый, дорогой друг. Ты перенесла много физических и моральных страданий и не думай, чтобы я не чувствовал твоих страданий. Если я молчал, то потому, что не считал себя вправе говорить. Говорить можно только тогда, когда знаешь, что можешь сделать что-нибудь для облегчения горя того, кто страдает. В противном случае лучше молчать и оставить ему по крайней мере печальное утешение и мучительное достоинство молчания. Да что я мог сказать тебе утешительного?

Увидимся ли мы когда-нибудь? Неужели ты никак не можешь приехать за границу, чтобы научить меня жить экономнее *? Ты была бы моею хозяйкой, Танюша, и как бы мы тихо и хорошо зажили. Павел, привези Танюшу.

Милая Варинька, наконец ты помирилась с Елиз[аветой] Петр[овной]. Мне не нужно говорить тебе, до какой степени это меня обрадовало. Я не сердился на тебя, но мне было грустно, грустно за тебя. Может быть, я выразился несколько жостко в последнем письме к тебе. Прости мне, друг, мою невольную жосткость и верь любви моей.

---

* Дальше по-русски в оригинале.

Alexandrine, приди ко мне и расскажи мне сказочку.

Милые друзья, если б вы видели, какая была вчера прекрасная ночь. На горах огромная масса черных туч или, лучше сказать, одна туча, покрывавшая половину горизонта, а впереди месяц, как огненный столп, отражавшийся на озере. Все было тихо, только слышались голоса лягушек да водяных птиц; иногда звон колокола, лай собаки изредка, далеко, далеко швейцарская песнь (das Judeln) *, а потом все опять тихо. Я долго сидел у окна и курил трубку и думал об вас и об многом другом еще. Gewiss ich bin zum Naturkinde geworden; es war mir so still, so liebend und glaubend still zu Muthe! ** . . . .

. . . . Прощайте, друзья. . . . .

A propos *** я только дней пять тому назад возвратился в Цюрих; был с семейством Pescantini на острове St.-Pierre ****, где мы провели 10 дней. Чудное место и чудные люди. Я там, отложив на время все заботы, был счастлив как ребенок, гулял, пел, лазил по скалам, любовался природою, переводил Schelling'a *****, читал по-итальянски, фантазировал, строил воздушные замки и ждал тебя, Павел.

(Конец листка оторван, но видимо на этом письмо кончалось).

№ 473. — Письмо брату Павлу.

13/25 мая 1843 [года]. Цюрих.

Я понимаю твою грусть, Павел. Но ради бога не предавайся унынию; где же сила, где же вера твоя? Милый друг, ведь ты знаешь, мы все уже очень много перенесли и, несмотря на это, мы еще живы и целы, в нас еще много жизни, много будущности. Ты сомневаешься во мне, Павел, ты думаешь, что время и при-

* Иодль.

** Верно, я превратился в настоящего ребенка; у меня была тишина, такая любовная и верующая тишина на душе.

*** Кстати.

**** Петеринзель (остров св. Петра или Ж.-Ж. Руссо) на Биеньском озере.

***** Шеллинга.

вычка жить без тебя разрознят нас. Право, Павел, ты ошибаешься; верь мне; я не могу отвыкнуть от тебя; ты мне необходим беспрестанно, ежеминутно. То время прошло, Павел, когда мы сходились с другими только на основании общих отвлеченных убеждений и называли дружбою эти случайные, внешние встречи. До сих пор никто еще не был так близок ко мне, как ты: ты — другой я для меня, моя совесть, мое сознание, мое чувство. Между тобою и мною нет места для другого, понимаешь ли меня, Павел? Es ist mir, als ob ich mein innerstes mit deiner Abreise verloren hätte *. Но с другой стороны я рад, что тебя теперь нет со мною: мои обстоятельства тяготили бы меня вдвойне и без всякой пользы. Я надеюсь, что ты получил письмо, в котором я извещаю тебя о новом положении моих дел. — Колиньи ** решительно сомневается в моей честности. Дрезденские кредиторы взбунтовались, и я послал им всем векселя сроком до 15 сентября. Если я не получу до этого времени 3.000 или по крайней 2.500 талеров, то adieu mon honneur et ma liberté car on me mettra au prison ***.

Я просил тебя постараться устроить это дело. Я вижу только два средства: или чтоб папенька продал часть именья, или тетенька Анна Михайловна должна согласиться заложить свое. Если один из них согласится на это пожертвование и непосредственно приступит к делу, тогда ты можешь написать Тур[геневу] или Елиз[авете] Петр[овне] **** и просить их достать на короткое время денег. Кроме Колиньи ***** и Вольфа, которым ты можешь послать должные им мною деньги прямо (Колиньи — 546 и Вольфу — 300 т[алеров]), ты должен послать все остальные деньги мне или Вольфу с просьбою распорядиться ими как следует. А то кредиторы мои могут воспользоваться векселями и два раза требовать уплаты.

Сделай, Павел, все, что можешь, и ты, Николай, также. Не теряя ни минуты, приведите мое дело положительно или отрицательно в ясность. В случае положительного разрешения поспешите успокоить моих дрезденских кредиторов; в случае же

---

* Я чувствую себя так, как будто с твоим отъездом утратил свое внутреннее начало.

** Прозвище Арнольда Руге.

*** Прощай моя честь и свобода, ибо меня посадят в тюрьму.

**** Языковой.

***** Арнольд Руге.

отрицательного напишите мне также как можно скорее и прямо и просто, для того чтобы я не обманывал ни себя ни других пустыми надеждами *. Поймите же хорошенько, что уверения, которые я даю и постоянно должен давать, компрометируют меня еще сильнее. Дорогой друг, главное не будем пугаться пустяков, будем смотреть на вещи, как они есть. Это будет более достойно нас. Нет ничего более недостойного и опасного, чем бесплодная неуверенность. Наша обязанность по отношению к нашим кредиторам и к себе самим заключается в принятии всех зависящих от нас почетных мер к уплате наших долгов. Но отсюда не следует, чтобы мы должны были впасть в отчаяние в случае неудачи наших стараний. Поверь мне, друг, ничто не заставит меня потерять чувство моего достоинства и веру в мое будущее **. Наше время еще не ушло, и я на все готов, право на все готов. Кстати *** Мейер **** может и должен еще долго ждать, потому что это — большой плут *****. Сперва заплатите Руге и Вольфу, а там Герсткампфу 445 т[алеров], Арнольду — 454 т[алера] и портному Мюллеру — 100 т[алеров] до 15 августа.

Перепишись также с Тургеневым [1] и заставь его выговориться ясно. И если есть малейшая возможность, пришли мне скорее, немедленно денег в Цюрих; я здесь тоже в долгу, и у меня нет ни копейки.

Ну, довольно об этом. Я рад за тебя и за Николая, что вы так сблизились. Ваша обязанность, друзья, употребить все средства для того, чтобы привезти Танюшу за границу. Это — священная обязанность: делайте все, что можете, а что невозможное невозможно, само собою разумеется.

Frisch, Schüler, bade unverdrossen
Die irdsche Brust im Morgenroth! ******

Павел, занимайся политическою экономиею. Прочти всего Сея [2], Адама Смита [3], все, что можешь. Теперь я почти един-

---

* Отсюда по-французски в оригинале.
** Дальше снова по-русски в оригинале.
*** Это слово по-французски в оригинале.
**** Эта фамилия по-немецки в оригинале.
***** Слова «потому что это — большой плут» по-французски в оригинале.
****** «Встань, ученик! Омой, несчастный,
Земную грудь в лучах зари!» («Фауст», пер. Фета, стр. 31).

ственно занимаюсь только этим. Поверь, Павел, твое время не ушло. Мы скоро будем вместе, а за меня, за нашу дружбу не бойся, друг. Я буду верен тебе до смерти.

Прощай, друг, я буду тебе часто писать.

Твой

М. Бакунин.

Прочти также Шторха [1].

Перевод с французского.

№ 474. — Письмо родным.

[Май 1843 года.]

Милые друзья! Я решительно не знаю, чему приписать ваше молчание. Что с вами, живы ли, здоровы ли вы? Вот письмо к папеньке: прочтите его ему. Если папенька решится наконец послать мне денег, то пошлите их Колиньи * или, еще лучше, доктору Вольфу в Дрездене; о ближайшем адресе его вы можете справиться у Елизаветы Петровны **.

Вот я и на Женевском озере. Природа здесь чудная, и несмотря на все бедствия, окружающие меня и угрожающие мне, я наслаждаюсь ею (не так, как Самборский) *** от всей души. В Берне познакомился и сблизился с семейством Vogt ****; там две хорошенькие, милые барышни, с которыми я прекрасно провел целую неделю в ожидании будущих благ *****. Их мать сильно напомнила мне г-жу Ушакову: та же святость отношения, та же любовь, но с некоторыми национальными отличиями. Анета ******, Вы уже в Прямухине, не правда ли? Боже, боже, как мне хотелось бы очутиться среди вас хотя бы на минуту. Но об этом нечего и думать. Только не забывайте меня, любите меня все без исключения так, как я вас люблю. Я нахожусь в весьма печальном и весьма опасном положении, но не падаю духом. В

* А. Руге.

** Языковой.

*** Самборский — знакомый Бакунина по Тверской губернии (см. том I).

**** Фохт [1].

***** Отсюда по-французски в оригинале.

****** Анна Петровна Ушакова, позже Бакунина.

конце концов будет то, что будет; но я буду бороться до последней крайности. Делайте то же, а главное будем любить друг друга: любовь есть единственное истинное благо. Пусть же она всегда пребывает среди вас — вот мое вам благословение.

Прощайте, не забывайте меня*.

Паша, я написал тебе уже три (об деньгах) письма и до сих пор не получил ответа.

Перевод с немецкого.

№ 475. — Коммунизм.

[Начало июня 1843 года. Цюрих.]

Последний номер «Наблюдателя» ** содержит статью или, вернее, начало статьи о коммунизме, которая очень приятно нас поразила. Она написана с таким достоинством и спокойствием, которые в «Наблюдателе» действительно изумляют.

1.

Есть люди, которые утверждают, что такой тон в «Наблюдателе» всегда является плохим признаком, и мы признаемся, что очень часто разделяли это мнение. Но на сей раз, как нам кажется, дело обстоит несколько иначе: повидимому «Наблюдатель» уразумел всю опасную серьезность коммунизма и решился теперь отказаться от своей обычной манеры, недостойной серьезного человека и серьезной души, и исследовать этот в высшей степени важный предмет с достоинством и добросовестностью.

Дальнейшее покажет нам, ошиблись ли мы. Однако известно, что ничто не действует столь деморализующим образом на человека, как сознание, что от него не ожидают ничего хорошего и благородного. И если «Наблюдатель» действительно хочет исправиться, то мы не хотим преждевременным заподозриванием его цели сделать для него эту задачу невыполнимой. Напротив мы всеми находящимися в нашем распоряжении средствами будем стараться удержать его на этом более похвальном пути.

Во всяком случае коммунизм представляет весьма важное и опасное явление, и этим очень многое сказано. Ибо опасным, дей-

---

* Дальше по-русски в оригинале.

** «Швейцарский наблюдатель».

ствительно опасным может быть для общества явление лишь постольку, поскольку оно содержит в себе по крайней мере относительную истину и находит свое оправдание в самом состоянии общества. То, что является только случайным, не может быть опасным для благоустроенного государства, ибо все могущество и живая сила государства заключаются именно в том, что оно сохраняет себя и может сохранить себя от тысячи случайностей повседневности. Государство должно и может быть выше всяких бед, которые возникают из злонамеренности отдельных лиц. Для этого существует полиция, для этого существуют законы и суды, для этого существует вся организация государства. Вор и даже большая банда разбойников могут быть опасны для тех или иных отдельных лиц в государстве, но не для самого государства, покуда оно остается здоровым и хорошо устроенным организмом.

Совершенно иначе обстоит дело с явлением, которое имеет своим источником не произвол и злую волю отдельных личностей, а недостатки государственного организма, государственных учреждений, всего политического тела. По отношению к такому явлению государство имеет только два выхода: или воспринять в свой организм заключающееся в нем право и постольку реформировать себя самого мирным путем, или же прибегнуть к силе. Но на этом втором пути каждое государство наверное пойдет к гибели, так как право, вошедшее в сознание, непреодолимо.

Вот те причины, по которым мы вместе с «Наблюдателем» считаем коммунизм весьма важным и в высшей степени опасным явлением. Во избежание недоразумений мы раз навсегда заявляем, что мы лично — не коммунисты, и что у нас столь же мало охоты, как и у господ из «Наблюдателя», жить в обществе, устроенном по плану Вейтлинга. Это — не свободное общество, не действительно живое объединение свободных людей, а невыносимое принуждение, насилием сплоченное стадо животных преследующих исключительно материальные цели и ничего не знающих о духовной стороне жизни и о доставляемых ею высоких наслаждениях. Мы даже не думаем, чтобы такое общение когда-либо могло быть создано, ибо мы настолько верим в святую, более или менее сознательно присущую всем людям силу истины, что можем быть в этом отношении вполне спокойны.

Но с другой стороны мы вполне убеждены, что коммунизм в самом себе содержит элементы, которые мы считаем в высшей

степени важными, даже более чем важными: в основе его лежат священнейшие права и гуманнейшие требования, и в них-то и заключается та великая, чудесная сила, которая поразительно действует на умы. Коммунисты сами не понимают этой незримо действующей силы. Но только в ней и только благодаря ей они представляют нечто, без нее же они — ничто. Только эта сила в короткое время сделала коммунистов из ничего чем-то сильным и грозным, ибо не следует скрывать от себя: коммунизм стал теперь мировым вопросом, которого ни один государственный деятель не может *игнорировать*, а тем более *разрешать просто силой*.

2.

Повидимому «Наблюдатель» думает, что коммунизм является непосредственным результатом немецкой философии и радикализма и отличается от них обоих только тем, что имеет смелость и добросовестность высказывать открыто и ясно такие взгляды, которые этими последними или облекаются в непонятный философский жаргон, или совершенно замалчиваются.

Что касается мнимого замалчивания у философов и радикалов, то мы не думаем, чтобы «Наблюдатель» всерьез высказал это обвинение. Это было только шуткой с его стороны, ибо в действительности он сам напротив убежден и отлично знает, что вся сила радикалов заключается в публичности, и что замалчивание есть необходимая участь так называемой консервативной партии, которая нуждается в народе только как в средстве и не видит в нем цели. Он отлично знает, что самоуправление народа составляет принцип, лежащий в основе всех взглядов радикалов, и что эти последние специально работали над улучшением школы и развитием народного образования, ибо были убеждены, что народ сможет сам собою управлять лишь постольку, поскольку он является совершеннолетним и самостоятельным, и что только путем образования он может быть поднят до совершеннолетия и самостоятельности. Одним словом «Наблюдатель» отлично знает, что главная цель радикалов есть освобождение народа от опеки знатных и богатых как таковых, и потому мы не будем больше тратить времени на опровержение обвинения, которое впрочем, как уже сказано, было простой шуткой.

Философия и радикализм имеют правда много общего с коммунизмом. Чтобы действительно понимать явление, конечно

недостаточно подчеркивать только ту сторону, которая является ему общею с другими явлениями. Необходимо также ознакомиться с его существенными отличиями, иначе мы неминуемо должны будем притти к утверждению, что все оказывается одним, ибо нет ни единой вещи в физическом и духовном мире, которая не имела бы ничего общего со всеми другими вещами.

Во всяком случае философия в очень многих пунктах соприкасается с коммунизмом. Да иначе и быть не могло. Жизнь и ход развития человечества являются не безразличным сборищем случайных событий, а необходимым и внутренне разумно-организованным шествием единого духа, который целиком отражается в каждом отдельном проявлении своей внутренней сущности точно так же, как общая жизнеспособность и общая чувствительность человеческого организма коренятся в мельчайших частях его.

Поэтому современная философия необходимо должна иметь с коммунизмом очень много общего, так как оба они родились из духа нашего времени и представляют самые значительные его откровения. Какова цель философии? Познание истины. Но истина не есть нечто вполне абстрактное и воздушное, а потому она может и даже должна оказывать значительное влияние на общественные отношения, на организацию общества. Уже в евангелии сказано: «познают истину, и истина освободит их». В этих немногих словах высказано все стремление философии, а что это стремление не осталось бесплодным, об этом можно судить по новейшей истории и по истории французской революции. Еще незадолго до революции трудящаяся, лучшая часть французского народа находилась в самом печальном положении. Она не владела даже одной третьей частью земли, самый труд ее, единственное средство ее существования, был отягчен всевозможными препятствиями, и однако на эту именно часть населения ложилось все бремя государственных налогов, а сверх того она принуждена была платить особые подати в пользу духовенства и аристократии. Мы уже не говорим о других унизительных повинностях, возложенных на бедный народ. Суды были так устроены, что знатные всегда оказывались правыми против народа. Народ одним словом во всех отношениях угнетался знатью. А почему? Не потому, что он был слаб, боже упаси, народ никогда не бывает слаб, а потому, что он был невежественен и давал себя обманывать католическим попам, которые толковали

ему, что король, дворянство и духовенство даны ему божьей милостью, и что народ должен служить им, склоняться перед ними и терпеть от них унижения, дабы получить за то царствие небесное. «Ты глуп, ты не способен правильно понимать нас, положись поэтому на нас, мы будем тобою руководить». Так говорили попы народу, и бедный народ, в котором всегда скрыто так много веры и так много здравого смысла, действительно поверил, что он глуп, и подавлял в себе всякие сомнения, всякие освободительные мысли как порождение дьявола. Что освободило народ от этого духовного рабства? Философия. Во многом философы прошедшего столетия ошибались, немало святого и красивого они просмотрели, но свое провиденциальное назначение, заключающееся в том, чтобы заставить народ почувствовать себя самого, привести его к сознанию своего достоинства и своих неизменных святых прав, это назначение они верно выполнили. История судит всегда лучше и великодушнее, чем мелкие, слепые и потому злопыхательские партии, и по этой причине она несомненно сохранит их имена среди имен освободителей и лучших слуг человечества.

Вплоть до настоящего времени философия продолжает еще свою упорную борьбу, борьбу на жизнь и смерть, со всеми предрассудками, со всем тем, что мешало людям достигнуть их высокой святой цели, осуществления свободного и братского общества, осуществления царства божия на земле. Ей остается еще многое сделать, еще против многого бороться, чтобы сорвать покров лжи, который консервативные друзья народа в эгоистических интересах набрасывают на народ. Но она имеет мужество истины, и она победит и должна победить, так как истина, познание истины есть ее единственное оружие. Она сражается при свете, а ее враги — во мраке ночи. Ее враги пробуждают в народе грубые, темные страсти, демоническое, она же наоборот опирается только на богоподобную, светлую сторону человеческой природы, она апеллирует к высокой страсти свободы, любви и познания. А бог, истина в конце концов одержат же победу над тьмою.

Вот в чем пункт соприкосновения между философией и коммунизмом: оба стремятся к освобождению людей. Но здесь же начинается и их существенное расхождение. Философия по существу своему только *теоретична*, она движется и развивается только в рамках познания; коммунизм же в своей нынешней

форме наоборот является только практичным. Этим указаны как преимущества, так и недостатки каждого из этих явлений по отношению к другому. Правда мысль и дело, истина и нравственность, теория и практика составляют в последнем счете одно и то же, единую нераздельную сущность. Правда величайшая заслуга новейшей философии и заключается в том, что она признала и познала это единство, но с этим познанием она дошла до своего предела, предела, которого она как философия не может перешагнуть, ибо по ту сторону этого предела начинается более высокая сущность, чем она, — действительное, одушевленное любовью и вытекающее из божественной сущности первобытного равенства *общение* свободных людей, посюстороннее осуществление того, что составляет божественную сущность христианства, *истинный коммунизм.*

3.

«И для него (Вейтлинга), — говорит «Наблюдатель», — как и для «Швейцарского Республиканца», всякое национальное чувство является глупостью, бессмыслицей. Существуют только люди, а не собственно народы, только граждане мира, а не *граждане государств*».

Опять мистификация! О, «Наблюдатель» — плут, правда христианский, но все-таки плут. Иногда он шутит так тонко, что его шутки можно принять за правду, но он слишком умен, чтобы действительно быть такого мнения о «Республиканце», и слишком нравственен, чтобы говорить всерьез то, чему он сам не может верить. Как, «Республиканец» объявляет всякое национальное чувство глупостью и бессмыслицей? Разве «Наблюдатель» не знает, что «Республиканец» всегда считал возмутительной, позорной государственной изменой, если кто-либо ради победы своих собственных политических взглядов, верны ли эти взгляды или неверны, станет способствовать вмешательству иностранцев в дела своего отечества? Самостоятельность и гордая независимость Швейцарии по отношению ко всем влияниям иностранных правительств, — разве это не было постоянной целью «Республиканца», и разве он это недостаточно доказал своим поведением например в деле Совета, в осложнениях с Луи Бонапартом и в деле Гервега?[1]

В том, что Вейтлинг игнорирует значение национальности, мы его упрекать не станем: это — ошибка, но необходимая ошиб-

ка, неизбежная ступень в развитии коммунизма. Всякое великое историческое явление, даже христианство, остается вначале односторонним, только отрицанием существующего. Так христианство вначале безусловно отрицало искусство, потому что искусство было тогда нераздельно связано с язычеством. Но впоследствии оно снова признало искусство, как возрожденное из христианского начала. И таким образом возникло христианское искусство. Точно так же обстоит дело и с коммунизмом. Сейчас он отрицает всякую национальность не потому, чтобы принцип национальности по самому существу был плох. Об этом коммунизм пока еще ничего не знает, потому что он вообще теоретически, научно еще очень мало развит, потому что он еще далек от того, чтобы уразуметь свой собственный принцип во всей его истинности и во всей полноте вытекающих из него выводов. Но коммунизм отрицает все национальности потому, что в своем нынешнем виде они не проводят своего принципа и вместо того, чтобы быть живыми и свободными носителями и органами единого человечества, черство и эгоистически восстают против того божественного единства, в котором они только и могут достигнуть своего истинного назначения.

Надо остерегаться от смешения космополитизма коммунистов с космополитизмом прошлого столетия. Теоретический космополитизм прошлого века был холодным, индиферентным, рефлективным, без почвы и страсти. Он был мертвой и бесплодной абстракцией, теоретическим построением, лишенным хотя бы малейшей искры продуктивного, творческого огня. Против этой безжизненной и бездушной тени демоническая отрицательная стихия национальности была безусловно права и действительно одержала над ним полную победу.

Напротив коммунизм нельзя упрекнуть в недостатке страсти и огня. Коммунизм — не фантом, не тень. В нем скрыты тепло и жар, которые с громадной силой рвутся к свету, пламень которого уже нельзя затушить, и взрыв которого может стать опасным и даже ужасным, если привилегированный образованный класс не облегчит ему любовью и жертвами и полным признанием его всемирно-исторической миссии этот переход к свету. Коммунизм — не безжизненная тень. Он произошел из народа, а из народа никогда не может родиться тень. Народ, — а под народом я понимаю большинство, широчайшую массу, бедных и угнетенных, — народ, говорю я, всегда был единственною, творческою

почвою, из которой только и произошли все великие деяния истории, все освободительные революции. Кто чужд народу, того все дела заранее поражены проклятием. Творить, действительно творить можно только при действительном электрическом соприкосновении с народом. Христос и Лютер вышли из *простого* народа, и если герои французской революции могучей рукой заложили первый фундамент будущего храма свободы и равенства, то это удалось им только потому, что они возродились в бурном океане народной жизни.

Таким образом протест коммунизма против принципа национальности гораздо важнее и значительнее протеста просвещенных космополитов прошлого века. Коммунизм исходит не из теории, а из практического инстинкта, из народного инстинкта, а последний никогда не ошибается. Его протест есть могучий вердикт человечества, святое и единоспасающее единство которого до сих пор еще нарушается узким эгоизмом наций.

Или, быть может, «Наблюдатель» не желает ничего знать о человечестве? Разве для него идея человечества действительно бессмыслица, пустое слово? Это было бы странно! Ведь он не только «Наблюдатель», но и христианский «Наблюдатель», а как таковой он должен был бы хорошо знать, что подчеркивание идеи человечества перед лицом обособленных и строго замкнутых в себе наций языческой эпохи было одним из величайших дел христианства.

Все люди, все без исключения, — братья, — учит евангелие, — и только тогда, когда они любят друг друга, в них присутствует незримый бог, искупительная и освобождающая истина, — присовокупляет к этому Иоанн. Следовательно отдельный человек, как бы высоки и нравственны ни были его побуждения, не может причаститься истине, если он не живет в обществе. Не в отдельном лице, а только в общении присутствует бог, и таким образом добродетель отдельной личности, живая плодотворная добродетель возможна только путем святого и чудодейственного союза любви, только в общении. Вне общения человек — ничто, в общении — все. И когда библия говорит об общении, то она меньше всего понимает под этим отдельные, узко замыкающиеся в себе общины или нации. О национальных различиях первобытное христианство ничего не знает, а проповедуемое им общение есть общение всех людей, человечества.

Таким образом Вейтлинг вполне верен первобытному хри-

стианству, когда во имя единого и неделимого человечества отвергает разъединяющий принцип национальности. Христианство также выступало вначале односторонне как отрицание, как разрушение всех национальных различий. Впоследствии внутри христианского мира снова образовалось разумное различие. Но до тех пор, пока христианство сохраняло еще свою мощь, оно в отдельные великие исторические моменты было также в состоянии снова устранять обособление наций и объединять их все в одной великой общей цели. Лучшим доказательством этому могут служить крестовые походы.

Теперь власть христианства над государством исчезла. Современные государства правда еще называют себя христианскими, но они уже таковыми не являются. Христианство служит для них только средством, а не источником и целью их существования. Они живут и действуют на началах, которые совершенно противоположны христианству. А то, что они еще называют себя христианскими, есть лицемерие, более или менее сознательное лицемерие. В дальнейшем изложении мы надеемся доказать это ясно и неопровержимо. Мы исследуем важнейшие стороны современной государственной жизни и покажем, что христианство оказывается здесь только слабой тенью и что только нехристианское здесь действительно.

Но с тех пор, как христианство перестало быть связующим и одухотворяющим европейские государства цементом, что же еще связывает их, что сохраняет в них святыню согласия и любви, которые были возвещены им христианством? Святой дух свободы и равенства, дух чистой человечности, в громе и молнии открывшиеся людям во время французской революции и подобно семенам новой жизни разнесенные повсюду посредством революционных войн. Французская революция есть начало новой жизни. Многие так слепы, что думают, будто поборол и укротили ее мощный дух. Жалкие люди, как ужасно будет их пробуждение! Нет, революционная драма еще не закончена. Мы родились под революционной звездой, мы живем и все без исключения умрем под ее влиянием. Мы находимся накануне великого всемирно-исторического переворота, мы — накануне новой борьбы, тем более опасной, что она будет носить не просто политический, но и принципиальный, религиозный характер. Не следует предаваться иллюзиям: речь будет итти не меньше, чем о новой религии, о религии демократии, которая под старым зна-

менем с надписью «свобода, равенство и братство» начнет свою новую борьбу, борьбу на жизнь и смерть.

Вот дух, породивший коммунизм. Этот дух ныне невидимо сплачивает воедино все народы без различия национальности. Этому духу, блестящему преемнику христианства, противятся ныне так наз. христианские правительства и все монархические правители и владыки, ибо они прекрасно знают, что их мнимое христианство, их корыстные дела не в состоянии будут вынести его пламенного взора. И что они делают, какие средства они употребляют, чтобы помешать его победе? Они стараются развить в народе национальное чувство за счет человечности и любви, они, христианские правительства, пропагандируют ненависть и убийство во имя национальности!

Против них Вейтлинг и коммунисты несомненно правы, ибо по принципам самого христианства должно быть уничтожено все, что противится духу любви.

(Продолжения не было, и статья осталась незаконченной).

Перевод с немецкого.

№ 476. — Письмо Луизе Фохт.

1843. Нион. 18 октября.

Милостивая Государыня! Не буду повторять заверений и объяснений, которыми полны мои письма в Цюрих. Теперь у меня гораздо более благодарная задача — поблагодарить Вас за Вашу доброту и любезное участие, которое Вы так часто проявляли по отношению ко мне, и за Ваше милое письмо. Те немногие слова, которые Вы мне сказали, были для меня истинным утешением и бальзамом. Я теперь не могу сказать Вам много: после всех тех писем, которые мне пришлось написать как бы по принуждению, я на время утратил способность свободно высказывать свои чувства. Вы не поставите мне это в вину. Вы поймете причину моего молчания и не заключите из него о холодности и неблагодарности, от которых конечно я весьма далек. Вы сохраните ко мне свое благородное доверие и не будете сомневаться, что я всегда приму его с теплотой и благодарностью. Верьте мне, Ваше доверие не пропадет бесплодно в моем сердце, ибо ничто, никакая мораль в мире, никакие кумиры не могут

действовать так возвышенно, ничего не может так облагораживать и улучшать человека, как доверие такой благородной женщины, как Вы. Сохраните это доверие ко мне, и я надеюсь, что Вы рано или поздно убедитесь в том, что я действительно умею ценить его. А теперь я кончаю мое письмо просьбою кланяться от меня вашей семье и передать прилагаемое письмо Эмилю *.

Ваш преданный друг (ибо Вы дали мне прекрасное право называть себя так)

М. Бакунин.

(На полях): Наш мистик просит Вам очень, очень кланяться; если б он был у меня, он конечно написал бы сам. Он очень мил и эмансипируется.

Перевод с немецкого.

№ 477. — Письмо Луизе Фохт.

9 февраля 1844 [года]. Баден (Ааргау).

Милый друг! Я совершенно напрасно приехал в Баден, никто ко мне не являлся, лишь послали мне мои вещи. Я посылаю Вам письмо Фоллена ** для того, чтобы Вы могли сами составить себе суждение. Быть может, он прав. Ведь он сам должен лучше знать, что делается у него на сердце. У других не было времени. Мне нечего говорить Вам, что мне это было очень больно. Впрочем я не имею ни права, ни оснований жаловаться. Я хотел видеть их, так как я их люблю, а они не явились, так как моя любовь для них безразлична. Следовательно каждый поступил согласно велению своего сердца, т. е. искренне и хорошо, и я нисколько не раскаиваюсь в своей поездке в Баден; я исполнил свой долг, последовав голосу совести и сердца. Теперь я еду дальше. Дилижанс отправляется отсюда в Базель в 9 часов вечера, и я уже записался. Через два часа я уже буду сидеть в дилижансе и буду всю ночь по-детски мечтать о прошлом и будущем. Настоящее слишком печально, чтобы много заниматься им.

Милый друг, сохраните только Вы и Ваша семья несколько веры и доверия ко мне, по крайней мере до моего *возвращения*, ибо я надеюсь вернуться с неопровержимыми доказатель-

* Фохту, сыну Луизы Фохт.

** Август, он же Адольф Людвиг, брат Луизы Фохт (см. ком. к № 462).

ствами моей добродетели и для назидания всего мира напечатать их в Винтертуре. Конечно мне было бы очень больно быть непонятым и Вами, но я крепко верю в Ваше постоянство и в участие всей Вашей семьи.

Прилагаю для Эмиля * мое письмо к г-ну фон-Струве ** с просьбою прочесть его, запечатать и или лично передать его, или отослать по почте.

Прощайте, милый друг. Из Брюсселя я буду писать Вам снова и много. Кланяйтесь всем Вашим, Зольгеру ***, Беккеру [1] ****, если он явится. Поблагодарите от меня еще раз профессора ***** за доброту, с которою он всегда ко мне относится, и верьте искренней и глубокой любви Вашего друга

М. Бакунина.

Перевод с немецкого.

№ 478. — Письмо Ф. Бернайсу [1].

[Март 1844 года. Париж].

Милый Бернайс! Толстой ****** хотел еще вчера пойти со мною к Вам, но ему что-то нездоровится. Он просит Вас сегодня вечером между 7 и 12 зайти к нему. Будут также Гервег *******, Маркс ******** и компания.

Перевод с немецкого.

№ 479. — Письмо Августу Беккеру [1].

[Брюссель. Июнь 1844 года].

Дорогой Август! Наконец-то я всемилостивейше решаюсь написать тебе. Что этому много содействовало твое письмо, не

* Фохт.
** Аманд Иоаннович [1].
*** Рейнгольд.
**** Август.
***** Филипп Фридрих Вильгельм, глава семьи, муж Луизы.
****** Григорий Михайлович.
******* Георг.
******** Карл.

подлежит сомнению; оно вызвало в глубине моей души такие угрызения совести, что я не могу вернуть себе божественного спокойствия, пока не исполню целиком свой долг.

Так как я все, касающееся нас, сообщил Фохтам, то я не буду теперь тратить время и бумагу на бесполезное повторение.

Поведение цюрихского правительства по отношению к Вейтлингу позорно, оно повергло меня в крайнее уныние и в бешенство: это — совершенно своеобразные плоды швейцарского своеобразия [2]. Две бельгийские газеты, а также «Насиональь» [3] уже энергично высказались по этому поводу, но какая польза от всего этого нашему бедному Вейтлингу! И как этого не предвидели цюрихские радикалы и либералы? Как это они не проявили достаточно заботы, если не о Вейтлинге — так далеко их тряпичный либерализм не идет, — то по крайней мере о себе, о своей национальной чести, чтобы воспрепятствовать такому позорному акту? Неужели было так трудно освободить его?

А что делается теперь в Валлисе [4]? Не знаешь ли ты, быть может, как обстоит дело с нашим бедным (имя неразборчиво)? Я твердо рассчитывал на то, что кантон Во вмешается! Но Швейцария — все-таки поганая страна, она безжалостно обращается со слабыми и безоружными и уважает законы там, где святой долг заключается в том, чтобы нарушить закон.

Где находится теперь Вейтлинг? Действительно ли он выдан Пруссии? Тогда он пропал, и только всеобщее потрясение в Германии может его освободить. Жаль его, жаль из-за него и из-за дела! Напиши мне все, что ты о нем знаешь.

Зайлер * здесь и был у меня. Сначала я старался отнестись к нему очень хорошо, хотя у меня тоже было сильное предубеждение против него; к сожалению скоро для меня стало совершенно невозможно продолжать в этом духе, он все же — столь низкий характер, что его нельзя выносить. Он хвастал и лгал так возмутительно, что я вынужден был самым беспощадным образом продиалектизировать его в присутствии других, которым он хотел пустить пыль в глаза. С тех пор я его не видел больше и очень доволен, что освободился от него, ибо это — весьма низменный и бесстыдный субъект.

Что касается тебя, то меня не обманет никакая газетная статья, кем бы она ни была написана, и вообще что-либо другое.

* Себастиан [5].

Кого я знаю, того я знаю, и кого я люблю, того я люблю, не спрашиваясь у других. Моя любовь к человеку служит для меня лучшим доказательством его благородной, человеческой натуры; других доказательств мне не нужно. Тем не менее я рад, что ты решился заткнуть глотку старым кумушкам и сплетницам, стоящим во главе немецких газет. Бог в помощь тебе, и да научит он тебя быть энергичным без ругни. Кланяйся от меня Шмидту *, скажи ему, что я все продолжаю работать над моим бессмертным произведением, но в последнее время я работал над ним меньше, так как занят теперь выработкою своего французского стиля; поэтому я должен на некоторое время воздержаться от писания по-немецки, ибо ничто так не мешает хорошему французскому языку, как немецкий. Скажи ему также, что я делаю успехи в коммунизме и настолько уже преуспел в этом отношении, что сам начинаю перенимать коммунистические глупости.

В Париже я был у Кабе **, правда один только единственный раз, так что я не могу много сказать о нем; он произвел на меня именно то впечатление, какого я ожидал. Немецких коммунистов я не имел случая повидать; вообще мне пришлось много проглядеть, так как я оставался в Париже только очень короткое время [8]; 10 июля мы снова едем туда и на очень долгое время, и вы можете быть уверены, что я дам себе труд все видеть и слышать. Я знаю лишь, что один из немецких коммунистов — я думаю, парижский корреспондент — считает своей странной миссией следить за всеми и в особенности за немецкими радикалами до мельчайших деталей их жизни и деятельности [9]. Это бы еще ничего; но смешнее всего то, что он об этом торжественно объявил Руге и другим; Руге чуть не выставил его вон и имел на это по-моему полное право. Этим господам так еще чужды основные требования человеческого достоинства и человеческой свободы! Разве же это не печально? Что касается меня, то я всегда буду считать лицемерием, недостойным моей чести, и унизительным пресмыкательством потворство такому отсутствию человеческих чувств и примирение с ним. Французские коммунисты в этом отношении гораздо более прогрессивны, более гуманны, горды и свободны — они полны достоинства и самосознания, а потому ценят также достоинство и свободу других.

---

* Симон [6].
** Этьен [7].

А теперь две просьбы, дорогой Август:

1) В марте этого года мне было послано очень важное письмо из Франкфурта-на-Майне в Нион, — будь любезен, отошли прилагаемое письмо в почтовое отделение в Нионе, а письмо мне в Брюссель, улица Эскалье, № 41, или же, если это будет сделано позже 1 июля, то в Париж, Отель Жиронды, улица Кенз-Вен, у Пале-Рояля, М. Бакунину.

2) Уже очень давно я не имею никаких известий от Пескантини. Где он и что поделывает, где его жена и дети? Постарайся все это в точности разузнать и дать мне исчерпывающий ответ. Что поделывает сантиментальный префект Вэрэ? Вообще (сообщи) все, что ты узнаешь об интересном нионовском мире.

Я рад, что ты не едешь в Америку и остаешься с нами; на поездку в Америку приходится теперь смотреть не иначе как на абстрактный, трусливый выход, как на своего рода самоубийство. Надо иметь силу, несмотря ни на что, оставаться жить в Европе, чтобы впоследствии сохранить право действовать в Европе [10]. . . . .

Прощай.

Твой

М. Б[акунин].

Перевод с немецкого.

№ 480. — Письмо Рейнгольду Зольгеру [1].

14 октября 1844 года. Париж, Рю де Мулен, 32.

Дорогой Зольгер!

Я тебе не писал, но из этого ты не должен заключать, что я тебя хоть сколько-нибудь забыл или что мои чувства по отношению к тебе изменились. Некий г. Бернштейн, брат которого состоит редактором «Форвертса» [2] и который сдал мне здесь комнату, посылает свою жену-певицу в Берн, где она намерена остаться всю зиму и напеть себе побольше денег. Услыхав, что я знаком и дружен с тобою, он не успокоился до тех пор, пока я не обещал ему дать к тебе рекомендательное письмо. Он сам — не особенно интересная личность. Его жена повидимому еще не вполне усвоила благородство женской натуры, но, быть мо-

жет, она обладает прекрасной душой. Я не знаю ее и предоставляю тебе дальнейшее изучение этой женщины. Присмотрись к ней, и если она тебе понравится или покажется интересной, займись ею. В противном случае пусть делает, что знает. Это единственная рекомендация, которую я по совести могу дать. Поет она как кот на крыше, но для бернского театра она достаточно хороша.

Мы оба, т. е. Рейхель и я, в Париже: я — навсегда, Рейхель — до будущего лета. Относительно моих материальных дел Фохты вероятно тебе уже сообщали. Ты знаешь, что я присужден к лишению дворянства и к ссылке в Сибирь, но у меня дурной вкус, и я предпочитаю Париж Сибири. Кроме того правительство приняло всяческие меры к тому, чтобы совершенно отрезать меня от России. Мне с моей стороны удалось восстановить сношения с моей семьей, конечно тайным образом [3].

Малютка * сделал большие успехи. Я тоже много успел. Стал французом и работаю очень прилежно над Exposé et développement des idées Feuerbach (изложение и развитие идей Фейербаха). Много занимаюсь политической экономией и являюсь коммунистом от всего сердца. Малютка уже имеет уроки по 10 и 12 франков. Мне тоже обещаны уроки русского языка в русских семьях по 10 и 7½ франков. Кроме того мне прислали немного денег из России с торжественным обещанием положить конец моему тяжелому положению. Господи боже, тогда я сумею уплатить свои долги и стать свободным человеком! Но не говори об этом никому ни слова кроме Фохтов, пока ожидание не станет действительностью. Нам живется хорошо, мы много работаем, надеемся, ожидаем многого, веселы и бодры. Париж не такой город, как Брюссель: жить здесь это — действительно наслаждение.

А ты, дорогой друг? Что ты делаешь? Как обстоит дело с твоим «Аристофаном»? Как твоя поэзия? Каковы твои планы? Быть может, ты приедешь в Париж посетить нас? Мы постараемся, чтобы тебе это стоило очень мало. Не пошлешь ли ты нам свои стихи для «Форвертса»? «Форвертс» — пока еще негодный листок, но скоро станет хорошим. Видел ли ты Гервега **,

---

* Адольф Рейхель.
** Георга.

и доставила ли вам совместная жизнь удовольствие? От Фохтов мы не имеем ответа, и это нас бесконечно огорчает. Кланяйся им. Прощай.

Твой

М. Бакунин.

Мой адрес: M. Bakounine. Paris, rue des Moulins, № 32[4].

Перевод с французского.

№ 481. — Письмо в редакцию газеты «Реформа».

[27 января 1845 года. Париж.]

Милостивый Государь!

«La Gazette des Tribunaux» * вместе с другими парижскими газетами сообщила об указе, изданном против г. Головина ** и меня. Я считаю действия, правда не особенно деликатные, русского правительства по отношению к нам столь естественными и столь незначительными, в особенности по сравнению с чудовищными беззакониями, творимыми ежедневно, что конечно не позволил бы себе, милостивый государь, говорить вам о своей особе, если бы не был вынужден к этому письмом, которое г. Головин счел своим долгом послать в «Судебную Газету» и которое по моему мнению содержит ошибочные мысли о российских учреждениях, каковые я с своей стороны не считаю возможным оставить без возражений.

Мое личное положение очень просто. Во время пребывания моего в Германии и в Швейцарии русскому правительству было донесено, что я состою в тесной дружбе с некоторыми немецкими публицистами, принадлежащими к радикальной партии; что я — автор нескольких газетных статей; а главное, что я — приверженец польской национальности, столь благородной и столь несчастной, что я — открытый враг гнусного притеснения, жертвою которого она продолжает оставаться до сих пор[3]. Все эти преступления конечно не особенно тяжки, но их вполне достаточно для того, чтобы встревожить правительство, столь ревниво относящееся к любви и уважению своих подданных, как наше.

---

* «Судебная Газета»[1].

** Иван Гаврилович[2].

И действительно вскоре после того оно предписало мне немедленно вернуться в С.-Петербург, угрожая мне в случае моего ослушания наказанием по всей строгости законов.

Я знал, что ждет меня по возвращении. Кроме того, предпочитая более свободный воздух Западной Европы удушающей атмосфере России, я давно уже твердо решил эмигрировать. Я ответил решительным отказом, заранее предвидя все его последствия. Я хорошо знал, что согласно законам моей страны я, оказывая неповиновение правительству, совершаю преступление, почти равное оскорблению величества. Потому было бы странно с моей стороны, милостивый государь, жаловаться теперь на указ, лишающий меня, как говорят, дворянского достоинства и обрекающий меня на ссылку в Сибирь; тем более что из этих двух наказаний я на первое смотрю как на истинное благодеяние, а на второе — как на лишний повод поздравить себя с тем, что я живу во Франции.

Что касается г. Головина, то так как он сам находится в Париже, я не считаю себя вправе объясняться за него.

Но что глубоко смутило меня, милостивый государь, так это то, что в письме в «Gazette des Tribunaux» от 18 января г. Головин говорит о *какой-то грамате, дарованной Романовыми русскому дворянству*. Между тем он так же хорошо, как и я, должен был бы знать, что в России нет никаких других грамат кроме неограниченной воли императора; что, объединяя согласно основному закону империи в своем лице все виды государственной власти, будучи свободен от всякого контроля и служа единственным источником всякой законности в России, император не обязан считаться ни с привилегиями, ни с правами, а следовательно и фактически и юридически является неограниченным распорядителем жизни и чести всех своих подданных без изъятия.

Мне очень тяжело, милостивый государь, разоблачать таким образом печальное положение моей родины. Но я считаю иллюзии опасными; я думаю, что всегда следует говорить правду, ибо лишь в правде можно почерпать силы для борьбы со злом, причиняющим страдание.

Во Франции и в Германии часто говорили об оппозиции сената и дворянства. Сенат, милостивый государь, не имеет и тени политической власти. Он — не что иное как суд последней инстанции для гражданских и уголовных дел; к тому же его

решения часто изменяются и даже кассируются императором и его Государственным Советом. Кроме того сенат есть регистрирующее учреждение, всегда пассивное и послушное. Каждый сенатор может быть лишен своего звания императором; каждый сенатор может быть предан суду, состав которого на сей случай назначается самим императором. Вы хорошо понимаете, милостивый государь, что при подобных условиях сенат конечно неспособен ни к какому неповиновению.

Что касается русского дворянства, то его права — не более как фикция, ибо они ничем не обеспечены и по закону зависят от императорского усмотрения.

Дворянин свободен от всяких налогов и всякой личной службы. Он имеет позорное право владеть рабами, право свободно менять свое местопребывание и наконец он не подлежит телесному наказанию.

Таковы, милостивый государь, привилегии русского дворянства, которые наряду с некоторыми другими, не приводимыми мною по недостатку места, и составляют то, что г. Головину угодно называть «граматою, пожалованною Романовым»! Но все эти привилегии являются только сквернейшей иллюзией, ибо всякий дворянин, невзирая на свой чин, состояние и положение, может быть брошен в тюрьму, сослан в Сибирь или принужден нести службу по простому приказу императора. Каждый дворянин может быть предан его величеством суду, который рассмотрит дело в 24 часа и, лишив осужденного дворянства, доставит ему в неограниченном количестве удовольствие шельмования и наказания кнутом. И все это, милостивый государь, будет проведено на законном основании, потому что, как я уже имел честь вам сообщить, *в России закон есть не что иное как воля императора.*

Дух, которым проникнуто значительное большинство дворянства, представляет естественное последствие этого плачевного положения вещей. Деморализация, полная апатия, безыдейность и отсутствие благородных побуждений, которые делают жизнь такой прекрасной; почти полное отсутствие солидарности, энергии и гордости; глубокая скука, страшное однообразие, по временам прерываемое бесплодными вспышками недостойного честолюбия, — вот, милостивый государь, основа их существования.

В С.-Петербурге с особенной яркостью русское дворянство выставляет на показ все свое постыдное ничтожество. Здесь

Ф. Энгельс в 40-х годах.

можно видеть этих вельмож, рабов и рабовладельцев в одно и то же время, этих князей и графов, всех этих высоких сановников империи пресмыкающимися у трона и с остервенением оспаривающими друг у друга позорную награду за свое унижение. И они называют себя аристократами! Странная же это аристократия, которая, будучи совершенно лишена всякой независимости и общей воли, имеет центр и принцип своего существования не в самой себе, а в особе императора; которая расцветает и верит в себя постольку, поскольку император удостоивает ее милостивой улыбки, а при малейшем признаке его недовольства чувствует себя уничтоженной и убитой! Жалкая и смешная аристократия, совершенно чуждая всем вопросам века, всем великим интересам человечества, проходящим мимо нее; в своих собраниях говорящая лишь о словах, жестах и занятиях членов императорской фамилии и повторяющая каламбуры великого князя Михаила *! Нет, милостивый государь, знайте, в С.-Петербурге нет аристократов, а есть только холопы.

Нужно впрочем заметить, что среди русских дворян, а особенно среди молодежи, имеется уже достаточное число людей, проявляющих более возвышенные стремления. Они страдают от унизительного положения, в которое поставлены вместе с другими, и с этими другими они чувствуют себя солидарными, хотя лично они и не виноваты в этом положении. Они с любовью следят за развитием цивилизации и свободы в Европе и всеми силами стараются приблизиться к народу, что чрезвычайно трудно, потому что они отделены от него пропастью. Они пытаются сохранить, поддерживать в себе и зажечь в других священный огонь великих и благородных инстинктов.

Естественно, что они ищут друг друга в этой непроглядной ночи, в этой отравленной рабством, доносами и страхом атмосфере, окружающей и изолирующей их. Ах, милостивый государь, надо пожить в России, чтобы хорошо понять, какое влияние оказывают на умственное и моральное развитие человека занимаемое им положение и окружающая его среда!

Дай бог, чтобы эти молодые люди не сломились в борьбе, ибо те из них, которые сумеют до конца устоять против многочисленных сковывающих их препятствий, быть может, еще смо-

* Михаил Павлович, брат императора Николая I.

гут быть полезными нашей родине. *Но они будут действовать не потому, что они — дворяне, а несмотря на то, что они — дворяне.*

Ибо, повторяю, милостивый государь, русское дворянство как таковое совершенно деморализовано, бессильно и мертво.

Лично я не жалуюсь. Аристократические формы и привилегии могли быть очень полезны в прошлом; но я считаю их совершенно бессильными в настоящем и будущем. Я полагаю, что гений истории отвратил свой взор от этих пережитков средневековья и что он окончательно осудил их как неспособные и недостойные служить ему.

Я держусь того мнения, что для несчастных и угнетенных стран, как Россия и Польша, нет другого спасения кроме демократии.

Не думайте, милостивый государь, что демократия невозможна в моем отечестве. Лично я глубоко убежден, что только она одна должна и может быть там серьезно осуществлена, и что все другие политические формы, как бы они ни назывались, были бы столь же чужды и ненавистны русскому народу, как и существующий режим. Ибо русский народ, милостивый государь, несмотря на страшное давящее его рабство, несмотря на палочные удары, сыплющиеся на него со всех сторон, обладает совершенно демократическими инстинктами и повадками. Он не развращен, он только несчастен. В его полуварварской природе чувствуется столько энергии и размаха, такое обилие страсти и ума, что, зная его, нельзя не быть уверенным в том, что ему предстоит еще выполнить в мире великую миссию. Все будущее России заключается в нем, в этой бесчисленной и внушительной массе людей, которые говорят на одном языке и которые, как я надеюсь, скоро проникнутся единым чувством, единою страстью. Ибо русский народ идет вперед, милостивый государь, вопреки злой воле правительства. Разрозненные, но весьма серьезные бунты крестьян против помещиков, — бунты, учащающиеся в угрожающей форме, — бесспорно подтверждают это положение. Быть может, недалек момент, когда все они сольются в великую революцию, и если правительство не поспешит освободить народ, то прольется много крови.

Говорят, император Николай подумывает об этом. Дай-то бог! Ибо, если ему действительно удастся дать искреннюю и широкую свободу крестьянам, то это будет истинным благодея-

нием, за которое можно будет простить ему многое, а у него немало грехов, нуждающихся в прощении, так как его царствование до сих пор было отмечено лишь унижением всего, что отличалось еще благородной независимостью и положительными качествами в России.

Примите, милостивый государь, уверение в моем глубоком уважении.

Михаил Бакунин.

№ 482. — Письмо брату Павлу.

$\frac{29}{17}$ март, Париж. 1845 [года].

Милый друг! Еще нашелся случай писать к тебе, и я спешу воспользоваться им для того, чтобы разогнать все ваши сомнения и заботы обо мне.

Я до сих пор, несмотря на трудности и препятствия, встречающиеся мне на каждом шагу, жив, здоров и крепок. Верю по-старому, крепче старого и иду своим путем вперед. Ты знаешь, судьба была всегда к нам очень милостива: на 20 врагов дарила она нам одного истинного друга. Вспомни, чем для нас была Елиз[авета] Петров[на] *. В эту зиму я сблизился и истинно подружился с ее родственником, с тем самым, который тебя в Дрездене звал очень часто мадонною и написал на Петерсона ** водевиль ***. Целую зиму были мы здесь в Париже неразлучны, проводили целые дни вместе, и не прошло почти ни одного вечера, в котором бы мы, читая и разговаривая, куря цигаретки и запивая их чаем, не засиживались до трех часов ночи. Ты помнишь, мы всегда уважали его и признавали в нем благородную и богатую природу, но нам казалось тогда, что в нем есть недостаток энергии, мы упрекали его в отсутствии практического идеализма, мы были чужды ему, несмотря на все уважение, которое питали к нему. Он также смотрел на нас, и особливо на меня, несколько искоса. Теперь же наши отношения совершенно переменились, мы слились духом и сердцем; у нас — общая цель и общий путь, хотя и в разных краях и об-

* Языкова.

** Родственник Елагиных.

*** Григорий Михайлович Толстой.

стоятельствах[1]. Я узнал после твоего отъезда множество людей в Германии, Швейцарии, Бельгии и Франции, познакомился со многими и самыми замечательными демократическими знаменитостями[2], и могу тебя уверить, не знаю ни одного человека, который не был бы ниже его в демократическом отношении; я не знаю демократа, которого мог бы сравнить с ним, потому что то, что в других — слова, теории, системы, слабые предчувствия, то стало в нем жизнью, страстью, религиею, делом. Он не презирает более науку, как прежде, потому что убедился, что наука не есть сама себе цель, но необходимое, всемогущее средство для внутреннего и внешнего освобождения человека. Милый Павел, встреча моя с ним в Париже была для меня великое счастье; я отогрел несколько очерствелую душу и окреп и возмужал и снова помолодел в любовных отношениях с ним, я приобрел нового человека не в общем, но в нашем смысле этого слова; а найти человека в наше время, где нас, истинных демократов, апостолов освобождения, так мало, где мы все рассеяны по лицу земли и страждем в мучительном одиночестве, найти человека, подружиться с ним есть истинное счастье, благодать в полном и в истинном смысле этого слова, в том смысле, что искупителем и спасителем человека может быть только человек, что равное может быть спасено только равным, и что благодать есть любовь, братство и великое человеческое дело, связывающие свободных людей между собою. Он через полгода или через год возвратится на святую Русь; он отыщет тебя, где бы ты ни был, и вполне заменит тебе меня, тем более что ты можешь быть наперед уверен, что его слова, его чувства и его мысли будут вполне и без всякого ограничения также и моими словами, моими чувства[ми] и мои[ми] мысл[ям]и. Вверься ему вполне, милый друг; я посылаю тебе в нем спасителя, который поможет тебе и словом и делом; и если ты постарел во время нашей разлуки, если горький безотрадный опыт, отчаянье и кажущаяся безвыходность твоего теперешнего положения, если сердечное и духовное одиночество подавили юношеский жар и покрыли ржавчиною свежесть благородной и пылкой души твоей, он освободит тебя, он возвратит тебе и жар и свежесть юношеского стремления, разрушит в тебе отвратительную мудрость преждевременной старости и снова зажжет в сердце твоем веру в то, что в окружающем тебя мире называют невозможным, и страсть к отважным предприятиям.

Ты видишь, Павел, вера и идеальный азарт во мне не уменьшились: я тот же, что и прежде, — отъявленный враг существующей действительности, с тою только разницею, что я перестал быть теоретиком, что я наконец победил в себе метафизику и философию и весь всею полнотою души своей бросился в практический мир, в мир действительного дела и действительной жизни. Верь мне, друг, жизнь прекрасна; теперь я имею полное право это говорить, потому что давно перестал смотреть на нее через очки теоретических построений и знать ее только в фантазии; потому что я испытал на деле всю ее горечь и много, много страдал и часто впадал в отчаяние *.

Я люблю, Павел, я люблю страстно [3]. Не знаю, могу ли я быть любимым так, как я этого хотел бы, но я не прихожу в отчаяние. Во всяком случае я знаю, что ко мне питают большую симпатию. Я должен и хочу заслужить любовь той, которую я люблю, любя ее религиозно, т. е. деятельно. Она находится в самом ужасном и самом позорном рабстве, и я должен освободить ее, борясь с ее угнетателями и возжигая в ее сердце чувство собственного достоинства, пробуждая в ней влечение к свободе и потребность ее, инстинкты возмущения и независимости, вызывая в ней самой сознание своей силы и своих прав. Любить это значит желать свободы, полной независимости другого; первое проявление истинной любви это — полное освобождение предмета любви. Истинно любить можно только совершенно свободное существо, независимое не только от всех других, но и — и даже главным образом — от того, кто его любит и им сам любим. Вот мое исповедание веры, политическое, социальное и религиозное, вот сокровенный смысл не только моих политических действий и стремлений, но в меру сил моих и моей частной и личной жизни. Ибо то время, когда эти две стороны деятельности могли отделяться одна от другой, давно уже прошло. Теперь человек хочет свободы во всех значениях и приложениях этого слова или не хочет ее совсем. Любя, желать зависимости того, кого любишь, значит любить вещь, а не человека, ибо человек отличается от вещи только свободою; и если бы любовь включала в себе и зависимость, то она была бы вещью самою опасною и самою отвратительною в мире, ибо она была бы тогда неиссякаемым источником рабства и отупения для человечества. Все

---

* Отсюда в оригинале по-французски.

то, что освобождает людей, все то, что, заставляя их сосредоточиваться, пробуждает в них начало собственной жизни, самобытной и действительно самостоятельной деятельности, все то, что дает им силу быть самими собою, — истинно; все остальное — ложно, свободоубийственно, нелепо. Освобождать человека — вот единственно законное и благодетельное влияние. Долой все религиозные и философские догмы! Они представляют сплошной обман. Истина это — не теория, а факт, сама жизнь, это — общение свободных и независимых людей, это — святое единение любви, вытекающей из таинственных и бесконечных глубин личной свободы *.

Ах, Павел, как грустно, что тебя нет со мной; как бы ты мне был полезен теперь, с каким бы блаженством я перелил в грудь твою все, что тревожит и двигает сердце мое. Я знаю, мы опять бы и еще более прежнего жили душа в душу и, как прежде, не имели бы нужды в многоглаголании для того, чтобы вполне понимать друг друга и знать до последней мелочи, что в нас обоих делается. Я повел бы тебя туда, как говорит родственник Е[лизаветы] П[етровны] **, и посвятил бы тебя во все тайны и изгибы моих амуров (его же выражение). И дурак там есть, мерзкий, отвратительный дурак, которого ты мог бы мистифицировать, как бывало тетушку Анну Михайловну. А теперь я останусь один, потому что родственник Е[лизаветы] П[етровны] скоро оставляет Париж; не знаю даже, увижу ли его до его отъезда в Россию. Впрочем у меня остается Рейхель, с которым мы опять будем жить вместе. Он мне — также живой помощник в моем частном деле. Знаешь ли, Павел, он, может быть, приедет через год в Россию; тебе будет приятно снова увидеть его; тем более, что, так как мы были в продолжение двух лет неразлучны, то он может многое рассказать тебе обо мне. Кроме этого через недели три выезжает отсюда еще русский ***, которого ты, может быть, знаешь и который привезет тебе мой портрет.

Ты видишь, Павел, что я, несмотря на все запрещения правительства, нахожу средства писать вам, как же ты не догадался? Ведь путешествующих за границу много. Ты мог бы найти случай через Ел[изавету] П[етровну]. Каково же мне бо-

* Дальше снова по-русски в оригинале.
** Григорий Михайлович Толстой.
*** Н. А. Мельгунов [4].

лее двух лет не получать от вас никаких известий, не знать, живы ли и где вы? Разве вы думаете, что я перестал любить вас и заботиться о вас? Сестры Варинька и Alexandrine * были в Петербурге, видели Е[лизавету] П[етровну] и не могли даже оставить у нее строчки для меня. Об Вариньке я уж не говорю: она опять стала женатою, по выражению Будревича; но Саша *?! Кстати, о Будревиче, — скажи ему, что я познакомился с Мицкевичем **, который его помнит, и много говорил с ним об нем. Жив ли Будревич? Милые друзья, Павел, Танюша и вы все, другие братья и сестры, знайте, что я живо помню вас, что я вас горячо, горячо люблю; я не перестал быть вашим, хотя теперь и лишен всех средств быть вам полезным. Пожалуйста не позабывайте меня и, если есть возможность, осторожно и нисколько не компрометируясь, напишите мне хоть слово, для того чтоб я мог убедиться, что вы еще живы. Бедные вы мои, вы не знаете, как часто мое сердце ноет по вас и за вас; родители испортили всю вашу жизнь; они убили вас. Что отец? Мне жаль его; он также был способен к другой жизни. Жив ли он еще? Я напишу ему скоро последнее прощальное письмо без всякой практической, своекорыстной цели, но только для того, чтобы проститься с ним и сказать ему несколько слов любви и прощения. Мать же нашу я проклинаю, для нее в моей душе нет места другим чувствам кроме ненависти и самого глубокого и решительного презрения, — не за себя, а за вас, которых она погубила. Не называйте меня жестокосердым; пора выйти нам из сферы фантастической и бессильной чувствительности, пора становиться людьми и быть столь же постоянными и сильными в ненависти, как и в самой любви. Не прощение, но неумолимая война нашим врагам, потому что они враги всего человеческого в нас, враги нашего достоинства, нашей свободы.

Wir haben lang genug geliebt,
Wir wollen endlich hassen! ***

Да, способность ненавидеть неразрывна с способностью любить ****. Мы должны прощать нашим врагам только после того,

---

* Сестра Александра.

** Адам [5].

*** «Довольно мы врагов своих любили,
Мы ненавидеть их хотим!» (из Г. Гервега).

**** Отсюда по-французски в оригинале.

как мы их ниспровергли и окончательно победили. А пока они держатся на ногах, никакой пощады и никакой передышки! Слава богу мы — уже не христиане, мы освободились от христианской (одно слово вырвано: вероятно «религии»), которая смиренно склонялась и с бессмысленным великодушием прощала тех, кто душил нас и наших друзей. Отныне никакого прощения, а страшная и беспощадная борьба с теми, кто против нас *! Только ради бога будь осторожен, Павел! Ты знаешь, как легко можно скомпрометироваться в России, особливо вам, братьям изгнанника. Не болтайте по-пустому; научайтесь хитрить у врагов ваших и бейте их их собственным оружием, для того чтобы они перестали считать вас детьми и уважали бы вас вполне.

Не унывай, друг, не давай унынию и апатии овладеть твоею душою; ведь ты молод, будь силен, учись и занимайся много историею и главное употребляй все усилия для того, чтобы знакомиться и дружиться с хорошими и одинаково мыслящими людьми. Зачем прервал ты отношения с Е[лизаветой] П[етровной]? Она нас так горячо любит. Все это приписываю я унынию, Павел, и умоляю тебя сбросить его с себя. Поверь мне, будет еще хорошо. Если можно, доставь мне ваши портреты, а особливо твой и Танюшин. Что Бееровы? Скажи или напиши им, что я помню и люблю их. Надеюсь, что мне можно будет выслать тебе скоро брошюру на французском языке «Sur le christianisme, la philosophie et la société actuelle» [6].

Прощай.

Твой *(подпись оторвана)*.

№ 483. — Тайна жизни.

(Запись в альбом).

Быть свободным и освобождать других — вот тайна жизни. Женщины призваны к этому совершенно так же, как и мущины, и вопреки всеобщему мнению, отводящему женщинам только подчиненное положение и деятельность, мне хотелось бы сказать, что оне призваны к этому даже больше мущин, потому что их жизнь и деятельность не абстрактны и односторонни, а полны

* Дальше снова по-русски в оригинале.

жизненности, которая нуждается в вольном воздухе, чтобы развернуться во всей своей красе, и потому еще, что оне обладают гораздо большим, чем мущины, пониманием и чутьем несчастья и унижений ближних. Я давно уже об этом догадывался, а с тех пор, как знаю Вас, догадка превратилась в уверенность. Дорогой друг, втечение короткого времени мне дано было счастье работать вместе с Вами и стремиться к общей цели; я знаю, что Ваша жизнь в будущем будет отмечена прекрасною и благородною освободительною работою, и я прошу Вас только думать обо мне при всяком новом шаге к свободе. Тогда я буду уверен, что Вы меня никогда не забудете.

М. Б[акунин].

Париж 1845 [года] — 24 апреля.

№ 484. — Письмо родным.

(1 мая 1845 года).

(Сестрам и братьям.)

Милые друзья! Как часто я вспоминаю о вас! Теперь утро; я сейчас только проснулся. Меня разбудили звуки чудной фантазии. В соседней комнате Рейхель играет на фортепьянах, чистый утренний воздух освежил мою комнату и наполнил ее весенним благоуханием цветов, стоящих у меня на окне. Все это очаровало меня и напомнило мне то прекрасное лето в Прямухине, которое началось приездом моим к вам с Лангером и Полем*; наши общие прогулки, чтение, священный восторг, наполнявший наши души и сливавший жизни наши в одну жизнь, в одно трепетное ожидание чего-то великого, в одно общее действие для нашего взаимного освобождения. Боже мой! сколько времени прошло с тех пор! Как все переменилось! Мы разлучены, оторваны друг от друга навсегда, но воспоминания живы во мне, они не лишились силы волновать мою душу и проникать ее любовью и верою. Вы живете во мне, я не изменил старым верованиям и привязанностям, прошедшее для меня священно; оно присутствует во мне как живой источник силы и развития; опытность, трудности и препятствия, которые я так часто встречал на пути своем, не сломили [ни] моей воли, ни моей веры! Я не пре-

* В июне 1837 года.

клонился перед так называемыми необходимостями действительного мира и враждую с ними попрежнему и попрежнему надеюсь победить их; моя вера, безусловная вера в гордое величие человека, в его святое назначение, в свободу как единственный источник и единственную цель его жизни осталась непоколебима, не только что не уменьшилась, но увеличилась, окрепла и расширилась в борьбе. «Все или ничего» — вот мой девиз, мой воинственный клик, и я ни на шаг не отступлю от своих требований.

Вы видите, друзья, я не переменился. А вы? Я боюсь спрашивать. Ваше грустное заточение, — вы окружены таким пошлым миром, заключены в такие тесные границы; сердца ваши не изменились, не могли измениться, они так же благородны, так же полны любви, как и прежде, вы не можете перестать и никогда не перестанете любить; но вы, может быть, устали, утратили веру; уныние, может быть, овладело вами, и вы ничего более не ожидаете для себя? О, друзья, если б я был с вами, я снова пробудил бы вас к жизни! Зачем меня нет с вами? Помните, как я переводил Беттину ночью в маленьком саду, на гроте, при свете фонаря! Помнишь, Павел, как мы с тобой укрывались от июльского жару под гротом, как мы занимались посреди воды на камешках, а Илья в доказательство своей отваги бросился в чан, наполненный ключевой водою, и пробыл там до тех пор, пока совсем посинел? Помнишь, Алексей, как мы с тобой вечером сидели у моста на бревнышке и говорили о том, как к нам вдруг явятся Станкевич и все великие люди прошедшего, и как мы с ними будем разговаривать? Помните, сестры, как в конце лета мы вместе гуляли по нашей любимой лопатинской дороге? Это было вечером, уж было темно; Саша в белом платье стала на забор и представляла привидение, а я, весь черный, в виде чорта крался к ней. Помните то чудное, теплое, свежее утро, когда мы вместе читали Беттину, сидя у забора подле маленькой рощи, и Варинька прибежала с известием, что приехал Дьяков? Борьба за ее освобождение должна была начаться; мы были все так торжественно настроены, и вдруг проехала бабушка и дала нам выборгских кренделей. Помните, как весною, перед отъездом Вариньки за границу, в страстную неделю, мы разводили огонь в маленькой роще, и больная Любаша приехала к нам на дрожках? Этим кончается ряд свежих, живительных воспоминаний, — после этого все было тяжело!

В моей душе еще много других воспоминаний; эти воспоминания — мое лучшее сокровище: они хранят и поддерживают меня и связывают меня с вами неразрывными узами.

Павел, посылаю тебе мой портрет. Иные находят, что он очень похож, другие, что только каррикатурно похож; как бы то ни было, я уверен, что он доставит тебе удовольствие. Память твоего сердца дополнит и поправит его недостатки. Если б вы могли переслать мне свои портреты, как бы я был счастлив! В Брюсселе я увидел нечаянно конфектный ящичек с *барышнею*, очень похожею на Сашу; тотчас же купил, и теперь он лежит еще передо мною. Но ведь вы, глупые, ничего не можете устроить. Ведь уже более двух лет теперь, как я ничего не знаю о вас, и, несмотря на это, верю, безусловно верю в любовь вашу, хотя и не могу простить вам вашего молчания, которое приписываю более глупости и неопытности. А ведь Николай — практический человек, не то, что наш брат, мечтательный идеалист. Милый брат, женился ли ты наконец? Я не спрашиваю тебя, счастлив ли ты, потому что, если ты только соединен с Анеточкою *, то ты непременно счастлив. Она — такое милое, благородное, умное, простое и любящее существо, и ты вполне достоин ее. Вы должны быть вместе, должны быть счастливы наперекор врагам или, лучше сказать, врагу нашему — матери, для которой в душе моей нет другого чувства кроме проклятий и самого глубокого презрения. Она — источник нечистоты в нашем семействе, ее присутствие, ее существование есть уже оскорбление святыни, она отравила жизнь моих сестер, — вот за что я ее проклинаю.

Но полно об этом, Скажи от меня Анеточке и Катеньке **, что я их люблю как сестер. Милый Николай, позволь мне сказать тебе откровенное слово. Большая часть лучших людей в России и даже в Европе становятся деспотами, сознательными или бессознательными деспотами, как только женятся. Я сам в старину, несмотря на мою страстную любовь к свободе, имел большую наклонность к деспотизму и часто мучил и притеснял бедных сестер; спроси об этом Танюшу, она всегда была первая бунтовщица и осмелилась даже раз в Баховкине назвать меня деспотом. Но теперь я переменился, Николай, теперь я понял,

---

* Ушакова, Анна Петровна.
** Ушакова, Екатерина Петровна.

что свобода не должна быть только отвлеченною целью отвлеченных стремлений и действий, но всегда присутствовать в жизни и проникать, оживлять и возвышать малейшие подробности жизни. Женщины почти везде — рабы, и мы сами — рабы их рабства; без их освобождения, без их полной, безграничной свободы наша свобода невозможна; а без свободы нет ни красоты, ни достоинства, ни истинной любви. Человек только до той степени любит, по какой он желает и вызывает свободу и независимость другого, — полную независимость от всего, даже и особенно от самого себя. Любовь есть союз свободных людей, и только такая любовь возвышает, облагораживает человека. Всякая другая унижает и притесняемого и притеснителя и есть источник разврата. Давай полную свободу Анеточке, для того чтобы она могла любить, любовью своей возвышать тебя и исполнять свое прекрасное призвание. Ты видишь, Николай, как я пользуюсь правами старшего брата; впрочем я почти уверен, что ты сам знаешь и чувствуешь это и поступаешь сообразно с этими понятиями.

Павел и Танюша, вам, друзья мои, поручаю я передать мое письмо отцу. Это — прощальное письмо, мое последнее слово к нему. Он часто был неправ против меня; но в детстве нашем он был нашим благодетелем, он воспитал в нас любовь к природе и чувство прекрасного, он положил основание той дружбе, которая нас всех связывает; без него мать погубила бы и развратила бы нас. Он был нашим ангелом-хранителем в нашем детстве. Неприятные воспоминания исчезли во мне, и я помню только его доброту и любовь; мы друг для друга умерли, и я хочу сказать ему в последний раз, что я никогда не переставал любить его; я хочу проститься с ним и избираю вас для передачи моего последнего прощания.

Павел, ты должен сблизиться с тем, от которого получишь это письмо [1].

Что же скажу вам о себе? Я подвигаюсь вперед, мои дела идут очень порядочно и, надеюсь, пойдут еще лучше. Постараюсь доставить вам брошюру, которая будет скоро напечатана, и в которой я старался выразить свои глубочайшие убеждения [2].

В июне или в июле месяце я намерен отправиться в Пиринеи, где хочу провесть по крайней мере месяц посреди дикой природы в самом полном уединении. Мною овладело страстное, непреодолимое влечение к дикой, свободной природе, которая

должна возобновить мою душу. Я часто себе повторяю слова Фауста:

Auf! Bade, Schüler, unverdrossen
Die irdsche Brust in Morgenroth! *

Прощайте, друзья. Я не говорю вам: не позабывайте меня, но пишите мне. В Пиринеях я буду часто думать об вас. Павел, как я буду лазить по горам, над пропастями и курить цигаретки, а поздно вечером, возвратившись в свою уединенную лачужку, пить чай (цигаретки и чай — непременные условия всякого поэтического наслаждения) и спасать человечество.

Прощайте, прощайте.

Париж, 1 мая. 1845.

Посылаю вам испанскую песнь, которую беспрестанно пою про себя. Вы поймете, почему я так полюбил ее. Саша, эту песенку посылаю я тебе, пой ее в мое воспоминание **.

Скажите Беерам, если вы их увидите или будете им писать, что я всегда сохраняю верное воспоминание о них и продолжаю видеть в них сестер и друзей. Скажите г-же Ушаковой ***, что я сохраняю о ней нежное и почтительное воспоминание ****.

№ 484-бис. — Письмо к Н. И. Сазонову.

[Июнь 1845 года. Люксюр Мер.]

Благодарю Вас за ваше доброе письмо, любезный Сазонов. Из письма Мельгунова ***** Вы увидите, что я не в Париже, а в Люке (Luc sur Mer) в полутора часа[х] от Caen ******. Мельгунов приехал сюда брать морские ванны, но не берет, а я купаюсь, как в St-Malo *******, 2 раза в день и так же, как в St-Malo, вожусь с абатами ********.

---

* Встань, ученик! Омой, несчастный,
Земную грудь в лучах зари!» («Фауст», пер. Фета, стр. 31).

Сравнение с № 448 показывает, что Бакунин цитирует на память и не всегда точно.

** Дальше по-французски в оригинале.

*** Ольга Яковлевна.

**** К этому письму был приложен листок с нотами испанской песенки. Листок был в руках у А. Корнилова (см. его т. II, стр. 292), но в каком месте Прямухинского архива, хранящегося в б. Пушкинском доме, он теперь находится, мы не знаем.

***** Николай Александрович.

****** Кан.

******* Сен-Мало.

******** Последнее слово написано примерно так: «абитали».

№ 485. — Письмо сестре Татьяне.

Paris, $\frac{29}{17}$ Juin.

(17/29 июня [1845 года].
Париж).

Сестре.

Милая Танюша, вот уже более двух лет, как я не получаю ни строчки ни от тебя, ни от кого из вас. Неужели вы в самом деле позабыли меня? Если бы между моими сестрами и братьями не было тебя и Павла, то я был бы теперь в этом уверен и не писал бы этого письма. Ваше долгое и непонятное молчание и некоторые перемены, происшедшие в вашем семействе, перемены, о которых я узнал только что недавно [1], были бы достаточным оправданием моих сомнений. Я верил неизменно и безусловно впродолжение двух лет, наперекор всем и всему; ведь этого, кажется, довольно! Пора отдохнуть от сильного и бесплодного напряжения, пора сознать, что и *неразрывная дружба наша*, о которой мы во время оно так много говорили, и о которой я еще недавно писал к отцу с таким детским легковерием, что *священный союз наш* так же подчинен законам пространства и времени, как и все другое. Что ни говори, а время много значит. Пять лет прошло с тех пор, как мы расстались! Братья и сестры успели перемениться; они сделались благоразумными, действительными людьми, и мать их после долгих трудов и долгих страданий сделалась наконец счастливой матерью! Какая же может оставаться связь между ими и мною? Я должен быть им благодарен, если они меня только не проклинают за беспокойство, за совершенно пустое и бесплодное волнение, внесенное мною некогда в жизнь их; без него они без всякого сомнения были бы уже давно готовыми и счастливыми людьми. Я был единственною преградою между ими и любящим сердцем матери, — преграда эта к счастью исчезла, и единомыслие, единодушие восстановилось между счастливыми детьми и торжествующею родительницею! Я не переменился — года и опыт не только что не разрушили моих старых верований, но укрепили и расширили их во мне; наши пути поэтому совершенно различны, с каждым днем мы будем расходиться более и более, а потому очень естественно, что они начинают позабывать и скоро совсем позабудут меня. Я ж с своей стороны, убедившись наконец в этом, пожелаю им один раз навсегда счастья и также постараюсь более не думать об них.

хотя мне это будет и несколько труднее, чем им, потому вопервых, что я один, в то время как они более или менее вкушают семейное счастье, а вовторых потому, что во мне повидимому и наперекор всем, упрекающим меня в противном, более любви, верности и памяти сердца, чем во всех них вместе.

Итак я решился бы наконец сказать себе, что у меня нет более ни сестер ни братьев, если бы между ними не было тебя и Павла, мой милый друг. Но в вас двух я не могу сомневаться; для этого вы должны бы были сами сказать мне, что вы перестали любить меня, да и тогда бы я не поверил вам, потому что это невозможно, потому что я слишком глубоко чувствую противное. Вот почему я обращаюсь к тебе и единственно только к тебе, моя добрая, единственная сестра. Павла нет с тобой, а другие?.. говоря с другими, я чувствую, что я говорил бы холодно и несвободно. Другим до меня нет дела, тебе ж мое письмо доставит хоть одну отрадную минуту,.. оно напомнит тебе, что далеко, далеко от тебя живет человек, который страстно любил тебя и который до сих пор хранит память твою как святыню.

Милая Танюша, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что тебе грустно и тяжело жить, что дни твои протекают теперь в глубокой и безмолвной тоске, что страстное сердце твое, измученное неудовлетворенною потребностью любви и жизни, заключилось в самом себе и бесконечно страдает в этом гордом и неприступном одиночестве; мне кажется, что на развалинах нашего *старого* прямухинского мира, юношеских верований и ожиданий, брошенных и позабытых другими, ты осталась одна, и что у тебя нет человека, нет друга, которому бы ты хотела, которому бы ты могла передать свою печаль. Милая, если догадки мои справедливы, вспомни, что у тебя есть еще один верный, неизменный друг, который не только что не утратил способность понимать тебя, но в котором она усилилась опытом и жизнью, направленною к единой благородной цели. Да, Танюша, я чувствую, что я теперь более чем когда-нибудь способен быть твоим истинным другом. Как бы я ходил за тобой, если б мы были вместе, как бы старался разогреть твое сердце. Милый друг, дай мне твое горе, — я имею на него неотъемлемое право. Скажи мне живое слово, дай волю твоему сердцу, твоим чувствам. Пиши мне, ведь это не невозможно, посылай с кем-нибудь (а не по почте) свои письма к Мельгунову *, через которого ты полу-

* Николаю Александровичу.

чишь это письмо; он мне будет пересылать их. Постарайся, если ты будешь в Москве, познакомиться с Мельгуновым и его женой; они оба — славные люди и мои *истинные* друзья; они тебе много расскажут обо мне, — мы жили с ними некоторое время почти неразлучно и душа в душу; если тебе будет невозможно самой приехать в Москву, войди с ними в письменные сношения, но только ради бога осторожно, не упоминая моего имени в письмах, посылаемых по почте. Все это говорю я тебе, милый друг, в предположении, что ты не перестала любить меня, — не в предположении, но в уверенности, хотел я сказать, потому что, повторяю еще раз, я не могу сомневаться в твоей любви. Милый друг, с некоторого времени у меня есть фантазия, — ведь для людей с волею и с любовью ничто не невозможно, — может быть, через несколько лет мы встретимся в Париже и будем жить вместе. Подумай хорошенько об этом — ты хоть под конец своей жизни, хоть один раз вздохнешь широко и свободно! и мы еще раз увидимся! Я ничего не пишу о себе, я прежде хочу снова услышать твой голос, тогда я много, много скажу тебе, а теперь прощай, помни, люби меня и верь в горячую и неизменную любовь твоего брата и друга.

М. Б.

Передай мое письмо Шпилевскому **, а если его нет в Твери, то Будревичу; я их обоих помню и люблю. Брат Николай, который, как я узнал от одного из его бывших товарищей, имеет частые сообщения с Тверью, вероятно не откажется доставить верным путем мое письмо моему старому и доброму приятелю ***. Я прилагаю к этому письму копию письма, напечатанного мною в одном французском журнале («La Réforme») ****, и оригинальное письмо, полученное мною по этому случаю от одного поляка из Лондона [2]. Прочти их сама.

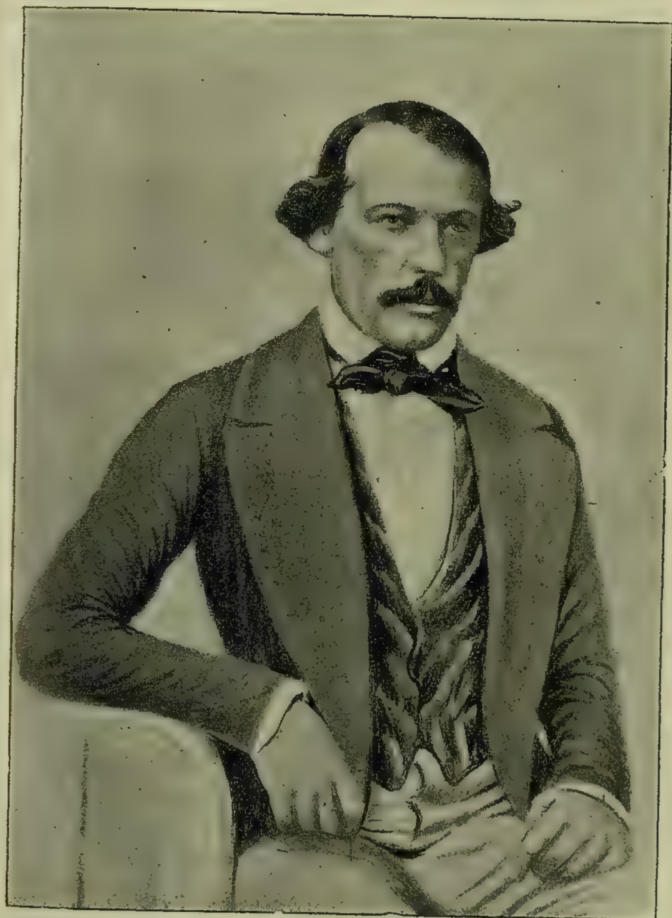
Я вам часто писал, получали ли вы мои письма? Два письма должны были быть переданы вам или Елиз[аветой] Петр[овной] или Белинским, а одно Мельгуновым.

Поклонись от меня всем, которые меня хоть несколько помнят; что Бееровы? переписываешься ли ты еще с ними? Если

** В оригинале написано «Шипилевскому».

*** Шпилевскому.

**** См. выше № 455.



Н. А. Бакунин.
(Брат М. А.)

да, то скажи им, что я свято храню их в памяти своей и причисляю их к маленькому кружку моих, по крайней мере в прошедшем моих, а прошедшее не перестало быть во мне настоящим.

Мой адрес в Париже: M-r Bakounine.—Paris, Rue Godot de Mauroi, № 9.

Перевод с французского.

№ 486. — Статья о преследовании католицизма на Литве и в Белоруссии.

(Письмо в редакцию газеты «Le Constitutionnel».) [1].

(6 февраля 1846 года.)

Милостивый государь!

Я — русский и люблю мою страну, вот почему я подобно очень многим другим русским горячо желаю торжества польскому восстанию.

Угнетение Польши — позор для моей страны, а свобода Польши послужит, быть может, началом нашего освобождения.

Впрочем как честный человек я хочу дать свидетельское показание по делу, занимающему в настоящий момент французские газеты. Я говорю о преследовании католических монахинь в Литве.

Лично я вполне убежден в точности сообщаемых монахинями фактов. Я думаю, что эти факты — верны, так как я считаю их вероятными и знаю, что возможное зло в России всегда становится к несчастию действительностью. Политическое и административное устройство этой страны таково, что, сделав добро почти неосуществимым, оно делает зло почти необходимостью.

Первый возникающий здесь вопрос заключается в следующем.

Возможно ли, чтобы русское правительство, как бы оно ни было абсолютно, позволило себе употреблять насилие в качестве средства религиозной пропаганды?

К сожалению в этом сомневаться не приходится. Всем известно, к каким незаконным, насильственным и часто жестоким мерам прибегали русские власти для того, чтобы заставить жите-

лей Литвы и Белоруссии изменить свою религию. Предписанные и санкционированные самим императором, эти систематически организованные насилия не могли не быть ему известны.

Литва, а также Белоруссия, входившие тогда в состав польского королевства, в XVI веке переменили греческую религию на римско-католическую. Они приняли все догмы, признали верховную власть папы, но за это Флорентинский собор, назвавший литовцев греко-униатами, разрешил им сохранить обряды греческой церкви.

Мало-по-малу старые формы и обычаи забылись до такой степени, что уже в XVIII веке почти невозможно стало отыскать малейшую разницу между греко-униатами и римскими католиками.

Эта перемена, равно как и самое введение унии в некоторых частях этих областей и особенно на Украине, не могли пройти без некоторых осложнений. Средства, употреблявшиеся тогда иезуитами, всемогущество которых в Польше и послужило одною из главных причин падения этой страны, очень похожи на те средства, какими в настоящее время пользуется императорское правительство. Но в конце концов дело было сделано, и когда эти области были присоединены к России, население не помнило уже страданий отцов и искренно было предано своему новому культу, который, как я уже вам сказал, почти ничем не отличался от католического.

Руссифицировать Польшу — такова упорная мысль императора Николая с 1831 года, мысль вполне логичная, потому что, не желая видеть Польшу независимою и свободною, он по необходимости должен стремиться разрушить ее национальность. Но, чтобы достигнуть этого, необходимы были три вещи: 1) уничтожение польского языка; 2) подчинение Польши русскому законодательству; 3) установление государственной религии на развалинах католической и греко-униатской церкви.

Я не могу, м. г., развернуть перед вами полную картину действий русского правительства, это значительно удлинило бы мое письмо. Я остановлюсь только на третьем пункте.

Естественно приходилось начинать с Белоруссии и Литвы. Вам наверно известно, м. г., что русская политика слагается из двух основных элементов: она обыкновенно начинает с хитрости и всегда кончает насилием. Вот как в данном случае взялись за дело, чтобы открыть несчастным диссидентам пути к вечному

спасению. Выказав себя вначале ревностным блюстителем строгого исполнения диссидентами постановлений Флорентинского собора, правительство потребовало обязательного выполнения пункта, разрешавшего им сохранить обряды греческой церкви. Оно начало с перемен во внутреннем устройстве церквей, а также в священническом облачении. Эти изменения произведены были очень грубо, так как ни на какие жалобы не обращали внимания, и католические священники лишены были свободы без дальних околичностей. В 1838 году правительство, круто изменив свою политику, задумало нанести решительный удар. Епископ Семашко [2], бывший душою этого предприятия, созвал в Полоцке нечто вроде собора, составленного из небольшого числа епископов и священников, часть которых была подкуплена посулами, а другая запугана угрозами. Воссоединение греко-униатской и православной церкви было единодушно принято, и в Петербург послана депутация во главе с Семашко, чтобы просить императора соблаговолить разрешить своим покорным подданным-раскольникам отречься от ереси.

«Благодарю бога и соглашаюсь». Таков был ответ Николая. Депутатов осыпали милостями, великолепными подарками и чинами. Ежедневно служились молебны, и в то время как эта комедия разыгрывалась в Петербурге, на Литве и в Белоруссии реками уже лилась кровь. Император послал туда архиепископа Семашко, облеченного всею полнотою власти, приказав гражданским и военным властям оказывать ему всемерную помощь и содействие.

Диссидентское население единодушно протестовало против собора в Полоцке; вспыхнули частичные бунты, подавлявшиеся вооруженной силой; множество крестьян было расстреляно, другие забиты кнутом; а еще большее количество их сослано в Сибирь — частью на поселение, частью в каторжные работы.

Многих непокорных священников постигла та же участь. Некоторые из них были брошены в тюрьмы и там подверглись пытке, да, м. г., пытке, ибо, хотя указом Екатерины II пытка отменена, ее тем не менее даже в России, при производстве следствия, продолжают применять — не к дворянам, если только они не обвиняются по политическому делу, а к народу и к некоторым категориям третьего сословия.

Несмотря на эти варварские меры, диссиденты продолжают оказывать сопротивление тираническим требованиям русского

правительства. Дело базилианских монахинь[3] лишний раз подтверждает его. И после всего того, что я вам сказал, вы согласитесь, что жалобы г-жи Мечиславской[4] не могут считаться преувеличенными.

Человек, подобный Семашке, способен на все. Что касается дурного обхождения и оскорблений, какие несчастным базилианским монахиням пришлось вытерпеть от русских монахинь, я не нахожу в этом ничего невероятного, так как большинство мужских и женских монастырей в России наполнены невежественными тунеядцами, привыкшими с самого раннего детства ко всякого рода жестокостям и проводящими время в механически повторяемых молитвах, сплетнях, а подчас и в пьянстве. Легко можно представить себе, как такие монахини должны были встретить беззащитных женщин, обвиненных в ереси и в неповиновении императору.

Но знал ли император Николай обо всем этом? Возможно ли, чтобы он сам предписал эти жестокости? М. г., я не хотел бы быть несправедливым ни к кому, даже к императору, который так много раз был несправедлив ко всем. Но все же я должен сказать правду: приговоры и экзекуции, о которых я выше говорил, все были предписаны императором. Он конечно не приказывал Семашке дробить челюсти бедным монахиням. Но он облек его своим полным доверием, приказал ему поступать с ними самым суровым образом, по всей строгости русских законов. Я глубоко убежден, что если бы император выразил твердое желание не допускать несправедливых преследований и кровавых насилий в своем государстве, то все эти жестокости не имели бы места. Сообщенные мною факты известны мне лично, так как я провел некоторое время на Литве в качестве офицера. Если бы я не боялся злоупотребить вашим вниманием, я мог бы вам рассказать много других случаев, чтобы доказать вам, что если О'Коннель[5] мог заявить в парламенте о своем отечестве, «что ни с одним народом на земном шаре так жестоко не обращались, как с Ирландией», то лишь потому, что он, вероятно, не знал всех варварских деяний русского правительства в Польше.

Администрация в Польше почти вся состоит из людей, которые, не имея другой цели кроме карьеры и обогащения любыми путями, стараются отличиться своим усердием, а последнее сводится обыкновенно к раскрытию новых заговоров и к ожесточенному преследованию действительных или мнимых заговорщиков.

Припомните, м. г., что русское правительство замышляет не более и не менее как полное уничтожение польской национальности; что оно враждебно настроено против ее обычаев, религии, даже языка; что оно видит преступление и оскорбление величества во всем, что противоречит воле императора; что гонение и приговоры по форме представляют сплошной произвол; что те, кто уполномочен на это, вплоть до самых маленьких чиновников русской администрации, пользуются почти абсолютной властью над всяким поляком.

Сопоставьте все это вместе, и вы получите полное и верное представление о страданиях этой несчастной и благородной нации.

Примите, м. г., и пр.

М. Бакунин.

Париж, 6 февраля 1846 года.

Перевод с немецкого.

№ 487. — Письмо Луизе Фохт.

(5 августа 1847 года.)

Дорогой и милый друг!

Не сердитесь на меня за то, что я Вам так много лет не писал, и не объясняйте моего долгого молчания забывчивостью или неблагодарностью. Мы с Рейхелем так же преданы Вам, как и прежде, и всегда вспоминаем о Вас с тою же любовью и благоговением. Кроме лени, которая является моим национальным первородным грехом, было еще много других причин, способствовавших тому, что я не давал о себе весточки. Я еще не пришел к чему-либо положительному, я все еще состою в поисках жизни и истины, а кто в мои годы находится еще в процессе развития, тот не склонен много о себе писать. Впрочем Вы вовсе не должны думать, что я отчаиваюсь и потерял бодрость к жизни или что я в каком-либо пункте изменил своему прежнему мировоззрению. Напротив я думаю, что я во всем укрепился. Но только Париж, по крайней мере в настоящий момент, не является местом, где можно действительно чувствовать себя живым. В этом городе, несмотря на его размеры и протяжение, человеку тесно. Здесь слишком скверно, и долго так продолжаться не мо-

жет. Если бы мои средства позволяли мне это, я бы этим летом непременно прикатил к вам в Швейцарию. Но и в этом пункте я еще не пришел к действительному разрешению своего положения, нахожусь только в первоначальной стадии такого разрешения и должен поэтому еще терпеть. Но в будущем году я определенно надеюсь посетить Вас, и тогда Вы, милый и дорогой друг, лично сможете убедиться в том, что я не изменился ни в моей любви к Вам, ни в серьезности моих стремлений и желаний.

Это письмо Вы получите через одну русскую даму, урожденную немку, мать моего друга Герцена *. Она намерена провести несколько месяцев в Швейцарии, а так как она знала, что я имею там знакомства, то просила меня снабдить ее рекомендательными письмами. Я могу рекомендовать ее только Вам, других же друзей в Швейцарии у меня нет. Фоллен с того времени, как познакомился со мною, стал руссофобом. Я убежден, что мать моего друга понравится Вам и что Вы ее полюбите.

Мне было очень жаль, что я не мог бывать чаще у Вашей дочери в Париже и что я не писал Вам через нее. Но это было для меня тогда невозможно, ибо у меня было бесконечно много дел. Что делает фрейлен Луиза и фрейлен «Сапог» **? Где находится Эмиль, Густав и ученый Петр *** [2]? Как поживает профессор ****?

Жена Рейхеля ***** [3] наконец приехала в Париж, так что я уже живу не с ним, но на той же улице и обедаю с ними. Это — чудная женщина и именно такая, какая нужна была Рейхелю, так что теперь можно не опасаться насчет его счастья. В эту зиму с его уроками дело шло лучше, и он надеется в будущем году заработать много денег. Он остался все тем же, и если кое в чем изменился, то к своей выгоде. Теперь он много работает и компонирует. Я тоже надеюсь скоро закончить кое-что, но не хочу больше ничего сказать, пока не пошлю вам этого.

На этих днях я получил письмо от Августа Беккера. Бедняга находится в Страсбурге в очень тяжелом положении. Я не мог послать ему больше 50 франков. Гервег не здесь, и я поистине не знаю, как быть. Но я все сделаю, чтобы помочь ему и

---

* Луиза Гааг [1].

** Кличка девицы Августы Фохт.

*** Прозвище Адольфа Фохта; речь идет о трех сыновьях адресатки.

**** Старый Фохт, муж адресатки.

***** Речь идет о первой жене Рейхеля, умершей в 1849 году.

фрейлен Чех, дочери цареубийцы *, которая тоже находится теперь с ним в Страсбурге. Беккер — чудный человек, золотое сердце. Его ни в коем случае нельзя оставить на произвол судьбы.

Симон Шмидт здесь в Париже и хочет ехать в Америку, от чего я всеми силами стараюсь его отговорить. Мне кажется, что теперь такое время, когда лучшие, самые живые и сильные люди нам необходимы, так как уже недалек момент, когда придется действовать. Нехорошо оставлять теперь Европу. А в остальном я живу почти только с поляками и всецело бросился в польско-русское движение. Но об этом в другой раз. Теперь я должен проститься с вами.

Прощайте, будьте здоровы и верьте моей преданной и искренне глубокой дружбе к вам.

Ваш

М. Бакунин.

Бельвю, близ Парижа. 5 августа [18]47 года.
Наш адрес: M. Reichel. Rue de Bourgogne, 4.

Перевод с немецкого.

№ 488. — Письмо Георгу и Эмме Гервег.

Париж 6 сентября 1847 года.

Милые друзья!

Всего несколько дней тому назад приехал я сюда и о чудо! Нашел письмо от Георга Гервега. Получил также Ваше любезное письмо, добрая подруга. Письмо Георга довольно сухо и лишено поэтического подъема, на что он впрочем имеет специальное право как поэт. Теперь и я хочу написать Вам письмо. С чего же начать? Прежде всего с дел.

Все Ваши поручения я выполнил точно. Я побывал у м-ль Фелиции, которая еще больше похорошела и стала еще милее. Она много рассказывала мне о Вашей подруге Ступицкой и о поляках. Так как она сама Вам писала, то я не стану повторять Вам слышанное мною. Я получил пакет для тебя от книготорговца и в середине этого месяца доставлю его в Порник, вероят-

* Бургомистра Чеха из Сторкова [2].

но в сопровождении Сазонова * и возможно также Герцена **. Ваше письмо к интересной акушерке я снес сам, но до сих пор не получил для нее никаких заказов или чего-либо подобного.

Машинку для сигар я привезу, равно как и отчет о процессе поляков [2]. В общем публика недовольна тем направлением, которое Мерославский *** придал защите. В момент, когда только смелая прямота может действовать на умы, и когда сама Германия начинает понимать, что дело Польши есть дело Германии, он, пустившись на фальшивую и бесцельную хитрость, наполовину свернул польское знамя, утверждая, что они в последнее время собирались выступать только против России, а не против Пруссии и Австрии также, и этою половинчатостью он повидимому дискредитировал себя перед германским общественным мнением [4]. Впрочем рассказывают, что процесс поляков протекает весьма весело: обвиняемые и защитники совместно отправляются в кабачок, устроенный для этой цели близь самого суда, и распивают там шампанское. Мне это также не нравится: полякам следовало бы по моему мнению проявлять побольше достоинства и сдержанности.

Посылаю вам два письма [А.] Беккера, полученные мною уже давно; я только не знал, куда их отослать; одно я по неосторожности вскрыл. Мы послали бедному Августу денег, но немного. Шмидт **** уехал-таки в Америку. Беккер теперь повидимому в Берне; вероятно там же находится и фр[ейлен] Чех.

Впрочем о Германии я знаю только то, что напечатано в газетах. Прусский отечественный шут ***** путешествует по Италии под романтическим именем какого-то графа и с не менее романтической свитой. В Италии дела идут хорошо: папа ****** повидимому все же дельный человек. Швейцария тоже движется вперед, даже Франция начинает шевелиться. Ты конечно читал в своей любимой «Прессе», что здесь в Париже недалеко от Пале-Рояля на улице Сент-Оноре происходили волнения: основательно пошумели, свалили несколько фонарей, пели Марсельезу и изрядно поколотили нескольких грубо ведших себя полицей-

---

* Николай Иванович [1].

** Александр Иванович.

*** Людвиг [3].

**** Симон.

***** Король прусский Фридрих Вильгельм IV.

****** Пий IX [5].

ских. И так продолжалось в течение семи дней. Теперь снова восстановилось спокойствие. В общем не было ничего серьезного, и однако во всем и во всех чувствуется известное, принимающее все более определенные очертания брожение. Высшее общество и официальный мир в большой тровоге: они чувствуют себя деморализованными и начинают сомневаться в своей силе. С другой стороны поговаривают о союзе между республиканцами, легитимистами и бонапартистами, которых к моему удивлению в армии оказывается очень много. Говорят о скором и серьезном восстании народа, и правительство, говорят, принимает меры. Утверждают даже, что неудавшиеся беспорядки на улице Сент-Оноре были вызваны самою полициею с целью доставить правительству предлог ввести войска в Париж и принять реакционные меры.

Словом, друзья, за пределами Франции и даже в самой Франции чувствуется приближение бури. Поверьте мне, скоро дела пойдут хорошо, скоро для нас начнется жизнь, и мы снова вместе заживем и заработаем широко и бурно, в чем мы все трое испытываем потребность. Все это время я находился в деревне, в Бельвю. Я живу уже не вместе с Рейхелем, а на той же улице насупротив него, на rue de Bourgogne. Рейхель женился, правда не законным браком, но тем более по-человечески, и очень счастлив. Я же жду своей или, если хотите, нашей общей суженой — революции. Мы будем действительно счастливы, то есть станем самими собою только тогда, когда весь земной шар будет охвачен пожаром.

А до тех пор прощайте и до скорого свидания.

Ваш преданный друг

М. Бакунин.

M-lle Мерославская * здесь; около двух недель тому назад она превратилась в г-жу Мазуркевич.

Перевод с французского.

№ 489. — Письмо К. А. Варнгагену фон-Энзе.

Париж, 12 октября 1847 года.

Милостивый государь!

Так как мадам Гервег согласилась передать Вам мое письмо, то я пользуюсь этим случаем, чтобы поблагодарить Вас за

* Сестра Л. Мерославского.

добрую память обо мне и за любезную присылку мне книги[1] через Зольгера *. Содержание ее полно интереса, еще усугубляемого тем замечательным стилем и тою особою манерою выражения, какие Вам присущи. Я очень хотел бы послать Вам что-нибудь с своей стороны, но к сожалению кроме нескольких[2] злободневных статей, напечатанных во французских газетах, я еще не создал ничего такого, что заслуживало бы Вашего внимания. В настоящее время я работаю над сочинением о России и Польше, которое я не замедлю Вам преподнести, как только оно будет закончено[3]. Примирение этих двух народов, столь долго враждовавших друг с другом, их союз, основанный на единстве расы, на взаимной независимости и свободе и спаянный общей оппозициею императорскому деспотизму, представляется мне существенным условием их процветания и могущества, и я решил посвятить все мои слабые таланты и все мои убеждения и силы служению этому великому делу.

Не знаю, довелось ли Вам, милостивый государь, слышать о том, что вследствие доноса г-на Блюнчли, бывшего главы цюрихского республиканского правительства, российскому правительству, содержавшего обвинение меня в коммунизме, я был судим и приговорен к ссылке в Сибирь с лишением прав дворянства: кара чисто фиктивная, ибо никаких таких прав, как Вы очень хорошо знаете, вовсе не существует, и кроме чести изгнания я пользуюсь удовольствием проживания в Париже. В сущности удовольствие не из великих, ибо Париж мертв подобно остальному миру, и бог весть когда ему заблагорассудится проснуться! Надо вооружиться терпением, ибо не может же так продолжаться вечно. А пока что я изо всех сил стараюсь сделаться достойным той чести, какая оказана мне изгнанием, и мне очень стыдно, что я эту честь не совсем заслужил.

Не знаю, как выразить Вам свою признательность за все сообщения о наших берлинских друзьях, которые Вы имели любезность мне передать. Пожалуйста поклонитесь от меня моему доброму и уважаемому профессору и другу Вердеру **; передайте мой почтительнейший привет г-же фон Арним ***, равно как мадемуазель Зольмар ****. Как только г-жа [Жорж] Занд вернет-

---

* Рейнгольд.

** Карл.

*** Беттина.

**** Берлинская знакомая Бакуниных.

ся из деревни, я попрошу у нее для Вас автограф [4]. Но не соберетесь ли Вы как-нибудь сами в Париж, милостивый государь? Ведь со времени проведения железной дороги эта поездка стала такою легкою. Что касается меня, то я уже давно приехал бы в Берлин повидаться с Вами, если бы чудовищная дружба, все еще продолжающая существовать между Пруссией и Россией, не заставляла меня опасаться предательства со стороны Вашего правительства [5].

Примите, милостивый государь, уверение в моем глубоком уважении и преданности.

М. Бакунин.

Улица Сен-Доминик, 96.

Перевод с немецкого.

№ 490. — Письмо Эмме Гервег.

Париж, 18 октября 1847 года.

Милый друг, я хочу сдержать слово. Я должен Вам написать. Это — нелегкое дело, и все-таки я это делаю, чтобы Вы имели неопровержимое доказательство моей дружбы. Писать! Мне писать! О, если бы наконец настало время, когда никто не думал бы о писании!.. С этой мыслью я начинаю и попробую написать Вам довольно длинное, подробное и, насколько можно, интересное письмо.

После Вашего отъезда мы все пошли к Тортони *; Георг был серьезен и молчалив, даже сигара его не хотела куриться, так полно было его сердце. Герцен ** был любезен и остроумен, как всегда, Зольгер юмористичен и горд, Магдзинский [1] откровенен и Садовский [2] учен. Что сказать о самом себе? Как обыкновенно, меня совсем не было. Мне иногда кажется, что знаменитый шведский доктор заморозил меня до лучших времен, так часто меня оставляет всякое ощущение жизни и сознание. Около десяти часов мы расстались. Георг проводил меня до улицы Ко-

* Кафе.

** Так в оригинале (оригиналы писем Бакунина к Гервегу находятся сейчас в б. Пушкинском Доме, где мы ими и пользовались). Но немецкие издатели переписки Гервега повсюду вытравили слово «Герцен», заменив его буквою А (вероятно инициал — Александр).

мартэн. Там в номере 41-м праздновали отъезд [В. П.] Боткина.

Описывать ли Вам также и этот вечер? Неужели же русские должны преследовать Вас от Парижа до Берлина и даже до того единственного города, где суровый русский воздух веет так по-осеннему и столь бесчеловечно? Рассказывать ли Вам обо всем, о чем мы болтали в этот вечер? Разве Вы не устали от русских и разве Вам не надоело это бесплодное воодушевление, эта платоническая любовь к свободе, прекрасные мечтания, уносящие в голубую высь всех этих симпатий и стремлений, которые только там далеко в Турции и в Азии и то едва-ли через два-три столетия найдут свое осуществление? Не довольно ли Вы насладились этою старою, отслужившею музыкою, и должен ли я Вам снова пропеть эту надоевшую песню? Нет, Вы можете подумать, что я вероломно хочу заставить Вас таким способом запретить мне дальнейшее писание писем, и потому я Вас пощажу.

Пятница, 22 октября.

В понедельник я должен был отослать письмо. Отчего я не продолжал и не отослал его, не знаю. Но сегодня это случится. Дал бы только бог, чтобы Вы могли его прочесть — я пишу как кошка. Продолжаю писать историю.

В понедельник все мы обедали у Герцена. Во вторник Герцен давал нам прощальный обед. В среду я оставался целый день с Георгом и Зольгером, — сначала с Георгом и видел, как бедный покинутый мальчик собственноручно готовил лимонад; дело не клеилось, и он горько жаловался, что сахар вечен и хочет вечно жить. Наконец вчера в 4 часа пополудни уехал в Италию Герцен, провожаемый всеми нами. Потом попали все в Байроновский погребок и там залили нашу скорбь английским пивом. Вечером у Гервега.

Это — внешняя история, милый друг. Что же касается внутренней, то должен сказать, что все мы находимся в различного рода возбуждениях; кроме того главного возбуждения, общего всем нам и длящегося уже так долго, что я часто боюсь, как бы оно не потеряло совершенно своей эластичности, каждый имеет еще много разных других. Георг например ждет с неописуемым нетерпением Вашего письма. Благополучно ли Вы доехали до Берлина? Не помешало ли Вам прекрасное имя Вашего мужа?

Герцен уверяет, что Вы можете воспользоваться в качестве паспорта последним напечатанным стихотворением Георга в случае, если бы Вас не пожелали впустить. Ведь это стихотворение благонамеренно и крайне монархично. До сих пор кроме нас Георг не видал еще ни одного человека и остается похороненным в своей туалетной комнатке, много читает, очень добр и любезен и тоскует по Вас. Мне кажется, что с каждым днем он любит Вас все больше и глубже. Вы впрочем этого и заслуживаете. Это — не грубый комплимент, Вы это знаете. Ведь Вам известно, что я никогда не говорил комплиментов. Как только придет Ваше письмо, поедем оба в Верс[аль] к госпоже Маз[уркевич] *. Я еще не видел милостивой графини, столь складной внутренне и внешне, но скоро навещу ее **, чтобы не совсем отвыкнуть от французской болтовни и лживости. Ведь лгать — красиво, и ложь становится правдою по отношению к людям, которым нельзя сказать правду без лжи.

Надеюсь, милый друг, что Вы также напишете мне пару строк. Что случилось с Варнгагеном? *** Приходил ли он к Вам и остался ли он доволен моими письмами, ставшими правдивыми благодаря лжи? Передайте от меня низкий поклон Вашему батюшке и Вашей сестре и скажите Герману Мюллеру ****, во-первых, что с его стороны нехорошо забывать меня и отрекаться от получения трех писем, которые я ему написал, а во-вторых, что, несмотря ни на что, я остался ему верен и испытываю нравственную потребность его повидать.

Прощайте, милый друг.

Возвращайтесь скорее.

Ваш

М. Бакунин.

Перевод с французского.

№ 490-бис. — Расписка.

Я получил 30 франков от консьержа для г-на Лемпицкого.

М. Бакунин.

28 октября 1847 года.

---

* Сестра Л. Мерославского.

** Графиня Мария д'Агу, литературный псевдоним Даниель Стерн [3].

*** Варнгаген фон-Энзе, Карл Август [4].

**** Мюллер-Стрюбинг.

Перевод с немецкого.

№ 491. — Письмо Георгу Гервегу.

[Середина ноября 1847 года. Париж.]

Милый Гервег!

Ты говорил Герцену об очень хорошем детском враче. Так как его маленькая дочь больна, то он просит тебя прислать ему фамилию и адрес этого врача.

Если Гервега нет дома, то прошу Вас, милостивая государыня, быть столь доброю и прислать адрес.

М. Бакунин.

Перевод с французского.

№ 492. — Речь

на собрании в память семнадцатой годовщины польского восстания 29 ноября

Господа!

Для меня это — необыкновенно торжественная минута. Я — русский и явился в это многолюдное собрание, созванное в память годовщины польской революции; одно мое присутствие здесь есть уже нечто вроде вызова, угроза и как бы проклятие, брошенное в лицо всем угнетателям Польши. Я явился сюда, господа, одушевленный глубокою любовью и неизменной преданностью моей родине.

Для меня не тайна, насколько Россия непопулярна в Европе. Поляки и пожалуй не без основания смотрят на нее как на одну из главных причин всех своих несчастий. Независимые люди других стран в столь быстром развитии ее могущества видят непрерывно растущую опасность для свободы народов. Всюду имя русского является синонимом грубого насилия и позорного рабства. Русский во мнении Европы есть не что иное, как презренное орудие завоевания в руках самого гнусного и самого опасного деспотизма.

Господа, не для оправдания России в преступлениях, какие ей вменяют в вину, не для отрицания истины взошел я на эту трибуну. Я не пытаюсь сделать невозможное. Правда становится для моей родины более необходимою, чем когда-либо.

Да, мы еще — рабский народ! У нас нет ни свободы, ни уважения к человеческому достоинству. У нас царит отвратительный деспотизм, не знающий никаких границ своей разнузданности, никаких препон своим поступкам. У нас нет никаких прав, никакой справедливости, никакой защиты против произвола. У нас нет ничего из того, что составляет достоинство и гордость нации. Нельзя представить себе более жалкого и унизительного положения. Вовне наше положение не менее плачевно. Пассивные исполнители чуждой нам идеи, воли, столь же противоречащей нашим интересам, как и нашей чести, мы являемся предметом страха, ненависти, я готов был бы даже сказать — почти презрения, ибо на нас всюду смотрят как на врагов цивилизации и человечества. Наши повелители пользуются нашими руками для того, чтобы сковать мир цепями, чтобы поработить народы, и всякий успех наших владык означает новый позор, вписанный в нашу историю!

Не говоря о Польше, где с 1772 года, а особенно с 1831 года мы ежедневно позорим себя жестокими насилиями и неслыханными низостями, — какую только жалкую роль нас не заставляли играть в Германии, Италии, Испании, даже во Франции, всюду, куда только могло проникнуть наше тлетворное влияние! Было ли, начиная с 1815 г., хоть одно благородное дело, против которого мы бы не боролись, хотя бы одно злодеяние, которого бы мы не поддержали, хотя бы одна крупная политическая несправедливость, где мы не были бы подстрекателями или сообщниками? В силу какого-то поистине злосчастного рока, первою жертвою которого она же сама и является, Россия с момента своего вступления в ряд первоклассных держав стала поощрением для преступления и угрозою для всех священных интересов человечества!

Благодаря этой омерзительной политике наших повелителей русский в официальном смысле этого слова значит раб и палач!

Как видите, господа, я прекрасно сознаю свое положение, и я предстою здесь перед вами как русский, не хотя я — русский, а именно потому, что я — русский. Я прихожу сюда с глубоким сознанием ответственности, лежащей на мне, как и на осталь-

ных моих соотечественниках, ибо честь индивидуальная неотделима от чести национальной. Без этой ответственности, без этой теснейшей связи между нациями и правительствами, между индивидами и нациями не было бы ни отечества, ни нации. *(Аплодисменты)*.

Эту ответственность, это соучастие в преступлении я никогда, господа, не ощущал болезненнее, чем в данную минуту. Ибо празднуемая вами сегодня годовщина для вас, господа, — великое воспоминание, воспоминание о святом возмущении, о героической борьбе, воспоминание об одной из прекраснейших эпох вашей национальной жизни. *(Продолжительные аплодисменты)*. Вы все присутствовали при этом великолепном народном порыве, вы приняли участие в этой борьбе, вы были ее активными деятелями и героями. В этой священной войне вы, казалось, выявили, излили, исчерпали весь таящийся в великой польской душе запас энтузиазма, самопожертвования, мощи патриотизма! Подавленные численностью, вы в конце концов пали. Но воспоминание об этой приснопамятной эпохе огненными буквами запечатлено в ваших сердцах. Но из этой войны вы все вышли возродившимися, возрожденными и сильными, закаленными против испытаний судьбы и горечи изгнания, гордыми своим прошлым и исполненными веры в свое будущее!

Годовщина 29 ноября, господа, составляет для вас не только великое воспоминание. Это вместе с тем — залог близкого освобождения, близкого возвращения на вашу родину. *(Аплодисменты)*.

Для меня как русского это — годовщина позора; да, великого национального позора! Я заявляю об этом во всеуслышание. Война 1831 года была с нашей стороны безумной, преступной, братоубийственной войной. Это было не только несправедливое нападение на соседний народ, это было чудовищное посягательство на свободу брата. Более того, господа, со стороны моей родины это было политическое самоубийство. *(Аплодисменты)*. Эта война была начата в интересах деспотизма, а никак не в интересах русской нации, ибо эти две категории интересов совершенно противоположны друг другу. Освобождение Польши было бы и нашим спасением; если бы вы стали свободными, свободными бы стали и мы; вы не могли бы опрокинуть трон царя польского, не поколебав престола императора всероссийского... *(Аплодисменты)*. Дети одной и той же расы, мы тес-

Paris, le 20 novembre 1847.

M

Invité par les Polonais, résidant à Paris, à présider la réunion qui doit avoir lieu pour célébrer le 17me anniversaire de leur mémorable révolution, j'ai l'honneur de vous prévenir qu'on se réunira le 29 de ce mois, à sept heures du soir, rue Saint-Honoré, 359, et de vous prier de vouloir bien assister à cette solennité.

Veuillez, M., recevoir l'assurance de ma parfaite considération.

VAVIN,
Membre de la Chambre des Députés.

Приглашение на польский митинг 1847 года.

но связаны общностью судьбы, и общим должно быть наше дело. *(Аплодисменты)*.

Вы хорошо это поняли, когда написали на своих революционных знаменах по-русски: «За нашу и за вашу вольность!» *(Аплодисменты)*. Вы хорошо это поняли, когда в самый критический момент борьбы, пренебрегая яростью Николая, вся Варшава однажды объединилась, вдохновленная великой братской мыслью, чтобы торжественно принести дань публичного уважения нашим героям, нашим мученикам 1825 года, Пестелю, Рылееву, Муравьеву-Апостолу, Бестужеву-Рюмину и Каховскому *(Аплодисменты)*, повешенным в С.-Петербурге за то, что они были первыми гражданами России.

Ах, господа, вы сделали все возможное, чтобы уверить нас в вашем расположении к нам, чтобы тронуть наши сердца, чтобы вывести нас из нашего рокового ослепления. Тщетные попытки, напрасные усилия! Царские солдаты, глухие к вашему призыву, не видя, не слыша ничего, мы выступили против вас, и преступление совершилось.

Господа, из всех ваших поработителей и из всех врагов вашей родины ваши проклятия и вашу ненависть больше всего заслужили мы.

А между тем я явился сюда не только в качестве кающегося русского. Я дерзаю в вашем присутствии открыто заявить о моей любви и моем уважении к моей стране. Более того, я дерзаю даже призвать вас к союзу с Россией.

Я должен объясниться.

Около года тому назад — это было, кажется, после резни в Галиции [1] — один польский дворянин в весьма красноречивом и нашумевшем письме к князю Меттерниху [2] обратился к вам с весьма странным предложением. Увлеченный без сомнения вполне впрочем законною ненавистью к австрийцам, он приглашал вас не более и не менее как к тому, чтобы подчиниться царю, предаться ему душой и телом, целиком, без условий и оговорок; он советовал вам добровольно выполнять то, что до сих пор вы выполняли по принуждению, и в награду за это обещал вам, что как только вы перестанете вести себя как рабы, ваш владыка невольно станет вашим братом.

Братом! Вы представляете себе это, господа? Император Николай — ваш брат! *(«Нет! Нет!» Сильное волнение)*.

Этого деспота, этого ожесточеннейшего врага, личного вра-

га Польши, палача стольких жертв *(«браво! браво! браво!»)*, похитителя вашей свободы, преследующего вас с адской настойчивостью столько же из ненависти и по инстинкту, сколько по соображениям политики, его вы назовете своим братом? *(Крики со всех сторон: «нет! нет! нет!»)*.

Каждый из вас предпочел бы скорее умереть *(«да! да!»)*, я был уверен в этом, каждый из вас охотнее предпочел бы видеть Польшу погибшею, чем согласиться на такой чудовищный союз. *(Повторные аплодисменты)*.

Но допустите на минуту это невероятное предположение. Знаете ли вы, господа, какое наиболее верное средство вы могли бы избрать для причинения страшного зла России? Подчинение царю. Он увидел бы в этом освящение своей политики и почувствовал бы себя после этого настолько сильным, что ничто уже не могло бы его остановить. Горе нам, если эта антинациональная политика преодолеет препятствия, стоящие еще на пути к ее полному осуществлению. А первым и величайшим из этих препятствий является бесспорно Польша, отчаянное сопротивление этого героического народа, который, борясь против нас, спасает нас. *(Шумные аплодисменты)*.

Да, именно потому, что вы — враги императора Николая, враги официальной России, вы естественно, даже сами того не желая, являетесь друзьями русского народа! *(Аплодисменты)*.

В Европе обычно думают, — я это знаю, — что мы составляем с нашим правительством нераздельное целое; что мы чувствуем себя бесконечно счастливыми под властью Николая; что он и его система угнетения внутри и завоевания вовне являются истинным выражением нашего национального гения.

Ничего подобного на самом деле нет.

Нет, господа, русский народ не чувствует себя счастливым! Я говорю это с радостью, с гордостью. Ибо, если бы он мог чувствовать себя счастливым в том унизительном положении, в какое он поставлен, то он был бы самым подлым народом в мире. Нами тоже правит иностранная рука, государь — немец по происхождению; он никогда не поймет ни нужд, ни характера русского народа; его правление, представляющее своеобразное сочетание монгольской жестокости с прусским педантизмом, совершенно исключает национальный элемент. Таким образом, лишенные всех политических прав, мы не пользуемся даже тою естественною, так сказать, патриархальною свободою, которою

пользуются наименее цивилизованные народы, и которая по крайней мере позволяет человеку отдохнуть сердцем в родной среде и целиком отдаться инстинктивным влечениям своей расы. У нас ничего этого нет: ни одного естественного жеста, ни одного свободного движения нам не разрешается. Нам почти запрещено жить, так как всякая жизнь предполагает некоторую независимость, и мы являемся лишь бездушными колесиками чудовищного механизма угнетения и завоевания, который называется российской империей. И вот, господа, допустите существование души в машине, и тогда, быть может, вы в состоянии будете представить себе безмерность наших страданий. Никакой позор, никакая мука не миновали нас; нам присущи все польские беды за вычетом чести.

За вычетом чести, сказал я, и настаиваю на этом выражении для характеристики всех представителей русского правительственного, официального и политического мира.

Нация слабая, истощенная могла бы нуждаться во лжи для продления жалких остатков своей угасающей жизни. Но Россия слава богу еще не дошла до такого состояния. Характер этого народа испорчен лишь поверхностно. Стоит только этому сильному, могучему и юному народу разрушить препоны, какими осмеливаются его окружать, чтобы проявить себя во всей своей девственной красоте, чтобы развернуть все свои неведомые сокровища, чтобы показать наконец миру, что не во имя грубой силы, как обыкновенно думают, а во имя всего, что есть самого благородного и самого святого в жизни нации, во имя человеколюбия, во имя свободы русский народ требует себе права на существование.

Господа, Россия не только несчастна, она и недовольна; терпение ее истощено. Знаете ли, что передают на ухо друг другу при с.-петербургском дворе? Знаете ли вы, что думают приближенные, фавориты, даже министры об императоре? Они отождествляют царствование Николая с царствованием Людовика XV. Все предчувствуют приближение бури, недалекой страшной бури, которая многих пугает, но которую нация поджидает с радостью. *(Шумное одобрение).*

Внутреннее положение страны из рук вон плохо. Это — полная анархия при всей видимости порядка. Под покровом строжайшего иерархического формализма скрыты отвратительные язвы; наша администрация, наша юстиция, наши финансы —

сплошная ложь, придуманная для обмана заграничного общественного мнения, для успокоения внутренней тревоги монарха, тем охотнее поддающегося этой лжи, что действительное состояние дел его страшит. Словом это — грандиозная, обдуманная и научная, если так можно выразиться, организация беззакония, варварства и грабежа. Ибо все слуги царя от занимающих самые высокие посты до самых мелких уездных чиновников разоряют, обкрадывают страну, совершают самые вопиющие беззакония, самые отвратительные насилия, без малейшего стыда, без малейшего страха, открыто, среди бела дня и с беспримерной наглостью и грубостью, не давая себе даже труда скрывать свои преступления от негодования публики, настолько они уверены в своей безнаказанности.

Император Николай, правда, иногда делает вид, будто желает остановить это страшное растление. Но как может он уничтожить зло, главная причиная которого лежит в нем самом, в самом принципе его правления? В этом-то и заключается тайна его полного бессилия к добру. Ибо эта система правления, кажущаяся столь величественной извне, внутри бессильна; ничего ей не удается; все предпринимаемые ею реформы оказываются мертворожденными. Имея своею основою две низменнейшие страсти человеческого сердца — продажность и страх, чуждая в своих делах всем национальным стремлениям, всем жизненным интересам и живым силам страны, власть в России с каждым днем своими же собственными действиями в ужасающей степени ослабляет и дезорганизует себя. Она теряет самообладание, беспомощно топчется на месте, каждую минуту меняя проекты и идеи; начинает сразу кучу дел, ни одного не доводя до конца. Только способностью творить зло щедро одарена эта власть, и она широко ею пользуется, точно сама торопится приблизить момент своей гибели. Чуждая и враждебная стране, она обречена на близкое падение.

Везде у нее враги. Сюда относится огромная масса крестьян, которые уже не ждут воли от царя, и восстания которых, с каждым днем учащающиеся, показывают, что они устали ждать. Далее очень многочисленный промежуточный класс населения, состоящий из весьма разнородных элементов, класс беспокойный и буйный, готовый со всею страстью броситься в водоворот первого же революционного движения. Наконец и главным образом бесчисленная армия, разбросанная по всему лицу империи. Правда,

Николай считает своих солдат своими лучшими друзьями, самою надежною опорою своего трона. Но это — странное заблуждение, которое вскоре окажется для него роковым. Как! Люди, вышедшие из рядов народа, столь глубоко несчастного, люди, насильственно вырванные из своих семей, преследуемые как дикие звери в лесах, где они скрываются, часто сами предварительно искалечив себя для избавления от рекрутчины; силою, в кандалах доставляемые в свои полки, где они обречены в течение двадцати лет, т. е. целой человеческой жизни, на адское существование, на ежедневные истязания, на изнурительный непосильный труд и на голодное существование, эти люди — опора трона! Великий боже, чем были бы эти русские солдаты, если бы посреди подобных мучений они могли лобызать бьющую их руку! Верьте, господа, наши солдаты — самые опасные враги существующего порядка вещей; особенно гвардейцы, видящие зло у самого его источника, не могут обманываться насчет единственной причины всех своих страданий. Наши солдаты это — сам народ, но еще более недовольный; это — народ, освободившийся от всяких иллюзий, вооруженный, привыкший к дисциплине и к совместным действиям. Хотите доказательства? Во всех последних мятежах, крестьянских бунтах главную роль играли отставные солдаты.

Чтобы закончить это перечисление врагов существующей власти в России, я должен, господа, сказать вам в заключение, что среди дворянской молодежи имеется много образованных, благородных людей, патриотов, стыдящихся нашего положения и с отвращением к нему относящихся, возмущенных своим рабским положением и проникнутых непримиримой ненавистью к императору и его правительству. О, поверьте, в России нет недостатка в революционных элементах! Она набирается духа, она проникается страстью, она подсчитывает свои силы, осознает себя, концентрирует свою энергию, и недалек момент, когда разразится буря, великая и для всех нас спасительная буря! *(Продолжительные рукоплескания).*

Господа, от имени этого нового общества, этой настоящей русской нации я предлагаю вам союз. *(Аплодисменты).*

Идея революционного союза между Польшей и Россией не нова. Она была уже задумана, как вы знаете, заговорщиками обеих стран в 1824 году [3].

Господа, вызванное мною воспоминание наполняет гордо-

стью мою душу. Русские заговорщики тогда первые перешагнули пропасть, которая, казалось, разделяла нас. Повинуясь только голосу своего патриотизма, игнорируя предубеждения, какими вы естественно были заражены против всего, что носило имя русского, они первые пришли к вам, с открытой душой, без задней мысли, чтобы предложить вам союз борьбы против нашего общего, нашего единственного врага. *(Аплодисменты).*

Вы простите мне, милостивые государи, эту невольную вспышку чувства гордости. Русский, любящий свою родину, не может без волнения говорить об этих людях: они — наша чистейшая слава, и я счастлив громко заявить об этом среди этого большого и благородного собрания, среди этого польского собрания *(Аплодисменты);* они — наши святые, наши герои, мученики за нашу свободу, провозвестники нашего будущего! *(Аплодисменты).* С высоты своих виселиц, из глубины далекой Сибири, где они еще страдают, они были нашим спасением, нашими светочами, источником всех наших прекраснейших вдохновений, нашей защитой против проклятых влияний деспотизма, нашим свидетельством перед вами и всем миром, что Россия таит в себе все элементы свободы и подлинного величия! Позор, позор тому из нас, кто не признает этого! *(Бурное одобрение).* Господа, под сенью их великих имен, опираясь на их великий авторитет, я прихожу к вам в качестве брата, и вы не оттолкнете меня. *(Крики со всех сторон: «нет! нет!»).* У меня нет законных полномочий, чтобы говорить с вами таким образом, но без всяких хвастливых претензий я чувствую, что в этот торжественный момент сама русская нация говорит моими устами. *(Аплодисменты).* Не только я один в России люблю Польшу и испытываю к ней то восторженное удивление, то страстное, пылкое, глубокое чувство, смешанное с чувством раскаяния и надежды, какого я никогда не сумею передать вам. Известных и неизвестных друзей, разделяющих мои симпатии и мои мнения, имеется много *(Аплодисменты),* и мне было бы легко доказать это целым рядом фактов и имен, если бы я не боялся скомпрометировать без всякой надобности многих лиц. От имени этих-то людей, господа, от имени всего живого и благородного в моей стране я братски протягиваю вам руку. *(Оживленные рукоплескания).* Скованные друг с другом роковою и неизбежною судьбою, долгою трагическою историею, печальные последствия которой они ныне переживают, наши две страны долго ненавидели друг друга. Но

час примирения пробил: пора покончить с нашими раздорами! *(Оживленные аплодисменты)*.

Велики наши преступления против вас! Вы должны многое нам простить! Но не менее велико и наше раскаяние, и мы чувствуем в себе великую готовность искупить все наши вины перед вами и заставить вас забыть прошлое. Тогда наша ненависть претворится в любовь, которая будет тем горячее, чем непримиримее была наша ненависть. *(Живое одобрение)*.

Пока мы были разъединены, мы взаимно друг друга парализовали; вместе мы будем всемогущи для доброго дела. Ничто не сможет противостать нашему общему выступлению.

Примирение России с Польшею — дело великое и вполне достойное того, чтобы отдаться ему целиком. Это — освобождение шестидесяти миллионов человек, это — освобождение всех славянских народов, томящихся под иноземным игом; это наконец — падение, окончательное падение деспотизма в Европе! *(Аплодисменты)*.

Да придет же этот великий день примирения, день, когда русские, объединенные с вами одними и теми же чувствами, борющиеся за одно и то же дело и против общего врага, будут вправе запеть вместе с вами вашу национальную польскую песнь, этот гимн славянской свободы.

«Еще Польска не сгинела!»[4].

(Взрывом рукоплесканий покрыты были эти последние слова, и долго еще по окончании речи в собрании царило сильное возбуждение).

Перевод с французского.

№ 492-бис. — Письмо Л. Ходьзко[1].

Париж, ноябрь 1847 года

Милостивый государь!

Честь имею сообщить Вам, что типография Гирандэ и Жонаста, улица Сент-Оноре, 315, предупреждена, набор ждет Вас и будет передан в Ваше распоряжение, как только Вы того пожелаете.

Несколько экземпляров моей речи отпечатано и находятся у г-на Велеглоского *.

Честь имею пребыть преданным Вам, Милостивый государь,

М. Бакунин.

№ 492-ter. — Письмо Л. Ходьзко.

Перевод с французского

(6 декабря 1847 года.)

[Париж]

Дорогой и уважаемый друг!

Спешу послать Вам несколько экземпляров речи, недавно мною произнесенной. Думаю, что Вы останетесь ею довольны и что Вы найдете в ней искреннее выражение моих чувств и моих пожеланий. С своей стороны я убежден, что не сказал ничего такого, чего не чувствовал и не думал, я глубоко убежден не только в возможности, но и в необходимости предложенного мною революционного союза. Вдобавок и припоминаю, что слышал, как некогда Вы выражались в таком смысле.

Перед тем как решиться на это публичное выступление, я столковался с несколькими своими соотечественниками (все это должно остаться в строжайшем секрете между нами), и Вы можете быть уверены, что, говоря о революционных элементах России, я ничего не прибавил к действительному положению вещей. Если только Ваши соотечественники выкажут немного доброй воли, мы немедленно примемся за работу, и дай бог, чтобы это стало для нас, поляков и русских, общим делом.

На прощанье позвольте мне выразить Вам чувства глубокого уважения и любви, которыми я проникнут по отношению к Вам. Никогда не забуду я, что Вы были первым поляком, выказавшим мне симпатию.

Искренно преданный Вам

М. Бакунин.

6 декабря 1847 года.

Париж, ул. Сен-Доминик, 96.

---

* На самом деле Велегловского [2].

Préfecture de Police.

Nous Pair de France, Préfet de Police,

Vu la décision de M. le Ministre de l'Intérieur qui prescrit d'expulser le Sr Bakounin, réfugié russe, dont la présence en France est de nature à compromettre la tranquillité publique,

En vertu des dispositions de l'art. 2 de la loi prorogée du 21 avril 1832 et de l'art. 7 de la loi du 28 Vendémiaire, an VI,

Avons arrêté et ordonnons ce qui suit:

Ledit Bakounin est tenu de quitter Paris dans les 24 heures de la notification du présent et de sortir du Royaume dans le plus bref délai.

Défense lui est faite de rentrer en France, à l'avenir, sous les peines de droit.

[illegible]

Fait à Paris le [illegible]

Le Pair de France, Préfet de Police

signé: G. Delessert

[illegible]

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Police

Приказ о высылке Бакунина из Франции в декабре 1847 года.

Перевод с французского

№ 493. — Письмо г-же Жорж Занд.

(14 декабря 1847 г[ода]. Париж).

Madame!

Пользуясь разрешением, которое Вы соблаговолили мне дать при отъезде, я беру смелость переслать Вам маленькую речь, которую я произнес в одном польском собрании. Это очень незначительно с точки зрения литературной, но я смотрю на это первое выступление как на серьезное начало великого и доброго дела или такого образа действий, который я признаю не только возможным, но [и] необходимым и неотвратимым — и только в качестве такового я и повергаю ее на Ваш суд. Я надеюсь, м. г., что Вы поверите искренности моих намерений, и что Вы простите мне бедность и ошибки языка во имя величия и святости моей цели.

Примите, м. г., уверение в моей преданности и глубоком уважении.

М. Бакунин.

14 декабря 1847 г.

Париж, Улица Сен-Доминик, 96. Предместье Сен-Жермен.

Я сию минуту получил приказание покинуть Париж и Францию *за то, что нарушил общественную тишину и спокойствие.* Позвольте же, м. г., прежде чем уехать, выразить Вам мою признательность за благосклонность и доброту, которые Вы мне всегда оказывали, верьте моей преданности, глубокой и неизменной, и сохраните хотя небольшую память о человеке, который Вас почитал прежде даже, чем познакомился с Вами, ибо Вы бывали для него часто и в самые печальные минуты его жизни утешением и светом. Мой адрес, если вы соблаговолите отвечать мне, следующий: Париж, улица Бургонь, № 4, предместье Сен-Жермен, г. Рейхелю, профессору музыки, для передачи г. Бак[унину].

№ 494. — Письмо Георгу Гервегу.

[Конец декабря] 1847 [года].

Брюссель.

Георгу.

Милый, только сегодня могу я приступить к письму. Вчерашний и позавчерашний дни ушли у меня сплошь на беготню. Твоя жена еще не была здесь — так по крайней мере я думаю. Я принял все меры, чтобы с нею встретиться.

Многое смогу я тебе порассказать о здешнем времяпровождении. Из «Демократического Общества» [1] может получиться нечто действительно хорошее... Немцы же, ремесленники Борнштедт [2], Маркс и Энгельс [3] и главным образом Маркс, сеют здесь свое обычное зло. Тщеславие, недоброжелательство, дрязги, теоретическое высокомерие и практическое малодушие, рефлектирование о жизни, дятельности и простоте — и полное отсутствие жизни, дела и простоты, литераторствующие и разглагольствующие ремесленники и противное заигрывание с ними, «Фейербах—буржуа» [4] и словечко «буржуа», ставшее эпитетом, до тошноты надоевшим вследствие повторения, — а сами с ног до головы насквозь захолустные буржуа. Одним словом ложь и глупость, глупость и ложь. В этом обществе нельзя дышать свободно и полной грудью. Я держусь в стороне от них и решительно заявил, что не вступлю в их коммунистический союз ремесленников и не желаю иметь с ним ничего общего.

Лелевель [5] остался все тем же милым стариком, но слишком уже одряхлел и ослабел; есть здесь еще один еврей, выдающий себя за поляка, некий господин Люблинер [6]. Он принадлежит к «Демократическому Обществу» и является самым несносным существом, какое только можно себе представить. Вчера я был также у Скржинецкого [7] и Тышкевича [8]. Все хорошо меня приняли, но я сохранял сдержанность и спокойствие, так как я должен еще разобраться.

Жоттран, президент Общества [9] — дельный, сильный и действительно практичный человек. Ты непременно должен с ним познакомиться. Вообще я много буду писать тебе о «Демократическом Обществе» — писать непринужденно, по своим впечатлениям, не считаясь с тем, что они иногда будут друг другу про-

тиворечить. Но ты не будешь показывать моих писем никому кроме самых близких друзей. Здесь долго оставаться я не думаю.

Я все-таки поеду в Лондон, но должен раньше хорошенько осмотреться.

Прощай, друг, кланяйся всем, не забывай меня, пиши мне также и часто, пусть это будет хоть пара слов, и составляй для меня парижскую статистику, как я стану составлять для тебя статистику Бельгии, Лондона, Германии и т. д.

Мой адрес: Rue de la Régence, Hôtel de la Régence.

Завтра пишу Аннен[кову] [10], Бернацкому [11] и Тург[еневу].

Твой

Бакунин.

№ 495. — Письмо П. В. Анненкову.

(20 декабря 1847 года.)

Наконец добрался и до Вас, любезный Анненков! Брюссель — не то, что Париж; до сих пор мне еще здесь как-то дико и холодно, несмотря на самый радушный прием, особливо со стороны бельгийцев. Жизнь совсем другая — тесная, частная; домино и фаро (брюссельское пиво) процветают, впрочем и политика также. Да во всем этом движении нет того, что бы нас могло непосредственно интересовать, не говоря уже об увлечении. Здесь увлечения нет, да и быть не может, потому что нет той невидимой среды, той невидимой силы, которая в Париже проникает и поддерживает каждого, соединяя его со всеми, как бы уединенно он ни жил. Жаль Париж, жаль вас всех; я здесь только узнал, как я вас всех люблю. Бог знает когда и где мы с Вами увидимся, но ведь мы не потеряем друг друга из виду, не перестанем знать друг об друге, — неправда-ли, Анненков? Мы становимся стары, круг наш не будет уже так легко расширяться, как в молодости, но уединение страшно.

Из поляков видел я Лелевеля, Скрж[и]нецкого, графа Тыщкевича и еще двух, которых и называть не стоит. Исключая Лелевеля, с которым я знаком уже с давних лет, все другие мне как-то несимпатичны; они составляют особенную партию под

предводительством Тышкевича и довели мелкую ненависть и сплетни, эту общую болезнь всех эмиграций, особливо польской, до высшей степени развития. И несмотря на это, я вероятно скоро должен буду снова ораторствовать; покамест не говорите об этом кроме Тургенева никому; я боюсь, чтобы через Сазонова не узнали об этом товянщики[1], а дело еще несовсем решено[2].

Может статься, что меня и отсюда также прогонят, — пусть себе гоняют, и я буду тем смелее, чутче и метче говорить. Вся жизнь моя определялась до сих пор почти невольными изгибами, независимо от моих собственных предположений; куда она меня поведет? Бог знает! Чувствую только, что возвратиться назад не могу и что никогда не изменю своим убеждениям. В этом вся моя сила и все мое достоинство, в этом также вся действительность и вся истина моей жизни. В этом моя вера и мой долг; а до остального мне дела нет: будет, как будет.

Вот Вам моя исповедь, Анненков; во всем этом много мистицизма, скажете Вы, да кто же — не мистик? Может ли быть капля жизни без мистицизма? Жизнь только там, где есть широкий, безграничный, а потому и несколько неопределенный мистический горизонт; право, мы все почти ничего не знаем, живем в живой сфере, окруженные чудесами, силами жизни, и каждый шаг наш может их вызвать наружу без нашего ведома и часто даже независимо от нашей воли.

Прием, сделанный мне поляками, наложил на меня огромную обязанность, но вместе показал и дал мне возможность действовать. Я знаю, милый Анненков, что Вы относитесь ко всему этому несколько скептически, и Вы с своей стороны правы; и я тоже переношусь иногда на Вашу точку зрения, но что же делать, природы не изменить. Вы — скептик, я — верующий, у каждого из нас свое дело, но в сущности мы всегда будем друг с другом симпатизировать, потому что, несмотря на все различия, дело наше одно.

Но довольно об этом. Gigot[3] Вам кланяется. Маркс treibt hier dieselbe eitle Wirtschaft, wie vorher *, — портит работников, делая из них резонеров. То же самое теоретическое сумасшествие и неудовлетворенное, недовольное собою самодовольствие.

Вы не можете себе вообразить, как мне по Рейхеле грустно;

---

* «Занимается здесь тем же суетным делом, что и раньше».

ходите к нему иногда. Были ли вы у Марьи Ивановны? * Что Сазонов? Видели ли Хоткевича [4]? Он, кажется, на пути изменить Товянскому. Жена его здесь и, кажется, стала лучше. Впрочем я избегаю видеться с нею часто. Как только будут деньги, пришлю Вам сигары, теперь же нет ни копейки. Не имеете ли каких-нибудь известий о Елиз[авете] Петр[овне] **? Я ужасно боюсь за нее; дай бог, чтобы она пережила эту зиму... Вряд ли я с ней увижусь, cette pensée me rend tout-à-fait triste ***, я к ней глубоко привязан. Напишите ей и намекните о моем изгнании. Прощайте, не позабывайте и пишите мне.

Ваш

М. Бакунин.

28 Decembre, 1847.

Bruxelles, 13 Montagne de la Cour.

(Приписка сбоку на 4 стр.): Не позабудьте прислать мне «Современника», Тургенева 3 части и Плещеева [5]. Последний особливо мне очень нужен.

(Приписка сверху на 4 стр.): Здешние журналы встретили меня очень приветливо; вообще мое положение сделано. Теперь должно много работать.

(Приписка сверху на 1-й странице): Вчера получил от Béranger **** премилое письмо; сегодня же буду отвечать ему.

Перевод с французского

№ 495-бис. — Письмо М. Лемпицкому.

(8 января 1848 года *****).
[Брюссель].

Вот я могу наконец поговорить с Вами, мой дорогой Лемпицкий. Я не хотел писать Вам прежде, чем не познакомлюсь с польскою эмиграциею в Брюсселе. Само собою разумеется, все, что я скажу Вам на ее счет, останется строжайше между нами, ибо я

* М. И. Полуденская.
** Языковой.
*** «Эта мысль глубоко меня печалит».
**** Беранже [6].
***** В силу известной ошибки Бакунин по рассеянности пометил это письмо, явно относящееся к началу 1848 года, датою 1847. Как известно, в Брюссель он прибыл в декабре 1847 года.

не хотел бы стать для польской эмиграции новым источником и новым поводом к пересудам. Мы наконец положительно решили устроить чествование 26 декабря, правда несколько поздно, так как оно состоится лишь около 20 января, но лучше поздно, чем никогда [1]; а затем Вы не можете представить себе, с какими затруднениями я столкнулся здесь не столько вследствие злой воли, сколько вследствие апатии и безразличия ваших соотечественников в Брюсселе. В отдельности взятые, они — почти все хорошие поляки, но в совокупности, как партия, они ничего не стоют. Тышкевич [2] может похвастать тем, что возглавляет мертвый организм. Сам он — очень милый человек, но я сомневаюсь в том, чтобы он представлял большую политическую ценность. Я до сих пор не нашел в нем ни одной из тех сильных и свежих струн, дрожание которых единственно способно привести в движение и заставить трепетать сердце нового поколения. Это очень хорошее издание старой истории. Он с некоторым недоверием, довольно явно выраженным, хотя и несколько затушеванным манерами светского человека, взглянул на ваше движение и мое и спросил меня, не коммунист ли Владислав [3], на что я совершенно положительно ответил, что нет, и постарался разъяснить ему огромное различие между славянской общиной и фаланстером. Поистине это — не человек будущего; возможно, что у него сохранились какие-нибудь полезные связи с краем, и что с этим приходится считаться; но я думаю, что в серьезном деле его имя и его поддержка вместе с претензиями и личными требованиями, которые неизбежно будут с ними связаны, не только не окажут большой помощи, но напротив послужат крупной помехой.

Таково мое мнение. Впрочем возможно, что я ошибаюсь, и если в результате более частых встреч с ним я изменю свое мнение, я открыто Вам это скажу. Откровенность, полная откровенность была основою всех моих отношений с Владиславом и с Вами, и она всегда останется между нами, целиком и полностью, в качестве единственного основания, на котором мы можем строить дело столь трудное, как наше. Не правда ли, друзья? С другими я иногда дипломатничал, правда против своей воли, и, быть может, я еще часто буду вынуждаем к этому людьми, с которыми мне придется иметь дело; но с вами двумя никогда. Можете быть в этом уверены. Мне не приходится просить у вас того же, я в этом убежден.

Как полагается, я побывал у Лелевеля и частенько навещаю

его. Как личность я глубоко его уважаю, я отношусь к нему с почтением, во многих отношениях это — святой старец, но больше чем когда-либо я с грустью убедился в том, что это — человек сломленный и в политике совершенный нуль: он недоволен и доволен всем, он любит и ненавидит все, а главное он утратил всякий политический такт, ибо он дал себя здесь вовлечь в интернациональное демократическое общество, которое до сих пор представляет величайший обман, какой только можно себе вообразить, место для пустых разглагольствований, лишенных всякого живого и практического смысла, и постоянный источник скандалов, чего поляки на мой взгляд должны пуще всего избегать, так как у них имеется достаточно своих собственных и так как их настоящее положение по самой сути требует от них величайшей сдержанности [4]. Кроме того он приблизил к себе одного польского жида, некоего Люблинера, самое отталкивающее, самое несносное, самое надоедливое существо (a jak ze pan delikatny rozum masz!!!) *, глубоко презираемое всеми, который, постыдно провалившись в нескольких предприятиях, бросился в польскую демократическую партию, повидимому для того, чтобы покрыть ее своею славою. . . . .

Я не стану говорить Вам о Константине Залеском [5]; он добр, но очень смешон. А между тем именно он вместе с Семеньским [6] больше всех потрудились над устройством obchod'a **. Семеньский действительно превосходный человек, с очаровательным характером, несколько литератор, несколько склоняющийся к аристократии, но полный доброй воли. Его жена — замечательная женщина, настоящая полька, полная веры, любви к отечеству и с сердцем, открытым для всех благородных и прекрасных увлечений. Оба они встретили меня совершенно по-братски и глубоко растрогали меня своим ласковым и сочувственным приемом. А знаете ли, кто еще тронул меня оказанным мне приемом? Это — генерал Скржинецкий. Если не считать его католических и отчасти даже иезуитических взглядов, если не считать его теории божественного права, — взглядов и теории, по поводу которых мы вели довольно продолжительные споры, — я нашел в нем истинно польское и славянское чувство. В другой раз я подробнее поговорю с Вами о нем, а сейчас я имею Вам сказать еще много других вещей.

* Какой у вас тонкий ум.
** Торжество, празднование.

Но уже поздно, больше 2 часов. Прощайте, иду спать. Постараюсь, чтобы Вы мне приснились: это будет приятный сон. Завтра утром я закончу свое письмо и отошлю его Вам.

8 января 1847 [года].

20 января председательствовать будет Лелевель. Он выказал много доброй воли и даже много потрудился для того, чтобы наладить это дело. Я готовлю свою речь; она будет в особенности направлена против панславизма и будет содержать революционный призыв к русским. Надеюсь, что Вы будете ею довольны. Приедете ли Вы? Для меня повидать Вас здесь было бы больше, чем удовольствием. С того времени, как я расстался с Вами, я не мог открыто поговорить ни с кем; я принужден был вносить в мои беседы более или менее сдержанности, а я часто испытываю потребность в сочувственных словах, которые Вы и Ваши друзья так хорошо умели мне говорить; иногда я боюсь застыть в результате занятия политикою.

Вы наверное помните, что обещали мне держать меня в курсе всего, что будет происходить вокруг Вас, у Вас и между вами. Не пустое любопытство заставляет меня этого желать; я убежден в том, что только сохраняя постоянную связь с живою частью эмиграции, я найду в себе достаточно силы для того, чтобы продолжать ту тяжелую борьбу, которую я начал и которую я отныне считаю единственным делом моей жизни.

Еще одно слово перед тем, как закончить это письмо. Рейхель * писал мне, что по Вашим словам мой дорогой соотечественник Головин ** с каким-то другим, по моим предположениям Пелчинским [7], дурно отзывался обо мне у князя Чарторыйского ***. Сделайте мне одолжение, сообщите мне все известные Вам по этому поводу подробности, ибо если в его словах было что-либо серьезное, я непременно должен буду обратить на них внимание, не для того, чтобы драться с ним, так как он — низкий трус, но для того, чтобы принудить его к молчанию и остановить клевету у ее источника. Для меня весьма важно, чтобы мои отношения с поляками не были омрачены никакою клеветою, чтобы они остались чистыми и незапятнанными, без какой бы то ни

* Адольф.

** Иван Гаврилович.

*** Адам.

П. В. Анненков.

А. И. Герцен в 1848 году.

было примеси и без малейшей тени какого-либо подозрения. Итак я рассчитываю на Вашу дружбу в отношении ко всем сообщениям, какие окажутся для меня необходимыми.

Преданный Вам

М. Б.

Поклонитесь от меня моим друзьям, передайте привет Островскому [8], скажите Магдзинскому *, что я скоро ему напишу, чтобы поблагодарить его за его хорошее письмо.

Передайте мой почтительнейший привет госпоже Роговской **.

Перевод с французского

№ 495-ter. — Письмо М. Лемпицкому.

[Последняя декада января 1848 года. Брюссель].

Милый друг,

Я до сих пор Вам не отвечал, так как не мог сказать Вам ничего определенного. Наконец-то дело устроилось: чествование состоится в понедельник 31 или в крайнем случае во вторник 1 февраля. Устраивают его исключительно поляки, иностранцы выступать там не будут и будут допущены только в качестве зрителей и пассивной публики. Предлогом для нашего собрания будет чествование памяти Пестеля, Рылеева и пр. Цель его: сделать дальнейший шаг к сближению наших обеих стран. Это будет шаг осторожный, серьезный, без всяких выходок за или против России, но прежде всего чистосердечный. Я открыто коснусь всех труднейших сторон вопроса и надеюсь, что то, что я скажу, будет хорошо, так как я вдохновляюсь чувством искренним и глубоким. Если Вы пришлете адрес, это будет для меня большой поддержкой, но если один из вас лично прибудет в Брюссель, это будет счастьем. Во всяком случае, прошу вас, сделайте то или другое, а при малейшей возможности то и другое вместе.

Еще одно дело, дорогие друзья (так как это письмо адресуется Владиславу так же, как и Михаилу). Несколько дней то-

* Теофил.

** Это слово написано не совсем разборчиво.

му назад я получил большое письмо от Велеглоского, письмо, преисполненное доброты и дружбы по отношению ко мне, но давшее мне понять, что в данное время в Париже распространяются на мой счет клеветнические слухи. В чем именно они заключаются, я не знаю. Достаточно того, что они существуют. Главным их источником наверное должно быть русское правительство и его агенты. Кажется, что и Головин впутался в это дело — по заинтересованности и под чьим-либо влиянием или за собственный счет, не знаю.

Велеглоский очень деликатно просил меня прислать ему небольшую биографию, краткое описание моей прошедшей жизни, для того, чтобы отвечать на все недостойные нападки. Так вот мне претит заняться этим делом. Я не сумею писать о себе самом. И я решил прибегнуть к вам, дорогие друзья, и доверить вам мою честь и защиту моей репутации, подвергающейся нападкам. Сходите к Велеглоскому и от моего имени спросите его, чего он хочет и почему он этого хочет; затем переговорите с Анненковым, с молодым Тургеневым, который знает меня и мою семью давно уже, с Гервегом, особенно с старым Бернацким, который, я уверен, пойдет за меня в огонь и воду. Докопайтесь до корня всех клевет; составьте вместе, если это нужно, мою биографию и примите все меры, какие вы признаете необходимыми. Я доверяю Вам свою честь как полякам и вместе с тем как друзьям, дружбу которых я уже испытал. Я прошу вас сделать для меня то, что я при случае не премину сделать для вас, и я уверен, что вы мне не откажете и не потеряете ни одной минуты... Ибо каждая минута важна, когда дело идет о дурных слухах.

С Велеглоским будьте добры и ласковы, так как я ему бесконечно благодарен за то, что он говорил со мною с благородной откровенностью. Скажите ему, что после 31 февраля* я подробно отвечу ему на письмо.

Жду вашего ответа. Скоро я и вам напишу.

Преданный вам

М. Б.

---

* Явная описка: должно быть «после 31 января или 1 февраля».

№ 496. — Открытое письмо графу Дюшателю[1].

(7 февраля 1848 года.)

Г. графу Дюшателю, министру внутренних дел.

Г. министр,

Изгнанный из Парижа и из Франции по вашему приказанию, я не протестовал против этого грубого и немотивированного акта. В письме, мною вам тогда адресованном, я просил указать мотивы. Вы не сочли нужным это сделать. Впрочем, получив удовлетворение в выраженных мне политическими деятелями и независимыми газетами лестных симпатиях, я счел долгом предоставить чувству справедливости, просвещенному мнению, патриотизму самих французских граждан заботу высказаться о значении французского закона, который ставит в бесправное положение и отдает в жертву министерскому произволу всех без различия иностранцев, проживающих в стране. Я признаю, что вы воспользовались вашим правом. Вынудив меня покинуть Францию, вы поступили так же законно, как и император Николай около четырех лет тому назад, когда он по доносу г. Блюнчли, тогдашнего главы цюрихского кантонального правительства, поставил мне в вину два обстоятельства: мои связи с швейцарскими и немецкими демократами и мои симпатии к Польше. За мой отказ явиться в Петербург он осудил меня на ссылку в Сибирь. Но есть вещи, стоящие выше законодательных норм, которые, как известно вам, министру, пережившему несколько режимов во Франции, изменяются соответственно времени и месту. Это — вопросы чести и совести, одинаковые для всех тех, кто считает себя достойным носить имя человека.

Г. министр иностранных дел объяснил совершенно определенно, что причиною моей высылки были те, признаюсь, несколько резкие, но вполне заслуженные выражения, которые я употребил, когда говорил об императоре Николае. Я прекрасно понимаю отвращение г. Гизо[2] к правдивым словам, характеризующим политику и человека, союзником которых он хотел сделаться, не осмеливаясь еще выступить их апологетом, каким он уже выступает по отношению к австрийской политике в Милане. Но что менее понятно, чего я совершенно даже не понимаю, г. министр, так

это — те умолчания, к каким сочли нужным прибегнуть вы в вашем ответе уважаемым депутатам, потребовавшим от вас во имя французского гостеприимства объяснений по поводу моей высылки.

Вы утверждаете, м. г., что я не искал убежища во Франции. Вы правы в том смысле, что я никогда не просил у французского правительства помощи. Но моя позиция по отношению к моим соотечественникам и моим друзьям совершенно ясно определилась уже несколько лет тому назад; настолько, м. г., ясно и настолько честно, что я от души желал бы вам, министру благородной и великой нации, такой же ясности и честности в определении занимаемой вами позиции.

В 1845 году газета «La Réforme» согласилась поместить письмо, подписанное моим именем, где я откровенно выяснил мое отношение к русскому правительству, причины моего изгнания, а также мои либеральные и демократические идеи и мои симпатии к Польше *. В 1846 году, когда по всей Европе еще раздавались жалобы г-жи Мечиславской, начальницы тех несчастных католических монахинь, которых так жестоко преследовали, оскорбляли, мучили по приказанию Николая его агенты, я напечатал другое письмо на имя редактора «Constitutionnel» и описал в нем все ужасы, очевидцем которых я был на Литве, где я провел два года в качестве русского офицера **.

В этом ли заключаются те серьезные мотивы, которые не позволяли вам долее терпеть мое пребывание в Париже? В таком случае это делает мне честь. Утверждаете ли вы, что тому имеются другие причины? М. г., бьюсь об заклад, что вам не удастся привести ни одной. Позвольте мне забыть на минуту то высокое положение, какое вы занимаете, и говорить с вами просто, как человек с человеком, как г-н Бакунин с г-м Дюшателем, и ответьте мне как человек: утверждаете ли вы, что я когда-либо состоял в каких бы то ни было сношениях с тою полициею, которой вы являетесь одновременно и начальником, и представителем? Прежде чем обвинять меня с трибуны палаты депутатов, вы обязаны были, г. министр, собрать обо мне справки. Теперь вы так же хорошо, как и я, должны знать, что никогда, ни при ка-

---

* Письмо в редакцию газеты «Реформа» (см. выше № 481).

** Статья о преследовании католицизма на Литве и в Белоруссии (см. выше № 486).

ких обстоятельствах, в течение моего трехлетнего пребывания в Париже я не имел несчастья встречаться с вашими агентами; что я чист от соприкосновения с ними, что я никогда не имел дела с теми, кого «National» называет комиссарами добродетели, ни с охранителями вашей мудрой и умеренной свободы, разве только они были так хорошо замаскированы, что мне невозможно было их узнать. Вы это знали, вы не могли этого не знать, и тем не менее это не помешало вам дать объяснения, набросившие на мое поведение, на мою частную жизнь позорящее меня подозрение. Как квалифицировать такой образ действий, г. министр?

В конце концов, м. г., я прекрасно знаю, что это письмо так же останется без ответа, как и то, которое я послал вам, когда получил приказ оставить Францию. Что значат для вас опровержения? Но я счел себя обязанным перед самим собою, равно как и перед моими друзьями, перед уважаемым г. Вавеном * и другими депутатами, искренно желавшими добиться от вас публичного объяснения по поводу моей высылки, сделать это.

Повторяю, я уверен в вашем молчании. Но это молчание для честных людей будет достаточным ответом. Возможно, что есть и даже немало людей, которые при встрече с русским приходят в изумление, когда открывают в нем либерала, демократа, друга поляков, и, быть может, именно трудность моего положения облегчила вам нападение на меня. Так вот, м. г., с негодованием отвергая звание русского «подданного», какое вы мне даете, я оставляю себе честь принадлежать к русской нации. Я не так одинок в моей стране, как думают. Я знаю, что все чувства, которые я имел счастье выразить, находясь в стране свободы, в сущности разделяются очень многими моими соотечественниками. Если сильные чувства вылились в сильных выражениях, то я не раскаиваюсь в них. Деспот, управляющий Россией, быть защитником которого вы и г. Гизо считаете для себя честью, не стесняется по-своему расправляться со всеми, кто противится ему, кто возбуждает в нем подозрение, не исключая и вашего правительства, хотя последнее употребляет немало усилий, чтобы загладить грех своего революционного происхождения. Почему же я, говоря от имени всех моих страдающих и угнетенных братьев, не смею употребить единственные выражения, которыми можно

---

* Алексис [3].

охарактеризовать это подлое правительство? Вы можете искать союза с ним, но инстинкт Франции его отвергает и отрицает.

Ни инсинуации, ни клевета, ни более или менее откровенные преследования со стороны русского правительства, его союзников и друзей не остановят меня в выполнении того, что я считаю своим долгом. Здесь все честное и независимое на моей стороне. Там за меня симпатии всех, кто страдает и надеется. Время будет судьею между нами, г. министр, не между вами и мною лично, а между вашим и моим делом. Как вы думаете, кому принадлежит будущее?

Русский эмигрант

Михаил Бакунин.

Брюссель, 7 февраля 1848 г.

Перевод с французского.

№ 497. — [Мировое значение февральской революции].

(Статья в газете «Реформа»).

[13 марта 1848 года. Париж].

Разразившаяся во Франции революция радикально изменила постановку всех вопросов. Теперь можно без всякого преувеличения сказать, что старый мир умер; последние его остатки не преминут вскоре исчезнуть. Мы присутствуем при рождении нового мира. Революционное движение, вышедшее из того вечно оживляющего и пылающего очага, который носит имя Франции, распространяется повсюду, не давая себе даже труда опрокинуть, но просто гоня перед собою без усилия и почти без шума все призраки угнетения, неправды и обмана, веками накопившиеся в Европе.

Событие это столь велико, оно настолько застигло всех врасплох, что до сих пор не знаешь, что о нем думать, чего от него ждать, на что надеяться,... и что никто не в состоянии измерить глубину новой революции, которая с первых же дней представляется нам более радикальною в своих последствиях, более гигантскою в своих пропорциях, чем все предшествовавшие ей революции.

Одно во всяком случае ясно: практические люди старого режима превратились ныне в утопистов, а вчерашняя утопия

стала отныне единственно возможною, разумною и практичною вещью. Это утопия — чистая, безусловная демократия для Франции, как и для всей Европы; это — истина, справедливость, свобода, жизнь для всех, личностей, как и наций; это — право всех, защищаемое свободным голосом и вооруженною рукою каждого.

Не надо себя обманывать: эта демократическая революция, в обстановке которой мы живем за последние несколько дней, далеко еще не закончена; она только начинается. Она спокойна, потому что чувствует себя сильной, потому что никто не дерзает выступать против нее в открытом бою. И пусть там вовне не надеются, что сила ее экспансии может остановиться на границах Франции! Нужно быть лишенным смысла, чтобы думать так. Франция никогда не живет и не работает для себя одной. Когда она спит или когда она позволяет совратить себя с своего естественного пути, глубокое недомогание охватывает весь мир; когда она горит и волнуется, пожар свирепствует повсюду. Как бы высоко ни был поставлен тот или иной человек в любви и доверии своих сограждан, от его воли не зависит сделать так, чтобы буря, разразившаяся в Париже, не взволновала глубоко, революционно, до самого основания всех обществ Европы. Нужно не понимать Франции и особенно Франции революции, чтобы вообразить, что она может когда-либо остаться равнодушною к зрелищу борьбы между народами и правительствами. Одною из главных причин последней разразившейся в ней бури была без всякого сомнения та гнусная роль, какую Луи-Филипп заставил великую нацию играть в европейских делах. Она была возмущена, когда увидела, что не только ее опередили Италия и Швейцария, но что она противопоставлена им в качестве препятствия, преграды к их освобождению. «Теперь Франция свободна: поляки, итальянцы, швейцарцы, бельгийцы, немцы также скоро будут свободны!». Таков был первый крик, который раздался в Валансьене, когда там была провозглашена республика. Этот крик есть крик всей Франции.

Как остановить революционную пропаганду нации, которая в первом порыве радости думает не о самой себе, а лишь о свободе и счастье других стран? Политика полного невмешательства, политика ублюдочная, лицемерная, вытекшая из лицемерной и ублюдочной системы, никогда не станет политикою французской республики. Если она занимает спокойную позицию перед

лицом трех северных монархий, то происходит это не вследствие безразличного отношения к свободе народов и не из почтения к монархическим учреждениям, непримиримым врагом которых она пребудет до конца. Это происходит исключительно вследствие уважения к самостоятельности самих народов, которые она хотела бы видеть освобождающимися в результате собственных их усилий, без французской материальной интервенции, дабы ее не могли заподозрить в стремлении к расширению своих территорий путем завоеваний. Демократия исключает завоевание; но победа революционного принципа в Европе составляет для Франции вопрос жизни или смерти, и так или иначе, но в скором времени лицо Европы изменится полностью.

Вскоре, быть может меньше чем через год, чудовищная австрийская империя рушится; освобожденные итальянцы провозгласят итальянскую республику; немцы, сплоченные в единую великую нацию, провозгласят германскую республику, а польские республиканцы, пребывающие в эмиграции в течение 17 лет, возвратятся к своим очагам. Революционное движение прекратится только тогда, когда Европа, вся Европа, *не исключая и России,* превратится в федеративную демократическую республику.

Скажут: это невозможно. Но осторожнее! Это — слово не сегодняшнее, а вчерашнее. В настоящее время невозможны только монархия, аристократия, неравенство, рабство.

Революция погибнет, если монархия полностью не исчезнет с лица Европы.

Итак падение монархии и привилегии по всей Европе или же новое поражение революции, поражение более страшное, чем все предшествующие поражения, со всеми опасностями и ужасами реакции! Ведь сказал же Наполеон: «Через пятьдесят лет Европа будет республиканской или казацкой».

Момент серьезен как для отдельных личностей, так и для целых наций. На каждом лежит священный долг.

Я — русский, и мысли мои естественно принадлежат России. Оттуда ждут первых громов реакции. Они раздадутся, но лишь для того, чтобы обратиться против того, кто станет их метать. Быть может, никому кроме австрийского правительства французская революция не угрожает настолько, как императору Николаю. Эта революция, призванная спасти все народы, спасет также и Россию, я в этом убежден.

В следующем письме, если Вы мне его разрешите, гражданин редактор, я изложу те соображения, которые внушают мне эту уверенность. А пока приветствую Вас, восклицая вместе с Вами:

Да дравствует Франция!
Да здравствует республика!
Да здравствует демократия!

Русский эмигрант

Михаил Бакунин.

№ 498. — Письмо П. В. Анненкову.

Cöln. (Кельн). 17 апреля 1848 года.

Любезный друг Анненков! Я так спешил и забегался в последний день в Париже [1], что не успел даже проститься с Вами и с Тургеневым [2]. Вы не можете себе вообразить, как мне это было грустно, но в последнее время я был как сумасшедший, не мог ни притти в себя, ни вздохнуть свободно; только здесь, в Германии и, еще определеннее, здесь только в Кельне опомнился. Во Франкфурте я все еще был в лихорадке; здесь лихорадка невозможна, потому что, несмотря на мнимое, кажущееся движение, здесь царствует филистерское спокойствие.

Странная вещь! Большая часть Германии в беспорядке, но без собственной революции, что не мешает немцам говорить, запивая рейнвейном: «Unsere Revolution» *. Впрочем в Берлине, говорят, живее, а в Баден-Бадене без всякого сомнения уже дерутся. Отсутствие всякой централизации теперь ощутительнее, чем когда-нибудь. В Ахене (6 часов езды от Кельна) вот уже два дня как работники отчаянно дерутся против bourgeoisie **, а здесь — мертвое спокойствие; правда, что клубов и здесь много, где немец с гордостью пользуется безопасностью слова, но революции здесь решительно нет. Во Франкфурте было гораздо живее и опять будет живо в мае месяце, когда соберутся депутаты со всех сторон Германии. Я познакомился там по крайней мере с 50-ю живыми, энергичными и влиятельными демократами и

* «Наша революция».
** Буржуазии.

подружился особенно с тремя: с Jakobi * из Кенигсберга, с графом Рейхенбах [4] из Силезии и с отставным поручиком артиллерии Willich **, выгнанным из прусской службы за распространение коммунистических мыслей. Последнему вверено теперь начальство над соединенною революционерною армиею баденских крестьян и немецких выходцев из Парижа и Швейцарии; там и наш друг Гервег теперь действует; об нем я ничего не слышал [6]...

Беда, если им не удастся, потому что реакция хотя и сломана, но обломки ее еще являются везде и грозят беспрестанно; теперь сильны не короли и князья, но bourgeoisie, которые отчаянно отвергают республику, как ведущую за собою социальные вопросы и торжество демократии. Впрочем республика в Германии неминуема, старая власть везде рушится, везде лишена инициативы; анархия без революции — вот положение Германии, и только республика может стать на место убитого и обруганного Германского союза и дать единство — этот идеал всякого немца — Германии. Deutsche Einheit ***, — Вы не можете себе вообразить, сколько глупостей наговорено уже на эту тему. В продолжение этих 14 дней немец много говорил и хочет, чтобы все, что он говорил, было напечатано.

Что живо в Германии, это — начинающий двигаться пролетариат и крестьянское сословие; здесь будет еще революция страшная, настоящий потоп варваров; потоп этот смоет с лица земли развалины старого мира, и тогда доброму, говорливому Bürger'у **** будет плохо, очень плохо. Симптомы этой революции уже везде показываются: денег мало, покупателей еще менее, фабрики останавливают работы, и работники без работы с каждым днем умножаются. Демократическая революция начнется здесь никак не позже двух или трех месяцев, — теперь предводители ее организируют мало-по-малу свои силы и стараются ввести единство в революционерное движение целой Германии; есть умные, дельные люди, и они действуют хорошо. Филист[е]р теперь занимается тремя вещами. Во 1-ых он готовится к выборам в Германский парламент, который должен открыться 1-го мая во Франкфурте и должен решить, какую форму правления будет

* Иоганн Якоби [3].
** Виллих [5].
*** Германское единство.
**** Бюргеру, обывателю, буржуа.

иметь Германия: Republik oder Monarchie? *. Во 2-х принимает все возможные меры против народа, вооружается со страхом пополам и в 3-х высылает молодых людей против Дании для спасения немецких братьев in Schleswig und Holstein **; — это Schleswig-Holstein'ское *** движение — совершенно реакционерное; во главе его прусский король: «Es soll bewiesen werden, das die Könige auch für die deutsche Herrlichkeit und für die Würde der deutschen grossen Nation sorgen!» ****. И странная вещь! Немец объявляет Шлезвиг немецкою землею, несмотря на то, что половина народонаселения там состоит из датчан; а в Позене, где немец поселился насильственно, всякою неправдою и всеми подлыми средствами, филистер не хочет признать священного права поляков. Вообще позенские немцы ведут себя самым подлым образом, что вам впрочем должно быть известно из газет; для нас это хорошо.

Теперь несколько слов обо мне: я сижу здесь пять дней в ожидании своих вещей из Брюсселя, но вещи не пришли, и сегодня вечером отправляюсь в Берлин. В Берлине пробуду не более двух дней и оттуда прямо в Позен [7]. Сказать ли вам, Анненков, чем ближе к северу, тем становится мне грустнее и страшнее: там темная сила русского . . . .

(Конец письма не сохранился).

Перевод с немецкого

№ 499. — Полицейский протокол допроса Бакунина в Берлине 22 апреля 1848 года.

(Арестованный Неглинский ***** на предложенные ему вопросы ответил следующее):

Я выехал из Парижа 31 марта с тем, чтобы направиться в Великое Герцогство Познанское. Я хотел связаться с суще-

* Республика или монархия.

** В Шлезвиг-Голштинии.

*** Шлезвиг-Голштинское.

**** «Нужно доказать, что и короли также заботятся о немецкой чести и о достоинстве великой германской нации».

***** На имя Леонарда Неглинского у Бакунина был фальшивый паспорт из Парижа, отобранный у него при этом аресте полицеймейстером Минутоли [8].

ствовавшим уже там по предположению временным польским правительством [1], дабы разузнать, начинается ли уже война с Россиею [2]. Сначала я прямо направился во Франкфурт на Майне, так как интересовался тамошними делами, встретился там с доктором Якоби * и другими известными деятелями, а затем после полуторанедельного пребывания выехал в Кельн. Там мне пришлось прождать с неделю, так как вещи мои находились в Брюсселе и должны были быть пересланы мне оттуда. После того я прямо проехал сюда и прибыл сюда позавчера вечером.

Тою же ночью я отправился к Зигмунду-сыну [3], которого знал еще по университету, для того чтобы узнать у него адрес д-ра Цыбульского [4]. Я поехал с ним к последнему, поговорил с ним о польских делах и взял у него письмо, адресованное какому-то господину в Бреславле, имени которого я сейчас не припоминаю [5]. От него именно я узнал, что мне выгоднее будет проехать через Бреславль в Галицию. Я собирался выехать отсюда уже на следующее утро в 7 часов, но проспал, а потому в течение дня сделал несколько визитов, а именно Мюллеру **, Цыбульскому и пошел также к графу Замойскому ***, которого однако не застал.

Мое желание состоит в том, чтобы проехать через Бреславль в Галицию. Если мне это не будет дозволено, то я прошу визировать мне паспорт в Лейпциг. Замечу, что я выслан из Парижа министерством Гизо, а потому до февральской революции проживал в Брюсселе [8].

№ 500. — Основы новой славянской политики.

[Начало июня 1848 года. Прага].

После того как славяне пережили времена рабства, тяжелой борьбы и жалоб, которые были плачевными последствиями их разделения, они теперь в первый раз соединяются на общем съезде, и, подавая взаимно руки в знак братского единения, они заявляют перед богом и народами, что следующие основные положения составляют основы их новой политической жизни.

---

* Иоганн.

** Герман Мюллер-Стрюбинг.

*** Владислав, доверенный князя Чарторыйского [7].

1) Как последние пришельцы в развитии европейского образования, обладая опытом и способностями, они чувствуют себя призванными к осуществлению того, что другие народы Европы приготовили через свое развитие, то есть к осуществлению того, что теперь считается за конечную цель человечества, особенно величия, свободы и счастья всех принимающих участие в святом и братском единении как отдельных личностей, так и народов.

2) Очень долгое время они сами были жертвою чуждого притеснения, видели очень хорошо печальные того последствия: упадок народных нравов и дисгармонию в обществе, которая вытекает из притеснения не только для притесненных, но также и особенно для притеснителей; сверх того они слишком возненавидели чуждое иго для того, чтобы когда-нибудь пожелать наложить свое иго на чужие народы. Уважение и любовь к свободе других есть в их глазах первое условие собственной свободы.

3) Кроме того они слишком долго были жертвою хитрости и насилия для того, чтобы начать черпать новую жизнь и новую силу в чем-либо другом кроме как в чистой и святой истине, в чистой свободе, в чистой справедливости без всякого ограничения, без всякой задней мысли; поэтому они устраняют как из своей внутренней, так и внешней политики дипломатию и ее соображения, все, что искусственно и что могло бы невольно иметь целью какую бы то ни было центральную власть в ущерб свободе, будь то индивидуумов или народов. Новая политика славянских племен будет не государственною политикою, а политикою народов, политикою свободных независимых людей.

4) Они основывают свое новое могущество на неразрывном и братском союзе всех народов, составляющих славянское племя, и не будут искать никакой другой централизации кроме той, какая вытекает из соединения всех славян. Все их несчастие заключается в разделении *. Соединенные они были бы непобедимы, и однако ж они были разделены и так страстно держались того, что забывали священные узы рода и крови, которые бесспорно должны были их объединить для исполнения общего призвания. Одни из них дали себя увлечь на братоубийственную борьбу; другие напротив забылись до того, что служат чужим

---

* Здесь какая-то неточность в оригинальном тексте или в драгомановском; сказано: «All ihr Unglück ist geteilt» (повидимому пропущено «zu sein»).

родам и антиславянской политике для уничтожения своих братьев. Но в наказание за то бог попустил, чтоб одно славянское племя за другим подпало игу немцев, не исключая и тех, которые сохранили призрак национальной и независимой жизни или стали учителями своих братьев столько же, сколько и несчастными исполнителями немецких замыслов.

Но минуло время страданиям, час освобождения пробил для славян. По прибытии в Прагу от противоположных границ они нашли себя братьями, признали себя и почувствовали братьями один другому не только в сердце, но поняли друг друга на их языках, представляющих только разные диалекты, оттенки одного прекрасного и благозвучного языка, который распространен от Адриатических берегов и Черного моря до границ Белого моря и Сибири. Они собрались, объединенные общностью своего положения, и увидели себя еще сильнее объединенными великим назначением, которое им приуготовляет будущее. Они возблагодарили бога за то, что он положил конец их долгим страданиям, что он сохранил им в полной чистоте братское чувство; они простили себе взаимно былое в обязательстве более не нарушать своих судеб и видят перед собою только настоящее и будущее.

Основы славянской федерации.

1) Признается независимость всех народов, составляющих славянское племя.

2) Однако все эти народы состоят между собою в союзном единении. Это единение должно быть настолько тесно, что счастье или несчастье одного должно быть в то же время счастьем или несчастьем другого, и никто не может чувствовать себя свободным и считать себя таковым, если остальные не свободны, и наоборот: притеснение одного есть притеснение другого.

3) Общий союз всех славянских народов есть выражение и осуществление этого соединения. Он представляет все славянство и называется Славянским Советом (Rada Slowenská).

4) Славянский Совет руководит всем славянством как первая власть и высокий суд; все обязаны подчиняться его приказаниям и исполнять его решения.

5) Всякое несправедливое действие какого-либо славянского народа, которое бы стремилось учредить особый союз в недрах объединенного общею связью славянства или подчинить себе дру-

гое славянское племя посредством ли дипломатии или насилия с намерением основать сильную центральную власть, что могло бы уничтожить или ограничить власть всего объединенного славянства, всякое стремление к какой бы то ни было гегемонии над соединенными народами в пользу ли одного народа или нескольких соединенных, но к невыгоде других — будет считаться за преступление или за измену всему славянству. Славянские народы, которые хотят составить часть федерации, должны полностью отказаться от своей державной власти и передать ее непосредственно в руки Совета и в дальнейшем не должны искать себе особенного величия [иначе как] * в развитии своего счастья и свободы.

6) Только Совет имеет право объявлять войну иностранным державам. Никакой отдельный народ не может объявлять войну без согласия всех, так как вследствие объединения все должны участвовать в войне каждого, и ни один не может оставить братское племя во время беды.

7) Внутренняя война между славянскими племенами должна быть запрещена как позор, как братоубийство. Если бы возникли несогласия между двумя славянскими племенами, то они должны быть устранены Советом, и его решение должно быть приведено в исполнение как священное.

8) Из последних трех пунктов ясно вытекает что если какой-либо славянский народ подвергнется нападению другого славянского народа, находящегося в состоянии расстройства, раньше чем Совет имел бы время постановить что-нибудь или применить разные посреднические меры, то все соседние племена обязаны помогать его освобождению. Будет считаться изменником всякий славянский народ, который нападет на другой с оружием или который при нападении чужого не поспешит на помощь подвергшемуся нападению брату. Защищать своего брата есть первая его обязанность.

9) Ни одно славянское племя не может заключать союза с чужими народами; это право предоставлено исключительно Совету; ни одно не может отдать в распоряжение другому народу или чужой политике славянские вооруженные силы.

---

* Взятых нами в прямые скобки слов нет в приводимом у Драгоманова немецком тексте.

Внутреннее устройство славянских народов.

Славянские народы независимы, поэтому каждый из них может по своей воле дать себе такое правление, какое соответствует его обычаям, потребностям и его положению. Но первые основания его должны лежать в славянском характере, который таким образом должен образовать основу новой жизни объединенных славянских народов, и без святого сохранения тех основ никакой народ не может приступить к общему союзу.

1) Принципы, которые составляют эти основы, суть: равенство всех, свобода всех и братская любовь. Под небом свободного славянства нет никого несвободного (ни по праву, ни на деле). Подданство *, в какой бы форме оно ни существовало, отменяется навсегда. Все славяне одинаково свободны, одинаково братья. Между ними нет никакого неравенства кроме того, какое создала природа. Сословий (каст) нет никаких. Там, где еще господствует аристократия, привилегированное дворянство, эти аристократы, если хотят быть славянскими, должны на будущее время искать себе преимуществ и привилегий в богатстве своей любви и величии своей жертвы. Аристократия ученых и художников, старшая сестра в народе, должна раствориться в массе народа, чтобы почерпать из нее новую жизнь и чтобы с своей стороны вести ее к просвещению, приобретенному временем.

2) На великом и благословенном пространстве, которое заняли славянские племена, есть довольно места для всех, поэтому каждый должен иметь удел во владении народа и быть полезным для всех.

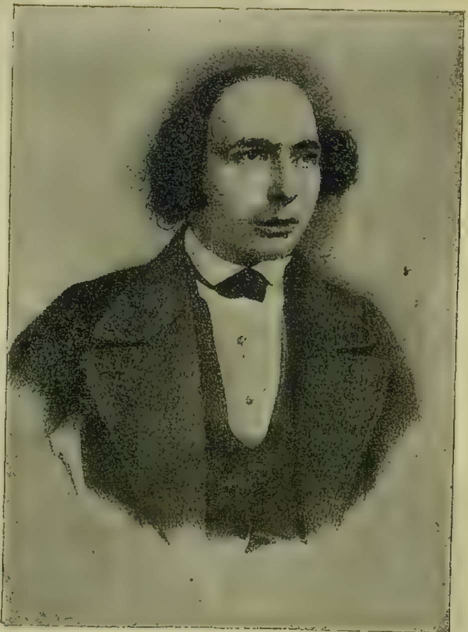
3) Каждое лицо, которое принадлежит к какому-либо славянскому народу, имеет по этой именно причине право поселения среди всякого другого славянского народа, и то самое единение, которое связывает славянские народы, должно считаться за братское и должно господствовать также и в отношениях между отдельными славянскими лицами.

4) Совет имеет право и обязанность смотреть за тем, чтобы эти три основные принципа свято соблюдались и точно исполнялись во внутренних учреждениях всех народов, входящих в состав общего союза. Он имеет право и обязанность вмешательства, если этим принципам угрожает опасность уничтожения ка-

---

* Имеется в виду крепостная зависимость.

Карл Либельт.



Иоганн Якоби.

ким-либо учреждением или постановлением, и каждый славянин имеет право обращаться к Совету против несправедливого действия своего отдельного правительства.

Перевод с французского.

№ 501. — Письмо т-же Жорж Занд.

[8 июля 1848 года. Бреславль.]

Милостивая государыня!

Вашим именем воспользовались для распространения клеветнических слухов на мой счет. Только что я прочитал в номере 36 «Новой Рейнской Газеты» [1] следующее сообщение из Парижа:

«Париж, 3 июля. — Здесь, несмотря на нашу внутреннюю смуту, весьма внимательно следят за борьбою славянской расы в Чехии, Венгрии и Польше. По поводу славянской пропаганды нас вчера уверяли, что Жорж Занд имеет в своем распоряжении документы, сильно компрометирующие изгнанного отсюда русского М. Бакунина, которые изображают его как орудие или как недавно завербованного агента России и приписывают ему главную роль в недавних арестах несчастных поляков. Жорж Занд показывала эти документы некоторым из своих друзей. Мы здесь ничего не имеем против славянского государства, но никогда оно не создастся посредством *предательства* польских патриотов» [2].

Мне не приходится объяснять Вам всю серьезность этого обвинения. Либо корреспондент солгал, либо его сообщение имеет какое-нибудь основание. В первом случае я настоятельно прошу Вас, во имя той симпатии, которую Вы всегда ко мне проявляли, опровергнуть эту публичную ложь. Примите во внимание, сударыня, что дело идет о моей чести, которая, под прикрытием Вашего имени, недостойным образом задета, и что такие слухи бросают на меня тень как раз в тот момент, когда я больше, чем когда-либо, нуждаюсь в доверии в интересах того дела, которому я служу.

Если же Вы, сударыня, вопреки моему ожиданию, действительно являетесь источником этих слухов, то я апеллирую уже не к Вашей симпатии, а к Вашему чувству справедливости и к Вашей порядочности. Я слишком Вас уважаю и считаю Вас слишком благородною и добросовестною для того, чтобы допустить, что Вы могли легкомысленно, и не будучи сама в этом убежденной, высказать против меня такое обвинение. Доказательств Вы

не могли иметь, так как для несуществующей вещи не может быть доказательства, но я должен предположить, что у Вас имеются столь веские внешние улики, что они могли даже Вас ввести в заблуждение.

Я предлагаю Вам немедленно опубликовать все те бумаги, которые меня якобы компрометируют, дабы я мог их опровергнуть и узнать имена авторов этой бесстыдной клеветы. Я имею право требовать этого, так как, обвинив меня, Вы этим самым взяли на себя священную обязанность передо мною и перед общественным мнением доказать свои обвинения [3].

С почтением

М. Бакунин.

№ 502. — Письмо в редакцию «Всеобщей Одерской Газеты» [1].

(9 июля 1848 года.)

Господин редактор!

С некоторого времени мне стало известно, что обо мне и о цели моего пребывания в Бреславле распространяются клеветнические слухи [2]. Мне было больно оказаться столь непонятым, но я полагал, что должен молчать, так как я во-первых считал ниже своего достоинства отвечать на тайные заподозривания, избегающие дневного света; во-вторых мое положение и интересы представляемого мною дела требуют привлечения к себе возможно меньшего внимания; а в-третьих — и это было главным мотивом — я глубоко убежден в том, что в наше время следует доказывать свои взгляды не столько словами, сколько делами, ибо скоро каждый будет иметь случай действительно показать, кому он служит и какими идеями одушевлен.

Теперь однако я вынужден нарушить свое молчание. Выдвинутое против меня в «Новой Рейнской Газете» открытое, формальное обвинение требует от меня формального же ответа. Дать такой ответ я обязан перед самим собою и перед моими немецкими друзьями, и я надеюсь, господин редактор, что вы предоставите столбцы вашей газеты иностранцу, не располагающему никаким другим оружием кроме гласности. Я имею дело с сильным

и непримиримым врагом, который с тех пор, как я напал на него в одной из моих публичных речей в Париже, систематически и неутомимо преследует меня и который настолько ловок, что умеет даже моих естественных союзников — демократию и ее органы — использовать и эксплуатировать как средство для своих целей. Перед правительством он выставляет меня в виде способного на все преступления демагога и одновременно путем распространения обо мне слухов, будто я [правительственный] агент, пытается дискредитировать меня в глазах общественного мнения. Он очевидно воображает, что таким способом сможет утомить и обезвредить меня, но он должен убедиться и убедится в том, что он напрасно старался [3].

В виду выдвинутого против меня в «Новой Рейнской Газете» обвинения я прежде всего счел себя вынужденным написать госпоже Жорж Занд и прошу вас напечатать это письмо вместе с [моим] объяснением в вашей газете. Я оставляю за собою право в свое время сделать вам дополнительное сообщение [4].

М. Бакунин.

Бреславль, 9 июля 1848 года.

(Дальше следовало напечатанное выше под № 501 письмо к Жорж Занд).

Перевод с немецкого.

№ 503. — Отрывки и наброски статей на тему о политическом оклеветании автора.

[Июль 1848 года. Берлин.]

1.

Проект письма в редакцию берлинской газеты «Реформа» [1].

«Новая Рейнская Газета» взяла на себя оглашение слуха, который по ее утверждению циркулировал в известных кругах Парижа, слуха о том, что я — агент или шпион русского правительства. У госпожи Жорж Занд якобы имеется этому письменное доказательство. Позже «Новая Рейнская Газета» по определе-

ленному требованию госпожи Занд напечатала ее письмо, решительно отрицающее ссылку на нее. При этом газета заявила, что опубликованием слуха она думала оказать мне услугу, дав мне возможность оправдаться. Пусть будет так, хотя такого рода дружеская услуга кажется мне довольно оригинальной, между прочим еще и потому, что редакция должна же была понимать, что не все те, кто читал первую статью или слыхал о ней, узнают и о последовавшем опровержении. Однако я не хочу вдаваться в поиски другого мотива, который мог руководить редакцией названной газеты. Ибо во-первых теперь не время для личных счетов, а затем я по собранным сведениям действительно убедился, что *такие слухи на мой счет на самом деле шли в известных углах* [2]. Как ни неприятно узнавать подобные вещи, тем не менее к ним приходится быть готовым с того момента, как занимаешь известное общественное положение. Но что меня поистине огорчает, так это то, что, как я убедился, *распространение этой клеветы не обошлось без участия известной части польской эмиграции* [3]. Должен сознаться, я думал, что вправе рассчитывать на большее доверие со стороны польской эмиграции.

Но как бы там ни было, я с своей стороны очень хорошо знаю, что *единственным источником распространяемых про меня клеветнических слухов является русское правительство* [4]. После того как я около 5 лет тому назад за прежние литературные нападки на него и за отказ возвратиться на родину был заочно приговорен к каторжным работам в сибирских рудниках, оно потребовало и добилось от г. Гизо моей высылки из Парижа, где я жил в качестве эмигранта, за речь, которую я год тому назад произнес на польском национальном празднестве. Не довольствуясь этим, оно пыталось убить меня морально, внушив г-ну Гизо, что я — способный человек, услугами которого оно-де пользовалось, но так как я зашел слишком далеко, то оно не может более терпеть моего пребывания во Франции. После этого я переехал в Брюссель, где, как мне достоверно известно, оно чрез посредство г. Дюшателя старалось распустить слух, что я бежал из Сибири, но не по политическим причинам, а потому, что похитил крупную сумму денег [5]. Когда я позже поехал в Берлин, тамошняя полиция была уже предупреждена, что я направляюсь в Петербург, чтобы там вместе с другими русскими совершить цареубийство. Впоследствии я с той же целью послал якобы в Петербург двух поляков [6]. Но в то же время я оказываюсь рус-

ским шпионом, на которого по словам [Новой] «Рейнской Газеты» ложится главная доля ответственности за недавние аресты несчастных польских патриотов. Какая еще ответственность в ближайшем будущем ляжет на меня, я не могу предвидеть, но я хорошо знаю, что фантазия русского правительства, раз возбуждена его злоба, неутомима, и от нее можно ждать всяких сюрпризов. Поэтому я впредь не стану возражать на всякую отдельную клевету, но чтобы раз навсегда отнять у честных и разумных людей возможность подозревать меня в том, что я действую в интересах нынешнего русского правительства, я на следующих страницах вполне точно охарактеризую всю мою политическую позицию, равно как преследуемую мною цель.

(На этом отрывок кончается).

2.

Я имел счастье очутиться в положении, позволившем мне открыто высказать то, что многие мои земляки чувствуют, знают и хотят так же, как и я, а может быть и сильнее, чем я. А это было крайне неприятно для русского правительства, ибо его политика относительно Европы заключается как раз в стремлении окружить Россию китайской стеной, через которую не мог бы из этой великой империи прорваться ни один звук, будь это стон боли или возмущения. Вся сила русского царя основывается на лжи — лжи внутри и лжи вовне: это — такая колоссальная и искусная система лжи, какой пожалуй еще не существовало во всемирной истории.

Разрушение этой системы мои друзья и я поставили задачей свой жизни. Нисколько не скрывая от себя величайших затруднений, с которыми нам придется бороться, мы твердо уверены, что наша цель достижима. Ибо ни одна страна в Европе не стоит пожалуй так близко к радикальному перевороту и не получает столько революционных толчков, как Россия.

3.

Есть известные обвинения, которые так неожиданны, так омерзительны и так бессмысленны и самою своею нелепостью настолько способны ошарашить человека, что, будучи как бы оше-

ломлен, в первый момент не знаешь, что делать и как на них отвечать, не унижая самого себя.

Так было и со мною, когда в одно прекрасное утро я прочел в «Новой Рейнской Газете», что я — шпион, агент императора Николая. Есть обвинения столь неожиданные и столь омерзительные, способные выбить из колеи именно своею нелепостью... Правительство, злоба которого пробуждена, не прекращает своих выпадов, предвидеть кои нет возможности. И потому я отныне не стану давать себе труда опровергать отдельные клеветы; более того, дабы раз навсегда предупредить возможность подозрения у всех честных и разумных людей, будто я действую в интересах нынешнего русского правительства, я в нижеследующих строках изложу полностью и открыто мою политическую позицию и поставленные мною себе цели.

4.

От имени революционной партии в России, от имени всех молодых сил, которые восстают против старого угнетения и позорного притеснения, от имени всех элементов, которые мечутся, которые сознательно или бессознательно стремятся к свету и к свободе, от имени молодой революционной России, от имени русского народа я предложил революционный союз польской нации [7].

Перевод с немецкого.

№ 504. — Письмо в редакцию «Всеобщей Одерской Газеты».

26 июля [1848 года. Берлин.]

Господин редактор!

Вы имели любезность поместить в № 151 Вашей газеты мое письмо [1], с которым я после напечатания обо мне клеветнического слуха в «Новой Рейнской Газете» обратился к госпоже Жорж Занд, указанной там в качестве источника этого слуха. Теперь я прошу Вас напечатать также и ее ответ, полученный мною вчера (см. ниже) [2]. Кроме того госпожа Занд написала

письмо в редакцию «Рейнской Газеты», копию которого она мне прислала и которое в ближайшее время должно появиться в упомянутой газете [3]. Теперь я буду преследовать эту клевету до тех пор, пока не открою ее первоисточника, и не успокоюсь до тех пор, пока мне не дано будет *полное* удовлетворение [4].

Уважающий Вас

М. Бакунин.

(Ответ госпожи Занд господину Бакунину).

Милостивый государь, я не получила первого письма, посланного мне Вами в Париж, и очень признательна Вам за то, что Вы догадались снять с него для меня копию, так как я понятия не имела о низкой и смехотворной клевете, к которой хотят припутать мое имя [5]. Мне хочется Вас побранить за то, что Вы могли хоть на минуту усомниться во мне при этом случае, но все мы, принявшие сторону демократического дела человечества, подвергаемся такой клевете и преследованиям, что должны протянуть друг другу руку и не позволять нашим врагам разделить и деморализовать нас. Нет, никогда у меня не было в руках никаких обвинений против Вас, да я бы им и не придала никакой веры, будьте в этом уверены. Я бросила бы их в огонь, не дочитав, или же отослала бы их Вам, если бы считала их заслуживающими ответа. Статья «Новой Рейнской Газеты», которую я самым формальным образом опровергаю, представляет ни на чем не основанную возмутительную выдумку, которою я чувствую себя лично задетой. Я полагаю, что корреспондент, доставивший эту заметку, спятил с ума, если мог сочинить подобную нелепость на Ваш и на мой счет. Я сожалею только о том, что мне не удалось с первого же дня оправдаться от той низкой роли по отношению к Вам, которую мне приписывают и которую я отвергаю с негодованием, с горестью, можете мне в этом поверить. В скорости после Вашей высылки из Парижа *Луи-Филиппом* Вы должны были получить от меня письмо, в котором я выражаю Вам уважение и симпатию [6], каких Вы заслуживаете и какие я никогда не переставала питать к Вашему

характеру и к Вашим действиям, примите же в них уверение в большей мере, чем когда-либо.

Вся Ваша

Жорж Занд.

Ноган, близь Шатра (деп. Эндр).
20 июля 1848 года.

Перевод с французского.

№ 505. — Отрывок из письма к Жорж Занд.

[Конец июля 1848 года. Берлин.]

Милостивая государыня!

Я должен просить у Вас дважды извинения: 1) за то, что я хотя на минуту мог в Вас усомниться, 2) за то, что так долго не благодарил Вас за милое письмо... Я нуждаюсь во всей Вашей снисходительности.

Перевод с немецкого.

№ 506. — Проект письма в редакцию «Новой Рейнской Газеты».

[Начало августа 1848 года. Берлин.]

Только сегодня вернулся я в Берлин и мог прочесть Ваше относящееся ко мне заявление в № [64] «Новой Рейнской Газеты». Спешу ответить Вам. Напечатав адресованное Вам письмо Жорж Занд, уличающее во лжи Вашего парижского корреспондента, Вы, господин редактор, объявляете инцидент исчерпанным. К сожалению я не могу в данном случае с Вами согласиться, так как для меня он только начинается. Не сварливость и еще менее тщеславное желание занимать публику своею особою побуждают меня углубляться в эту противную историю; поверьте, если бы мне позволительно было следовать своему внутреннему чувству, я бы не нарушил молчания и оставил бы клевету Вашего корреспондента без ответа. Время теперь слишком

серьезное для того, чтобы испытывать большую охоту возиться с личностями, а вдобавок существуют нападки столь неожиданные и нелепые и возбуждающие такое отвращение, что только с величайшим трудом можно заставить себя обратить на них внимание. Такое чувство Вы наверно испытали бы, если бы кто-нибудь обвинил Вас в краже серебряных ложек. К сожалению я не вправе оставить без внимания брошенное мне и столь мало затрагивающее меня обвинение; как ни скучно, ни противно и даже ни оскорбительно для меня такое занятие, я все же должен продолжать раз начатое мною расследование до тех пор, пока не получу полного удовлетворения. Для всех должно стать ясно, что меня оклеветали самым низким образом; это я обязан сделать в виду своей политической деятельности и еще более перед моим отечеством, единственным демократическим представителем которого в Германии и на немецкой границе Польши являюсь я один.

Русское правительство является основным источником всех этих клевет. Оно исполнено непримиримой ко мне вражды, так как я тяжко перед ним провинился: в публичной речи я обрисовал его глубокую безнравственность и его еще большее бессилие; я разрушил старательно распространяемую им иллюзию, будто оно представляет нечто единое с русским народом и действует и живет согласно с живым национальным сознанием; я обнаружил трещину, отделяющую его от народа, и доказал, что эта трещина с каждым днем все более расширяется в пропасть, в которую оно скоро свалится со всеми своими мерзостями и неправдами. Я предсказал близкое крушение этого правительства и появление освобожденной русской нации из развалин Российской империи. И от имени русской революционной партии, от имени всех бродящих в народе сил, рвущихся к свету и свободе, я предложил польскому народу революционный союз против нашего общего врага, против царя Николая и его правительства.

Такова была моя вина, вина тем бо́льшая, что я действовал не по самонадеянности или по капризу и не из тщеславного желания безнаказанно провоцировать могучее правительство, а в согласии с моими политическими единомышленниками в России [1] и по глубокому и прочному убеждению. Моя вина была тем большей, что я выражал не иллюзии и благочестивые пожелания, а действительно существующее сознание моего народа, и что я произнес эту речь не ради красивых слов, а с твердым реше-

нием при первой же возможности перейти от слов к делу и доказать правоту моих заявлений на практике.

Русское правительство естественно не могло быть мне за это благодарным. Правда, я ничего нового ему не открыл; оно хорошо знает, что я сказал чистую правду, высказал истины, которые ежедневно выражаются в самой России, почти в каждом доме, только с большею энергиею и злобою; в конце концов моя вина или заслуга заключалась только в том, что я имел счастье оказаться в таком положении, которое позволяло мне открыто высказать то, что множество моих земляков думают, чувствуют и *хотят* так же хорошо, как и я, а может быть и много лучше, чем я. Но именно это и должно было быть крайне неприятно для русского правительства, так как вся его политика относительно Европы заключается как раз в стремлении окружить Россию китайской стеной, через которую не мог бы из этой великой империи прорваться ни один звук, будь это стон боли или возмущения. Ложь это — сокровенная душа его, на лжи основывается вся сила великого царя — лжи внутри и лжи вовне: это колоссальная и искусная система лжи, подобной которой еще не существовало во всемирной истории. Было бы невозможно скрыть от глаз всего мира, что русская правительственная система представляет ужаснейший деспотизм, постыдное господство кнута; но Европа должна думать, будто русский народ так глубоко пал, так глуп и даже так низок, что он любит и боготворит свое правительство, другим словами, что кнут служит выражением его сокровенного существа.

Европа должна думать, будто русский народ так особенно устроен, что он чувствует себя счастливым и возвышенным только тогда, когда его бьют, жмут и сдирают с него шкуру. Всему этому Европа должна верить для того, чтобы быть в состоянии верить вообще в могущество русской империи: ибо без единомыслия со своим народом никакое правительство не может быть сильным, а такое единомыслие было бы для русского народа возможно только при указанных позорных условиях. Таким образом в интересах царя лежит распространение и упрочение этого предрассудка в мире.

(Здесь рукопись обрывается).

Перевод с немецкого.

№ 507. — Письмо Арнольду Руге[1].

[Начало августа 1848 года. Берлин.]

Дорогой Руге!

Наконец-то мы можем снова вздохнуть полною грудью! Мы еще раз победили и на сей раз, вероятно, сумеем использовать свою победу лучше и умнее, чем несколько месяцев тому назад. План реакции, столь искусно составленный и столь хорошо приноровленный к обузданию и удушению революции, был разбит сразу, почти в один и тот же день в Берлине, во Франкфурте, в Киле и в Вене. Революция оказалась сильнее интриги, революция получила определенный толчок, сделала крупный шаг вперед, да здравствует революция!

Милый друг, я — иностранец, я — русский, настоящий русский, и все-таки я радуюсь вместе с вами, я сливаюсь с вами, я говорю «мы», а не «вы» и вашу германскую победу называю «нашею» победою.

Должен ли я доказывать тебе, что я вправе так выражаться? Тебе конечно нет, так как ты не принадлежишь к числу тех, кто считает свободу частным делом отдельного народа и соответственно этому по отношению к ней действует. Ты знаешь, что свобода задохлась бы в такой тесной изоляции. Ты знаешь, что свобода есть общее дело всего человечества, подобно всеобщему пожару, который в своем истребительном беге не признает никаких национальных или языковых границ и разгорается тем жарче, чем больше распространяется вширь.

Поэтому солидарность народов является для тебя не просто сантиментальною фразою, которую из моды машинально повторяют в часы досуга, нисколько не веря в возможность ее осуществления, а глубокою практическою истиною, более того — единственно разумным основанием, на котором ныне можно уверенно строить. Ты — немецкий патриот, но ты — не тевтономан, ты желаешь свободы и величия всех народов именно потому, что, как тебе очень хорошо известно, Германия порабощающая никогда не перестанет быть Германиею рабскою. В смысле этой солидарности ты и выступал недавно в церкви св. Павла, когда горячо протестовал против злодеяний «юной германской свободы» в Польше, Праге и Италии и когда ты посреди этого оригиналь-

ного, состоящего из французоедов, датчаноедов и славяноедов, словом из всевозможных «едов» кроме только тираноедов, столь же притязательного, сколь и немощного франкфуртского собрания теней мужественно воскликнул, что каждый немец, любящий свободу, должен радоваться, если Радецкий * будет в Италии разбит.

(Конца нет).

Перевод с немецкого.

№ 508. — Письмо Георгу Гервегу.

[Первая половина августа 1848 года. Берлин.]

Георгу.

1848.

Дорогой, после того письма, которое я послал тебе из Кельна[1] и про которое я не знаю, получил ли ты его, я не написал тебе ни одного слова. С тех пор многое переменилось; однако наша дружба и вера друг в друга остались теми же. Не изменились также наши главные мысли и заветные стремления, и я убежден, что при свидании мы, как и прежде, сразу поймем друг друга, как и раньше. Моя вера, моя религия еще более укрепилась, несмотря на все превратности и злоключения **, посреди которых я живу уже в продолжение нескольких месяцев; я весьма далек от того, чтобы терять надежду, а наоборот вижу, не делая себе на этот счет никаких иллюзий, как приближается наш мир, мир разрушения.

О славянстве я мог бы рассказать тебе много интересного, что тебя порадовало бы, но так как я сейчас пишу брошюру обо всех этих обстоятельствах, то не буду надоедать ни себе, ни тебе; в скором времени ты прочтешь мою работу в печати[2].

Германия представляет ныне интереснейшее и своеобразнейшее зрелище; это *** — призрачная борьба, борьба теней, принимающих себя за действительность и ежеминутно чувствующих и невольно выказывающих свою бесконечную слабость. Официальная реакция и официальная революция соперничают в ничто-

---

* Радецкий, Иосиф Венцель (1766—1858)—австрийский генерал, с 1831 по 1857 наместник в северной Италии, в 1848—49 жестокий усмиритель итальянского освободительного движения.

** В «Переписке» Гервега вместо «Widerwärtigkeiten» оригинала напечатано «Niederträchtigkeiten» (низости).

*** В «Переписке» Гервега вместо «es ist» оригинала напечатано «nicht», что искажает смысл.

жестве и глупости, и при этом все повторяют те * философски-религиозно-политически-поэтически-добродушно-тяжеловесные фразы, которые раньше долго бродили в немецких головах, а теперь выходят на свет божий. По правде сказать, мы с тобою часто говорили и повторяли, что пришел конец буржуазии и старой цивилизации, и мы верили тому, что говорили, но никогда мы не думали, что мы в такой форме и настолько правы. Реакция — я понимаю здесь реакцию в самом широком смысле слова — реакция есть мысль, которая вследствие старости превратилась в глупость. Но революция скорее инстинкт, чем мысль, она действует и распространяется как инстинкт, и как инстинкт она дает свои первые битвы. Вот почему философы, литераторы и политики, имеющие в кармане готовые системки и пытающиеся заковать в определенные формы и границы этот необъятный океан, — вот почему они также оказываются столь же глупыми и бессильными. В них нет ни капли этого инстинкта, и они боятся искупаться в волнах этого океана. Но революция все-таки существует, милый друг, она действует и бродит повсюду, я везде чувствовал и находил ее — и не боюсь реакции.

Теперь, Георг, ты должен-таки признаться, что Прудон **, против которого ты всегда был враждебно настроен, сейчас — единственный человек в Париже, единственный в политическо-литературном мире, который еще что-нибудь понимает. Он выказал большое мужество, его речь в это мерзкое и лицемерное время была действительным, благородным делом. Если бы он пришел к власти и его доктринерство из отрицательного перешло в положительное, то нам конечно пришлось бы вступить с ним в борьбу, так как в конце концов и у него ведь за пазухой имеется своя системка. Но теперь он — с нами, и во всяком случае ты согласишься, что он выказал большое и достойное удивления мужество [3]. Я впрочем очень мало интересуюсь парламентскими дебатами; эпоха парламентской жизни, учредилок, национальных собраний *** и т. п. уже прошла, и если задать себе прямо вопрос, то каждый должен будет признать, что в сущности он уже не чувствует никакого интереса или чувствует лишь

* В «Переписке» Гервега вместо «haben» оригинала напечатано «hohlen» (пустые).

** Пьер Жозеф [4].

*** В «Переписке» Гервега между словами «Assemblées» и «Constituantes» вставлено слово «und», которого нет в оригинале.

принужденный, воображаемый интерес к этим старым формам. Я не верю в конституции и в законы; самая лучшая конституция меня не в состоянии была бы удовлетворить. Нам нужно нечто иное: порыв и жизнь и новый, беззаконный, а потому свободный мир. Впрочем меня все-таки интересуют дебаты * в Вене, так как посредством них выясняется состояние этого государства, о котором мы так долго ничего не знали. Крушение Австрии составляет вопрос жизни для нас, славян, и для всей революционной партии. Вмешается ли Франция в ** Италии или нет? Боюсь, что нет ***. Буржуа предчувствуют, что война в Италии может превратиться во всеобщую войну, которая повлечет за собой великую революцию.

Руге здесь — все-таки он до сих пор был во Франкфурте одним из лучших, если не лучшим. Я его еще не видал.

До свидания, дорогой, я спешу.

М. Б[акунин].

Сударыня, я надеюсь, что Вы еще несовсем меня забыли, и что Вы заставите Георга мне ответить. Что Вы поделываете в Париже? Думаете ли провести там зиму? Во всяком случае надеюсь, что мы скоро встретимся, и тогда у нас будет много, о чем рассказать друг другу ****.

Преданный Вам

М. Б[акунин].

№ 509. — Отрывок из дневника М. Бакунина.

11 сентября 1848 [года]. Понедельник.

[Берлин].

До обеда: у *Липского*[1], *Костельского*[2], у *Шумана*[3] (с последним долгий разговор о польском и славянском вопросе). Правда ли, что *Любомирский*[4] перешел в реакционерную пар-

---

* В «Переписке» Гервега вместо «Verhandlungen» оригинала напечатано «Unterhandlungen».

** В «Переписке Гервега вместо «in» оригинала напечатано «und», что резко искажает смысл.

*** В «Переписке» Гервега вместо «Ich fürchte, dass nicht» оригинала напечатано «Ich fürchte das nicht» («я этого не боюсь»), что прямо противоречит мысли Бакунина.

**** Эта приписка по-французски в оригинале.

тию? Карьер * говорит, что он принадлежит к партии *Палацкого* и читает только «Presse» [5] — вероятно, а может быть, Карьер и врет. После обеда читал газеты, пил кофе с Oppenheim [6] и ком[панией] **, потом в hôtel Milius, где собирается оппозиция, потом у Шейбеля ***, потом опять у Milius разговаривал с Reichenbach [7] и Stein [8]. Сегодня поутру министр-президент Ауэрсбах **** прочел в национальном собрании ответ и решение короля: министерство в убеждении, что решение национального собрания 7-го сентября совершенно противно основным правилам конституционной монархии и правам короля, но, не чувствуя себя способным вследствие личного недоверия нац[ионального] собрания к нему ***** и т. д., король принимает их отставку, но объявляет себя совершенно согласным с правилами выступающего министерства. Таким образом король бросает перчатку представителям народа. Оппозиция отступить не может и, чувствуя всю важность вопроса, кажется, намерена выдержать до конца. Что будет? Я думаю, Бекерат [10], которому поручено составить новое министерство, исполнит только *формально* волю национального собрания и будет стараться добыть большинство дипломатическим обходом его ****** решения.

Австрия приняла посред[ниче]ство Франции и Англии [11], и Bastide *******, министр иностранных дел во Франции, объявил вследствие этого национальному собран[ию], что есть надежда на уменьшение военных расходов. Поэтому вероятно войны в Италии не будет. Франкфурт еще ничего не решил, Шлезвиг-Голштейн, может быть, еще [требует] ******** войны [12], но все правительства, кажется, избегают войны, чувствуя, что война ускорит, усилит и распространит революцию в целой Германии. Впрочем глубокое недовольство царствует во всей Германии. Сегодня 75 больных холерою.

---

* По словам копии здесь в оригинале стоит неразборчивое слово, которого она дает такую транскрипцию: «Manan». Нужно же читать Карьер.

** В копии сказано «соч.» и прибавлено: «неразб. слово». Вероятно в оригинале стоит «comp.», т. е. «и компания».

*** В копии здесь сказано «Шейб.» и прибавлено «неразб. слово» Нужно читать Шейбель.

**** Так в копии вместо Ауэрсвальд [9]. Вряд ли это описка Бакунина; скорее это ошибка казенного копииста.

***** В оригинале сказано «в нем».

****** В копии написано «ея».

******* Бастид.

******** В копии здесь пропуск со ссылкою на неразборчивое слово. Мы вставили слово по смыслу: здесь могло стоять и слово «желает» и т. п.

№ 510. — Письмо славянину

(Л. Штуру).

[Середина сентября 1848 года.] Берлин.

Брат, что делаете вы? Вы губите славянщизну. Вы позабываете, вы жертвуете великое дело славян и действуете только в пользу императора и австрийской аристократии. Вы думаете, что дипломатия спасет вас, — она вас погубит. Вы объявили войну революции, вы служите реакции, вы кладете бесчестье на всю славянщизну.

Перевод с немецкого

№ 511. — Проект письма в редакцию берлинской «Реформы»

[Середина сентября 1848 года.] Берлин.

«Грустно, что здесь, где немцы демократичны, славяне выступают в качестве противников демократии».

Этими словами кончается последнее письмо Вашего остроумного венского корреспондента.

Я — славянин, я — русский, настоящий русский, я люблю свое отечество, я — конечно горячий поборник славянского дела, и при всем том я полагаю, что вправе называть себя демократом. Дело демократии, т. е. дело величия, счастья и свободы всего человечества, для меня настолько превыше всего, что если бы я думал, что в качестве славянина и русского я должен перестать быть демократом, то я скорее перестал бы быть славянином и русским.

Но дело обстоит вовсе не так. Уже по тому одному, что славяне до сих пор были самою угнетенною расою во всей Европе, им пожалуй суждено осуществить демократию в самой глубокой степени и в самом широком объеме, ибо как раз угнетаемые народы и классы бывали самыми ярыми передовыми борцами за общечеловеческие права. Только на путях демократии могут славяне обрести жизнь, только на путях демократии могут

они освободиться от глубокого внешнего и внутреннего рабства, в котором они ныне томятся.

Дело обстоит вовсе не так [как изображает корреспондент]. Я напротив убежден в том, что вопреки всем на первый взгляд противоречащим этому [утверждению] признакам славяне призваны к тому, чтобы по крупным размерам своей нации, по ее прошлому и по ее нынешнему положению внести новый, духом грядущего отмеченный элемент в развитие демократии. Уже из того, что они до настоящего времени были наиболее угнетенною расою в Европе, далее из того, что с их освобождением весь мировой уклад, основанный на привилегиях и деспотизме, должен претерпеть радикальное изменение, так как он был, можно сказать, [построен] главным образом на их угнетении, уже из этого одного явствует, что славяне не могут развиваться иначе как в интересах демократии. Угнетаемые народы и классы искони становились самыми ярыми поборниками общечеловеческих прав для всех людей.

Демократия — это сила и непреодолимая прелесть нашего времени. Только через демократию могут славяне добиться освобождения, только через нее могут они быть призваны от смерти и позора рабства к жизни, — иначе их возрождение было бы бессмыслицею и невозможностью.

Но этим вопрос не исчерпывается. Свою веру, непоколебимую веру в демократическое будущее славянской расы я почерпаю в ее специфическом характере, в ее внутреннем общественном устройстве, которое сохранилось у всех народов этой расы в чистом и неприкосновенном виде, несмотря на столетия долгого рабства, на все насилия и притеснения.

(Конца нет).

Перевод с немецкого.

№ 512. — Извлечение из протокола полицейского допроса Бакунина.

21 сентября 1848 года. Берлин.

23 апреля [1848 года] я в сопровождении чиновника выехал из Берлина в Лейпциг и лишь оттуда в Бреславль. В Бреславле я оставался до мая месяца, затем поехал в Прагу, там про-

был 14 дней, снова вернулся в Бреславль и недель шесть тому назад приехал оттуда в Берлин. Я поселился у своего приятеля, литератора Германа Мюллера-Стрюбинга, Мариенштрассе № 1 с, и до сих пор живу еще у него. По моем прибытии сюда я хотел было лично явиться министру Мильде [1], которого я лично знаю, но не застал его дома, и депутаты Штейн [2] из Бреславля и граф Рейхенбах, с которыми я знаком еще по Бреславлю, взяли на себя сообщить г-ну министру Мильде о моем приезде. Они это выполнили и сообщили мне, что г. Мильде заявил им, что им следовало бы поставить о моем присутствии в известность г-на министра Кюльветтера [3], что г. Штейн, как он мне сообщил, и сделал. Больше я ни к каким властям не являлся — и по той простой причине, что я приехал сюда из Бреславля без паспорта. При моем приезде в Берлин в апреле у меня было с собою два французских паспорта — один на имя Неглинского, а другой на мое собственное имя Бакунина. Последний вместе с некоторыми незначительными бумагами у меня отобрал президент полиции фон Минутоли *, запечатал и оставил на сохранение здесь. Паспорт на имя Неглинского я взял с собою в Бреславль и там его бросил. В Бреславле я представился полицейпрезиденту Ку под именем Бакунина и получил от него при моем отъезде в Берлин шесть недель тому назад карточку к министру Кюльветтеру, которую я однако не передал по назначению, так как после осведомления министров Мильде и Кюльветтера о моем прибытии я не считал этого более нужным. Недели три тому назад я вместе с Мюллером-Стрюбингом съездил на 5 дней в Новый Бранденбург в Мекленбурге, где проживают мать и сестра Мюллера-Стрюбинга.

За писания, которые я сочинил в Париже и в которых я нападал на русское правительство за его польскую политику, я был последним приговорен к лишению дворянства, ссылке в Сибирь и каторжной работе [4], каковой приговор не мог однако быть приведен в исполнение, так как я находился во Франции.

Когда я в апреле прибыл в Берлин и собирался отправиться в Великое Герцогство Познанское, г. фон Минутоли заявил мне, что он мне этого разрешить не может. Он заставил меня дать ему честное слово, что я не поеду в Великое Герцогство

---

* На полях прибавлено: «Насколько я припоминаю, это было именно так, но куда девался паспорт, я указать не могу».

Познанское. Я дал ему такое обещание, ненарушимо сдержал его и буду держать его и впредь, как я об этом здесь определенно заявляю.

Я намерен еще сегодня выехать из Берлина и вернуться обратно в Бреславль, где я временно поселился на Вокзальной улице, № 5.

В Берлин я приехал шесть недель тому назад для свидания с некоторыми парижскими знакомыми [5].

Перевод с французского

№ 513. — Письмо неизвестному.

[27 сентября 1848 года. Бреславль.]

Что сказать тебе, дорогой друг? Ты знаешь, как кончилось дело в Берлине; очень грустно, что делать! Если имеешь дело с немцами, надо вооружиться терпением. Все здесь было подготовлено и очень хорошо организовано. Силезия — бесспорно самая оживленная и практичная провинция Пруссии, если не всей Германии [1]. Это все, что я могу сказать в данную минуту. Послезавтра я собираюсь в Мысловиц [2]; я тебе напишу, как только узнаю что-либо интересное или новое. Но если ты хочешь, чтобы я тебе писал, то и ты не ленись и пиши мне. Ведь право мы не должны терять друг друга из виду, и потому я полагаюсь на данное тобою обещание писать мне. Как видишь, в этом отношении я подаю тебе пример. Милый, милый, если у тебя есть деньги, пришли мне немного: я очень в них нуждаюсь.

Преданный тебе

М. Бакунин.

Адрес: Бреславль, Господину купцу Штальшмидту. Вокзальная улица № 5 *.

2 октября.

Представь себе, что со мною случилось. Я более пяти дней не мог найти твоего адреса, бог знает, куда я его дел: это — единственная причина, почему я раньше не писал [3].

Я получил письмо от Людвига Штура (словака), он зовет меня к себе, назначая свидание в Карпатах. Признаюсь тебе, что

* Адрес указан в оригинале по-немецки.

мне очень бы хотелось туда поехать хотя бы для того, чтобы лучше разобраться в столь запутанном славянском вопросе. Сверх того я убежден, что сумел бы придать ему направление более рациональное и более либеральное: эти господа мне доверяют. В Праге мы столковались по всем главным пунктам [4]. Я обязан был бы туда съездить, но я сижу здесь и не могу урвать свободной минуты, потому что мои друзья из России вместо денег до сих пор кормят меня обещаниями и хорошими словами [5].

Я еще не был в Мысловице, жду письма из Кракова. Повидимому либерализм господина Залеского, галицийского губернатора [6], представляет новый обман.

Он отдал распоряжение о вооружении краковской национальной гвардии и о доставке в город трех тысяч ружей. Этому воспротивился краковский комендант господин Шлик [7], заявив, что он конфискует ружья, если они будут доставлены. Мораль этой истории очень проста: двор хочет выиграть время, он тешит публику показным либерализмом, а тем временем готовится к войне.

Перевод с немецкого.

№ 514. — Письмо А. Рейхелю.

[Начало октября 1848 года. Бреславль.]

Милый, почему ты мне не пишешь? Ты даже перестал отвечать на мои письма. Два письма остались без ответа — разве это не позор? И так мало похоже на тебя столь долго не отвечать, что мне иногда приходит в голову сумасшедшая мысль, не рассердился ли ты на меня. Однако я этому не могу поверить, ибо я не чувствую за собою никакого дурного поступка, я не сделал ничего такого, что могло бы подать тебе повод быть мною недовольным. А потому приходится приписать твое продолжительное молчание врожденной нам обоим лени. Милый, пиши мне, мне так хочется услышать от тебя слово, хоть одно единственное слово.

Представь себе, что натворил Мюллер. Недавно я был арестован в Берлине, и он вместо того, чтобы спрятать мои бумаги (что в конце концов тоже было лишним, так как у меня не было ни одной, способной кого-либо скомпрометировать), все их сжег и в том числе одну мою тетрадь, в которой у меня были записаны

все адреса, нужные адреса, собранные мною с большим трудом, а среди них и твой, так что я теперь не знаю, живешь ли ты в № 1 или 2. Я поэтому приму все меры к тому, чтобы это письмо дошло до тебя.

Милый, мне кажется, что нас разделяет уже целое столетие, а ведь прошло всего шесть месяцев, но в эти...

(На этом рукопись обрывается).

Перевод с немецкого.

№ 515. — Протест, поданный Бакуниным в Прусское Национальное Собрание.

Кельн *, 12 октября 1848 года.

Высокое Национальное Собрание!

После того как я, почтительнейше нижеподписавшийся, русский политический эмигрант, прожил полгода в Пруссии и притом с ведома и согласия прусской полиции, которая уже в начале года и повторно за истекшие месяцы определенно дозволила мне проживать здесь под условием, что я не поеду в Познань, я неожиданно получил 6 октября в Бреславле, где я в тот момент находился, паспорт, в котором мне принудительно предписан немедленный выезд и маршрут в Бельгию. Этот паспорт по сделанному мне официально сообщению изготовлен согласно подписанному г-ном фон Путткамером ** распоряжению министерства внутренних дел в Берлине, каковое распоряжение титулует меня нелегитимированным (т. е. согласно дальнейшему более точному пояснению не получившим от российского правительства заграничного паспорта) русским *подданным* [2]... Во имя принципов гуманности и свободы, признанных всеми свободными народами, в ряды которых вступила благодаря своей революции и Пруссия, я торжественно протестую против подобного поведения, которое, будучи применяемо с присущими только деспотизму произволом и насилием к неопороченным вольным людям, достойно к сожалению еще России, но уже никак не Пруссии и может быть объяснено лишь одно время незримым, но втайне снова возродившимся и усилившимся влиянием российского царизма.

* Придумано вместо Дессау.

** Берлинский полицей-президент, занимавший в 1848 г. пост директора министерства внутренних дел.

В особенности я протестую:

1. против противоречащего понятию свободы и обязанностям вольной нации, против оскорбительного для всех преследуемых за свободу людей деспотического произвола, который ставит допущение и защиту гостя (и притом гостя, который уже за четыре года до того был за политическую оппозицию, выразившуюся в его писаниях ** о России, приговорен к каторжным работам в Сибири) в зависимость от преходящего настроения административной власти, а не от принципов гостеприимства, сближающего всех свободных людей; который терпит беспрепятственное пребывание единственного преследуемого за политический образ мыслей *русского*, искавшего убежища в Пруссии, до тех пор, пока правительство не решило еще, как ему держать себя по отношению к русскому правительству, но как только последнее снова приобрело влияние на прусскую политику, приносит его в жертву властному требованию петербургского деспотизма из страха или почтения к последнему.

Я протестую

2. против приличествующего старому павшему деспотизму, но никак не исполнительной власти свободного народа выражения «русский подданный» в применении к свободному человеку, который бежал из России именно потому, что его образ мыслей не позволяет ему быть и называться *рабом*. Как на свободной почве, обитаемой достигшим суверенитета прусским народом, можно применять к свободному человеку рабские термины вроде эпитета «подданный», судить об этом я предоставляю высокому национальному собранию прусского народа, несомненно проникнутому достоинством в качестве представительства суверенного народа. Но я не могу скрыть того несказанного удивления и того глубокого разочарования, какими преисполняет меня и каким не в меньшей степени преисполнит весь действительно цивилизованный мир подобное оскорбление человеческого достоинства в лице гостя, вступившего в вашу среду с доверием к великодушию и свободолюбию немецкой нации.

Я протестую наконец

3. против беззаконной и ничем не оправдываемой угрозы выдачею России. Эта угроза не может ни основываться на упо-

---

* Ошибка: Бакунин был приговорое не за свои писания, которых тогда еще не существовало.

мянутом при этом картельном договоре Пруссии с Россиею *, так как Россия требует моей выдачи не за такие преступления, какие могли бы сделать меня подлежащим действию названного договора, а за мой политический образ мыслей, ни быть в какой-либо мере примиренною с уверением, которое предыдущее министерство с излишнею определенностью дало высокому национальному собранию, что выдача политических преступников России с прусской стороны не будет иметь места. Однако какая-либо провинность против Пруссии, которая могла бы оправдать лишение меня права на гостеприимство, мне не была поставлена в вину. И тем не менее то самое государство, которое на условии, мною ни разу не нарушенном, приняло меня прежде под свою защиту, теперь заходит так далеко, что не только выбрасывает меня из своего лона без всякого на то основания, но и угрожает мне актом совершенно неслыханного варварства, в пользу которого не существует ни малейшей тени вины с моей стороны.

Высокое национальное собрание, представляющее собою суверенитет прусского народа и призванное к тому, чтобы охранять и защищать интересы свободы от имени этого благородного народа, оценит те чувства, с коими я довожу до его сведения через посредство депутата Штейна ** о троякой несправедливости, совершенной по отношению ко мне в Пруссии, и без всякого сомнения сумеет охранить честь прусского имени перед лицом всего цивилизованного мира также и в этом частном и особом случае.

Русский политический преступник и эмигрант,

Михаил Бакунин.

Перевод с немецкого.

№ 516. — Протест, поданный Бакуниным в саксонскую вторую палату.

Кельн, 12 октября 1848 года.

...Прибыв 8 октября в Дрезден, я по требованию представил этот паспорт полицейским властям и на следующий вечер был вызван к окружному комиссару Шиллингу, который объявил мне, что согласно приказу свыше он не может обойтись без того, чтобы не пригласить меня переночевать в участке, что это не сле-

* 1844 года.
** Юлия.

дует рассматривать как арест, но что полиция обязана удостовериться в моем отъезде. Только мой решительный протест против такого ничем не оправдываемого варварского насилия побудил названного чиновника удовольствоваться моим обещанием, что я обязательно уеду на следующее утро, и не лишать меня свободы...

Так как мне стало известно, что приводимое в объяснение этой меры распоряжение окружного управления касается персонально меня одного, я же в 1844 году в Саксонии вовсе не проживал, а лишь за два года до того жил некоторое время в Дрездене, то мне приходится предположить, что это распоряжение издано по приказу российского императорского правительства, а именно в результате (как я давно об этом узнал) ноты на мой счет, направленной в 1844 году этим деспотическим правительством всем иностранным дворам, в каковой ноте я объявляюсь непокорным россиянином и опасным человеком.

Здесь я предоставляю высокой палате рассудить, достойно ли свободной Германии, чтобы правительство одного из свободных немецких государств по приказу российского деспота стало преследовать русского, гонимого этим деспотом за политический образ мыслей, и притом ссылалось на распоряжение, изданное еще в 1844 году, то есть при старом режиме, находившемся в полном подчинении российской императорской политике, и вдобавок применяло при этом столь нецивилизованные методы, как попытка засадить меня в полицейский участок.

От высокой палаты не укроется тот факт, что подобное поведение может означать лишь желание доказать, что в Германии через шесть месяцев после ее славной революции старый порядок вещей достаточно прочно восстановлен, для того чтобы стало возможным снова в полной мере проявить перед глазами изумленного мира угодливое прислужничество немецких правительств императору всероссийскому; а чтобы с негодованием почувствовать унижение благородного немецкого духа, связанное с молчаливым примирением с такого рода действиями, высокая палата не нуждается в подзадоривании, заключающемся в факте, что даже русский, душа которого охвачена любовью к свободе, громко выражает протест против указанных действий во имя этой свободы и во имя цивилизации и человечности.

Русский политический преступник и эмигрант,

Михаил Бакунин.

Перевод с немецкого.

№ 517. — Письмо члену саксонской палаты депутатов Венеру.

[Середина октября 1848 года. Кэтен.]

Вы узнаете, что я выслан из Саксонии дрезденскою полициею на основании указа русского правительства от 24 мая 1844 года [1], и что проходное свидетельство, согласно которому я должен был следовать из Бреславля в Бельгию [2], сохранено также в силе и саксонским правительством. Я предполагал облегчить Вам предъявление по этому поводу запроса министерству тем, что составил протест во вторую палату, членом коей Вы состоите, и прошу Вас его поддержать. Во всяком случае для Вас должно представляться желательным выступление против такого покушения на немецкую свободу и гостеприимство [3], мне же лично Вы окажете большую услугу, если потребуете от министерства предъявления палате упомянутой российской ноты от 24 мая 1844 года, дабы я мог наконец официальным путем ознакомиться с нею.

Перевод с французского.

№ 518. — Воззвание русского патриота к славянским народам.

[Конец октября — начало ноября 1849 года. Кэтен].

Братья! Вас обманывают, вас предают! Вы хотели быть независимыми и свободными, а вас хотят превратить в послушное орудие самой низкой реакции. Наше дело было так прекрасно в июне месяце, когда Виндишгрец своим грубым вмешательством решил прекратить, что я говорю? когда бомбардировкою Праги он пришел увенчать работы нашего съезда *. Это был тогда мощный порыв могучей расы, расы в 80 миллионов душ, пробужденных от векового сна шумом потрясающей мир революции. Это было воскресением славянства, это было для нас всех первым днем новой жизни. Собравшись в Праге в качестве пред-

* Речь идет о славянском съезде в Праге.

ставителей своих народов, мы встретились как братья, свидевшиеся после долгой разлуки. Мы почувствовали себя неразрывно связанными узами истории и крови, мы признали, что между всеми нами, детьми той же расы, должна существовать братская солидарность, и, сильные нашим единством, полные веры в наше будущее, поклявшись взаимно не разделять больше наших судеб, мы громогласно протестовали против гнусного гнета, жертвами которого мы так долго были, мы потребовали права на полную независимость, на наше национальное достоинство, на место среди свободных народов Европы. Тогда наше дело выглядело прекрасно! Ибо везде справедливость была на нашей стороне, везде она была против наших врагов.

Чего мы требовали? «Свободы, равенства, братства всех народов» *. Мадьярам, ожесточенным врагам нашей расы, которые, будучи едва в числе 4 миллионов, воображают себя в силах навязать свое иго 8 миллионам славян, мы предложили объединиться с нами. Мы провозгласили независимость Богемии и Моравии и с негодованием отвергли нелепые притязания комичного франкфуртского парламента, который ныне стал посмешищем всего мира и который в своем наглом бессилии претендовал обратить нас в немцев. Однако мы не только не питали враждебных чувств к немецкому народу, но напротив желали ему счастья, надеясь на то, что, возрожденный революциею, сделавшись сам более великим и более свободным, он станет также более справедливым по отношению к соседним народам. Мы выразили живую братскую симпатию тем нашим славянским братьям, которые до сих пор изнывают под игом османов. Мы торжественно протестовали против преступной политики, растерзавшей Польшу на клочья, и выразили надежду, что восстановление этой благородной и святой мученицы послужит вскоре сигналом к нашему общему освобождению. Мы обратились с призывом ** к великому русскому народу, который один среди всех славянских народов

---

* Этими словами кончается манифест славянского конгресса. *(Примечание Бакунина).*

Полностью этот манифест будет напечатан в наших комментариях к «Исповеди» (см. т. IV настоящего издания).

** Здесь Пфицнер делает примечание: «Неизвестно». Он решил, что речь идет об особом воззвании к русским. Но здесь говорится о призыве, а не о воззвании, и именно о том призыве, который содержится в «Манифесте».

сумел сохранить свою независимость, напомнив ему то, что он в настоящее время сам чувствует слишком хорошо, а именно, что сама эта независимость останется призрачною до тех пор, пока он не завоюет себе свободу, пока не перестанет быть бичом для польской нации и угрозою цивилизации и свободе Европы. Наконец мы провозгласили нерасторжимую солидарность всех славянских народов, которые отныне должны составить единый большой политический организм, построенный федеративно на демократических основах национальности, свободы, равенства и братства [1].

Таковы были пожелания славянского конгресса, таковы принципы, возвещенные в его Манифесте, обращенном к Европе. Деспоты были им встревожены. Сначала они надеялись, что славянский конгресс сможет послужить для них средством к парализованию революции в Европе, и они покровительствовали ему [2]. Но когда они увидели, что он не только не приходит им на помощь, но и высказывается открыто против их политики, провозглашая неотчуждаемые права народов, тогда они приказали Виндишгрецу выступить против него. После пятидневной героической обороны Прага, преданная теми, кто должен был ее защищать, принуждена была сдаться. Храм, в котором мы совершили первый великий акт нашей общей независимости, был осквернен грубою солдатчиною, а славянский конгресс был распущен [3]. Но дело наше от этого ничего не потеряло, ибо наше единство, освященное кровью наших братьев, убитых на баррикадах, стало только прочнее. Под огнем австрийских пушек мы провозгласили низложение всех тираний и наступление эры славянской демократии. За нас говорили право, справедливость, правильно понятый интерес всей Европы, — мы должны были пользоваться симпатиями всех демократий и мы могли в ближайшем будущем рассчитывать на несокрушимую силу 80 миллионов повстанцев. С сердцами, полными веры, разошлись мы для того, чтобы каждому в своей области подготовить элементы нашего грядущего освобождения, и все мы назначили друг другу свидание в великий день нашего восстания.

Братья! Что сделали, что вы сделали из нашего святого дела? Кто ныне его защищает, кто его представляет? Где славяне? Повсюду я вижу только дело Австрии, повсюду слуг императора. Елачич презрел прекраснейшую роль, существовавшую в мире, он не сумел понять высокой миссии, которую история

ему, казалось, предназначала, *миссию мстителя и освободителя великой угнетенной расы.* Война славян в Венгрии была войной законной и справедливой, войной народной, войной чисто демократической; это была война славянского мужика, у которого хотели отобрать все: свободу, собственность вплоть до родного языка, против кучки наглых мадьяр, простерших свое безумие до отрицания существования славянской национальности. Елачич должен был поддержать восстание словаков на севере Венгрии. Почему он этого не сделал? Нет, он предпочел пойти на Вену[4], дабы объявить войну революции, и там, сбросив маску, он внезапно заявляет, что не знает никакой славянской армии, а знает только австрийскую императорскую армию; он не хочет больше быть славянским вождем, а хочет быть простым австрийским генералом, прибывшим под стены имперской столицы для защиты прав своего императора и государственного единства. Братья! А знаете вы, что значит австрийский генерал? Это — человек без родины, без веры, без чести! Это — иезуит во главе войска, способный на любое преступление, на любой обман, на любую низость для защиты интересов хищного двора и гнусной аристократии.

А что делает Прага? Древняя славная Прага, священный град, родина Гуса и Жижки[5], та, которой принадлежит вечная слава подачи первого сигнала * к освобождению славянских народов? Прага, говорят, снова стала *австрийским* городом, центром австрийской реакции, убежищем всех негодяев, угодливой подругой своего палача Виндишгреца, рабою слабоумного императора! Это героическое население, в июне столь храбро сражавшееся на баррикадах, и это благородное юношество, восторженные песни которого раздаются еще в наших ушах, и которое было одушевлено самыми великими и самыми возвышенными чувствами, увлеченные, как говорят, недостойными вождями, трусливо прятавшимися в дни опасности, забыли все — и бомбардировку Праги, и жестокости солдатни, и предательство Вин-

---

* Здесь одна страница манускрипта зачеркнута, но в измененном виде содержание ее повторено в приведенном выше изложении. Зато на перечеркнутой странице находится следующее примечание Бакунина, непосредственно не относящееся к тексту: «Водрузите знамя демократической революции. Скажите пражским немцам, что вы не хотите воевать с немецким народом, а лишь выступаете против франкфуртских притязаний». *(Примечание проф. Пфицнера).*

дишгреца, и разгон славянского конгресса, и свои клятвы мести, и все смертельные обиды, которых уважающая себя нация никогда не прощает. Они не побоялись испачкать свои чистые руки пожатием еще покрытой кровью руки палача их братьев! Виндишгрец оказывается теперь их героем. Они обещали ему выступить под его предводительством против венской революции [6].

Братья! Не давайте себя обманывать людям, могущим говорить только под защитою австрийских штыков. Они рассказывают вам, что восстание Вены было оплачено мадьярскими деньгами. Они лгут! Они бесстыдно лгут для того, чтобы увлечь вас на гибельный путь; они лгут для того, чтобы оправдать, скрыть свою собственную низость. Существует старый прием, столь же жалкий, сколь и избитый и поистине достойный тех, кто им пользуется, и заключается он в том, что все революции, все крупные события, совершающиеся в мире, объясняются раздачею народу денег. Так последнее восстание Праги приписывалось польским деньгам. Нет, вы прекрасно знаете, что денег богатейшей страны нехватит для совершения революции, если революция не назрела во всех сердцах. Пражские юноши! Вы, которые должны знать молодежь и народ Вены, вы, многие из которых принимали даже личное участие в достославной мартовской революции, положите руку на сердце и скажите, верите ли вы всерьез в подкупность этой молодежи и этого народа. Нет, вы слишком благородны для того, чтобы сделаться соучастниками подобной лжи, столь низкой клеветы.

Не верьте также, будто эта вторая революция есть антиславянская революция. Враги нашего дела, используя преступное поведение Елачича и всеобщее неодобрение его, поднявшееся в Европе, хотели бы приписать ему такой именно характер. Но венцы не сделали ничего, что могло бы оправдать подобное предположение. Наоборот, не они ли первые выступили с протестом в пользу Польши, в пользу несчастной Галиции? А разве Польша — не славянская страна? Правда, что, введенные в заблуждение коварными донесениями, они в июне первое время колебались, не зная, как отнестись к пражским событиям. Но это было лишь минутное колебание, и в то время как *ваш* добрый, ваш великодушный император, глухой к вашим мольбам и нарушая торжественные обязательства, не довольствуясь оставлением вашего гонителя Виндишгреца в Праге, облекал его дискреционною, неограниченною властью; в то время как от имени вашего импе-

ратора этот бесчестный генерал, ныне ваш приятель, подвергал ваш город всем ужасам военного положения, в то время как вас обезоруживали и наполняли ваши тюрьмы вашими лучшими согражданами, — что делал венский комитет безопасности? Он послал делегацию в стан диктатора, требуя сохранения ваших прав и вашей свободы. Наконец в войне славян против венгров венцы, несмотря на серьезные предубеждения, с самого начала поднявшиеся против Елачича, несмотря на глухие тревожные слухи, повсюду циркулировавшие насчет реакционного характера его назначения, хранили строжайший нейтралитет до тех пор, пока война эта не переходила границ Венгрии и сохраняла характер борьбы двух национальностей. Они приняли сторону мадьяр только после того, как громкие факты — опубликованная переписка самого Елачича и назначение его императором на пост главнокомандующего всеми венгерскими войсками — достаточно ясно показали, что он действует там не как вождь великой угнетенной нации, защищающий права своих сограждан, а как слуга австрийского двора, как *генерал реакции*. Пешт был для него лишь этапом в походе на Вену, славянская национальность — простым предлогом, восстановление деспотизма — его действительною целью. Восставая, Вена спасала революцию *, европейскую революцию. Вена оказала услугу всему человечеству!

И вы могли объявить себя противниками Вены! Хотите ли вы этим показать, что ваше дело, славянское дело, противно делу человечества, что вы можете шествовать только под стягом деспотизма, что славяне рождены быть рабами и служить орудием деспотов против благородных детей свободы? Значит верно, господи ты боже, что мы являемся не чем иным как опустившеюся и выродившеюся расою, позорищем и бичом человеческого рода? Действительно ли мы умерли для всякого высокого инстинкта, для всех великих дел, заставляющих трепетать и биться сердца свободных людей, и наши враги правы? Как, все наши мечты, наши прекрасные июньские мечты, наши планы, проекты, выработанные нами совместно в Праге для нашего общего будущего, все это было только обманом, и у нас нет другой участи кроме постыдного рабства и презрения всего мира? Братья! Для славян пробил последний час, готовятся великие события, наступило

* У Пфицнера сказано „sa révolution“; мы думаем, что в оригинале стоит „la révolution“ (у Бакунина s и l часто пишутся одинаково).

время действия. Теперь нельзя уже колебаться, вы должны принять определенное решение. На вас лежит колоссальная ответственность, в ваших руках наша честь, честь и спасение 80 миллионов. Поразмыслите над этим хорошенько и решайтесь.

В настоящее время Европа более, чем когда-либо, разделена на два стана. Революция нанесла страшный удар старой политике, удар, от которого она не оправится никогда. Старый порядок рушится всюду с ужасающим треском, народы повсюду пробудились, везде они громогласно требуют своих столь долго попиравшихся прав и своей свободы. Все абсолютные монархи Европы за исключением одного каким-то чудом превратились в конституционных государей; они стали таковыми из страха, а не по доброй воле, ибо их испуг весною был так велик, что если бы поистине разгневанные народы дали им знак убираться вон, они все сбежали бы без малейшей попытки к сопротивлению. С ножом у горла их заставили сделать *великодушно* самые широкие уступки. Неслыханное дело! При монархических правительствах единодушно признаны были в качестве неотчуждаемых прав народа неограниченная свобода печати, всеобщее вооружение и всеобщее голосование. Все эти уступки были, так сказать, вырваны одним порывом революционного ветра, а короли, терроризованные, удивленные тем, что у них не требуют их жизни, поспешили все уступить.

Короли на все согласились, но они хотят все взять обратно, потому что такая широкая свобода не совместима с монархическим принципом. Власть государей основывается на темноте и нищете народов, на существующих между народами несогласиях, на политической и моральной изоляции личностей, классов и наций. Разделять, чтобы властвовать! Старое правило, столь же древнее, как и преступления королей! Но тем не менее достаточно хорошее и всегда действительное в глазах тех, кто не имеет другого призвания в мире кроме дурачения людей. Так вот, это систематическое околпачивание стало невозможно с тех пор, как друзья народа могут свободно разговаривать с ним в печати и на народных собраниях. Свобода всех народов солидарна, столь же солидарны их интересы, а народ, собравшись в большой массе, почти всегда обладает безошибочным инстинктом, открывающим истину с быстротою молнии. Прошло едва семь месяцев с того времени, как во Франции вспыхнула революция, а посмотрите, как глубоко изменилось уже лицо всей Европы! Узнаете ли

вы старую Германию, старую австрийскую империю? Повсюду царят революция и хаос! Новый дух, выступая сначала как дух разрушительный, проник до самых глубоких и самых темных * слоев народной жизни; он потрясает нации. Речь по существу идет о руководстве революционным движением и о придании ему умеренного характера; движение только начинается, и все чувствуют, что все те конституции, которые шутя сочиняются в настоящее время, представляют просто игрушки, которые будут сломаны при первом удобном случае. Теперь необходимо разрушить этот старый мир, который рушится под бременем собственной неправды. Необходимо все смести с лица земли, дабы очистить место для нового мира. Новый мир, братья, это — полное и действительное освобождение всех личностей, как и всех наций, это — наступление политической и социальной справедливости, это — царство любви, братства, это — неограниченное царство свободы!

Народы, волнуемые предчувствием этого великого будущего, дрожат от нетерпения, а что делают короли? Что они могут делать? Они конспирируют, они вынуждены конспирировать, так как момент нашего освобождения будет моментом их падения. Они конспирируют с аристократами, с привилегированными всех наций: пользующиеся привилегиями богатства, привилегиями занятий, привилегиями рождения — все сплотились вокруг них и, не признавая больше ни отечества, ни национальных предубеждений, они образуют ныне одну лишь компактную массу, один стан: стан реакции. Но то, что реакционеры умудряются делать для зла, неужели мы не сумеем сделать для доброй цели? Если реакция в Европе солидарна, то столь же солидарна и революция. И разве не обязаны мы все, демократы и революционеры всех стран, объединиться, столковаться и сплотить свои ряды для борьбы с врагами человечества и для их разгрома?

Братья! ** Этот обширный реакционный заговор — не фик-

---

* У Пфицнера здесь стоит несуществующее слово «absences»; мы думаем, что у Бакунина сказано «obscures»

** Следующие два абзаца Бакунин в новой редакции сократил так: «Братья! Этот обширный реакционный заговор — не фикция, он существует. Короли, сначала смущенные февральскими и мартовскими событиями, постепенно успокоились при виде крайней неопытности, медлительности и нерешительности тех, кто стал тогда во главе движения. Революция застигла всех врасплох, победа упала в наши руки как бы с неба; никто не сумел

ция, он существует. Короли, сначала смущенные февральскими и мартовскими событиями, постепенно успокоились при виде крайней неопытности, медлительности и нерешительности людей, находившихся тогда во главе движения. Они решили использовать это. Революция застигла всех врасплох; никто не был к ней подготовлен. Не существовало даже и тени организации, никакой точно определенной цели, ничего похожего на план. Идеи и стремления народных вождей сталкивались, противоречили одна другой и парализовали друг друга; народы, лишенные всякого руководства, руководствовались только собственным инстинктом, и это был еще лучший руководитель, ибо именно ему мы обязаны всеми важными завоеваниями, которые мы сделали за счет королевского деспотизма. В остальном много разглагольствовали, кричали, пели, опьянялись, друг друга поздравляли и не боялись потерять драгоценное время: настолько все были уверены в победе.

Что же сделала реакция? Она была побеждена; она притворилась побежденною в еще большей мере; она была глубоко унижена; она стала на колени. «Господи, — говорила она, — я повержена в прах, вы — мои победители; вот моя голова — вы можете ее отсечь; вы можете отобрать у меня корону, отнять у меня скипетр и шпагу... Но оставьте мне эти невинные пустяки, сохраните их за мною в качестве памяти о вашей победе, в качестве исторического курьеза! О, народ велик! Он великодушен, он умеет прощать!». Таков приблизительно был в ту пору язык реакции. И в то время как народы, не оправившиеся еще от ошеломления своею собственною победою, безумно опьянялись зрелищем этого глубокого падения, в то время как они позволяли себя убаюкивать этими опасными и лукавыми словами, гнусные интриганы, преуспевшие в адском искусстве замышлять рабство народов, уже

извлечь из нее всех необходимых выводов. Нужно было сломать старые власти, — удовольствовались тем, что их повсюду унизили. Забыли, что есть люди и партии, которых исправить нельзя, для которых жить значит угнетать, и которые настолько развращены чудовищными привилегиями, своими врожденными предрассудками и самыми потребностями своего исключительного положения, что они могут перестать причинять зло, только перестав существовать. Забыли правила простейшей осторожности: хотели быть благородными с теми, кто никогда таковым не бывал; набросили покров забвения на их преступления, слишком много прощали и щадили. Это была великая ошибка, и наши враги слишком хорошо ее использовали! *(Примечание проф. Пфицнера).*

составили целый план, направленный к тому, чтобы вернуть себе власть и подчинить их еще более суровому режиму, чем тот, который они недавно низвергли.

С апреля в дипломатическом мире началось большое движение. Лондон был тогда местом встречи всех удравших государей и государственных деятелей; Лондон сделался центром контрреволюционного заговора, который вскоре охватил весь север Европы и одновременно активно ковался в Инспруке, Потсдаме и С.-Петербурге. Это было возобновлением Священного Союза; цель оставалась та же самая, изменился лишь несколько характер средств; теперь нельзя было действовать по отношению к народам нахрапом, нужно было увлекать их за собою путем обмана. Впрочем благодаря нелепому великодушию масс и поистине поразительной беспечности их вождей монархи сохранили в своих руках почти в полной неприкосновенности все старые орудия угнетения: повсюду продолжали существовать старые армии с их офицерами, проникнутыми самым враждебным отношением к революции; старая дипломатия, этот постоянный заговор против свободы и безопасности народов; прежние ретроградные чиновники почти во всех остальных отраслях администрации; и, что особенно непонятно, даже в полицейском ведомстве оставлены были агенты и шпионы старого деспотического режима!

Вооруженная с ног до головы контрреволюция принялась за работу. План ее был чрезвычайно прост и подсказывался ей самим характером революции, совершившейся в Европе.

Два крупные вопроса как бы сами выдвинулись с первых дней весны: *социальный вопрос и вопрос о независимости всех наций* *, одновременно эмансипация народов внутри и вовне. Не отдельные личности и даже не отдельная партия, а изумительный инстинкт масс поставил эти два вопроса превыше всех остальных и требовал их быстрого разрешения. Все поняли, что свобода есть не что иное как обман там, где большинство населения принуждено влачить жалкое существование, где, не имея воспитания, досуга и хлеба, оно видит себя, так сказать, обреченным на роль подножия для сильных и богатых. Таким образом социальная революция выступает в виде естественного, неизбежного последствия революции политической. Точно так же

---

* Вопрос об освобождении всех угнетенных наций. *(Примечание Бакунина).*

люди почувствовали, что до тех пор, пока в Европе останется хотя бы одна преследуемая нация, решительное и полное торжество демократии не будет возможно нигде. *Угнетение одного народа или даже отдельной личности является угнетением всех, и нельзя нарушить свободу одного, не нарушая свободы каждого.* Эта столь простая и столь долго игнорируемая истина отныне сделалась общераспространенною аксиомою; таким образом первым криком революции повсюду был крик ненависти против старой угнетательской политики Европы. Люди устали от обманов, коварств и преступлений дипломатии; они начали стыдиться того, что так долго давали себя дурачить маккиавелизму государей; они не хотели больше быть палачами, хотели быть друзьями и братьями всех угнетенных,— народов и отдельных личностей. Теперь требовали свободы для всех, свободы искренней и полной, без ограничений и без изъятия. «Долой всех угнетателей и да здравствуют их жертвы! Да здравствуют поляки! Да здравствуют итальянцы! Да здравствуют все преследуемые народы! Долой завоевательные войны, и да здравствует единственная допустимая революционная война за освобождение угнетенных народов! Долой все эти искусственные, чудовищные границы, насильственно установленные конгрессами деспотов сообразно так называемым историческим, географическим, коммерческим и стратегическим требованиям! Мы не хотим отныне никаких других разграничений между народами кроме естественного, справедливого, демократического разграничения, основанного на суверенной воле самих народов и их различных национальностей!». Таковы были благородные крики, раздававшиеся тогда почти одновременно в Париже, Вене, Берлине! Братья! Вы слышали эти благородные крики, вы слышали их в Вене, где, сами сражаясь на немецких баррикадах за права всех наций, вы воздвигли великую славянскую баррикаду со знаменем нашей грядущей свободы [на вершине]!

Это было концом старого мира и наступлением новой политики, братской политики освобожденных народов. Объявляя войну всем угнетателям, провозглашая освобождение всех угнетенных, революция провозглашала распад всех старых государств, составленных из разнородных элементов: распад прусского государства посредством предоставления свободы его польским провинциям; распад Австрийской империи, чудовищного скопления самых противоположных национальностей; распад турецкой им-

22*

перии, где каких-нибудь семьсот тысяч османов держат под своим игом население свыше 12 миллионов, состоящее из славян, валахов и греков; наконец распад Российской империи, где, не считая других небольших народцев, теряющихся в ее необъятных просторах подобно каплям воды в океане, имеются три различные крупные славянские нации: *великороссы, малороссы и польская нация,* имеющие все три совершенно различное происхождение, особую историю, равно одаренные всеми необходимыми условиями для самостоятельного существования и все три изнывающие ныне под скипетром самого жестокого из деспотов. Таким образом, объявляя войну угнетателям, революция провозглашала переделку, коренное преобразование всего севера, всей восточной части Европы, освобождение Италии и в качестве конечной цели *всеобщую федерацию европейских республик!*

Итак социальное раскрепощение масс и освобождение угнетенных наций — такова была с самого начала двойная тенденция нашей возвышенной революции. И как раз на этом двойном направлении умов враги народов построили план своих контрреволюционных действий.

Социальный вопрос, вопрос чрезвычайно трудный, преисполненный опасностей и чреватый бурями, не может быть разрешен ни с помощью предвзятой теории, ни с помощью какой-либо отдельной системы. Для его разрешения требуются добрая воля и содействие всех, требуется всеобщая вера в право всех на равную свободу. Необходимо разрушить материальные и моральные условия нашей современной жизни, опрокинуть вверх дном нынешний отживший социальный мир, ставший бессильным и бесплодным, неспособный вместить и выдержать такую огромную массу свободы. Необходимо предварительно очистить нашу атмосферу и полностью преобразовать среду, в которой мы живем, ибо она извращает наши инстинкты и нашу волю, сковывая наши сердца и наши умы. Таким образом социальный вопрос выступает прежде всего в виде общественного переворота [7].

Наши противники * должны были взять его с этой отрицательной стороны для того, чтобы обратить его против революции. К несчастью благодаря этой столь восхваляемой и превозносимой цивилизации XIX века в настоящее время имеется много, очень много людей, которые с полнейшим безразличием

---

* Монархические заговорщики. *(Примечание Бакунина).*

относятся ко всему тому, что касается благосостояния, счастья и достоинства нашего рода. Все эти жгучие вопросы, волнующие остальных людей, их как будто не трогают, а события происходят в стороне и далеко от них, нисколько не задевая их апатичного существования. У этих людей нет ни мнений, ни религии, ни убеждений, ни предпочтений: монархия, республика, свобода, рабство, родина, национальная независимость или иноземное иго, честь, бесчестие — все это для них совершенно безразлично, лишь бы их оставили в покое. Спокойствие — это их бог; собственность и деньги — их единственная страсть, но страсть настолько бешеная, что эти люди, столь мирные, робкие и мягкие в обычное время, становятся свирепыми как тигры, когда считают свою собственность подвергшеюся нападению. В таком случае они не отступят ни перед какою низостью и тогда они способны пожертвовать жизнью десяти человек ради спасения одного экю. Все мы наблюдали неописуемый ужас этих людей, когда разразилась революция. Они естественно ни в какой мере не могли понять ни величия, ни высокой красоты открывшегося нам грядущего: они видели в ней только нарушение дорогого им спокойствия и гибель всего, чем они обладали; и вскоре, перейдя от страха к ненависти, они повсюду стали ожесточенными врагами революции. Реакция была бы слишком глупа, если бы не сумела их использовать. Это было таким превосходным случаем для разделения классов, для раздувания несогласий, для нарушения гармонии революционного движения. Поэтому она не преминула безотлагательно приступить к действиям: она разбрасывала деньги полными пригоршнями, она завладела тысячеголосым хором прессы, проповедуя крестовый поход буржуа против пролетария. Она прибегла к невероятным ухищрениям, для того чтобы еще сильнее напугать и без того совершенно потрясенное воображение этой милой буржуазии, и в то время как народ, одушевленный, как всегда, благороднейшим энтузиазмом, не думал везде ни о чем другом как о жертвах в пользу общего блага, она клеветала на него самым недостойным образом, изображая его в виде жаждущего крови, грабежа, мечтающего только о кражах, насилиях и убийствах!

Плоды этой клеветнической кампании вскоре дали себя почувствовать повсюду. Во всех крупных городах Европы взаимоотношения между рабочими и буржуазией, вначале такие прямодушные и сердечные, столь свободные от всяких злостных зад-

них мыслей, начали заметно для всех становиться все более холодными. Буржуа начал опасаться рабочего и выказывать ему оскорбительное недоверие. Народ почувствовал себя оттолкнутым, изолированным; он почувствовал себя задетым в своей чести и стал недоверчивым в свою очередь. Наши враги потирали руки от радости; их план казался удавшимся, так как пропасть между обоими классами, согласие которых должно было оказать столь решающее влияние на торжество революции, с каждым днем все больше расширялась. Первым результатом этого рокового раскола было то, что вместо всеобщего вооружения, которое везде объявлено было первым из естественных прав и которое было торжественно обещано, в Германии, как и во Франции, оружие получила только буржуазия. Народ был оставлен безоружным. Это была крупная победа реакции, прекрасно сознавшей, что в решительный день борьбы ей придется бояться гнева и ударов не столько среднего класса, сколько народа. Народ, этот прирожденный солдат свободы, всегда служил естественною защитою буржуазии против деспотизма, и либеральные буржуа, допуская отнятие оружия у народа, действовали столь же безумно *, как действовал бы генерал, который перед лицом неприятеля дозволил бы обезоружить своих солдат.

Мы сами имели доказательство этому в Праге. Кто дрался против Виндишгреца? Студенты и рабочие. А как поступило большинство буржуа? Одни трусливо попрятались в погребах, тогда как другие предавали нас Виндишгрецу, для того чтобы предохранить свои дома от австрийских бомб. Городская ратуша, как вы очень хорошо помните, стала центром грязнейших интриг и гнуснейшей измены. (Das Rathaus wurde zu einem Verrathshause) **. Как вы знаете, революция готова была восторжествовать. Ибо после трехдневной кровопролитной борьбы, в которой Виндишгрец потерял много людей и своего сына (чего он вам никогда не простит), он в конце концов принужден был отступить из города. Его солдаты изнемогали от усталости, не имели снарядов, хлеба и были совершенно деморализованы. Деревенское население, взбудораженное пушечными выстрелами, массами поднималось, чтобы итти к нам на помощь. Виндишгре-

---

* У Пфицнера напечатано «tellement» (так), в оригинале наверное сказано «follement».

** По-немецки игра слов: «Ратуша превратилась в дом предательства».

ду грозила опасность очутиться меж двух огней, он погибал. Его спасли ваши буржуа. Как только он выступил из города, они снова появились с оружием в руках, столь же заносчивые теперь, когда опасность, казалось, прошла, какими они выказали себя трусливыми днем раньше, источая патриотические речи и смехотворные бравады. Они заняли все пражские ворота и в первую голову запретили проход через них всем тем, кого вы хотели послать за город для установления сношений с сельчанами. С беспримерным вероломством они в течение двух критических дней сдерживали крестьян, готовых по первому сигналу уничтожить австрийские войска; они задерживали их, посылая им сообщения, что все кончилось благополучно, и что их помощь уже не нужна. Позже эти мерзавцы оправдывались тем, что боялись грабежа. Уверяют даже, что они простерли свое бесстыдство до того, что просили Виндишгреца о присылке им батальона солдат для защиты их собственности от рабочих, которые в тот момент не помышляли ни о чем другом как о смерти за свободу и за честь Праги! Факт тот, что с первого же дня его отступления они вступили с ним в прямые сношения и начали те позорные переговоры, которые закончились сдачею города на волю жестокого австрийца. Виндишгрец, успокоенный со стороны деревень и видевший, что буржуа ничего так не желают, как сдаться, мог тогда приступить к бомбардировке Праги по своему бода завоевывается только свободою.

Вы знаете, как произошла капитуляция, как без всякого мало-мальски основательного повода, а только для уклонения от обязанности выполнить некоторые несущественные условия, подписанные им собственноручно, он возобновил бомбардировку вечером 16 июня, когда все главные баррикады были уже убраны. Вы припоминаете наше бессильное бешенство, наши тщетные попытки возобновить сражение... и вы без сомнения еще не забыли гнусностей и унижений осадного положения, последовавшего за этой возмутительной изменой!

Таково было злополучное действие раскола, повсюду посеянного врагами движения между средним классом и народом. Этот раскол проявился с особенной силой в Париже во время тех роковых июньских событий, которые чуть было не прикончили революцию. С тех пор вместо того, чтобы двигаться вперед, мы ушли намного назад; повсюду издавались реакционные законы и принимались реакционные меры, и одно время можно

было даже бояться, что буржуазия, охваченная паническим страхом, призовет на помощь павший деспотизм. Но благодарение богу опасность миновала! Революция оказалась сильнее интриги, и интриганы остались с носом. Ибо сама буржуазия, повинуясь всемогущему импульсу, который толкает ее вперед почти вопреки ее собственной воле, в конце концов окончательно раскололась на два стана: ретроградных буржуа и революционных буржуа. Последние снова идут вместе с народом, а объединившись, они будут непобедимы. Для характеристики истекшего лета можно было бы сказать, что оно было эпохою буржуазной реакции против народа. Но вместе с тем оно было также эпохою *национальной реакции* против демократии, против свободы.

Весною среди наций произошло великое движение. Италия, Польша, немцы Лимбурга и Шлезвиг-Голштинии, все славяне, мадьяры, валахи австрийские и турецкие, словом все народы, до тех пор изнывавшие в оковах и под иноземным игом, поднялись трепещущие и наэлектризованные дыханием революции. Самые смелые мечтания осуществились. Тяжелый камень деспотизма, в течение столетий лежавший на могиле их независимости, был сразу сброшен как бы невидимою рукою. Магическая печать была сломлена, а чудовище, охранявшее печальную неподвижность стольких заживо похороненных наций, само пораженное огненным мечом гения свободы, валялось издыхающим на земле... Это было воскресение народов. Раз деспотизм всерьез приказал долго жить, народам, казалось, нечего было больше бояться. У них не было больше врагов, ибо представлялось невозможным, чтобы они, забыв свой долг, свои ближайшие интересы и печальные уроки прошлого, начали драться друг с другом. Разве святое дело революции не должно было объединить их всех в общих действиях, а так как они совершенно солидарны в своем порабощении, в своих страданиях и позоре, то не являются ли они столь же солидарными в своей свободе, своем счастье и своей славе?

(Конца нет).

Перевод с французского.

№ 519. — Письмо Г. Мюллеру-Стрюбингу.

[Ноябрь 1848 года. Кэтен.]

Дорогой Герман!

Надеюсь, что ты уже приступил к немецкому переводу и что ты предпринял шаги к подысканию польского переводчика[1]... Можешь обратиться от моего имени к молодому Шуману *, племяннику депутата **, который если не сумеет сам перевести, мог бы пожалуй указать тебе переводчика. Прошу тебя, торопись: время не терпит. Воззвание должно было бы уже находиться в Праге, так как события не ждут и с нашею леностью не считаются. Оно должно появиться одновременно на немецком и польском языках, дабы чехи не могли упрекнуть меня в том, что я обратился к ним на немецком, а значит, что я — плохой славянин. Я написал им массу писем, но до сих пор не получил никакого ответа[6]. Сегодня вечером напишу тебе еще большое письмо[7].

Перевод с немецкого.

№ 520. — «Воззвание к славянам русского патриота Михаила Бакунина, члена славянского съезда в Праге».

[Декабрь 1848 года. Кэтен-Лейпциг.]

Братья!

Настал час принять решение. Дело идет о том, чтобы открыто и смело сделать выбор, возьмем ли мы сторону развалины старого мира, чтобы подпереть ее еще на одно короткое мгновение, или же мы станем на сторону нового мира, заря которого занимается, который принадлежит будущим поколениям и которому принадлежат грядущие тысячелетия.

Для вас речь идет о том, станет ли молодая будущность вашею или же вы снова на столетия погрузитесь в могилу бес-

---

* Генрих[2]. Дальше зачеркнуто: «к Липскому[3], также к Костельскому, к Бервинскому»[4].

** Панталеон[5]

силия, во мрак несбывшихся надежд, в проклятие рабства. От того, какой вы сделаете выбор, зависит и то, удастся ли теперь же другим народам, стремящимся к освобождению, достигнуть цели быстрым и безостановочным шагом, или же эта цель снова отодвинется в необозримую даль, так как совершенно исчезнуть она не может. На вас обращены взоры всех, полные ожидания. От того, какой вы сделаете выбор, зависит решение ближайших и более отдаленных судеб мира. Решайте же, что вы выберете — свое ли спасение или свою погибель, станете ли благословением или проклятием для мира. Выбор зависит от вас — выбирайте же!

На два стана разделен мир. Никакой средней дороги не проложено между ними. И не может безнаказанно ни одна часть отделиться от великого нерасторжимого союза, в котором все, преследующие одинаковую цель, или вместе должны победить, или вместе быть побежденными.

На два стана разделен мир. Здесь *революция*, там *контрреволюция*. Вот лозунги. На один из них должен решиться каждый из нас, как мы, так и вы, братья.

Средней дороги нет. Те, кто такую дорогу указывает и прославляет, — или обманутые или обманщики.

Обманутые, если верят лжи, что вернее всего можно добраться до цели, делая уступочки каждой из борющихся сторон, дабы умилостивить обе и помешать взрыву неизбежной открытой их схватки.

Обманщики, если стараются уверить вас, будто вы по примеру лукавых дипломатов должны стать вне обоих лагерей, дабы в надлежащий момент пристать к сильнейшему и с его помощью удачно обделать свое собственное дело.

Братья! Не доверяйте дипломатическим ухищрениям. Поляки уже бросились на погибель, они и вас увлекут с собою. Что говорит вам дипломатическая хитрость? Она говорит: воспользуйтесь контрреволюцией как средством, и вы победите врагов. Но разве вы не видите, что вместо того, чтобы воспользоваться ею для себя, вы сами будете использованы, и что, разбив своего теперешнего врага при вашей помощи и покончив с ним, она обратит в рабство и вас, стоящих одиноко и слишком слабых для сопротивления? Разве вы не видите, что самое позорное коварство контрреволюции и заключается в том, что, следуя старому правилу всех угнетателей «разделяй и властвуй», она стремится поселить рознь между передовыми бойцами молодого, нового

времени, чтобы, осилив каждого из них в отдельности, затем наложить оковы на них всех?

Чего иного можете вы ожидать от нее? Разве может дипломатия отречься от своей матери, которая есть не что иное как самая старая деспотия? Может ли она способствовать победе других интересов кроме тех, благодаря которым сама возникла? Может ли она помогать нарождению того нового порядка вещей, который несет ей проклятие и гибель? Может ли она быть союзником той демонической силы, которая обновляет мир и нам, братья, прокладывает дорогу, чтобы мы могуче перелили нашу внутреннюю полноту, как свежие весенние соки, в жилы окоченелой европейской народной жизни? Никогда! Взгляните только твердо и зорко в искаженное злобою лицо вероломной дипломатии, и вас охватит брезгливый ужас перед ее приманками сводни, и вы отшатнетесь от нее со страхом и отвращением. Из лжи никогда не выйдет правды, из посредственности — великого, а свобода завоевывается только свободою.

Вы вправе были негодовать и пылать местью против той достойной проклятия немецкой политики, которая замышляла только вашу гибель, которая веками держала вас в рабстве, высмеивала во Франкфурте ваши законные надежды и требования, злорадствовала и ликовала в Вене по поводу разгрома нашего полного жизни Пражского съезда. Но не впадайте в заблуждение, будьте проницательны! Эта политика, которую мы осуждаем, которую мы проклинаем и за которую мы страшно отомстим, есть не политика будущего немецкого народа, не есть политика немецкой революции, немецкой демократии, а политика старой государственности, политика княжеского права, аристократов и привилегированных всякого рода, политика камарильи и генералов, управляемых ими как машины, Радецких, Виндишгрецов, Врангелей; это — политика, к свержению которой должны стремиться все мы, юношески свежие и воодушевленные современным духом, и крепко и радостно схватив протянутые нам руки демократов всех стран, в тесном союзе с ними должны мы бороться за их и наше общее спасение, за их и нашу общую будущность.

Неужели мы не сделаем для нашего доброго дела того, что делают реакционеры для своего плохого дела?

Если реакция по всей Европе составляет заговоры, если она при помощи налаженной организации действует согласно и сплоченно, то и революция должна создать соответствующую мощ-

ность действия. Священный долг наш, долг всех борцов революции, демократов *всех* стран повелевает нам объединить наши силы, постараться столковаться и тесно сплотиться для того, чтобы получить возможность общими силами победить врагов нашей общей свободы.

Первым признаком жизни революции, как вам известно, был крик ненависти против старой политики угнетения, крик сочувствия и любви ко всем угнетенным национальностям. Народы, столь долго водимые на аркане лицемерной и предательской дипломатии, почувствовали наконец позор, которым старая дипломатия покрыла человечество, и признали, что никогда благо наций не может считаться обеспеченным, пока где бы то ни было в Европе хоть один народ продолжает жить под ярмом, что свобода народов, чтобы укорениться где-либо, должна укорениться везде, и впервые как бы в один голос потребовали они *на деле* свободы для всех людей, для всех народов, истинной и полной свободы, свободы без оговорок, без изъятий, без ограничений. «Долой угнетателей!» — прогремело словно из одних уст.— «Да здравствуют угнетенные, поляки, итальянцы и все! Долой завоевательные войны, но еще один последний бой, до конца доведенный, хороший бой революции за окончательное освобождение всех народов! Долой искусственные границы, насильно установленные конгрессами деспотов по так называемым историческим, географическим, коммерческим и стратегическим необходимостям! Не должно быть никаких других границ между народами кроме границ, согласных с природою, проведенных справедливо в духе демократии верховною волею самих народов на основе их национальных особенностей!». Такой пронесся клич по всем народам.

Вы слышите ли, братья, этот величественный, полный предчувствий клич? Вспомните, как в Вене вы услышали этот клич, когда, еще сражаясь вместе с другими за благо всех, вы воздвигли посреди немецких баррикад и великую славянскую баррикаду со знаменем *нашей будущей свободы*.

Велико и прекрасно было это движение, охватившее всю Европу, когда, тронутые дуновением революции, поднялись, трепеща от радости, итальянцы, поляки, славяне, немцы, мадьяры, валахи, те, что в Австрии, и те, что в Турции, словом все, кто до сих пор томился в домашних цепях на родине или под чужеземным игом. Самые дерзкие мечты осуществились. Народы уви-

дели, как с могилы их независимости, словно сдвинутый невидимою рукою, свалился тяжелый камень, лежавший на ней в течение столетий; волшебная печать была сломана; дракон, сторожививший мучительное оцепенение стольких заживо погребенных наций, лежал пораженный и испустивший дух. Взошла багрово-красная заря весны народов. Старая государственная политика погрузилась в небытие, а в жизнь вступила новая политика — политика народов. Своею полномочною властью революция объявила уничтоженными деспотические государства: объявила разрушенною прусскую державу, признавши доставшиеся ей польские части края отделенными, объявила уничтоженною Австрию, эту уродливость, сплетенную хитростью, насилием и преступлением из самых разнородных национальностей, объявила уничтоженною турецкую державу, в которой едва семьсот тысяч османов попирали ногами двенадцатимиллионное население славян, валахов и греков, наконец объявила уничтоженным и последнее утешение деспотов, последнее призрачное укрепление разбитой на голову дипломатии — русскую державу, дабы три порабощенные ею нации — великороссы, малороссы и поляки, — предоставленные самим себе, могли подать свободную руку остальным славянским братьям. Так был опрокинут, разрушен и наново устроен весь северо-восток Европы, освобождена Италия, и конечною целью всего движения поставлена была *всеобщая федерация европейских республик.*

Как братья вступили тогда вместе в Прагу мы, представители всех славянских народностей, как братья, которые после долгой разлуки снова увиделись и с восторгом говорили друг другу, что их пути не должны отныне расходиться. Живо ощущая общие узы истории и крови, мы поклялись, что не дадим отныне нашим историческим судьбам идти розно. Проклиная политику, жертвою которой мы так долго были, мы сами провозгласили свое право на полнейшую независимость и дали себе обет, что отныне она будет общею для всех славянских народов. Мы признали независимость за Богемиею и Моравиею. Мы решительно отвергли наглые притязания франкфуртского парламента, этого сборища, уже ставшего посмешищем Европы, которое хотело нас онемечить, и в то же время мы протянули братскую руку немецкому народу, демократической Германии. Во имя тех из нас, кто живет в Венгрии, мы предложили братский союз мадьярам, ярым врагам нашей расы, едва насчитывающим четы-

ре миллиона и тем не менее стремившимся дерзновенно наложить свое иго на восемь миллионов славян. Не забыли мы в нашем союзе освобождения и тех наших братьев, которые стонут под игом турок. Мы торжественно прокляли ту преступную политику, которая трижды растерзала Польшу и еще раз хочет растерзать ее печальные останки[1], и выразили живую надежду, что воскресение этого благородного, святого народа-мученика скоро подаст сигнал к освобождению всех нас от старого рабства. Мы обратились наконец с братским призывом к великому русскому народу, единственному из всех славянских народов сумевшему полностью сохранить свою политически-национальную самостоятельность, напоминая ему о том, что впрочем он сам слишком хорошо знает, а именно, что вся эта самостоятельность и величие ничего не стоют, пока народ не освободится сам в себе и пока он терпит, чтобы его сила была чумою для несчастной Польши и бичом, вечно угрожающим европейской цивилизации. Все это мы высказали и потребовали вместе со всеми демократами всех народов: *свободы, равенства и братства всех наций*, среди которых свободные, как и они, и в братских отношениях со всеми славянские народы должны установить между собою тесный братский союз для образования одного великого самодовлеющего организма *.

Мы чувствовали себя тогда уверенными в нашем деле; нельзя было сомневаться в его торжестве, если бы мы верно стояли за него до конца, ибо и справедливость и человечность были всецело на нашей стороне, на стороне же наших врагов не было ничего кроме несправедливости и варварства. Не пустые это были грёзы, которым мы предавались; это были мысли единственно верной и необходимой политики, политики самоосвобождения, революции, выступлений, согласованных с народными восстаниями всех стран и в братском союзе с демократами всего мира. Мы отвергли противоположную политику, предложенную вам, политику лицемерия и предательства, политику дипломатов и государственных умников, которые внушали вам мудрую мысль — искать избавления в восстановлении самодержавной императорской власти и в спасении Австрии как сборного государства, по тому дескать соображению, что если вы возвратите

---

* Здесь Бакунин излагает «Манифест к европейским народам», выпущенный в последний день заседаний пражским съездом.

силу императору, то вы, австрийские славяне, сможете образовать независимое славянское государство и освободитесь при помощи поддержанной вами императорской власти [2]. В Праге единственною опасностью было то, что эта политика могла нас совратить, и я предостерегал от этого на съезде. Тогда мы избежали опасности, и партия государственных политиков отступила перед нашим одушевлением общим делом всех славян и всех свободных народов.

Но что сделали тогда холопы отвергнутой нами государственной политики? Относясь благосклонно к нашему съезду, пока они надеялись использовать его в своих дипломатических целях и для подавления немецкой и мадьярской революции в Австрии, они жестоко обрушились на него, как только увидали, что он обратился против их планов и намерен служить не интересам государственной политики, а чистым интересам национальной свободы и братства народов. Теперь они сорвали наш съезд и дали Виндишгрецу бомбардировать Прагу. Напрасно было пятидневное геройское сопротивление воодушевленного народа; преданный именно теми, кто призван был защищать его, город сдался, а славянский съезд был распущен. Но мы еще ничего не считали потерянным. С сердцем, волнуемым верою в наше святое и правое дело, расстались мы и рассеялись, дабы повсюду на местах работать для него и везде подготовлять почву для нашего будущего освобождения; мы разъехались с взаимными пожеланиями свидеться снова в великий день нашего общего славянского подъема.

Деспоты дрожали, несмотря на свою кажущуюся победу в Праге. Они дрожали от страха, что мы твердо выполним те клятвы, которые произнесли, пылая местью среди развалин и груд трупов, залитые кровью наших храбрых братьев, под градом бомб, которыми палач нашей свободы Виндишгрец осыпал золотую Прагу. Они дрожали перед восстанием славянских народов, которых прежде они мечтали водить на помочах как послушных детей.

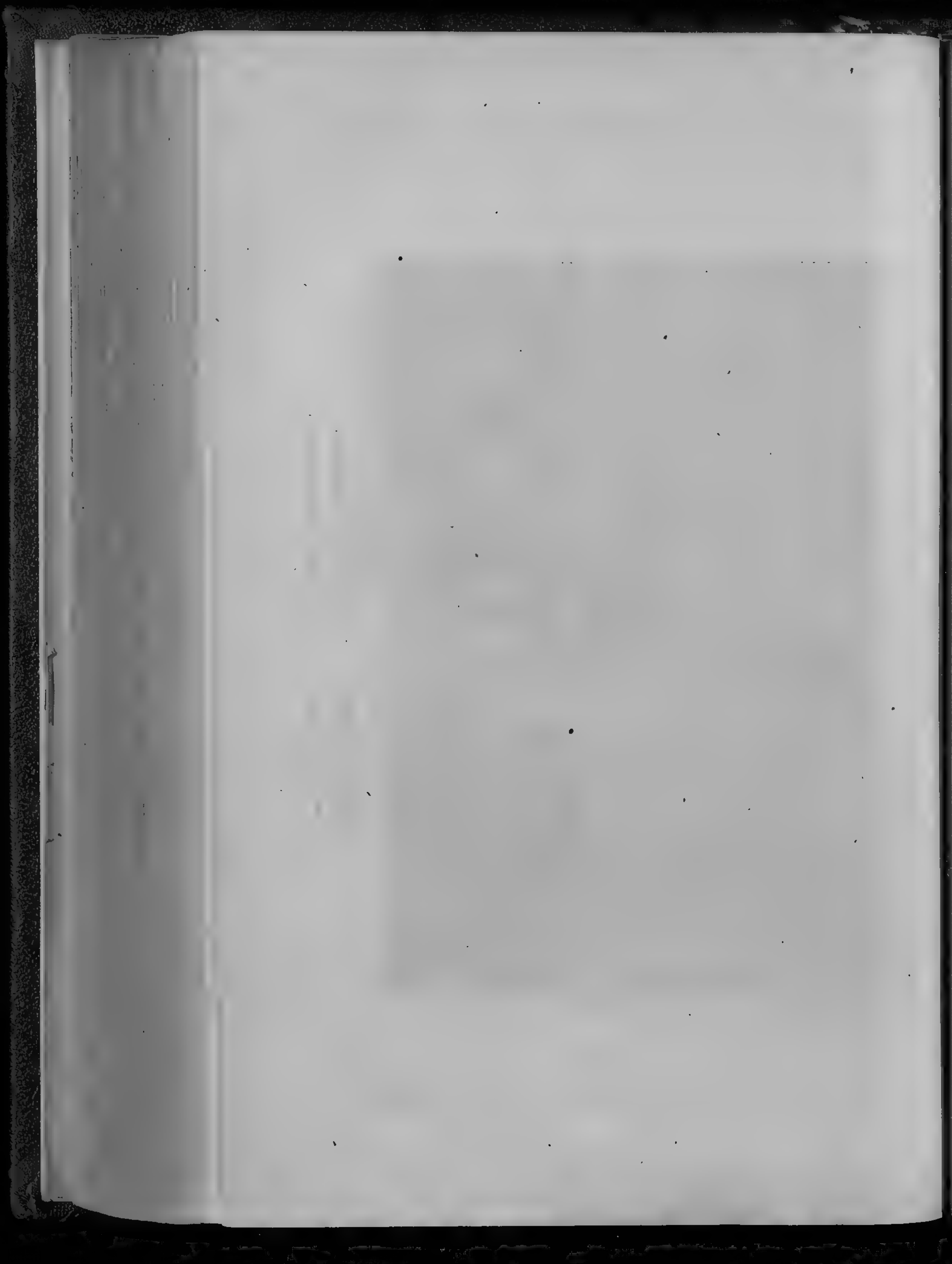
Что сделали тогда деспоты? Они говорили себе: восстание славян грозит нам гибелью; поищем же средств, чтобы превратить его в якорь нашего спасения! Каковы же эти средства? А вот какие: натравим славян на немцев, а немцев на славян! Собьем с толку этих еще неопытных в политике детей разными вымышленными доводами и подкупающими обманами, чтобы они

воображали себя мудрецами, идя в то же время по дороге, ведущей к нашей цели. А для этого раскопаем всю старую закоренелую ненависть, все предубеждения, как имеющие почву, так и неосновательные, все едва поколебленные поводы к обоюдной подозрительности и взаимному непониманию и нашепчем им все это, чтобы отравить сердца, смутить души, ослепить умы и распалить их друг против друга! При помощи льстивых обещаний, которых мы никогда не выполним, раздуем в неугасимый пожар этот нами же зажженный огонь!

Сказано, сделано. И врагам свободы, врагам справедливости, мастерам предательской государственной политики удалось на одно мгновение затемнить наши головы, братья! Вы на минуту позволили ввести себя в соблазн изобретением этих лукавых политиков, которые утверждали, что дело революции тождественно с работою тех великодержавных шовинистов в немецких парламентах, которые возбудили ваш справедливый гнев, с делом ваших врагов и угнетателей, властолюбивых мадьяр, и вы, сбитые с толку, обратились против основы вашей собственной и нашей общей свободы, *против революции*, и примкнули к своему жесточайшему и опаснейшему врагу — династической политике, а значит к деспотизму. Нашего же естественного друга и союзника, демократию, вы, славяне, оставили в Вене отдуваться и расплачиваться за то, что проделывала над вами старая немецкая государственная политика, эта вновь подогретая во Франкфурте деспотическая система. К сожалению славяне выместили в Вене совершенные над ними преступления не на преступнике, а как раз на том, кто является прирожденным судьею над преступником и естественным союзником мстителя. И партия государственных политиков венского парламента, малодушно отступив в решительный час опасности, когда единственно только интересы народа должны были приниматься в соображение и все должны были составить одно целое, эта партия старалась потом внушить вам в Праге, что последнее венское восстание не было народным движением, а было сделано на мадьярские деньги. Но, братья, кто из нас так жалок, кто еще настолько глуп, чтобы верить бабьим сказкам, будто революции делаются при помощи денег? Нет, все деньги мира не подвинут народ к возмущению, и ни у одного народа нет такой плохой молодежи, которая дала бы себя подкупить. Императорская австрийская государственная политика, — говорила вам далее эта партия государ-

Картины майского восстания в Дрездене.

Первое столкновение у здания военного командования.



ственных политиков, — есть враг ваших врагов, а как враг разбойничьей мадьярщины она является также и врагом неметчины, пожирающей страны! Ложь! Не видите вы разве, что австрийская государственная политика идет рука об руку с политикою центральной власти во Франкфурте, с политикою угнетения во что бы то ни стало и подавления всякой свободы? Конечно в так называемом народном представительстве во Франкфурте большинство состоит из таких убогих дурачков, которые вопреки действительной воле немецкого народа только и мечтают о расширении немецкой территории и о господстве над всеми ненемецкими народами, живущими на так называемой немецкой земле. Но заблуждением и глупостью этих людей пользуется центральная власть Германии, равно как и австрийская государственная политика злоупотребляла легковерием одной части славян, чтобы рассорить этот честный народ с его подлинным немецким другом, с друзьями свободы, равенства и братства всех наций, с народом, жаждущим свободы, с демократами Германии, со всеми теми, кому вы должны протянуть братскую руку, ибо они враги не ваши, а враги ваших врагов. Вы станете свободны, внушают вам наконец те же государственные политики, вы станете свободны после того, как поможете австрийской государственной политике победить ее врагов. Но что за ложь! Вена пала — и вы видите по той свободе, которою вы пользуетесь после этой страшной катастрофы в Праге, как дипломатия держит свои обещания, как видите, какие горькие плоды приносит ее союзничество? Где свобода Праги? Ищите ее с фонарем!

Да, обман уже проходит; вы опять пришли в себя, братья, вы опять прозрели. Что сделал Елачич[3], вам это видно, и цели, которые он преследовал, ни для кого более не составляют тайны. Его первоначальная задача была защищать славянскую свободу от угнетательной политики господствовавшей среди мадьяр партии и помочь разгрому враждебной народу государственной политики, которой потворствовала эта партия при Кошуте[4]. Вместо этого он пошел на Вену и помог там раздавить народное восстание, демократию. Он предал правую и святую цель, хорошее демократическое движение южных славян, и предал их именно в угоду той ужасной политике, ради свержения которой возмущенные славянские племена доверили его предводительству свою буйную молодую силу. Его задачею было поддержать наше нуждающееся в помощи братское племя словаков силами, предо-

ставленными в его распоряжение южно-славянским восстанием. Презрев это святое дело, он предпочел стать слугою австрийского государства и повести свое войско против столицы империи, дабы превратить ее в очаг деспотизма для всей Австрии, для всей Европы. Вместо того, чтобы работать для свободы всех народов, он работал для заговора, выкованного в Инспруке и Вене, радостно приветствованного и принятого в Потсдаме, санкционированного франкфуртскою центральною властью и в Петербурге, заговора народных угнетателей, опустошителей городов, организаторов массовых убийств, старых деспотов.

Вы должны стать австрийцами, — этого хочет государственная политика, этого хочет предатель Елачич, посмевший во всеуслышание объявить эту политику спасением славян.

Вы должны стать австрийцами. Но что значит быть австрийцами? Это значит помогать деспотии наложить на всех вас свое иго, ослабляя рознью и ненавистью каждую из пестрых загнанных в Австрию народностей и таким образом усиливаясь по мере их ослабления. Это значит дать деспотии возможность применить уловку, посредством которой она могла бы помешать людям, связанным узами крови, языка и нравов, великими историческими воспоминаниями и еще более великими надеждами на будущее и желающим слить свои судьбы воедино, — помешать им свободно объединяться в нации; это значит помогать деспотам отрывать от них куски и из этих оторванных и расчленением обессиленных кусков выковывать искусственное, противоестественное государственное целое, части которого гнулись бы легко под скипетром деспотии, так как они слишком чужды и враждебны друг другу, чтобы держаться вместе и вместе же оказывать сопротивление. Это значит дать деспотии возможность возобновить старую игру, которая разорвала на куски Польшу и раздуванила один кусок одному, другой другому государству и продолжает терзать тело этого прекрасного народа, чтобы задушить всякую надежду на возрождение Польши, если бы это вообще было возможно. Это значит оторвать от общего славянского дела дело чехов, словаков, сербов, кроатов и всех вообще народов нашего племени, живущих под австрийским владычеством, как бы они ни назывались.

Вы должны стать австрийцами. Что же вы выиграете, братья, если станете австрийцами?

Одно из двух: или австрийское государство останется тем,

что оно есть — смесью народностей, которым из милости дают равные права, и среди этого хаоса вы будете долго теми, кем были раньше — низкими, бессильными, презираемыми рабами произвольного правления, послушными и преданно подчиняющимися предписаниям, идущим из Вены, без свободы, без собственной силы, без влияния на развитие будущности всех соединенных славян и всей вообще будущности человечества.

Или же австрийскому государству только тем удастся утвердиться как государству, что оно действительно сдержит свое притворное обещание превратиться в совершенно славянское государство. Но что же вы от этого выиграете? Станете ли вы свободными и великими в этом последнем, лучшем случае? Нет, вы сделаетесь тогда угнетателями ваших братьев чужой национальности, деспотами итальянцев, мадьяр, австрийских немцев. Вы будете делать другим то, чего вы не хотите, чтобы делали вам. И вы снова станете рабами, рабами собственной деспотии, ибо никто не может обращать другого в рабство, не делаясь рабом сам: я как русский говорю это вам. Вы навлечете на себя ненависть не только тех, кого вы будете угнетать, но и всего свободолюбивого мира, ненависть, негодование, презрение и проклятие всех народов, и наконец погибнете сами как губители.

Скажите, на что обопретесь вы, надолго загрязненные позором тирании, когда придет день суда над вами, когда та самая сила, которая толкает вас теперь на борьбу с притеснителями, *революция*, сама поднимется против вас, и вы будете стоять отвергнутые всем миром не только как враги порабощенных вами народов, но и как враги ваших соплеменников, от которых вы дерзновенно отделились, для свободы которых вы ничего не сделали, бедствие которых вы помогали продлить, будете стоять как враги великой свободы народов, как враги человеческого рода, отвергнутые всем миром? Скажите, в чем будет ваша сила, если вы станете искать ее не там, где ее только и можно найти, а именно в святом единении, в общности всех славянских братьев на земле? Император ли Фердинанд — ваша сила, это несчастное слабоумное создание, позволяющее женщинам и придворным гонять себя с места на место и безвольно становящееся палачом и убийцею тех, добрым отцом которых он себя называет; этот император, в груди которого, будь это даже грудь мужчины, не может жить никакого чувства к нашему национальному стремлению, к нашему спасению и будущности, так как, что бы в этой

груди ни билось, это все-таки не будет славянское сердце? Или же сила ваша — в этой интригующей, кующей заговоры камарилье, которая живет только вашим ослеплением и поддерживает свое существование только ценою той ненависти к вам, которую она пробуждает во всех, кого гнет вместе с вами под одно ярмо, которая использует вас для их усмирения, а затем использует их, чтобы не дать и вам зазнаться, и последнее утешение которой, если все ее хитрости не удадутся, заключается единственно в армиях императора Николая, главы и охранителя всех антинародных замыслов в Европе?

Или же вы сами будете своей силой, вы, двенадцать миллионов славян, против целого мира противников и врагов без сочувствия к помощи отвергнутых и оставленных вами ваших соплеменников в России и Польше, этих ваших естественных союзников, насчитывающих 60 миллионов, — вы, которые уже и теперь думаете, что не сможете устоять сами, не опираясь на черно-желтую камарилью и на ее государственные приемы?

Чем будете вы при такой обособленности и заброшенности? Ничем! Чем могли бы вы стать в союзе со всеми вашими братьями? Громадною силою, насчитывающею 80 миллионов, великим стягом свободы, радостью и гордостью всего соединенного юношески пробужденного человечества.

Братья! Я — русский, я говорю вам как славянин. И намерения мои, и чувства, и мысли я откровенно изложил вам на съезде в Праге. Вы знаете, что я как русский вижу спасение моих земляков только в союзе со всеми остальными братьями, только в объединении всех славянских народов в федерацию свободных племенных союзов. Вы знаете, что стремление к этой великой цели я поставил главной задачей своей жизни. Это дает мне право говорить с вами так, как я говорю, потому что ваши дела — вместе с тем и мои собственные, ваше дело есть наше дело, ваше спасение — наше спасение, ваша честь — наша честь, ваш позор — наш позор и ваша гибель — наша гибель.

Я обращаюсь к вам от лица 60-миллионного славянского народа, от имени 60 миллионов ваших братьев, которые устали от долгого и тяжелого рабства и которые, узнав об открытии славянского съезда, стали смотреть на него как на избавителя и спасителя. И я считаю величайшей и прекраснейшей в своей жизни честью то, что я был членом этого съезда и участвовал в его решениях, принимавшихся ради нашего общего блага. Я

знаю, что и вы признаете величие и силу того могучего племени, представителем которого я был на нашем общем совете и от имени которого я обращаюсь к вам теперь; я знаю, что вы с гордостью смотрите на народ, которому одному из всех славян суждено было сохранить в неприкосновенности свою национальную независимость, что вы верите в его будущность, эту несомненную и подлинную опору и крепость славянства в будущем.

Но вникните хорошенько в дело, братья славяне! Когда вы ждете спасения от России, то предметом ваших упований должна быть не порабощенная и закрепощенная Россия со своим притеснителем и тираном, а возмущенная и восставшая к свободе Россия, могучий русский народ.

И от имени этого народа я говорю вам, я, русский: *все наше спасение — в революции и нигде больше.*

Не в царе Николае, не в его войсках, не в его могуществе и политике следует вам искать избавления и спасения, а в той России, которая свергнет эту царскую Россию и сотрет ее с лица земли.

Верьте мне, что не указы царя, деспота России, выражают наши чувства, наши желания, нашу волю. Нет и нет! Они представляют искажение того, что живет в глубине наших русских сердец. Наше племя глубоко чувствует стыд и позор рабства, в котором держит его деспот; оно — наибольший враг того, кого еще многие из вас считают истинным представителем русской народности, наибольший враг своего палача, своего мучителя и посрамителя его чести, Николая.

Ведь кто же этот Николай? Славянин ли? Нет, гольштейн-готторпский повелитель на славянском троне, тиран иноземного происхождения! Друг ли он своего народа? Нет, расчетливый деспот, без сердца, без чувства ко всему русскому, ко всему славянскому, без малейшего представления о том, что молчаливо и скрыто бродит и кипит в его народе. Защитник общеславянских интересов? Нет, и настолько нет, что он ежедневно им изменяет, и страшное слово «панславизм» употребляет только как угрожающее средство, которым он старается обеспечить свое влияние в Германии, проклинаемое немцами, и свое господство над немецкой политикой, составляющее их гибель. Повелевать в Германии, которой отдельные деспоты — все его ученики и поклонники, пресмыкающиеся перед ним во прахе, почитатели и обожатели его мудрости и силы, — вот его главное стремление.

Россия и славянство нужны ему только как орудия для проведения его старой, насквозь немецкой и по германскому образцу выработанной политики разделения и властвования, политики, которая состоит в том, что он при помощи немцев предает славян, дабы при помощи преданного славянства предавать немцев. Что для него значит славянство, вы видите из того, что он послал свое высочайшее хвалебное письмо Виндишгрецу, убийце славянски мыслящих славян в Праге, в знак благодарности за резню, произведенную над защитниками славянского дела! Вы видите это из того, что он еще прежде оказывал юго-славянам поддержку деньгами, оружием и войсками, но не как славянам, восставшим для нашего общего дела, а только потому, что по его расчетам это восстание должно было послужить на пользу его любимому детищу, австрийской деспотии, и только под тем условием, чтобы они отмежевали свое дело от польского дела. Вы видите это из того, что он держал своих солдат наготове, чтобы вторгнуться в Галицию по первому зову австрийской камарильи. Вы видите это из того, что он делает все от него зависящее для того, чтобы помешать возрождению Польши, потому что восстановление Польши было бы концом его силы.

Но час его пробил.

Повторяю снова: русский народ наконец пресыщен и утомлён рабством и позором, он устал служить жалким орудием достойной проклятия политики.

Не обманывайтесь внешностью, братья, не думайте, что этот народ-великан все еще лежит, будто по волшебству скованный железным сном по всем членам! Я говорю вам: он спит уже неглубоко, он только тихо дремлет, он уже начал пробуждаться. Пусть не вводит вас в заблуждение уверенность Николая в своей силе и надежда на свое искусство деспота, на верность его войска, на покорность масс, на их веру в его силу.

Я говорю вам: эта вера всюду колеблется, а кнутобойство, лишение прав, конфискации и ссылка в Сибирь и на Кавказ — плохие средства к оживлению этой веры.

Я говорю вам: козни деспота разбиваются все более и более о гранитную грудь революционного духа, для отражения которого от русской земли тиран, внутренне уже дрожащий, хотя наружно и сохраняющий спокойствие и твердость, напрасно стягивает и держит вдоль границ страшные кордоны войск, готовый отбросить его, этот дух революции, на австрийскую и немецкую

территорию, — напрасно, говорю я, ибо дух шествует вперед незримо и подобно азиатской холере смеется над всеми кордонами и заставами.

Я говорю вам: верность русского войска надломлена сочувствием славян к славянам, влечением русского сердца к братскому польскому сердцу. Да, это русское сердце обливается кровью от стыда и боли, что немецкие обладатели русского скипетра так жестоко предали братский славянский народ германским тиранам и так бесчестно разделили славянскую страну с германскими тиранами; оно обливается кровью, это русское сердце, и возмущается ужасной судьбой того геройского славянского племени, которое опередило нас всех на пути к свободе и по капле пролило свою драгоценную кровь в долгом мученичестве за нашу общую свободу, которое однако среди всех унижений и терзаний никогда не унывает и не устает, и окончательное восстановление которого среди народов подаст нам огненный сигнал, который, пронизывая тьму нашего рабства, поведет всех славян по пути освобождения и спасения. Да, Польша это — стрела в русском теле; через страждущую Польшу истекает кровью и русская деспотия; крест, на котором она распинала мученика, окажется ее собственным позорным столбом, у которого она кончит свою мерзкую жизнь. Это предчувствует, это хорошо знает Николай, и потому он все глубже и глубже запускает свои ястребиные когти в трепещущие члены бедного истерзанного польского тела, мучимый страхом и дрожащий перед возможностью, что эти бессмертные члены все же наконец соберутся и вновь соединятся в одно одушевленное тело, чтобы выполнить наконец страшную месть, давно уготованную своему и всеславянскому палачу. Его смертельно терзает проглоченный кусок этого величия, которое никогда не будет переварено деспотизмом во чреве его могущества и великолепия.

Это он знает и чувствует; но чего он не знает и чему не хочет верить, так это то, что яд уже свирепствует по всем жилам и сосудам тела его власти, что его войско, солдаты и полководцы там, где они приходят в соприкосновение с польским народом, сейчас же начинают испытывать магическое влияние этой освященной безмерными страданиями святыни нашей народности, этой скинии завета нашего освобождения, этого дымящегося огненного столпа, и день и ночь указующего нам путь через пустыню нашего рабства в обетованную страну всеславянской

свободы. Да, они чувствуют вместе с Польшею, они увлечены Польшею, они видят в спасении Польши свое собственное спасение, они могут сражаться уже не против Польши, а только за польское дело.

И наконец не на подчиненности ли масс возводишь постройку ты, ослепленный царь, умный и лукавый в малом и в извилистых закоулках твоих низких интриг, только в старчески-слабоумной Европе производящих впечатление чуда? Но тогда ты строишь на песке, ослепленный царь! Правда, крестьянский бунт в Галиции плох, потому что, питаемый и поощряемый тобою, он обращается против демократически-настроенных, проникнутых духом свободы дворян; но он скрывает в своих недрах зародыши новой неожиданной силы, вулканический огонь, взрыв которого похоронит под высокими грудами лавы благоустроенные искусственные сады твоей дипломатии и господства и потрясет и бесследно истребит в один миг власть твою, ослепленный царь. Крестьянский бунт в Галиции — ничто, но огонь его все дальше распространяется под землею, и уже среди крестьянских масс необъятного русского царства вспыхивают гигантские кратеры. Именно русская демократия своими огненными языками поглотит державу и кровавым заревом осветит всю Европу. Чудеса революции восстанут из глубины этого пламенного океана; Россия есть цель революции; ее наибольшая сила развернется там, там же она достигнет своего завершения. С тою же первобытною твердостью упорной выдержки, с какою русский народ отстоял свою внешнюю независимость при всех бурях, потрясавших славянский мир, овладеет он теперь революцией и завоюет и удержит свою внутреннюю свободу. В Москве будет разбито рабство соединенных теперь под русским скипетром и всех вообще славянских народов, а вместе с тем и все европейское рабство и навеки потребено под своими собственными мусором и развалинами; в Москве из моря крови и пламени высоко и прекрасно взойдет созвездие революции и станет путеводною звездою для блага всего освобожденного человечества.

Встаньте же, славянские братья! Вы, призвание которых — бороться в передних рядах, встаньте! Во имя миллионов, которые должны скоро дать главное сражение, во имя северных славян, которые когда-нибудь потребуют от вас строгого отчета о том, что вы сделали для нашего святого дела, во имя этого народа еще и еще раз взываю я к вам:

Раз навсегда порвите с реакцией, порвите с дипломатией, со всякой половинчатой и недостойной вас политикой и бросьтесь отважно и всецело в объятия революции!

В ней все: ваше пробуждение, ваше воскресение, ваша надежда, ваше спасение, ваша будущность. В ней и только в ней! Доверьтесь ей! Вы можете ей довериться, потому что поистине она — неплохой союзник. Вам говорят: она снова пала под ударами контрреволюции. Это неправда. Оглянитесь вокруг, взгляните на ее дело! Разве не изменилось все в европейском мире? Разве он не стал вдруг хаосом, в котором те, кто пытается восстановить порядок старого мира, вносят еще большее внутреннее замешательство своими воинскими наборами, своими бомбардировками и провозглашением осадного положения, своими громко вопиющими о мести насилиями, своими бойнями и разрушениями? Не стала ли анархия постоянною, а всякая попытка, делаемая для ее подавления, не становится ли еще более анархичною, чем сама первоначальная анархия? Оглянитесь вокруг: революция везде. Она одна царит, она одна сильна. Новый дух со своей разрушающей, разлагающей силой вторгнулся бесповоротно в человечество и проникает общество до самых глубоких и темных слоев. И революция не успокоится, пока не разрушит окончательно старого одряхлевшего мира и не создаст из него нового, прекрасного мира. Поэтому в ней и только в ней вся сила и крепость, вся уверенность в победе. Только в ней — жизнь, вне ее — смерть. Только тот, кто идет за нею и ведет ее дело, — увидит свое дело увенчавшимся, так как она одна распределяет все блестящие военные награды. Кто против нее, тот должен рано или поздно погибнуть и не увидит дня спасения. Она не терпит никакой половинчатости, никакой двойственности, никакого заигрывания немножко с нею, немножко с ее врагом, никакой колеблющейся, недоверчивой, лицемерной предупредительности; она требует, чтобы ей отдавались безоговорочно и всецело, доверялись и принадлежали ей вполне. Она — сила, она — право, она — правда, она — спасение нашего времени, она — единственный образ действий, ведущий к добру и удаче. Вне ее нет ума, нет мудрости, нет политики; она одна — и ум, и мудрость, и политика, и все, что ведет к цели. Она одна может создать полноту жизни, дать непоколебимую уверенность, придать силы, творить чудеса, превратить в живую и жизнетворную массу мир из восьмидесяти миллионов людей, которых деспотизм держит

в тысячелетнем сне. Верьте революции. Отдайтесь ей вполне и безусловно! Без нее нет славянства.

Вы должны отдаться революции всецело и без оговорок.

Чем это может быть достигнуто?

Тем, что вы *как внутри, так и вовне* будете придерживаться вполне революционной политики.

Какова должна быть ваша *внешняя* политика?

Вы должны быть друзьями и союзниками всех народов и партий, сражающихся за революцию.

Какие народы и партии сражаются за революцию?

Все те, кто сражается за свою собственную независимость и вместе с тем за свободу всех, а потому в союзе против одного общего врага, против заговора деспотов.

Какую ближайшую цель поставил себе заговор деспотов?

Сохранение Австрии. Австрия есть центральный пункт сражения.

Чего же поэтому должны желать *мы?*

Противоположного тому, чего желают они: *совершенного разложения Австрийской империи.* Деспоты вполне правы в *своем* интересе, делая Австрию центральным пунктом сражения, потому что как русская империя служит внешнею опорою деспотизма, так Австрия служит систематическому проведению его в сердце Европы; Австрия это — окаменелое бесправие, плотина, о которую так долго бессильно разбивались волны бушевавшего в Европе стремления к свободе. Поэтому и мы вправе желать в интересах свободы распадения и уничтожения Австрийской империи, потому что распадение этой Австрии будет освобождением и возрождением многих порабощенных в австрийском единстве народов и освобождением сердца Европы. Кто за Австрию, тот против свободы. Значит мы, стоящие за свободу, должны быть против Австрии. Мы должны ускорить разрушение этой империи.

Каким путем этого достигнуть?

Путем разгрома всех теперешних широко задуманных планов австрийского императорского двора.

Как мы узнаем эти планы?

Мы видим, чтó делают слуги Австрии.

Кто главный слуга?

Виндишгрец.

Куда идет теперь Виндишгрец?

в Венгрию. После того как он бомбардировал Прагу и убил в ней свободу, после того как он бомбардировал Вену и в ней убил свободу, он идет в Венгрию, чтобы и там убить свободу.

Что же мы поэтому должны теперь делать?

Ясно: *мы* **теперь** *должны в Венгрии* **высказаться против Виндишгреца и за мадьяр.**

Братья! Я знаю, какое тяжелое слово я сейчас произнес. Что сделали мадьяры нашим славянским братьям, какие преступления совершили они против нашей национальности, как они попирали ногами наш язык и нашу независимость, — все это я знаю; знаю я, что даже теперь, хотя и наученные опытом, который побуждал их поспешить на помощь венцам, они все еще не признают и не уважают свободы славян. И несмотря на все это, братья, та политика, которую мы установили в Праге, а именно предложить мадьярам федерацию обеих народностей под условием взаимного уважения прав и полнейшей обоюдной независимости, — эта политика и теперь та, на которую мы должны решиться. Это — политика великодушия и доблести. Предложение союза народу, который теперь находится в такой опасности, как народ мадьярский, является не чем-либо для вас унизительным, а напротив делающим вам честь. Эта политика не останется без успеха. Наверно между мадьярами имеются люди, которые понимают все значение подобного предложения и ради блага Венгрии не отвергнут связанных с ним условий; и тот дух, который подсказывает эти условия, все более будет овладевать мадьярами; найдется и среди них теперь демократическая партия, которая только в свободе *всех* народов увидит обеспечение свободы каждого отдельного народа и которая в наше время всеобщего бедствия несомненно легче, чем когда-либо, добьется всеобщего признания. Но если бы это было и не так, если бы ваша протянутая рука была даже отвергнута, то ответственность пала бы не на вас, а стыд и позор навеки неизгладимый пали бы на голову тех, кто дерзко и презрительно оттолкнул благороднейшее предложение общего спасения. Ибо та политика, которую я здесь советую, есть не только политика великодушия и рассудка, но и политика истинной, дальновидной мудрости. Потому что этим актом вашего великодушия вы в сильнейшей степени популяризуете принцип свободы всех народов; это — акт, который даст решительный поворот не только в борьбе Венгрии, но и общей борьбе революции против деспотов, акт, посредством которого

вы станете во главе революции, гордые и сильные, как это вам и приличествует, и факелом будете освещать путь освобождения европейских народов.

Не нанесет ли славянин сам себе вреда, если протянет руку своему естественному врагу?

Конечно нет! Мы достаточно сильны для того, чтобы позволить себе роскошь быть благородными. О, наверное славянин ничего не потеряет, а только выиграет. Наверное он будет жить. И мы будем жить. До тех пор, пока у нас будут оспаривать малейшую часть наших прав, пока будет отделен или оторван хотя один член нашего общего тела, мы будем бороться не на жизнь, а на смерть, до последней капли крови, пока наконец славянство станет великим и совершенно свободным и независимым среди мира. Но именно потому мы должны смотреть поверх малого на большое, поверх части — на целое и обращать всю силу нашего сопротивления против упорного врага нашего коллектива, и если даже имеется народ, часть которого была раньше врагом какой-либо части нашего племени, но который в конце концов хочет признать наше право и вместе с нами сражаться против великого общего врага, то мы должны охотно протянуть ему руку.

Вы должны подать руку германскому народу. Не деспотам Германии, с которыми вы теперь — в союзе (именно этого вы не должны делать), не тем немецким педантам и профессорам во Франкфурте, не тем плохим, узколобым литераторам, которые по умственной тупости или из продажности заполняли большую часть немецкой прессы поношениями против вас и ваших прав, против поляков и чехов, не тем немецким мещанам, которые радуются каждому несчастию славян, а тому немецкому народу, который рождается из революции, который только теперь становится свободною немецкою нациею, той Германии, которая еще не существует и потому ничем еще не могла провиниться перед вами, и отдельные члены которой, разбросанные по всей Германии, разделенные так же, как наши славянские народности, преследуемые и угнетаемые, как и мы, достойны нашей дружбы и с распростертыми объятиями готовы стать нашими друзьями.

Прежде всего вы должны сломить военную мощь Австрии, ту мощь, которая делает Австрию австрийским государством, ту мощь, которою тормозится и задерживается свободное возрождение народов и воздвигаются препятствия свободе, равенству и братству всех народов. В Праге вы видели, что значит эта воен-

ная мощь и как она отвратительна. Что за люди бомбардировали под начальством Виндишгреца славянскую Прагу? Были ли то мадьяры? Были ли то немцы? Были ли то итальянцы? Нет, это были славяне и только славяне: чехи, поляки, словаки. А что такое австрийский генерал, это вы недавно видели на Елачиче. Это — иезуит во главе дисциплинированных банд, которые без воли, забывая о своих собственных целях, слепо повинуются его приказам; это — человек, у которого нет ничего святого, которого воодушевляет не любовь к отечеству, не чувство к своему народу, а только ревность к службе для пагубной австрийской камарильи, ради которой он готов совершить любое преступление. И вот это чудовище, которое натравляет братьев на братьев, который душит и убивает в человеческой груди всякое человеческое движение, эту военную организацию, которая превращает людей в машины деспотии, вы и должны сломить, если хотите освободить славянство.

Вы должны отозвать ваших солдат из Италии, из этой прекрасной, загубленной австрийским рабством Италии, ибо не позор ли то, что славяне, сами борющиеся за свою независимость, прилагают свою руку к порабощению благородного народа, который не нанес им ни малейшей обиды, не причинил им ни одной несправедливости? Вы должны повсюду отозвать славянских солдат с австрийской службы, позорящей их, чтобы их не могли больше использовать в качестве палачей, потому что это дает право и другим быть палачами по отношению к вам. Вы должны создать из них чисто славянское войско, войско на службе революции, войско, которое боролось бы за вашу свободу, за свободу всех славянских народов и всей вообще Европы.

Вы не можете изменить своей внешней политики, пока не измените внутренней.

Долой управление посредством старых австрийских чиновников! Долой тех политических вождей, которые наполовину возбуждают, наполовину успокаивают народ. Пусть погибнут эти злые люди, которые постоянно говорят вам: «агитируйте, но не слишком, потому что опасно возбуждать народ; цели можно достигнуть и более кроткими, парламентарными, дипломатическими средствами». Не верьте этим людям. Только из движения, подобного буре, движения наших народов может выйти освобождение этих народов. Дух нового времени говорит и действует только в буре. Наша славянская натура не такова, как у отжив-

шего старика, которому подходит только расслабленное и разжиженное; она не испортилась и не прогнила, она проста и велика, и на нее действует только прямота и цельность. Чтобы творить чудеса, славяне должны стать огнем. Без оглядки и без удержу агитируйте среди славянских масс. Зажигайте в них священный огонь. Выступайте как апостолы пробуждающегося славянства. Соединяйтесь вы, славянские народы Австрии! Соединяйтесь все вместе и заключите между собою священный оборонительный и наступательный союз. Союз не под покровом австрийской династии, а союз против нее, союз для освобождения от Австрии. Союз для основания федерации, которая должна скоро соединить между собою все славянские народы. Станьте снова, как уже были однажды в Золотой Праге, для нас, для всех славян севера и Турции предвестником, блистающею грозовою тучею всех нас освобождающей революции.

Тогда воскреснет славянство!

Михаил Бакунин.

Перевод с немецкого.

№ 521.—Письмо Георгу Гервегу.

Кэтен, 8 декабря 1848 года.

Мой милый! Давно уже я не обращался к тебе ни с одним словом. На мое последнее письмо ты мне ничего не ответил, но я на тебя не сержусь, так как в этом отношении нам друг друга упрекать не приходится.

Прилагаю мое воззвание к славянам. Из него ты увидишь, что я нисколько не пал духом. За эти десять месяцев я привык к терпению, ожиданию и выдержке. «J'attendrai, Monseigneur!»*— таков мой ответ торжествующей реакции, а анархия, разрушение государств, все же скоро должна будет наступить. Но очень часто я думал о тебе и признавал твою правоту, когда ближе присмотрелся к германским отношениям и событиям. Я вспоминал те слова, которые ты так часто повторял мне в Париже до революции: «Первая революция в Германии не принесет нам ничего утешительного, так как она будет победою буржуазной низости».

* «Я подожду, ваше высочество!»

А как велика низость немецкого филистера, это я только теперь увидал в полной мере.

Буржуа нигде не симпатичен, но немецкий буржуа сочетает низость с добродушием. Даже самый способ этих людей негодовать и выражать свое негодование возбуждает негодование. Недавно здесь приезжал депутат Гильдентрегер, секретарь берлинского Национального Собрания. Он рассказывал нам, как военщина вторглась в его дом, сломала все замки и забрала все бумаги вместе с 30 000 талеров. При этом рассказе многие с видимым раздражением воскликнули: «И деньги также?», на что другие заметили: «деньги Вам наверно вернут». Одним словом, дружище, вот мое последнее и несомненно вполне обоснованное заключение: если бы немецкая нация состояла исключительно из широкой, к сожалению слишком широкой массы мещан, буржуа, из того, что теперь можно назвать официальной, видимой Германией, если бы под этой официальною немецкою нациею не имелось городских пролетариев, а особенно многочисленной массы крестьян, то мне пришлось бы сказать: нет больше немецкой нации, Германия будет завоевана и уничтожена.

Только анархическая крестьянская война с одной стороны и исправление буржуазии банкротством с другой могут спасти Германию. О последнем позаботятся сами обстоятельства и железная необходимость; о первой же до сих пор почти совсем не думали. Не нахожу слов, чтобы описать тебе глупость, легкомыслие и отвлеченную игру в принципы так называемых демократических вождей Германии. Они думали раскачать крестьян отвлеченными, политическими, конституционными или республиканскими фразами. Они не хотели будить в народе так называемых «дурных страстей», они не возмущали и не обрабатывали народ изо дня в день, а хотели спорадически воздействовать на него посредством обманчивых и вводящих в заблуждение народных собраний. Со всею своею прославленною шумихою они не сделали ничего. Теперь обстоятельства изменились *. Но все же народ стал теперь другим не благодаря, а *вопреки* этим вождям. Он все хочет иметь, все забрать и ничем не удовлетво-

---

* В «Переписке» Гервега напечатано: «Heute ist das also geworden» Здесь повидимому опечатка: вместо also по смыслу должно было бы быть anders. Мы так и переводим. Решить вопрос обращением к оригиналу невозможно, так как именно этого письма в коллекции Пушкинского Дома нехватает.

рится; он уже зашел так далеко, что считает только себя имеющим права, и в этой вере его утверждают лесть и комплименты, которые ему расточают обе партии. Дурные страсти вызовут крестьянскую войну, и это меня радует, так как анархии я не боюсь, а желаю ее от всей души: она одна в состоянии вырвать нас из той проклятой середины, в которой нам приходится так долго прозябать.

Вдумчивые, толковые, энергичные демократы, те, которые действительно революционны, подобно мне также не теряют мужества. Они даже рады тому, что у немцев снова отнимается право неограниченной болтовни и открытой конспирации. Немец должен несколько сосредоточиться, чтобы войти в разум. Политическое распутство было слишком велико. Теперь начинают делать то, что должны были собственно делать уже с весны, но опьянелых людей нельзя было к тому склонить. Теперь слава богу начинают понемногу организовываться и основывать тайные общества: хотят основательно подготовиться к борьбе, которой здесь ждут весною. Тем временем победоносная реакция наделает величайших глупостей; эти глупости неизбежны. Сейчас повсюду говорят об интриге, которую ведет благородный Гагерн * и которая якобы ставит себе следующую цель: имперский правитель ** подаст в отставку, его место займет триумвират, в состав которого войдут сам Гагерн и два члена Франкфуртского Собрания, причем этот триумвират должен послужить переходным этапом к прусской гегемонии.

Рассказывают еще, будто Бавария, Ганновер, Брауншвейг и некоторые другие образовали для борьбы с этим планом и вообще с Пруссиею сепаратный союз. Впрочем это — лишь слух, и я передаю его тебе только в качестве такового. Зима будет печальная, но интересная. Что касается меня, милый, то я вероятно пробуду здесь еще месяц; мне нужно еще кое-что наладить, а затем очень возможно, что я съезжу месяца на два в Париж[2]. Мне незачем тебе говорить, с какою радостью я снова повидаю всех вас, тебя, твою жену и всех наших друзей. Мы сумеем так много друг другу сказать и рассказать. Писем я писать не умею, это установлено раз навсегда.

Будь так добр, сообщи мне свой адрес и отвечай мне хотя бы в нескольких словах.

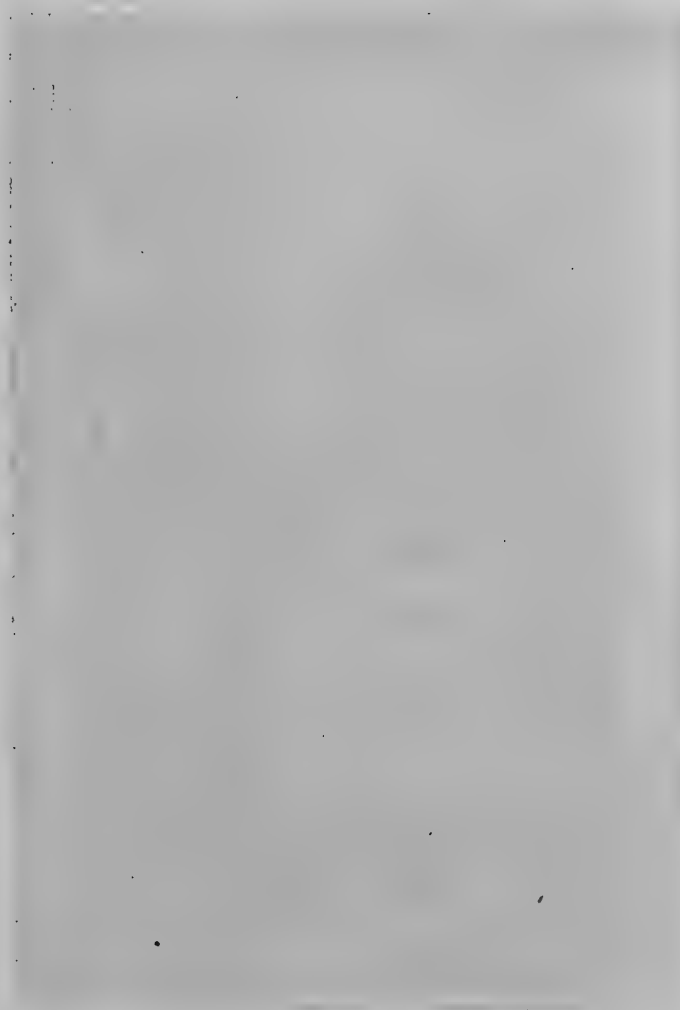
---

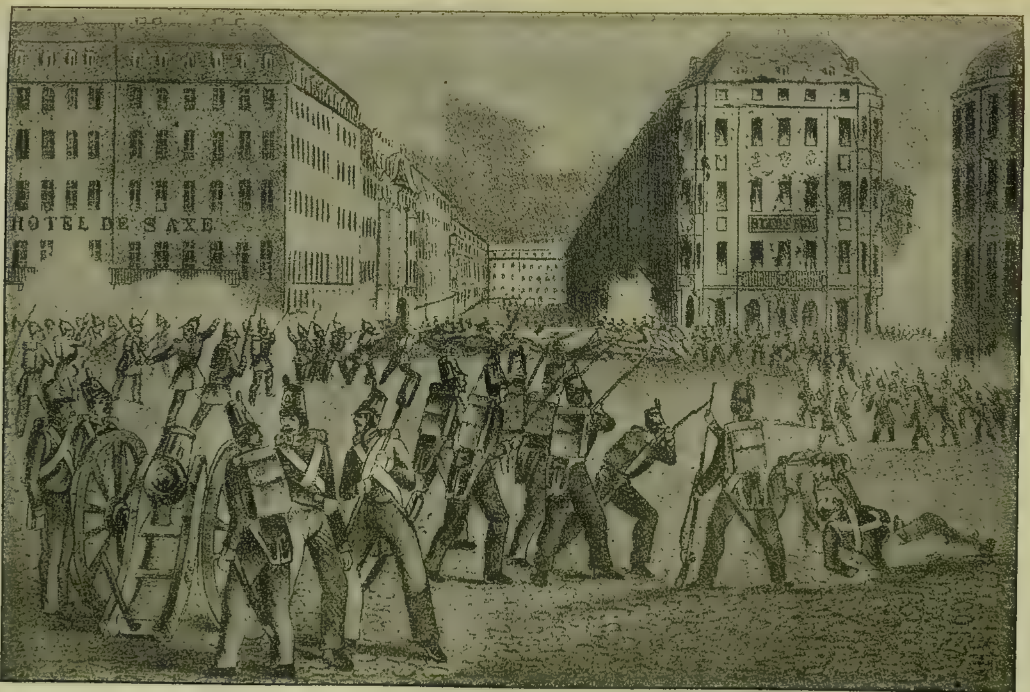
* Генрих[1].

** Австрийский эрцгерцог Иоанн.

Картины майского восстания в Дрездене.

Попытка штурма арсенала.





Картины майского восстания в Дрездене.

Бой на Новом рынке.

Мой адрес: Cöthen, Principauté d'Anhalt, Monsieur Charles, а на втором конверте: для Mr. Jules.

Поклонись всем тем из наших знакомых и друзей, которые меня не забыли.

Твой

Жюль Элизар.

Перевод с немецкого.

№ 522. — Записка неизвестному остзейцу.

[Конец 1848 — начало 1849 года. Лейпциг.]

Надежды... на твоих лифляндских, эстляндских и курляндских баронов и графов, на твоих немецких мещан из Риги, Митавы и Ревеля...

(На этом отрывок кончается).

Перевод с французского.

№ 523. — Письмо графу Илиодору Скуржевскому[1].

[Январь 1849 года. Лейпциг.]

Дорогой и уважаемый друг.

Спасибо, большое спасибо за Ваше милое письмо. Друзья, которых я нашел здесь, это — только политические друзья, друзья по убеждениям, которые никогда не смогут вытеснить из моей памяти друзей сердца, оставленных мною в Бреславле. Премного благодарен Вам также за те поистине отцовские советы, какие Вы мне даете; я принял их как новое свидетельство Вашей дружбы, которою, верьте мне, я весьма дорожу. Постараюсь вкратце ответить на Ваши вопросы.

Вы ошибаетесь, если думаете, что я не верю в бога; но я совершенно отказался от постижения его с помощью науки и теории. Было время, когда я исключительно занимался одною философиею. В продолжение нескольких лет подряд я не имел другой цели кроме науки, голова моя была наполнена самыми пустыми

отвлеченностями, и если бы Вы меня встретили тогда, Вы бы без сомнения стали смеяться над моими нелепыми претензиями и над моим непонятным разглагольствованием: я мыслил только об абсолюте и не мог произнести ни слова без самых абстрактных выражений: субъект, объект, самостановление идеи и пр., и пр. Был даже момент безумия, когда мне казалось, что я нечто понимаю и знаю; но вернувшись вскоре к рассудку и к жизни, я в конце концов убедился, что жизнь, любовь и действие могут быть поняты только посредством жизни, любви и действия. Тогда я окончательно отказался от трансцендентального знания — denn grau ist alle Theorie * — и, очертя голову, окунулся в практическую жизнь. Мне сдается, что Вы чересчур презираете землю, мой друг. Истина, бесконечность в такой же мере обретаются в бесконечно малом, как и в бесконечно великом, и микроскоп может столь же хорошо помочь нам открыть их, как и телескоп. Я ищу бога в людях, в их свободе, а теперь я ищу бога в революции. Блажен я, если смогу хоть отчасти способствовать освобождению славян, освобождению моего отечества, блажен, если смогу умереть за свободу поляков и русских.

Вы легко можете себе представить, как я глубоко интересуюсь происходящими в Австрии событиями: они внушают мне величайшую тревогу. Утрата славянами чести больше печалит меня, чем временное их поражение: после поражения можно подняться, после потери чести — никогда. А славяне покроют себя позором, если превратятся в орудие австрийской камарильи, в орудие их же палача Виндишгреца. Через несколько дней я пришлю Вам недавно законченное мною Воззвание к славянам на французском, немецком и польском языках; разумеется, польский перевод будет сделан не мною [2]. Мы стоим у порога великих событий. Для славян это — критический момент их существования. Пусть же каждый исполнит свой долг, и да пребудет с нами святая правда божия. Чтобы взять в это трудное время правильную линию, требуется иметь много любви.

Весьма возможно, что я на-днях выеду в Прагу [3]. Боюсь, что найду там одних противников, однако вера в справедливость защищаемого мною дела придает мне силы и мужество, необходимые для выполнения горькой обязанности, заключающейся в от-

---

* «Ибо всякая теория сера» («Фауст»).

крытом высказывании правды и служении ей. По крайней мере я на это надеюсь.

А затем у меня большая просьба к Вашим дочерям: среди бумаг Вашей покойной дочери [4] должен находиться манифест, составленный мною в Праге [5]. Если бы (пропущено слово *) умел хорошо писать, я просил бы его снять для меня копию с этого документа, так как я затерял оригинал. Скажите Вашим дочерям, что я никогда не позволил бы себе обратиться к ним с подобною просьбою, если бы речь не шла о деле, которое их как полек интересует так же горячо, как и меня самого. Передайте им, равно как и Вашей супруге, мое почтение, и да хранит вас всех бог.

М. Б[акунин].

Перевод с немецкого.

№ 524. — Письмо Георгу Гервегу.

(28 января 1849 года.)

Милый, недавно я тебе писал. Мое письмо было заделано в большой пакет. Последний вместе с другим пакетом с брошюрами был отправлен по адресу г-жи Виардо-Гарсиа Мюллеру, Герману Мюллеру **. Получил ли ты мое письмо? Странно, ни от тебя, ни от Мюллера, ни от Рейхеля у меня нет ответа. Перемерли вы все там, что ли? Если ты моего письма не получил, то сделай мне одолжение, пойди к мадам Виардо *** (Тургенев или кто-нибудь охотно сообщит тебе ее адрес) и попроси ее от моего имени отдать тебе оба пакета. В одном содержится несколько писем, для меня весьма важных и компрометирующих писем, а во втором — брошюры. Возьми себе предназначенные для тебя письмо и брошюру (это — мое Воззвание к славянам), а остальные письма и брошюры раздай по их адресам. Этим ты окажешь мне большую, очень большую услугу [2].

Я проживаю теперь тайно в Лейпциге и работаю изо всех сил: моя цель заключается в том, чтобы оторвать славян от

* В писарской копии сказано, что имя в рукописи написано неразборчиво.

** Мюллер-Стрюбинг.

*** Полина Виардо-Гарсиа, певица [1].

реакции, в которую ее бросили низость их предательских вождей, а равно как и недемократическое и государственническое * настроение немцев и мадьяр. Моя работа оказывается не бесплодною, и теперь австрийское правительство преследует меня всевозможными способами. Оно вчиняет мне процесс в Праге [3].

В Германии дела идут хорошо. Прекраснодушное и глупое словоизвержение прошедшего года почти совершенно прошло и уступило место серьезному, дельному и решительному настроению. Весною [произойдет] новая революция. В живых ли еще Рейхель? А ты, милый, почему мне не пишешь? Кланяйся своей жене. Мой адрес: Г-ну Буссениусу в Лейпциге. Издательская контора. Королевская улица. *Напиши мне также свой адрес.* И отвечайте мне поскорее. Это письмо передаст тебе один венский беженец.

Твой

М. Бакунин.

1849, 28 января, Лейпциг.

(На конверте не рукою Бакунина написан карандашом адрес: Гражданину Георгу Гервегу. Париж, Новая улица св. Августина, 40. А дальше пером исправлено: 9, Цирковая улица).

Перевод с немецкого.

№ 525. — «Русские в Семиградии. Обращение к чехам».

[Конец февраля 1849 года.]

Вставайте, славяне! Русские войска здесь. Они вступили в австрийские пределы. Не русским народом посланные, а русским царем, не для того, чтобы принести вам свободу, не для того, чтобы плечо о плечо с вами сражаться против ваших притеснителей, а для того, чтобы поработить вас. Не как славянские братья, нет, а как союзники австрийского императора.

Австрийские императоры искони были заклятыми врагами вашей свободы, вашей национальности, вашего благосостояния.

---

* В оригинале «Staatsbegründungbezweckende» — направленное к государственному строительству.

С тех пор как австрийская династия господствует над вашими странами, что доброго принесла она вам? Чем вы были еще год тому назад? А что вы теперь? Год тому назад вы были рабами, год тому назад вы были еще задавлены податями, оброками и бесчисленными повинностями; теперь вы вздохнули свободнее. Кто дал вам эту свободу? Император? О нет, это сделала революция, народное восстание, сломившее власть вашего императора. Год тому назад правительство было сильнее народа, и народ повсюду стонал под игом возмутительнейшего рабства. Он не смел проявлять признаков жизни, он должен был платить и служить, служить и только служить! Как же это случилось, что это правительство, которое, как ныне вас уверяют, так отечески настроено по отношению к вам, как же это случилось, что оно в то время пальцем о палец не ударило для вашего освобождения? Тогда чешский и моравский народ был порабощен немецкими чиновниками, а словаки, кроаты, сербы — мадьярами, они подвергались тиранству и преследованиям в области языка, веры и вплоть до святыни своего национального чувства. Что сделало правительство для защиты славян? Ничего. А почему оно не сделало ничего? Потому ли, что не могло? О нет, оно могло все, ведь тогда оно было всесильно, и никто не смел ему противоречить. Оно ничего не сделало потому, что не хотело ничего сделать, а не хотело оно ничего сделать потому, что спелось с вашими барами, с вашими дворянами, с вашими попами, с привилегированными всех сословий; да и теперь состоит с ними в союзе, чтобы выжимать из бедного народа последние соки, последнюю каплю крови. Оно не хотело помогать славянам, так как находило большую выгоду в том, чтобы подвластные его скипетру народы взаимно друг друга подавляли и ненавидели. С помощью одних оно держит в узде других, и вся сила его основана на этой взаимной ненависти.

Год тому назад весною вспыхнула революция. И что случилось? То, чего народы Австрии так долго желали и требовали, то, о чем они тысячекратно коленопреклоненно и с мольбою просили от милости своего всемогущего императора, и чего они, несмотря на все просьбы и мольбы, не могли никогда получить от его всемогущества и милости, было им предоставлено сразу. Пока он обладал полнотою власти, они не могли добиться от него ни малейшей уступки, а теперь, когда она была выбита из его рук, им было обещано почти все. Разве дело не ясно, и кто

может еще сомневаться в том, что воля и интересы императорской династии противны благу народа?

Весною прошлого года вы были пробуждены от вашего долгого сна революцией. Вы встали, взялись за оружие, и все ваши дани, работы и повинности пошли ко всем чертям, и важные баре, императорские чиновники и дворяне, до тех пор вас порабощавшие и грабившие, сразу повернули фронт, стали называть себя вашими друзьями и начали заискивать у вас, бедняков. Какова была причина этого поворота? Изменившаяся воля вашего императора? Нет, только революция, революция, показавшая вашу силу, народную мощь императору, большим господам и вам самим.

Испуганное этою мощью, австрийское правительство сделало вам тогда все возможные уступки и обещания. Но вместе с тем оно замыслило средства для вашего ослабления с целью *снова взять обратно все уступки и ввергнуть вас в еще худшее рабство.* Что же оно делает? Как известно, в Австрии народы не живут в большой взаимной дружбе; особенно славяне настроены были враждебно против мадьяр и немцев. Правительство знало это очень хорошо, ибо именно оно с самого начала натравливало эти народы на вас. Если бы все национальности в Австрии протянули друг другу руки, правительство бы погибло: их объединенной силе оно не могло бы противопоставить достаточного отпора. Чтобы продержаться, оно должно было еще сильнее рассорить между собою эти народы, и вот сразу во всех областях появились императорские креатуры: в Венгрии, в Кроации, в Богемии, в Моравии и в Галиции; они обращались к народу от имени императора, много рассказывали ему о тех благах, которые этот любящий отец уготовал своим верным чадам, обещали золотые горы. «Только,— говорили они, — сейчас император еще не может сделать всего, что хочет, его руки связаны, бунтовщики, демократы мешают ему осчастливить свой народ».

Такими коварными приемами эти бессовестные люди старались повсюду сбить с толку простой и бесхитростный ум народа, а пока они все это вам вдалбливали в голову, они тем временем уверяли мадьяр, что славяне составляют единственное препятствие к их счастью, славянам же они в свою очередь изображали мадьяр и немцев в самых мрачных красках. Темный народ верил им, верил своим вековечным, непримиримым врагам, верил императорским чиновникам, и по их приказу мадьяры и немцы

поднялись против славян, славяне — против немцев и мадьяр, а кроатские войска свирепствовали в Италии. В этой проклятой братоубийственной борьбе народы раздирали собственную плоть, разрушали собственную силу, губили собственную свободу, и во всей Австрии не видно было ничего кроме кровопролития и убийств, и не слышно было ничего кроме стонов избиваемых жертв. Таковы плоды политики вашего императора. В этом ли выражается его отеческая любовь к вам?

Тем временем он собирал свои рассеянные силы, и, как только почувствовал себя сильным, он велел своим солдатам бомбардировать Краков и Прагу, а позже велел также бомбардировать Вену и Лемберг, вся Австрия была объявлена на осадном положении, а аристократы, большие господа, дворяне, попы, богатые мещане торжествовали, — они уже думали, что вернулась пора их владычества, и что народ снова будет принужден нести в их пользу старые, позорные повинности, отдавать им последний грош. «Сначала разделаемся с мадьярами, — заявляли они во всеуслышание, — а там поговорим и со славянами».

Они были правы: если бы мадьяры были разбиты, то вы давно уже почувствовали бы когти вашего отца отечества и его аристократии на своей шкуре. Одно только эти господа в своих хитроумных расчетах упустили из виду: чудесную силу свободолюбивого народа. Вся австрийская мощь и вместе с нею все планы реакции совершенно неожиданно разбились об отчаянное сопротивление мадьяр. Ныне мадьяры показывают нам, на что способен народ, даже маленький народ, и как он должен поступать, когда решил завоевать себе свободу. Мадьяры наглядно разоблачили бессилие австрийской династии; этою героическою борьбою они спасли самих себя и все остальные народы Австрии от рабства, — и кто ныне выступает против мадьяр, тот является врагом всего человечества, врагом своей собственной свободы.

Что же делает побитый император? *Он позвал на помощь русских.* Славяне, от имени русского народа, к которому я принадлежу, я предостерегаю вас против войска русского царя!

Русские — славяне, и в их груди бьется славянское сердце. Однако до сих пор это сердце оставалось запечатанным печатью монгольской тирании, и до тех пор, пока русские будут повиноваться царю, они останутся противниками, страшнейшими и опаснейшими противниками славянской свободы. Горе вам, если вы не отбросите войск Николая как вражеские войска!

Горе вам! Спросите наших славянских братьев, поляков, что принесли им лет двадцать тому назад царские солдаты. Голод, рабство и смерть! С помощью своих солдат Николай разорил целые области, вверг в нищету целое население, а всю молодежь, способную в какой-либо мере носить оружие, забрал в солдаты, дабы использовать их для удушения их собственных братьев.

Братья! как славянин предупреждаю я вас против русских вспомогательных войск. Как русский я к сожалению слишком хорошо знаю, какое зло может и хочет причинить вам русский царь.

Знаю, уже много лет он посылает к вам своих агентов, чтобы расположить вас в свою пользу. «Русский царь, — говорят вам эти обманщики, — славянин и естественный покровитель славян. Сейчас он — самый могущественный среди государей, он ненавидит немцев и мадьяр и хочет освободить вас от их ига». Ложь, ложь, гнусная ложь! Николай — не славянин, это — немец на русском троне, немецкий князь голштейн-готторпского происхождения. Он ненавидит только тех немцев и мадьяр, которые борются за свободу, и он не только не хочет вашей свободы, а напротив, хочет продать вас немецким монархам, своим единственным друзьям, как его предки некогда продали славянскую Польшу Австрии и Пруссии.

Российский император должен спасти вас от рабства? Какое безумие! Какое несчастное заблуждение! Славяне! Прислушайтесь к голосу русского, который знает и любит свое отечество и который теперь обращается к вам от имени русского народа. Хотите знать, чем стала Россия под властью своих царей?

В этом громадном, беспредельном царстве, занимающем почти шестую часть света, от севера до юга и от запада до востока слышится теперь только один звук, и это — свист кнута, который неутомимо с утра до вечера падает на спины шестидесяти миллионов царских подданных. В этой стране крестьяне — еще крепостные и продаются подобно скоту и мертвым вещам. За пустую провинность, за малейшее проявление недовольства, за невиннейший порыв к свободе их толпами гонят в Сибирь, а там в холодных безлюдных степях они гибнут от голода и кручины. Ежегодно Россия опустошается рекрутским набором, на каждые сто душ обычно берут пять, а иногда и десять молодых людей, солдатская же служба у нас настолько ужасна, что многие только для того, чтобы от нее избавиться, уходят в леса, а часто даже калечат себя; всех остальных заковывают в кандалы, и их родные

провожают их в город * как приговоренных к смерти со слезами, похоронными песнями и причитаниями.

Славяне, хотите ли вы кнута? Хотите, чтобы вас продавали как скот и как мертвые вещи? Хотите, чтобы вас гнали в Сибирь или забрали в русскую армию? Всего этого вы должны хотеть, если вы хотите русского царя, его дружбы и его помощи! *Всё это вы получите, если позволите его войскам ступить на вашу землю!*

Уже много лет тому назад русский император заключил с императором и дворянством Австрии тайный заговор против вашей свободы; теперь этот заговор выступил наружу. Из всех опасностей, угрожающих вам за последний год, та опасность, которую несет вам Николай, является самою серьезною. Но не бояться и не трепетать должны вы, а должны подняться и вступить в борьбу как один человек. На карту теперь поставлены ваша жизнь, ваша свобода, ваша честь, будущность ваша и ваших детей; вы стоите у пропасти, и только смелое решение, только великая мужественная борьба может вас спасти. Восстаньте же, славяне! Русские войска вступили на австрийскую землю! Смерть или жизнь, свобода или рабство! Выбирайте!

Хотите вы *быть свободными?* Тогда не теряйте времени, вооружайтесь поголовно и разбейте врагов вашей свободы: австрийское войско и войско русского царя!

Хотите вы *быть свободными?* Прогоните прочь предательских вождей, которые, как Елачич [1], Раячич [2], Палацкий [3], Браунер [4] и другие, обещали вам все и не выполнили ничего, которые сознательно вас обманывали, продали вас австрийской династии и Николаю, и возьмите себе других, честных, преданных народу вождей.

Хотите вы *быть свободными?* Тогда протяните руку примирения мадьярам. Правда, что мадьярский народ, сбитый с толку своекорыстною партией, тяжко провинился перед вами, но он уже дорого заплатил за свою старую вину, полностью искупил свой грех геройскими подвигами и кровью, пролитою за свободу. Теперь он уже не помышляет о вашем порабощении, теперь он является последним оплотом свободы в Австрии. Сербы! Кроаты! Словаки! Хотите ли вы разрушить вашу собственную опору? Хотите ли вы заживо похоронить себя? Хотите ли вы стать

* В оригинале сказано «Hauptstadt» (столица, главный город). Но это видимо описка.

рабами русского царя? Если вы этого не хотите, тогда вы обязаны прекратить эту безбожную борьбу против свободного народа, объединиться с ним и совместно с ним выступить против вашего общего опаснейшего врага, против объединенных сил России и Австрии.

Если вы это сделаете, вы спасены! Если вы это сделаете, вы спасете славянскую и европейскую свободу. Восстаньте, славяне! Один только великий народный напор, и вы *свободны!*

А теперь, братья, я обращаюсь к вам с последнею просьбою. С глубокою, невыразимою скорбью я увидел себя вынужденным высказаться перед вами против моих собственных земляков, против русской армии. Этим я выполнил священный, но вместе с тем тяжелый долг. Всякий солдат, будь он русский или иной национальности, до тех пор, пока он скован железною дисциплиною и без мысли и воли [стоит] в строю, лишен всякого чувства родины и свободы. Большинство постоянных европейских армий играет роль простых машин в руках своих повелителей, страшных, дьявольских машин, изобретенных для избиения народов. Разве чешские солдаты в июне не подняли матереубийственной руки на Прагу? Разве польские солдаты в Галиции и Кракове не свирепствовали против собственных собратий? Разве наконец немецкие солдаты не бомбардировали и не разграбили вместе с кроатами немецкую столицу Вену? Что же удивительного в том, что русские солдаты выступают против славянской свободы? И снова я с горькою настойчивостью увещеваю вас, славяне, разгромите русскую армию! Огнем и мечом, всеми находящимися в вашем распоряжении средствами старайтесь ее уничтожить, пока она произносит роковое имя Николая, пока она повинуется русским генералам, ибо такая армия может принести вам только бедствия, рабство и разорение.

Но не забывайте, братья, что у вас имеется еще другое средство разрушить могущество Николая, — средство, которое сильнее меча, сильнее даже яда и огня, и средство это — *свободное славянское слово,* когда оно из глубины одушевленной груди обращается к заблудшим братьям. Не забывайте, что русские солдаты — это порабощенные славяне, а русский народ — большой порабощенный славянский народ. Солдаты и народ устали от рабства, давно уже, очень давно жаждут они освобождения. Одно только пламенное слово — и твердая кора, покрывающая их сердца, растает, и эти сжатые и скорбные сердца в конце концов

раскроются, признают в вас своих братьев, своих спасителей, и наступит великий день русской революции.

Вставайте, славяне! Спасайте нашу славянскую свободу, спасайте свободу Европы!

Михаил Бакунин,

русский и член славянского конгресса в Праге.

Перевод с французского.

№ 526. — Восстание валахов и русская интервенция.

[Февраль—март 1849 года].

Валахи или румелийцы составляют нацию в 7—8 миллионов душ. Они заселяют *Бессарабию*, оба турецкие княжества *(Молдавию и Валахию)*, *Трансильванию* и восточную часть *Венгрии* от реки Тиссы.

Бессарабия	500 000
Валахия	2 500 000
Молдавия	1 400 000
Трансильвания, Венгрия	2 700 000
Итого	7 100 000

Живущие в Бессарабии подвластны России, живущие в Молдавии и Валахии являются вассалами Турции, *но пользуются* вместе с тем официальным протекторатом русского правительства. Живущие в Трансильвании и Венгрии подчинены теперь мадьярам.

Они хотят стряхнуть это троякое иго и образовать независимую нацию. Таким образом им приходится бороться с тремя врагами: 1) Россиею, 2) Турциею и 3) венграми.

I. *Россия* владеет уже Бессарабиею и хочет завладеть Молдавиею и Валахиею, для того чтобы войти в непосредственное соприкосновение с южными славянами и открыть себе дорогу в Константинополь. При образовании независимой валахской нации и при возвращении Бессарабии, которое рано или поздно явится неизбежным последствием первого, Россия лишилась бы

устьев Дуная. Чтобы войти в Константинополь, она должна пройти по трупам Валахии и Молдавии.

II. *Турция* продлила бы, быть может, на несколько лет свое существование, если бы позволила валахам сложиться в самостоятельную нацию. Этим она избавилась бы от угрожающего соседства России. Но подобно человеку, носящему в себе зародыши неминучей смерти, Турция неисправима. Ничто не в силах ее спасти, ее могущество имеет чисто искусственный характер. Чтобы убедиться в этом, достаточно бросить взгляд на состав населения Европейской Турции.

На 12 миллионов жителей приходится только 700 тысяч турок. Остальные распределяются следующим образом:

6 200 000	славян	Болгар . . .	3 600 000
		Сербов . . .	2 600 000
3 800 000	валахов	В Валахии .	2 400 000
		В Молдавии	1 400 000
1 180 000	греков		
250 000	евреев		
100 000	армян		
11 530 000			
700 000	турок		
Всего 12 000 000	жителей.		

Все эти народности горят нетерпением свергнуть иго османов, и последние не в состоянии будут долго их сдерживать: *материально* по численности они тонут в массе населения; *морально* сила их еще меньше. Лишенные всякой живой прогрессивной мысли, они уже неспособны итти вперед, а фанатизм их является уже не тою непреодолимою и юною силою, которая [некогда] толкала их вперед, а старческою окоченелостью, предвещающею смерть. Они обречены на верную гибель. Они сами это чувствуют, они верят в свое фатальное падение и с присущим им чувством смирения ждут прихода русских в Константинополь. Россия имеет над ними какую-то магнетическую власть, парализующую последние остатки их движения к жизни и влекущую их к гибели наперекор их воле. Нет ничего более грустного и в то же время более комичного, чем потуги европейской дипломатии в Константинополе. Они стараются оживить труп. Оттоманская Порта, чувствуя себя бессильною и разбитою внутри, тем судорожнее цепляется за внешние признаки, за видимость силы. У нее никогда не хватит решимости отказаться от части своей тер-

ритории, для того чтобы спасти остальную. В согласии с Россиею она выступит против валахов.

III. *Мадьяры* также будут против них бороться, а между тем они должны были бы с удовольствием взирать на возникновение независимой страны между Россиею и Венгриею. Но у них самих есть проект (пропуск), который будет для них гибелен, если они во-время от него не откажутся. Они мечтают о создании могущественного государства, основанного на подчинении восьми миллионов славян и трех миллионов валахов четырем миллионам мадьяр.

Население Венгрии со включением Кроации, Славонии, Трансильвании и Военной Границы:

2 800 000	словаков.	7 400 000	славян.
2 300 000	чехов.	1 100 000	немцев.
1 200 000	русин.	3 700 000	мадьяр.
830 000	кроатов.	2 800 000	валахов.
200 000	словенцев.	400 000	евреев и армян.
7 330 000			славян

Население Венгрии с Трансильваниею и Военною Границею: 8 000 000 славян, 1 300 000 немцев, 4 000 000 мадьяр, 3 000 000 валахов, всего 16 000 000.

Эта претензия венгров крайне осложняет восточный вопрос. Они хотят того, что несправедливо и даже невозможно. Турецкие валахи зовут венгерских валахов, а также сербов и кроатов на помощь, обещая им взамен оказать им поддержку в их борьбе с мадьярами. Мадьяры рассчитывают на Германию, но немцы столь же заинтересованы и в том, чтобы поддержать валахов. С другой стороны южные славяне полагаются на вероломные посулы русского правительства, которое в данный момент использует их для того, чтобы впоследствии покинуть их и предать.

Перевод с немецкого.

№ 527. — Письмо к неизвестному.

[Осень 1848 года].

Милостивый государь,

Я — русский, славянин, глубоко предан своей стране, предан интересам своего племени, но прежде всего я — революционер

и думаю, что победа революции будет благотворна для всех народов, и что все...

(Конец отсутствует).

Перевод с немецкого.

№ 528. — [Царизм и германская революция].

[Осень 1848 — весна 1849 года.]

Отрывок 1.

Кто станет отрицать, что в этом-то и заключается собственный, хотя и завуалированный смысл недавно опубликованной депеши графа Нессельроде[1] на имя российских посольств в Германии? Правда, эта депеша так умно написана, содержащаяся в ней угроза замаскирована такими умеренными, добрыми словами, что чистая душа миролюбивого обывателя могла бы почти пустить слезу, преисполненная умиления и преклонения по поводу долготерпения такого важного барина, который, несмотря на все причиненное ему огорчение, все же так гуманно мыслит и выражается, а также проявляет столь нежное и бескорыстное участие к неблагодарной Германии. Можно было бы даже сказать, что [в этой депеше] слышится меланхолическая жалоба неразделенной любви! Но кто хоть сколько-нибудь знаком с приемами и методами российской дипломатии, тот знает, что она бывает наиболее опасною именно тогда, когда силится казаться бескорыстною и безобидною. И достаточно поближе присмотреться к отдельным пунктам этого маккиавелического манифеста (как это уже сделано немецкою демократическою прессою), чтобы убедиться в том, что он содержит в себе решительную угрозу по адресу демократии и подстрекательство к реакции в Германии. И германская реакция прекрасно понимает этот язык. Стоит только сравнить ее нынешнее поведение с тем, какого она держалась непосредственно после мартовских дней. [Тогда] она была разбита, она была уничтожена, она почти падала под бременем сознания своего собственного ничтожества и скверны и стыдилась самой себя и не питала никаких надежд. Тогда она считала целесообразным и благоразумным отрекаться от собственных принципов и даже от своего существования. Откуда же она берет те-

перь смелость снова выступать так гордо? Обрела ли она в самой себе новую силу, новую мысль? Нет, у нее нет мыслей, она импотентна и труслива, как и до того, но теперь она рассчитывает на поддержку России. Ибо русский царь заговорил: он сосредоточил армию больше чем в двести тысяч человек, просто обсервационный корпус, в Царстве Польском, на германской границе, и

«Николай — наша крепость и наш щит!» *

Отрывок 2.

В июне Николай мог уже свободно вздохнуть: первая волна революции, которая могла быть для него столь пагубною, была разбита. Первый удар был нанесен революции в Бадене ужасным предательством по отношению к полякам в Познани, а затем в Кракове порыв немцев к свободе был расстрелян немецкими же руками. Краков и гнусное изгнание польских эмигрантов были неизбежными последствиями [2]. За сим наступило удивительнейшее и печальнейшее явление. Та самая польская эмиграция, которая незадолго до того проделала триумфальное шествие через всю Германию, была отброшена назад с неслыханною жестокостью и грубостью. Те самые люди, которые [раньше] так громко кричали «да здравствуют поляки!», теперь осыпали бедных благородных изгнанников бранью. Да, я сам слышал в демократических клубах выступления дельных и искренних демократов против поляков. Это было удивительнейшее ослепление, а в ослеплении — отвратительнейшая и грубейшая несправедливость. Это было ослеплением потому, что беда и поражение поляков было одновременно поражением и немецкой свободы. Те **, кто радовался поражениям поляков в Познани и Кракове, этим самым приветствовали гибель немецкой свободы. То же самое было и с Прагою (рассмотрение славянского вопроса, немецкого единства, немецкой свободы, солидарности свободы, как и угнетения — Прага — Виндишгрец — Вена), Славянством было выдвинуто в качестве ближайшей революционной задачи низвержение деспотизма в России. (Заявление). Господин Фридман в Бреславле [3].

* «Eine feste Burg ist unser Nikolai!». Пародия на лютеровский перевод псалма.

** Здесь в оригинале, т. е. в писарской копии, написано неразборчиво не то Hände (руки), не то скорее Stände (сословия, земские чины).

После бомбардировки Праги император Николай оказался в самом блестящем положении. Кровавые события в Польше и Кракове, бомбардировка Праги, несправедливые постановления Франкфуртского парламента исторгли у всего славянства общий крик негодования. Если бы было действительно верно, будто Николай собирается стать во главе славянского освобождения, то он уже мог бы и должен был бы сделать это как раз в июле и августе. Ибо негодование против немцев в славянских землях и во всей Польше, особенно в Познани, где настроение до сих пор таково, что достаточно было бы малейшего знака императора для того, чтобы все немцы и евреи были перебиты, а так как это настроение против немцев и евреев является, так сказать, искусственным и с каким-то особым усердием поддерживается ими же самими (пропуск) *... Празднества и демонстрации. Разговоры о русских агентах, — но для чего нужны агенты, когда немцы сами так хорошо работают в руку русского императора? Такое (пропуск). Глупое слово в Франкфурте, в Польше или в Праге действует сильнее, чем тысячи талеров. И все это император мог использовать: одно его слово, одно мановение руки — и все [славяне] собрались бы под его знаменем [4].

Все тогда с напряжением ждали этого слова, этого жеста. Почему он не произнес этого слова, не сделал этого жеста? Мало того, почему он сделал обратное? Он варварски прогнал сквозь строй четырех благородных польских юношей [5] и написал генералу Виндишгрецу [6] собственноручное благодарственное письмо за бомбардировку Праги. Оба эти шага, совершенные с специальным умыслом, помогли, казалось, славянам отделаться от их энтузиазма по отношению к нему. Странное зрелище: в данный момент [германские правительства] в своей славянской политике делают все для того, чтобы вопреки своим интересам услужать императору, а Николай делает все для того, чтобы вопреки своим интересам оказывать услуги немцам.

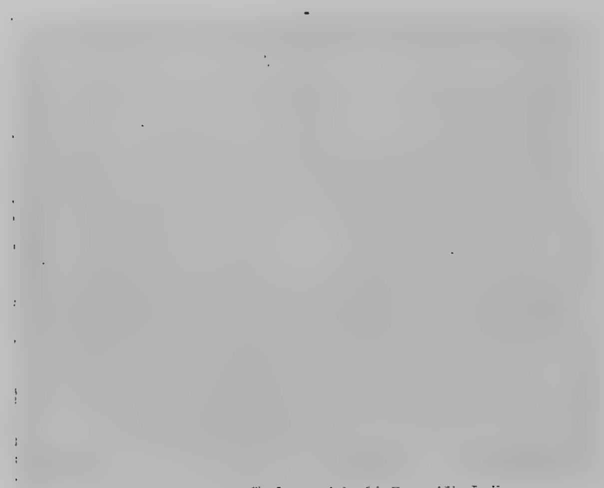
Это произошло не случайно, а имеет очень глубокий смысл. Это показывает, что германские правительства — не враги Николая, и что Николай — не враг германских правительств, а только враг свободы, будь то немецкой или славянской.

---

* Фраза не закончена в оригинале.

Картины майского восстания в Дрездене.

1. Баррикада на большой Женской улице.
2. Сцена на баррикаде.



Картины майского восстания в Дрездене.

1. Старый рынок во время восстания.
2. Пожар Оперного театра.

Отрывок 3.

Таким путем он мог бы сказать возбужденным и рвущимся к свободе народам Европы: «Смотрите, подначальные народы, в то время как вы, одурманенные ядом новых начал, разделившиеся на партии, впавшие во власть анархии, изнуренные болезнями и тяжко израненные, бессильно повержены во прах, я, самодержавный властитель шестидесяти миллионов, стою непоколебимо, сильный любовью и поклонением моего объединенного дисциплиною народа, безусловная покорность которого облекает меня как бы в железную броню. Бойтесь же моего гнева и покоритесь моей воле, ибо я велик и могуществен, а революция замирает у порога моей империи».

Такою рисуется мощь русского царя в обратном отношении к чести русского народа.

Перевод с немецкого.

№ 529. — Наброски брошюры о русских делах.

[Осень 1848 года — весна 1849 года.]

Отрывок 1.

Никогда пожалуй за Россией еще не следили с таким тревожным вниманием, как в настоящее время. Никогда еще не стояла она перед миром в столь таинственном и угрожающем виде. Все остальные страны уже высказались и достаточно известны. Правда, и в самой Европе нельзя всего предсказать, ибо и там путаница и противоречия велики, и может еще случиться много неожиданного. Но во Франции, Англии и Германии партии известны, их стремления известны, и можно — по крайней мере до известной степени — рассчитать последствия победы каждой из них. Одна Россия составляет исключение. О России почти ничего не знают: огромная, чуть ли не безграничная империя, огражденная китайскою стеною, через которую не проникает ни один живой звук, будь то стон боли или крик радости.

Первое опьянение, овладевшее всеми после поразительных событий последнего времени, прошло. Одно время под влиянием юношеского воодушевления, для нашей эпохи действительно вредного, ждали чудес, одно время мечтали о том, что все стремления и глубочайшие вопросы человечества и свободы найдут.

как в детской игре, легкое внешнее и внутреннее разрешение в радостном единогласии человечества, пришедшего к сознанию своего братства.

Ныне этот период закончился. Мы снова отрезвились и таким образом из несколько романтического пролога революционной драмы вступили в тяжелое испытание ее первого акта.

Между тем как Европа глубоко потрясена революциею, а все остальные народы, охваченные демоническими силами нашего времени, раздроблены на партии и распались на два обширные стана — на народ собственно и на буржуазию, непримиримая вражда между которыми прекратится не раньше, чем один из них совершенно победит и покорит другой, между тем как все они готовы низринуться в бездну страшной анархии и страшной, кровавой, беспощадной гражданской войны...

(На этом отрывок кончается).

Отрывок 2.

Никогда пожалуй за Россиею еще не следили с таким тревожным напряжением, как в нынешнее время. Никогда еще не стояла она перед миром в таком таинственном и таком угрожающем виде: необъятная шестидесятимиллионная империя, спокойно и гордо высящаяся посреди всеобщей сумятицы и единственно, по крайней мере до сих пор, предохраненная и незатронутая революционными молниями. В то время как остальные европейские государства, объятые демоническими силами нашего времени, потрясенные до своих глубочайших оснований, распавшиеся на партии, с роковою быстротою движутся навстречу анархии и страшной, кровавой, беспощадной гражданской войне, она в тиши собирает свои силы и готовится к борьбе. К борьбе с кем и за что? Вот в чем вопрос! Известно во всяком случае, что в Царстве Польском сейчас стоит армия, насчитывающая свыше 200 000 человек, хорошо вооруженная и готовая к войне, а другая, почти столь же сильная, армия сосредоточена на финляндской границе.

Относительно цели этих вооружений и относительно планов русского царя ходят самые разнородные и самые противоречивые слухи. Одни полагают, что он хочет освободить Царство Польское и стать во главе славянского освободительного движе-

ния. Другие напротив утверждают, что император Николай не может иметь ничего общего со свободою; освобождение и дарование свободы не являются ни его назначением, ни его привычкою, ему скорее свойственно порабощать и помогать порабощению; главною его целью является подавление революции в Европе.

С своей стороны я совершенно согласен с последними. Я хочу рассмотреть этот вопрос поосновательнее.

Когда впервые появился слух о том, будто император Николай собирается восстановить Польшу, Польшу в полном объеме, с герцогом Лейхтенбергским в качестве ее короля? В апреле — начале мая этого * года, в момент, когда дела русского владычества в Царстве Польском обстояли весьма плохо. Тогда во всем Царстве Польском имелось не более одного корпуса в 30 000 солдат, и требовалось не меньше двух-трех месяцев, для того чтобы стянуть туда значительную армию. Ибо европейская революция разразилась внезапно и совершенно неожиданно. Ничто не было готово, все находилось в величайшем беспорядке. Когда пришли первые вести о революции в Париже, русские чиновники и генералы в Варшаве были охвачены паническим страхом. Нетрудно себе представить, как они должны были себя чувствовать, когда вскоре после того на них посыпался удар за ударом, и начали приходить одно за другим известия о революции в Вене и Берлине, и когда они узнали, что предстоит освобождение Великого Герцогства Познанского и Галиции, и что вся Германия в первом порыве своего пробуждения требует полного восстановления великой независимой Польши. Рассказывают, что русские чиновники и генералы от страха почти лишились рассудка; они не спали по ночам, некоторые уже укладывали свои вещи, а другие посылали своих жен к знакомым полякам с вопросами, когда должна начаться революция, и когда им следует убираться вон.

Наиболее злостные и пользующиеся особенно плохою репутациею вроде начальника полиции Абрамовича и других кровавых собак жестокого царя **, позорные и злодейские деяния которых вопиют к небу и которые замучили такое множество благородных польских патриотов, стали вдруг кроткими и гуманными. Тюрьмы раскрылись, и — неслыханное дело — Варшава,

* Т. е. 1848.
** Это место неясно в тексте оригинала (копия).

эта святая страдалица, эта мученица патриотизма и свободы, Варшава заговорила свободно! А русская армия, это тридцатитысячное войско, было настроено так, что в случае восстания половина дезертировала бы и присоединилась бы к инсургентам, потому что русским солдатам живется не сладко на службе и они не питают никакой ненависти к полякам. Вот доказательство справедливости этого утверждения: когда они узнали, что в Великом Герцогстве Познанском формируются польские кадры, то многие, многие русские солдаты перешли к ним, и если бы эти кадры просуществовали дольше, то число дезертиров возросло бы до огромных размеров. Русские офицеры с своей стороны открыто братались с поляками и были с ними солидарны, ибо те из них, которые долго простояли в Польше, признали справедливость и святость польского дела, а также поняли, что освобождение Польши является одновременно и освобождением России.

В мае месяце 6 офицеров и один полковник были расстреляны за составление заговора совместно с поляками[1].

Ничто не может сравниться с настроением в Царстве Польском, с радостью и надеждою столь давно порабощенных поляков, с растерянностью русских чиновников при получении известия об образовании польского лагеря в Великом Герцогстве Познанском.

Строго отвечает правде и ничуть не грешит преувеличением утверждение, что если бы в то время перешел границу хотя бы небольшой отряд в 2 000, даже в 1 000 поляков, хорошо вооруженных и везущих с собою оружие, то поднялась бы вся польская земля. Если бы Пруссия тогда пожелала этого и вместо придирок к полякам в Познани предоставила им свободу действий, оказав им только поддержку оружием и деньгами, то теперь Варшава была бы независимою, а война, революционная война велась бы у самих русских пределов, так как Россия, полная горючих материалов, ждет лишь воспламеняющей искры.

Прусское правительство этого не пожелало, ибо хорошо знало, какие последствия будет иметь освобождение Польши для Германии и особенно для Пруссии. Деспотическое русское царство составляет главную опору деспотизма в Германии. До тех пор, пока в России в области внутренних и внешних дел все будет оставаться в прежнем виде, настоящая, действительная, полная свобода в Пруссии, а следовательно и в Германии будет невозможна. Своими польскими провинциями Пруссия, а через Прус-

сию и Германия прикованы к России как бы железною цепью. Стоит только представить себе демократическую Польшу и революционную Россию на севере, — разве при таких условиях какая-либо реакция в Германии была бы возможна?

Революция в Польше и в России означает революцию во всей Германии. Революция в Польше означает гибель Пруссии как отдельного государства, так как все говорящие по-польски прусские провинции, не исключая и поляков Верхней Силезии, неминуемо вернутся тогда к Польше.

Но без этих провинций Пруссия не может существовать как отдельное государство, она должна была бы компенсировать себя с помощью насилия за счет других германских государств, как то Мекленбург, Ганновер или Саксония, или за счет всех их вместе. Но это невозможно; этого не сможет допустить остальная Германия: это означало бы распространение прусского деспотизма на всю Германию. И таким образом у Пруссии не оставалось бы другого исхода как окончательно прекратить свое существование в качестве отдельного государства, т. е. полностью и безоговорочно раствориться в Германии, в немецком единстве. Но такое растворение означало бы полное революционизирование всей Германии, потому что Пруссия, могущественнейшее среди германских государств, не может раствориться в германском единстве, если все остальные германские государства как таковые не исчезнут вместе с нею, т. е. если 34 правящих дома не будут все сразу низложены и медиатизированы, что невозможно без глубочайшего переворота и потрясения всей страны.

Таким образом, если Пруссия должна остаться отдельным государством, она не может отказаться ни от одной из своих польских провинций; она должна сохранить их во что бы то ни стало и ценою любого насилия. В этом вопросе не следует строить себе никаких иллюзий: это — логическая, железная необходимость, и мне представляются крайне смешными те, кто с одной стороны желает освобождения Польши, а с другой — хочет сохранения Пруссии как государства. Это смешение понятий в настоящее время большею частью приходит к концу, но в начале революции оно пользовалось довольно широким распространением. Здесь нужно отметить, что правительство, подвергавшееся столь резким нападкам, смотрело на вещи гораздо правильнее, чем многие сентиментальные и непоследовательные, половинчатые [люди], которые вечно парят вне времени и над

народами и никогда не решаются примкнуть к тому или иному отважно настроенному человеку *. Оно исходило из предпосылки, что Пруссия должна остаться государством, отдельным и могущественным по своему значению государством; а в таком случае оно должно было действовать так, как действовало, парализуя движения Польши.

С другой стороны Пруссия как государство никогда не сможет стать действительно свободным государством, ибо первым условием свободы является естественно сложившийся организм; прусское же государство есть государство, искусственно, механически составленное, а следовательно подлежащее сохранению с помощью военной силы. Как государство Пруссия не может также никогда освободиться от влияния России, потому что она прикована к ней своими польскими провинциями. Тем, что она вместе с ней воровала в Польше, она запродала ей свою душу и свободу своих действий. Имелось бы одно средство, если бы оно было осуществимо; но это совершенно невозможно: история это доказала, и никому оно до сих пор не удавалось; поэтому от него приходится раз навсегда отказаться. Славянская нация от природы живуча и в частности обладает отличительным свойством не смешиваться с немецкою нациею и, если последняя пытается навязать себя ей, питает к ней род непреодолимого нерасположения; он[а] находит ее грубою, и от этих [приемов] немцы как люди разумные и особенно как люди честные должны раз навсегда отказаться **. Онемечение поляков и вообще славян невозможно и останется невозможным и в будущем. *А немецкое трудолюбие* представляет как раз такой аргумент, который нас, славян, очень мало трогает; что же касается *немецкой* честности, то как раз в этом пункте она проявляется довольно оригинально. Ведь утверждает же известная партия в Германии, что бо́льшая часть Великого Герцогства Познанского и вся Богемия — уже немецкие; что эти страны завоеваны *немецким трудолюбием и немецкою честностью*. Но горе немцам, живущим в этих странах, если они еще долго будут оперировать столь умными [аргументами] и пускать в ход соответственные действия.

---

* Здесь неясно в оригинале-копии; возможно, что в бакунинском манускрипте было сказано «отважному решению».

** Здесь напутано или в самом бакунинском подлиннике, который ведь представлял необработанный набросок, или в писарской копии, имеющейся в «Деле».

Таким образом поляки и в прусском государстве останутся вечно поляками; только силою можно будет их удержать. Вследствие этого их ненависть к Пруссии, а через нее и к Германии растет с каждым днем; и именно с помощью этой ненависти Россия держит Пруссию в руках: в ее власти всегда остается возможность возмутить эти провинции. Ибо — и здесь не следует допускать никаких иллюзий — если бы дело приняло такой оборот, что Пруссия освободила бы от Германии только свои польские провинции, то поляки этих провинций при всей своей ненависти к русскому деспотизму в первое время выступили бы с русскими против немцев: *во-первых* потому, что в конечном счете русские — все-таки славяне, т. е. люди по племени родственные *, а по нравам и образу жизни стоящие к полякам гораздо ближе, чем немцы: немец и славянин диаметрально противоположны друг другу по самому своему существу; а *во-вторых* потому, что они будут надеяться, что таким путем все остальные оторванные от Польши части — Великое Герцогство Познанское, Западная Пруссия и Галиция — вместе попадут под власть России и таким образом снова объединятся в большую Польшу, которая тогда сумеет легче освободиться и от русского ига.

Таким образом ясно, что до тех пор, пока Пруссия остается государством, она должна силою сохранять польские провинции, т. е. остаться военным и по крайней мере наполовину деспотическим и зависящим от России государством. Свобода прусского государства может быть только в высшей степени умеренною, расцветающею под особенным воздействием российской дипломатии свободою. Стоит ли мне доказывать, что до тех пор, пока Пруссия останется таким могущественным государством, Германия будет всегда от него зависеть, а значит никогда не станет действительно свободною и великою? Это слишком ясно и достаточно чувствуется и сознается всеми.

Связь вещей такова, что если бы Пруссия освободила Польшу и внесла революцию в пределы России, то она сама нанесла бы себе смертельный удар. Вот почему, когда она посылала своих померанцев против поляков, она этим оказала конечно величайшую услугу русскому императору и предала свободу, честь и независимость Германии, но вместе с тем и именно этим она,

---

* В писарской копии сказано Namensverwandte вместо Stammesverwandte, как вероятно написано было в подлиннике у Бакунина.

по крайней мере на некоторое время, спасла от гибели прусское государство.

Отрывок 3.

Три крупные события, образующие... исходный пункт новой русской жизни, суть: бунт Пугачева, сожжение Москвы и неудачное восстание 1825 года.

Отрывок 4.

После [войн] 1812 и 1815 годов Россия, старая Россия Петра Великого, достигла своего апогея. Вся Европа признала ее, слушалась ее и боялась ее. Что могла она сделать после того? Или становиться все более страшною путем дальнейшего распространения войн за наследства и захватов, или же обратиться внутрь себя и приступить к делу внутренней эволюции, к свободному развитию столь долго молчавшей национальности *.

В течение некоторого времени Александр [I] предавался мечтаниям. Он был романтиком, т. е. человеком, имевшим смутное предчувствие лучшего, но не имевшего сил для осуществления этого лучшего. А между тем задача была чрезвычайно трудна: требовалась не просто реформа, а целая революция. Со времен Петра Великого до рассматриваемого времени народ, так сказать, не проявлял никаких внешних признаков жизни, вся история была сплошным насилием над его национальным характером с целью сделать его великим, и народ этому покорился: он позволял мудрить над собою, но его внутренняя природа нимало не участвовала в этой операции. Теперь надлежало взять новое направление, дать народу жить внутреннею национальною жизнью, т. е. решительно порвать с прошлым. Это было бы по плечу какому-нибудь Петру Великому, а может быть, даже и не ему, ибо легче насильно дисциплинировать народ и силою придавать ему тот или иной облик, чем предоставить ему жить свободною жизнью. Только сам народ мог создать себе надлежащую жизнь, поскольку это касается естественных последствий и условий ее осуществления: ломки всей прежней иноземной, немецко-прусской администрации (ее цели, деньги и солдаты) и установление славянской внешней политики: свобода Польши. После некоторых колебаний Александр вернулся к прежней по-

* Здесь неясно в немецком тексте.

литике. Но теперь это была уже не старая, непринужденная политика, а реакция, реакция как во внутренних, так и во внешних делах, потому что в России, как и в Европе, уже начиналась новая жизнь.

Отрывок 5.

Ни по всему своему положению, ни по своему характеру Николай не может освободить поляков и славян; он может только порабощать, и цель его заключается в том, чтобы всеми находящимися в его распоряжении средствами подавить свободу в Европе и прежде всего в Германии и усилить везде реакцию.

Да будет мне позволено несколько шире рассмотреть этот вопрос.

Внутренняя и внешняя политика государства неразрывно связаны и друг друга обусловливают, так что одна сторона составляет всегда сущность другой. Николай никогда не может освободить славян, не освобождая поляков, он не может освободить поляков, не переставая быть деспотом в России, и не может перестать быть деспотом в России, не подрывая своей власти, самого корня своей власти, существования своего и своей династии, даже самой Российской империи.

Россия настолько мало известна, на ее счет существует столько предрассудков, что для выяснения ее настоящего состояния я позволю себе привести некоторые исторические соображения.

В чем заключается центральная черта Российской империи и на чем зиждется мощь этой империи? (Историческое обоснование).

Из всех славянских племен великорусское является единственным, сохранившим независимость и могущество, — в этом его честь, доказательство присущей ему незаурядной силы, право его на уважение со стороны братских ему племен, но в этом же заключается и его бесчестье, его несчастье, потому что оно сохранилось и достигло могущества не всегда чистыми средствами, а очень часто путем пожертвования своею славянскою природою.

Спор между Россиею и Польшею — это спор между славянскою свободою и славянскою силою.

Лишь путем совместного выступления обе оне выполнят свое назначение: Россия представляет силу, Польша — свободу.

Прошлое России и Польши может быть выражено в следующем положении (конечно признавая, что всякое подобное положение отвлеченно и односторонне): Россия принесла все в жертву силе, а Польша — свободе и, что особенно замечательно, обе этими различными путями пришли к одинаковому результату: Польша погибла вследствие свободы, а Россия близка к гибели вследствие силы и дисциплины.

В основе русского, равно как польского и всякого другого славянского быта лежит патриархальный общинный уклад.

Русское государство ведет начало только с московских князей, с развития под властью монголов и наперекор ей. Зарождение государственной централизации и выработка силы и единства составляли до сих пор главное содержание русской истории. [Здесь действовала] не одна княжеская дипломатия, но также и самый инстинкт всего русского народа, который, будучи побуждаем, так сказать, предчувствием предстоявшего ему великого будущего, все принес в жертву дисциплине, единству и силе. Что это было вместе с тем и национальным порывом, доказывает освобождение Москвы от поляков, которое совершилось лишь в результате национального подъема и имело своим последствием избрание абсолютного монарха *.

Петр — выполнитель этого стремления и Петр — это русская история, история силы и единства с устремлением вовнутрь, так сказать, для себя, в сокровенной глубине. Россия была известна Европе уже во времена предшественников Петра, но известна мало, в качестве далекой варварской, сказочной страны. История России со времен Петра заключается в проявлении русской мощи и единства вовне, — [сюда относятся] завоевания Петра и до 1812 года, когда начинается новая жизнь. Какова в сущности основная мысль всех преобразований Петра Великого? Сделать Россию могущественною вовне, и его... (пропуск) реформа.

Не основанное на жизни нации развитие, а обращение нации в машину, доставляющую правительству возможно большее количество солдат и денег, машину завоевательную. И таким образом мы видим, что прежде чем в России появилась аристократия, при (пропуск) было введено, а при Петре упрочено крепостное право просто в качестве меры полицейского порядка,

---

* Здесь неясно в оригинале.

финансовой и рекрутской. И, как уже сказано, до 1812 года народ был вполне единомыслен с правительством, а в области военных побед даже проявлял воодушевление, русский народ проявлял и до сих пор проявляет государственный смысл и интерес *. С XIV до начала XIX века вся жизнь [его] была естественно не чем иным как только строительством государства.

В продолжение пяти столетий [господствовал] один лишь главный интерес, одна лишь основная мысль: величие государства, которому все приносилось в жертву (основание—сохранение патриархально-общинного уклада, но при этом и центральной власти путем создания служилого дворянства — из этих двух элементов сложилась новая Россия). Со времен Петра Великого и до настоящего времени не было проведено никаких существенных внутренних преобразований. Права дворян (никакой действительной свободы, а скорее финансовые мероприятия **, чиновники по выбору дворянства), Павел... (пропуск), а в заключение университеты, гимназии. Но все это носило как бы случайный характер и давало не те результаты, какие были желательны. Жалобы немецкого аристократа-путешественника *** на революционный дух славян. Миазмы! (2-й, 129) [2]. И таким образом все время налицо были две громады — народ и администрация с княжеским дворянством: первый не имел ничего общего со второю, но терпел ее по инстинкту государственности, а тем временем жил своею собственною потаенною жизнью: религиозные секты (религиозные секты носят в то же время и по-

* Здесь неясно в оригинале.

** В оригинале, т. е. в писарской копии, имеющейся в «Деле», здесь написано слово, которое можно прочесть приблизительно так: Manonie или Mauouie. Приходится предположить одно из двух: или писарь переврал стоявшее у Бакунина в подлиннике слово Massnahmen (мероприятия), или же что здесь у Бакунина стояло еще непереведенное на немецкий слово «Тяготы», написанное по-русски, так что первая буква была, может быть, не М, а Т (она у писаря в копии так и написана как рукописное русское Т: *m*.

*** Здесь Бакунин имеет в виду прусского барона Августа Гакстгаузена, в 1843—44 годах путешествовавшего по России и выпустившего затем на немецком языке книгу „Studien über die innere Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands", впоследствии переведенную и на русский язык и сыгравшую известную роль в истории нашей общественности.

литический характер) это — проявление поступательного развития народа, его самоуверенности и первого протеста народа, первое проявление совершающейся внутри его работы осмысливания своей жизни. Восстание Пугачева, а в нем два элемента: 1-й (пропуск), 2-й: объединения против дворянства, 3-й: против царя.

Царствование Екатерины II завершило систему Петра Великого, которой (пропуск) и высшая точка [приходятся] на 1812 год. С начала своего развития России пришлось вести борьбу с четырьмя врагами своего существования: татарами, турками, шведами и поляками. С татарами она справилась раньше всего. Шведы получили при Петре смертельный удар, при Александре (пропуск). Турки также, особенно при Екатерине. Борьба с поляками была самою трудною, а для России, для ее внешней, равно как и внутренней жизни была особенно важною. Благодаря племенному родству этих двух крупнейших и сильнейших ветвей славянства спор между ними шел, можно сказать, о том, кто из них будет представлять славянство. Именно благодаря родству поляки — злейшие враги России. Поляки в Москве.

В конце концов поляки [терпят] поражение. Грех России. Последствия ее отвлеченного неславянского развития. Измена славянству, выразившаяся в разделе славянского государства с заклятыми врагами славян. Немецкие зверства.

Но здесь выясняется, что подобно тому как Польша не может существовать угнетением России, так и Россия не может существовать угнетением Польши. Ненависть между этими двумя странами есть только обратное выражение их взаимной любви, их взаимной необходимости друг для друга; ни одна из них не может существовать без другой, ни одна из них не может существовать ненавистью или угнетением другой, истинное существование обеих возможно лишь при их нераздельной свободе и независимости, и обе они призваны к спасению и освобождению славянства. Примирение Польши с Россиею равносильно разрешению, общему разрешению славянского вопроса.

Перевод с немецкого.

№ 530. — Письмо д-ру К. Сабине[1] и Э. Арнольду[2].

(30 апреля 1849 года.)

Дорогие и уважаемые друзья!

Подателя сего письма Реккеля[3], депутата только что распущенной второй * палаты, одного из самых видных вождей демократической партии в Саксонии, я рекомендую вам как одного из моих лучших друзей и как вполне надежного и дельного человека. Он едет к вам, чтобы столковаться с вами и вместе с вами постараться объединить чешское движение с движением немецким. Нам нельзя упускать времени, — его очень немного в нашем распоряжении, — чтобы все подготовить. Если в ближайшем будущем не вспыхнет восстание, то придут русские, так как реакция в Европе действует по одному плану, а Россия — опора всех реакционных предприятий. Здесь мы вступили в сношения с одним мадьярским агентом[4] и через 2 — 3 дня получим из Парижа деньги; мы сейчас же пошлем вам некоторую сумму денег, размер которой будет зависеть от того, сколько мы получим сами.

Я бы очень желал вашего прибытия сюда, чтобы сговориться с нами, т. е. с приехавшим мадьяром, с двумя поляками, прибывшими из Парижа в целях совместной работы **, и со мною.

Если еще возможно, приезжайте в Дрезден и обращайтесь к Виттигу[5], редактору «Дрезденской Газеты», Остраалле, редакция «Дрезденской Газеты».

Будьте здоровы. До скорого свиданья.

Ваш

М. Бакунин.

30 апреля, Дрезден, 1849 года.

Письмо сейчас же сожгите.

* Саксонской.
** Польские эмигранты В. Гельтман и А. Крыжановский[6].

Перевод с немецкого.

№ 531. — Письмо И. В. Фричу[1] и братьям А. и Г. Страка[2].

[30 апреля 1849 года.
Дрезден.]

Милые друзья, вам уже известен податель этой записки *, — окажите ему полное доверие. Он является к вам по моему поручению.

Ваш

Максимилиан.

Перевод с чешского

№ 532. — Письмо братьям Адольфу и Густаву Страка.

[4 мая 1849 года.
Дрезден.]

Дорогие друзья!

Здесь в Дрездене вспыхнула революция, король бежал, провозглашено Временное Правительство. Спешите же как можно скорее начать революцию! Если же нуждаетесь в деньгах и офицерах, пишите нам безотлагательно. Наш адрес теперь другой; новый таков: Au Madame.

(Без подписи).

---

* Саксонский депутат А. Реккель.

№ 533. — «Русские дела».

(Картина современного положения).

Содержание: I. Армия. II. Народ. III. Дворянство. IV. Церковь и духовенство; чиновничество и финансы.

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ.

Настоящее сочинение было сдано в печать в начале нынешней весны, и тогда же были помещены выдержки из него в газетах. Обстоятельства, не зависящие от воли автора, до сих пор задержали выход в свет этой брошюры.

24 июля 1849 года.

I. Армия.

В тот момент, когда последняя решительная схватка реакции с революциею, с мировою демократиею вырисовывается как неизбежная необходимость, когда кровоточащая из тысячи мелких ран деспотическая власть со своими прихвостнями из родовой и денежной знати, из армии и церкви упорно обращает свои взоры на своего друга и покровителя — русского царя — и угрожает нам казаками, с этим противником познакомиться необходимо. В то время как одни полагают, что простого имени России достаточно для того, чтобы загнать демократию в мышиную нору, и верят в силу русской армии и в неисчерпаемость хранящейся в Петропавловской крепости государственной казны как в евангелие, другие подхватили фразу, что Россия это — колосс на глиняных ногах, и считают себя поэтому вправе издеваться над ее мнимою мощью. Обе стороны неправы: мы не должны *ни презирать ни бояться* этого врага. И настоящая, равно как и последующие статьи должны правдивым изображением русских дел дать немцам возможность составить себе правильное суждение о них.

Оборонительное, спокойное отношение России к бурям, потрясшим в прошлом году Францию и Германию, гигантские приготовления к войне и в то же время упорное сохранение вооруженного мира, сосредоточение войск у германской границы и вместе с тем безучастное наблюдение того, как у союзных дворов Потсдамского и Венского была исторгнута конституция, подали повод к ученым гипотезам и толкованиям. Как так? — задается вопрос: — ведь царь знает, что в случае победы демократии во Франции и Германии он сам погиб; почему же он не

спешит на помощь своим союзникам со всей тою силою, какая находится в его распоряжении? Разве ему приходится опасаться внутренних волнений и даже бороться с ними? Хочет ли он дождаться официального приглашения к вмешательству или же боится силы Англии и Франции в случае такового? А теперь, когда он фактически уже начал вмешательство в Семиградии, почему он сделал это с такими небольшими силами, раз уже повод к войне налицо? Мы не хотим оспаривать веса этих политических соображений, однако действительную причину этого видимого спокойствия мы находим в самом состоянии *русской армии;* не в ее внешнем состоянии, не в ее снаряжении и вооружении, а во внутреннем, в настроении солдатских масс и младшего офицерства.

Ни одна армия в мире, утверждаем мы, не может быть легче деморализована, чем русская. Причины этого начинают действовать с момента набора рекрутов и продолжают еще действовать после увольнения старых солдат. Приходит указ, требующий от такой-то губернии поставить столько-то тысяч человек, и тут-то открывается целый ряд насилий и предательств, ухищрений и подкупов, связанных со всяким рекрутским набором. На намеченную жертву набрасываются ночью, отрывают мужа от жены, от детей, от слепой матери, вырывают сына из объятий престарелого отца — часто лишь потому, что у сына красивая жена, или потому, что он оскорбил барского бурмистра во время барщины. Ему забривают лоб; отныне он принадлежит императору. Но его село и родные говорят, что он обречен на смерть, и провожают его причитаниями и пением похоронных песен, прощаясь с ним навеки. Они совершенно правы, так как именно среди новобранцев смертность особенно высока, и ее можно принять равной 10%, так как человек должен среди зимы сменить привычную шубу на убогую солдатскую одежду, остричь свои длинные густые волосы, а вдобавок по дороге его обкрадывают на кормовых деньгах, так что он прибывает в свой гарнизон еле живым от голода. Теперь он — солдат, правда в настоящее время только на десять лет, но он — *русский* солдат, то есть машина, скотина, обреченная на постоянный голод и нестерпимые побои, и если он падает под этим бременем, то умирает никем неоплаканный. Солдат на службе должен быть постоянно начеку, у него нет ни минуты покойной; вся его жизнь сводится к маршировке, стоянию на часах, учению, чистке обмундирования

Russische Zustände.

Ein Bild aus der Jetztzeit.

Inhalt:

I. Das Heer. II. Das Volk. III. Der Adel. IV. Kirche und Pfaffenthum; Beamtenthum und Finanzen.

Zweite Auflage.

Leipzig,
Verlag von H. Matthes.
1849.

Обложка брошюры „Русские дела".

и оружия. Единственные слова, которые он может произносить, прав ли он или виноват, это — «слушаюсь» *.

Как туго натянута царем тетива этой принудительной службы, и как легко она может при благоприятных условиях лопнуть, показывает случай, имевший место несколько недель тому назад на восточно-прусской границе. Расквартированные там батальоны получили пополнение в виде новобранцев из внутренних губерний, жалких, полумертвых от голода людей, которые в первые дни не в силах были держать в руках оружие. Чтобы скорее привести их в годный для службы вид, учение производилось им 6 раз в неделю на глинистой, размякшей от дождя почве, так что у людей все время уходило на учение и чистку вещей. Одновременно пришел из Петербурга приказ, чтобы для ускорения подготовки этих войск учение производилось и по воскресеньям. Когда этот приказ был им прочитан, людей охватило всеобщее негодование. Командир положил приказ в карман, и все осталось попрежнему. Один офицер из этой части пришел с учения промокший и весь в грязи и в присутствии своих товарищей сорвал с себя кивер, мундир, все вплоть до рубашки и стал ругать царя за эту собачью жизнь, не думая о том, что он может быть выдан каким-нибудь доносчиком.

Вдали от своих, лишенный каких-либо прав и вдобавок ежедневно обкрадываемый своими офицерами на половину своего жалкого жалования, составляющего около 6 рублей в год, получая в пищу скверный, плохо выпеченный хлеб и небольшое количество гречневой каши, солдат принужден воровать, чтобы досыта есть и пить. Но и этот источник радости превращается для него в источник новых побоев даже в том случае, если его посылает на кражу, давая ему за это на-чай, его собственный капитан. Правда, в России существует так называемая генеральская инспекция полков, во время которой солдат на бумаге имеет право принести жалобу на свое начальство. Полковник, являющийся величайшим мошенником в полку, должен только поскорее преподнести генералу несколько тысяч рублей, и его полк будет найден в полном порядке. Если же какой-нибудь солдат посмеет жаловаться, то с ним случится то, что рассказывает Тургенев **: «Один кавалерист высказал генералу жалобу и в

---

* Это слово написано в оригинале немецкими буквами.

** Николай Иванович [1].

ответ получил перед всем полком пощечину. Возмущенный этим полковник тотчас же удалился. Генерал этого не понял и сказал: «если я заткнул глотку этому наглецу, то сделал я это как в интересах ваших, так и в интересах воинской дисциплины».

Если захворавший солдат попадает в лазарет, то он должен благодарить только свою собственную природу, если он не помирает от лечения и жульнической диэты, установленной лазаретным персоналом в интересах своего кошелька. Все это известно всей России, новобранец в подробностях знает свою участь из рассказов отпускных солдат, но эти злоупотребления тем не менее доводят его до высшей степени ожесточения, и он старается бежать из этой кабалы, куда глаза глядят. Существует же солдатская поговорка: «нас только ленивый не бьет».

Подготовленный таким образом армейский солдат приходит на три года в Польшу и, несмотря на строгий надзор, несмотря на страшные наказания, он уходит оттуда пропитанный демократическими идеями. Это обучение гвардейских полков берет на себя сам император и особенно великий князь Михаил бессмысленным служебным истязанием, которому он подвергает этих своих кукол. Эти полки видят близко двор и всю дворцовую жизнь; они знают, что император смертен. Как раз среди гвардии, с которою император особенно заигрывает и с помощью которой он повидимому собирается теперь раздавить Германию и демократию, господствует раздражение против царской фамилии, смело проявляющееся в отвратительнейших ругательствах, которыми так богат русский язык. Во время принимаемых императором парадов офицеры зачастую принуждены отходить в сторону, дабы не слышать тех ругательств, которые измученные солдаты посылают по адресу царя.

Когда в прошлом году царь выпустил свой пресловутый боевой манифест против «басурманов» [2] и обрисовал перед гвардейцами все прелести военного похода во Францию и Германию, то на лицах этих избранных жертв царского воинственного каприза не появилось ни малейшего признака радости, и, несмотря на троекратный вызов, обязательное воодушевленное «ура» не сорвалось с их плотно сжатых губ. Император вернулся во дворец, и гвардейцы *не* пошли в поход.

Мы уже упоминали о Польше как о высшей демократической школе для русских. Это верно как в отношении офицеров, так и в отношении нижних чинов. Поляки хорошо знали, что

делали, когда в 1831 году написали на своих знаменах: «за нашу и вашу вольность!». Русские тоже проливали свою кровь за Польшу. Мы не говорим здесь о первом сближении обеих наций во время заговора 1825 года, мы говорим о 1839 * годе, когда русские офицеры составили заговор в Вильне для освобождения польского эмиссара Конарского **. Несчастливо сложившиеся обстоятельства или же низость одного поляка привели к раскрытию этого плана, но имя капитана Караваева, который как руководитель заговора был подвергнут смертной казни, до сих пор произносится с уважением и восторгом. До 1825 года русский офицерский корпус, поскольку он состоял из русских по национальности (иноземцы проявляют величайший сервилизм), вплоть до капитанов был хорошо настроен и увлекался свободолюбивыми идеями. Это произошло благодаря походам в Германию и Францию. Тугендбунд и тому подобные [организации] [4] остались в памяти офицеров и солдат, особенно в корпусе Воронцова ***, который только в 1818 году вернулся из Франции. Теперь это относится только к армейским частям и особенно к артиллерии; в гвардейских и кавалерийских полках растлевающая школа кадетских корпусов обратила молодых офицеров в простых материалистов и в тупые служебные машины.

Вот чем объясняется то, что русский солдат, который всегда тоскует по родному дому, неохотно думает о войне, и это чувство еще усиливается в нем, когда он в ночной тишине сравнивает свое настоящее положение с прошлым. Вот почему он во время войны очень легко переходит на сторону родственных наций да и вообще дезертирует во всякое время. Во время восстания 1846 года [6] русские были сильно склонны переметнуться [на сторону поляков], а в 1848 году перебежчики массами прибывали в Краков, принимали участие в борьбе, и еще в Бреславле можно было бы сформировать сильный батальон из этих беглецов [7]. К сожалению восстание слишком мало распространилось, чтобы уже тогда дать возможность выявиться деморализации или вернее морализации русской армии. А сколько тысяч

* В оригинале опечатка: написано «1835».
** Симона [3].
*** Михаила Семеновича [5].

бежало в Пруссию за немногие месяцы прекращения картельной конвенции [8]! Здесь уместно привести относящийся к тому времени анекдот: один русский фельдфебель был послан в пограничное прусское местечко, чтобы потребовать выдачи находящихся там 20 дезертиров. Прусский чиновник отказал ему в этом. Русский стал угрожать ему всем гневом царя, но когда и это осталось без результата, и русский таким образом уверился в том, что о выдаче не приходится и помышлять, он заявил: «в таком случае и я остаюсь здесь». Повидимому нечто подобное разыгрывается сейчас в Семиградии, и уверенность, что так будет повсюду, заставляет царя держаться своей оборонительной тактики, хотя и должен наступить час, когда он рискнет на открытый бой.

Мы должны сказать еще несколько слов об отпускных солдатах и об их своеобразном, невыгодном для царя положении. После десятилетних страданий отслуживший солдат возвращается в свою общину, но там он еще не становится свободным человеком. Он числится в «бессрочном отпуску» и может быть снова призван на службу в случае надобности. Но до сих пор положение такого отслужившего свой срок солдата является совершенно исключительным. Он принадлежит царю без того, чтобы последний тратил на его содержание хотя бы грош, но он не подчинен и своему помещику и ему неподсуден. Таким положением он пользуется для приобретения влияния на своих земляков-крестьян. Он проповедует недовольство, он сеет семя революции на столь плодородную почву российского крепостничества. Эти отслужившие срок солдаты являются наиболее подвижными и отважными зачинщиками непрекращающихся крестьянских бунтов, к которым мы вернемся в следующей статье, ибо в то время как эти бунтующие крестьяне прежде только жгли и убивали без всякого плана и тактики, во время восстаний в Симбирской, Саратовской, Пензенской и других губерниях было замечено, что бунтовщики имели свой центр, свой авангард и арьергард, и что они вообще сражались более по-военному.

Таково внутреннее гнилостное состояние армии, скрыть которое не в силах никакое искусство. На военную угрозу со стороны России мы лучше всего ответим открытием границ, отменою картельной конвенции, — и в скором времени придется оттянуть обратно воинские массы, ныне стоящие на польской границе, чтобы помешать дезертирству солдат к свободе. Если

же Россия захочет предупредить эту опасность посредством нападения, то она должна найти нас * во всеоружии.

II. Народ.

В первой статье мы оторвали новобранца от его семьи, от его деревни, проследовали за ним на время его военной службы и воротили отслужившим свой срок обратно в народ. Присмотримся же теперь поближе к этому последнему.

О русском народе за границею вообще не имеют еще никакого представления или имеют совершенно превратное. Обыкновенно на него смотрят как на грубую, бессознательную, безвольную толпу, как на массу нулей, которая, будучи приставлена к царской единице, придает последней внушительный вид. Это — совершенно ложное представление. Русский народ вовсе не так тождественен и солидарен с императором, как этот последний и оплачиваемые им газетчики — русские, немецкие и французские — стараются внушить миру. Это — величайшая ложь, когда читаешь, что каждое утро 65 миллионов человек молятся за царя, и что царский приказ является чем-то непререкаемым от Вислы до Тихого Океана. Никто о нем не думает, и царь знает это лучше всех.

Русский народ, пашущий землю или занятый в промыслах, крепостной, так называемый *черный* народ расколот более чем на 200 сект, которые все носят политический характер и все сходятся на отрицании существующего порядка вещей и на признании царской власти властью антихриста. Эти секты, из коих некоторые являются даже коммунистическими с общностью имущества и жен, распространены по всей империи вплоть до Урала и сильно преследуются, но от этого становятся еще более фанатичными. Екатерина II так жестоко преследовала их, что некоторые общины поджигали свои деревни и бросались в пламя с женами и детьми, лишь бы не покориться православной церкви и указам царицы. Александр [I] до последних лет своего царствования оставлял этих раскольников почти в покое; Николай [I], который из расчета стоит заодно с попами и публично притворяется самым набожным человеком в государстве, снова начал преследовать их с величайшею суровостью. Так например он заслал тысячи семей, принадлежащих к секте духоборов, из

* Т. е. немецких и вообще европейских демократов.

восточной, центральной и южной России в сибирские степи и дикие горы Имеретии. Однако он не заставил их этим отречься от своей веры и не добился других результатов кроме придания пропаганде этой секты еще большей фанатичности и успешности.

Чтобы показать, какою ненавистью к государственной церкви проникнуты эти секты, я приведу только один пример. Один молодой духобор (эта секта не признает никаких властей) проделал в 1839 году 200 миль — разумеется пешком — до Петербурга только для того, чтобы дать митрополиту, главе православной церкви, пощечину. А таких примеров, как осквернение причастия, когда сектант врывается во враждебную ему церковь и плюет в чашу с причастием, имеется бесчисленное множество. Можно по этому судить, действительно ли русский народ в целом видит в царе заместителя бога[9]!

Но народ в целом, православные и сектанты, един и тесно связан одним, всех одинаково касающимся обстоятельством, а именно *неволею, рабством,* в котором он находится, и стремлением из него вырваться. Не следует думать, будто крестьянин не сознает, что он заслуживает лучшей, более достойной человека участи, что земля, которую он обрабатывает от имени царя, государства или своего барина, принадлежит собственно ему. *Бунты,* восстания служат явным свидетельством социального брожения в России, которое зашло гораздо дальше, чем это кажется за границею, где видят только внешность, размалеванную царскими красками.

Первым крупным протестом сельского населения против угнетателей было в 1773—75 гг. восстание простого казака Пугачева, который под маской воскресшего Петра III трижды собирал пятидесятитысячное войско, взял Казань и продвинулся от Урала до Тамбова. Сектанты составляли его главную силу. Поджоги помещичьих усадеб, груды дворянских и чиновничьих трупов отмечали его путь. В Москве народ только ждал его прихода, и Екатерина II дрожала на своем престоле, пока наконец Пугачев не был разбит и взят в плен. Но память о нем как о народном герое продолжает жить, и до сих пор народ с гордостью рассказывает о пугачевщине. По окончании этого первого восстания и казни его предводителей народ оставался спокоен до 1812 года, с которого в истории России начинается новая полоса и с которого мы должны различать движение *народа* и движение *дворянства.*

Демократическая дворянская партия вступила в переговоры с Наполеоном [I], чтобы с его помощью освободить народ от ига крепостной зависимости. Но этот случай возвеличиться завоеватель отклонил[10], и тогда демократы обратили организованное в *его пользу* народное восстание *против* него. Им удалось склонить Ростопчина к сожжению Москвы, — уступчивость, которую Александр [I] наказал своею немилостью, так как он никогда не мог простить ему этого поступка, хотя перед светом он делал вид, будто был о нем заранее осведомлен. Сожжение чтимого города Москвы было естественно приписано врагам и вывело из состояния дремоты весь народ. Великан проснулся во всей своей мощи, и еще год спустя от границ Сибири тянулись толпы добровольцев, чтобы отомстить за священный град.

В результате этой войны по всей стране появились вольные отряды, которые не хотели уже возвращаться к работе, особенно в губерниях Московской, Тверской и других, и которые громко заявляли: «мы завоевали себе волю в бою». Хотя и эти волнения были снова подавлены, тем не менее начиная с 1812 года крестьянские бунты не прекращаются. Ежегодно дюжина их вспыхивает в самых различных округах, и они принимают все более обширные размеры, так что если прежде поднимались лишь отдельные общины и округа, то теперь восстание охватывает сразу несколько губерний, так как народ, повсюду проникнутый одинаковыми стремлениями, при первом известии из соседнего округа тотчас же берется за оружие. Во время таких восстаний проявляется величайшая дикость, но также и самый возвышенный героизм. Во время холерного бунта 1831 года в Новгородской и Псковской губерниях около двухсот тысяч вооруженных крестьян избивали всех господ, офицеров и чиновников с самым ужасающим хладнокровием правосудия, невзирая на то, были ли это друзья или враги крестьян. Так один помещик указал своим взбунтовавшимся крестьянам, что он всегда был с ними добр и справедлив, почему же они хотят его убить? «Это правда, — сказал один старый крестьянин со слезами на глазах, — но мы поклялись перебить всех дворян. Умереть ты должен, но так как ты был добр, ты должен получить легкую смерть». А другой крестьянин протянул ему еще его трубку с табаком, для того чтобы он перед кончиною мог удовлетворить свою любимую привычку. С другой стороны лет восемь тому назад в Симбирской губернии был подвергнут казни в качестве

руководителя одного из таких бунтов молодой крестьянин. Вся община провожала его с причитаниями и пением церковных песен к месту казни. «Ничего, братцы, — крикнул он им в утешение, — не я — первый, *не я — и последний*».

Вообще русский народ легко возбудим ввиду своего крайнего суеверия. Достаточно любой небылицы, чтобы толкнуть его на выступление, а в случае нужды его собственная фантазия изобретает такие небылицы, чтобы дать пищу его стремлениям. Так около 1824 года распространился слух, будто в Киеве у одного попа в наказание за грехи выросли рога; жертву божьей кары повезли якобы в Петербург для расследования. И сотни тысяч крестьян спешили на столбовую дорогу, чтобы взглянуть на это чудо [11]. 4 — 5 лет тому назад в Симбирской губернии крестьяне сжигали свои деревни и в один голос утверждали, что это делают дворяне из мести за предположенное царем освобождение крестьян [12].

Таким образом в России речь идет уже не просто об отмене крепостного права, *о свободе личности*, но и о праве на *землю*. Крестьяне рассуждают об этом совершенно открыто. Они не говорят: земля нашего барина, а *наша* земля. Так характер русской революции как революции *социальной* предуказан заранее и коренится во всем характере народа, в его общинном укладе. Земля принадлежит общине, отдельный крестьянин имеет лишь право пользования ею, право наследования существует только для движимой собственности, но не для земельных участков, каждые 20—25 лет происходит новый передел земли. Нарушать этот общинный уклад хотя бы с наилучшими намерениями не дозволяется; это был бы смертный приговор для любого барина. Но в этом стремлении к улучшению своего положения, в этой готовности к восстанию все крестьяне — *удельные, государственные* и *помещичьи* — единодушны, так как, несмотря на существование якобы трех различных по названию категорий, их жалкая, недостойная участь совершенно одинакова. Хотя обе первые поименованные категории в отличие от помещичьих крестьян не являются крепостными, но на деле их положение оказывается таким же, а зачастую и гораздо худшим, так что эти крестьяне восклицают: «да хоть бы мы были барскими!». Удельные крестьяне только променяли мягкие, подчас патриархальные отношения со своим помещиком или его единоличный произвол на систематическое притеснение и эксплоатацию *чиновников*, так как они на-

ходятся в управлении министра государственных имуществ. Чиновный же мир представляет органическое целое, лестницу, состоящую из бесчисленных ступеней, из которых нельзя пропустить ни одной, если хочешь добраться до вершины, до центра, — и, как говорится в поговорке, «до бога высоко, а до царя далеко». Таким образом можно без труда понять, каким болотом пьявок является чиновничья каста для русского народа, с какой наглостью его обманывают, тиранят, а затем еще карают в суде, причем он никак не может добиться правды, так как все жалобы по дороге в Петербург застревают в канцеляриях высокопоставленных мошенников. Один пример пояснит это. Вследствие неурожая хлебов несколько лет тому назад крестьяне Пензенской губернии получили от правительства семенной картофель, но этот картофель, благодаря посредничеству и спекуляции поставщиков *сгнил*, и крестьяне протестовали против бесполезной работы по его посадке. Чиновники заставили дорого заплатить себе за эту уступку. Но позже, чтобы соблюсти видимость и взвалить ответственность за неурожай на погоду, они все-таки заставили крестьян посадить негодный картофель. Результатом этого был бунт возмущенных крестьян, подавленный кровью и кнутом. Вот почему, хотя и дворянство не пользуется любовью крестьян, но первою жертвою народной ненависти является чиновничья каста, а бунты с такой регулярностью разрушают по частям русскую государственную машину, что Николай в 1841 году пришел к мысли об освобождении крестьян только для того, чтобы спасти государственную машину в целом. Ниже мы увидим, что это оказалось и не могло не оказаться напрасным трудом.

III. Дворянство.

Как об армии и народе, так и о русской аристократии за границею господствуют самые ошибочные представления, которые, питаясь ложными воззрениями людей, писавших о России, а также рассчитанными утверждениями русских писателей, приводят к созданию самых нелепых басен о мощи и величии этой аристократии и о зависимости от нее царя. Мы разрушим это представление до основания, дав сжатый обзор происхождения и истории русского дворянства.

То, что называют русскою аристократиею, образовалось следующим образом. До нашествия татар вся Россия была разделена на множество мелких княжеств, главы которых, происходя

из одного рода, признавали великого князя Киевского, а позже Владимирского старшим в роде. Однако это родство не удерживало их от взаимных кровопролитных войн, причем с престижем великого князя считались очень мало.

Так как патриархальный уклад не допускал права майората в семьях, а владение всегда делилось между сыновьями наследодателя, то некоторые княжеские роды опустились до положения простых землевладельцев, сохраняющих от былого величия одно только имя. Этот раздираемый внутренними несогласиями комплекс крупных и мелких княжеств легко был разгромлен в битве при Калке татарами (31 мая 1224 года), которые подчинили всех одинаковому игу. Однако постепенно под татарским владычеством возросли мощь и престиж переселившегося из Владимира *московского* великого князя, и произошло это по двум совершенно различным, но действовавшим в одинаковом направлении причинам.

Великие князья очень скоро убедились в своей беспомощности против татар и в еще большем бессилии остальных князей. С дипломатическою ловкостью, доныне сохранившеюся у царей, великие князья разыгрывали роль самых преданных подданных татарских ханов и сумели путем лести и пресмыкательства вскоре добиться чего-то вроде роли ханских агентов над русскими князьями, в силу которой они должны были собирать дань и были признаны арбитрами во внутренних княжеских раздорах. Когда мы видим, как русская дипломатия доныне стремится играть роль посредника, как она таким путем приобрела Польшу и Грузию, как она давит на Молдо-Валахию, Грецию и Порту, как она умеет использовать свое влияние на Германию, то мы начинаем понимать, как хорошо должна была удаться ее игра против мелких, и без того угнетенных татарами, русских князей. Это была первая школа русской дипломатии, отсюда датирует проклятие, тяготеющее над политикою России.

Московские великие князья заложили первую основу российской централизации. В этом кроме собственной хитрости им помогло еще одно обстоятельство, еще один союзник, а именно народ. Изнывая одновременно под игом татар и под гнетом своих князей, насильство которых ограничивалось только неприкосновенным патриархальным и традиционным общинным укладом, этою единственною русскою конституциею, по которой крестьяне имели право пользования землею, принадлежащею барину,

и свободного передвижения, народ стремился к освобождению от такой тирании, а так как он видел невозможность при существующем раздроблении восстать против татар, то он инстинктивно способствовал усилению власти великого князя за счет остальных князей.

В то время как централизаторские стремления Москвы таким образом все более венчались успехом, татарские владыки впали в такие же разлады и раздробленность, благодаря которым Россия в свое время очутилась в их власти, и великие князья воспользовались этим, чтобы сбросить наконец с себя татарское иго. Эта цель и централизация государства были полностью достигнуты при Иванах III и IV (Грозном) с 1462 по 1584 гг. путем завоевания Новгорода, Пскова и других и путем полного разгрома княжеских родов.

Превратившись под именем *бояр* из независимых князей в простых царедворцев и чиновников великого князя, отупевшие и порабощенные уже при татарском владычестве, за редкими почетными исключениями грубые, ограниченные, суеверные, они, сложившись в бессмысленно приверженную к старине и традиции беспомощную и бездеятельную партию, организовали пассивное сопротивление преобразованиям Ивана, оставаясь по отношению к низшим, к своим крестьянам надменными и жестокими господами. Таким путем они сами способствовали своей гибели, ибо в народе была еще сильна любовь к царям, освободившим его от татар, а в Иване Грозном дипломатия русских великих князей нашла свое наиболее решительное выражение. Скрывая свое собственное стремление к неограниченной власти и к усилению своей мощи под личиною заботы о народе, он при ликовании последнего массами умерщвлял тиранов-бояр и таким образом укрепил свою власть террором и любовью. Насколько верна была эта народная привязанность к царям, лучше всего показывает народное восстание против поляков во времена Лжедимитриев в XVII веке и подсказанное народною волею избрание Романовых на царский престол.

Для характеристики этой аристократии, ее тупого прозябания в рамках чисто китайской иерархии, ее мелочного смешного тщеславия в области нарушения чинопочитания и ее собачьей низости достаточно привести еще один пример. Это — анекдот, заимствованный из одной из скучнейших книг в мире — из хро-

ники правления великого князя * Алексея Михайловича, в которой со всем восточным педантизмом ежедневно повествуется о каждом шаге и движении царя с такою же серьезностью, с какой Шехерезада описывает одежду женщин и перечисляет подарки, считая это столь важным и интересным, что султан должен за это даровать ей жизнь. Однажды за столом у Алексея возник спор между двумя боярами по поводу более высокого почетного места. В течение некоторого времени великий князь потешался этим, а затем распределил места по своему усмотрению. Тот из спорщиков, который считал себя задетым в своей чести, бросился к ногам князя, покатился под стол, вопя и крича: «прикажи меня умертвить, но не наноси бесчестия моему роду». Алексей нашел лучшее средство: он велел вывести помешавшегося на генеалогическом древе глупца во двор, всыпать ему двести палок, и когда тот вернулся, то совершенно спокойно уселся на отвергнутое им прежде место. Такова аристократия того времени. Эти смешные споры и китайские благоглупости так часто повторялись, что преемник Алексея Федор III прибег к спасительному деспотическому приему, приказав собрать все родовые записи дворянских фамилий, на которых опирались во всех местнических спорах, под предлогом их пересмотра, и предать их огню.

Но смертельный удар старой аристократии нанес *Петр* Великий своими самовластными приказами относительно стрижки бороды, вывоза в свет до тех пор азиатски содержавшихся взаперти женщин и т. п. и учреждением *нового, служилого* или *разрядного дворянства*, причем дворянство утрачивалось в третьем поколении, если ни отец ни сын не состояли на государственной службе по военному или гражданскому ведомству. Это, а также назначение множества заслуженных иностранцев возбудили со стороны старого дворянства многочисленные возмущения против Петра, преобразования которого они изображали суеверному народу как безбожные. Бесплодность этого сопротивления известна.

За время от Петра I до Екатерины II из этого дворянства образовалась новая аристократия, аристократия могущественных *царедворцев*, опорный пункт которых находился в гвардейских полках, где сыновья и родственники этих семей занимали

---

* Описка в оригинале вместо царя.

офицерские посты. Но поскольку история императорской России может поведать о деятельности этой аристократии при Петре II, Анне, Елизавете и Петре III, масса сельского дворянства не имела почти никакого отношения к потрясавшим государство ночным предприятиям этой аристократии. Ко всем этим дворцовым интригам остальное дворянство оставалось непричастным и оставляло царедворцам совершенно свободное поле для действий. Но вместе с тем эта придворная аристократия сумела выдвинуть из своей среды дельных и энергичных людей, по большей части из школы Петра Великого, русских по национальности и иностранцев. К ним принадлежали Меншиков, Миних *, Остерман и другие. В царствование Екатерины [II] эта аристократия под покровительством царицы приняла более утонченный вид благодаря тому, что ее члены воспитывались на немецкой и французской литературе и выдвинули ряд дельных и талантливых государственных деятелей, «вельмож», как их называют, отличавшихся самостоятельными действиями. К ним принадлежат Потемкин, Румянцев, Орлов, Бестужев и по крайней мере по своей грубоватой независимости Суворов.

Екатерина, знавшая только аристократическую свободу, но так мало желавшая слушать о правах крестьян, что как раз в ее царствование дотоле свободные крестьяне Украины сделались крепостными, намеревалась поднять дворянство до уровня подлинной аристократии. Для этой цели она даровала ему политические права (т. е. право самому выбирать своих предводителей и судей, но отнюдь не права в том смысле, чтобы дворянство могло составить оппозицию ей, царице), велела открыть в разных городах библиотеки и действительно привила этому до тех пор еще достаточно неотесанному дворянству хотя и чисто внешнюю полировку и известное чувство собственного достоинства. Но как и всем ее нововведениям, ненависть *Павла* к своей матери положила конец и этой попытке возвышения дворянства. В своем самодержавном безумии ему нравилось повсюду топтать ногами человеческое достоинство и держать всех в постоянном страхе и зависимости. Это заходило так далеко, что народ и даже гвардейские офицеры в форме предпочитали сбегать в каналы и там на время прятаться, чем встречаться с царскою каретою и простираться перед нею в грязи. Дежурные гвардей-

* В оригинале опечатка: сказано Münch.

ские офицеры всегда запасались деньгами, так как они никогда не знали, не будут ли они по капризу Павла отправлены из дворца в Сибирь. Отправил же он однажды за плохую работу на маневрах целый кавалерийский полк прямо с плаца в Сибирь, пока его не вернули с дороги обратно.

Убийство этого царя было радостным праздником для дворянства всей России, особенно же в Москве, где люди друг друга поздравляли, потому что на воспитанного Лагарпом[18] великого князя *Александра* возлагались большие надежды, которые и осуществились, так как в течение долгого времени не существовало почти никакой цензуры, и иностранная литература могла изучаться с увлечением.

Тут наступил 1812 год, который, произведя в русском народе сильную и благодетельную встряску, оказал также влияние и на дворянство. Борьба этого года носила политический характер, всколыхнувши дворянство по всему государству и пробудивши в нем чувство свободы. Военные действия перекинулись на запад, а наблюдение и опыт в Германии и Франции воспитывали и воспламеняли офицеров и солдат. Даже сам царь был заражен либерализмом, так как он обещал при даровании польской конституции распространить последнюю и на русские земли. Все это усиливало пыл воодушевления в русской молодежи, но пока она выжидала, когда же царский либерализм начнет осуществляться, последний перешел в свою противоположность: Александр [I] под влиянием Меттерниха и мистицизма снова разрушил то, что построил, и старый деспотизм вернулся на свое место.

Последствия не заставили себя долго ждать: пылкая, обманутая в своих чаяниях дворянская молодежь составила заговор против царя, и этот заговор представляет нечто замечательное, ибо он явился первым пробуждением всего русского дворянства, а уже не прежним просто дворцовым заговором. Этот заговор, пустивший особенно глубокие корни среди офицерского корпуса, где был представлен цвет дворянства, привел в 1825 году к выступлению, которое закончилось кровавым подавлением. Как на все неудавшиеся благородные предприятия, так и на этот заговор низость и растление излили свой яд. Конечно в этом заговоре все было еще юношески романтичным, но первоначально поставленная цель, а именно конституция для империи, была вскоре оставлена позади наиболее выдающимися вождями Пестелем,

Рылеевым и Муравьевым, и выдвинуты принципиальные положения, доныне сохраняющие свое значение для русской революции. Сюда относятся: объявление земли национальной собственностью, освобождение крестьян, низложение дома Романовых и учреждение славянской федеративной республики путем разрушения Российской империи.

На кровопролитии в Петербурге и Тульчине [14], на виселицах и ссылках в Сибирь упрочил *Николай* [I] свой трон. Терроризм страха стал его ангелом-хранителем. Если его брат в последние годы своего царствования восстановлением цензуры, установлением тайной полиции и инквизиции уже сковал и подавил благородный дух молодежи, то при Николае, особенно после польского восстания, стало еще хуже. На книги был наложен строгий запрет, но читались они с еще большим усердием, и, несмотря на все запреты, можно было по высокой цене достать все. Но вместе с тем, несмотря на занятия литературою, молодежь на многие годы впала в известную спячку. С отчаяния она набросилась на все существовавшие тогда немецкие философские системы, этот духовный опиум для всех, кто жаждет дела и все же обречен на бездействие [15].

Однако неслыханный гнет пробудил также и новый дух, который, будучи основан на познании всей позорной механики, был по сравнению со столь богатым иллюзиями 1825 годом более реальным и более основательным. Русская литература современного периода занимается только исследованием и изображением невыносимого, омерзительного состояния страны. Это — период, который в Германии был воплощен в Бёрне *, период болезненного самопознания и самооплевывания. Плодом этого является приобретение молодым *дворянством* убеждения, что оно ничего не стоит, что у него нет никакого будущего, *потому что* оно — дворянство, а также *хотя* оно — дворянство, сознание, что только *в народе* заключена энергия и будущая жизнь России. Таков догмат современной России!

Мы пользуемся данным случаем для того, чтобы выступить против некоторых широко распространенных, прочно укоренившихся и однако совершенно ложных утверждений. Все еще говорят о Москве как об очаге недовольства, как о доныне еще существующем сборном месте какой-то недовольной боярской партии.

---

* Людвиг [16].

Это вовсе не так. Москва действительно является центром недовольства, но недовольства радикальной молодежи, которая пренебрегает государственною службою и тянется к народу, стараясь уже слиться с народом на селе [17]. Партия же недовольных аристократов, которая во времена Екатерины [II] имела свое местопребывание в Москве, исчезла без малейшего следа. То было дворянство из придворных и фаворитов, опиравшееся на гвардию. Нынешняя придворная аристократия представляет лишь жалкий сброд челяди, у которой нет даже былой энергии отцов на тайное убийство. Если это дворянство действительно еще пользуется некоторым влиянием, то это — лишь влияние лакея, знающего все хозяйские слабости, на своего барина; здесь еще можно чего-либо добиться только путем самого презренного пресмыкательства и самых низменных интриг, а никак не путем открытого действия и прямого мужества.

Другое положение сводится к противопоставлению *сената* царю, как чего-то ему враждебного и своим противодействием часто препятствующего ему в осуществлении его мудрейших преобразований. Это просто смешно. Сенат de jure и de facto* является всеподданнейшим слугою царя, он никогда не отваживался выказывать хотя бы видимость самостоятельности; царь есть единственный источник всей законодательной и исполнительной власти: он назначает и смещает сенаторов, осуждает их в 24 часа и посылает их в Сибирь без того, чтобы хотя одна собака по этому поводу тявкнула. Как же при такой зависимости могла бы проявиться человеческая гордость! Существует даже поговорка: «он глуп, значит его надо назначить в сенат». Правда, Петр Великий хотел даровать сенату юридическое значение высшей судебной коллегии, но отнюдь не политической. Теперь же он потерял и первое, так как царь нередко решает и гражданские дела *вопреки* сенату. Нужно ли еще после этого описания опровергать нелепую басню, будто царь несколько лет тому назад собственноручно застрелил одного сенатора во время заседания *за противоречие*, или что двадцать пятый год царствования должен быть и годом смерти царя на том основании, что после этого срока сенат не вправе будет ставить ему какие-либо ограничения?!

---

* Юридически и фактически.

IV. Церковь и попы; чиновничество и финансы.

В России все рассчитано на то, чтобы пышною видимостью заменить отсутствующую сущность, и подобно тому, как Потемкин с помощью декораций и согнанного народа обманул Екатерину II относительно блестящего состояния вновь приобретенной провинции Тавриды, так и царь со своей стороны всегда старается использовать к своей выгоде искусственно поддерживаемые иллюзии Европы относительно действительного состояния России. Так как он знает, насколько заграница склонна проводить сравнение между русскими и собственными делами или даже предположительно выводить первые из своей собственной мощи, то ему легко удается из ничего сделать предмет величайшего значения для иностранных, особенно для немецких ученых. Такое ничто представляет в России *церковь*. Но так как царь объявил себя и *главою русской церкви* и в качестве такового велел разгласить себя во всех книгах, и так как римская церковь была силой, а папа — ее воплощением, то, умозаключают охочие до писания туристы, пролетающие по России, не зная ни ее языка, ни ее народа, значит и русская церковь должна быть силою, а царь должен быть одновременно и светским и духовным государем, имеющим власть и над Сибирью и над небом.

Чтобы притти к истинному пониманию России и царской власти, мы должны разрушить и этот неосновательный предрассудок, рассмотрев *греко-православную церковь* и ее *служителей*, так как только о ней, а не о многочисленных сектах может итти здесь речь.

В противоположность своей римской сестре греко-российская церковь является слугою государства. В то время, как первая в вековой борьбе добилась с помощью внутренней силы верховенства над государями, греческая церковь никогда не выбивалась из своей мертвой формалистики, сковывавшей умы, и за редкими изъятиями не выходила из состояния полной апатии. А теперь, после того как она дала подчинить себя светской власти, для нее совершенно невозможно выбраться из этого состояния бессилия, так как у нее нет уже для этого ни сил, ни свободного поля действия. По ее служителям для нас выяснится логическая неизбежность этого состояния.

Священником (попом) в России человек становится не по собственному побуждению, а, так сказать, по наследству, в силу происхождения, благодаря которому сыну приходится занять должность своего отца. Если таким образом чувство призвания к священническому сану оказывается невозможным, то вдобавок все воспитание попа направлено к тому, чтобы сделать его неспособным быть священнослужителем в том смысле, как мы это понимаем, — учителем и воспитателем своего прихода, а значит и влиятельным членом общества. В детском возрасте, слоняясь с крестьянскими ребятишками по деревне и подобно им подвергаясь побоям, он при этом на-ходу научается кое-как читать и писать. Только в девятилетнем возрасте в его юношеской жизни происходит перемена — он поступает в духовную школу ближайшего города и там при щедрых колотушках и столь же скудном питании в течение 4—5 лет успевает столько же, сколько мальчик того же возраста в толковой школе в течение одного года. Так или иначе он переходит затем в духовную семинарию губернского города и в течение 6—7 лет под гнетом ужасного, убивающего душу монашеского деспотизма, который ничуть не интересуется моральною чистотою и религиозным чувством, а только их видимостью и пустыми обрядовыми формами, изучает там схоластическую чепуху. Если из него выходит прок, то происходит это *вопреки*, а не *благодаря* этому методу воспитания.

Из этой семинарии существует три выхода: или этот прошедший предписанную выучку человек становится тем, чем был его отец, т. е. дьяконом либо попом, или он подобно некоторым своим товарищам по несчастью поступает в медицинскую академию, или же он, если действительно имеет смышленую голову, командируется в духовную академию. Таким образом семинария решает, будет ли ее питомец членом *черного* или *белого духовенства.*

Членом черного духовенства, то есть монахом единственного русского ордена базилианцев [18], он становится с вступлением в духовную академию, где он проникает во все глубины схоластики для того, чтобы позже стать архимандритом, епископом и т. д. Среди таких ученых попов попадаются конечно и дельные люди, которые из своей учебы выносят даже наклонность к различным ересям, и за это, как только об этом становится известно, отсылаются на покаяние в Соловецкий монастырь близ Архангельска или в какой-нибудь другой, а иногда даже ссылаются в Сибирь.

Некоторые из них, как Иннокентий Киевский [19], усердно изучают немецкую философию, но если бы они даже открыли новые системы, это не оказало бы никакого влияния на церковь, так как философское образование не составляет общего достояния всего черного духовенства, а является напротив уделом отдельных единиц. Это отсутствие солидарной связи среди высшего духовенства естественно делает также невозможными всякие поползновения доставить церкви независимое положение в государстве. Проявляющиеся иногда отдельные стремления к самостоятельности оказываются изолированными, а потому и бессильными; царская же немилость ставит на место даже московского митрополита Филарета [20].

Столь же мало влияния, как на церковь, имеет черное духовенство и на народ, с которым оно очень мало соприкасается. Это влияние могло бы принадлежать *белому духовенству*, которое живет среди народа и с народом, но мы сейчас увидим, что по всему своему воспитанию и положению оно никогда *не сможет* добиться этого влияния. То же порабощение и та же нужда, которые угнетали поповича в школе и семинарии, ожидают его снова по выходе из последней в свет. Белый священник должен жениться, прежде чем быть посвященным в свой сан; но способ его вступления в брак представляет величайшую безнравственность. Подобно тому, как он не стал священником по собственному выбору, точно так же он не становится по собственному выбору мужем любимой девушки. Чтобы последовать церковному предписанию и дать посвященному в священники жену, его родители вступают в переговоры с другою поповскою семьею, в которой имеется дочь на выданьи, и между ними происходит торг; а когда денежный вопрос улажен, то сын и дочь должны подчиниться. Отныне он в качестве попа обладает лишь церковным участком, доход с которого он делит с дьяконом и низшими церковными служителями, и таким образом с момента вступления его в должность немедленно начинается его зависимость от помещика и крестьян. Мало того, что помещик разыгрывает из себя немецкого церковного покровителя старого стиля и в зависимости от того, нравится ли ему поп или нет, снискал ли он его благосклонность или нет, разрешает или отказывает ему в пользовании строительным лесом, дровами и другими подачками для дома и кухни; бедный поп находится в такой же зависимости и от крестьян. У них он должен *выпрашивать* обработку своего поля,

уборку урожая и тысячу мелких услуг домашнего обихода, так как для оплаты их у него нет средств. Но если крестьяне это делают, то поп должен быть настолько умным, чтобы считаться с их слабостями, и не смеет быть слишком строгим. Чтобы таким образом иметь возможность жить по-человечески, он должен забыть о своем священническом сане в своих отношениях с помещиком и крестьянами. Он ничему не научился, работать он не умеет, и вот он начинает скучать или ворчать на свою жену, которая ему нелюба, и на свое положение, которое ему навязано. Для развлечения и утешения он замешивается в крестьянскую толпу, усердно посещает кабак и пьянствует с ними и притом с такою виртуозностью, что в России поп и пьяница составляют равнозначащие понятия; и скоро он становится мишенью для народного остроумия. Как же он может при таком поведении, при недостатке ума и образования иметь влияние на народ?

Правительство конечно очень хотело бы, чтобы священник приобрел такое влияние, дабы использовать его в своих целях и для своей безопасности. Оно в ежегодно повторяемом указе обязывает его исполнять роль государственного шпиона, принужденного сообщать властям тайны исповеди, касающиеся преступлений, особенно политических. Но пока оно не в состоянии платить священникам жалованье для того, чтобы освободить их от зависимости, этот указ остается естественно мертвою буквою. Народ конечно ходит в церковь, чтобы исполнять там обряды и глазеть на богослужение, но ему не приходит в голову исповедываться в преступлениях, и священник последним узнает о задуманном бунте. Таким образом о каком-либо фанатизме в пользу государственной церкви при указанном отсутствии религиозного чувства в народе и при ограниченности попов не может быть и речи. Фанатизм существует только в *сектах* и, как мы видели, направлен *против* государственной церкви и *против* царя, у которого таким образом отнята возможность фанатизировать русский народ в качестве главы государственной церкви.

Таким образом никакие национальные и никакие религиозные узы не связывают народ с царем. Даже его армия может сдерживаться только с помощью железной дисциплины; внутренне же она как часть народа враждебна царю и не является для него опорою.

Где же должны мы искать силы царя? Может быть, в *гражданском чиновничестве?* Только закоренелый немецкий бю-

рократ, никогда не выходивший за порог своей канцелярии, никогда не заглядывавший ни в какие другие книги кроме своих реестров и таблиц, мог быть повергнут в глубокое изумление чудесным, столь крепко спаянным организмом русского чиновничества. Сведущий критик должен как раз в этом усмотреть наиболее опасное и наиболее разрушительное место всей системы. Как ни богат относящийся сюда материал, если бы мы пожелали осветить его примерами, но мы хотим быть сейчас краткими и сказать, что, начиная с верхушки этой пирамиды и вплоть до ее основания, все чиновники крадут самым циническим образом. Это является настолько общим правилом, это считается настолько тесно связанным со службою, что начальник в крайнем случае попрекнет своего подчиненного разве тем, что тот *не по чину* берет. Это разложение составляет необходимое следствие нищенских окладов, получаемых бедною по своему происхождению массою чиновников, также и того безобразного положения, что никаких моральных понятий о долге в принципе для них совершенно не существует да и не может существовать ввиду безусловного послушания и полнейшей несамостоятельности, которые требуются от каждого хорошего русского чиновника в качестве его первой и единственной обязанности. Обман настолько здесь укоренился, что чиновник, имеющий идеальное представление о своих обязанностях, рассматривается остальными как враг, который или бывает вынужден действовать так же, как и они, или же подвергается утонченнейшим издевательствам и ужасающим преследованиям. Честный человек среди воров должен погибнуть. Ни о чем не подозревая, он или будет сделан соучастником преступления с помощью подлога в декументах, или же объявлен политически неблагонадежным, и горе ему, если в обоих случаях у него не найдется покровителя при дворе! Он должен уйти, «он — якобинец, он не хочет брать взяток!», — говорят о нем, и высшее начальство в своих собственных интересах помогает отделаться от чудака, позволившего себе иметь иное понятие о государственной службе.

Видимость — вот все, что требуется в России от хорошего чиновника; видимость приносит повышение в чине, ордена и деньги, *существо* же ведет в Сибирь. В результате всего этого, несмотря на столь искусно скомпанованный механизм, в чиновном мире царит величайшая дезорганизация. Нет ни одного сенатора, ни одного министра, ни одного начальника департамента в Пе-

тербурге и провинции, которые не крали бы. Даже жены чиновников используют эту привилегию своих мужей, и супруга *министра полиции* Бенкендорфа [21] привозила целые пароходы контрабанды в Кронштадтский порт и содержала через посредство своих крепостных служанок большие торговые склады. Откупщику Б. нужен был для одной выгодной спекуляции новый закон, и он добился его при помощи подкупа всего *совета министров*.

Конечно царь хотел бы положить этому конец, но принимаемые им в этом отношении меры являются лишь писанием вилами по воде, а те несколько капель, которые при этом брызжут на берег, высыхают, ничуть не уменьшая количества воды. Многочисленность воров и бюрократический механизм делают всякие реформы невозможными, тем более, что царь проявляет скорее норов, чем действительную способность к действию. Так, несколько лет тому назад он созвал комиссию для пересмотра кондуитных списков чиновников и сам стал во главе этой комиссии в качестве председателя. Со всех концов государства были собраны данные, но ни один чиновник не оказался чист, и когда царь сместил несколько сот их, он почувствовал свое бессилие очистить эти авгиевы конюшни, распустил комиссию, и все пошло попрежнему. Немногие пострадавшие оказались только самыми глупыми, а отнюдь не самыми наглыми мошенниками.

Эта отвратительная тема может быть заключена характерным анекдотом, который мы передаем по возможности в его девственном виде. Министр внутренних дел Перовский * (известный своим неудачным походом в Хиву), тоже идеалист, задумал внести несколько больше честности в полицейское ведомство и благодаря этому естественно стал во враждебные отношения к продувному мошеннику, начальнику полиции Кокошкину ** (или, как его окрестило народное остроумие, cache-coquin, т. е. укрыватель воров). Но царь, который не перестает опасаться убийства и думает, что может спокойно спать только при управлении Кокошкина, всегда брал его под свою защиту, несмотря на очевиднейшие доказательства его нечестности. Наконец Перовский раздобыл уничтожающие доказательства, сводившиеся к тому, что Кокошкин принудил одного винного откупщика дать ему взятку в 100 тысяч рублей. В царской передней оба врага встре-

* Лев Алексеевич [22].
** Сергей Александрович [23].

тились, и Перовский сказал: «поздравляю вас, ваше превосходительство». Кокошкин бросился к царю, ожидая нового изъявления милости, но царь молчал. Вечером в обществе повторяется та же сцена. Кокошкин чувствует недоброе и спрашивает, с чем это его должно поздравить. «Но вы же знаете», — таков был ответ. Тогда Кокошкин спешит к царю, разыгрывает обиженного и угрожает подать в отставку, так как знает слабую сторону царя. «Что за глупости?» — спрашивает царь, и Кокошкин рассказывает ему про насмешку Перовского. «Что за дурачества ты выкидываешь?» — осведомляется царь у вызванного министра. «Ваше величество, он сам знает об этом», — отвечает Перовский. «Прошу со мной не шутить. Что это значит?» — приказывает Николай, и Перовский рассказывает ему всю историю.

Кажется, после этого неверный чиновник погиб? Ничуть не бывало. Когда Кокошкин вновь является, царь просто ему говорит: «Я тебя тоже поздравляю», и этим дело кончилось. Только после счастливец узнал, с чем он должен был себя поздравить.

Таким образом русский чиновный мир оказывается неисправимым, он угнетает народ, парализует даже хорошие, благодетельные предначертания царя или совершенно их игнорирует и этим ведет его к падению.

От лихоимства чиновников и их плутовства мы теперь самым естественным образом переходим к вопросу о состоянии русских *финансов*. Быть может, могущество царя, которое не имеет корней ни в религии, ни в военном, ни в гражданском чиновничестве, основывается на неисчерпаемых денежных средствах? Легенда приписывает царю обладание громадными денежными средствами и много распространяется о сокровищах Петропавловской крепости, а те суммы, которые Россия ежегодно расходует на подарки дипломатам и шпионам для поддержки ее собственных тайных планов, равно как и для поддержания абсолютной монархии в Германии, наконец те крупные денежные средства, которые она авансировала Франции, Англии и Австрии, как бы говорят за правдивость этой легенды. Но откуда же берутся эти доходы, если народ вообще нищ, индустрия находится в младенческом состоянии, и только лихоимство и обман развиты в гигантских размерах? Откуда эти сокровища, если Россия сама заключила займы в Голландии, Франции и Англии? «О, — говорят нам, — царь владеет такими богатыми золотыми рудниками на Урале и в Сибири, что не решается даже надлежащим

образом их разрабатывать, дабы не понизить цену золота». Конечно царь владеет богатыми золотыми приисками, но во всяком случае не в *таком* размере, и в пользу нашего взгляда говорят некоторые существенные факты. Деньги, авансированные с таким превеликим шумом дворам французскому и лондонскому, были лишь теми, которые должны были лежать в подвалах банков как основной запас, обеспечивающий государственный долг. Но при огромном количестве кредитных билетов, обращающихся в империи, является естественным и простым то заключение, что золотою наличностью покрыта даже не пятая, а еще меньшая часть этих билетов, в то время как при правильной финансовой политике по крайней мере третья часть их должна быть обеспечена металлической наличностью, для того чтобы в случае кризиса могли быть частично оплачены государственные обязательства. Но указанный выше так называемый аванс был на деле не чем иным как обменом русских денег на английские и французские рентные бумаги, которые лежат теперь в петербургском банке вместо металлической наличности. Эта покупка была сделана просто в интересах абсолютизма, и революция, которая должна охватить также Францию и Англию, покажет, что Россия совершила неудачную спекуляцию, так как ренты не будут оплачены, а золотая наличность уже израсходована.

Далее при таком необычайном металлическом богатстве должно было бы обращаться больше звонкой монеты, а между тем во всей России, даже в губернских городах можно только с большим трудом разменять на золото сторублевый кредитный билет. Затем поражает то, что два года тому назад чиновники гражданского и военного ведомства в течение трех месяцев не получали жалованья. Здесь было бы весьма кстати без всякой опасности для стоимости золота получше использовать неведомые рудники; однако этого не случилось по той простой причине, что в действительности их вовсе не существует. Ибо, как ни загребуща царская рука, с помощью которой он присвоил себе крупнейшие церковные доходы, а именно деньги за церковные свечи наряду с губернскими училищными суммами, обращение добычи уральских золотых источников в личную казну царя показалось бы открытым разбоем и ничем не оправдываемым насилием. Царь оспаривает расходование на духовные школы и семинарии тех денег, которые набожные люди тратят на церковные свечи, что ежегодно приносит огромные суммы. Отбирать эти деньги у кли-

ра значит просто напросто ввергать его в еще более скотское состояние, делать его еще более зависимым от помещиков и крестьян, а это показывает, как велика нужда царя в деньгах, так как в интересах государства он хотел бы назначить попам содержание, но не имеет на это денег. Наконец нужду царя в деньгах подтверждает и тот факт, что в московской сохранной казне, где торгующие с востоком купцы держат до наступления срока платежей свои деньги, не получая за это процентов, три года тому назад не оказалось никаких денег, и множество купцов очутилось в тяжелом положении или обанкротилось, ибо царь заключил *принудительный заем.*

Итак больше бумажных денег, чем это допускается разумною финансовою системою, задержка жалованья чиновникам и, что хуже всего, посягательство на имущество частных лиц — таковы результаты русского хозяйства! Революция еще не затронула России, но если она разразится, то ее уже ничто не остановит, так как все, что могло бы ей помешать, находится в состоянии разложения, а русское государственное банкротство гораздо ближе, чем думают слепо верующие люди.

И может ли эта армия больших и малых воров и мошенников быть устоем государства? Совершенно очевидно обратное. Она есть крушение государства, бессознательный разрушитель всей системы, для сохранения которой она по ее мнению работает, злейший враг царя. Чиновничья каста — и этот дух проникает великих и малых — смотрит на Россию как на широкую арену для своего грабежа и для своих хищений. Она одна благодаря своей многочисленности, равно как своей организованности и одинаковому сознанию своей виновности, является действительною владычицею России. По ее могущественным ступеням нисходят приказы царя к народу, по ним же восходят жалобы и ходатайства народа к царю, но все это совершается только с согласия самих чиновников. Если приказ сверху представляется им сомнительным или угрожающим их безопасности, то он правда получает ход, быть может даже публикуется, но не выполняется, так как народ и частные лица не могут добиться его исполнения, а их просьбы и жалобы остаются бесплодными. Даже деньги перестают действовать на высших ступенях, так как сумма недостаточно соответствует чину. Одним словом до бога высоко, а до царя далеко!

Таким образом естественным следствием этой грабительской системы чиновников является бесконечное озлобление народа против них, озлобление, которое далеко превосходит ненависть к дворянству. Но чиновный мир, который, как мы видим, предписывает царю законы или исполняет царские приказы по своему усмотрению, является уже не орудием императора, а только могучим орудием революции, в жертву которой он приносит и себя и царя.

КОМЕНТАРИЙ

№ 399. — Напечатано с ошибками у Корнилова (сначала в «Былом» 1923 года, № 21, а затем том II, стр. 5—7) *.

[1] Речь идет о столкновении с Катковым и о поведении знакомых Бакунина, особенно В. Г. Белинского, в этом инциденте (см. комментарий к № 397 во втором томе настоящего издания).

№ 400. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 21, а затем II, стр. 8—10). Когда Бакунин писал это письмо, он не знал о смерти Н. В. Станкевича.

[1] Серебряков, Василий Алексеевич (1810—1886) — русский художник, академик исторической и портретной живописи. Окончил Академию в 1833; через некоторое время послан за границу; в 1840 находился в Риме.

[2] В это время у Александры Бакуниной еще не вполне был закончен роман с В. П. Боткиным: на этот роман и намекает здесь Бакунин.

[3] Вердер, Карл, профессор, см. комментарий в томе II, стр. 481.

[4] Варвара Бакунина-Дьякова, проживавшая в Неаполе, где она сошлась с семьей итальянского генерала Руберти, коменданта Сент-Эльмской крепости (неаполитанская Петропавловка), уехала в Рим для свидания с Н. Станкевичем, к которому она питала более чем дружеское чувство. Бакунин боялся, чтобы об этой поездке не стало известно в России, что могло бы дать в руки ее мужу Н. Дьякову оружие против нее.

№ 401. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 21, а затем II, стр. 10—12).

№ 402. — Напечатано с пропусками и излишними добавлениями у Корнилова («Былое» 1923, № 21, а затем II, стр. 16—18). Но А. Корнилов ошибся, приписав М. Бакунину конец письма Варвары, в котором та просила Татьяну прислать ей подробное описание хода татьяниной болезни (этот конец находится у Корнилова на стр. 16, строки 18—10 снизу). Непосредственно к этому концу варварина письма примыкает начало письма М. Бакунина со слов: «Слышишь, Танюша» и т. д. С другой стороны А. Корнилов выпустил целый абзац, содержащий обращение М. Бакунина к сестре Александре, не оговорив этого.

[1] Ватке, Вильгельм (1805—1882) — немецкий богослов и философ, гегелианец, автор «Религии ветхого завета» (1835), написанной в историко-критическом духе.

[2] Габлер, Георг Андреас (1786—1853) — немецкий философ, гегелианец, с весны 1835 сделавшийся преемником Гегеля по кафедре в Берлинском университете. Доказывал примиримость гегельянства с христианством.

№ 403. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 21, а затем II, стр. 18—25) с пропуском.

---

* Под цифрой II, стоящей после фамилии А. Корнилова, разумеется его книга «Годы странствий М. Бакунина», составляющая второй том «Семейной хроники Бакуниных».

[1] Здесь Бакунин дает несколько вольное изложение письма к нему Н. В. Станкевича от 7/19 мая 1840 («Переписка» Станкевича, стр. 667 сл.). В этом письме Станкевич в ответ на жалобы и самобичевания Мишеля старался его успокоить, доказывая, что он еще молод, что успел не меньше его, Станкевича, в философии, что не нужно предъявлять к себе и жизни слишком больших требований, что нужно уметь временно довольствоваться малым и пр. (см. стр. 671, 673, 674 письма Станкевича).

[2] Шефер, Леопольд (1784—1862) — немецкий писатель и поэт, изучал математику, философию и лингвистику; много путешествовал. Автор множества повестей с искусственной фабулой, напоминающих стихотворения в прозе. Приведенные в тексте стихи заимствованы из сборника Шефера «Laienbrevier» («Молитвенник для мирян», первое издание 1834).

№ 404. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 21, а затем II, стр. 25—28).

[1] Эти записки с примечаниями М. Бакунина до нас не дошли.

№ 405. — Напечатано с пропуском у Корнилова («Былое» 1923, № 21, а затем II, стр. 29—31).

[1] Баре, тайный советник, доктор, считавшийся, по словам Станкевича, лучшим медиком в Берлине; Станкевич рекомендовал его своим знакомым, хотя в серьезности его как врача можно сомневаться, так как он например обещал Станкевичу 70 лет жизни, хотя тот страдал развитым туберкулезом и умер через год после этого пророчества.

№ 406. — Эта немецкая записка Бакунина, напечатанная у Корнилова (II, стр. 35), датируется нами по содержанию. Возможно, что она написана накануне следующего письма (№ 407). На обороте записки имеется пометка: «8 октября 1840. Прямухино». Это повидимому дата получения записки в Прямухине. Она вероятно была послана с оказией. Корнилов полагает, что записка была вложена в письмо № 407.

№ 407. — Напечатано с пропуском у Корнилова («Былое» 1923, № 21, а затем II, стр. 31—35). Как видно из этого письма, денежные заботы начали мучить Бакунина с первых же месяцев его прибытия за границу. Принадлежа к небогатой (вследствие многосемейности) дворянской семье, он привык жить не по средствам, да как дворянин и не умел жить иначе, и финансовый кризис начал ощущаться им сразу по приезде за границу. Ниже мы увидим, до чего он в этом отношении дошел.

№ 408. — Напечатано в «Письмах М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», Женева 1896, стр. XVI—XVIII.

[1] Гото, Генрих Густав (1802—1873) — немецкий философ, гегелианец, редактировал некоторые томы первого собрания сочинений Гегеля, читал лекции по энциклопедии философских наук, истории эстетических систем и пр.; был специалистом по вопросам искусства.

[2] Как мы знаем, вторая половина статьи Бакунина о философии не была напечатана в «Отечественных Записках». Впервые она опубликована нами в томе II настоящего издания.

№ 409. — Письмо это публикуется здесь впервые по оригиналу, хранящемуся в Прямухинском архиве. Дата письма устанавливается по письму Варвары, предшествующему приписке Михаила.

№ 410. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 21, а затем II, стр. 35—37) со многими пропусками и ошибками.

№ 411. — Напечатано без конца у Корнилова («Былое» 1923, № 23, а затем II, стр. 39—41).

[1] Знаменитый писатель познакомился с М. Бакуниным в Берлине в конце июля 1840 года. В письме к Бакунину от 8 сентября 1840, напечатанном в декабрьской книжке «Русской Мысли» за 1912 год, очень хорошо передано настроение, вызванное в молодом беллетристе, тогда еще только начинавшем свою карьеру, знакомством с М. Бакуниным, который в то время несомненно имел на Тургенева немалое влияние.

«Как для меня значителен 1840 год! Как много я пережил в 9 месяцев! Вообрази себе: в начале января скачет человек в кибитке по снегам России. В нем едва началось брожение, его волнуют смутные мысли; он

робок и бесплодно-задумчив... В Риме я нахожу Станкевича. Понимаешь ли ты переворот или нет — начало развития моей души?.. Станкевич, тебе я обязан моим возрождением, ты протянул мне руку и указал мне цель... Я приехал в Берлин, предался науке — впервые звезды зажглись на моем небе — и наконец я узнал тебя, Бакунин! Нас соединил Станкевич, и смерть не разлучит. Скольким я тебе обязан, я едва ли могу сказать и не могу сказать: мои чувства ходят еще волнами и недовольно еще утихли, чтобы вылиться в слова. Покой, которым я теперь наслаждаюсь, быть может, мне необходим: из моей кельи гляжу я назад и погружен в тихое созерцание. Я вижу человека, идущего сперва с робостью, потом с верою и радостью по скату высокой горы, венчанной вечным светом: с ним идет товарищ, и они спешат вперед, опираясь друг на друга, а с неба светит ему тихая луна: ...ему отрадно и легко, и он верит в достижение цели». На следующий день он писал: «Мишель, нам надо будет заняться древними языками. Нам надо будет работать, усердно работать в течение зимы. Я надеюсь, мы проведем ее прекрасно. Университет, занятия, а вечером будем сходиться у твоей сестры [Варвары], ходить слушать хорошую музыку; составим чтения; Вердер будет к нам приходить. Постой, дай перечесть, сколько месяцев наслаждения, с 1 октября по 1 мая — 7 месяцев, 210 дней! Весною я должен ехать в Россию, непременно. Но осенью я снова возвращусь. Ты дай мне письма к своим: как я желаю хоть видеть их! Скажи им обо мне как о человеке, который тебя любит: больше ничего. Ты не поверишь, как я счастлив, что могу говорить тебе «ты». У меня на заглавном листе моей энциклопедии написано: «Станкевич скончался 24 июня 1840 г.», а ниже: «я познакомился с Бакуниным 25 июля 1840 г.». Изо всей моей прежней жизни я не хочу вынести других воспоминаний. У меня всего было два друга — и первого звали Мишель. Он умер; мы с ним вместе росли, вместе дожили до 18 лет, и он умер. Но ты будешь жить, и я буду жить, и, может быть, оба недаром. Прощай».

Бакунин платил Тургеневу такою же любовью. На время Тургенев стал как бы членом бакунинского семейства — сначала в Берлине, где он жил душа в душу с Мишелем, Варварою и Павлом, затем в России, где он подружился с братьями Бакунина и завел роман (краткотечный и неудачный) с его любимою сестрою Татьяною. Но слишком разны были характеры и жизненные пути М. Бакунина и И. С. Тургенева, и дружба их не могла остаться долговечною.

Описание берлинской жизни Бакуниных и И. Тургенева дано в следующем письме М. Бакунина (см. № 412).

№ 412. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 21, а затем II, стр. 44—46), как водится, с пропусками и ошибками.

[1] В это время разрыв Александры Бакуниной с В. П. Боткиным был уже совершившимся фактом. На него и намекает М. Бакунин.

№ 413. — Напечатано в не вполне исправном виде у Корнилова («Былое» 1923, № 22, а затем II, стр. 52—56).

Дата устанавливается из слов: «Танюше напишу завтра», а ей он написал 1 февраля 1841 (см. № 414).

Вызов в Берлин брата Павла и сестры Татьяны сделан был явно по соглашению с И. Тургеневым, который легкомысленно вызвался доставить нужные для того средства, хотя сам в то время находился еще в материальной зависимости от матери и не мог свободно располагать большими деньгами. Это Бакунин впоследствии почувствовал на своей шкуре, когда в 1843 году очутился в почти безвыходном финансовом положении.

№ 414. — Напечатано в неисправном виде у Корнилова («Былое» 1923, № 22, а затем II, стр. 56—59).

№ 415. — Напечатано в крайне неисправном виде у Корнилова («Былое» 1923, № 22, а затем II, стр. 59—64). Дата у Корнилова поставлена неправильно: 2/9 марта. Такой даты быть не может. Да в оригинале довольно ясно проставлено в числителе 29, а в знаменателе 17 (можно было бы принять знаменатель за 7, но у Бакунина цифры 1 и 7 в данном случае поставлены так близко, что сливаются). Другими словами письмо датиро-

вано 29/17, что вполне соответствует тогдашней разнице нового и старого стиля в 12 дней. Кстати заметим, что в письмах Бакунина из-за границы дата нового стиля указывается чаще всего в числителе, а старого — в знаменателе (так и здесь). Отсюда ясно, что письмо относится к 17/29, или, как пишет Бакунин, к 29/17 марта.

[1] Шенлейн, Иоанн Лука (1793—1864) — знаменитый германский врач, лечивший между прочим и богатых русских; с 1839 профессор Берлинского университета; основатель «естественно-исторической школы» в медицине; был с 1839 лейб-медиком прусского короля и впоследствии представил ему Г. Гервега.

[2] Сумбурные доводы Мишеля в пользу поездки Татьяны за границу повидимому не убедили прозаически настроенного Николая, который вдобавок в то время относился несколько скептически к увлечениям старшего брата и, если верить Белинскому, даже принимал сторону родителей в их конфликтах с Мишелем. Да Татьяна и сама не хотела ехать за границу. Во всяком случае, если Павлу удалось на пару лет перебраться в Берлин, то поездка Татьяны туда не состоялась. Павел выехал только в начале августа, а 9/21 августа он писал уже родителям из Берлина.

№ 416. — Оригинал письма находится в архиве Вс. Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Публикуется впервые. Это единственное дошедшее пока до нас письмо Бакунина к Ефремову, написанное за границей. Адресовано оно в Берлин, Kronenstrasse, 56.

Дата письма устанавливается из приписки Германа Мюллера, датированной 9 апреля 1841 года. Почтовый штемпель указывает 10/4 1841.

Отправлено письмо из Ней-Бранденбурга, как видно по почтовому штемпелю. Ней-Бранденбург — германский городок в в. герцогстве Мекленбург-Стрелиц на берегу озера Толлензее. Сюда увлек Бакунина и Тургенева наверно Герман Мюллер-Стрюбинг, бывший в те времена чичероне всех русских, попадавших в Берлин. В этом городке проживали мать и сестра Стрюбинга.

В своей приписке Мюллер между прочим пишет: «Тургенев заявляет, что завтра напишет вам длинное письмо, я же в этом весьма сомневаюсь, так как по правде сказать мы предаемся здесь поистине трогательной лени. Один Бакунин очень хотел бы составить исключение из этого правила, по крайней мере он ежедневно после обеда уединяется на два часа под предлогом занятий логикою. Но когда я на-днях как-то зашел в это время в соседнюю комнату, то через закрытую дверь услышал ужасающий храп и соп, показавшиеся мне в высшей степени подозрительными. Бакунчик утверждает, будто эти звуки производились сильным движением его духа в дидротовской борьбе с объектом, он как раз находился-де в переходе в природу, я же спрашиваю Вас,.. что скажете Вы об этом».

№ 417. — Это письмо публикуется здесь впервые.

[1] Варвара по совету сестер и Мишеля написала Н. Дьякову письмо, в котором объясняла, что ее возвращение на родину отчасти задерживается ее опасениями возможных приставаний с его стороны. Добродушный Дьяков ответил ей письмом, в котором заверял ее, что не станет ее тревожить и предоставляет ей полную свободу.

№ 418. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 22, а затем II, стр. 73—74) с пропуском того места в конце письма, в котором сообщается о полномочии, предоставленном И. Тургеневу Мишелем и Варварою.

Письмо это интересно в том отношении, что в нем Бакунин говорит об узах истинной дружбы его с И. С. Тургеневым.

№ 419. — Публикуется впервые. На оригинале имеется пометка рукою А. Корнилова: «лето 1842 года». Но это неверно. Письмо относится к первой поездке Тургенева в Россию 1841 года. А Тургенев *весною* уех в Москву, откуда с матерью вскоре уехал в Спасское, т. е. в Орловскую губернию, где недалеко от него жили Бееры (в Шашкине). См Н. М. Гутьяр — «Хронологическая канва для биографии И. С. Тургенева», стр. 6 (в «Сборнике Отделения русского языка и словесности Академии Наук», том LXXXVII, № 2).

№ 420. — Публикуется впервые.

Павел Бакунин, не найдя в Берлине Мишеля и Варвару, которые пили воды в Эмсе, искал их по всей Германии и разослал несколько десятков писем. Но вскоре, а именно 16/28 августа, он их отыскал, а затем приехал к ним в Эмс. Как видно из этого письма, Бакунины 8/20 сентября 1841 уехали в Дрезден, так что непонятно, на каком основании А. Корнилов (II, стр. 82) уверяет, будто Павел прожил в Эмсе с сестрою и братом три месяца (так по крайней мере можно понять его слова). Через месяц с неделею М. Бакунин, оставив Варвару и Павла в Дрездене, уехал в средине октября в Берлин через Галле, откуда адресовано его следующее письмо (см. № 421).

№ 421. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 22, а затем II, стр. 87—89).

Это письмо слегка попорчено: срезан нижний его конец, так что последние строки на обеих страницах письма неясны и отчасти пропали. Повидимому А. Корнилов имел в руках письмо в неповрежденном виде, судя по тому, что он приводит строки, которых теперь в письме нет (мы заключили их в прямые скобки), откуда можно заключить, что письмо было повреждено или тогда, когда Прямухинский архив находился в распоряжении А. Корнилова, или после того, как он передал его в Пушкинский Дом, что менее вероятно.

[1] Ламенне, Фелиситэ Робер (1782—1854) — один из представителей христианского социализма, католический священник, демократ, последователь Ж.-Ж. Руссо, сначала считал возможным примирить церковность со свободою и с преданностью интересам трудящихся, но в 1834 порвал с церковью, выпустив книгу «Слова верующего к народу», вскоре осужденную в особой папской энциклике. В ряде последовавших затем сочинений он выступал все левее и все враждебнее к церкви. Правительство Луи-Филиппа приговорило его к годичному тюремному заключению. В 1848 был избран членом Учредительного собрания и заседал на крайней левой. После июньского разгрома пролетариата открыто выступил против его палачей. Умер в крайней бедности и завещал похоронить себя среди бедных.

[2] О Г. М. Толстом см. комментарий к № 478.

№ 422. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 22, а затем II, стр. 83—87).

[1] Руге, Арнольд (1802—1880) — немецкий философ, писатель и политический деятель. Замешанный в юности в студенческое движение, был приговорен к 5 годам крепости. Сторонник гегелианства, он с 1832 был приват-доцентом в университете в Галле; с 1837 вместе с Эхтермейером основал «Галлеские Летописи искусства и науки», примкнувшие к левому крылу гегелианства, принявшие радикальный характер и подвергнутые за то прусским правительством предварительной цензуре. После того Руге перенес издание своего журнала в Дрезден, где он получил новое название «Немецкие Летописи». Здесь-то и познакомился с ним Бакунин, который скоро возымел на Руге настолько сильное влияние, что тот даже доверил ему часть своих сбережений и поручился за него перед несколькими другими лицами (впоследствии это обстоятельство поставило Руге в крайне неудобное положение). В «Немецких Летописях» и появилась известная статья Бакунина «Реакция в Германии» (см. № 448). Когда был закрыт и этот журнал, Руге уехал в Швейцарию, где к тому времени вышел сборник непропущенных цензурою статей, предназначавшихся для закрытого журнала, под заглавием «Анекдоты» в 2 томах. Затем Руге переехал в Париж, где вместе с К. Марксом основал журнал «Немецко-французские Летописи» (или «Н.-ф. Ежегодник»), которого вышла только одна двойная книжка, после чего журнал вследствие разногласий внутри редакции прекратился, так как в качестве буржуазного демократа Руге весьма враждебно относился к коммунизму. Вернувшись в Германию, Руге в 1848 был избран от Бреславля депутатом во Франкфуртский парламент, где заседал на крайней левой. После разгрома революции бежал в Англию. Здесь вместе с Мацини и Ледрю-Ролленом основал «Европейский революционный комитет»,

пытавшийся представлять несуществующую революцию и вызывавший насмешливое отношение со стороны серьезной политической эмиграции. В Англии Руге и жил до смерти, давая уроки, все более правея и брюзжа на историю, проходившую мимо него.

[2] Ранке, Леопольд (1795—1886) — известный немецкий историк, с 1825 профессор истории в Берлинском университете, с 1841 — прусский историограф. Автор множества сочинений, из которых ко времени поступления Бакунина в Берлинский университет вышли между прочим «История романских и германских народов с 1494 по 1535», «Сербская революция», «Римские папы... в XVI и XVII веках», а также первые томы его «Истории Германии в эпоху реформации».

№ 423. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 22, а затем II, стр. 91—94).

№ 424. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 22, а затем II, стр. 89—91).

№ 425. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 22, а затем II, стр. 94—97).

№ 426. — Публикуется впервые.

№ 427. — Публикуется впервые.

№ 428. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 22, а затем II, стр. 97—98).

[1] Россини, Иоахим (1792—1868) — итальянский композитор, автор множества опер, из которых наиболее известны «Севильский цырюльник» и «Вильгельм Телль», а также музыка на слова католической церковной песни «Stabat Mater» (изображающая страдания «богоматери» при виде распятия ее сына).

[2] Панов, Василий Алексеевич (1819—1849) — писатель, славянофил; кончил Московский университет; познакомился с семьею А. П. Елагиной и с видными славянофилами, сторонником которых стал. В 1840 познакомился у С. Т. Аксакова с Гоголем и вызвался сопровождать больного писателя в его второе путешествие за границу (здесь с ним и познакомился Бакунин, который впрочем мог знать его и по Москве, в частности по салону Елагиной). В 1842 проехал в славянские земли на Балканы; в 1844 вернулся в Москву, издал между прочим два тома «Московского сборника» и написал несколько работ по истории западных и южных славян.

№ 429. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 22, а затем II, стр. 99—101).

№ 430. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 22, а затем II, стр. 79—81 и 101—105).

[1] Эти слова Бакунина показывают, что до него дошли слухи о романе, завязавшемся в России между И. С. Тургеневым и Татьяною.

Тургенев, уехавший в Россию с готовым представлением о сестрах Бакунина как об идеальных представительницах женского пола, а особенно вероятно о Татьяне, этой любимой сестре Мишеля, который наверно много ему о ней говорил в Берлине, познакомился с Бакуниными летом 1840 года, побывал в Прямухине, близко сошелся с братьями Бакунина и скоро влюбился в Татьяну. Роман между ними разыгрался в 1841—1843 годах, но по крайней мере со стороны Тургенева носил надуманный, головной, философский характер. Летом Татьяна поняла, что чувство Тургенева к ней вовсе не является настоящею любовью, и предложила ему «вечную дружбу»; а осенью того же года Тургенев перед отъездом в Петербург признал, что роман их кончился, в особом прощальном письме, в котором, правда, называл ее своею музою и лучшею, единственною подругою, но в котором в сущности окончательно с нею порывал. Впоследствии Тургенев описал свою философическую любовь к Татьяне Бакуниной в рассказе «Андрей Колосов» (1844 г.), хотя сюда вплетены и факты из неудачного романа Н. Станкевича с Любовью Бакуниной. А еще через несколько лет, охладев к своим былым увлечениям, в частности бакунинским семейством и самим Мишелем, Тургенев в другом рассказе «Татьяна Борисовна и ее племянник» (1848 г.) уже зло подшучивал над своим философским романом;

там он выводит девицу, «добрейшее существо, но исковерканное, натянутое и восторженное» (здесь сказалось повидимому и влияние В. Белинского, с которым Тургенев сблизился и который наверно рассказал ему о своих отношениях с М. Бакуниным и по-своему охарактеризовал его влияние на сестер, а как Белинский относился к этой стороне жизни М. Бакунина, мы уже знаем). Итак эта девица влюбляется в молодого проезжего студента и вступает с ним в деятельную переписку: «в посланиях своих она, как водится, благословляла его на святую и прекрасную жизнь, приносила «всю себя» в жертву, требовала одного имени сестры, вдавалась в описания природы, упоминала о Гете, Шиллере, Беттине и немецкой философии и довела наконец бедного юношу до мрачного отчаяния». Но молодость взяла свое: в один прекрасный день юноша проснулся с такой остервенелою ненавистью к своей «сестре и лучшему другу» (слова «лучший друг» находятся в прощальном письме самого Тургенева к Татьяне Бакуниной), что с тех пор не выносил разговоров о возвышенной и бескорыстной любви.

Письма И. С. Тургенева к Т. А. Бакуниной напечатаны в «Голосе Минувшего» 1919, №№ 1—4; а письма Татьяны Бакуниной к Тургеневу опубликованы Н. Л. Бродским вместе с его статьею «Прямухинский роман в жизни и творчестве Тургенева» в книге «И. С. Тургенев», составляющей второй выпуск «Документов по истории литературы и общественности», изд. Центрархива. Госиздат. 1923. Только, как указывает А. Корнилов (II, стр. 115), письма расположены у Бродского неправильно.

№ 431. — Печатается впервые. Письмо интересно в том отношении, что в нем Бакунин в первый раз определенно намекает на принятое им решение остаться за границею в качестве политического эмигранта («у меня осталось только два-три месяца обеспеченного существования»).

№ 432. — Напечатано у Корнилова («Былое» 1923, № 22, а затем II, стр. 109—111).

[1] Фролов, Николай Григорьевич (1812—1855) — русский географ, б. гвардейский офицер, вышел в отставку в 1834; учился в нескольких германских университетах, в 1837 слушал курс в Берлине. Во время его пребывания в Берлине (1837—1847) вокруг него группировался кружок молодых русских, через который прошли Т. Н. Грановский, И. С. Тургенев, М. А. Бакунин и др. В 1847 вернулся в Россию; издавал «Магазин землеведения и путешествий», перевел «Космос» А. Гумбольдта.

[2] Мюллер-Стрюбинг, Герман (1812—1893) — германский филолог, в 1835 за участие в революционном выступлении во Франкфурте был приговорен к смертной казни, замененной вечным заключением в крепости, в 1840 выпущен из тюрьмы, поселился в Берлине, с 1848 проживал в Париже, где был дружен с Герценом, Жорж Занд и пр.; участвовал в июньском выступлении 1849, с 1852 переехал в Лондон, где умер. Типичный представитель интеллигентской богемы, особенно сошелся с русскими, для которых служил в Берлине чичероне, знакомившим их с различными течениями в литературе, музыке, живописи и пр. Подробно, хотя и в несколько издевательском духе, описан у Герцена в разных местах, но особенно в «Былом и Думах» (в главе «Немцы в эмиграции»).

№ 433. — Печатается впервые.

№ 434. — Напечатано у Корнилова («Былое», 1923, № 22, а затем II, стр. 111—112).

[1] Эта манера вмешиваться в интимные дела других людей и в частности склонность сватать одних к другим отмечается всеми знавшими Бакунина (она видна и из печатаемой нами переписки). На этой почве иногда происходили неприятные истории как с самим Бакуниным, так и с теми, на кого он обращал свое попечительное внимание.

[2] Ответ Николая Бакунина на это письмо, адресованный Варваре, напечатан у Корнилова (т. II, стр. 112—113); там же напечатано ответное письмо Варвары.

№ 435. — Напечатано с пропусками у Корнилова (II, стр. 215—218).

Роман между Павлом, еще не окончившим к тому времени университета, и Александрою Беер, которая была старше его на 5 лет, тянулся около

двух лет (с конца 1841 по конец 1843) и, как можно было ожидать, не привел ни к чему. Судя по записи, сделанной в декабре 1841, Александра ждала, что Мишель благословит ее союз с Павлом. Но в феврале 1842 она уже записывала: «Я ошиблась: Мишель не благословил союз наш, но омрачил его сомнениями. Итак дружба невозможна между нами, а я все еще думала: она возможна. Я не перестану уважать его, не стану отрицать то добро, которое он сделал мне... нет, я не изменюсь к нему, как ни изменился бы он собственно ко мне.... Будет ли Павел тверд, противостанет ли он Мишелю?.. Посмотрим, кто сильнее из нас двух над душой человека. Любовь или логические доводы ума без участия сердца?» А в ноябре 1843 она принуждена была констатировать: «влияние ума победило Павла» (Корнилов, там же). Этого А. Беер не могла Мишелю простить.

№ 436. — Напечатано у Корнилова (II, стр. 144—145). Дата устанавливается по отъезду В. Дьяковой в Россию. Приехала она в Россию в конце июня 1842.

№ 437. — Напечатано у Корнилова (II, стр. 145—146).

Княжевич, Александр Максимович (1792—1872) — с 1811 служил по м-ву финансов; с 1858 по 1862 был министром финансов; был другом старика Бакунина. Мишель знал его со времен детства, когда был привезен в Петербург для поступления в Артиллерийское училище.

№ 438. — Печатается впервые. Трудно понять, о чем идет речь в настоящем письме: вряд ли о возможной дуэли с Н. Огаревым, ибо, не говоря уже о том, что для таковой не было серьезных оснований, братья Бакунины узнали о пребывании Огарева в Дрездене позже (см. № 442). Скорее можно допустить, что здесь говорится о намерении М. Бакунина перейти на революционный путь и сделаться эмигрантом. Это (в связи с письмом № 431) показывало бы, что намерение Бакунина не составляло секрета для его друзей уже с начала 1842 года. Но это — только предположение.

№ 439. — Напечатано у Корнилова (II, стр. 149—150).

№ 440. — Напечатано у Корнилова (II, стр. 148—149).

№ 441. — Печатается впервые. Тема та же, что и в № 438.

№ 442. — Напечатано у Корнилова (II, стр. 153—156). Корнилов датирует это письмо общо: «летом 1842 г.». Между тем дату можно установить более точно: письмо относится к началу июля н. ст., ибо в нем Бакунин еще не знает о приезде Варвары домой.

[1] В тот момент Н. П. Огарев (который в старости стал последователем Бакунина и из-за него даже ссорился с Герценом) относился к Бакунину крайне отрицательно. Быть может, потому, что ссора Бакунина с М. Н. Катковым (см. том II настоящего издания) в связи с ухаживанием последнего за женою Огарева заставила публику болтать насчет семейной жизни поэта и этим доставила ему много неприятностей, или же потому, что Огарев независимо от того был возмущен поведением Мишеля в этом конфликте, о котором он знал впрочем из передачи врагов Бакунина, — только он в то время отнесся к Мишелю с величайшим осуждением. Он даже писал тогда Герцену, что поведение Бакунина, которого он называл «длинным гадом», относительно В. Боткина «так низко, что выразить нельзя», выражал сожаление по поводу оказанной Бакунину поддержки (денежная помощь для выезда за границу) и советовал Герцену порвать с Мишелем и впредь не оказывать ему никакого вспомоществования (последнее, кажется, и имело место). И он заключал: «Надо сознаться, что наше появление в Москве не доставило нам хорошего знакомства. Два умных человека, из которых один (Катков. — *Ю. С.*) — мальчишка, другой (Бакунин. — *Ю. С.*) — подлец, — вот все, что мы узнали» («Письма Бакунина», жен. изд., стр. XI). Надо полагать, что все это, а может быть, и многое другое, нам теперь неизвестное, Бакунин знал: отсюда вражда его к Огареву.

[2] Бакунин познакомился с Руге уже с весны 1842 (об этом можно судить по письму Руге к Розенкранцу от апреля 1842, в котором он ошибочно приписывает Бакунину авторство брошюры против Шеллинга, на самом деле принадлежавшей молодому Энгельсу). 26 сентября 1842 Руге пишет брату Людвигу из Дрездена: «Мюллер-Стрюбинг здесь, равно как Бакунины

(т. е. Михаил и Павел. — *Ю. С.*). Я часто с ними встречаюсь. Старший Бакунин — очень образованный человек и обладает крупным философским талантом. Ты знаешь, он происходит из местности под Москвою» (*Arnold Ruge* — «Briefwechsel und Tagebuchblätter». Berlin 1886, в двух томах; том I, стр. 273 и 281). Из писем Руге видно, что Бакунин скоро завел много знакомств в демократических кругах: из его знакомых Руге называет поэта Георга Гервега, Кёхли, Кесслера; сюда нужно прибавить демократического издателя Виганда и др. (см. там же, стр. 284, 289). По мере того как революционное настроение в нем крепло, Бакунин начал чувствовать себя в этой компании все увереннее. В частности он возымел немалое влияние на А. Руге, несмотря на то, что был моложе его на 12 лет (28 и 40), что Руге был уже человеком с определенным общественным положением, с именем, считался благодаря редактировавшемуся им журналу одним из идейных вождей молодой Германии и левых гегельянцев, а Бакунин был никому неизвестный начинающий молодой человек. Это несомненно говорит как о мощи его характера, так и большой его умственной силе.

[3] Здесь мы имеем первое упоминание о знаменитой статье Бакунина «Реакция в Германии», которая в октябре появилась в журнале Руге и сразу выдвинула Бакунина в первые ряды демократической публицистики.

№ 443. — Напечатано у Корнилова (II, стр. 150—151). Письмо слегка попорчено.

№ 444. — Напечатано у Корнилова (II, стр. 151—153). Как видно из этого письма, в рассматриваемый момент (который к сожалению нельзя установить с точностью и который может приходиться примерно на август—сентябрь) родные Бакунина уже знали о принятом им решении остаться за границей и заняться революционною деятельностью. Они могли узнать об этом и от И. С. Тургенева и от сестры Варвары. Впрочем, как мы видели выше (см. №№ 438 и 441), не исключена возможность, что они об этом знали или догадывались и раньше.

№ 445. — Напечатано у Корнилова (II, стр. 156—158).

Из первых строк настоящего письма видно, что предыдущее письмо, которое Бакунин называет грозным, до нас не дошло.

№ 446. — Напечатано у Корнилова (II, стр. 158—163).

[1] Речь идет о благополучном завершении романа между Николаем Бакуниным и Анной Петровной Ушаковой. Помолвка их состоялась 18 октября 1842, а свадьба 10 октября 1843.

№ 447. — Напечатано у Корнилова (II, стр. 163—168). Приписка к этому письму, сделанная Бакуниным 5 ноября, напечатана там же, стр. 169. Дело в том, что это важное письмо Тургенев и Павел Бакунин, уезжавшие в Россию, должны были увезти с собою: доверять его почте нельзя было. 3 ноября они выехали из Дрездена. Но в Берлине друзья задержались вследствие болезни Тургенева. Письмо было послано им туда вдогонку. В Прямухино Павел Бакунин приехал только 9 декабря 1842.

Настоящее письмо, в котором Бакунин заявляет о своем разрыве с тогдашнею официальной Россиею, нужно считать поворотным пунктом в его жизни. План его, заключавшийся в выделе ему отцом причитающейся ему части имения, не получил осуществления. Но и позже, по смерти родителей, когда братья и сестры сделались распорядителями имущества, они не скоро выделили брату его долю, и только в 1875 г., за год до смерти, Бакунин получил некоторую сумму, которая позволила ему хотя и не полностью расплатиться с долгами (см. в последнем томе настоящего издания).

№ 448. — Эта первая революционная статья Бакунина была напечатана в №№ 247—251 журнала «Немецкие Летописи» («Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst») за 17—21 октября 1842 года, т. е. в пяти номерах (стр. 985—1002). Несовсем точный перевод ее дан у Корнилова (II, стр. 179—198). Подписал ее Бакунин французским псевдонимом Жюль Элизар. Что он вообще прибег к псевдониму, это понятно: в те времена русскому эмигранту в Пруссии нечего было и думать выступать под собственным именем, не рискуя быть выданным в руки русского царя. А то, что Бакунин выступил под маскою француза, объяснялось тем, что в то время

французы считались учителями немцев в политической области, а политическая жизнь во Франции была тогда развита более, чем где бы то ни было в Европе. Но мы думаем, что, выбирая себе этот псевдоним, Бакунин вспоминал старые споры в Москве между своим кружком (Бакунин, В. Белинский и пр.) и кружком Герцена, вернее самим Герценом. Ведь последний рассказывает, что он и его друзья называли членов кружка Станкевича немцами и сантименталистами, а те называли членов герценовского кружка фрондерами и французами. Теперь, когда Бакунин сам стал фрондером, он вспомнил вероятно эти споры юношеского периода и демонстративно назвал себя и французом, т. е. политиком и демократом.

Редакция предпослала статье Бакунина следующее вступление: «Мы даем не просто замечательную вещь; это — новый значительный факт. Дилетантов и несамостоятельных последователей вроде Кузена и других немецкая философия уже и раньше производила за границею; но людей, философски переросших немецких философов и политиков, до сих пор вне наших пределов не встречалось. Таким образом заграница срывает с нас и теоретический венец; и мы смеем надеяться, что новый факт, а именно тот, что француз понимает и разбирает немецкую философию, как философию «точного наблюдения», так и философию «правильной середины» и «крайности», сбросит не одного соню с увенчанной миртами лежанки. Быть может, Жюль Элизар прав, когда предсказывает нам великую практическую будущность; но он конечно ошибся в нас, если его пример не заставит нас отказаться от теоретического высокомерия, добровольно отречься от нашей привилегии и — страшно сказать — сделаться французами»

Впоследствии Руге в своей статье о М. Бакунине, напечатанной после смерти последнего в «Neue Freie Presse» от 28 и 29 сентября 1876 г., вспоминая об этой замечательной статье, указывает, что в ней содержались весь характер Бакунина и дальнейшее развитие его мышления вплоть до социал-демократического социалистического). Статья, насквозь революционная и предсказывавшая близкое крушение старых порядков, могла проскользнуть в печать потому, что и сам цензор не разобрал ее истинного смысла.

Смело написанная статья Бакунина обратила на себя внимание всех, интересовавшихся философскими и политическими вопросами, даже в далекой России. Обратил на нее внимание и Герцен, не догадывавшийся о том, что автором ее является Бакунин. По поводу известия о закрытии «Немецких Летописей» правительством Герцен в своем дневнике записал 7 января 1843 года: «В одном из последних номеров была статья француза Jules Elysard о современном духе реакции в Германии. Художественно-превосходная статья. И это чуть ли не первый француз (которого я знаю), понявший Гегеля и германское мышление. Это — громкий, открытый, торжественный возглас демократической партии, полный сил, твердый обладанием симпатий в настоящем и всего мира в будущем; он протягивает руку консерватистам как имеющий власть, раскрывает им с неимоверною ясностью смысл их анахронистического стремления и зовет в человечество. Вся статья от доски до доски замечательна. Когда французы примутся обобщать и популяризировать германскую науку, разумеется понявши ее, тогда наступит великая фаза der Bethätigung *. У немца нет еще языка на это. В этом деле, может, и мы можем вложить лепту». Но скоро Герцен узнал настоящее имя автора поразившей его статьи и 28 января 1843 записал в своем дневнике: «Весть об Jules Elysard. Он смывает прежние грехи свои. Я совершенно примирился с ним». А получив вскоре после того письмо от Бакунина, Герцен записал там же 15 февраля: «[Он] умом дошел до того, чтобы выйти из паутины, в которой сидел». Надо полагать, что здесь Герцен говорит о прежних ошибочных политических взглядах Бакунина.

Новая фаза духовного развития Бакунина произвела сильное впечатление и на В. Белинского.

Как мы знаем, расстались Бакунин и Белинский враждебно (см. т. II, стр. 481 сл.). Бакунин, попав за границу и окунувшись в широкие европей-

* Осуществления.

ские интересы, начал свысока смотреть на своих московских приятелей и на их бедную умственную жизнь. С своей стороны Белинский первое время продолжал с неприязнью относиться к Бакунину, усматривая в нем сухую и абстрактную натуру. В письме к В. П. Боткину от 4 октября 1840 он иронически сообщает, что по словам Бакунина Станкевич верил в личное бессмертие, Штраус и Вердер верят, но что ему, Белинскому, от этого не легче. И дальше, говоря о своей страстной натуре, запросы которой всегда остаются без удовлетворения, он прибавляет: «Зачем я не скопец от природы, как Мишель Бакунин?» («Письма», т. II, стр. 165—166). Насколько сильно было в Белинском враждебное чувство к М. Бакунину, видно из письма его к Николаю Бакунину от 6—8 апреля 1841. «Я,— пишет Белинский, — оторвался от него (Мишеля) навсегда и больше не прилеплюсь к нему, но чего мне это стоило: почти трехлетней лихорадочной борьбы с самим собою. Нисколько не обижая его, скажу, что он сам виноват, если мы теперь только знакомы и то по воспоминанию о прошедшем, и если встретимся на дороге жизни, то только по старой привычке будем говорить друг другу ты». Рассказав далее, что он получил от Мишеля письмо из Берлина (датированное 4 сентября 1840), полное искренности и добросовестности, в котором Бакунин признает во многом обвинения Белинского правильными, Белинский продолжает: «Это-то письмо именно потому, что оно искренно и добросовестно, и показало мне, что мы разошлись навсегда, и что прошедшего уже не воротишь... Я ему не отвечал и не буду отвечать» (ib., стр. 230).

Но проходит год, и отношение Белинского к Бакунину начинает меняться. В письме к Боткину от апреля 1842 Белинский уже сообщает, что собирается писать Бакунину (ib., стр. 306). Что же случилось? Белинский узнал о полевении Бакунина, до него дошли уже повидимому слухи о статье Жюля Элизара, и он мог убедиться, что его прежнее мнение об абстрактности Мишеля, его сухой диалектике, глухой к голосу действительной жизни, оказалось несовсем верным. В письме к Николаю Бакунину от 7 ноября 1842, т. е. вскоре после появления статьи о «Реакции в Германии», Белинский говорил: «До меня дошли хорошие слухи о Мишеле, и я написал к нему письмо... Не удивляйтесь, от меня все может статься. Вы... всегда желали и надеялись, что мы вновь сойдемся с Мишелем: ваше желание исполнилось, ваша надежда оправдалась — по крайней мере с моей стороны... Мы, я и Мишель, искали бога по разным путям — и сошлись в одном храме. Я знаю, что он разошелся с Вердером, знаю, что он принадлежит к левой стороне гегелианства, знаком с R. (т. е. Арнольдом Руге. — *Ю С.)* и понимает жалкого, заживо умершего романтика Шеллинга (слова о Шеллинге можно понимать и в таком смысле, что до Белинского дошел впоследствии оказавшийся неверным слух, будто брошюра «Шеллинг и откровение», вышедшая в 1842 году и в действительности написанная молодым Ф. Энгельсом, принадлежит Бакунину, слух, в распространении которого повинен и А. Руге. — *Ю. С*). Мишель во многом виноват и грешен; но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки: это — вечно движущееся начало, лежащее во глубине его духа. Притом же дорога, на которую он вышел теперь, должна привести его ко всяческому возрождению». Дальше Белинский сообщает, что и Боткин написал Мишелю («Письма», т. II, стр. 317—318). И когда Николай Бакунин выразил сомнение в неожиданно вспыхнувшей любви Белинского к Мишелю за убеждения, Белинский в письме от 28 ноября 1842 ответил: «Любить человека за понятия и можно и должно... Я некогда сам думал,.. что любят не за понятия, и поэтому подозревал Мишеля в сухости и мертвенности натуры; но... он одержал надо мною победу, которой может порадоваться» (ib., стр. 322).

В письме к В. П. Боткину от 6 февраля 1843 Белинский, уже знавший об отъезде Бакунина из Дрездена в Швейцарию, снова выражал свое преклонение перед Мишелем за избранный им революционный путь: «Письмо Бакунина посылаю. Оно таково, как должно было ожидать. Говорят, он п р и н у ж д е н был из Дрездена переехать в Базель — это глубоко меня огорчило. После тебя я этого человека люблю больше всех: любовь моя

к нему — не страсть, а пафос, ибо — любовь к человеческому достоинству и ко всему, чем велика и свята жизнь» (ib., стр. 333). В таком же духе он писал и Татьяне Бакуниной в общем письме к Бакуниным от 23 февраля 1843: «Вы спрашиваете, получил ли я ответ от Мишеля — получил и именно такой, какого ожидал, в каком был уверен. О, будьте уверены, что это новое примирение — не порыв, не вспышка, что оно вышло из жизни, что я глубоко, свято люблю Мишеля, что мое уважение к нему походит на восторг... Письмо Мишеля я переслал к Боткину, который к Мишелю теперь находится в таких же точно отношениях, как и я, который тоже вместе со мною писал к Мишелю и которому Мишель отвечает с такою же искренностью и задушевностью, как и мне». А в конце письма, заговорив о М. Н. Каткове, на стороне которого он стоял в 1840 году во время конфликта его с Бакуниным, Белинский пишет о своем былом герое: «То-то дрянь-то! Это — воплощение раздутого самолюбия. Ну, да чорт с ним — он не стоит, чтобы и говорить о нем» (ib., стр. 341—342 и 344).

Наконец в другом письме к сестрам Бакунина от 8 марта 1843 Белинский пророчествует о будущем революционном пути Мишеля: «Мишель, могучему духу которого нет места здесь и тесно даже там, где необъятное пространство поглощает других, как море каплю воды!.. Ему лежит другой путь и путь великий, он долго был безобразною кометою — теперь настало для него время трансформации в светлое лучезарное солнце» (ib., стр. 349).

Белинский встретился с М. Бакуниным в Париже в 1847 году (см. комм. к № 487).

[1] Пентархистом назывался в германских интеллигентских кругах 40-х годов анонимный автор выпущенной издателем О. Вигандом в 1839 году книги «Европейская пентархия», направленной к защите внешней политики Николая I. О нем см. комментарий к № 542 в томе IV настоящего издания.

[2] Бакунин имеет в виду брошюру проф. Ф. Маргейнеке «Введение к публичным лекциям о значении гегелевской философии в христианской теологии. С приложением особого мнения о Бруно-Бауеровской критике евангельской истории». Берлин 1842, стр. 87. Это особое мнение было подано прусскому министру «исповеданий, просвещения и врачебных дел» и датировано 8 ноября 1841. Вызвано оно было тем, что 20 августа 1841 министр со столь многообразными функциями обратился ко всем богословским факультетам прусского королевства с вопросами: 1) в каком отношении стоит книга Бруно Бауера («Критика евангельской истории у синоптиков») к христианству и 2) может ли он оставаться приват-доцентом богословского факультета? В отличие от большинства своих собратий Маргейнеке высказался в пользу свободы научной критики и предлагал взамен доцентуры на богословском факультете дать ему профессуру на историческом, но обосновывал свой либеральный вывод весьма холопскими соображениями. На цитируемой Бакуниным странице Маргейнеке напр. объясняет критические «крайности» Бауера его, впрочем основательною, обидою на то, что до тех пор его, крупного ученого, обходили званием профессора и держали на положении доцента, чем уменьшали и его доходы. Неудивительно, что Маркс отнесся весьма резко к особому мнению старого гегелианца и назвал его особое мнение позорным мнением, разоблачающим перед всем светом всю немощь старогегелианства («Сочинения», т. I, стр. 526). Брошюра Маргейнеке имеется в Институте Маркса, Энгельса и Ленина.

№ 449. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 170—173).

[1] Рейхель, Адольф — германский музыкант и композитор, друг Бакунина, который познакомился с ним в Дрездене, затем жил вместе в Париже, в доме которого он провел последние дни до отправления в лечебницу, где умер. Сближению впоследствии способствовало то обстоятельство, что Рейхель вторым браком женился на Марье Каспаровне Эрн, русской, приехавшей в 1847 г. за границу с Герценом, другом которого (равно как и Бакунина) она была. По смерти Бакунина Рейхель напечатал о нем свои воспоминания в №№ 10—12 приложения к анархистскому журналу «La Révolte» 1878 года (эти воспоминания в плохом переводе напеча-

таны в приложении к переписке М. Бакунина, изданной М. Драгомановым).

[2] Кёхли, Герман (1815—1876) — немецкий филолог, был учителем гимназии, с 1840 года проживал в Дрездене, где с ним и познакомился Бакунин; вследствие участия в майских волнениях 1849 г. бежал в Брюссель, в 1850 г. был профессором в Цюрихе, в 1864 в Гейдельберге, а затем был избран депутатом в рейхстаг и был членом партии прогрессистов.

№ 450. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 174).

[1] Штейн Лоренц (1815—1890) — немецко-датский писатель, юрист и экономист умеренно-консервативного направления. Написал ряд работ о социальном движении во Франции, в том числе работу, о которой упоминает Бакунин, а именно двухтомный труд «Социализм и коммунизм современной Франции», вышедший в 1842 и быстро завоевавший себе огромную популярность среди всех интересовавшихся разгоравшеюся социальною борьбою между пролетариатом и буржуазией. В частности Бакунин, судя по его заявлению в «Исповеди», познакомился впервые с теориями коммунизма по этой книге Штейна. «В это время в первый раз услышалось слово о коммунизме: вышла книга «Die Sozialisten in Frankreich» (Бакунин приводит заглавие неточно. — *Ю. С*) доктора Stein, произведшая почти такое же сильное и общее впечатление, как прежде книга доктора *Strauss* «Das Leben Jesu» (Штраус — «Жизнь Христа». — *Ю. С.*), а мне открывшая новый мир, в который я бросился со всею пылкостью алчущего и жаждущего. Мне казалось, что я слышу возвещенье новой благодати, откровение новой религии возвышения, достоинства, счастья, освобождения всего человеческого рода. Я стал читать сочинения французских демократов и социалистов и проглотил все, что мог только достать в Дрездене».

451. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 203—204).

Дата настоящего документа определяется по двум предыдущим. Тургенев и Павел Бакунин выехали из Дрездена 4 ноября 1842. Это письмо, равно как и предыдущее и последующее, написано им вдогонку.

[1] Гервег, Георг (1817—1875) — немецкий поэт и политический деятель демократического направления. Исключенный из Тюбингенской семинарии, он вернулся в родной Штуттгарт, а затем перебрался в Швейцарию, где завязал связи с радикальными немецкими эмигрантами вроде братьев Фребелей, А. Фоллена и пр. В 1841 г. выпустил в Цюрихе «Стихотворения живого человека», доставившие ему громкую славу в радикальном лагере. Пожив некоторое время в Париже, Гервег в 1842 г. предпринял путешествие по Германии, получившее характер триумфальной поездки (при этом он в Кельне познакомился с Марксом, сторонником которого на некоторое время сделался). Прусский король пожелал познакомиться с революционным поэтом, и знакомство это состоялось благодаря посредничеству придворного врача Шенлейна (который между прочим пользовал и Бакуниных, и имя которого в связи с этим встречается в настоящей переписке). Во время этой поездки весною 1842 Бакунин в Дрездене и познакомился с Гервегом и скоро сблизился как с ним самим, так затем и с его невестой Эммой. Когда появился указ о высылке крамольного поэта из Пруссии, и когда в начале 1843 Гервег решил, что оставаться дольше в Германии для него небезопасно, Бакунин последовал за ним в Швейцарию. В том же году Гервег, высланный из Цюриха реакционными властями, переселился в Париж, где прожил до 1848, выпустив в 1844 второй том стихотворений. В 1848, после февральской революции, Гервег стал во главе революционного легиона, составленного из немецких эмигрантов и ремесленников, с которым вторгся из Франции в Германию, но скоро был в Бадене разбит и принужден был бежать обратно во Францию. Маркс решительно высказывался против этой авантюры, которую Бакунин в то время напротив поддерживал: это по словам Бакунина тоже было одною из причин неприязненных отношений между ним и Марксом. С 1843 Гервег был швейцарским (базельским) гражданином. Под конец жизни поселился в Швейцарии, где и умер. Известен у нас также вследствие романа его с женою Герцена, который горячо описал все связанные с этим события в «Былом и Думах».

№ 452. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 204—205). Дата та же, что и предыдущего номера.

Дружба Тургенева и Бакунина продолжалась недолго. Тургенев вообще не способен был к длительной дружбе, да и просто к глубокой симпатии к другому человеку, особенно требующей жертв. Начать с того, что он не выполнил данных Бакунину денежных обещаний (отчасти, но только отчасти, по вине своей матушки, стремившейся держать его в материальной зависимости от себя) и этою неаккуратностью поставил Бакунина в крайне тяжелое положение. Будучи человеком самых умеренных политических взглядов, Тургенев органически недолюбливал людей крайнего направления. Даже с Герценом, который колебался между либерализмом и демократизмом, приближаясь к первому особенно в конце 50-х и начале 60-х годов, — Тургенев впоследствии разошелся. Нетрудно понять, что он весьма неприязненно относился к крайнему радикализму не только взглядов, но и действий Бакунина, в частности его деятельности в 1848 году (в этом году бывшие друзья на короткое время встретились в Париже). Несомненно ухудшению отношения Тургенева к Бакунину способствовал неудачный роман Тургенева с Татьяной Бакуниной. И наконец можно предполагать, что некоторое влияние имел здесь и Белинский, с которым Тургенев сошелся по возвращении в Россию и с которым наверное вел беседы о Мишеле, а значит и о конфликте Белинского с ним. Хотя Белинский с конца 1842 г. изменил свое отрицательное отношение к Бакунину, но во-первых преклонение его перед революционной деятельностью последнего отнюдь не равносильно было восстановлению прежнего дружеского чувства Белинского к Мишелю (в Париже в 1847 г., когда Бакунин в революционном отношении еще более определился, они встретились не очень-то горячо), а во-вторых Белинский мог достаточно наговорить Тургеневу про своего бывшего приятеля до ноября 1842 года (даже если предположить, что после статьи Жюля Элизара Белинский уже никогда не возвращался к своим старым обвинениям против Мишеля и в частных разговорах).

Как бы то ни было, когда Бакунин изнывал в Шлиссельбурге и в сущности считался уже вычеркнутым из списка живущих, Тургенев в своем первом романе «Рудин» дал портрет Бакунина, который при некоторых верных с внешней стороны чертах героя все же походит скорее на карикатуру или даже на пасквиль, что тогда же было указано автору многими знакомыми Бакунина, слишком хорошо узнавшими героя романа. Герцен по этому поводу выражался так: «Говорят, будто Тургенев в «Рудине» хотел нарисовать портрет Бакунина. Но Рудин едва напоминает некоторые черты Бакунина. Тургенев, увлекаясь библейской привычкой, создал Рудина по своему образу и подобию. Рудин — Тургенев 2-й, наслушавшийся философского жаргона молодого Бакунина» («Сочинения», т. XIV, стр. 428). Н. Г. Чернышевский в рецензии на «Рудина» («Современник» 1856, № 3) отмечал, что если Тургеневу удалось в своем романе изобразить отрицательные черты идеалистов 40-х годов, то нельзя сказать того же об изображении им положительных сторон этих деятелей, которые при всех своих недостатках сыграли огромную роль в развитии русского общества. В туманных по цензурным соображениям выражениях Чернышевский намекал, что революционного значения Бакунина Тургенев не понял и не отметил. Вернувшись к той же теме через пять лет, после разрыва Тургенева с радикальным «Современником», Чернышевский более резко отозвался о памфлетной стороне романа: «Есть одна прекрасная повесть, — говорил он, — героем которой, как по всему видно, следовало быть человеку, мало писавшему по-русски (намек на иностранные статьи Бакунина. — *Ю. С.*), но имевшему самое сильное и благотворное влияние на развитие наших литературных понятий (имеется в виду влияние Бакунина на Белинского, а через него и на литературу. — *Ю. С.*), затмевавшему величайших ораторов блеском красноречия, человеку, не бесславными чертами вписавшему свое имя в историю, сделавшемуся предметом эпических народных сказаний (действительно после ареста и осуждения Бакунина в 1849—1850 гг. в Европе о нем начали слагаться легенды; поразительно, что Чернышевский и об

этом был осведомлен. — *Ю. С.*). Кажется, такой человек мог быть изображен как человек серьезный. Автор повести, кажется, и хотел так сделать; но вдруг ему вздумалось: «а что же скажут мои литературные советники (намек на В. П. Боткина и П. В. Анненкова. — *Ю. С.*), люди такие рассудительные, умеющие так хорошо упрочивать свое состояние, если получили его в наследство, или по крайней мере с таким достоинством держать себя в кругу людей с состоянием, если сами не получили большого наследства? Человек, который так расстроил свои семейные отношения, что остался без всего при существовании значительного родового имения, который занимал деньги у богатых приятелей, чтобы раздавать их бедным приятелям, — нет, такой человек не может считаться серьезным по суду моих благоразумных советников». И вот автор стал переделывать избранный им тип, вместо портрета живого человека рисовать карикатуру, как-будто лев годится для карикатуры. Разумеется, такое странное искажение не удалось, да и самому автору по временам, кажется, было совестно представлять пустым человеком исторического деятеля. Повесть должна была бы иметь высокий трагический характер, посерьезнее шиллерова Дон-Кихота, а вместо того вышел винегрет сладких и кислых, насмешливых и восторженных страниц, как-будто сшитых из двух разных повестей» («Сочинения», т. VI, стр. 274).

Сам Тургенев с присущею ему бесхарактерностью то отрицал, то признавал, что в Рудине он хотел вывести Бакунина. Одно такое признание напечатано в «Тургеневском сборнике» (Спб. 1916, стр. 95), где сказано: «В Рудине я действительно хотел изобразить Бакунина, но только мне не удалось. Рудин вышел вместе и выше и ниже его. Бакунин был выше по способностям, по таланту, но ниже по характеру. Рудин все-таки хоть погиб на баррикаде, а Бакунин и на это был неспособен». Просто трудно поверить, чтобы Тургенев мог произнести подобные слова. Но слова его в письме к Марко-Вовчок от 28 сентября 1862 года очень напоминают вышеприведенные: «Что за человек Бакунин, спрашиваете Вы. Я в Рудине представил довольно верный его портрет: теперь это — Рудин, не убитый на баррикаде» («Неизданные письма к Марко-Вовчку» в «Минувших Годах» 1908, № 8, стр. 96; см. также В. Данилов — «Комментарии к роману И. С. Тургенева «Рудин», Москва 1918, стр. 32). Странно, что Тургенев мог так выражаться о Бакунине, только что прибывшем из Сибири, полном радужных планов и революционной энергии. Правда, как мы увидим в следующих томах настоящего издания, Тургенев не верил в революционные планы Бакунина, им не сочувствовал, а также был в дурных отношениях с прежним приятелем вследствие политических разногласий (по поводу либеральной агитации) и недовольства излишней откровенностью Бакунина, которая способна была скомпрометировать перед полицией людей, имевших с ним дела (а полиции Тургенев побаивался).

№ 453. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 174—175).

[1] Пинский, о котором здесь говорится, это — Карниолин-Пинский, Матвей Михайлович (1794—1866) — б. учитель гимназии, с начала 30-х годов пошедший на службу по судебному ведомству; вращался в обществе литераторов, писал, но своих статей не подписывал; с 1850 сенатор; один из судей Н. Г. Чернышевского.

№ 454. — Точно установить дату этой записки трудно за отсутствием зацепок. О музыкальных упражнениях брата Алексея говорится уже в письме М. Бакунина к Варваре от начала сентября 1838 года (см. т. II, стр. 203), так что записка может иметь и российское происхождение, относясь к периоду до отъезда Бакунина за границу. Но так же легко она может быть отнесена к тому периоду заграничной жизни Бакунина, когда он начал настойчиво обращаться к родным с просьбою об уплате сделанных им у разных лиц долгов. Это предположение подтверждается отчасти тем обстоятельством, что в Прямухинском архиве, откуда мы заимствуем эту записку, она лежит в пачке заграничных писем Бакунина рядом с конвертом, датированным Дрезден, 1842, 11 ноября (причем конвертик по размерам подходит к этой записке). Конечно само по себе это обстоятельство ввиду некоторого беспорядка архива несовсем убедительно, но в дан-

ном случае отнесение записки к рассматриваемому периоду представляется весьма правдоподобным.

Но имя «Пимен Петрович» наводит на предположение, что речь идет о П. П. Лялине, с которым Бакунин познакомился в Томске в 1857 г. и который позже привлекался по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами (см. т. V наст. изд.); в таком случае это письмо относилось бы к концу 50-х гг.

№ 455. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 175—177).

Адресовано письмо И. С. Тургеневу.

[1] О какой книге идет здесь речь, можно только догадываться на основании других заявлений Бакунина. Повидимому это была работа по философии, в частности та самая книга о Фейербахе, о которой говорится в некоторых письмах Бакунина той поры, как например в письме к А. Беккеру от июня 1844 (см. ниже № 479). Сначала Бакунин писал эту работу по-немецки. Но в письме к Р. Зольгеру от 14 октября 1844 Бакунин упоминает о той же работе, посвященной изложению идей Фейербаха, но уже составляемой на французском языке. О какой-то работе, близкой к концу, Бакунин упоминает и в письме к жене проф. Фохта от 5 августа 1847. Повидимому друзья Бакунина знали об этом неосуществленном плане, неизвестно насколько подвинувшемся вперед, судя по тому, что при случае подтрунивали над ним, как А. Руге, иронически говорящий о планах Бакунина, которым не суждено осуществиться, и А. Рейхель, сообщающий в своих воспоминаниях о «вечной книге», которую Бакунин пишет каждый день с тем, чтобы никогда ее не закончить. Никаких следов от этой работы не осталось или до нас не дошло, и весьма сомнительно, чтобы эта работа когда-либо была близка к окончанию.

№ 456. — Напечатано без конца у Корнилова (т. II, стр. 177—178).

Адресовано И. С. Тургеневу.

[1] Статья о «берлинских философах» нигде не появлялась и вероятно Бакуниным написана не была. Как видно по приписке, обращенной к Мюллеру-Стрюбингу, статья должна была быть направлена против кружка Бауэров (Бруно и Эдгара). Вызвана она была тем столкновением, которое произошло между берлинскими «свободными» и Г. Гервегом во время посещения им Берлина совместно с Руге в 1842 году. Отзыв Бакунина о берлинских «свободных» приводит Руге в неопубликованном письме к Г. Гервегу от 13 декабря 1842 г. (см. *V. Fleury*—«Le poète Georges Herwegh», стр. 96).

[2] К е н н е р и ц, Юлий Траугот (1792—1866) — саксонский государственный деятель; с 1817 на государственной службе; с 1831 министр юстиции и канцлер, 1844—1848 министр-президент; составил уголовное уложение 1838 года.

Был chambellan'ом, т. е. камергером. Madame la chambellane de Kenneritz значит камергерша фон Кенңериц, т. е. жена вышеозначенного министра; звали ее Марией. У Бакунина только ошибка в правописании: надо писать не Kenneritz, а Könneritz.

№ 457. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 200—201).

№ 458. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 205—211).

№ 459. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 226).

Насколько Бакунин торопился, видно из того, что эту записку брату он набросал на обороте письма Александры Бакуниной.

Это — последнее письмо Бакунина из Германии во время его первого там пребывания. Отъезд его из этой страны, да еще столь спешный, вызван был следующими причинами.

Повидимому прусская полиция обратила внимание на Бакунина еще до его бегства с Гервегом. Если верить сообщению З. Ралли, передаваемому якобы со слов самого Бакунина, то началось это еще в Берлине (это возможно: в те времена полиция за всем и всеми следила, и шумный русский студент мог привлечь внимание какого-нибудь шпика). Во всяком случае в Дрездене Бакунин видимо уже попал в сферу полицейского освещения. Его близость к Руге, редактору вольнодумного журнала, затем его сближение с революционным поэтом Гервегом, который остановился у него на

квартире, встречи на дрезденской променаде с местными демократами, наверно находившимися под полицейским надзором, — все это не могло пройти для него бесследно. О том, что Бакунин является автором статьи о «Реакции в Германии», прусская полиция повидимому узнала очень скоро; возможно, что она тогда же поспешила поделиться собранными о нем сведениями и с российскими жандармами. На такое предположение наводит сообщение Гоголя из Мюнхена о бегстве Бакунина в Швейцарию, содержащееся в письме его к Языкову от 28 мая 1843 («Николай Васильевич Гоголь в его неизданных письмах». «Русская Старина» 1889, январь). В этом письме Гоголь, проявляя поразительное даже для него невежество в тогдашних умственных течениях и политических отношениях, уверяет, будто в своей статье Бакунин ради угождения Шеллингу напал на гегелианцев и обвинил их в самом революционном направлении, за что, дескать, прусский король обиделся и запретил журнал Руге. На эту скудоумную болтовню можно было бы не обращать внимания, если бы тут же не стояла следующая фраза: «и донес о сем русскому правительству». После этого, — продолжает Гоголь, — Бакунин принужден был скрыться и уехать в Цюрих. Все это Гоголь узнал от московского кандидата Попова, слушавшего лекции в Берлине и повидимому связанного с российским посольством (к которому Гоголь-то во всяком случае был близок)[1]. Итак есть основание предполагать, что русская и прусская полиции обратили внимание на Бакунина уже в 1842 году. Неизвестно только, знал ли об этом Бакунин (по словам Ралли выходит, что знал, но Ралли, писавший свои воспоминания по памяти через много лет после разговора с Бакуниным, разговора, который опять-таки имел место через много лет после описываемых событий, мог впасть в ошибку).

Руге в своих воспоминаниях рассказывает, что он поместил Гервега во время его поездки по Германии на квартире Бакунина и что это обстоятельство сильно повредило последнему во мнении саксонской полиции: «мы, — прибавляет Руге, — стали опасаться за его безопасность в Саксонии и отправили нашего друга как можно скорее в Цюрих». Корнилов (II, стр. 226) повторяет это явно неточное сообщение Руге. Начать с того, что согласно сообщению Марселя Гервега, сына поэта, издавшего его переписку («1848», стр. 6), не Руге поместил приехавшего в Дрезден поэта у Бакунина, а сам Бакунин и проживавший тогда вместе с ним Тургенев, оба страстные поклонники «певца свободы», не хотели никому уступить чести приютить его у себя*. Но это разумеется — мелочь. Главное же заключается в том, что приезд Гервега в Дрезден и знакомство его с Руге и Бакуниным относятся к весне 1842, тогда как отъезд их в Цюрих состоялся только в начале следующего года. Из слов же Руге можно сделать вывод, будто Бакунину пришлось покинуть Дрезден непосредственно после приема им у себя на квартире Гервега и в прямой связи с этим фактом. На самом деле не было ничего подобного. И, как мы увидим из следующих писем Бакунина, их поспешный отъезд, во всяком случае *его* отъезд, быть может, не вызывался в тот момент действительной необходимостью. В своей «Исповеди» Бакунин прямо заявляет, что его связь с кружком Руге и с Гервегом, который открыто называл себя республиканцем, обратила на него внимание *российского* посольства в Дрездене (из известных до сих пор официальных документов николаевского правительства не видно, чтобы российские власти обратили на Бакунина внимание до появления в печати доклада проф. Блюнчли о коммунистических происках в Швейцарии; см. ниже). «Я услышал, что будто бы уже начали говорить о необходимости вернуть меня в Россию; но возвращение в Россию мне казалось смертью... и я решился оторваться от родины. Все мои последовавшие грехи и несчастья произошли от этого легкомысленного шага. Гервег должен был оставить Германию, я отправился с ним вместе в Швейцарию (если бы он ехал в Америку, я и туда поехал бы с ним) и поселился в Цюрихе».

В этом месте Бакунин связывает свое решение сделаться эмигрантом

* В своей переписке с невестою («Georg Herwegh's Briefwechsel mit seiner Braut», стр. 50) он называет шутливо Тургенева и Бакунина «своими башкирами» (письмо от 23 ноября 1842 года).

с появлением слухов о намерении прусского (или саксонского) правительства выдать его России. А между тем уже в январе 1842, как видно по письму его к А. Беер (см. № 431), он довольно определенно намекает на такое решение. Понимать ли это в таком смысле, что уже тогда пошли слухи о возможности его выдачи русским жандармам? В начале января 1842 Бакунин некоторое время проживал в Дрездене, но вскоре перебрался снова в Берлин, где пробыл до середины февраля, если не позже. В начале марта он переехал в Дрезден, где и поселился. Таким образом письмо к А. Беер, содержащее довольно определенный намек на скорый переход в эмигранты, написано до знакомства с Гервегом. Неужели же действительно прусская полиция уже взяла Бакунина на прицел еще до его окончательного переезда в Дрезден, т. е. во время его проживания в Берлине, значит до появления статьи о «Реакции в Германии», т. е. в связи с каким-либо еще более ранним фактом? Этот вопрос до сих пор не может почитаться достаточно выясненным. А между тем в жизни Бакунина он несомненно сыграл решающую роль.

О том, что агенты австрийской полиции в Саксонии уже в октябре 1842 г. считали братьев М. и П. Бакуниных ярыми либералами, см. комментарий [7] к «Исповеди» в томе IV настоящего издания.

[1] Попов, Александр Николаевич (1820—1877)—русский ученый; по окончании Московского университета защитил в 1841 диссертацию «Русская Правда в отношении к уголовному праву», сблизился с славянофилами; 29 V 1842 уехал в Берлин, где слушал лекции Шеллинга. В Берлине он пробыл недолго; затем через Мюнхен уехал в Герцеговину; в 1845 поступил на службу в сенат; с 1846 причислен к II отделению с. е. и. в. канцелярии, где и служил до смерти. Много писал по истории России.

№ 460.—Подлинник письма хранится в Институте Маркса, Энгельса и Ленина. Публикуется впервые.

Виганд, Отто (1795—1870)—германский издатель, связанный с демократической партией; с 1832 г. проживал в Лейпциге, где с ним и познакомился Бакунин (возможно через А. Руге); издавал «Hallische Jahrbücher», сочинения А. Руге, Бруно Бауэра, Л. Фейербаха и т. п.; в 1848 был избран депутатом в саксонский парламент. В кружке Руге носил кличку «папа Блюхер».

№ 461.—Напечатано в книге «1848. Briefe an und von Georg Herwegh» («1848. Письма Георга Гервега и к нему»), изданной его сыном Марселем Гервегом в Мюнхене в 1898 г., стр. 9. Нужно сказать, что в этой книге письма М. Бакунина напечатаны со многими ошибками, вызванными тем, что издатель не везде правильно разбирал оригинал, и с пропусками, вызванными семейными соображениями, в частности желанием вытравить из переписки имя Герцена. Мы восстановили текст по подлинникам, которые находились в Онегинском музее и ныне хранятся в быв. Пушкинском Доме Академии Наук СССР. Среди этих подлинников нехватает только одного письма; зато есть такое, которое в немецкой книге пропущено и нами публикуется впервые (это будет указано в своем месте).

Эмма Зигмунд, дочь берлинского купца и придворного поставщика Иоанна Готфрида Зигмунда, впоследствии разорившегося (ум. 1865), но вопреки легенде не банкира и не еврея, увлеклась поэтом, находившимся в апогее своей славы. Сделавшись его женою, она была верна ему до конца, преклонялась перед ним, не замечала его недостатков, а во время вторжения «демократического легиона» в Германию в стычках прикрывала его от пуль своим телом. Аналогичную роль она играла в инциденте между Герценом и Гервегом по поводу романа последнего с женою Герцена. Бакунин, познакомившись с нею в 1842 в Лейпциге, перенес свои симпатии с жениха на невесту и относился к ней с большой нежностью. Во время бракосочетания Гервега с Эммой 8 марта 1843 Бакунин был шафером со стороны жениха. (В. Флери в цит. книге, стр. 113, указывает, что другими шаферами были Фоллен и два профессора Цюрихского университета Пфейфер и Генле). См. книгу «Georg Herwegh's Briefwechsel mit seiner Braut», Stuttgart 1906, где часто упоминается о Бакунине как о близком друге. В при-

ложении к этой книге перепечатаны письма Бакунина к Эмме Гервег от 7 января 1843 и от 3 февраля 1843 (стр. 270—273).

№ 462. — Оригинал хранится в архиве Института Маркса, Энгельса и Ленина. Впервые напечатано по-русски в № 2 «Летописей Марксизма» за 1927 год. Мы дали здесь новый, исправленный перевод.

[1] Журнал был закрыт в начале января 1843 после первого выпуска, в котором напечатана была статья Руге с критикой немецкого либерализма за его бессодержательность и с предложением перейти на почву практического дела в демократическом духе. В статье излагались отчасти те же мысли, какие содержались в статье Ж. Элизара, отчасти те, какие Бакунин, судя по письмам его к родным, внушал Руге, временами впадавшему в уныние. Сначала саксонское правительство, затем прусское и наконец Союзный сейм запретили журнал. Руге обжаловал это запрещение в петиции, поданной саксонскому собранию земских чинов, но безрезультатно. Бакунин повидимому связывал закрытие журнала с появлением там своей статьи; так в «Исповеди», рассказав о напечатании в журнале Руге своей статьи, он прибавляет: «и так несчастлива и тяжела была рука моя с самого начала, что лишь только появилась эта статья, то и самый журнал запретили»

[2] Круг, о котором пишет Бакунин Арнольду Руге и который он характеризует здесь примерно теми же словами, что и в письме к Э. Зигмунд от 3 февраля (см. ниже № 463), состоял кроме Гервега из А. Рейхеля, находившегося тогда в Цюрихе, семейства Пескантини, перебравшегося в Швейцарию и знакомого А Руге еще по Дрездену, писателя А. Фоллена, старого приятеля Гервега; Юлия Фребеля, тогда ярого демократа и лидера цюрихских радикалов, издателя «Швейцарского Республиканца»; брата его, писателя Карла Фребеля, издававшего «Der deutsche Bote aus der Schweiz» (до перехода его к Гервегу) и т. д. Это был круг буржуазно-демократический, ничем не отличавшийся от того, в котором Бакунин вращался в Германии. Но скоро ему пришлось в Швейцарии познакомиться с другим кругом — с коммунистами, группировавшимися вокруг В. Вейтлинга. О знакомстве с последним говорит письмо к А. Руге от 11 марта 1843 года (см. ниже № 467). Это знакомство оказало сильное влияние на судьбу Бакунина и в частности дало ему новый толчок в сторону социализма.

[3] Фоллен[иус], Август, впоследствии Адольф Людвиг (1794—1855) — немецкий поэт и политический деятель; участник патриотического движения против Наполеона I; затем примыкал к студенческому движению и по обвинению в демагогических происках сидел 1819—1821 в следственной тюрьме в Берлине; позже жил в Швейцарии, был учителем вАаргау; временно был членом Большого совета в Цюрихе; демократ. На его сестре женат был старый профессор Фохт.

[4] Ромер, Фридрих (1814—1856) — цюрихский юрист и политический деятель, баварец по происхождению. В 1836 выпустил резкий памфлет против Молодой Германии «Новейшей беллетристике и ее сынам, особенно гг. Гуцкову и Винбаргу». С 1841 поселился в Цюрихе и примкнул там к консервативной партии, в которой играл видную роль вместе с проф. Блюнчли. Впал в манию величия, считая себя чем-то вроде мессии, средоточием «всех свойств всех человеческих личностей», «величайшей личностью, созданною человечеством». В 1841 решил перейти к изложению своей системы, развить которую должен был его брат.

Ромер, Теодор (1816—1856) — младший брат предыдущего, мистик; выступал в роли излагателя идей Фридриха. В 1841 появилось его «Призвание Германии в настоящем и будущем», в котором Фридрих Ромер объявлялся мессиею и в котором Германии в апокалиптическом тоне предсказывалось блестящее будущее как носительнице «четвертого типа развития», выражающегося в тесном единении церкви и государства.

[5] Фребель, Юлий (1805—1893) — немецкий ученый, публицист и политик; уроженец Тюрингии; замешанный в политическую агитацию, принужден был в 1833 уехать в Цюрих, где читал лекции по минералогии; во время волнений 1839 года примкнул к радикальной оппозиции и оставил кафедру для того, чтобы возглавить швейцарский радикализм. В 1842 он

основал в Цюрихе и Винтертуре радикальное издательство «Литературную Контору», которая выпускала газету «Швейцарский Республиканец» (в ней была напечатана статья Бакунина о коммунизме; см. ниже № 475) и ряд сочинений, не пропущенных германскою цензурою. Между прочим он выпустил два сборника «Анекдоты» по поручению Руге. Он помогал также Вейтлингу выпускать и распространять свои произведения. В 1846 он вернулся в Германию, где не оставлял антиправительственной пропаганды. В 1848 он выступал в качестве одного из вождей демократии и был избран в Франкфуртское национальное собрание, где заседал на крайней левой; арестованный в Вене вместе с Робертом Блюмом, был приговорен к смертной казни, но помилован. Осенью 1849 переселился в Америку; в 1857 вернулся в Европу. После основания Германской Империи стал сторонником бисмарковского государства и в награду за ренегатство получил место германского консула в Смирне и Алжире. Оставил автобиографию «Ein Lebenslauf» (2 тома, Stuttgart, 1890—1891).

Брат его, Фребель Карл (1795—1840), более радикальный, также принужден был из Германии переехать сначала во Францию и Швейцарию, а затем в Северную Америку.

6 «Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie und Publizistik» — двухтомный сборник статей К. Маркса, Бруно Бауэра, А. Руге, Л. Фейербаха, Ф. Кеппена и других (эти статьи предназначались для «Deutsche Jahrbücher», но не были пропущены цензурой). Выпущен «Литературной Конторой», основанной Ю. Фребелем для издания радикальной литературы, появление которой в Германии было невозможно вследствие цензурных гонений (дело это устроилось по поручению А. Руге через посредство Гервега). В примечаниях Д. Рязанова к I тому Сочинений Маркса и Энгельса (Госиздат, 1923, стр. 504) указано, что сборник вышел в свет в марте 1843 года. Но, судя по письму Бакунина от 19 января, он вышел уже в январе этого года (и даже в первой половине января). Статья «Рейнца», которая так понравилась Бакунину, принадлежала перу К. Маркса; она была напечатана в первом томе «Анекдоты». Не понравившаяся Бакунину статья Фейербаха «Предварительные тезисы для реформы философии» появилась во втором томе.

7 Вейтлинг, Вильгельм (1808—1870) — немецкий ремесленник, коммунист; незаконнорожденный ребенок, он провел тяжелое детство; сделался портняжным подмастерьем; в середине 30-х годов прибыл в Париж, где с перерывами прожил до 1841; здесь попал под влияние бланкистских рабочих кружков, участвовал в «Союзе справедливых», организованном немецкими эмигрантами и ремесленниками. В 1838 выпустил «Человечество как оно есть и каким должно быть», проникнутое духом утопического революционного коммунизма. Весною 1841 переехал в Швейцарию для революционной агитации среди немецких ремесленников, там проживавших. Вместе с кожевником Симоном Шмидтом он основал тайный «Союз справедливых». Выпустил в 1842 главное свое сочинение «Гарантии гармонии и свободы», о котором Бакунин и говорит в данном письме. В дальнейшем Вейтлинг пошел назад. В 1843 он написал «Евангелие бедного грешника», проникнутое мистическим духом. Проспект этой книги, распространенный Вейтлингом, вызвал против него донос местных попов; он был арестован. Цюрихское правительство, желая нанести одновременно с коммунистами удар и радикальной партии, раздуло дело, назначило комиссию для расследования коммунистических происков, доклад которой, составленный проф. Блюнчли, пустило в продажу через книжные магазины (в этом докладе назван был и М. Бакунин). После года тюремного заключения Вейтлинг был выдан прусскому правительству; после ряда мытарств он был выслан из Германии и уехал в Лондон. Дальнейшая история Вейтлинга — его ссора с Марксом, отъезд в Америку, окончательное впадение в бесплодный утопизм и пр. — выходит за рамки нашей работы.

В данном письме Бакунин сообщает о своем желании познакомиться с Вейтлингом. Желание это возникло у него под влиянием впечатления, про-

изведенного на него указанной книгой. Вскоре через посредство Гервега это знакомство состоялось. О нем Бакунин подробно рассказывает в своей «Исповеди». Вейтлинг, правда, не сделал его коммунистом, но беседы Бакунина с вождем тогдашнего немецкого коммунизма не остались несомненно без влияния на процесс духовного развития молодого мятущегося радикала.

Из письма от 19 января видно, какое сильное впечатление основная работа Вейтлинга «Гарантии гармонии и свободы» произвела на Бакунина (как впрочем и на других деятелей тогдашнего радикального лагеря — Фейербаха, Маркса и Энгельса). Не вполне соглашаясь с произвольными конструкциями второй части, Бакунин отмечает достоинства первой, критической части книги, которую он называет «действительно замечательной». Интересно, что Бакунин обратил внимание на ее чисто «пролетарский» характер.

Возможно, что именно знакомство с Вейтлингом и другими коммунистами, примыкавшими к нему в Швейцарии (Августом Беккером, Симоном Шмидтом, Зейлером), сыграло некоторую роль в решении Бакунина сделаться рабочим, мысль, которою он одно время (с марта по лето 1843 г.) увлекался. Это впрочем могло быть лишь добавочным мотивом. Основною причиною такого решения был несомненно тот денежный кризис, который тогда разразился над Бакуниным и которому посвящено второе письмо его к Руге от 11 марта.

[8] О Кёхли см. комментарий к № 449 [2].

[9] Франк, доктор — немецкий издатель и журналист; одно время издавал в Лейпциге «Allgemeine Deutsche Zeitung» («Всеобщую Немецкую Газету»); был сотрудником «Hallische Jahrbücher» («Галлеских Летописей»), редактировавшихся А. Руге. Бакунин познакомился с ним в Дрездене.

[10] Бюлов, Карл Эдуард, фон (1803 — 1853) — немецкий поэт, с 1828 г. поселился в Дрездене, где занимался исключительно литературою. После революции принужден был в 1849 эмигрировать в Швейцарию.

[11] Возможно, что речь идет здесь о Луизе Остин (Austen) или Астон (1814—1871), демократической писательнице, немке, которая в молодых летах вышла замуж за англичанина и скоро с ним разошлась. Остроумная, изящная женщина, иногда носившая мужской костюм, она привлекала внимание своими шумными выступлениями; стояла близко к кружку прогрессивных деятелей 40-х годов. В 1846 году она за близость к радикалам была выслана из столицы и жила под Берлином и только позже вернулась туда. Писания ее ничего особенно замечательного не представляют (H. Маскау — «Max Stirner», стр. 83).

[12] Пескантини, Паоло-Фредерико (1802—1875) — итальянский республиканец, маццинист, доктор прав, эмигрант с 1831 года, принимал некоторое участие в Risorgimento («Возрождении» 20-х — 30-х годов); в 1848 г. был депутатом Римского учредительного собрания. Бакунин познакомился и сдружился с ним в Дрездене в ноябре 1842 года (повидимому в доме А. Руге). Судя по примечанию на стр. 133 книги «Georg Herwegh's Briefwechsel mit seiner Braut», Stuttgart 1906, Пескантини был певцом. Жена его Иоганна была немкою или латышкою из Риги. Оба они прекрасно относились к Бакунину и даже предлагали ему поселиться на год в их доме, который они собирались себе купить на Женевском озере. Бакунин и гостил у них близ Ниона, хотя жил и не в их доме, летом 1843 года. Одно время Иоганна была видимо неравнодушна к Бакунину. В 1850 г. она через сестру Рейхеля писала ему в тюрьму. Умерла в 1856 году, о чем Бакунин узнал в Сибири. См. комментарий к № 482 [3].

[13] Одна из светских связей Бакунина в Дрездене, за которые впоследствии упрекал его Руге. Надо заметить, что Бакунин использовал такие связи для тайной пересылки писем в Россию. Возможно, что и здесь речь идет об этом именно предмете и что письмо, о котором здесь говорится, предназначалось как раз для отсылки в Россию с оказией.

№ 463. — Напечатано с ошибками и пропусками в упомянутой книге «1848», стр. 9 — 12.

[1] «Der Deutsche Bote aus der Schweiz» — журнал, издававшийся Карлом Фребелем в Швейцарии; с октября 1842 перешел к Гервегу; Бакунин собирался поместить в нем статью о берлинских философах, первоначально предназначавшуюся для «Немецких Летописей» Руге (до их закрытия). Судя по письму к Руге от 19 января 1843, в котором Бакунин просит прислать ему его бумаги, он действительно начал писать эту статью в Дрездене. Но ни в «Der Deutsche Bote» ни в другом каком-либо журнале такая статья Бакунина не появлялась.

[2] Цыбульский, Адальберт (1808—1867) — польский ученый и политический деятель; когда вспыхнула польская революция 1830 года, записался в польскую армию, был взят в плен и сослан в Сибирь. В 1834 вернулся в Пруссию. В 1840 сделался доцентом славянских литератур в Берлине. В 1848 принимал вместе с Бакуниным участие в пражском славянском конгрессе, но выступал против панславизма. С 1860 года и до своей смерти был профессором славянских литератур в Бреславльском университете. Был другом детства Эммы Гервег, а затем другом Георга Гервега.

№ 464. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 226—231).

[1] Здесь Корнилов ставит точку и прибавляет: «конца письма не сохранилось». А между тем конец этот лежал у него тут же под рукой, но он был сбит с толку тем, что этот конец написан на бумаге другого цвета. А потому Корнилов, неизвестно зачем пропустив слово «он», которое связывает обе части письма, и столь же произвольно отнеся последний отрывок к маю 1843, поместил его в виде отдельного письма на стр. 265 второго тома своей семейной хроники. Мы исправляем здесь эту ошибку Корнилова.

[2] Это очевидно те письма, о которых говорит Белинский в цитированных выше письмах (см. комментарий к № 448).

[3] Марчелло, Бенедикт (1686—1739) — итальянский поэт и музыкант; главное его музыкальное произведение — «Пятьдесят псалмов Марчелло» (1724—1727).

№ 465. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 231—236).

№ 466. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 236—239).

№ 467. — Оригинал находится в архиве Института Маркса, Энгельса и Ленина. Впервые в русском переводе напечатано в № 2 «Летописей Марксизма» за 1927 год. Мы даем новый, исправленный перевод.

Это письмо связано с тем финансовым кризисом, который обрушился на голову Бакунина в конце 1842 и начале 1843. В течение трех лет Бакунин, не имея никакого заработка и получая от родителей суммы, недостаточные для покрытия его расходов, брал взаймы направо и налево и в конце концов очутился перед невозможностью уплатить сделанные им долги. Можно даже допустить, что это обстоятельство имело некоторое влияние на его поспешный отъезд из Германии в Швейцарию вместе с Гервегом (хотя сам Бакунин объясняет этот шаг другими соображениями, а о долгах совершенно при этом не упоминает). Как известно из его писем к родным из Цюриха, Бакунин уехал из Германии, задолжав около 2½ тысяч талеров. Руге, который за него поручился, очутился в тяжелом положении. Бакунин ждал денег как от родных, так и от Тургенева, легкомысленно надававшего ему обещаний, исполнить которые он не мог. Время шло, деньги не приходили, а кредиторы начали требовать уплаты. Руге написал Бакунину повидимому несколько писем. На одно из них отвечает письмо Бакунина от 11 марта. Заключительным аккордом этой переписки является письмо Бакунина к Руге от 19 марта, которое мы печатаем под № 468. Наконец сюда же относятся письма Бакунина к брату Павлу от 10 мая 1843 г. (см. № 470) и от 13/25 мая (см. № 473).

[1] В высшей степени интересно отношение Бакунина к писанию для заработка. Он отказывается написать за деньги книгу о России и вообще испытывает отвращение к писательству как источнику заработка. В этом можно конечно усмотреть проявление чисто дворянской, помещичьей психологии, которая тогда еще сильна была в Бакунине. Впрочем и в дальнейшем он проявлял нежелание или неспособность писать для денег, что между про-

чим очень возмущало Герцена, который сам однако для заработка никогда не писал.

[2] Слова данного письма подтверждают высказанное нами во втором издании первого тома нашей книги о Бакунине предположение, что слова его о превращении в пролетария надо понимать не в смысле проявления глубокого интереса к рабочему классу и желания слить свою судьбу с его судьбой, а в смысле результата временного отчаянного настроения, вызванного финансовым кризисом. Повидимому в марте Бакунин довольно твердо решил сделаться рабочим (об этом же он говорит в письме к брату Павлу от 10 мая), потому что не видел для себя другого исхода. А придя к этому решению, он на время несколько успокоился. Это видно из его письма к Руге от 19 марта, где, сообщив о желании цюрихских властей выслать его, он прибавляет: «С того момента, как я в пролетариате нашел для себя радикальное средство против всех превратностей судьбы (vicissitudes de la fortune), я совершенно успокоился насчет своей будущности и целиком погрузился в настоящее моих трудов».

Рабочим Бакунин не сделался. А в апреле он поехал к своим друзьям Пескантини на остров Ж.-Ж. Руссо, откуда написал свое бодрое, полное огня и веры письмо к Руге, напечатанное в «Немецко-Французских Летописях» (см. № 471). Бакунин не был человеком, способным надолго впадать в уныние, да еще по поводу денежных дел.

[3] Как мы знаем, Бакунин писал и братьям и Тургеневу насчет своих денежных дел, но ему неудобно было признаваться в этом Руге, ибо молчание его адресатов только подчеркивало безнадежность положения. Бакунин представлял дело так, будто уплата наделанных им долгов не может быть осуществлена лишь вследствие полицейских условий, царящих в России. Это вероятно подало Руге повод предложить Бакунину выдать ему вексель на имя Тургенева, оплатить каковой никакая полиция не могла помешать. Ответом на это предложение повидимому и является письмо Бакунина к Руге от 19 марта 1843, хотя, не дожидаясь письма Руге, Бакунин сам предложил ему приблизительно такое же средство уже в письме от 11 марта. Их письма видимо скрестились в пути.

№ 468. — Напечатано нами в № 14 «Красного Архива». Попало это письмо в наши руки случайно в 1923 г. в Берлине, где проездом мы собирали материалы для полного собрания сочинений и писем М. Бакунина. Оригинал письма находится у одного японского студента, который приобрел его у букиниста. Владелец письма любезно разрешил нам сделать с него фотографический снимок, который мы передали в архив Института Маркса, Энгельса и Ленина, где он теперь и находится.

На какое письмо Руге отвечает здесь Бакунин, нам неизвестно; но о смысле этого не дошедшего до нас письма догадаться нетрудно. С одной стороны Руге сам отдал Бакунину часть своих сбережений, которую он надеялся получить обратно к весне, а с другой — он имел неосторожность поручиться за Бакунина, и кредиторы последнего, когда прошли все сроки, повидимому насели на Руге, который и обратился к Бакунину с просьбою выполнить свои обязательства.

[1] Особенное внимание обращает на себя то место, где Бакунин сообщает, что он со дня на день ждет приказа русского правительства о возвращении его в Россию. Как мы знаем, такой приказ в действительности последовал только 1 декабря 1843 года. Это показывает, что Бакунин считал себя скомпрометированным в глазах полиции раньше, чем она действительно им всерьез заинтересовалась. Бакунин уже в этом письме заранее сообщает тот ответ, который он даст правительству, а именно ответ отрицательный, как и случилось через год.

[2] Эти слова показывают, что уже в марте 1843, т. е. задолго до поездки в Париж, у Бакунина установилась какая-то связь с Пьером Леру, вероятно чисто литературного свойства. Возможно, что знакомство это завязалось заочно, путем переписки. Пьер Леру пользовался большой популярностью среди тогдашних русских передовых людей, особенно в кружке Герцена, отчасти в кружке Станкевича и т. п.

В письме к Ю. Фребелю от 8 марта 1843 Руге сообщает, что Бакунин должен был написать Пьеру Леру о выходе «Анекдотов» и подробно изложить ему состояние немецких литературно-политических дел («Переписка» А. Руге, т. I, стр. 300).

Леру, Пьер (1797—1871) — французский писатель и политический деятель, видный представитель утопического социализма. Журнал «Независимое Обозрение», о котором говорит Бакунин, Леру основал в 1839 вместе с Луи Виардо и Жорж Занд. Главная его работа «Человечество, его начало и его будущее» появилась в 1840. Она подобно другим его работам проникнута мистицизмом и носить весьма умеренный и расплывчатый, характер. Скорее всего его можно назвать мелкобуржуазным гуманистом. Участвовал в революции 1848, после разгрома которой эмигрировал и вернулся во Францию лишь в 1869.

[3] Замечательно, что в этом письме, относящемся к середине марта, Бакунин уже предвидит возможность репрессивных против него мер со стороны цюрихских властей. В действительности цюрихская полиция обратила на него внимание только летом 1843 г. в виду его связи с Вейтлингом.

[4] В письме к родным от 10 мая 1843 года (№ 470), где Бакунин просит родных выручить его, заложив хотя бы часть имения, мы находим следующие строки: «Я готов на все, я буду бороться с обстоятельствами до последней возможности; я дам себя обесчестить, я погружусь в полное одиночество, я стану рабочим и постараюсь сохранить в себе ту веру, которая так хорошо поддерживала меня до сих пор». После этих строк становятся понятны слова Бакунина в заключительной части его письма к Руге от 19 марта 1843 года: «с того момента, как я нашел для себя в пролетариате радикальное средство против всех превратностей судьбы, я вполне успокоился» и т. д. Под пролетариатом здесь приходится разуметь не класс, с судьбами которого Бакунин решил отныне слить свою судьбу, а состояние, общественное положение, нищету, на которую он в тот момент чувствовал себя обреченным и с которою заранее примирился за отсутствием другого выхода. Вот почему он связывает свои дальнейшие планы с неполучением денег от родителей. При таком понимании фразы о «пролетариате как радикальном средстве против всех превратностей судьбы» исчезает конечно героический характер бакунинского решения, но в данном случае это понимание — единственно правильное. Историческая истина — на первом плане.

Существует сообщение, что в Цюрихе Бакунин собирался стать ремесленником и войти в одну из вейтлингианских общин. Этому решению до сих пор приписывали чисто идейные мотивы. Письмо к родным от 10 мая 1843 г. определенно показывает, какой смысл имели тогда слова Бакунина о намерении его сделаться рабочим. Это был не результат какого-либо глубокого интереса к положению пролетариата (какового интереса Бакунин в те времена еще не проявлял), не желание сблизиться с рабочими, не предвосхищение грядущей идеи хождения в народ, — нет, это был порыв отчаяния, результат полного безденежья, отсутствия надежд на возможность добыть средства к существованию иным путем. В таком контексте превращение в рабочего представляется чем-то вроде социальной деградации, унижения, вызванного безнадежностью положения. Судя по тому, что Бакунин писал об этих планах Руге еще до марта 1843 г., надо думать, что к этой мысли он пришел в начале 1843 г., а может быть, и в конце 1842 г., когда для него окончательно выяснилась безнадежность его финансового положения.

№ 469. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 239—242).

Дата письма устанавливается между прочим словами первого абзаца о том, что со времени отъезда из Дрездена до написания этого письма прошло три месяца, а так как отъезд произошел в начале января, то письмо вероятно относится к первой половине апреля 1843, во всяком случае к апрелю.

[1] Речь идет о развязке неудачного романа Павла Бакунина с Александрою Беер.

[2] Насколько несерьезно Бакунин в тот момент (да и всегда) относился к постигшей его финансовой катастрофе, видно из того, что в то время как над ним висел еще кошмар долговой тюрьмы, он был в долгу как в шелку и сидел без гроша в чужом городе, он мечтал о новом приезде брата и даже о дополнительном приезде сестры Татьяны. Повидимому на него так подействовало известие, что родители и Тургенев выслали ему довольно крупную сумму денег (см. конец письма), а с другой стороны он вероятно рассчитывал на щедроты Пескантини, как можно судить по последним строкам письма.

[3] Сначала Пескантини ожидался Бакуниным в Швейцарию к маю. В действительности он приехал туда несколько раньше. В конце апреля и в начале мая Бакунин вместе с Гервегом побывали у Пескантини в гостях на острове Руссо (Петеринзель), на Биеньском озере, откуда Бакунин написал свое знаменитое письмо к Руге, напечатанное затем (вместе с письмом Маркса и др.) в 1-м выпуске «Немецко-Французских Летописей» (1844 г., Париж). А в мае 1843 года Бакунин вместе с Рейхелем поселился в деревне Проманту близ Ниона, городка на Женевском озере, где Пескантини купили себе виллу. О дальнейших отношениях Бакунина к Пескантини нам почти ничего неизвестно.

№ 470. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 254—261).

Резкое письмо Руге, приведенное в приложении к данному письму Бакунина, объясняется отказом Тургенева уплатить по векселю, который был выдан на него Бакуниным. Последний видимо предвидел возможности такой неуплаты (см. начало данного письма). Во всяком случае теперь он оказался в действительно тяжелом положении, тем более, что Руге просто переставал ему верить. Проект Бакунина о выделе ему части имения или точнее о продаже части отцовского имения или имения тетки Анны Михайловны естественно не встретил сочувствия. Как он вообще выпутался из создавшегося положения, неизвестно. Кажется, тысячу рублей Тургенев все-таки прислал да кое-что прислали родители; большинству же своих кредиторов Бакунин вероятно просто не заплатил. Такие из них, как Руге и Пескантини, с этим легко примирились. Пескантини и не требовал уплаты ему долга, так что в список кредиторов, подлежащих удовлетворению в первую очередь, Бакунин, как видно из приложения I, его и не внес. Руге же в первое время был очень огорчен неаккуратностью Бакунина и досадовал на свое легковерие. 3 мая 1843 он писал своему брату Людвигу: «Моя швейцарская поездка не состоится. Бакунин, которому я слишком доверился, не в состоянии уплатить мне и другим своих долгов. Я сильно на него полагался и должен признаться, что мне чрезвычайно досадно потерять целое лето из-за чужого человека. Я поручился за него Бонди (по списку Бакунина этому Бонди причитается всего 6 талеров, повидимому, уплата, о которой ниже говорит Руге, и была произведена этому Бонди в погашение бакунинского долга. — *Ю. С.*) и несколько дней тому назад заплатил за него 306 талеров, после того как в Лейпциге, когда он отправлялся с Гервегом в Швейцарию, дал ему взаймы наличными 250 талеров». («Переписка» Руге, т. I, стр. 307—308).

№ 471. — Напечатано впервые в №№ 1—2 «Немецко-Французских Летописей», журнала, издававшегося в Париже под редакцией Маркса и Руге взамен закрытых «Немецких Летописей» Руге. Вышел только один двойной выпуск этого журнала («Deutsch-Französische Jahrbucher herausgegeben von Arnold Ruge und Karl Marx», 1-e und 2-e Lieferung. Paris), в марте 1844, а затем журнал прекратился как по материальным причинам, так и вследствие разногласия между обоими редакторами, из которых один все более развивался в сторону мещанского либерализма, а другой — в сторону революционного коммунизма.

В этом единственном выпуске «Немецко-Французских Летописей» напечатаны были статьи Иоганна Якоби и Бернайса, письма М. Гесса, стихи Г. Гейне и Г. Гервега, но главное место в нем занимали работы Маркса «К критике гегелевской философии права» и «К еврейскому вопросу» и Энгельса «Очерки по критике политической экономии» и «Положение Англии».

Открывался же сборник серией писем Маркса, Бакунина, Фейербаха к А. Руге и ответами последнего.

Эта «Переписка 1843 года» содержала следующие письма: 1) М[аркса] к Р[уге] от марта 1843; 2) Р[уге] к М[арксу] от марта 1843; 3) М[аркса] к Р[уге] от мая 1843; 4) Б[акунина] к Р[уге] от мая 1843; 5) Р[уге] к Б[акунину] от июня 1843; 6) Ф[ейербаха] к Р[уге] от июня 1843; 7) Р[уге] к Ф[ейербаху] от августа 1843; 8) М[аркса] к Р[уге] от сентября 1843.

Впоследствии Руге утверждал, что автором этих писем является именно он. Возможно, что письма напечатаны не в подлинном виде, а представляют продукт некоторой редакторской обработки и приспособления, некоторой стилизации, обусловленной тою политическою целью, какую они себе ставили. Возможно поэтому, что к той форме этих писем, в какой они были опубликованы и дошли до нас, Руге и вероятно второй редактор, Маркс, руку свою приложили. Но все же более чем вероятно (и Меринг держится того же мнения), что в основу этой переписки легли действительные письма тех людей, именами коих они помечены. В частности, что касается письма Бакунина, то для читателя нашего издания должно быть ясно, что публикуемое здесь письмо с острова св. Петра вполне укладывается в серию писем Бакунина от 1843, печатаемых в этом томе, совершенно отвечает его тогдашнему настроению, во многом повторяет выражения, встречающиеся в тогдашних письмах его к родным и в его беседах с Руге, излагаемых в этих письмах, и наконец по дате вполне совпадает с его поездкою на Петеринзель к Пескантини. Вот почему приходится допустить, что письмо Бакунина подлинно, и если несколько изменено редакторскою рукою Руге, то не особенно сильно.

Перепечатывалось это письмо (вместе с другими) неоднократно; упомянем некоторые перепечатки: в «Литературном наследии» Маркса и Энгельса под редакцией Меринга (русский перевод в «Литературном наследстве» Маркса и Энгельса, изд. т-ва «Мир», Москва 1907, т. I, стр. 330—333); во втором полутоме немецкого издания полного собрания сочинений Маркса и Энгельса под ред. Д. Рязанова, а также в русских изданиях того же собрания: а) изд. 1923, т. I, стр. 351—355, и б) изд. 1928 сл., т. I, стр. 358—360. Впервые опубликовано по-русски в № 1 журнала «Социаль-демократ», изд. Группою «Освобождение Труда» в 1890 г. Для настоящего издания переведено Б. В. Гиммельфарбом.

Все корреспонденты Руге в свойственном им стиле выступали против пессимистического настроения бывшего издателя «Немецких Летописей» и доказывали, что приближается революционная пора. В своем ответе Бакунину Руге отделывался общими фразами и анекдотами о консерватизме немецких филистеров, намекая, что русская беспардонность может сыграть в Германии прогрессивную роль, а в ответе Фейербаху заявил, что «новый Анахарсис» (т. е. Бакунин, сам в письме назвавший себя скифом) и «новый философ» (т. е. Фейербах) его убедили.

№ 472. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 249—253). Только Корнилов по незнанию фактов относит письмо к апрелю 1843, тогда как оно написано позже предыдущего письма, как ясно по первым же строкам, и после поездки на остров св. Петра, как видно из конца письма.

№ 473. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 262—264).

[1]. Судя по письму И. С. Тургенева к Павлу Бакунину от 8 июня 1843, напечатанному у Корнилова (там же, стр. 261—262), Тургенев до июня никаких денег Бакунину не посылал.

[2] *Сэ или Сей, Жан Батист* (1767—1832) — французский экономист и промышленник; автор многочисленных сочинений, в которых развивал идеи А. Смита и Рикардо, стараясь освободить их от «опасных» положений, могущих быть использованными коммунизмом. Является таким образом представителем апологетической или вульгарной школы политической экономии. Из его работ назовем: «Трактат политической экономии» (1803); «Катехизис политической экономии» (1815); «Письма к Мальтусу» (1820); «Пол-

ный курс практической политической экономии» (1828—1830). Бакунин мог знать все эти сочинения.

[3] С «Богатством народов» А. Смита Бакунин, как мы знаем, познакомился еще в России и тогда уже рекомендовал его братьям.

[4] Шторх, Генрих (Андрей Карлович) (1766—1835) — русский экономист, с 1796 академик; был близок к двору как преподаватель; был вицепрезидентом Академии Наук, популяризировал А. Смита, иллюстрируя свое изложение фактами из русской жизни. Его сочинения: «Курс полит. экономии» (6 тт. на франц., на русск. I том); «Стат. обзор наместничеств Росс. империи» (на нем., 1795); «Ист.-стат. картина Росс. империи» (9 тт. 1797—1803); «Россия при Александре I» (27 вып., Спб. 1803—1811).

№ 474. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 264—265).

[1] С семьею Фохт (пишется Фогт) Бакунин познакомился весною 1843 во время пешеходного турнэ по Альпам. Эта чрезвычайно культурная и свободомыслящая семья германского происхождения разделяла демократические взгляды и примыкала к немецкому радикальному движению. Во главе семьи стоял старый профессор Филипп Фридрих Вильгельм Фохт (1789—1861). Его жена, урожденная Луиза Фоллен, сестра демократа А. Фоллена, о котором мы говорим выше (см. комм. к № 462), очень полюбила Бакунина и относилась к нему по-матерински. У них было четыре сына, которые все сделали профессорскую карьеру. Эти четыре сына были: 1) Карл (1817—1895) — натуралист и политический деятель; последовал в Берн за отцом, который получил там кафедру; 1847 вернулся в Германию, где сделался профессором университета в Гессене. Во время революции 1848 избранный депутатом в Франкфуртское национальное собрание, примкнул к крайней левой, был избран одним из «правителей государства», но с победою реакции был лишен кафедры и уехал в Берн, а затем в Женеву, где и профессорствовал до смерти. Ненавистник коммунистов, именно он пустил в ход словечко «серная шайка» (поджигатели), подхваченное, как известно, его приятелем А. И. Герценом, применительно к марксистам. В 1870 был разоблачен как агент Наполеона III, получавший от него деньги на агитацию в его интересах в 1859 году; 2) Эмиль (?—1883), впоследствии бывший профессором юриспруденции в Берне; 3) Адольф (1823—1907) — с 1877 профессор гигиены в Берне; 4) Густав (1829—1901) — позже профессор в Цюрихе. Особенно близок был Бакунин с Адольфом, почти на руках которого он и умер, но и с другими братьями Фохт отношения у него были хорошие.

№ 475. — По-русски впервые опубликовано мною в № 14 «Красного Архива». Перевод с немецкого сделан Ф. Д. Капелюшем.

Бакунин приехал в Цюрих революционным демократом. Определенных социальных воззрений в тот момент у него еще не было. Правда, в своей первой статье «Реакция в Германии», напечатанной в ноябре 1842 г., он упоминает о начавшемся движении народных низов, но и его он связывает с борьбою за политическую свободу, которая главным образом тогда его интересовала. Это было впрочем в то время почти общим явлением среди тех групп радикальной интеллигенции, среди которых вращался и для которых писал Бакунин.

В Швейцарии в мировоззрение Бакунина начал вторгаться новый элемент. В нем начал пробуждаться интерес к рабочему движению как таковому, которое в тот период, поскольку оно вообще проявлялось на континенте, носило явно выраженный коммунистический характер. Через посредство Гервега Бакунин познакомился с Вильгельмом Вейтлингом и с группировавшимися вокруг него немецкими коммунистами, по преимуществу ремесленниками. Не забудем, что это происходило в момент наиболее острого финансового кризиса у Бакунина, в результате которого у него даже явилась мысль сделаться простым рабочим.

Вейтлинг, уже порвавший с наивными мечтаниями правого фланга утопического социализма о мирном пришествии социалистического строя, стоял на почве революцонной борьбы пролетариата с капиталом, но вместе с тем он не дошел еще до правильного понимания пролетарской стратегии и так-

тики. Пропаганда Вейтлинга, отвечавшая тогдашнему уровню рабочего, скорее ремесленного движения, во многих отношениях носила сектантский, абстрактный и даже религиозный характер. Одною из особенностей вейтлинговских воззрений была идеализация деклассированных элементов, босяков, уголовных преступников и пр. В конце концов озлобленный и разочарованный неудачами Вейтлинг стал проповедывать идею «второго мессии», который придет устраивать царство божие на земле («Евангелие бедного грешника», 1843 г.).

Но как раз эти недостатки Вейтлинга, которые восстановили против него Карла Маркса, могли возбудить чувства симпатии в душе Бакунина. Примитивные коммунистические концепции Вейтлинга, их абстрактный и визионистский характер как нельзя более подходили к смутным социальным воззрениям Бакунина, выходца из политически и экономически отсталой страны. Сектантские мечтания Вейтлинга, идеализация им первобытного христианства, растворение экономических вопросов в религиозных — все это в значительной мере совпадало с взглядами и настроениями Бакунина. Надо полагать, что и мысль об использовании уголовных элементов для торжества социальной революции также должна была понравиться Бакунину своим совпадением с русскими традициями (пугачевщина, разинщина), которым сам Бакунин впоследствии заплатил обильную дань.

Бакунин не сделался коммунистом, но несомненно заинтересовался новым движением, идущим из глубины народных масс и выступавшим в качестве новой религии, призванной как бы заменить отжившее христианство. Литературным выражением этого увлечения Бакунина вейтлингианством и пробудившихся в нем новых социальных интересов и явилась данная статья о коммунизме.

Статья эта, подписанная тремя звездочками, появилась в №№ 44, 45 и 47 (от 2, 6 и 13 июня 1843 г.) «Швейцарского Республиканца», издававшегося Ю. Фребелем в Цюрихе. Разыскал эту статью неутомимый исследователь по бакуниноведению М. Неттлау, который на стр. 55 сл. первого тома своей литографированной биографии Бакунина приводит довольно убедительные доводы в пользу той мысли, что статья эта принадлежит действительно Бакунину.

Юлий Фребель в своих мемуарах, написанных уже в пожилом возрасте, когда он успел из бывшего радикала превратиться в консерватора, («Ein Lebenslauf», т. I, стр. 141 — 142), — мемуарах, в которых он кстати называет Бакунина «русским революционером и одновременно агентом» (sic!», — рассказывает, что Бакунин был приглашен сотрудничать в «Швейцарском Республиканце» и, «верный своему нигилистическому призванию», по мере сил способствовал гибели этой газеты. Выражая негодование по поводу того, что такие социалисты, как А. Беккер, С. Зайлер, В. Вейтлинг и Бакунин, сумели проникнуть в газету в качестве корреспондентов или сотрудников, Фребель прибавляет: «Говорят, что его (Бакунина) писания погубили газету „Швейцарский Республиканец“». Последнее утверждение Фребеля неверно, ибо статья о коммунизме никаких гонений на газету не навлекла (не были ли в таком случае в журнале помещены какие-либо другие статьи Бакунина?). Возникает вопрос, нет ли и других указаний на сотрудничество Бакунина в этой газете? На этот вопрос отвечает сотрудник журнала Яков Трейхлер, учитель, прикосновенный к вейтлингианской агитации в Швейцарии, который сообщил Максу Неттлау, что однажды в Цюрихе на квартире Бакунина последний продиктовал ему длинную статью, которую Трейхлер записал правильным немецким языком. Трейхлер прибыл в Цюрих в конце мая 1843 г., и несколько раньше того с острова Руссо вернулся туда Бакунин. По словам Трейхлера статья, продиктованная ему Бакуниным, трактовала о Вейтлинге, а единственная статья такого содержания, появившаяся около этого времени в «Швейцарском Республиканце», и есть статья о коммунизме, помещенная в №№ 44—47 газеты. По всем этим соображениям Неттлау и приходит к выводу, что статья эта принадлежит Бакунину. Это предположение подтверждается еще письмом А. Фоллена к Гервегам от 4 июля 1843 года, в котором он сообщает, что Бакунин написал

ряд блестящих статей против реакционеров, что это стало известно и что Бакунину вследствие того пришлось спешно уехать из Цюриха.

Мы полагаем, что М. Неттлау в данном случае совершенно прав. Бакунин в «Исповеди» перед Николаем I, правда, не упоминает об этой статье, хотя о других своих статьях говорит. Но возможно, что он не упомянул о ней, думая, что теоретическая статья о коммунизме, не имевшая никакого отношения к русским делам, не могла интересовать коронованного жандарма. А между тем в «Исповеди» имеется ряд указаний, остававшихся неизвестными Неттлау, когда он высказывал свою гипотезу, но косвенно подтверждающих его предположение.

Знакомство свое с Ю. Фребелем Бакунин признает. С другой стороны, он в своей «Исповеди» довольно подробно останавливается на борьбе между консервативной и демократической партиями в Цюрихе (хотя тут же спешит прибавить, что сам он стоял в стороне от этой мелочной грызни) и на полемике между главными органами этих двух партий: «Der Schweizerische Beobachter» («Швейцарский Наблюдатель»), выражавшим взгляды консервативной партии, и «Der Schweizerische Republikaner» («Швейцарский Республиканец»), бывшим газетою демократической партии. В последнем и появилась статья о коммунизме, вызванная нападками упомянутой консервативной газеты. Весьма сильным доводом в пользу авторства Бакунина служат также его рассуждения по поводу коммунизма в «Исповеди», часто совпадающие до мелочей с содержанием статьи о коммунизме.

Наконец и стиль рассматриваемой статьи с своей стороны говорит в пользу авторства Бакунина. Просто поразительно, насколько Бакунин, которого мы знаем по его переписке юношеских лет, отразился в этой статье. Всякий, кто читал письма Бакунина 30-х годов к родным и друзьям, хотя бы даже не полностью и не в оригиналах, как они напечатаны в нашем настоящем издании, а по выдержкам, приводимым в книгах А. Корнилова из семейной хроники Бакуниных, сразу узнает манеру их автора при чтении статьи о коммунизме. Да, ее писал Бакунин, и только Бакунин: иначе такое совпадение слога, мыслей, приемов и даже слов было бы чем-то граничащим с чудом. Стоит натолкнуться на фразу: «познают истину, и она освободит их», чтобы сразу вспомнить письма Мишеля к отцу, к сестрам, к Беерам с цитатами из евангелия и особенно с этой цитатой, которую он повторяет в письмах десятки раз. И так во всем. При желании можно было бы значительную часть статьи о коммунизме составить из выдержек, заимствованных из переписки Бакунина 30-х годов, а также из тех его писаний, которые помещены в данном томе.

Дух и слог этой статьи сильно напоминают первую статью Бакунина о «Реакции в Германии». Если в некоторых отношениях (более заметная доза философского идеализма) статья о коммунизме уступает статье о реакции в Германии, то она с другой стороны превосходит ее подчеркиванием социального момента и определенным сочувствием к выступлениям рабочего класса. Впрочем вся статья в целом окрашена духом идеализма и пытается выразить в чисто философских отвлеченных терминах то, что является по существу экономическим вопросом. Это статья человека, плохо знакомого с политической экономией и далеко еще не освободившегося от влияния идеалистической философии. Но именно таким Бакунин в рассматриваемое время и был, как впоследствии сам признавал (напр. в известной параллели между собою и Марксом).

Первая часть статьи в № 44 не имела заглавия; следующие две части в №№ 45 и 47 озаглавлены «Коммунизм».

[1] О конфликте между швейцарским правительством и правительством Луи Филиппа по поводу пребывания Луи Бонапарта в Швейцарии мы говорили в комментарии к № 290 во втором томе настоящего издания. Что касается постыдного поведения швейцарского правительства в деле Гервега, то известно, что по настоянию германских правительств Гервег был выслан из Цюриха в феврале 1843 года (но Базель дал ему право гражданства).

№ 476. — По-русски опубликовано нами в № 14 «Красного Архива». Заимствовано из первого тома литографированной биографии Бакунина, со-

ставленной Максом Неттлау. Перевод с немецкого сделан Ф. Д. Капелюшем.

Нион — небольшой городок на берегу Женевского озера, где Бакунин гостил у Пескантини.

№ 477. — По-русски опубликовано нами в № 14 «Красного Архива». Заимствовано из той же работы М. Неттлау. Перевод сделан Ф. Д. Капелюшем.

Это письмо написано из швейцарского городка Баден в кантоне Ааргау (ныне известны) курорт с серными водами), куда Бакунин заехал по пути в Бельгию в надежде на прощание повидаться с цюрихскими знакомыми, в частности с А. Фолленом, братом Луизы Фохт. К этому моменту Бакунин уже получил требование русского правительства о немедленном возвращении в Россию. Это требование было ему предъявлено в Берне русским поверенным в делах А. Струве 6 февраля 1844 г., т. е. за три дня до написания второго письма. Бакунин решил уехать из Швейцарии. На следующий же день он выехал из Берна, а 8 февраля написал Струве письмо, в коем сообщал, что важные дела призывают его в Лондон. Повидимому именно это письмо он и послал Эмилю Фохту с просьбою передать или переслать его Струве.

Чтобы понять это, нужно знать следующее.

Проф. Блюнчли, составивший доклад о коммунистических происках в Швейцарии (см. комментарий к № 462 [7]), опубликовал найденные у Вейтлинга письма других лиц; в дело оказался замешанным и Бакунин. В рапорте цюрихскому правительству о Бакунине упоминается как о коммунистическом деятеле. 25 июля 1843 российское посольство в Берне, получив цюрихский доклад о коммунистах, пожелало получить более подробные сведения об упомянутом там русском Бакунине, и услужливая цюрихская полиция поспешила поделиться с царскими чиновниками имеющимися у нее сведениями о новом крамольнике, о котором посольство сейчас же уведомило Петербург.

Слухи об аресте Вейтлинга и о прикосновенности к его делу Бакунина не замедлили распространиться в передовых кружках русской интеллигенции. Узнал об этом и Герцен, старавшийся внимательно следить за событиями европейской жизни, и записал в своем дневнике под 4 ноября 1843 (Герцен думал, что Бакунин арестован вместе с Вейтлингом): «Die Kommunisten in der Schweiz. Wörtlicher Abdruck des Komissionalberichtes an die Regierung von Zürich («Коммунисты в Швейцарии. Точная перепечатка доклада, представленного комиссиею цюрихскому правительству»). Первое, что удивило в этой книге, это — фамилия Бакунина, названного не только в числе коммунистов, но упомянутого как один из venin (яд). Они были захвачены, следовательно и он. Странная судьба этого человека! Жюль Элизар указал великую перемену — его консеквентность не могла остановиться. Что с ним будет? Коммунистское движение в Швейцарии имело представителем своим Вейтлинга, прежде портного, потом энергического писателя, потом пропагандиста. Места из его писаний, приведенные комиссией, красноречивы и сильны. Распространение коммунизма шло очень быстро между работниками швейцарскими и германскими. Начала их известны: «Eine volkommene Gesellschaft hat keine Regierung, sondern eine Verwaltung (в совершенном обществе нет правительства, а есть лишь управление), — организация работ, равенство in facto (на деле), война собственности etc. etc. Много одушевления; слова Вейтлинга иногда поднимаются до апостольской проповеди, прекрасно определяют они свое отношение к либералам. Есть нелепости (например теория воровства), но есть зато резкая истина».

15/27 сентября 1843 г. русский поверенный в делах в Швейцарии А. Струве [1] телеграфировал министру ин. дел Нессельроде о причастности Бакунина к коммунистическим происками. Нессельроде конечно поспешил донести обо всем всесильному шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу. Струве сообщал, что Бакунин знаком с Гервегом, «составившим себе печальную репутацию своими революционными и безбожными стихами». Струве доносил, что Бакунин по предложению Фребеля и других составил брошюру о взаи-

мооотношениях России и Польши, но после заарестования брошюры Вейтлинга взял свою рукопись из типографии обратно (по сведениям цюрихской полиции, обязательно сообщенным цюрихскими властями русским, никакой такой брошюры Бакунин не сочинял, а лишь переводил какую-то брошюру по этому вопросу). Далее Струве сообщал, что Бакунин нигде в Швейцарии не прописывался, не оставался долго на одном месте, а, будучи в Берне, в русское посольство не явился. Впрочем Струве считает нужным отметить, что до сих пор Бакунин повидимому не сходился с польскими эмигрантами, проживавшими в Швейцарии (а в те времена русскую полицию это интересовало больше всего).

Получив сведения о появлении нового русского революционера, III Отделение всполошилось. Бенкендорф уведомил о деятельности Бакунина министра внутренних дел, который с своей стороны запросил тверского губернатора о родных Бакунина. Тверской губернатор дал самый лестный отзыв о старике Бакунине и его жене; далее, отметив увлечение детей их «умствованиями» немецкой философии, все-же подчеркнул, что они повидимому не пытаются применить свои философские учения на практике. Тогда Бенкендорф просил министра передать через тверского губернатора отцу Бакунина, чтобы тот немедленно истребовал своего сына из-за границы и прекратил всякую посылку ему денег. В ответ старик Бакунин от 23 ноября сообщил, что с мая он никаких денег сыну не посылал вследствие расстройства своих дел и, выразив осуждение его деятельности, заявил, что вытребовать его домой не может, так как не знает, где он находится. А в письме к Бенкендорфу от 28 декабря старик, потрясенный мыслью, что и его заподозрили в «неблагонадежности» (относительно этого пункта жандармы впрочем поспешили его успокоить), и опасавшийся за участь остальных детей, ибо он знал мстительность николаевских жандармов, старался выгородить и старшего сына. Рассказав шефу жандармов о своем согласии на заграничную поездку Мишеля, данном в надежде, что, довершив там свое учение под руководством знаменитых профессоров, он возвратится в Россию и «с пользою» поступит на государственную службу, старик прибавляет, что в согласии своем скоро «стал каяться, заметив, что мнимая премудрость германских мудрецов увлекла его от полезной цели, и тщетно советовал ему возвратиться в Россию. Гибельная фантасмагория увлекла, к крайнему прискорбию моему, молодого и пылкого человека, но никак не могу поверить, чтобы он, изменив долгу своему и присяге, действительно питал какие-либо вредные отечеству своему замыслы, и если завлечен был каким-то мнимым либерализмом за пределы своих обязанностей, то непременно поздно или рано возвратится на истинный путь».

1 декабря 1843 года шеф жандармов Бенкендорф обратился к министру иностранных дел Нессельроде с просьбой «поручить нашим заграничным посольствам и миссиям объявить Михаилу Бакунину, чтобы он немедленно, и не ссылаясь ни на какие предлоги, возвратился в Россию, и что в случае неисполнения сего он подвергнется ответственности по всей строгости законов». Еще до того Бенкендорф положил резолюцию: в случае возвращения Бакунина на родину подвергнуть его полицейскому надзору.

28 декабря 1843/9 января 1844 г. Струве донес, что Бакунин явился в Берне в русскую миссию для визирования своего паспорта на проезд в Мангейм, куда он собирался для свидания с сестрой Варварой. В разговоре со Струве Бакунин «признал себя виновным по первому пункту (знакомство с коммунистами), что же касается брошюры, он решительно отрицал свое авторство и даже знание о ней. Он кроме того заверил честным словом, что никогда не принадлежал к какому-либо тайному и незаконному обществу и что поддерживал связь с коммунистами лишь для того, чтоб ознакомиться с идеями, породившими эту новую секту, но им не разделяемыми».

Тем временем распоряжение Бенкендорфа дошло до Берна. 25 января/6 февраля 1844 года Струве передал Бакунину требование правительства о немедленном возвращении его в Россию. Бакунин выдал Струве расписку в том, что распоряжение правительства ему объявлено. Струве понял

разговор с Бакуниным так, что последний согласен вернуться в Россию. Но на следующий же день Бакунин уехал из Берна и 8 февраля написал из Базеля Струве, что важные дела призывают его в Лондон.

Таковы события, предшествовавшие написанию настоящего письма.

В Лондон Бакунин конечно не поехал. Он остался в Швейцарии. 21 февраля 1844 года Струве, повидимому следивший за ним через своих агентов и пользовавшийся содействием швейцарской полиции, доносит, что «повсюду он (Бакунин) поддерживает сношения с самыми радикальными элементами, стремящимися перенести свою деятельность за пределы Швейцарии для ниспровержения правительств и существующего общества».

(Вся эта переписка содержится в первом томе полицейского «Дела» о Михаиле Бакунине, некогда составленного в тайниках Третьего Отделения, а ныне хранящегося в Архиве Октябрьской революции в Москве.)

Установить точно дату отъезда Бакунина из Швейцарии трудно. По приведенным выше словам Струве Бакунин во второй половине февраля 1844 находился еще в Швейцарии. Рейхель в своих воспоминаниях, писанных впрочем на память, рассказывает, что он с Бакуниным уехал в Бельгию в середине марта 1844. Согласно же рапорту бернской полиции это произошло в середине февраля. Последнее сообщение представляется нам более близким к истине, чем другие. В этом убеждает нас также и данное письмо Бакунина к Луизе Фохт, которой он обещает следующее письмо написать уже из Брюсселя. Повидимому это письмо и написано с дороги в Брюссель, куда Бакунин видимо поехал через Базель. Можно удивиться тому, что он в письме ни словом не упоминает о своем спутнике Рейхеле. Но это только показывает, что в Баден, расположенный подле Цюриха, Бакунин свернул с специальной целью попрощаться с своими цюрихскими приятелями и что Рейхеля с ним там не было. Вероятно он захватил его в Базеле, и оттуда они уже двинулись вместе.

Разумеется, объяснением Бакунина и отъездом его из Швейцарии, где он уже не чувствовал себя в безопасности, царское правительство удовлетвориться не могло. 18 марта 1844 года шеф жандармов Бенкендорф сообщил министру юстиции Панину, что царь велел поступить с Бакуниным так же, как незадолго до того было повелено поступить с дворянином И. Головиным (тоже отказавшимся подчиниться требованию о возвращении в Россию), т.-е. «по всей строгости законов». А 20 марта Бенкендорф предложил Нессельроде уведомить через российских послов «правительства всех земель», где будет жительствовать Бакунин, о его вредности и для других государств. Вероятно в результате этого циркуляра Нессельроде франкфуртские союзные власти Германии, находившиеся тогда в послушании у русского царя, поспешили со своей стороны издать 24 мая 1844 года циркуляр, коим всем немецким правительствам предписывалось арестовать Бакунина в случае появления его на их территории. В Саксонии действительность этого распоряжения была подтверждена специальным министерским приказом от 13 ноября 1844 г. Формальной отмены этого циркуляра не удалось добиться даже в 1849 году, хотя либеральное саксонское министерство предписало 2 марта 1849 г. лейпцигским властям не приводить этот приказ в исполнение. Как мы увидим из комментария к тому IV, этот циркуляр в 1848 году оказался достаточно живучим и вызвал высылку Бакунина из Саксонии. 22 марта Панин предложил правительствующему сенату рассмотреть дело о Бакунине. Сенат признал отставного прапорщика Михаила Бакунина 28 лет виновным «в преступных за границей сношениях с обществом злонамеренных людей и в ослушании вызову правительства и высочайшей воле о возвращении в Россию, за что постановил лишить его чина и дворянского достоинства и сослать, в случае явки в Россию, в Сибирь в каторжную работу, а принадлежащее ему имение, буде таковое окажется, взять в секвестр». На этом мнении сената и государственного совета император Николай написал 12 декабря 1844 года: «быть по сему».

Признавая, что этот шаг сыграл решающую роль в его жизни, Бакунин впоследствии все же утверждал (см. в следующем томе настоящего

издания его «Исповедь»), что в дело Вейтлинга он оказался замешанным совершенно случайно. В этом отношении он был конечно прав. Но не будь дела Вейтлинга, нашлось бы что-нибудь другое, и жизнь Бакунина все равно пошла бы по тому же пути.

Таким образом Бакунин не только фактически, но и юридически стал политическим эмигрантом, представителем новой и пока весьма малочисленной группы тогдашнего русского общества. До него из более или менее известных людей к этой группе принадлежали Н. И. Тургенев, Иван Головин и Н. И. Сазонов, бывший член герценовского кружка (впрочем Головин юридически стал эмигрантом одновременно с Бакуниным).

[1] Струве, Аманд Иоаннович (1798—1867) — российский дипломат немецкого происхождения; был российским поверенным в делах в Швейцарии, затем генеральным консулом в Ливорно.

№ 478. — Печатается впервые. Оригинал хранится в Институте Маркса, Энгельса и Ленина. Он представляет визитную карточку, на лицевой стороне которой напечатано:

M. BAKOUNINE.

rue des Moulins, 32.

А на обороте немецкий текст, приведенный нами. Сбоку пометка: «rue Caumartin, 41», (вероятно адрес Толстого), а сверху другим почерком, быть может рукою Бернайса или кого-либо другого, написано: «Dommages-intérêts (протори и убытки).

Повидимому письмо относится ко времени первого приезда Бакунина в Париж, т. е. к марту 1844. Об этом можно догадываться по письму А. Руге к Кёхли от 24 марта 1844, в котором сказано: «Вчера мы, немцы, русские и французы, собрались совместно на обед, чтобы поближе рассмотреть и обсудить наши дела: русские — Бакунин, Боткин, Толстой (эмигранты, демократы, коммунисты), Маркс, Рибентроп, я и Бернайс, французы — Леру, Луи Блан, Феликс Пиа и Шельхер» (оригинал письма имеется в Институте Маркса, Энгельса и Ленина; соответствующая выдержка приведена в нашей книге о Бакунине, т. IV, стр. 465). Здесь названы все лица, о которых говорится в записке Бакунина к Бернайсу, и на этом основании мы полагаем, что записка относится именно к этому времени. На оригинале кем-то проставлена дата «1846 — 1847», но это невозможно, ибо в эти годы Маркса в Париже не было, не было и Толстого (Маркс был выслан из Франции в 1845).

Но о каком же Толстом идет здесь речь? Сначала Д. Рязанов в своей книге «Маркс и русские люди сороковых годов» (1918), а за ним и другие думали, что речь идет о Якове Толстом, тайном агенте Николая I за границею, разоблаченном в 1846 г. И. Головиным. В основе этого заблуждения лежала ошибка Ф. Энгельса, который в письме к Марксу от 16 (19) сентября 1846 смешал его с казанским помещиком Г. М. Толстым, приятелем П. В. Анненкова, И. И. Панаева, Н. А. Некрасова, а также М. Бакунина. Этот *Г. М. Толстой* (1808—1871) был казанским помещиком (ему принадлежало в Лаишевском уезде село Новоспасское), человеком просвещенным и демократически настроенным, родственником семьи декабриста Ивашева, к которому он в 1838 г. ездил тайком в Туринск на свидание (что по тогдашним временам было делом небезопасным). Большею частью он проводил время за границею, при чем в 1841 году проживал в Дрездене вместе с своею родственницею Е. П. Языковой, сестрою названного декабриста Ивашева, с которою Бакунин, познакомившись с нею летом того же года в Эмсе, быстро подружился. Через нее Бакунин очевидно и познакомился с Толстым. Сначала они не очень понравились друг другу, но, встретившись с Толстым снова в Париже в марте 1844 г., а затем часто встречаясь с ним с июля того же года, когда

Бакунин окончательно перебрался на жительство в Париж, он скоро сблизился с ним, подвергаясь его оздоровляющему влиянию, о котором сам Бакунин подробно рассказывает в письме к брату Павлу от 17/29 марта (см. № 482).

Когда Бакунин во второй половине марта 1844 впервые приехал в Париж, Толстой был уже там и повидимому был уже знаком с Марксом (с которым он мог познакомиться через Руге, вероятно знавшего его уже с осени 1841 г. по Дрездену). Во всяком случае, судя по вышецитированному письму Руге к Кёхли и по относящейся к тому же времени записке Бакунина к Л. Бернайсу, Толстой уже вращался тогда в кругу немецких демократов и был знаком с Гервегом (с которым тоже мог быть знаком раньше). С Бернайсом, Марксом и пр., причем они считали его если не эмигрантом, как выражается в письме Руге, то во всяком случае человеком передовым, демократом, даже коммунистом. Бакунин провел зиму 1844—1845 в тесном общении с Толстым, который, будучи старше его на 6 лет и политически опытнее, во многих вопросах играл по отношению к нему роль учителя или руководителя. В конце 1845 или в начале 1846 г. Толстой уехал в Россию; где-то по дороге, в Берлине или в Петербурге, поймал его П. В. Анненков, собиравшийся за границу, и получил от него рекомендательное письмо к Марксу, который уже тогда был популярен среди русских прогрессистов как самый крайний и выдающийся демократ Европы. Благодаря этому письму Анненков стал в близкие отношения к Марксу, которому он поспешил зачем-то сообщить, будто Толстой собирается продать свои имения в России и вырученные деньги отдать на мировую революцию. Поручал ли Толстой Анненкову делать от его имени такое заявление или Анненков выдумал его сам, неизвестно, но впоследствии Маркс и Энгельс в письме, о котором мы выше упоминали и о котором будем еще говорить в связи с первым возникновением порочащих слухов о Бакунине, весьма иронически отзывались насчет российских аристократических туристов, считавших нужным напяливать на себя перед европейскими демократами маску революционеров. Анненков в своих воспоминаниях называет его «степным помещиком, также известным в кругу за отличного певца цыганских песен, ловкого игрока и опытного охотника», но по всем другим сообщениям он рисуется нам как передовой человек, демократ (сам он был сыном крепостной крестьянки и усыновлен отцом уже в зрелом возрасте), «образованнейший человек и в полном смысле джентльмен» (выражение В. Панаева), один из инициаторов вопроса о приобретении «Современника» кружком Некрасова. Недоразумение, возникшее о нем в кругу Маркса, быстро рассеялось. Уже в письме от 15/I 1847 Энгельс сообщает Марксу, что всю эту историю с Толстым выдумал Бернайс, а в письме к Гервегу от 27/X 1847 (книга «1848», стр. 89) Маркс, как ни в чем не бывало, просил Гервега сообщить ему адрес Толстого. Ответ Гервега, пока не опубликованный, но хранящийся в фотокопии в Институте Маркса, Энгельса и Ленина и датированный «Париж, 3 ноября 1847», окончательно устанавливает, о каком Толстом идет здесь речь. Этот ответ гласит: «Адрес Толстого таков: Казань, Казанская губерния». Таким образом ясно, что в кругу Маркса вращался не николаевский шпион Я. Толстой, а демократ Г. Толстой, приятель Бакунина. См. о нем в комментариях К. Чуковского к новому изданию воспоминаний А. Я. Головачовой-Панаевой (1928); статью Д. Рязанова «Новые данные о русских приятелях Маркса и Энгельса» в № VI «Летописей Марксизма». П. Анненков — «Литературные воспоминания», Спб. 1909, стр. 305—306; Н. Успенский — «Из прошлого», Москва 1889, стр. 234—235; В. А. Панаев — «Воспоминания» в «Русской Старине» 1893, № 12, стр. 543 сл.; «Поездка в Туринск к декабристу В. П. Ивашеву в 1838 году. Воспоминание Г. М. Толстого. Сообщил А. П. Топорнин в «Русской Старине» 1890, №№ 11 и 12, стр. 327 и 488.

[1] Бернайс, Фердинанд Целестин, он же Лазарус (1815—1879) — немецкий журналист; редактировал «Мангеймскую Вечернюю Газету», затем эмигрировал; в Париже издавал вместе с Бернштейном «Вперед»; со-

трудничал в «Немецко-французских Летописях» и пр. В Париже поддерживал связи с Марксом и др. Позже уехал в Америку и порвал все связи с коммунистами. Бакунин познакомился с ним в первое же посещение им Парижа.

№ 479. — Впервые опубликовано мною по-русски в № 14 «Красного Архива». Заимствовано из приложений к тому I литографированной биографии Бакунина, написанной Максом Неттлау. Перевод с немецкого Ф. Д. Капелюша.

Это в высшей степени важное для биографии М. Бакунина письмо написано в Брюсселе вероятно в июне 1844 после кратковременной поездки Бакунина в Париж, имевшей место в марте 1844, т. е. очень скоро после его отъезда из Швейцарии. Для Бакунина, отныне ярого сторонника «французского» духа, не побывать хотя бы на короткое время в Париже, раз уже он тронулся в путь, было невозможно. В этот мартовский приезд в Париж Бакунин успел завести ряд знакомств, игравших впоследствии немаловажную роль в его жизни. В частности он познакомился уже в этот первый свой приезд в Париж с Карлом Марксом, причем сам Бакунин фигурировал тогда во мнении своих новых знакомых, в том числе германских демократов, в качестве русского коммуниста. Об этом свидетельствует хранящееся в Институте Маркса, Энгельса и Ленина письмо А. Руге к Кёхли от 24 марта 1844 года, отчасти использованное нами в четвертом томе нашей работы о Бакунине (стр. 465). Во время этой поездки в Париж Бакунин снова встретился с своим старым приятелем А. Руге, который к этому времени повидимому уже простил ему старые грехи по неплатежу долгов, а также с французским коммунистом Этьеном Кабэ.

Прежде всего из этого письма выясняется, с какой симпатией Бакунин относился лично к Вейтлингу, а отчасти и к его делу. Очень возможно, что он и сам принимал участие в газетной кампании, вызванной позорным поведением швейцарских властей, выдавших Вейтлинга в руки прусской полиции. Характеристика швейцарской буржуазной республики, данная Бакуниным, во многом напоминает то, что позже писал о том же предмете Энгельс (см. его статью, помещенную в «Правде» в августе 1925 года).

Далее письмо это дает некоторый материал для выяснения вопроса об отношении Бакунина к коммунизму. Что в его жизни была полоса некоторого увлечения утопическим коммунизмом, это несомненно. Идея освобождения трудящегося человечества и создания братского общества с уничтожением границ между национальностями сильно подействовала на его воображение, особенно когда он слышал ее из уст такого пламенного проповедника, как Вейтлинг, вдобавок формулировавшего ее в родственных тогдашнему Бакунину религиозных терминах. Но коммунистом в полном смысле слова Бакунин никогда не был. Он об этом определенно говорит не только в «Исповеди», которую можно было бы в данном случае заподозрить в притворстве, но и в напечатанной выше статье своей о коммунизме, где он в общем выступает в защиту нового учения, однако с ним не солидаризуясь в основном пункте. Коммунистическое общество представляется ему (как и Прудону, взглядов которого на этот предмет он к тому времени еще не знал) «стадом животных», согнанным силою и живущим из-под палки.

Письмо к А. Беккеру, написанное под впечатлением первого знакомства с Парижем, содержит ряд указаний, свидетельствующих скорее об отрицательном отношении Бакунина к коммунизму, а в значительной мере и к коммунистам. Бакунин весьма иронически отзывается о своих «успехах в коммунизме» и о начале подражания «коммунистическим глупостям». Правда, как мы увидим ниже, через несколько месяцев он готов был признать себя коммунистом, но это было мимолетное настроение, которое скоро у него прошло.

Еще меньше симпатии, чем само коммунистическое учение (или «коммунистические глупости»), возбуждали в нем живые носители этих принципов. Правда, Бакунин дает хороший отзыв о французских коммунистах (кого кроме Кабэ он успел за свое короткое пребывание в Париже узнать,

трудно сказать), но делает он это лишь для того, чтобы резче оттенить отрицательные на его взгляд черты немецких коммунистов (которых он знал больше, чем французских). Да и виднейший из тогдашних французских коммунистов, Э. Кабэ, повидимому Бакунину не понравился. Только так и можно по нашему мнению истолковать фразу Бакунина о том, что Кабэ произвел на него именно такое впечатление, какого он ожидал.

Относительно немецких коммунистов Бакунин сообщает просто глупую сплетню. Упоминание в связи с этим имени А. Руге показывает, из какой среды шли эти злостные сплетни, столь доверчиво подхваченные и переданные Бакуниным. Это был круг немецких мелкобуржуазных демократов вроде А. Руге, который к тому времени окончательно поссорился с группой Маркса и был с коммунистами на ножах. Между прочим несколько позже он разошелся и с самим Бакуниным — именно за близость последнего к коммунистам и в частности к Марксу. И на основании глупой сплетни А. Руге относительно мнимой слежки одного коммуниста за частною жизнью своих соотечественников-радикалов Бакунин поспешно выводит общее заключение о невысоком моральном уровне немецких коммунистов.

[1] Беккер, Август (1814—1875) — немецкий революционер, известный в отличие от других Беккеров под кличкой Rothbart или рыжебородый (также «Беккер рыжий»); сын пастора, родился в Гохвейзе в Великом Герцогстве Гессенском. С молодых лет приняв деятельное участие в революционном движении, происходившем в Германии в 30-х годах XIX века, и примкнув на студенческой скамье к заговору Георга Бюхнера, Беккер был арестован в 1834 и приговорен к 9-летнему заключению; амнистированный в 1839 и освобожденный из тюрьмы, после того как в 1837 г. он по смерти Вейдига дал откровенные показания, Беккер, который по его словам за 4 года тюрьмы совершенно излечился от революционных стремлений, переехал в Швейцарию, где был одним из первых немецких эмигрантов. В 1843 сотрудничал в «Рейнской Газете», а затем в парижском «Форвертсе». Когда Вейтлинг начал свою коммунистическую пропаганду среди немецких ремесленников в Швейцарии, А. Беккер примкнул к нему. Бакунин, заводя знакомство с вейтлингианцами, сошелся и с А. Беккером. Последний, соединяя в своем характере как положительные, так и отрицательные черты революционера-интеллигента, очень нравился Бакунину, который сам был представителем этого типа революционной богемы. Несколько путаная голова, Беккер после ареста Вейтлинга одно время спутался с подозрительным мистиком и шарлатаном «доктором» Георгом Кульманом; затем пытался возобновить коммунистическую агитацию в Цюрихе, где привлек к работе учителя Я. Трейхлера, того самого, которому Бакунин диктовал свою статью о коммунизме (см. комментарий к № 475) и который позже был цюрихским регирунгспрезидентом. Георг Кульман, род. в 1818 или 1819 г. в Голштинии, был представителем христианского социализма; в 1844 г. он переехал в Швейцарию, где сблизился с Беккером. Здесь он читал лекции, попрошайничал и видимо уже с этого времени состоял корреспондентом Майнцского информационного бюро, поставлявшего для Меттерниха материал о современных политических движениях, т. е. был чем-то вроде полицейского осведомителя. В частности он переслал этому бюро в 1847 г. составленный А. Беккером доклад о первоначальном немецком социализме в первой половине 40-х годов. Знал ли Беккер, для какой цели Кульман заказал ему этот доклад, неизвестно; возможно, что не знал. Этот доклад под заглавием «Geschichte des religiosen und atheistischen Frühsozialismus» nach der Darstellung von A. Becker издан д-ром Э. Барниколем в Киле в 1932 г. (некоторые взятые нами оттуда сведения см. на стр. I—X и 19—26 этой книги). А. Беккер и Г. Кульман были высланы из Швейцарии в конце 1846 года. После неудачи своих предприятий Беккер пал духом и начал подумывать о переселении в Америку. После разгрома революции 1848 года он действительно уехал туда и умер в Цинцинати. Во время гражданской войны в С. Штатах был военным проповедником.

[2] Продержав Вейтлинга около года в цюрихских тюрьмах, где его подвергали избиениям и, как носились слухи, даже телесному наказанию,

цюрихские власти по освобождении его из тюрьмы не позволили ему свободно уехать, а настояли на выдаче его прусской полиции. Несмотря на сопротивление, Вейтлинг был доставлен на прусскую границу и выдан прусским жандармам, после чего начались его мытарства в Германии, с таканием по тюрьмам и этапам, со сдачею в солдаты и пр. В конце концов Вейтлинг уехал в Лондон.

[3] «Le National» («Насиональ») — политическая газета, основанная в Париже в январе 1830 Тьером, Минье, А. Каррелем и Сотлэ. Была в оппозиции Бурбонам и играла известную роль в июльской революции 1830. Во время мещанской монархии Каррель, ставший во главе газеты, сначала поддерживал новое правительство, а с 1832 перешел в оппозицию. После смерти А. Карреля (1836) «Насиональ» сделался органом умеренной республиканской партии, партии «трехцветных республиканцев», во главе с А. Маррастом, который был главным редактором газеты до 1848. После государственного переворота Луи Бонапарта была закрыта.

[4] Бакунин имеет в виду погромы, которые клерикалы Валлийского кантона организовали в мае 1844 против свободомыслящих.

[5] Зайлер, Себастиан (1810—1890) — мелкий чиновник из Силезии, примыкал к демократическому движению в Германии; переселившись в Швейцарию, подпал под влияние коммунистических идей и был одним из главных помощников А. Беккера в деле вейтлингианской агитации. Впоследствии в Брюсселе примкнул к кружку Маркса. С Зайлером у Бакунина уже в 1844 установились враждебные отношения.

[6] Шмидт, Симон — немецкий рабочий из Швабии, скорняк, участвовавший в 1836 с Вейтлингом в основании «Союза Справедливых», а затем принимавший активное участие в коммунистической агитации вейтлингианцев в Швейцарии. Он был одним из самых выдающихся членов немецкого рабочего ферейна в Лозанне, который Бакунин посещал вместе с Беккером (этим ферейном мог быть или «La société du cygne» или «Volkstümlicher Gewerbestandsverein», в просторечии «Kommunistenverein»).

[7] Кабэ, Этьен (1788—1856) — французский писатель и политический деятель, един из основателей утопического коммунизма во Франции. Сын бочара, сделался адвокатом и принял участие в либеральной агитации; резко нападал на мещанскую монархию в книгах и в газете «Попюлер»; в 1834 принужден был эмигрировать и уехал в Англию, откуда вернулся коммунистом. В 1842 появилась его знаменитая утопия «Путешествие в Икарию», положившая начало целому движению. Партизаны Кабэ делали попытки основать коммунистические общины, построенные на икарийских принципах. В 1848 отплыла в Техас колония икарийцев (как назывались сторонники Кабэ), а в следующем году сам учитель последовал за нею. После неудачи этой попытки предпринята была другая, развал которой привел к тому, что последователи Кабэ отвергли своего учителя. Он удалился в Сен-Луи, где умер от апоплексии.

[8] Установить с точностью, сколько времени Бакунин пробыл в Париже при первом посещении этого города, сейчас невозможно. Во всяком случае он провел там только несколько дней.

[9] Речь идет об Эвербеке. Стычка между ним и Руге произошла из-за того, что Эвербек, прося у зажиточного Руге денежной помощи на издание сочинений Вейтлинга, позволил себе при этом прибавить, что мол «на то и деньги у Руге». На это задетый мещанин ответил ему гневной речью, в которой заявил, что он уехал из Германии для того, чтобы избавиться от надзора, и никому не позволит вмешиваться в его частные дела и следить за его частной жизнью и т. п. В этом инциденте Руге усмотрел нахальство «коммунистических сыщиков» и пр., а Бакунин повторил эти глупости за ним.

Эвербек, Август Герман (1816—1860) — германский писатель и политический деятель, по профессии врач, родом из Кельна, с конца 30-х годов жил эмигрантом в Париже; член Центрального Правления «Союза Справедливых»; был корреспондентом Маркса, державшим его в курсе парижских событий после высылки его из Франции; был членом «Союза Ком-

мунистов»; был парижским корреспондентом «Новой Рейнской Газеты» в 1848—1849. Умер в крайней бедности в Париже.

[10] После разгрома вейтлингианского движения многими его участниками овладело желание отрясти с своих ног европейский прах и перебраться за океан в свободную северо-американскую республику, которая в обстановке европейской реакции рисовалась политическим эмигрантам в виде какой-то обетованной страны. Беккер начал высказывать эту мысль уже в 1844 г., Шмидт повидимому позже. Бакунин, веривший в близость европейской революции, всячески старался отговорить своих друзей от такого рокового решения, которое он рассматривал как своего рода дезертирство с революционного поста. Следы этого мы находим в письме к А. Беккеру от июня 1844 г. и позже (по отношению к Шмидту) в письме к Луизе Фохт от 5 августа 1847 года из Парижа (см. № 487).

В конце концов впрочем оба приятеля Бакунина уехали-таки в Соед. Штаты. Там Беккер и умер в 1871 году. Шмидт, покинувший Европу уже в 1847 году, был в 1848 г. активным членом «Союза освобождения» (немецкой рабочей организации) в Нью-Йорке.

№ 480. — Опубликовано мною в № 14 «Красного Архива». Заимствовано из того же первого тома литографированной работы М. Неттлау о Бакунине. Перевод сделан Ф. Д. Капелюшем.

Германский демократ Р. Зольгер, о котором в русской литературе имеется статья тов. Л. Каменева (вошедшая в его книгу «О Герцене и Чернышевском»). тоже был одним из швейцарских знакомых Бакунина. Это — тот самый Зольгер, которого Герцен назвал умнейшим из своих идейных противников. Печатаемое нами письмо Бакунина к Зольгеру написано через несколько месяцев после того, как Бакунин окончательно водворился в Париже. Оно интересно в следующих отношениях.

Во-первых здесь мы наконец узнаем, каково было содержание предполагавшейся большой работы Бакунина. Книга эта, на этот раз уже как будто на французском языке, должна была трактовать о философии Фейербаха. Энгельс, встретившийся около того времени с Бакуниным в Париже, говорит о нем как о знатоке фейербаховской философии. Было бы конечно весьма интересно (в частности для освещения некоторых неясных пунктов духовной эволюции самого Бакунина) иметь книгу о Фейербахе, им написанную. Но эта работа никогда не увидала света, вероятно по той простой причине, что она никогда не была закончена (да вряд ли и намного вообще написана). Такова была обычная участь широких бакунинских литературных планов, над которыми зло издевался знавший его безалаберность А. Руге.

Во-вторых внимание наше невольно останавливается на неожиданном заявлении Бакунина: «много занимаюсь политической экономией и являюсь коммунистом от всего сердца». В многочисленных писаниях Бакунина это заявление является совершенно одиноким. Обыкновенно он отгораживается от коммунизма, подчас резко его критикуя, и только в данном случае определенно признает себя его сторонником. Нам кажется, что это объясняется влиянием К. Маркса, с которым Бакунин познакомился в Париже и который по позднейшим признаниям Бакунина поразил его своими знаниями, выработанным материалистическим миросозерцанием и революционностью взглядов.

Разумеется, здесь имело место и влияние других немецких коммунистов, с которыми Бакунин познакомился в Париже. Встречались они в редакционном помещении газеты «Форвертс», где Бакунин снимал одну комнату (в этой комнате и собиралась редакция).

В это время Бакунин посещал в Париже коммунистические клубы, вероятно немецкие (с французскими коммунистами у него не было обширных связей; он был знаком преимущественно с французскими демократами). Любопытно, что, как видно из письма Ф. Энгельса, во время проезда его через Париж, повидимому в сентябре 1844 г., в один из таких клубов ввел его именно Бакунин. В том же письме Энгельс относит Бакунина, не называя его, определенно к коммунистам (см. у Рязанова «Очерки по истории марксизма», М. 1923, стр. 50).

Но коммунистические настроения недолго продержались у Бакунина.

[1] Зольгер, Рейнгольд (1817—1866) — немецкий поэт, писатель и политический деятель, демократ, левый гегелианец, приятель Л. Фейербаха и Г. Гервега, сотрудник А. Руге со времен «Галлеских Летописей». Точно установить, где с ним познакомился Бакунин, — в Германии в 1842, в Швейцарии в 1843 или в Париже в 1844, — мы не могли. Но судя по переписке Гервега Бакунин, Герцен, Зольгер, Гервег и другие в Париже встречались в общей компании. Зольгер с перерывами прожил в Англии 1843—1847, во время революции 1848 в Германии примыкал к крайнему левому демократическому крылу, участвовал в баденском восстании, затем эмигрировал в Швейцарию, а в 1853 уехал в Америку, где и умер в 1866 в качестве директора банка. После своего побега из Сибири Бакунин, проезжая в Лондон через Америку, встретился там с Зольгером, о чем сообщал Герцену в письме от 3 декабря 1861 из Нью-Йорка (см. в томе V настоящего издания).

[2] Немецкая газета «Форвертс» («Вперед») в Париже была основана актером и публицистом Генрихом Бернштейном (1805—1892). Бернштейн пригласил в газету ряд бывших сотрудников «Летописей», в том числе Маркса, Руге, М. Гесса, Гервега, Гейне, Бакунина и пр. Между прочим за статьи именно в этой газете Маркс по требованию прусского правительства был в следующем году выслан из Парижа вместе с несколькими другими немцами, писавшими в «Форвертсе». Бакунин тогда уцелел, возможно потому, что не был немцем и не интересовал прусскую полицию. Одно время Бакунин даже жил на квартире у этого Бернштейна, который рассказывает об этом в следующих выражениях: «У меня в квартире было несколько свободных комнат; в самой обширной из них жил русский, Бакунин, то есть у него имелись в большой комнате складная кровать, сундук и цинковый бокал, составлявшие все его состояние. Это был самый нетребовательный человек в мире. В этой комнате собиралась редакция, 12—14 человек, которые частью сидели на кровати или на сундуке, частью же стояли или прохаживались взад и вперед по комнате; все ужасно много курили, возбужденно и горячо споря». Напечатал ли что-нибудь Бакунин в «Форвертсе», неизвестно. (См. комментарий 20 к «Исповеди», в томе IV.)

[3] Понимать эти слова надо повидимому в том смысле, что Бакунин при оказиях старался пересылать письма родным через русских (а иногда и иностранцев), уезжавших из-за границы в Россию, на каковые письма его семья обычно не отвечала. Впрочем за два года (от мая 1843 до марта 1845) никаких писем М. Бакунина в семейном архиве не сохранилось. А что они были или точнее, что они Бакуниным отправлялись, видно из его же неоднократных упреков родным, что вот он-де находит возможность писать им, а они этого не делают.

[4] В Париже Бакунин снова встретился с А. Руге, но прежняя дружба наивных дней прозябания в германской провинции была уже между ними невозможна. Хотя Бакунин и не был коммунистом, однако та вражда к коммунизму, какую проявлял Руге, была ему в то время чужда. Руге же, считая самого Бакунина коммунистом даже за его надежды на русскую крестьянскую революцию и за его личное знакомство с коммунистами, все более отдалялся от Бакунина.

16 октября 1844 Руге пишет Ю. Фребелю: «Как Вам известно, Бакунин теперь здесь, попрежнему полон надежд и доволен, настроен радужно. Но мне кажется, ему суждено прожить лишь в качестве кружкового, а не общественного деятеля. У него есть все, что требуется для салона, но у него большие пробелы в науке и в понимании чужих, по крайней мере ему неродственных литератур. Если трудно завоевать сердца всех слушателей на собственном языке, то это пожалуй совершенно недостижимо на чужом, не говоря уже — на нескольких языках» (Переписка, I, стр. 368). 20 октября того же года Руге пишет Флейшеру: «Бакунин посетил меня здесь. Он настолько уже отвык от немецкого языка, что делает одну ошибку за другою и не находит слов... Бакунин это —

тот же любезный парень. Я охотно предоставляю ему полную свободу, и его беспутные исповеди как славянскую особенность в Париже не приходится ставить ему в счет. Здесь в Монмартрском квартале его связи с Сен-Жерменским предместьем меня ничуть не смущают. Он сказал, что прекратил хождение по кабачкам и усердно работает, в Германию он больше не поедет, даже если через три месяца, как он предполагает, вспыхнет революция, так что в феврале все будет уже устроено по-коммунистически. Должен сознаться, что я также начинаю привыкать к той мысли, что найду другое экономическое устройство, хотя я назначил решающий момент не через три, а через 6 месяцев, именно на пасху. Если Бакунин прав, и коммунизм должен стать через три месяца всемирным укладом, то я очень буду доволен избавиться от моей личной экономики. Должен однако сказать, что я считаю экономию Бакунина не очень-то экономичной, а экономию dii minorum gentium (богов низшего разряда) чем-то весьма грязным» (ib., стр. 370).

Последнее замечание Руге является отголоском того, что он считал покушением коммунистов на его благоприобретенные капиталы (см. конфликт его с Эвербеком в комментарии к № 479 [9]).

По мере того, как Бакунин по мнению Руге все более сближался с коммунистами, растет недовольство Руге его бывшим приятелем, а отзывы его о Бакунине становятся все более недружелюбными. 23 ноября 1844 он пишет Флейшеру: «Непременно прочтите книгу Кюстина о России (речь идет о книге маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», вышедшей в 1843; есть русский перевод в издании О-ва политкаторжан. Москва 1930. — *Ю. С.*). Как замечательно изображены здесь образованные русские! Все время видишь перед глазами Бакунина, как будто он служил автору моделью... Бакунин один раз был у меня. Мы говорили о Гервеге, который снова находится здесь, и Бакунин, который очень его любит, видимо хотел помирить меня с ним. Но это не так легко, так как мы не враждебны друг другу, а не сошлись характерами. Я сказал ему, что недавно сделал визит Гервегу, а теперь буду ждать его визита, однако не верю, чтобы он пришел. Бакунин уверял, что когда речь заходит обо мне, Гервег всегда отзывается обо мне в самом дружеском тоне, я же выразил сожаление по поводу существующей между нами натянутости». Дальше идет обывательская болтовня Руге по поводу «морали» Гервега и его увлечений, разговоры, которые в свое время привели в негодование Маркса, не любившего шпионских залезаний в чужой быт, и послужили одним из поводов к его разрыву с Руге. Бакунин защищал Гервега от обвинений Руге (между прочим жаловавшегося на «слежение» за *его* частной жизнью!), что вызвало со стороны последнего замечание в письме, будто Бакунин «требует свободы разврата для каждого». Далее, сравнивая Бакунина с знакомым аристократом Рибентропом, Руге заявляет: «самым гуманным после него следует считать Бакунина, который только презирает и третирует тех людей, с какими я не намерен так обращаться. Рибентроп стоит Бодкина (т.-е. В. П. Боткина. — *Ю. С.*) и лучше большинства других приятелей и собутыльников Бакунина, но Бакунин находил Бернайса ниже всякой критики, когда встречал его в нашем обществе, а теперь, когда Бернайс к счастью не переступает моего порога, он прекрасно его переносит (Лазарь Бернайс был соиздателем Г. Бернштейна по упомянутой выше газете «Форвертс», выходившей два раза в неделю. — *Ю. С.*). В Дрездене он так же относился к д-ру Кёхли и Кесслеру, а с кем он сам водился? С Бюловым и бароном Плохом и с дрезденской аристократией. Народ он изучал с птичьего полета». И дальше Руге, не знаем в который уже раз, готов поставить на Бакунине крест: «Но общественное значение нашего друга Бакунина постепенно становится для меня столь же проблематичным, как и значение Рибентропа. Столько лет прошло уже с тех пор, как он решился приступить к выполнению своих замыслов, что я боюсь, как бы таким же образом не прошли и дальнейшие годы. А между тем он как частное лицо представляет довольно положительную величину и лично чрезвычайно симпатичен». Дальше Руге уверяет, что с Бакуниным

невозможно вести «немецкую дружбу», и даже позволяет себе утверждать, что в Дрездене Бакунин сблизился с ним только потому, что приписывал ему большое значение (Переписка, I, стр. 373—376).

По мере того, как Руге оттеснялся новыми политическими течениями на задний план исторической сцены, в нем все сильнее росло раздражение против этих новых течений, которых он не понимал и которым с своей мещанской позиции не сочувствовал. Из этих течений особенную его неприязнь возбуждал коммунизм и его носители, преимущественно немецкие, с которыми он непосредственно сталкивался, и в частности Маркс и его (тогда впрочем немногочисленные) сторонники. Как известно, в том же «Форвертсе» Маркс принужден был вступить с Руге в полемику, которая кончилась не к авантажу последнего. Подозревая Бакунина в сочувствии коммунизму и близости к коммунистам, Руге очень злился на него, и в этом заключалась главная причина тех неблагоприятных отзывов о Бакунине, которые мы встречаем в переписке Руге той поры. Косвенно он сам признает это в своих воспоминаниях о Бакунине, напечатанных по смерти последнего в «Neue Freie Presse» в 1876 году.

Рассказав сначала о том, как он очутился в числе тех филистеров, которые пострадали от своей доверчивости к Бакунину, и как он, Руге, «оставшийся с своим братаньем в дураках», скоро простил Бакунину его неаккуратность в денежных отношениях, о которых в Париже уже не упоминалось, Руге продолжает: «В то время в Париже экономические вопросы стояли в центре внимания, и обсуждались все формы социализма. При этом я с Марксом разошелся, Бакунин же примкнул к нему и к коммунистам. Но когда я однажды встретил его на улице Риволи и потребовал от него объяснения, то он не только отрицал это, но даже выразил твердое убеждение в том, что ближайшая революция будет носить только политический характер, а отнюдь не социальный, так как в настоящее время коммунизм представляет просто логическую невозможность. Я познакомил его с Жорж Занд, Шопеном и Ламеннэ, но видался с ним реже, чем в Дрездене, где мы с ним встречались ежедневно в музее или в ином месте».

А в письме к матери от 17 декабря 1844 из Парижа Руге, рассказав, что владелец «Форвертса» обратился к нему с выражением сожаления по поводу того, что допустил низкие выпады Маркса против него, и уверял, что Бакунин также против этого протестовал, продолжает: «Подумай только: Бакунин, которого я с большими денежными затратами спас от Сибири (?!) и всякой дьявольщины, снюхивается за моею спиною с этой сволочью, а затем силится меня уверить, что не читал вещей, в редактировании которых участвовал. Мне не приходится уверять тебя в том, что я никогда не стану больше общаться с этой компанией» (ib., стр. 385).

Странное заявление Руге о том, что он с большими затратами спас Бакунина от Сибири, объясняется вероятно тем, что когда Бакунин уезжал с Гервегом из Германии, где не чувствовал себя в полной безопасности, допуская возможность выдачи его русскому правительству, он занял у Руге 250 талеров. И это все!

№ 481. — Напечатано в парижской газете «La Réforme» от 27 января 1845 года. Перепечатано у Корнилова (т. II, стр. 295—302). Но Корнилов не имел текста, помещенного действительно во французской газете, а пользовался копиею, в свое время пересланною М. Бакуниным родным в Россию и сохранившеюся в Прямухинском архиве. Бакунин видимо снимал копию с своей рукописи, которая впоследствии подверглась некоторым изменениям его ли рукою или рукою редактора. Текст, напечатанный во французской газете, в ряде деталей отличается от первоначального текста, перепечатанного Корниловым с документа Прямухинского архива. Мы даем здесь текст, действительно напечатанный в «Реформе». Перевод для нашего издания сделан М. А. Брагинским.

«Р е ф о р м а» — парижская политическая газета, просуществовавшая с 1843 по 1851, вдохновлявшаяся Ледрю-Роленом и редактировавшаяся

Флоконом; газета носила радикальный характер, резко враждебный июльской монархии; выражая идеи мелкобуржуазного демократизма, обходила вопрос о социализме или решала его в мещанском духе. После февральской революции ее редактором был Рибейроль. 16 июля 1848 газета была приостановлена, в 1848—1850 несколько раз подвергалась преследованиям. Государственный переворот 1851 положил конец ее существованию. В лучшие времена в ней сотрудничали иностранные революционеры, чартисты, поляки, немцы, в том числе Ф. Энгельс и т. п.

Редакция газеты предпослала письму Бакунина следующую заметку: «Мы получили следующее письмо, содержащее подробности относительно настоящего положения России и ее возможного будущего, которые способны заинтересовать наших читателей».

В комментарии к № 477 указано, что 12/24 декабря 1844 Николай I утвердил решение Сената и Государственного совета о лишении Бакунина прав и о секвестре его имущества. Аналогичная кара коснулась тогда и И. Головина. Когда во французских газетах, в том числе в «Судебной Газете», появились сообщения об этом, И. Головин счел нужным написать статью, в которой распространялся о правах российского дворянства, якобы нарушенных этим постановлением, и т. п. Бакунин воспользовался этим поводом, чтобы открыто выступить на публицистическую арену и напасть на царизм, одновременно выразив свою веру в революционное будущее русского народа. Этою статьею, в которой он гласно напал не только на самодержавие как систему, но и на личность Николая I, Бакунин окончательно сжег за собою мосты. И в отличие от прежних его выступлений в европейской прессе письмо в «Реформу» было на этот раз полностью подписано его настоящим именем.

Смелый и резкий язык этого письма был чем-то слишком необычным для тогдашних русских людей. И Герцен, узнав об этой статье, записал в своем дневнике под 2 марта 1845: «Статья Бакунина в «La Réforme» — вот язык свободного человека, он дик нам, мы не привыкли к нему. Мы привыкли к аллегориям, к смелому слову intra muros (в четырех стенах.— *Ю. С.*), и нас удивляет свободная речь русского так, как удивляет свет сидевшего в темной конуре».

Помещал ли Бакунин другие статьи в «Реформе» кроме этой и той, которая напечатана у нас под № 497, до сих пор не установлено. Между прочим Руге писал из Парижа Флейшеру 15 августа 1845: «О Бакунине я слышу, что он теперь вступил на поприще большой журналистики, значит на старости лет начинает наконец заниматься делом» (Переписка, I, стр. 397—398). Неужели он так выражался об единственной статье-письме Бакунина и неужели он с таким запозданием узнал о письме Бакунина в «Реформу» от 27 января того же года?

[1] «Gazette des Tribunaux» («Судебная Газета») — ежедневная газета, основанная в Париже в 1826 году. Она печатает отчеты о наиболее интересных процессах и судебных прениях, публикует новые законы и т. п. Она служила неисчерпаемым источником для беллетристов, бравших оттуда сюжеты для своих произведений.

[2] Головин, Иван Гаврилович (1816—1886) — русский писатель и политик; в 1835 уехал в Германию для слушания лекций; в 1837 вернулся в Петербург; летом 1838 ездил в Швецию; начал службу в министерстве иностранных дел, но, не преуспев и считая себя обойденным, перешел в оппозицию. Снова выехал за границу; в 1842 хотел издать по-французски книгу «Дух политической экономии», чем вызвал донос царского агента за границей Я. Толстого; правительство потребовало возвращения Головина в Россию, но он отказался. 12 декабря 1844 Николай I утвердил постановление Сената и Государственного совета, лишавшее Головина прав состояния. После этого Головин начал разоблачительную кампанию против русского правительства. Он выпустил ряд книг, брошюр и статей, в которых с дворянско-буржуазной точки зрения критиковались действия царских сановников, причем содержание этих писаний зачастую переходит в обывательскую сплетню и вообще с революцией ничего общего не

имеет. Первой из работ подобного рода была его книга «Россия при Николае I» (1845). Превратившись в эмигранта, хотя в то же время неоднократно подавая прошения на имя царя и пытаясь вернуться в Россию, но только на видный пост, Головин выпустил на русском, немецком, французском и английском языках множество сочинений в вышеописанном духе. Под конец жизни предлагал царизму полицейские услуги. Умер в бедности в Англии.

Нигде больше Бакунин о Головине не упоминает: повидимому он ставил его так же невысоко, как впоследствии Герцен. Но в своей книге «Русский нигилизм» Головин счел нужным рассказать о полемике с ним Бакунина в его письме в редакцию «Реформы». Вот что он там говорит: «Впервые я увидел Бакунина у Огарева в Париже (следовательно это имело место уже после напечатания бакунинского письма, ибо Огарев был в Париже с осени 1845 по первую половину января 1846. — *Ю. С.*). Нас обоих присудили к лишению всех прав. Русское посольство, во главе которого стоял Киселев младший, напечатало в «Gazette des Tribunaux» статью, где говорилось, что мы осуждены за наши революционные сочинения и отказ вернуться на родину. Я тотчас же ответил, что мои сочинения, напечатанные за границей, «Дух политической экономии» и «Политика как наука», не носят того характера, который старается приписать им русское правительство; что в своем письме графу Нессельроде, в котором я говорил: «надеюсь, что два немца не могут воспрепятствовать русскому вернуться в Россию», вовсе не было отказа сделать это, и что впрочем хартия Михаила Романова разрешает всякому дворянину остаться за границей и поступить там на службу. Бакунин счел нужным написать в «Судебную Газету» (?), что никакой хартии Михаила Романова не существовало. Она действительно была уничтожена в России, но несколько экземпляров ее были найдены в Сибири. Русское дворянство призвало Романовых на престол вовсе не без всяких условий. Уже до их воцарения существовали две палаты (Земская и Боярская думы), и на законах того времени писалось вовсе не «божьею милостью», но «царь указал и бояре приговорили». Когда я после этого встретил Бакунина у Николая Тургенева, я ему сказал: «два французских священника, эмигрировавших в Бельгию, никогда не умели жить в мире друг с другом». «Не будем этими священниками», перебил он меня, предвосхищая мою мысль» (см. Герцен — «Сочинения», т. XIV, стр. 566).

[3] Эта фраза Бакунина, который уже в Швейцарии (а до того несомненно и в Германии) начал общаться с поляками, обратила на себя внимание части польской эмиграции, почуявшей в новом русском эмигранте возможного союзника в борьбе с царизмом. Поляки поместили перевод письма Бакунина в своей газете «Белый Орел», а князь Адам Чарторыйский пригласил его к себе. Какое влияние в судьбе Бакунина имела эта статья, видно из сохранившегося в Прямухинском архиве и вероятно пересланного туда при оказии Бакуниным письма польского политэмигранта Карла Штольцмана из Англии (оно напечатано у Корнилова, там же, стр. 300—304). В этом письме Штольцман, примыкавший к демократическому крылу польской эмиграции (он был одним из организаторов «Молодой Польши» в 1834 и членом ее ЦК), сообщал, что он является одним из инициаторов варшавской манифестации 1831 года в честь пяти казненных декабристов, прошедшей под лозунгом «за нашу и вашу вольность», а также вечера воспоминаний об этих же мучениках русской свободы 1841 в Лондоне, что он вместе с другими товарищами предложил польской эмиграции ежегодно чествовать память декабристов и что 29 июля 1845 предстоит такое празднество в Англии; почему он и предлагает Бакунину принять личное участие в этой манифестации. Точный ответ Бакунина на это приглашение нам неизвестен, но оно показывало, что своею статьею в «Реформе» Бакунин сразу выдвинулся на первый план и создал себе видное положение в политическом мире. Таким образом происхождение той речи, которую Бакунин через два года произнес на польском банкете в Париже, ведет свое начало от письма его в «Реформу».

Толчок к дальнейшему сближению Бакунина с поляками дала его вторая статья во французской прессе о преследовании католицизма в России (см. № 486).

№ 482. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 282—288). Это — первое, сохранившееся в Прямухинском архиве письмо Бакунина с мая 1843. Если и были за это время другие письма Бакунина, то они не сохранились.

[1] Здесь речь идет о Григ. Мих. Толстом, с которым Бакунин был знаком с осени 1841 года (по Дрездену). Как видно из этого письма, Толстой имел благотворное влияние на Бакунина в переломный период его жизни и в частности помог ему прожить наиболее трудное время перехода на эмигрантское положение. Сам Толстой, хотя и был прогрессивным человеком и демократом, но революционером, а тем более активным, не был (см. комментарий к № 478).

[2] Действительно круг знакомых Бакунина был чрезвычайно широк. Из немцев он знал тогда А. Руге, О. Виганда, Эвербека, М. Гесса, К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Беккера, С. Шмидта, В. Вейтлинга, Кёхли, Фохтов, А. Фоллена, Ю. Фребеля и многих других; из французов: либералов Ф. Бастиа, Воловского, Леона Фоше, Э. Жирардена, из буржуазных республиканцев и утопических социалистов — поэта Беранже, Араго (Этьена и Эмануила), Армана Марраста и Бастида, из демократов — Годфруа Кавеньяка, Флокона, Луи Блана, В. Консидерана, Феликса Пиа, В. Шельхера историков Мишле и Э. Кинэ, Жорж Занд, Ламеннэ, Прудона и т. д. Впоследствии он завел много знакомых среди поляков.

Мамиани в «Huova Antologia» (1881, октябрь, стр. 549, Рим) так описывает Бакунина, которого он встречал в Париже у Н. Тургенева: «Это был красивый и стройный человек, лицо которого выражало серьезность и печаль. Говорил он редко и умно, обыкновенно высказывая мысли разочарованного человека, который в каждом деле видит оборотную сторону медали» (Неттлау — «Бакунин и Интернационал в Италии», по-итал., Женева 1928, стр. 3—4).

[3] Вряд-ли здесь речь идет о действительной пылкой любви к женщине, к каковой Бакунин по всему складу своего характера и отчасти по физическим причинам был не способен. Единственная живая женщина, о которой мы могли бы в данном случае подумать, была бы Марья Ивановна Полуденская, сестра эмигранта Н. И. Сазонова и жена незадолго до того умершего А. П. Полуденского, близкого приятеля Герцена и Огарева (1817—1845). Находилась ли в тот момент М. И. Полуденская в Париже, мы не знаем, но это вероятно. В 1849 при аресте Бакунина в Саксонии у него найдено было несколько писем этой Полуденской, из которых видно, что она была в Бакунина влюблена, но что он в этом отношении не платил ей взаимностью. Предположение А. Корнилова, что это письмо могло относиться к Жорж Занд, ни на чем не основано: и в рабстве она не была, и освобождать ее ни от кого не приходилось, да и вообще знакомство с нею Бакунина было шапочное, и если он увлекался ею, то только как писательницею. Корнилов допускает, что во всяком случае никакого пылкого романа не было, правильно указывая, что нигде больше у Бакунина об этом не говорится, но предполагает, что какое-то увлечение женщиною все-таки имело место.

Судя по материалам, недавно опубликованным проф. Иосифом Пфицнером в его книге «Bakuninstudien», Прага 1932, стр. 206 сл., нечто вроде любви существовало между Бакуниным и женою его итальянского приятеля Пескантини, у которого он одно время жил весною 1843 (см. выше, стр. 467). Звали ее Иоганна, была она рижская уроженка, не то немка, не то латышка (Бакунин называет ее лифляндкою). Бакунин познакомился с нею и с ее мужем в Дрездене в конце 1842 г. и быстро с ними подружился. В помещенном выше письме к брату Павлу от 29 января/10 февраля 1843 г. Бакунин дает о муже ее самый восторженный отзыв. А между тем из тюремной переписки Бакунина с Матильдою Рейхель и Иоганной Пескантини обнаруживается, что последняя была несчастна в браке и что она несколько раз пыталась уйти от мужа (правда,

данные эти относятся к 1850 году). Что между нею и Бакуниным существовала большая симпатия, это несомненно. Пфицнер прямо говорит о ней как о «давно позабытой любви» Бакунина, не приводя впрочем тому никаких доказательств. У нее было несколько детей: дочь Николина, умершая в 1850 г. или незадолго до того, другая дочь Иоганна и еще двое маленьких ребят, с которыми она в 1850 году уехала в Копенгаген к родным (туда к ней приехала ее мать из Риги). Умерла она в 1856 г. Под влиянием ли семейных неурядиц или по другой причине в ней сильно развился мистицизм; когда Бакунин сидел в саксонской тюрьме, она пыталась оказать на него влияние в христианском духе. Но уже давно прошли те времена, когда Бакунин интересовался религиозными вопросами и говорил христианским жаргоном; теперь религиозная болтовня Иоганны возбуждала в нем только досаду, хотя лично ее он очень жалел.

На основании этих (впрочем очень недостаточных, неточных и неясных) фактов можно было бы допустить, что в данном письме речь идет именно об Иоганне Пескантини и о ее семейном положении. Это конечно не исключено, и некоторые фразы письма даже подсказывают эту мысль (в частности фраза о Рейхеле). Однако другие места им противоречат. Так говорится, что Бакунин должен бороться с ее угнетателями (во множественном числе, а не с мужем). Далее, судя по дальнейшему обращению к Павлу насчет посвящения его во все тайны мишелевских «амуров», можно было бы думать, что предмет любви Бакунина находился тогда в Париже, а между тем Пескантини жили в Швейцарии. Наконец непонятно, почему Бакунин, живя в Швейцарии, ни словом не заикнулся перед Павлом о своей любви, а через два года в Париже вдруг заговорил о ней.

Но главное — отнесению этих строк бакунинского письма к живой женщине, да еще страстно любимой, противится весь тон письма, его отвлеченный характер. Даже узнав о симпатии, в свое время существовавшей между Бакуниным и Иоганной, и снова перечитав рассматриваемое письмо под углом этих новых сведений, мы остались при своем убеждении, что вряд-ли здесь говорится о действительной любви к живой женщине. Ведь так в философских терминах, с публицистическими отступлениями, о страстной любви к женщине не пишут (даже Бакунин). На самом деле здесь излагается политическая программа Бакунина, выражающаяся в последовательном проведении принципа свободы (облегчившая впоследствии переход Бакунина на анархистские позиции) и в отвержении всяких ее ограничений, здесь говорится о любви к народу (в демократическом, т. е. внеклассовом его понимании), о готовности активно бороться за его освобождение. Что о таких вещах в николаевскую Россию нужно было писать в аллегорической форме, это совершенно естественно. Приблизительно в таких же выражениях (уже без всякого применения к женщине) говорится и в письме от 1 мая 1845.

М. Неттлау в своей книге «Bakunin e l'Internazionale in Italia dal 1864 al 1872», Женева 1928, стр. 3—4, высказывает предположение, что в рассматриваемое время Бакунин был влюблен именно в Иоганну Пескантини. Эту же мысль на основании частного письма Неттлау повторяет и В. Полонский в томе II «Материалов для биографии Бакунина», стр. 306 сл., где приведены и относящиеся сюда письма. По словам Неттлау, не указывающего впрочем своих источников, Бакунин влюбился в Иоганну Пескантини в 1843 г., и в письме к Павлу речь идет именно о ней. Бакунин не был уверен в действительности своей любви к ней. В 1846 г. у них произошло объяснение, и она просила его оставить ее. После того она жила отдельно от мужа и впала в религиозный мистицизм. Между Пескантини и Бакуниным произошел разрыв, и Неттлау даже думает, что это обстоятельство помешало Бакунину в 1844—1847 годах искать в Париже знакомств среди итальянских эмигрантов. См. также комментарий к № 483.

[4] Мельгунов, Николай Александрович (1804—1867) — русский писатель, беллетрист и критик; молодость провел в Москве, затем, располагая большими средствами, долго жил за границей; в Мангейме в 1844 году женился на немке из дворянской фамилии (см. комментарий к № 483), причем свидетелями на свадьбе у него были В. А. Жуковский и Н. В. Го-

голь; умер он в Москве. Мельгунов занимал промежуточное положение между западниками и славянофилами. Участвовал в «Московском Наблюдателе», затем в «Москвитянине». В 1844—45 гг. встречался в Париже с Бакуниным, который сблизился с ним и с его женой. В конце 50-х годов был сотрудником «Колокола», но при повороте русского общества к реакции в начале 60-х годов перешел на ее сторону, за что подвергался неоднократным насмешкам Герцена. В общем это был обыватель и дилетант в литературе и человек без устойчивых убеждений. См. о нем А. Кирпичников — «Между славянофилами и западниками», «Русская Старина» 1898, ноябрь, стр. 297 сл., и декабрь, стр. 551 сл.

[5] Мицкевич, Адам (1798—1855) — польский поэт и политический деятель, происходил из мелкого дворянства. В 1823 арестован за участие в тайном патриотическом обществе и сослан во внутреннюю Россию, где был близок с декабристами, А. С. Пушкиным и пр. В 1829 выехал за границу, где пером и словом служил делу польского освобождения. С 1840 по 1845 читал лекции по славянским языкам и литературе в Collège de France, затем был хранителем Арсенальной библиотеки в Париже. В последние годы подпал под влияние мистика Товянского. С восторгом приветствовал возвышение Наполеона III, в котором усматривал залог освобождения Польши, вследствие чего много потерял во мнении демократических кругов. Посланный в 1855 Наполеоном III в Константинополь с какой-то миссией, погиб там от холеры.

[6] Совершенно очевидно, что Бакунин говорит здесь о своей брошюре (об этом же говорится и в конце следующего письма). Итак Бакунин продолжал работать над задуманной им философской книгой и на этот раз видимо хотел напечатать из нее извлечение в виде брошюры, в которой собирался, как он пишет в письме родным от 1 мая 1845, «выразить свои глубочайшие убеждения». Брошюра не увидала света и вероятно не была написана.

№ 483. — Эта запись сделана Бакуниным в альбом жены Н. А. Мельгунова, Софьи Карловны, урожденной Каннерман (это была немка-дворянка из Мангейма). Многие выражения этой записи совпадают по смыслу, а отчасти и буквально с теми местами предыдущего письма, которые истолковываются как увлечение Бакунина какою-то женщиною. Мы не знаем, находилась ли тогда Иоганна Пескантини в Париже, но что там в рассматриваемое время находилась С. К. Мельгунова, это несомненно. Не к ней ли относятся тогда спорные строки письма к брату Павлу, если они действительно трактуют о любви к реальной женщине? Повидимому, увлекаясь на время замужними дамами, Бакунин одновременно проникался симпатиею к их мужьям (так было и с Пескантини). Но все эти увлечения Бакунина были недолговечны. Впоследствии она страдала в России женской болезнью, и ее супруг много возил ее по монастырям.

Опубликована эта запись в № 7 белогвардейского журнала «На чужой стороне» 1924 года, стр. 244. Каким образом этот документ попал в руки редакции названного журнала, она не указывает. Вероятно он был вывезен ею из Москвы вместе с многими другими документами, находившимися до того в распоряжении журнала «Голос Минувшего».

№ 484. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 289—292).

[1] Повидимому Н. А. Мельгунов (см. комментарий к № 482 [4]).

[2] См. комментарий к № 482 [6].

№ 484 бис. — Где находится оригинал настоящей записки, мы не знаем. Мы заимствовали ее текст из «Былого» 1925, № 3/31, стр. 41, где опубликовавшая ее после смерти мужа Е. Корнилова сопроводила ее следующими словами: «В это письмо (от 9 мая 1862 года к Н. С. Бакуниной-Корсаковой. — *Ю. С.*) вложена неоконченная записочка следующего содержания, на которой рукою лица, собиравшего архив, написано карандашом: „1862 — лето“». Кто сделал эту сбивающую с толку надпись, собиравшее архив лицо или сам А. Корнилов, довольно небрежно определявший даты попавших в его руки документов, мы не знаем, так как в предоставленной нам ИРЛ Академии Наук СССР папке бумаг, переданных

туда вдовою А. Корнилова, этого документа, сразу возбудившего наши подозрения, не оказалось. Но по его содержанию ясно видно, что он никак не может относиться к лету 1862 года. Это выясняется при мало мальски внимательном отношении к делу и при ознакомлении с фактами.

Бакунин в 1862 году пробыл во Франции всего недели две-три, в первой половине августа (1-го он приехал в Париж, а в 20-х числах был уже снова в Лондоне). За это время он был занят переговорами с поляками и пр. и никак не мог побывать на морских купаньях. Но если бы и мог, то никак не мог встретиться там с Н. А. Мельгуновым и писать оттуда Сазонову. И вот почему.

Сазонов, с которым Бакунин никогда не был особенно близок, тогда не жил уже в Париже: он уехал оттуда в 1860 или 1861 г. в Швейцарию и больше туда не возвращался. Допустить, чтобы он, проживая в Женеве, успел за две недели пребывания Бакунина в Париже узнать об этом и написать ему письмо, не представляется возможным. В 40-х годах они были ближе, часто встречались в Париже и обмен письмами между ними в то время был вполне естественным.

Переписываться с Бакуниным после 1862 года он также не мог, ибо умер в ноябре этого года.

Еще яснее становится вопрос, когда мы подойдем к его рассмотрению с точки зрения биографии Мельгунова. Бакунин сблизился с ним именно в 1845 г., как об этом свидетельствуют документы, печатаемые нами в настоящем томе под №№ 482—485. Но Мельгунов уехал из Франции в конце июня или начале июля 1845 г., снова был во Франции в 1857—58 гг., когда Бакунин находился в Сибири, а в 1862 г., насколько нам известно, во Францию не приезжал, и к этому времени он настолько поправел, что вряд-ли Бакунин мог с ним тогда дружески встречаться.

Но кроме того у нас есть прямые указания на то, что Бакунин жил на морских купаньях именно летом 1845 года. В. Флери в своей работе о Г. Гервеге («Le poète Georges Herwegh», Париж 1911, стр. 136) сообщает, что летом 1845 г. Гервег жил в Сен-Серване на французском побережье, где его посетил Бакунин. Сен-Серван расположен недалеко от Сен-Мало (о котором Бакунин прямо упоминает в своей записке), а Люк находится тоже недалеко от этих мест. Кстати в Люке имеется старинное аббатство, славившееся в средние века, и этим объясняются шуточные слова Бакунина в конце письма.

По всем этим соображениям мы отвергаем версию о датировке записки летом 1862 г., а уверенно относим ее к лету 1845 г. и именно к июню, ибо после этого месяца Мельгунова во Франции уже не было.

№ 485. — Напечатано у Корнилова (т. II, стр. 292—295). Данное письмо было привезено в Россию Н. Мельгуновым. Это — последнее письмо Бакунина к родным с воли; следующее было уже написано из Петропавловской крепости (см. том IV настоящего издания).

[1] За это время Николай Бакунин женился на А. П. Ушаковой, Александра Бакунина вышла замуж за Г. П. Вульфа, а Варвара Дьякова вернулась к мужу.

[2] В настоящее время в Прямухинском архиве, находящемся в б. Пушкинском Доме, имеется копия письма в «Реформу», а также письмо К. Штольцмана (Корнилов напечатал его на стр. 300—304 второго тома своей хроники), которые Бакунин приложил к этому письму.

№ 486. — Напечатано в № 78 газеты «Le Constitutionnel» от 17 марта 1846. По-русски опубликовано мною в № 14 «Красного Архива». Перевод с французского сделан М. А. Брагинским.

Движения, имевшие место в начале 1846 в различных частях Польши — австрийской (в Кракове), прусской (Познани) и даже русской, встречены были во Франции с величайшим интересом. Можно было надеяться, что вскоре в Польше произойдут какие-то серьезные вспышки. Бакунин, который хотел принять активное участие в надвигающихся событиях и вместе с тем был убежден в том, что судьбы русской и польской свободы тес-

но связаны, решил снова выступить публично и обратить на себя внимание поляков. Так по крайней мере он сам объясняет дело в «Исповеди».

Вторая статья Бакунина во французской прессе имеет подобно первой (в «Реформе») вид письма в редакцию. В ней еще резче, чем в первой, Бакунин атакует самодержавие и провозглашает свою солидарность с борьбою польских патриотов за освобождение своей родины. Вслед за появлением этой статьи Бакунин сделал практическую попытку сойтись с польскою эмиграцией на общем деле; как он сам рассказывает в «Исповеди», он отправился в Версаль, чтобы завязать сношения с жившими там представителями Польского Демократического Общества, которым он собирался предложить «совместное действие на русских, обретавшихся в царстве Польском, в Литве и в Подолии»; целью же он ставил себе русскую революцию и республиканскую федерацию всех славянских земель — программа, которую он с тех пор действительно проводил, особенно в 1848—1849. Из этих попыток непосредственно ничего не получилось: поляки, привыкшие видеть в русских дворянчиках верных слуг царя, Бакунину не доверяли. Более того, возможно, что именно этот шаг, сделанный без подготовки самим Бакуниным, возбудил в поляках подозрение, и что как раз с тех пор пошли в их кругу зловещие шопотки насчет Бакунина, которые позже причинили ему столько страданий.

Тем не менее статья Бакунина не могла не обратить на себя внимания широких кругов польской революционной эмиграции и в связи с первой его статьей свидетельствовала об искренности его сочувствия борющимся с царизмом польским патриогам. Эти круги не могли не видеть в Бакунине своего союзника. Таким образом этой статьей еще больше, чем первой, было подготовлено его знаменитое выступление на польском банкете 1847 года.

[1] «Le Constitutionnel» («Конституционалист») — либеральная газета, основанная в Париже в 1815 (в ней между прочим завоевал себе первые журналистские лавры будущий палач Коммуны Тьер). Особенно процветала газета в последние годы Реставрации, когда она была знаменосцем Хартии против попыток восстановления абсолютизма. Но во время мещанской монархии, осуществившей ее идеал, газета начала неудержимо падать и в 1844 была продана с торгов д-ру Верону, который пригласил в редакторы Тьера и привлек ряд новых сотрудников, как Рейбо, Ремюза, Дювержье де Горан и пр. После революции 1848 она сделалась бонапартистской газетой.

[2] Семашко, Иосиф (1798—1868) — русский епископ, деятель по присоединению западно-русских униатов к греко-православной церкви; происходя сам из униатов, в 1820 году постригся в монахи и начал выражать тяготение к греческому православию, что дало ему возможность сделать быструю карьеру. В 1840 он был архиепископом литовским и виленским, членом синода; с 1852 митрополит. Насильник и русификатор, он политически солидарен был с М. Н. Муравьевым (вешателем), который давал ему собранные контрибуциями деньги на построение православных церквей.

[3] Базилианский орден — униатский монашеский орден с уставом Василия Великого, возник в Польше в начале XVII века, вскоре после Брестской унии; был орудием распространения католицизма и полонизации украинского, белорусского, литовского и русского населения Польши. Ликвидирован после восстания 1863 года (отчасти сохранился в Галиции).

[4] Мечиславская, Юлия, в монашестве Макрина († 1869 в Риме) — настоятельница базилианок в Минске. В 1838 Семашко потребовал, чтобы она со всеми монахинями оставила унию и перешла в православие; вследствие неполучения от них ответа базилианки были высланы в дезунитский монастырь в Витебске, где их подвергали физическим и моральным пыткам. Отсюда их перевели в Полоцк, а затем в Мядзиол. В 1845 Мечиславской с тремя другими монахинями удалось бежать из Мядзиола в Париж, а оттуда в Рим. Рассказы Мечиславской произвели сильное впечатление на польских эмигрантов (особенно горячо отозвались поэты Красиньский, Словацкий и пр.). Большой отклик нашли они также в европейской прессе. Таким образом выступление Бакунина нашло подготовленную почву.

[5] О'Коннель, Даниель (1775—1847) — ирландский патриот, адвокат, политический деятель, борец за эмансипацию британских католиков. В 1828 избран был в палату общин, но не мог вступить в нее вследствие неравноправия католиков. Только когда благодаря его агитации была достигнута эмансипация католиков, он мог в 1829 войти в парламент, где с тех пор энергично боролся за отмену насильственного присоединения Ирландии к Англии. Но за свою умеренность и воздержание от революционных методов борьбы под конец жизни утратил популярность.

№ 487. — Заимствовано из «Приложений» к 1-му тому литографированной работы М. Неттлау. По-русски опубликовано нами в № 14 «Красного Архива». Перевод с немецкого сделан Ф. Д. Капелюшем.

Это письмо содержит некоторые важные штрихи для характеристики настроения М. Бакунина накануне его знаменитого выступления на польском банкете 27 ноября 1847 года, имевшего такое серьезное значение в жизни Бакунина.

В письме к Луизе Фохт, к которой Бакунин питал нечто вроде сыновнего чувства, он выражается на свой счет довольно пессимистически. Конечно в частных письмах, да еще написанных при оказии (в данном случае в связи с рекомендацией матери Герцена), нельзя все принимать буквально. Но кое-что все же проскальзывает и в таких письмах, а если эти заявления вдобавок подтверждаются другими указаниями, сделанными в иной обстановке и по иным побуждениям, то они приобретают отчасти доказательный характер. Мы имеем в виду то, что Бакунин говорит о своем настроении.

Он явно недоволен и собою и окружающими условиями. Ему уже 33 года, а он все еще находится в процессе развития, все еще ищет жизни и истины, то-есть все еще не выработал себе определенного мировоззрения и определенной программы. Мы считаем его заявление хотя в некоторых отношениях и преувеличенным, но в общем отвечающим правде. Бакунин к 1847 году все еще находился в поисках системы, цельного миросозерцания, он еще не вполне отделался от старого идеализма, он колебался между коммунизмом, демократизмом и смутным зародышевым анархизмом, он не нашел еще почвы для приложения своих сил, не нашел подходящей среды для воплощения своих порывов в практику. Правда, он заявляет, что всецело отдался польско-русскому движению, но и это заявление следует принимать с осторожностью. Мы знаем, что его попытки практически сойтись с поляками на общей работе не приводили к конкретным результатам. Слова его показывают только устремление его тогдашних интересов, и с этой стороны они заслуживают нашего внимания. При таком понимании этой фразы она не будет расходиться с тем, что сказано в его «Исповеди» насчет отсутствия у него действительных связей с поляками. Это значит, что практического дела в тот момент у Бакунина вообще было мало, но среди этого малого его польские интересы занимали преобладающее место.

Кстати эта фраза лишний раз подтверждает, что выступление Бакунина на польском банкете, состоявшееся через 3 месяца после письма к г-же Фохт, не было чем-либо случайным и неожиданным ни для него ни для поляков.

Общий тон письма к г-же Фохт свидетельствует о том, что в рассматриваемый момент Бакунин чувствовал себя в Париже неважно. По его словам Париж в то время не был местом, где можно было чувствовать себя живым человеком. Герцен тоже подтверждает, что в 1847 году Бакунин был в печальном настроении. В «Исповеди» Бакунин даже выражается на этот счет гораздо решительнее. Там он прямо говорит, что в Париже ему неоднократно приходила в голову мысль о самоубийстве. Возможно, что это утверждение грешит некоторым преувеличением, но все же ясно, что в Париже Бакунин чувствовал себя оторванным от почвы, что во французскую жизнь он не вошел, а ввиду отсутствия группы русских единомышленников особенно живо чувствовал свое одиночество и особенно болезненно реагировал на разгул реакции. Только поддаваясь такому настроению, Бакунин мог писать Эмме Гервег в октябре 1847 года, что чувствует себя замороженным и часто лишенным всякого ощущения жизни (см. ниже № 490).

И однако нельзя сказать, чтобы это настроение безнадежного уныния было у Бакунина постоянным. Совершенно наоборот: временами и вероятно чаще Бакунин предавался радостным надеждам на близость революционного потрясения, которое призвано освежить застоявшуюся атмосферу. Герцен тоже сообщает, что, несмотря на свое печальное настроение, Бакунин все же был далек от отчаяния и верил в близость революции. Печатаемые ниже письма подтверждают эти слова Герцена.

Сообщая г-же Фохт о том, что он отговаривает Симона Шмидта от переезда в Америку, Бакунин мотивирует свой совет уверенностью, что недалек момент, когда придется действовать в Европе. А насколько моментами сильна была в нем вера в близость революции, видно из его восторженного письма к Гервегам от 6 сентября 1847 года (см. ниже № 488). Бакунин приветствует приближение революционной бури, называет революцию своей суженою и заявляет, что он будет чувствовать себя счастливым лишь тогда, когда весь земной шар будет охвачен огнем.

Все это свидетельствует о колеблющемся настроении Бакунина перед февральской революцией 1848 года — впрочем с несомненным перевесом в сторону революционных чаяний.

Два пункта в письме к г-же Фохт мы считаем нужным еще отметить. Первый касается отношения Бакунина к деньгам. Известно, сколько ханжеских слов наговорено на эту тему. Да, Бакунин не был в этом отношении образцом мещанской расчетливости и аккуратности. Но, как верно заметили о нем Белинский и Герцен, хорошо его знавшие и умевшие ставить в правильную перспективу как достоинства, так и недостатки своего друга, Бакунин, готовый брать у других деньги как щепки, так же и отдавал их как щепки и, отделив себе полтину на табак, готов был отдать все свои деньги нуждающемуся товарищу. Он жалуется г-же Фохт, что материальные дела его попрежнему не устроены (и мы знаем, что он в Париже сильно нуждался), но стоит ему узнать, что приятель его А. Беккер сидит без денег, и Бакунин спешит поделиться с ним, быть может, последним и при этом лишь сожалеет, что не мог послать ему больше. Это конечно — мелочь, но без таких мелочей портрет Бакунина оставался бы незаконченным.

Второй пункт касается сообщения Бакунина о том, что он надеется вскоре закончить какую-то работу. Есть ли это все та же работа о философии Фейербаха, о которой мы говорили выше и которая впрочем так и не была доведена до конца? Вряд-ли. В 1847 году Бакуниным владели уже другие интересы. Теперь он увлекался не философией, а политикой. Косвенное указание на эту работу мы находим в воспоминаниях А. Рейхеля о Бакунине. Рейхель с добродушной иронией говорит о какой-то работе своего друга, которую он называет его «вечной книгой». Судя по словам Рейхеля, эта книга, основанная на изучении истории революционных переворотов во Франции, должна была трактовать о движущих силах революции, об основах революционной стратегии и тактики и т. п. Повидимому на эту работу или вернее на этот замысел и намекает Бакунин. Но и эта работа, как видно, не вышла из сферы обычных проектов Бакунина, так и остававшихся в большинстве случаев неосуществленными. В дальнейшем мы об этой работе больше ничего не слышим, и весьма сомнительно, чтобы она когда-либо была «близка к окончанию», как сообщает Бакунин г-же Фохт.

[1] А. И. Герцен с женой Н. А. прибыл в Париж 25 марта 1847 и в тот же день свиделся с Бакуниным. Он встретил его на углу какой-то улицы: тот шел с тремя знакомыми и точно в Москве проповедывал им что-то, беспрестанно останавливаясь и махая сигареткой. Скоро обнаружилось, что приятели настроены не по одному ключу. На этот раз роли переменились: некогда Герцен возмущался политическим индиферентизмом Бакунина, теперь Бакунин, уйдя гораздо дальше, обращал к своему старому другу аналогичные упреки. Ему мало было слов и абстрактного интереса; он ждал дела, практического приложения своих идей. Герцен же был настроен гораздо более скептически. «Сазонов и Бакунин, — рассказывает Герцен, по обыкновению стараясь выставить себя в более выгодном свете, чем своих оппонентов, — были недовольны (как впоследствии Высоцкий и члены

польской централизации), что новости, мной привезенные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах (при Николае!), об оппозиции (в 1847 г.!), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы «всемирной» революции и французских вопросов, чтобы понимать, что у нас появление «Мертвых душ» было важнее назначения двух Паскевичей фельдмаршалами и двух Филаретов митрополитами. Без правильных сообщений, без русских книг и журналов они относились к России как-то теоретически и по памяти, придающей искусственное освещение всякой дали».

Эти строки Герцен писал уже в состоянии разочарования, да впрочем он всегда чувствовал отвращение к практической политике, морально удовлетворяясь литературной работой. Бакунин же наоборот был не профессиональным литератором, а агитатором, практиком. Кроме того Бакунин, давно уже проживавший за границей и убедившийся, что там в скором времени предстоят серьезные потрясения, надеялся, что на этот раз они захватят и Россию. Поэтому он естественно интересовался горячо всем, что в России совершалось, и хотел услышать от Герцена подтверждение своих чаяний. В одном Герцен прав: Бакунин и Сазонов с головой ушли в «интересы всемирной революции», но они связывали ее с переворотом в России.

В Париже Бакунин свиделся также с В. Г. Белинским. Последний выехал за границу 5 мая 1847 и 17/29 июля прибыл в Париж, где и оставался до 11 сентября. Здесь в это время находились Герцен с женой, П. В. Анненков (вместе с которым Белинский и приехал), И. С. Тургенев, Сазонов и др. Со всеми ними Белинский встречался, встречался и с Бакуниным. О старых недоразумениях и ссорах уже не вспоминали — оба достаточно созрели — и стали часто бывать друг у друга. Естественно, что говорили много о политических и социальных вопросах и конечно о шансах на революцию в России. Теперь оба друга снова стояли на одинаковой почве: только теперь это уже не было прежнее наивное примирение с «разумной действительностью», а борьба с существующими безобразиями. Белинский и Бакунин оба давно уже распрощались с «философским колпаком» Гегеля, оба были левыми, оба склонялись к социализму. Но Белинский в отличие от Бакунина был настроен не так радужно и чувствовал себя больным, усталым, замученным и озлобленным. Революционный фанатизм Бакунина не подбодрил, а напротив отрезвил и расхолодил «неистового Виссариона», которого укатали горки и овраги самодержавной России.

«Странный я человек, — писал он Анненкову 15 февраля 1848 г.: — когда в мою голову забьется какая-нибудь мистическая нелепость, здравомыслящим людям редко удается выколотить ее из меня доказательствами: для этого мне непременно нужно сойтись с мистиками, пиетистами и фантазерами, помешанными на той же мысли, — тут я и назад. Верующий друг (Бакунин. — *Ю. С.*) и славянофилы наши оказали мне большую услугу», т. е. помогли ему сбросить с себя мистическое верование в народ («Письма», т. III, стр. 339). «Общественное мнение в Берлине, — писал он же 29 сентября 1847 г. Анненкову по поводу процесса Мерославского с товарищами, — решительно за поляков... А все-таки будет так, как угодно деспотизму и неправде, а не как общественному мнению, что бы ни говорил об этом верующий друг мой Бакунин!» (там же, стр. 265).

Как рассказывает в своих воспоминаниях А. И. Головачова-Панаева («Русские писатели и артисты». Спб., 1890, стр. 138—139), Бакунин мечтал об основании в Париже русской революционной колонии, точнее сказать — центра революционной пропаганды, куда в качестве главной литературной силы хотел привлечь Белинского, талант которого по мнению Бакунина глох в тяжелой обстановке николаевской России. Но Белинский, признавая все отрицательные стороны работы из-под цензурной палки, все же полагал,

что, превратившись в эмигранта, он еще меньше сможет делать для страны, чем оставаясь на родине.

Скептическое отношение к преувеличенным на его взгляд ожиданиям Бакунина не мешало Белинскому попрежнему относиться с уважением к его революционной деятельности. «Б[акуни]ну крепко жму руку», — приписывает он в письме к Анненкову из Берлина от 17 сентября 1847 на возвратном пути в Россию («Письма», т. III, стр. 266). Окунувшись снова в «поганую рассейскую действительность», Белинский почувствовал, как далеко отстоят от нее мечтания Бакунина, и в письме к В. П. Боткину от декабря 1847 звучит некоторая досада на Бакунина за его отвлеченность. Надо сказать, что Белинский расходился и с Герценом и с Бакуниным, которые во время его пребывания в Париже отрицали какую-либо прогрессивную роль за буржуазией, причем не проводили различия между отдельными группами буржуазии и не подходили к вопросу с исторической точки зрения. «Вот с точки зрения этой неопределенности и сбивчивости в слове буржуази письма Герцена («Письма с Авеню Мариньи». — *Ю. С.*) sont attaquables (уязвимы. — *Ю. С.*). Это ему тогда же заметил Сазонов, сторону которого принял Анненков против Мишеля (этого немца, который родился мистиком, идеалистом, романтиком и умрет им, ибо отказаться от философии еще не значит переменить свою натуру), и Герцен согласился с ними против него» («Письма», т. III, стр. 328). А дальше Белинский говорит: «Я не принадлежу к числу тех людей, которые утверждают за аксиому, что буржуази — зло, что ее надо уничтожить, что только без нее все пойдет хорошо. Так думает наш немец — Мишель, так или почти так думает Луи Блан» (ib., стр. 331). Белинский готов признать крупных капиталистов чумою и холерою современной ему Франции, но относительно мелкой и средней буржуазии он этого не думает, признает за нею огромную роль в истории и высказывает по этому поводу ряд интереснейших соображений, которых мы здесь не приводим (стр. 328—331). И, резюмируя свои парижские споры с Бакуниным, Белинский пишет: «Мой верующий друг (т. е. Бакунин. — *Ю. С.* доказывал мне еще, что избави-де бог Россию от буржуази. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуази. Польша лучше всего доказала, как крепко государство, лишенное буржуази с правами» (ib., стр. 339).

Но, расходясь с Бакуниным в оценке движущих сил общественного развития, Белинский все же интересовался жизнью старого приятеля, повидимому внимательно следил за его выступлениями, так что был в курсе его революционной деятельности. Так, судя по письму его к Анненкову от начала декабря 1847 г., в котором он просил И. С. Тургенева в письмах к нему не упоминать некоторых собственных имен, например «верующего друга», т. е. М. Бакунина, Белинский знал о его выступлении на польском банкете в Париже, состоявшемся в ноябре того же года (ib., стр. 320).

[2] Чех, Генрих Людвиг (1789—1844) — немецкий юрист и общественный деятель, бургомистр города Сторкова, по мотивам частной мести 26 июля 1844 стрелял в прусского короля Фридриха-Вильгельма IV, но неудачно; был казнен в декабре того же года. Его дочь, о которой и говорится в данном письме Бакунина, в 1849 издала в Берне биографию своего отца.

№ 488. — Напечатано с ошибками и пропусками в Переписке Г. Гервега («1848»), стр. 14—17. Переведено с немецкого Б. Гимельфарбом. Мною дополнено и исправлено по оригиналу.

[1] Сазонов, Николай Иванович (1815—1862) — русский писатель и революционер. Учился в Московском университете; был близок к кружку Герцена; один из первых русских сен-симонистов; в начале 40-х годов выехал за границу; здесь связался с европейскими демократами, в частности с поляками и с Марксом; принимал активное участие в революции 1848, за что в 1849 был выслан из Франции; в 1850 вернулся в Париж, но в 1851 снова должен был уехать в Женеву. В 1854 издал прокламацию к русским

пленным во Франции; поместил в № 2 «Полярной Звезды» статью «О месте России на всемирной выставке», издал в Париже книгу «Правда об императоре Николае» (на франц.), писал во французских и русских журналах (в последних под псевдонимом Штахеля, которым впрочем подписывался иногда и за границей). С 1860 переехал из Парижа в Женеву, где и умер. См. о нем у Д. Рязанова «Карл Маркс и русские люди 40-х годов».

[2] Речь идет о процессе польских патриотов во главе с Мерославским, судившихся за подготовление восстания в Познани в 1846 году. Подсудимые были приговорены к длительному тюремному заключению, но освобождены революцией 1848 г.

[3] Мерославский, Людвиг (1814—1878) — польский генерал и политический деятель. Родился во Франции от польских родителей; учился в калишском кадетском училище, где застало его восстание 1830 г., в котором он принял участие, после чего эмигрировал во Францию, здесь примкнул к демократическому крылу эмиграции, был послан последним в Познань для возглавления восстания, которое должно было вспыхнуть 21 февраля 1846, но был там арестован и просидел в тюрьме до революции 1848. Снова принял участие в познанском движении, сначала одержал несколько побед над пруссаками, но в конце-концов был взят в плен, однако скоро освобожден и уехал во Францию. В апреле 1849 принял участие в сицилийском восстании, был ранен под Катанoccо и, не успев излечиться от ранения, поспешил в Баден, куда в июне призвало его революционное временное правительство, был назначен командующим революционными войсками, но подал в отставку до конца восстания. В начале польского восстания 1863 года был назначен диктатором, но скоро был разбит и уехал в Париж, где с тех пор занимался писанием исторических работ, составлением мемуаров и военными изобретениями. Бакунин познакомился с ним в 1862, одно время был с ним в хороших отношениях, но затем разошелся с ним вследствие болезненного его национализма и в 1868 вел с ним резкую полемику, выпустив против него специальную брошюру (которая нами в своем месте будет напечатана).

[4] Речь Мерославского перед прусским судом была тогда же выпущена особою брошюрою под заглавием «Discours prononcé devant le Tribunal à Berlin le 5 août 1847». Posen 1847, изд. Schirmer.

[5] Пий IX (в миру Мастаи-Феррети) (1792—1878) — римский папа, избран на этот пост в 1846; в виду наступавшего революционного периода, желая сохранить власть, пустился на псевдо-либеральные реформы, дал амнистию, конституцию и т. п., чем соблазнил немало наивных людей, в том числе и Бакунина; во время революции 1848 римский народ потребовал от него, чтобы он послал папские войска на помощь пьемонтцам против австрийцев; но коварный монах, все симпатии которого принадлежали не итальянской нации, а австрийскому деспотизму, долго колебался, дал было согласие, но затем взял его обратно, назначил реакционное министерство Росси, и когда последний был заколот кинжалом, папа бежал из Рима, отдавшись под защиту самого кровавого из итальянских деспотов, короля неаполитанского. В Риме была провозглашена республика во главе с Мадзини, против которой папа требовал интервенции всего католического мира. Президент французской республики Луи Бонапарт послал войска, которые помогли разгрому римской республики и возвращению папы, после чего началась эпоха ожесточенной реакции. При этом папе были провозглашены догматы «непорочного зачатия» «богоматери» и папской «непогрешимости», а также издан «Силлабус», или перечень «заблуждений» свободной мысли.

№ 489. — Печатается по-русски впервые. Оригинал хранится в Прусской государственной библиотеке в Берлине среди оставшихся после Варнгагена документов. Фототипия его находится в архиве Института Маркса, Энгельса и Ленина: с нее и сделан перевод настоящего письма. Недавно оно напечатано в книге проф. Пфицнера «Bakuninstudien», Прага, 1832, стр. 19—21.

Письмо это свидетельствует о том, что отношения между Бакуниным и Варнгагеном фон-Энзе несколько выходили за рамки чисто светского зна-

комства. Бакунин встречался с Варнгагеном во время своего проживания в Берлине в 1840—1842. О своей первой встрече с Бакуниным Варнгаген рассказывает в своих дневниках (том I, стр. 232) так: «Господин Бакунин пришел ко мне, когда я еще лежал в постели. Письмо Неверова ко мне он затерял. Из его перевода писем (?) Беттины напечатаны (?) только отрывки, остальная часть рукописи пропала. Он производит впечатление бодрого молодого человека, благородного и свободомыслящего. Здесь он намерен слушать главным образом гегелевскую философию». Но и позже, попав в Германию во второй раз, а именно после мартовской революции, Бакунин с ним встречался, в частности в августе — сентябре 1848, когда временно очутился в Берлине после Познани. В своем дневнике (том V, стр. 130) Варнгаген записал под 24 июля 1848 свою встречу с Бакуниным в следующих выражениях: «Вчера вечером (т. е. 22 июля) пришел русский, Бакунин, как всегда, здоровый и полный мужества, гордый и веселый, полный сладких надежд. Его гигантское тело доставляет ему все удобства. Рассказывал мне про свои приключения в Париже, Праге, Бреславле; здесь он чувствует себя до некоторой степени в безопасности и полагает, что ему надо что-нибудь попробовать, так как накопилось много сил. Он видимо имеет обширные связи; он говорит, что в России у него много (?) друзей, в особенности таких, которые стали его друзьями с тех пор, как его стали преследовать. Он напечатал в 10 тысячах экземпляров воззвание на русском языке, в котором проповедуется свобода всех славян, поляков, чехов, иллирийцев и т. д. Живет он здесь под именем Жюля, министры Кюльветтер и Мильде об этом знают, граф Рейхенбах — его друг. Он работает над одним произведением и держится замкнуто. От меня он пошел к [Эмануилу] Араго, с которым хорошо знаком со времени пребывания в Париже».

В этой записи содержится несколько темных мест, в которых вероятно повинен не Бакунин, а Варнгаген, перепутавший его сообщения. Так здесь с одной стороны говорится о каком-то воззвании на русском (?) языке, проповедующем свободу всех славян, и говорится как о совершившемся факте, а с другой стороны говорится об имеющем еще выйти его произведении — как мы думаем, о «Воззвании к славянам». Но в таком случае совершенно непонятно, о какой брошюре Бакунина, да еще на русском языке, может итти речь. Насколько нам известно, никаких воззваний на русском языке Бакунин тогда не выпускал. Его речь на польском ноябрьском банкете 1847 вышла к тому времени только на французском и немецком языках. Его «Основы новой славянской политики» в тот момент вовсе не были напечатаны. Таким образом Варнгаген мог разговаривать с Бакуниным только о «Воззвании к славянам»; но последнее в рассматриваемое время не только не было напечатано, но даже не было еще написано. Повидимому Бакунин рассказывал Варнгагену, что собирается написать воззвание к славянам, а тот, не поняв его, перепутал.

[1] Варнгаген фон-Энзе, Карл Август (1785—1858) — немецкий писатель и дипломат; особенно известны его богатые по содержанию дневники, изданные Людмилой Ассинг («Tagebücher», 14 томов, 1861—1870). Был женат на Рахили Левин, хозяйке известного литературного салона в Берлине. Смолоду интересовался Россиею, был знаком со многими русскими. Сначала познакомился с Н. А. Мельгуновым, который позже представил ему Я. Неверова; был также в хороших отношениях с Н. Станкевичем, Т. Грановским, Огаревым. Бакунин познакомился с Варнгагенами осенью 1840 года: его направил к ним Неверов. Одновременно познакомились с Варнгагенами И. С. Тургенев, М. Н. Катков и другие менее известные русские. Собирались у Варвары Бакуниной, у приятельницы Варнгагенов Генриетты Зольмар, у Фроловых и пр. Расстались они в 1842 году, но, воротившись в Берлин в 1848 г., Бакунин возобновил приятельские отношения с Варнгагеном и посвящал его в свои славянские планы. Уже в начале 40-х годов Варнгаген интересовался славянским вопросом и был знаком с такими деятелями славянства, как Пуркинье, Цыбульский и т. п. Не через него ли и познакомился с ними Бакунин?

Что касается книги, присланной Бакунину Варнгагеном, то в известном

библиографическом указателе Кайзера приведена только одна книга Варнгагена за 1847: «Karl Müller's Leben und kleine Schriften», Berlin, 488 стр. («Жизнь и мелкие сочинения Карла Мюллера»). Но возможно, что Варнгаген прислал ему вышедший в 1846 году 7-й том своих «Denkwürdigkeiten», в котором имелась статья «Посещение Парижа в 1810 году».

[2] Бакунин говорит о «нескольких» статьях своих во французской прессе, тогда как нам до сих пор известны только две такие его статьи (в «La Réforme» и в «Le Constitutionnel»), напечатанные нами выше под №№ 481 и 486. — Имеем ли мы здесь дело с неточным выражением, или же Бакунин опубликовал во французской прессе и другие, нам неизвестные статьи (значит — анонимно или под псевдонимом)?

[3] Итак снова появляется указание на подготовлявшуюся Бакуниным брошюру о взаимоотношениях России и Польши. Как мы знаем, впервые такое указание было сделано в сентябре 1843 русским поверенным в делах в Швейцарии А. Струве (но Бакунин это отрицал). Теперь об этом говорит сам Бакунин. В бумагах Бакунина после его смерти найден был набросок брошюры о Польше и России («La Russie et la Pologne»), но он относится вероятно к 60-м годам. Повидимому Бакунин много раз принимался за эту всегда интересовавшую его тему, но никогда не доводил своей работы до конца.

Но не имел ли здесь Бакунин в виду свою речь, которую он через месяц после того произнес на польском банкете? Это было бы возможно, но как в таком случае примирить этот факт с его словами в «Исповеди» о том, что приглашение на банкет он получил от знакомых поляков только за три дня до произнесения речи?

[4] Варнгаген фон-Энзе был страстным собирателем автографов.

[5] Варнгаген и позже не переставал интересоваться Бакуниным, который произвел на него сильное впечатление. В архиве Института Маркса, Энгельса, Ленина находятся две выдержки из записей Варнгагена от 1857 года. Вот они:

1) «Граф Фридрих Нессельроде, русский генерал-лейтенант и бывший начальник жандармерии в царстве Польском, уверяет меня, что Бакунин не только жив, но и довольно прилично содержится в С.-Петербурге в качестве политического арестанта. Нессельроде получил приказ из Петербурга организовать приемку Бакунина, выданного австрийцами. Он отправил на границу полковника, который принял Бакунина и доставил его через Варшаву — собственно минуя этот город — для дальнейшего следования». Здесь выдержка обрывается.

Н е с с е л ь р о д е, Федор Карлович, граф (1786—1868) — б. австрийский офицер, перешедший на русскую службу; с 1817 состоял при цесаревиче Константине Павловиче; с 1828 произведен в генералы и сделан начальником 5-го округа особого корпуса жандармов; умер в Варшаве, где остался жить и после выхода в отставку.

2) «В своей повести «Рудин» Иван Тургенев изобразил личность и стремления Бакунина; даже описанная там любовная история, как говорят, точно взята из действительности. Друзья Бакунина чрезвычайно недовольны тем, что Тургенев описал также слабости и преувеличения партии».

Аналогичная запись имеется и в «Дневниках» Варнгагена (т. XIV, стр. 150), где под 6 декабря 1857 года автор передает свой разговор с Рачинским, переводчиком «Хроники» С. Аксакова на немецкий язык; в этой записи прямо сказано, что в «Рудине» Тургенева изображен Бакунин. Значит современники об этом знали.

№ 490. — Напечатано с пропусками и ошибками в «Переписке» Г. Гервега, стр. 17—20. Перевод с немецкого сделан Б. Гимельфарбом. Исправлено мною по оригиналу

[1] М а г д з и н с к и й, Теофил (1818— ?) — польский общественный деятель; юрист; участвовал в выступлениях 1846 в Познани, после чего жил во Франции; в 1849 г. вернулся на родину, затем проживал в Царстве Польском (до 1864), позже был избран в германский рейхстаг, где был председателем польского коло. Был другом детства Эммы Гервег.

[2] Садовский, Станислав Феликс (? — 1848) — польский патриот, сын познанского помещика, был по процессу 1847 в Берлине приговорен вместе с Мерославским к смертной казни, освобожден революциею 1848, принял участие в познанском восстании 1848 под начальством Мерославского и после сражения при Милославе предательски умерщвлен прусским солдатом, забравшимся к нему в дом.

[3] д'Агу, Мария Флавиньи, графиня (1805—1876) — французская писательница, известная под псевдонимом Даниель Стерн, родилась во Франкфурте-на-Майне, в 1827 вышла за графа д'Агу, и ее дом в Париже сделался центром собраний наиболее знаменитых людей того времени. Смелая, передовая, свободная женщина, она выделялась во всех областях литературы. Между прочим ее перу принадлежит трехтомная история революции 1848 года, переведенная и на русский язык. С Гервегом была одно время очень близка. Бакунин также охотно посещал ее салон, и хотя в «Исповеди» он о ней не упоминает, но она сама во второй части своих «Мемуаров» говорит о нем, как об одном из знаменитых иностранных посетителей своего салона, наряду с Д. Бульвером, Г. Гейне, Гонфалоньеон, Г. Гервегом, Эмерсоном и пр. См. Comtesse d'Agoult (Daniel Stern) «Mémoires» (1833—1854). 9 изд. Париж 1927, стр. 217.

[4] Варнгаген фон-Энзе, Карл Август. См. комментарий к № 489.

№ 490-бис. Оригинал этого документа хранится в собрании городской библиотеки в Быдгоще (Польша); фотоснимок, которым мы пользовались, находится в собрании Центрального Литературного Музея в Москве. Пользуемся данным случаем, чтобы выразить нашу глубокую признательность т. В. Д. Бонч-Бруевичу, директору этого музея, за ту любезность, с которою он предоставил в наше распоряжение для настоящего издания материалы, хранящиеся в подведомственном ему музее.

Это — первый известный нам документ, упоминающий о М. Лемпицком. Последний принадлежал к числу польских эмигрантов-демократов, видимо склонявшихся к панславистским мечтаниям и этим одним уже близко стоявших к Бакунину. К этой же категории принадлежал очевидно и приятель Лемпицкого Владислав, о котором упоминается в дальнейшей переписке Бакунина с Лемпицким. Нам даже приходит в голову предположение, что оба эти эмигранта и были теми двумя поляками, которые по словам «Исповеди» пригласили Бакунина выступить на польском митинге 27 ноября. Весь тон и содержание печатаемой ниже переписки (письма Бакунина к Лемпицкому из Брюсселя от начала 1848 г.) говорят в пользу этой гипотезы.

К сожалению нам до сих пор не удалось собрать материалов о Михаиле Лемпицком и его приятеле Владиславе, которого мы даже не знаем фамилии.

Расписка написана на бланке отеля, расположенного на площади Одеон в Париже и содержавшегося Жаном Лессю. Она свидетельствует о несомненной близости между Бакуниным и Лемпицким.

№ 491. — Оригинал находится в б. Пушкинском Доме Академии Наук среди материалов Онегинского музея. Печатается здесь впервые. В переписке Г. Гервега не напечатано.

О болезни Таты (Натальи Александровны Герцен младшей) говорится в письме Н. А. Герцен к П. В. Анненкову от 12 ноября/6 декабря 1847 (Герцен — «Сочинения», т. XXII, стр. 53). Этим устанавливается и приблизительная дата письма Бакунина.

№ 492. — Напечатана в газете «La Réforme» («Реформа») 17 декабря 1847, причем ей предпослана следующая заметка от редакции: «На собрании в память 17-й годовщины польской революции, имевшем место в Париже 29 ноября текущего года, русский эмигрант М. Бакунин произнес речь, исполненную самых благородных чувств и содержащую совершенно новые и чрезвычайно смелые взгляды на положение России. Приводим эту речь». Немецкий перевод этой речи был опубликован под заглавием «Russland wie es wirklich ist» («Действительная Россия») в Мангейме 1847. Чешский

ее перевод был напечатан в газете «Noviny Slovanské Lipy» 1848, в номерах от 2, 5 и 9 октября.

Выступление Бакунина на этом митинге было логическим заключением всей его предыдущей деятельности за последние три года. Она непосредственно примыкает к его статьям в «Реформе» и «Конституционалисте» 1845—1846 и является как бы их заключением. Бакунин произнес ее на собрании в присутствии 1½ тысячи человек. В этой речи, которая была первым крупным публичным выступлением Бакунина, он, указывая на необходимость сближения польских и русских революционеров для общей борьбы с самодержавием и воспринимая традицию декабристов, предлагает полякам союз от имени «настоящей русской нации». В качестве революционных сил в России он указывает на «страшную массу крестьян, которые не ждут больше от императора своего освобождения, и которых бунты с каждым днем становятся все более часты», на «класс промежуточный, очень многочисленный и состоящий из элементов очень различных, класс беспокойный, буйственный, который бросится со страстью в первое революционное движение», и наконец на армию, на которую революционеры возлагали большие надежды даже еще в шестидесятых годах.

В «Исповеди» Бакунин следующим образом рассказывает об обстановке, предшествовавшей этому выступлению: «От конца лета 1846 года до ноября 1847 я опять оставался в полном бездействии, занимаясь по-старому науками, следя с трепетным вниманием за возраставшим движением Европы и горя нетерпением принять в нем деятельное участие, но не предпринимал еще ничего положительного. С польскими демократами более не виделся, а видел много молодых поляков, бежавших из края в 1846 году и которые впоследствии почти все обратились в мистицизм Мицкевича. В ноябре месяце я был болен и сидел дома с выбритою головою, когда ко мне пришли двое из сих молодых людей, предлагая произнести речь на торжестве, совершаемом ежегодно поляками и французами в память революции 1831 года. Я с радостью ухватился за эту мысль, заказал парик и, приготовив речь в три дня, произнес ее в многолюдном собрании 17/29 ноября 1847 года».

Председательствовал на этом собрании французский депутат А. Вавен.

В этой речи мы видим Бакунина почти сформировавшимся как политическая фигура. Здесь мы находим уже его надежды на крестьян и на разночинную интеллигенцию («класс промежуточный, беспокойный и буйственный» и т. д.), его веру в неминуемость близкого революционного потрясения, наконец славянский характер его революционных надежд. Последним элементом в значительной степени окрашена была его деятельность в период революции 1848—49 гг.

Нетрудно представить себе, какое впечатление должна была произвести эта смелая и открытая речь р у с с к о г о революционера на п о л ь с к о м собрании. В этой речи Бакунин выступал в качестве прямого преемника декабристской традиции, еще более заострив элементы крестьянской революции, имевшиеся в идеологии наиболее левого крыла декабристов. То, чего русское самодержавие особенно тогда опасалось, а именно объединения русских и польских революционеров, провозглашалось в речи Бакунина самым недвусмысленным образом как залог победы революции над царизмом. Неудивительно, что если аудитория, как доносил российский посол в Париже Н. Киселев министру ин. дел Нессельроде 23 ноября/5 декабря 1847, «выразила свое удовлетворение, устроив (оратору) овацию, которая была самою выдающеюся стороною этого вечера», то царское правительство должно было реагировать на выступление нового своего врага совершенно иначе. Киселев потребовал от французского правительства высылки Бакунина из Франции, а также роспуска Польского Демократического общества и высылки из Парижа польских эмигрантов. Последнее ему не удалось, но Бакунина правительство Гизо охотно принесло в жертву: 14 декабря Бакунин получил приказ о выезде из Франции. Не довольствуясь этим, Киселев под рукой распустил слух, будто Бакунин был агентом русского правительства (по-нашему значит провокатором), но что вследствие его невоздержанности

в языке посольство сочло нужным отказаться от его дальнейших услуг. Цель этого шага была ясна — не допустить сближения Бакунина с поляками, бросив тень на его политическую честь. Удар был верен, ибо в те времена русский революционер, да еще такой, как Бакунин, готовый на союз с польскими патриотами, стремящийся к разрушению империи, к самоопределению населяющих ее национальностей и к объединению их на почве вольной федерации, был явлением слишком непривычным и должен был казаться чем-то весьма странным. Мы уже знаем, что первые попытки практического сближения Бакунина с польскими эмигрантами на почве конкретного революционного дела в самой России возбудили среди них подозрения. Клевета Киселева, вскоре публично поддержанная французским министром, должна была рано или поздно принести свои отравленные плоды. Мы увидим, что это и случилось в 1848 году. Характерно, что впоследствии тот же Киселев, занимая уже пост русского посланника во Флоренции, продолжал действовать против Бакунина с помощью таких же приемов, когда последний проживал в Италии и работал там среди итальянских революционеров. В письме к Герцену от 23 мая 1867 г. из Италии Бакунин пишет: «Кажется, что русское правительство добирается до меня и в отдаленном Неаполе. Надиях я узнал, что здешний префект Marquese Gualterio, архи-консорт и государственный мелкий делец, объявил Рангоци свое подозрение, что я — главный зачинщик всех движений в Сицилии, именно в Palermo (Палермо) и вообще в южной Италии, и что я делаю и распространяю фальшивые банковые билеты, покрывшие последние (т. е. расходы по движению. — *Ю. С.*). Нет для меня сомнения, что тут действует рука Киселева, моего старого парижского приятеля, а теперь посланника во Флоренции[5]. Надеюсь все разузнать и сделать во-время должный отпор» (Переписка, изд. Драгоманова, стр. 205).

Впрочем французская полиция обратила на Бакунина внимание задолго до его выступления на польском банкете. В архиве французского министерства иностранных дел имеется доклад парижского префекта полиции министру внутренних дел от 6 февраля 1847 г. (напечатано у Пфицнера, стр. 27), в котором сказано: «Некий Бакунин, русский офицер, давно уже известный моей администрации в качестве активного участника политических происков, неоднократно указывался мне как человек, стремящийся установить связи с польскою эмиграциею. Мое внимание было также обращено на него в 1845 году по случаю крайне резких его нападок на особу российского императора, допущенных им в газете «Реформа». Мне сообщают, что этот иностранец привлекает и принимает у себя значительное количество польских эмигрантов; уверяют, что хотя он и выступает в качестве самого преданного их друга, но вместе с тем стремится раздуть среди них разногласия и восстановить их против Франции и французского правительства. Некоторые лица утверждают, что сказанный Бакунин является тайным агентом русского правительства, которому поручено разведать намерения эмиграции и на которого в частности возложена миссия внести в нее раскол. За действиями этого иностранца попрежнему будет вестись особое наблюдение».

Этот документ представляет крупный интерес и дает новые материалы для разрешения вопроса о происхождении клеветы на Бакунина. Прежде всего устанавливается тот факт, что порочащие Бакунина слухи не имеют своим первоисточником Н. Киселева, или, точнее сказать, Киселев в декабре 1847 года, выступая с клеветою против Бакунина, не пускал этот слух впервые, так как он распространялся до того и нашел уже выражение в полицейском рапорте от февраля. От кого получил такие сведения префект полиции? Ясно: от своих агентов, работавших в польской среде, и в частности от поляков, состоявших на службе в полиции. Выдумали ли эти агенты данный слух или он действительно ходил среди известных кругов польской эмиграции? Совершенно очевидно, что верно последнее. Но не пустило ли этот слух в польскую среду русское правительство через своих агентов? Это конечно возможно; возможно также, что если оно и не первое пустило этот слух, то когда он появился, поспешило использовать

его в своих интересах и стало его раздувать (как например Киселев в декабре 1847 года и позже). Но ввиду того, что этот слух и в рассматриваемом полицейском документе связывается с попытками Бакунина проникнуть в польскую среду, мы должны допустить, что возник он именно на этой почве и преимущественно в среде демократической эмиграции, к которой Бакунин особенно стремился войти в доверие и которая с другой стороны подвергалась большему риску и более тщательному надзору со стороны царской полиции.

Реакционное министерство Гизо под давлением австрийского и российского правительств и вследствие собственной ненависти к революционным проявлениям поспешило выслать Бакунина из Франции. Декрет о высылке был датирован 9 декабря и сообщен Бакунину 14-го. Этот акт возбудил негодование демократических элементов французского общества и был использован оппозициею для усиления борьбы с министерством. Демократическая оппозиция, выступавшая с требованием смелой, активной внешней политики, усмотрела в высылке Бакунина и последовавшем вскоре затем запрете польского собрания новое проявление холопства министерства перед монархическими дворами Европы. В «Истории февральской революции» (Париж 1850, стр. 73), написанной личным секретарем Ледрю Роллена, некиим Дельво, автор, рассказав о недовольстве, возбужденном в обществе внешнею политикою кабинета Гизо, унижавшею национальное достоинство Франции, с негодованием говорит о том, что, желая угодить иностранным реакционным правительствам, французское правительство «согласилось изгнать Бакунина, русского публициста, искавшего убежища на благородной земле Франции, а затем из повиновения секретным указаниям австрийского или русского посольства, а возможно и обоих вместе, запретило ежегодный банкет польской эмиграции, который должен был состояться под председательством Адама Чарторыйского». «Реформа», напечатавшая «Речь» Бакунина 14 декабря, т. е. в самый день объявления ему декрета о высылке, поместила в номере от 18 декабря 1847 заметку, протестовавшую против этой меры. В ней говорилось:

«Воистину никогда изгнанник не произносил на чужбине более возвышенных и более благородных слов, чем этот призыв к Польше и к России в святом общении равенства и братства. Так вот, г. Гизо осудил это выступление как преступление, как крамолу, и русский эмигрант г. Бакунин получил приказ немедленно оставить Францию! Почти-представитель Николая (Н. Киселев не был полным послом. — *Ю. С.*) отдал распоряжение об этой отправке, а г. Гизо подчинился! Мы разоблачаем эту низость перед всеми честными людьми. Пусть они скажут, падала ли когда-нибудь честь более низко, и не было ли довольно того, что Франция превращена в наблюдательную каторгу для эмигрантов, без того чтобы осуждать их на высылку по первому приказу какого-нибудь Меттерниха или Николая! Завтра мы вернемся к этой низкой несправедливости, которая вопиет о мести!» (это обещание не было почему-то выполнено).

На происходивших тогда во Франции оппозиционных банкетах радикальные ораторы использовали высылку Бакунина для нападок на правительство, причем некоторые считали Бакунина поляком, как например А. Кремье, выступавший на банкете в Руане.

Судя по заметке в «Реформе» от 1 января 1848 года, Бакунин из Брюсселя обратился во французскую палату депутатов с жалобою по поводу своей высылки. Поддержать его жалобу в палате он просил депутата Вавена, который председательствовал на польском собрании 27 ноября.

Прения по вопросу о высылке Бакунина состоялись в палате депутатов 4 февраля 1848 года при обсуждении ответного адреса на тронную речь. Дебаты возгорелись вокруг § 7 проектированного адреса, гласившего: «Верная делу благородного народа, Франция напоминает Европе о правах польской нации, столь громко провозглашаемых договорами». Интерпелянт Вавен, описав страдания польской эмиграции, перешел к празднеству 27 ноября и к речи Бакунина: «эта речь, — говорил Вавен, — не содержала ни слова о правительстве нашей страны, ни слова о нашей политике, ни

слова, в котором можно было бы усмотреть хотя бы отдаленный критический намек на наши внутренние или внешние дела; однако на следующий же день (?) г. Бакунин — так зовут этого русского эмигранта — был изгнан из Парижа и выслан из Франции. Таков странный, горестный, я сказал бы — почти постыдный для нашей страны факт, по поводу которого я хотел бы получить некоторые объяснения от г. министра. Я воздержусь от всяких замечаний по поводу удивительного совпадения нашей политики с политикою русскою. Об этом все было сказано, и я жду ответа».

Министр внутренних дел Дюшатель в своем ответе на ту часть запроса, которая касалась Бакунина, заявил: «Правительство отдало приказ о высылке одного русского подданного, некоего Бакунина. Очевидно, господа, что это — не польский эмигрант; это — также не эмигрант в настоящем смысле этого слова; русских эмигрантов не существует; русской эмиграции по политическим причинам нет. Г-н Бакунин не был эмигрантом; он проживал в Париже как все остальные русские, путешествующие во Франции. У французского правительства имелись серьезные мотивы для того, чтобы не терпеть долее пребывания его у нас. Я не хочу входить здесь в личные обстоятельства; но я, не колеблясь, заявляю, что эта мера, коснувшаяся русского подданного, не может рассматриваться как репрессивная мера против польской эмиграции».

В защиту Бакунина выступали еще Вавен, Ластейри, Лэрбет. Затем им отвечал премьер Гизо: «Итак, господа, я не стану продолжать этого чтения. Но я не колеблюсь заявить, что если бы на собрании такого рода в С.-Петербурге французский король был назван палачом, тираном, угнетателем, неважно по какому поводу, я немедленно протестовал бы во имя уважения, следуемого в силу международного права государю, с которым состоишь в нормальных отношениях. То, чего мы потребовали бы от других, мы намерены применять по отношению к ним. Вот все наше правило».

После этого Вавен отметил противоречия между выступлениями министров внутренних и иностранных дел.

На следующий день, 5 февраля 1848 года, в «Реформе» появилась передовая статья под заглавием «Обсуждение адреса», в которой говорилось:

«Но мы должны заклеймить не только уклонение от защиты святого дела, оставление на произвол судьбы революции (польской. — *Ю. С.*), но и грубое, бесчестное и немотивированное изгнание одного русского, г. Бакунина, который принял французскую землю за землю свободы.

«Этот человек выдающегося ума и глубокой демократической веры имел несчастье провозгласить и доказать на польском собрании, что обе ветви славянской национальности не враждебны друг другу, что их разделяют только полиция, диктатура, тиран. Г-н Бакунин призывал обе демократии, польскую и русскую, к соглашению!

«И вот почему г. Гизо, основательно знакомый с русским салоном и его филиалами, поспешил распорядиться об аресте Бакунина и о высылке его из Франции.

«Нападать на Николая! Назвать палачом этого владыку виселицы и Сибири! Но это — недостойный язык, и июльское правительство не могло оставить безнаказанным это демократическое слово, это братское слово, долженствовавшее осудить замечательного государя, казна которого составилась из конфискаций, колонии которого представляют застенок, где страдают и умирают все граждане севера, все люди чести и свободы.

«Спросите у княгини Л., спросите у Меттерниха, спросите в Тюильри, и вы поймете, что Бакунин, проповедуя свободу, равенство и братство от имени одного народа другому, должен был покинуть французскую землю, где теперь не слышно ничего кроме лозунга: «каждый за себя, каждый у себя; да здравствуют трактаты 1815 года!»...

«Г. Дюшатель не посмел последовать за своим начальником в этом позорном оказательстве политики страха; но он проявил больше коварства: он дал понять, что Бакунин выехал, что его выслали не за его прекрасную пропаганду, а по другим мотивам. Так вот мы предлагаем министру вну-

тренних дел объясниться публично; мы ждем его обвинений, а до тех пор, пока он не докажет, что у него были серьезные основания, моральные основания, мы будем заявлять, что он совершил акт низости, выполняя русский приказ».

Как видно из того текста ответа Дюшателя, который был напечатан в официальном «Монитере» от 5 февраля 1848 г., никаких определенных обвинений он против Бакунина не выдвигал, а ограничивался темными намеками, какие каждый мог толковать по произволу. Суть его уклончивых инсинуаций сводилась к отрицанию за Бакуниным права на звание политического эмигранта. При этом он основывался на том, что Бакунин не бежал из России вследствие каких-либо политических событий, а выехал за границу легально: так можно толковать его слова о том, что Бакунин жил в Париже подобно другим русским путешественникам. Но министр вдвойне лгал: 1) в его приказе о высылке Бакунина из Франции, факсимиле которого мы печатаем в настоящем томе, Бакунин определенно назван «refugié russe», т. е. русским эмигрантом; и 2) в руках у Дюшателя был напечатанный нами выше доклад парижского префекта полиции, где говорилось о политической работе Бакунина во Франции, чего нельзя было сказать о «других русских путешественниках». Правда, в том же документе содержалась инсинуация насчет мнимой агентуры Бакунина; но последнее передавалось как слух, в то время как о политической деятельности Бакунина говорилось как об установленном факте.

Но так как клеветнические слухи насчет Бакунина в известных польско-французских кругах уже ходили, то невразумительные намеки Дюшателя, в частности игра на слове «подданный» (которую при желании можно было понять и как намек на «агентуру» Бакунина), могли быть истолкованы в самом невыгодном для Бакунина смысле.

Повторяем, прямых заподозриваний политической честности Бакунина в том тексте речи Дюшателя, который нам известен, не имеется. Однако Бакунин в своем открытом письме графу Дюшателю говорит о каком-то обвинении его в сношениях с **французскою** полициею. Содержался ли такой намек в речи министра, и правильно ли напечатана его речь в газетах? Повидимому он что-то сказал сверх того, что затем помещено было в газетах, и эти слова его дошли до Бакунина, хотя они могли дойти до него и в извращенном виде. Но что в объяснениях Дюшателя был какой-то нехороший душок, содержались какие-то инсинуации против Бакунина, которые поддавались истолкованию в самом грязном смысле, видно не только из бакунинского «Открытого письма к графу Дюшателю», но и из статьи «Реформы», требовавшей от министра публичного объяснения насчет «серьезных причин», на которые он ссылался в своей речи, но расшифровать которые не захотел.

Речь Бакунина и его высылка заставили заговорить о нем не только французские, но и немецкие газеты. Так в № 2 издававшейся известным демократом Р. Блюмом в Лейпциге «Конституционной Гражданской Газеты» от 3 января 1848 говорилось: «Г-н Гизо отделяет овец от козлищ... Дружба Франции и России растет. По требованию России из Франции изгнан либеральный русский г. Бакунин». Между прочим будущие помощники Бакунина по делу подготовки революции в Богемии, братья Страка, впервые услыхали его имя в связи с его речью и высылкой.

[1] Речь идет о резне польского дворянства, устроенной темным галицийским крестьянством по подстрекательству австрийского правительства во время восстания демократов в Кракове в 1846 году.

[2] **Меттерних**, Клемент Венцеслав Лотар (1773—1859) — австрийский дипломат и государственный деятель, ярый сторонник абсолютизма, идейный вдохновитель Священного союза монархов против идей революции и свободы. Низвергнутый революциею 1848, бежал в Голландию, вернулся после наступления реакции, но жил уже частною жизнью.

[3] Речь идет о переговорах декабристов с поляками в целях организации совместных выступлений против самодержавия, не приведших впрочем ни к каким конкретным результатам.

[4] Начало старинной польской революционной песни: «Еще Польша не погибла, пока мы живы».

[5] Киселев, Николай Дмитриевич (1800—1869) — российский дипломат, младший брат известного деятеля николаевской эпохи, гр. П. Д. Киселева, оказывавшего первому протекцию; кончив университет в Дерпте, поступил на службу в ведомство ин. дел; в 1829 секретарь при посольстве в Париже, 1837 советник посольства в Лондоне, 1840 советник посольства в Париже, с 1841 по 1851 исполнял здесь должность поверенного в делах, а с 1851 ему приказано «находиться по особым поручениям при французском правительстве и управлять русским посольством в Париже». После разрыва дипломатических сношений с Наполеоном III в 1854 уехал из Франции и причислен к министерству иностранных дел. В 1855 отправлен чрезвычайным посланником и полномочным министром к дворам римскому и тосканскому; в 1864 назначен представителем России при короле объединенной Италии, на каковом посту оставался до смерти.

№ 492-бис. Оригинал письма хранится в Центральной и польской военной библиотеке в Варшаве (б. Раперсвильский музей) и написан на бланке Бюро по польским делам (Bureau des Affaires Polonaises), помещавшегося на улице Сент-Оноре, 315, в Париже; фотоснимок, которым мы пользовались, находится в Московском Центральном Литературном Музее.

На письме указан месяц ноябрь, но без числа. Однако, ясно, что письмо написано после произнесения Бакуниным речи на польском банкете.

Содержание его не совсем понятно. Возможно, что речь идет именно о наборе речи Бакунина, с которым Ходзько желал почему-то познакомиться, может быть для исправления. Во всяком случае ясно, что несколько экземпляров речи было уже оттиснуто.

[1] Ходзько, Леонард (1800—1871) — польский писатель и политический деятель; с 1826 г. поселился в Париже и много писал по вопросам борьбы Польши за свою независимость. Главные его произведения: «История польских легионов в Италии», «Атлас семи разделов Польши», «Польша историческая, литературная, монументальная и живописная» (1834—1847). Служил в библиотеке Сорбонны, был помощником библиотекаря в библиотеке св. Женевьевы и библиотекарем в мин-ве нар. просвещения в Париже.

[2] Велеглоский, Валерий (1805—1865) — польский общественный деятель, публицист. По окончании Краковского университета принимал активное участие в восстании 1831 г., эмигрировал во Францию, а с 1849 г. проживал в Кракове. Редактировал несколько журналов и сам писал в католическом духе.

№ 492-ter. Оригинал хранится в Центральной военной библиотеке в Варшаве; фотоснимок находится в Московском Центральном Литературном Музее, откуда мы и заимствовали его текст.

[1] Здесь Бакунин вводил в заблуждение своих польских контрагентов: среди тогдашней русской публики в Париже в тот момент, кроме Н. И. Сазонова и отчасти И. Головина, с которым Бакунин не был близок, не имелось людей, готовых пойти на революционный союз с польскими патриотами. Конечно и П. Анненков и И. С. Тургенев могли при случае слиберальничать, но дальше слов в приятельском кругу их бледный либерализм не шел. О парижских знакомых Бакунина из русской среды см. наши комментарии к «Исповеди» в томе IV настоящего издания.

[2] Ходзько был парижским старожилом, когда Бакунин приехал в Париж. Повидимому он оказал молодому русскому эмигранту теплую встречу, за что последний навсегда сохранил к нему чувство признательности.

№ 493. — Заимствовано из статьи Влад. Каренина «Герцен, Бакунин и Жорж Занд», напечатанной в «Русской Мысли» 1910, № 3, стр. 48—49. Оригинал находится вероятно в архиве Жорж Занд.

Это письмо показывает во-первых, что Бакунин в рассматриваемое время продолжал относиться к Жорж Занд с величайшим уважением, а во-вторых, что он придавал своему выступлению на польском банкете важное политическое значение. Как выясняется из письма Жорж Занд к Бакунину

от 20/VII 1848 (см. № 503), она тогда же ответила ему письмом, в котором выражала ему уважение и сочувствие (где находится это письмо, неизвестно).

№ 494. — Напечатано в переписке Г. Гервега («1848») на стр. 12—14 с обычными ошибками и непонятными пропусками. Перевод Б. Гимельфарба. Исправлено мною по оригиналу, хранящемуся в б. Пушкинском Доме.

Высланный из Парижа, Бакунин переехал в Брюссель, где впрочем не собирался долго оставаться, так как хотел поехать в Лондон. Здесь во второй свой приезд в Брюссель Бакунин снова встретился с Марксом, высланным из Франции за два года до него, с Лелевелем и другими поляками. Между прочим на банкете 14 февраля 1848 (годовщина казни польского патриота Симона Конарского, повешенного в 1839 Николаем I) главными ораторами были Лелевель и Бакунин. Содержание произнесенной при этом Бакуниным речи до нас не дошло, но оно изложено вкратце самим Бакуниным в его «Исповеди». Как видно из данного письма, Бакунин имел некоторое прикосновение к Демократическому Обществу, но враждебно относился к немецкому коммунистическому кружку, находившемуся под влиянием Маркса.

[1] «Демократическое Общество для объединения всех стран» было основано 7 ноября 1847 года и объединяло бельгийских демократов с изгнанниками различных стран, проживавшими в Брюсселе, в том числе немцами и поляками; оно носило международный характер и в слабой степени напоминало будущий Интернационал в начале его существования или, лучше сказать, Лигу Мира и Свободы 60-х годов, так как не носило пролетарского характера, хотя в его составе имелись и коммунисты, примыкавшие к нему в индивидуальном порядке. Согласно его уставу, подписанному между прочим Марксом, С. Борном, М. Гессом, В. Вольфом, поляками И. Лелевелем и Л. Люблинером, целью его было «единение и братство народов». Почетным президентом Демократического Общества был генерал Меллинэ, Франсуа Эме (1768—1852), бывший французский офицер, организовавший в 1830 корпус волонтеров для поддержки бельгийской революции, затем поселившийся в Брюсселе и возглавивший там радикальную партию; по обвинению в попытке вызвать республиканское восстание в 1848 арестован и приговорен к смертной казни, замененной ему 30-летним тюремным заключением; в 1849 г. выпущен из тюрьмы и скончался в 1852 г. в Антверпене. Действительным президентом Общества был адвокат Люсьен Жотран, товарищами председателя — Маркс от немцев, марсельский журналист — эмигрант Эмбер от французов; секретарем — Альбер Пикар; казначеем — Функ; переводчиками: Лелевель (от поляков), Майнц (проф. Брюссельского ун-та), Спильторн (гентский адвокат) и Вирт. Между прочим именно в этом «Демократическом Обществе» Маркс произнес свою знаменитую «Речь о свободе торговли» (см. Л. Бертран — «История демократии и социализма в Бельгии», Москва 1907, т. I, стр. 189—191, 230 сл.) В «Исповеди» Бакунин называет это общество «обществом соединенных немецких и польских коммунистов и радикалов, с которыми находились в связи и английские чартисты, и французские демократы». По словам Бакунина он побывал раза два на публичных собраниях общества, а затем перестал туда ходить, так как манеры и тон публики ему не понравились: вращался же он преимущественно в аристократических кругах.

[2] Борнштедт, Адальберт фон — б. прусский офицер, в эмиграции объявивший себя коммунистом, участвовавший в различных предприятиях эмиграции, входивший в тайные ремесленные общества, примыкавший и к «Союзу коммунистов» и одно время близко стоявший к Марксу. Уже в Брюсселе возбудил против себя некоторые подозрения со стороны политической порядочности, но возникшее против него недоверие было рассеяно процессами, которые возбуждены были против него прусским правительством (ловко обманувшим такими приемами эмигрантов). В Брюсселе он издавал «Немецко-Брюссельскую Газету», в которой участвовал и Маркс. Когда немецкие эмигранты после февральской революции перебрались в Париж, Борнштедт начал там выступать против Маркса, сошелся с Гервегом

и вместе с ним подготовлял авантюру «демократического легиона». За свое поведение был исключен в середине марта из «Союза коммунистов». Впоследствии данные берлинских и венских архивов неопровержимо установили, что Борнштедт был агентом-провокатором на службе прусского правительства.

[3] Это место в книге «1848» напечатано так: «die Deutschen aber, Handwerker Bornstäd[t], Marx und Engels, — und vor allen Marx, treiben hier ihr gewöhnliches Unheil». В переводе это означает: или 1) «немцы же, ремесленники Борнштедт, Маркс и Энгельс», или 2) «немцы же, ремесленник Борнштедт, Маркс и Энгельс» и т. д. То и другое не имеет смысла, ибо ни одно из названных лиц не было ремесленником. Поэтому мы в своей книге о Бакунине (т. I, изд. 2, стр. 237, прим.) предположили, что имеем дело с опечаткой и что в подлиннике после слова «Handwerker» (ремесленники) стояла запятая, пропущенная в печати. Но обращение к подлиннику, который мы нашли в б. Онегинском архиве, показало, что наше предположение является ошибочным: там написано именно так, как напечатано в указанной книге. А отсюда можно сделать только один вывод: или 1) Бакунин по рассеянности пропустил запятую после слова «Handwerker», или 2) верно отвергнутое нами предположение, что Бакунин употребляет здесь слово «ремесленники» в ироническом смысле (дескать, какие мол это ремесленники, а все время кричат о пролетариате и называют всех инакомыслящих буржуями!), но почему-то не заключил это слово в кавычки, или 3) что Бакунин без всякой иронии называет упомянутых лиц ремесленниками потому, что они все время возились с ремесленниками и входили в ремесленные кружки.

В рассматриваемое время Маркс, разделавшись с остатками демократического мировоззрения, вырабатывал основные положения своей революционно-коммунистической системы. Беспощадная критика всяких мелкобуржуазных представлений казалась Бакунину результатом дурного характера Маркса, его сварливости, неуживчивости, стремления к безраздельному господству и т. п. Стоя сам в сущности на мелкобуржуазной позиции, для России будучи крестьянским социалистом, а для Запада крайним демократом с некоторыми зародышами неосознанного и несистематизированного анархизма, навеянного влиянием Прудона, Бакунин просто не понимал значения пролетариата и его исторической миссии, равно как весьма слабо представлял себе взаимоотношение общественных сил, характер классов капиталистического общества, историческое развитие последнего и конечный результат этого развития. Отсюда — его суждения о Марксе и коммунистах, которым видимо сочувствовал его адресат. Хотя последний формально считался другом и чуть-ли не сторонником Маркса, но повидимому уже в это время он в действительности относился к нему неприязненно. Ведь Гервег хотя прежде называл себя коммунистом, но на деле был мелкобуржуазным демократом, индивидуалистом, рабочего движения не понимал и психологически был пролетариату чужд. Это он показал своей дальнейшей жизнью, и кратковременный вынужденный флирт с лассальянством ничего здесь не опровергает. Да и не позволил бы себе Бакунин *так* писать обо всех этих вещах Гервегу, если бы не был уверен в его сочувствии и если бы они до того не вели в таком духе разговоров в Париже (см. также Ф. Шиллер — «Гервег и К. Маркс» в № 4 журнала «Литература и Марксизм» за 1931 год; вошло в его книгу «Очерки по истории немецкой революционной поэзии XIX века». Москва 1933).

[4] Как известно, Л. Фейербах и в области социальных вопросов не выказал полной последовательности и не дошел до логического конца, как и в области философии. Он остался левым демократом с сочувствием угнетенным и с смутными социалистическими симпатиями, но настоящим коммунистом не сделался. Попытки привлечь его к коммунизму делались в частности Энгельсом уже в 1845 году, но к цели не привели. Фейербах подобно Гервегу и другим демократам из интеллигентской среды не приял пролетарского коммунизма, хотя и готов был называть себя коммунистом. Вероятно на это обстоятельство было в присутствии Бакунина указано Марк-

сом или кем-либо из его сторонников. То, что Бакунин принял такое констатирование факта за обиду или за признак склочности, лишний раз показывает, как плохо он разбирался тогда в этих вопросах.

Предположение Л. Бертрана в его «Истории демократии и социализма в Бельгии» (Москва 1907, том I, стр. 189), что единственный русский, присутствовавший на банкете «Немецкого рабочего союза» в Брюсселе 27 сентября 1847 года, где было решено создать общество реформаторов, впоследствии названное «Демократическим Обществом», что этот русский был М. Бакунин, ни на чем не основано. Ведь Бакунин был выслан из Парижа и переехал в Брюссель в середине декабря 1847 г., — каким же образом он мог присутствовать на банкете в сентябре того же года в Брюсселе?

[5] О Иоахиме Лелевеле см. т. I, стр. 442.

[6] Люблинер, Людвиг (1809—1868) — польский писатель и общественный деятель; после революции 1831 эмигрировал и поселился в Брюсселе, где занимался адвокатурой; выпустил ряд юридических книг на французском и польском языках. Вместе с Лелевелем был представителем Польши в «Демократическом Обществе» в Брюсселе, причем оба они были обычными ораторами в этом обществе.

[7] Скржинецкий, Ян Сигизмунд (1787—1860) — польский генерал, родом из Галиции, служил под знаменами Наполеона I, затем в качестве полковника перешел в новосозданную польскую армию, а после восстания 1830 был произведен в генералы; отличился в битве при Грохове, где овладел русскими батареями; назначенный главнокомандующим, выказал медлительность и принужден был передать начальство генералу Дембинскому.

[8] Тышкевич, Винцент — см. о нем в комментарии[2] к № 495-бис.

[9] В немецком тексте здесь зачем-то поставлена буква R (Р). Но, как мы указывали выше, президентом общества номинально был Меллинэ, а фактически Жотран. По этому поводу мы выразили недоумение в нашей книге о Бакунине (т. I, стр. 234), допуская возможность опечатки. Обращение к подлиннику показало, что там стоит именно Жотран, что и требовалось доказать.

Жот(т)ран, Люсьен Леопольд (1804—1877) — бельгийский юрист, публицист и общественный деятель; участник революции 1830, отделившей Бельгию от Голландии; был почти бессменным членом бельгийской палаты депутатов, где примыкал к левому крылу либеральной партии; демократ.

[10] В немецком печатном тексте слово «Аннен[ков]», имеющееся в оригинале, также выпущено.

[11] Бернацкий, Алоизий Проспер, граф (1778—1854) — польский агроном и политический деятель, патриарх польской эмиграции; министр финансов в революционном правительстве 1831 года; затем эмигрировал и проживал во Франции, где продолжал заниматься агрономией. Бакунин познакомился с ним в 1844 г. и очень его любил.

№ 459. — Напечатано впервые в книге «П. В. Анненков и его друзья», 1887 (второе издание 1892), с ошибками и пропусками; многократно перепечатывалось с теми же ошибками, приобревшими право гражданства в русской литературе. В настоящем издании печатается с подлинника, хранившегося в б. Пушкинском Доме.

[1] «Товянщики» — польские эмигранты, последователи мистика Товянского.

Товянский, Андрей (1795—1878) — польский мистик; был нотариусом в Вильне, когда вследствие признаков умопомешательства был заключен в психиатрическую лечебницу. В 1837 переехал в Брюссель, где сумел отчасти обратить в свою веру ген. Скржинецкого, а затем в Париж, где оказал сильное влияние на А. Мицкевича, пытавшегося излагать идеи Товянского в своих лекциях в Французском коллеже. Товянский выступал перед своими соотечественниками в Соборе парижской богоматери, проповедывал культ Наполеона и спасение Польши посредством разных чудес и чудачеств — все это на почве психической подавленности и духовного упадка, вызванного поражением восстания 1830 года и крушением на-

циональных надежд. Высланный из Франции, Товянский переехал в Швейцарию, где и умер.

[2] Речь идет о втором выступлении Бакунина на польском собрании. Оно состоялось 14 февраля 1848 г. «В этой речи, — пишет Бакунин в «Исповеди», — бывшей как бы развитием и продолжением первой, я много говорил о России, об ее прошедшем развитии, немного о древней вражде и борьбе между Россиею и Польшею; говорил также и о великой будущности славян, призванных обновить гниющий западный мир; потом, сделав обзор тогдашнего положения Европы и предвещая близкую европейскую революцию, страшную бурю, особенно же неминуемое разрушение Австрийской империи, я кончил следующими словами: «Préparons-nous et quand l'heure aura sonné que chacun de nous fasse son devoir» (Приготовимся же, и когда пробьет час, пусть каждый исполнит свой долг»).

В парижской «Реформе», находившейся в тесной связи с польской демократической эмиграцией, в номере от 18 февраля 1848 г. появилась следующая корреспонденция из Брюсселя, посвященная рассматриваемому торжеству: «Память союза между русским и польским патриотизмом, как это было заранее объявлено, была отпразднована всею польскою эмиграциею с участием г. Бакунина, высылка которого из Франции возбудила у нас живейшие симпатии, проявившиеся в том горячем приеме, с каким была встречена его речь. Собрание было многолюдным. Другие речи были произнесены Лелевелем, Залеским, Кордашенским и Семеньским. Хотя ораторы старались точно держаться специального предмета собрания, события, ожидаемые в Париже и Европе, не могли остаться без влияния на настроение собравшихся, и движение в Италии против самого свирепого и низкого из трех мучителей Польши не могло пройти безразлично для присутствовавших. Согласно трогательному обычаю изгнанников председательствование было предоставлено теням мучеников, изображавшихся пятью венками из иммортелей с именами поляка Конарского и русских Пестеля, Рылеева, Бестужева, Муравьева и Каховского» (значит венков было шесть?).

[3] Жиго, Филипп — бельгийский коммунист, входил в брюссельский коммунистический комитет, в котором участвовали также Карл Маркс, Вильгельм Вольф, С. Зайлер, И. Вейдемейер, адвокат Тедеско и несколько рабочих.

[4] Проживавший в Париже в 40-х годах польский эмигрант, о котором нам не удалось собрать более полных сведений. Герцен упоминает о нем раза два как о приятеле Н. И. Сазонова (Герцен — «Сочинения», том XIII, стр. 580, 587).

[5] Повидимому Бакунин имел в виду три книжки «Современника» за 1847 год (№№ 1, 2 и 5), в которых были напечатаны первые рассказы из серии «Записки охотника». Что касается Плещеева, Алексея Николаевича (1825—1893), то Бакунин имел несомненно в виду первый сборник его стихотворений, вышедший в 1846 году.

[6] Беранже, Пьер Жан (1780—1857) — французский поэт, шансонье, автор множества песенок в демократическом и народолюбивом духе, стоял в оппозиции ко всем режимам (Реставрации, мещанской монархии, Второй империи); в общем типичный выразитель французской мелкой буржуазии, сочетавшей культ демократии с культом бонапартизма; своими наполеонистскими стихотворениями, сам того не желая, сыграл пагубную роль, подготовляя умы отсталого простонародья к восстановлению империи.

№ 495-бис. Оригинал хранится в Центральной военной библиотеке в Варшаве; фотоснимок, которым мы пользовались, находится в Центральном Литературном Музее в Москве.

Письмо очень важно в том отношении, что сообщает много новых сведений о первых шагах Бакунина в Брюсселе, а как известно, об этом периоде жизни Бакунина мы знаем очень мало.

[1] Речь идет о чествовании памяти польского патриота Симона Конарского, повешенного в 1839 году Николаем I, а также пяти казненных декабристов. Собрание состоялось 14 февраля 1848 года, и Бакунин вы-

ступил на нем с речью, о которой вкратце сообщает в «Исповеди» (см. том IV настоящего издания).

[2] Тышкевич, Винцент — польский политический деятель; родом из Галиции, он активно поддерживал заговор Заливского в 1833 году; с 1834 г. поселился в Брюсселе. В 1845 г., когда в Польше подготовлялось восстание, стоял за объединение всех демократических фракций. А в 1846 г., после революционной вспышки в Кракове, убедил часть демократов примкнуть к направлению Чарторыйского.

[3] Приятель Лемпицкого, фамилию которого нам пока не удалось установить. Судя по дальнейшим словам Бакунина, приятели в своих беседах касались именно судеб славянской общины, что подтверждает наше предположение о том, что группа носила панславистский характер.

[4] Настоящий безоговорочно отрицательный отзыв о Демократическом Обществе резко отличается от того, который дал о нем Бакунин в письме к Гервегу от декабря 1847 г. (см. выше № 494). Все, что здесь говорится о Демократическом Обществе в связи с Люблинером, подтверждает высказанное нами в комментарии к «Исповеди» (см. в томе IV прим. 70 и 71) предположение, что в кругах этого Общества насчет Бакунина распространялись неблагоприятные слухи, к которым имел какое-то отношение названный Люблинер.

[5] Залеский, Константин — польский политический деятель; воспитанник Виленского университета, эмигрировал в 1831 г. Был карбонарием и в 1834 г. примкнул к савойскому отделу польского карбонарства. В том же году был избран в 1-й Комитет «Молодой Польши». Позже принадлежал к «Зъедноченью» (демократическая организация).

[6] Семеньский, Люциан Ипполит (1809—1878) — польский писатель, поэт и политический деятель. По окончании ученья в Люблине в 1828 г. проживал некоторое время в Одессе. После участия в восстании 1831 г. поселился в Львове, но и здесь подвергался преследованиям полиции; в 1838 г. бежал во Францию; жил также в Бельгии и Пруссии; в 1846 г., замешанный в познанские дела, должен был уехать в Брюссель, где и встретился с Бакуниным. После революции 1848 г. переехал в Краков. Кроме нескольких сборников стихотворений, написал ряд историко-литературных и литературно-критических работ. Был редактором основанного им же в Кракове «Часа».

[7] Эмигрант; ближе не установлен.

[8] Островский, Кристин Иосиф — польский политический деятель; эмигрировал после революции 1831 г.; с 1832 г. служил офицером в бельгийской армии; с 1837 г. вышел в отставку и поселился в Париже, где занялся литературной деятельностью. Участвовал в движении 1848 года в Париже, Берлине, Кракове. Позже принимал активное участие в восстании 1863—1864 гг.

(Но возможно, что здесь Бакунин говорит о Иосифе Болеславе Островском (1805—1871), который участвовал в ночном выступлении 29 ноября 1830 г. и позже был секретарем в мин. юстиции при революционном правительстве, затем эмигрировал, редактировал в Париже «Молодую Польшу», написал много статей и брошюр, а впоследствии сделался присяжным переводчиком при парижской префектуре полиции и причинил много вреда польским эмигрантам).

№ 495-ter. Оригинал хранится в Центральной военной библиотеке в Варшаве; фотоснимок находится в Центральном Литературном Музее в Москве, где я им пользовался.

Это письмо проливает новый свет на сплетни, распространявшиеся про Бакунина в Париже после его выступления на польском банкете. В распространении клеветнических слухов про Бакунина участвовали поляки и русские (как И. Головин), но ни о каких коммунистах в связи с этими сплетнями Бакунин и не заикается. Это обстоятельство мы снова подчеркиваем ввиду распространявшейся позже самим Бакуниным легенды о том, будто в его оклеветании повинны коммунисты.

№ 496. — Напечатано в газете «Реформа» 10 февраля 1848 года. Перевод с французского сделан М. А. Брагинским.

Письмо написано Бакуниным из Брюсселя и адресовано министру внутренних дел в кабинете Гизо, графу Дюшателю. При обсуждении в палате депутатов относившегося к Польше параграфа адреса, Дюшатель в ответ на запрос о причинах высылки Бакунина позволил себе употребить несколько двусмысленных слов, способных при создавшейся тогда обстановке (см. комментарий к № 492) набросить тень на политическую честь Бакунина. Неудивительно, что Бакунин так живо реагировал на эти инсинуации. Это было первое гласное проявление той ужасной клеветы, с которою Бакунину приходилось с тех пор встречаться не раз.

Письмо Бакунина написано гордым тоном и проникнуто сознанием своего достоинства. Титулованный клеветник получил от бессильного эмигранта звонкую пощечину перед всем миром, а через две недели после опубликования этого письма на голову министерства опустился меч народного гнева, и мещанская монархия перестала существовать во Франции. Бакунин мог вернуться в Париж с поднятой головой.

[1] Дюшатель, Шарль, граф (1803—1867) — французский политический деятель, экономист, член государственного совета с 1830; в 1833 избранный депутатом, заседал в центре, был министром земледелия, финансов и дважды министром внутренних дел (1839—1848). Приятель Гизо, он после революции 1848 эмигрировал в Англию, вскоре вернулся, но уже не занимался политикой.

[2] Гизо, см. т. II, стр. 441.

[3] Вавен, Алексис (1792—1863) — французский политический деятель; был нотариусом в Париже; в 1839 избранный депутатом XI округа, занял место среди либеральной оппозиции. Был казначеем франко-польского Комитета. Выступал в палате с запросом по поводу высылки Бакунина. В 1848 был членом Учредительного, а затем и Законодательного собрания, где примкнул к монархистам; но протестовал против государственного переворота Луи Бонапарта и отошел от политики.

№ 497. — Настоящая статья была помещена без заглавия в радикальной газете «La Réforme» (о которой мы уже говорили в комментарии к № 481) в номере от 13 марта 1848 года, страница 1, столбцы 2—3. Перед этой статьей, которую сам автор называет письмом, в номере помещена редакционная заметка в пользу Польши. Хотя и связанная с Временным правительством в лице своих редакторов Ледрю-Ролена и Флокона, «Реформа» по традиции республиканской партии, правда осторожно, высказывалась за активную внешнюю политику. В этом духе, хотя и с оговорками, вероятно внушенными ему редакцией, высказывается в своей статье и Бакунин.

По-русски статья печатается впервые. Она была перепечатана с одним пропуском в книге проф. И. Пфицнера «Bakuninstudien», Прага 1932, стр. 39—41, где ей придано заглавие «Манифест», отсутствующее в подлиннике.

Пророчество Бакунина, высказанное им в конце письма к гр. Дюшателю, оправдалось скорее, чем он сам мог думать. Это письмо было напечатано в «Реформе» от 10 февраля 1848 г., а уже через две недели Июльская монархия была низвергнута, и Бакунин мог свободно вернуться во Францию. В Париж он приехал 26 февраля. Связанный и раньше с кругами «Реформы», сотрудником которой он мог считаться с 1845 г., когда в ней появилась его первая французская статья (см. выше № 481), Бакунин для изложения своих взглядов на февральскую революцию избрал естественно этот орган, который решительно защищал его во время высылки его из Франции и вдобавок был тогда едва-ли не лучшим во Франции и насчитывал в числе своих сотрудников выдающихся революционных деятелей всей Европы, в том числе и немецких коммунистов вроде Энгельса.

Придуманное нами заглавие точно соответствует содержанию статьи Бакунина, которая посвящена выяснению всемирной или вернее обще-

европейской роли февральской революции. Он правильно указывает в ней, что эта демократическая революция еще не закончена, а только начинается, что ей суждено победоносно обойти всю Европу, захватить Германию, Италию и т. д. вплоть до России. Последнее предсказание Бакунина не исполнилось, ибо революция не перешагнула через границы Российской империи, но не исполнилось и его, равно как и других тогдашних демократов, ожидание, что старому режиму нанесен окончательный удар и что от него он не поднимется никогда. В остальном же предсказание Бакунина исполнилось, и уже через два дня после опубликования его статьи вспыхнула революция в Австрии.

В этой статье особенно ярко выражен исторический идеализм Бакунина. Его рассуждения на тему о бескорыстии Франции, о ее работе для всего человечества и т. п. в настоящее время представляются крайне наивными, но в то время они свойственны были большинству демократов за исключеним небольшой группы коммунистов, уже тогда подходивших к истории с точки зрения классовой борьбы и анализа фактических классовых отношений и интересов.

Вторая статья Бакунина, которая должна была дать дальнейшее развитие основным положениям его первой статьи и в частности обоснование его уверенности в общеевропейском характере февральской революции, не появилась. Произошло ли это потому, что начавшаяся революция в Германии и без того дала слишком наглядное подтверждение его вере в дальнейшее распространение революционного движения за пределы Франции, или потому, что редакция «Реформы», слишком тесно связанная с рядом выдающихся членов Временного Правительства, не решилась предоставить свои столбцы русскому революционеру, не знавшему компромиссов и оставшемуся на почве традиционной республиканской внешней политики, т. е. политики «революционной пропаганды», для развития этих мыслей, мы сказать не беремся. Но совершенно ясно, что так как Временное Правительство не только не помышляло о «революционной пропаганде» и не желало ссориться с европейскими монархами, но и не знало, как справиться с своей революцией и ввести ее в рамки, то и близко стоявшая к нему «Реформа» очутилась в несовсем ловком положении перед лицом Бакунина, говорившего старым языком революционной демократии и не считавшегося с «государственными резонами». При таком положении вещей неважно, отказалась ли «Реформа» помещать продолжение статьи Бакунина или последний, увлеченный событиями, сам отказался от мысли писать вторую статью.

№ 498. — Напечатано со многими ошибками в упомянутой выше книге «Анненков и его друзья». Впервые в верном виде опубликовано согласно оригиналу во втором издании первого тома моей работы о Бакунине (стр. 249—252).

[1] В Париж Бакунин вернулся 26 февраля 1848, на третий день революции, и пробыл здесь до конца марта. Все это время он провел как в лихорадке, но установить точно, что он делал там в это время, не представляется возможным. По словам Герцена и по собственному заявлению в «Исповеди» он жил некоторое время в казарме монтаньяров, — коссидьеровской красной гвардии, составленной из рабочих; вставал в 4—5 часов утра и ложился в 2 часа ночи; бегал по городу, участвовал во всех собраниях, митингах, демонстрациях, клубных заседаниях; по рассказу И. Головина в его книге о «Русском нигилизме» Бакунин предводительствовал большой манифестацией рабочих против национальной гвардии: повидимому речь идет о манифестации 17 марта 1848, в которой Бакунин вероятно участвовал вместе с другими русскими эмигрантами, но вряд-ли играл роль предводителя. Следя за передвижением революции с запада на восток и надеясь, что на сей раз она докатится и до границ царской империи, а затем перекинется и туда, Бакунин решил двинуться в Германию, с тем чтобы пробраться поближе к российской границе, а там действовать глядя по обстоятельствам, но имея главною задачею возбудить революционное движение в России, опираясь при возможности на поляков. Чтобы достать средства на задуманную поездку, Бакунин написал письма четырем

демократическим членам Временного Правительства (Флокону, Луи Блану, Альберу и Ледрю-Ролену), прося у них 2 000 франков в виде ссуды. Собрав справки у польской эмиграции, Флокон выдал Бакунину просимые 2 000 франков и просил писать ему для его газеты «Реформа», с которою Бакунин связан был и раньше. Паспорт (собственно два паспорта) дал ему Коссидьер, занимавший тогда место префекта полиции и знакомый Бакунину до революции. Взяв от Гервега письма и поручения к баденским демократам, Бакунин 31 марта поехал на Страсбург (принадлежавший тогда Франции). В первых числах апреля он прибыл во Франкфурт, где тогда как раз происходили собрания «Предварительного парламента» (с 31 марта по 5 апреля), познакомился со многими германскими демократами, а затем по дороге в Берлин прожил несколько дней в Кельне, откуда и написано данное письмо. В Кельн Бакунин прибыл 12 апреля.

Точно установить дату этого письма все-таки можно. Самая цифра написана неразборчиво и может быть прочитана и как 14, и как 17. Если допустить, что письмо из Кельна до Парижа шло день или два, и что дату нужно читать как 17, но что она проставлена Анненковым и означает дату не отправления, а получения письма, то выйдет, что письмо отправлено 15-го или 16-го. Но так как в письме говорится, что оно написано в день отъезда Бакунина из Кельна, а в Берлин он прибыл только вечером 20 апреля, то приходится признать, что оно написано именно 17-го, и что цифра 17 означает дату почтового штемпеля на конверте, перенесенную Анненковым на письмо. Это тем более вероятно, что в Кельн Бакунин прибыл 12 апреля, а в конце сказано, что он сидит в Кельне 5 дней; значит письмо написано именно 17-го.

[2] Отсюда ясно, что Бакунин в Париже с И. С. Тургеневым встречался (что мы знаем впрочем и из других источников). А в таком случае Тургенев, в своих показаниях перед сенатом в 1863 по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами утверждавший, что он в Париже с Бакуниным не встречался, говорил неправду. Далее слова Бакунина доказывают, что в 1848 он был с Тургеневым еще в хороших отношениях. Вот что писал Тургенев в своих ответах на вопросные пункты 22 марта 1863 про свои встречи с Бакуниным после совместной жизни в Берлине в 1840: «После этого я потерял его из виду, встречался с ним изредка за границей, а в 1848 году в Париже во время февральской революции, в которой он играл некоторую роль, не был у него ни разу и видел его только однажды на улице» (см. М. Лемке — «Очерки освободительного движения 60-х годов», стр. 162). Здесь все выражено нарочито неясно, туманно и неточно.

[3] Якоби, Иоганн (1805—1877) — прусский политический деятель, демократ; был врачом в Кенигсберге с 1838; во время революции 1848—1849 был вождем демократической партии во Франкфуртском национальном собрании, в прусском национальном собрании, а затем во второй прусской палате (1849). После роспуска Франкфуртского парламента бежал в Швейцарию, но позже вернулся в свой родной город и снова занялся профессиею врача. Снова избранный депутатом в 1858 г., он вел борьбу с политикою Бисмарка и протестовал против войн 1866 и 1870. Арестованный на месяц в 1870, он по выходе из тюрьмы высказался против присоединения Эльзас-Лотарингии к Германии и не был переизбран в палату. В последние годы своей жизни, убедившись в банкротстве буржуазной демократии, примкнул к социал-демократической партии. — Письмо Г. Гервега к Якоби, переданное ему в 1848 г. через Бакунина, напечатано в Грюнберговском «Архиве», т. I, стр. 482. Приводим его.

Париж. 30 марта [1848 года.]

Дорогой Якоби, я делаю тебе при сем большой подарок в лице одного моего вернейшего друга, русского Бакунина. Он сообщит тебе все желательные сведения о французских и немецких делах, и ты можешь также смотреть на него как на самый автентичный источник сведений обо мне.

Первый же час покажет тебе, что он заслуживает твоего неограничен-

ного доверия, каковым с моей стороны он пользуется уже давно. Введи его в круг твоих знакомых; он везет еще с собой целый мешок революционного воздуха для очистки вашей конституционной атмосферы.

Твой Гервег.

[4] Рейхенбах, Эдуард (1812—1869) — германский политический деятель, силезский помещик, демократ, один из вождей левых; в 1848 был членом левого прусского национального собрания.

[5] Виллих, Август (1810—1878) — немецкий политический деятель; был прусским артиллерийским поручиком, но уволен за политическую неблагонадежность; впоследствии примкнул к коммунистам; во время революции 1848—1849 был одним из главных руководителей первого и третьего восстания в Бадене (Энгельс состоял тогда при нем в качестве адъютанта). После разгрома революции эмигрировал в Лондон, здесь вошел в «Союз коммунистов» и во время раскола последнего вместе с Шаппером возглавлял его «левое», «боевое» крыло против Маркса. Вскоре после раскола Союза уехал в Северную Америку, где участвовал в гражданской войне на стороне аболиционистов против рабовладельцев. Был честным человеком, но не обладал достаточною политическою подготовкою и выдержкою и потому впадал в ошибки.

[6] Несмотря на предупреждения коммунистов, Гервег во главе «демократического легиона», составленного из немецких эмигрантов и ремесленников, вторгся в Германию с целью провозглашения там республики. Вся эта авантюра быстро закончилась полным провалом. Гервег был лишь политическим руководителем предприятия; военною его стороною ведали упомянутый выше прусский провокатор А. фон-Борнштедт и два другие отставные прусские офицеры-демократы. Французское временное правительство, оказывая добровольцам очень скромную материальную помощь, действовало не из идеальных побуждений, а просто хотело выпроводить за границу несколько тысяч буйных и революционно настроенных рабочих. Плохо вооруженный легион по приглашению баденских революционеров перешел 24 апреля баденскую границу, но, узнав о поражении баденских республиканцев, хотел отступить в Швейцарию. 27 апреля он при Нидердоссенбахе столкнулся с вюртембергскими войсками и потерпел полное поражение. Гервег и жена его, прикрывавшая его в сражении своим телом, бежали, переодевшись батраками, и вернулись в Париж. Бакунин, горячо сочувствовавший походу Гервега и защищавший его от нападок Маркса, впоследствии признал свою ошибку, когда в 1871 году писал: «В этом вопросе, как я теперь думаю и откровенно это высказываю, правы были Маркс и Энгельс: они лучше понимали общее положение дел. Но они нападали на Гервега с развязностью, присущею их нападкам, а я горячо защищал против них отсутствующего в Кельне. Отсюда и наша ссора». Эти слова кстати показывают, что (если здесь ему не изменила память) Бакунин в Кельне встретился с Марксом и Энгельсом при проезде через этот город в середине апреля 1848. Возможно, что в пропавшей части письма его к П. Анненкову из Кельна об этом говорилось.

[7] План Бакунина осуществился не вполне. Бакунин приехал в Берлин 20 апреля, а в 12½ часов 22 апреля был уже арестован (см. следующий номер и комментарий к нему).

№ 499. — Этот документ, хранящийся ныне в государственном прусском архиве, впервые был опубликован в цитированной книге проф. И. Пфицнера, стр. 56, откуда мы его и заимствовали.

По словам Бакунина в «Исповеди» он был арестован в Берлине, потому что его приняли за Гервега (?!), или за имение двух паспортов. Берлинская полиция основанием этого ареста объявила посещение Бакуниным дома тестя Гервега, купца Зигмунда; так как полиция получила сведения, что Гервег собирается вторгнуться или даже уже якобы вторгся в Германию во главе революционного легиона, то за домом его тестя несомненно следили и видели, что Бакунин провел там несколько часов; сверх того полиции наверно было известно, что он является близким другом Гервега,

посвященным в его замыслы, и что он привез с собою в Германию письма от Гервега. Но кроме того о приезде Бакунина в Берлин президент столичной полиции Минутоли был предупрежден заранее — и никем иным как российским послом Мейендорфом (об этом сообщается в депеше Мейендорфа, имеющейся в первом томе «Дела» Бакунина). Это кстати показывает, что Николай I имел за границею хорошую агентуру. Минутоли отобрал у Бакунина паспорт на его собственное имя, но возвратил ему фальшивку (на имя Леонарда Неглинского) и от себя прибавил еще одну фальшивку (на имя Симона) — как мы полагаем, для того чтобы легче следить за его передвижениями по Германии (так впоследствии действовали и русские жандармы), а как полагает Б. Николаевский («Летописи Марксизма», № IX—X, стр. 48), для того чтобы скрыть его пребывание в Пруссии от агентов русского правительства или, как сказано в допросе Бакунина 15/VI 1850, «для того чтобы избежать компрометации прусского правительства перед русским». Предположение Б. Николаевского вряд-ли основательно: наивно думать. во-первых, что матерой полициант вроде Минутоли руководствовался в своей полицейской службе какими-то либерально-партийными соображениями; во-вторых, что Минутоли стал бы помогать русскому революционеру против царского правительства, с которым его прусское правительство находилось в самых лучших отношениях, и в-третьих, чтобы он надеялся скрыть пребывание Бакунина от российских агентов, от которых ведь сам он узнал о предстоящем приезде Бакунина в Берлин, тем более, что он не мог не понимать, что Бакунин не станет сидеть молча, и что о его деятельности будет известно не только ловким агентам русского царя, но и всем обывателям Германии. Даже Пфицнер, готовый отчасти склониться к гипотезе. что Минутоли в течение известного времени как бы «укрывал» Бакунина, принужден в своей статье признать, что «Мейендорф уже из газет мог узнать, что с некоторой поры Бакунин с фальшивым французским паспортом на имя Неглинского проживает в Бреславле». Далее гипотезе Николаевского противоречит тот факт, что по паспорту на имя Симона, выданному ему Минутоли, Бакунин не мог прописаться в Бреславле и должен был через несколько дней вернуть его берлинскому полицмейстеру, сняв для себя на всякий случай копию с него. Наконец из всей истории Пруссии мы знаем, что прусское правительство не прятало русских революционеров от агентов царя, а напротив выдавало их царю и делилось с русскою полициею всеми имевшимися у него сведениями из области русского революционного движения. Исключения из общего правила здесь не могло быть, ибо присутствие Бакунина не могло быть прусской полиции приятно, так как она прекрасно понимала, что Бакунин будет работать вместе с польскими революционерами, и конечно отношение Бакунина к разделу Польши и к борьбе польских патриотов за восстановление Польши не было для нее секретом (аналогичную версию поддерживает к нашему удивлению и проф. Пфицнер в своей статье «Бакунин в Пруссии»).

Далее Минутоли, по словам Бакунина, заявил ему, что не оставит его в Берлине и не пустит его в Познань (где польское патриотическое движение было особенно сильно и где к этому времени уже начались вооруженные столкновения между немцами и поляками), а может разрешить ему поехать только в Бреславль (где опасность от польского патриотизма была ничтожна). Пришлось подчиниться.

Что Минутоли в этом инциденте, как впрочем и в других своих делах, играл двойственную роль, в этом скоро убедился даже такой человек, как Варнгаген, который не был активным участником, а лишь сторонним наблюдателем событий. В своих записках о 1848 годе (т. IV, стр. 220 сл.) он говорит о двойственной роли берлинского полицианта. Минутоли продолжал занимать ту же позицию и в дальнейшем. Так 19 июня 1848 г. он сообщил Мюллеру-Стрюбингу для передачи Бакунину, что русское правительство требует его выдачи, и что он будет выдан, если вернется в Пруссию (Варнгаген, т. V, стр. 76). 27 июня он сказал тому же Мюллеру-Стрюбингу, что его, Минутоли, обидело начальство, и что он хочет порвать

с правительством. «Двуличный человек!» — прибавляет даже терпеливый Варнгаген (ib., стр. 87—88). А через месяц-другой, уже переменив род службы, этот благожелательный «либерал» написал на Бакунина донос, как мы узнаем ниже. Словом это был тип либеральничающего жандарма, который россиянину Николаевскому должен был бы быть хорошо известен.

Надо прибавить, что французский посол Сиркур интересовался судьбою Бакунина и 27 апреля имел разговор с прусским министром иностранных дел Арнимом, который определенно заверил его, что Бакунин ни в коем случае не будет выдан России, а в крайнем случае будет направлен в другую страну.

Впрочем Сиркур, сам по себе убежденный контрреволюционер, выполнял волю своего правительства, которое тогда еще принуждено было выступать в виде защитника свободы и борца за нее, но сам в глубине души Бакунину не сочувствовал. Вот как сей достойный представитель Второй Республики сообщал своему начальнику Ламартину о прибытии Бакунина в Германию: «Господин Бакунин, который велеречиво (fastueusement) именует себя русским эмигрантом, прибыл сюда под ложным именем и, как меня уверяют, с фальшивым паспортом (что бы он сказал, если бы узнал, что паспорт этот был выдан Бакунину представителем французского же правительства! — *Ю. С.).* Он расстался с Гервегом в Страсбурге (?). Я сейчас же добился обещания, что он ни под каким предлогом не будет выдан властям своей страны. Если прусское правительство вышлет его через другую границу, за которою он будет в безопасности, я не считаю возможным требовать чего-либо большего. Бакунину не хватает совести и мужества, но это — агент активный и ловкий. Цель его — возбуждение социальной войны в России, что было бы ужаснейшим преступлением перед человечеством» (A. de Circourt — «Souvenirs d'une mission à Berlin», т. II, стр. 77). Ясно, что здесь Сиркур передает слухи, сообщенные ему или прусскими полициантами, или русскими дипломатами. Болтовня насчет бессовестности и трусости Бакунина совершенно непонятна. Равным образом странное впечатление производит двусмысленное слово agent, употребленное Сиркуром непосредственно вслед засим. Его можно понимать здесь в смысле «деятель», но и в смысле клеветническом, отражающем парижские сплетни после высылки Бакунина в 1847 году. Во всяком случае ясно, что уже в тот момент полицейско-дипломатическая машина действовала против Бакунина во всю, и что уже тогда задумано было при первом удобном случае выслать его из прусских пределов, чего в рассматриваемое время еще нельзя было сделать. Сиркур выражается на этот счет с полной определенностью.

Печатаемый протокол допроса устанавливает некоторые важные даты: 1) из Парижа Бакунин выехал 31 марта 1848; 2) во Франкфурт на Майне он прибыл вероятно 2 апреля; там он прожил дней 10, следовательно выехал оттуда примерно 11 апреля; 3) значит в Кельн он прибыл 12 апреля, откуда выехал повидимому 19 апреля (прождал там «с неделю»): отсюда следует, что помещенное под предыдущим номером письмо Анненкову писано действительно 17 апреля, ибо в нем Бакунин говорит, что прожил в Кельне 5 дней; 4) и если в Берлин он приехал 20 апреля вечером, то из Кельна выехал приблизительно 19-го. Так увязываются все даты.

[1] Во Франции распространились в марте слухи, будто в Познани образовано временное правительство для Польши, которому польский комитет, пребывавший в Женеве, уже послал приветственное письмо с выражением покорности. В действительности по предложению Морачевского в Познани образовалось временное правительство из трех лиц, но оно было тайным, никогда публично не выступало и влиянием не пользовалось. Повидимому о мифичности этого временного правительства Бакунин узнал еще до прибытия в Берлин, хотя он мог об этом узнать и в результате своих берлинских встреч за два дня, проведенные им в этом городе.

[2] В первое время после революции настроение демократии в Центральной Европе, особенно в Германии, было за революционную войну против российского царизма как оплота общеевропейской реакции и в пользу вос-

становления Польши. Но к моменту приезда Бакунина в Берлин это настроение уже успело пойти на убыль. С одной стороны опомнившаяся помещичья реакция стояла не за войну с царизмом, а за союз с ним против революции, а с другой — польское национальное движение в Галиции, а особенно в Познани вызвало реакцию со стороны немецкого мещанства, перебросившегося вправо.

[3] Молодой Густав Зигмунд — сын купца Зигмунда и брат Эммы Гервег, урожденной Зигмунд. Бакунин был с ним знаком давно (с начала 40-х годов). В последнее время они встречались в Париже у Гервегов. В рассматриваемое время молодой Зигмунд находился в Германии и был членом основанного берлинскими демократами-немцами «Комитета по восстановлению Польши».

[4] Цыбульский, Войцех (1808—1867) — польский литературный критик, славист; родился в Познани, изучал в Берлинском университете филологию; участвовал в восстании 1831 года; взятый в плен, был сослан во внутренние губернии России, здесь познакомился с русскою литературою. Освобожденный по требованию прусского правительства, переехал через три года в Пруссию. Посвятил себя изучению славянских литератур. Путешествовал по славянским странам, заводя знакомства с славянскими учеными, как Шафарик, Палацкий и пр. В 1840 г. назначен был доцентом славянских литератур в Берлинском университете; повидимому Бакунин познакомился с ним еще в то время. После революции 1848 года Цыбульский был дважды депутатом от кн. Познанского в прусском сейме. Позже был профессором славянской филологии в Бреславльском университете.

[5] По всей вероятности речь идет о Ф. Л. Челяковском.

Челяковский, Франтишек Ладислав (1799—1852) — чешский поэт и ученый; издавал сборники славянских песен, пословиц и переводы иностранных писателей (Гёте, Вальтер Скотта и пр.). В 30-х годах основал еженедельник «Česká Včela» («Чешская Пчела») и привлек в него блестящий круг сотрудников. Позже предался преимущественно изучению филологии и историко-филологическим исследованиям. В 1841 году был приглашен на вновь учрежденную кафедру славяноведения в Бреславльском университете, а в 1849 году перешел в Пражский университет. Челяковский присутствовал также на пражском славянском съезде.

[6] Минутоли, Юлий, барон (1805—1860) — прусский государственный деятель и писатель, юрист, сын генерала, поступил на прусскую службу по судебному ведомству; в 1832 г. назначен советником губернского правления в Познани, а в 1839 г. сделался там президентом полиции и ландратом (исправником). В 1842 г. перешел в мин. вн. дел в Берлин, но в 1843 г. вернулся в Познань. Умел делать палаческое дело в бархатных перчатках, за что прослыл либералом. В 1847 г. назначен полицей-президентом в Берлине; в 1848 г. разыгрывал либерала и примиренца. Однако уже в апреле начал принимать реакционные меры, направленные против демократии. При повороте к открытой реакции вышел 27 июня 1848 г. в отставку. Позже служил по дипломатическому ведомству, был прусским генеральным консулом в Испании и Португалии, а затем прусским посланником в Персии, где и умер.

[7] Замойский, Владислав, граф (1803—1868) — польский военный и общественный деятель; был в молодости адъютантом в. кн. Константина Павловича; за участие в революции 1831 года принужден был бежать за границу. В эмиграции примыкал к аристократическому крылу и был сторонником кн. Чарторыйского, в партии которого играл роль морального руководителя. В 1848 г. сражался за революцию в Италии и Венгрии; участвовал в Крымской войне в английских рядах, где и получил чин генерала.

[8] В результате этого ареста и допроса Бакунин был на следующий день выслан в сопровождении полицейского чиновника из Берлина до Лейпцига и лишь из последнего города перебрался в Бреславль. Об этом мы узнаем из допроса, учиненного ему при вторичном аресте его в Берлине в сентябре 1848 года, о чем см. ниже документ под № 512.

Вероятно Бакунин поехал из Берлина в Бреславль через Лейпциг по-

тому, что хотел повидаться с своим старым другом А. Руге, при участии которого в Лейпциге должен был состояться 23 апреля съезд саксонских «отечественных союзов». В Лейпциге он как раз побывал 23-го, а 24-го выехал дальше в Дрезден. Тогда и состоялось то его свидание с Руге, которое так живо описано в воспоминаниях последнего (т. II, стр. 43 сл.).

Руге находился на собрании «отечественных союзов», созванном для обсуждения кандидатур в франкфуртский парламент, когда ему подали карточку с именем Бакунина. Несмотря на возражения Руге, опасавшегося, что в его отсутствие противники вычеркнут его имя из списка, Бакунин убедил его бросить своих «филистеров» и не интересоваться ново-затеваемою говорильнею. Он увлек за собою Руге в номер гостиницы, и там за бутылкою вина они провели время в беседе до глубокой ночи, причем каждый раз, когда Руге порывался уйти, Бакунин удерживал его со словами: «Руге, ты знаешь, что утрачено во мгновение, того никакая вечность не возвратит». По словам Руге Бакунин был недоволен французской революцией и предвидел скорое наступление реакции. Он смотрел на движение с широкой интернационалистической точки зрения и считал большим промахом Франции то, что она не оказала поддержки Испании и Италии; о немецкой же и славянской революции в Париже по его словам не имели никакого понятия, и ему с большим трудом удалось получить средства на агитацию в России (речь идет очевидно о тех 2 000 франков, которые выдал Бакунину Флокон). Теперь он направлялся в Бреславль, чтобы быть поближе к русской границе. Во время беседы Руге узнал о провале своей кандидатуры, и когда упрекнул в этом Бакунина, тот утешал его: «Ничего, когда пойдет наша славянская революция, мы тебя вознаградим за неблагодарность этих саксонских филистеров». Впоследствии Бакунин сильно интересовался кандидатурою Руге и помог его избранию от Бреславля.

На следующий день Бакунин выехал из Лейпцига в Бреславль. В Бреславль Бакунин прибыл вероятно 26 апреля. Этот город он намеревался сделать своей генеральной квартирой в деле польско-русского и вообще славянского движения. Здесь он сблизился с местными демократами, далее старался собрать вокруг себя славянских демократов, в том числе русских и чехов. Попытки ближе сойтись с поляками снова не удались и только усилили подозрительное к нему отношение со стороны польских демократов. Между тем они были особенно важны для Бакунина как в смысле его общеславянских, так и в особенности русских планов. В России он ждал стихийной крестьянской революции, которая начисто сметет царизм, и надеялся, что к этой революции примкнет интеллигенция, в частности разночинная (под «поповичами», о которых говорит с его слов Руге, надо видимо понимать семинаристов и вообще учащуюся молодежь). В это время в Бреславле происходил польский съезд (о нем см. комментарий 99 к «Исповеди» в томе IV), но Бакунин на нем не присутствовал вследствие подозрительного к нему отношения польских демократов, еще сильнее, чем в первый раз, начавших распространять слухи о его связях с русским правительством. Так он сам рассказывает в «Исповеди» и в письме к своему адвокату Отто из Кенигштейнской крепости от 17 марта 1850 (оба эти документа будут напечатаны в следующем томе нашего издания).

В Бреславле, куда Бакунин прибыл 26 апреля (в «Исповеди» он выражается на этот счет неточно: «в конце апреля или в самом начале мая»), он оставался около месяца, с 29 мая по 18 июня провел в Праге, затем вернулся 20 июня в Бреславль, где пробыл до конца первой декады июля, после чего уехал в Берлин, где оставался до конца сентября (см. комментарий к № 512).

№ 500. — Эта статья, написанная вероятно, в июне, в Праге, появилась в журнале Иордана[1] «Slawische Jahrbücher» («Славянские Летописи») 1848, № 49, стр. 257—260, под заглавием «Statuten der neuen slawischen Politik» (этот номер вышел примерно 30 сентября 1848). В редакционном введении к статье сказано: «Нижеследующая статья вышла из-под пера известного русского публициста и эмигранта Бакунина и помещена в газете «Včela», № 75, от 15 сентября в переводе из Dziennik Domowy»[2]. Перепе-

чатано в немецком издании переписки Бакунина под ред. М. Драгоманова «Michael Bakunin's sozial-politischer Briefwechsel mit A. I. Herzen und Ogarjow». Штуттгарт 1895, стр. 285—289. Русский перевод, весьма плохой, как все переводы у Драгоманова, напечатан на стр. 364—368 русского издания переписки Бакунина («Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», Женева 1896). Мы исправили этот перевод по немецкому тексту, приводимому М. Драгомановым в немецком издании переписки.

Эта статья была еще напечатана по-чешски в журнале «Čech» («Чех»), выходившем в Женеве, в ноябре 1861 года, № 11, стр. 81—83, и в отдельном из него оттиске под заглавием «Zakladni pravidla politiky a federace slovanské».

М. Неттлау («Der Anarchismus von Proudhon bis Kropotkin», стр. 28, отмечая, что в этом проекте нашли свое выражение федералистские взгляды Бакунина, прибавляет, что проект Бакунина, представленный им польско-русской секции пражского конгресса, был опубликован «Дзенником Домовым» в июле 1848 г. без ведома автора, и что по сообщению журнала «Чех» оригинал бакунинского проекта пропал в Праге, но поляк К. Цеглович (умер 1858) оставил издателю (И. Фричу?) сделанный им польский перевод. Тексты 1848 и 1861 годов совпадают, почему Неттлау и высказывает предположение, что статья и в 1848 году, быть может, была опубликована тоже Цегловичем.

От себя прибавим, что этот чешский журнал издавался И. В. Фричем [3].

[1] Иордан, Иван-Петр (1818—1891) — по происхождению серб-лужичанин; один из деятелей славянского возрождения в XIX веке; собирал славянский фольклор; читал в Лейпцигском университете лекции по славяноведению и издал чешско-немецкий карманный словарь; в 1843 основал первый немецкий журнал, посвященный вопросам славянской культуры, «Jahrbücher für Slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft» (1843—1846; издание продолжал Смоляр). В этом журнале и была напечатана статья Бакунина. К сожалению в Москве имеется экземпляр этого журнала только до № 47 1848 года, так что статьи Бакунина мы там не нашли.

[2] «Dziennik Domowy» — польская газета, издававшаяся в Познани Наполеоном Каменьским. В 1840 выходила раз в неделю, а позже — два раза в месяц. Главными сотрудниками газеты были С. Гощиньский, Л. Семеньский, К. Гофман, Мих. Чайковский, В. Мацейовский, К. Либельт.

[3] Фрич, Иосиф Вацлав, псевдоним Бродский (1829—1890) — чешский писатель, поэт и политический деятель. Активный участник революционных событий 1848—1849, в частности борьбы словаков против венгров; имел отношение к чешским революционным выступлениям и отчасти к заговору Бакунина, направленному к восстанию в Чехии в 1849. Был приговорен к многолетнему тюремному заключению и к высылке в Седмиградию. С 1859 жил в Лондоне, Париже и Берлине. После побега Бакунина из Сибири снова встретился с ним; Бакунин пытался вовлечь его в свои планы славянской революционной пропаганды (большое письмо «К неизвестному», опубликованное под таким заглавием в 1906 в «Былом», редакция которого по незнанию фактов не узнала адресата, обращено именно к нему). Журнал «Чех» издавался в 1861 в Швейцарии им, и как верный ученик Бакунина он опубликовал в нем «Основы славянской политики». В 1866 издал против Австрии резкую брошюру «Плач чешской короны» и др. С 1879 окончательно амнистирован и жил в Праге. Его воспоминания в 4 томах вышло в Праге (1879—1880).

Фрич, Антон Иоанн, брат предыдущего (1832—1913) — чешский ученый, зоолог и палеонтолог, профессор Пражского университета.

№ 501. — Местонахождение оригинала этого письма неизвестно. Но оно целиком перепечатано самим Бакуниным в приложении к его письму в «Всеобщую Одерскую Газету», которое мы даем ниже под № 502. Оттуда его взял и М. Неттлау. Впервые по-русски оно было опубликовано мною в № 14 «Красного Архива».

Дата письма определяется очень легко. Заметка против Бакунина, вы-

звавшая это письмо, появилась 6 июля и могла быть получена им не раньше 7 июля. А так как письмо его в «Вс. Одерскую Газету», к которой приложено это письмо, помечено 9 июля, то ясно, что письмо к Жорж Занд могло быть написано 8 или в крайнем случае 7 июля 1848.

[1] «Новая Рейнская Газета» — орган демократической партии с примесью элементов социализма, которые с течением времени брали в нем перевес, выходивший в Кельне с 1 июня 1848 года и редактировавшийся преимущественно К. Марксом. В числе главных сотрудников ее числились Ф Энгельс, поэт Фрейлиграт, Вильгельм Вольф, поэт Георг Верт, Дронке, Ф. Лассаль. После майских волнений 1849 была закрыта, а Маркс выслан из Пруссии. Последний номер газеты вышел 9 мая 1849.

[2] Как объясняет Маркс в письме к Лассалю от 3 марта 1860 г., он получил порочащее Бакунина сообщение из двух самостоятельных источников: «Я поместил в «Новой Рейнской Газете» разоблачение насчет Бакунина из Парижа, полученное из двух совершенно независимых источников. Одним из этих источников был знакомый мне поляк. Вторым была Парижская Литографированная Корреспонденция, которая таким образом ставила в известность об этом разоблачении все газетные редакции, даже если бы я ее не напечатал. Публичное обвинение было в интересах дела и в интересах Бакунина. Протест Бакунина в «Новой Одерской Газете» я немедленно перепечатал. Косцельский (польский эмигрант.— *Ю. С.*), которого он прислал ко мне в Кельн с картелем, по ознакомлении с парижскими письмами был настолько убежден, что я в качестве редактора обязан был опубликовать разоблачение (которое я напечатал как корреспонденцию, без комментариев), что он немедленно написал Бакунину, что слагает с себя обязанности секунданта. Косцельский сделался одним из лучших и преданнейших друзей «Новой Рейнской Газеты» *. Бакунину я дал полное публичное удовлетворение в «Новой Рейнской Газете», лично помирился с ним в Берлине (в августе 1848 г.), а позже выступил в его защиту в «Трибуне» (1851)». Имеется в виду нью-йоркская «Трибуна», в которой Маркс сотрудничал в 50-х годах. Цитируемое письмо Маркса напечатано Густавом Майером в издаваемой им переписке Лассаля и Маркса («Briefwechsel zwischen Lassale und Marx», 1922, т. III, стр. 282).

Сочинил повидимому эту сенсацию проживавший в Париже Эвербек.

Основные факты, относящиеся к этому инциденту, таковы.

6 июля в № 36 «Новой Рейнской Газеты» появилась упомянутая корреспонденция из Парижа, объявлявшая Бакунина агентом русского правительства, работающим среди поляков и выдающим их российским жандармам. Обвинение было тем более для Бакунина тяжелым, что ему для его революционных целей необходимо было заручиться доверием польских демократических кругов которого ему как раз и нехватало. Клевета застигла его в разгар его работы. Он немедленно протестовал против этой клеветы письмом, напечатанным в бреславльской газете «Allgemeine Oder-Zeitung», и вместе с тем через Рейхеля обратился к Жорж Занд с просьбой разъяснить эту историю (протест Бакунина был перепечатан в «Новой Рейнской Газете» от 16 июля, не дожидаясь ответа Жорж Занд).

Ответ Жорж Занд был передан редакции «Новой Рейнской Газеты» Бакуниным через Косцельского с требованием напечатать его или дать ему удовлетворение оружием. Письмо это, датированное 20 июля 1848 г., было

---

* Пфицнер в своей статье «Бакунин в Пруссии» («Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven», N. F. VII, 1931, стр. 262) пытается оспорить это указание Маркса ссылкою на то обстоятельство, что Бакунин вскоре после рассматриваемого инцидента снова был в хороших отношениях в Косцельским. Но в чем же тут противоречие? Почему Косцельский не мог быть в добрых отношениях с Марксом и Бакуниным одновременно? Ведь сам Бакунин признал себя тогда удовлетворенным разъяснениями «Новой Рейнской Газеты». Почему же он не мог оставаться в хороших отношениях с Косцельским, который также счел эти объяснения удовлетворительными?

напечатано в газете Маркса 3 августа и гласило: «Факты, изложенные вашим корреспондентом, совершенно ложны. Я никогда не располагала ни малейшим доказательством инсинуаций, распространяемых вами против Бакунина; таким образом у меня никогда не было оснований высказывать какие бы то ни было сомнения в лойяльности его характера и в искренности его убеждений. Я обращаюсь к вашей чести и вашей совести с просьбой немедленно напечатать это письмо в вашей газете».

«Новая Рейнская Газета», которая уже раньше перепечатала протест Бакунина из «Одерской Газеты», немедленно (в № 64) поместила также письмо Жорж Занд, снабдив его следующим предисловием: «В № 36 нашей газеты мы сообщили циркулирующий в Париже слух, будто Жорж Занд располагает документами, устанавливающими связь русского эмигранта Бакунина с агентурой императора Николая. Мы напечатали это потому, что получили одновременно две аналогичные корреспонденции. Мы таким образом исполнили обязанность прессы строго следить за поведением общественных деятелей и вместе с тем дали возможность г. Бакунину рассеять подозрения, которые действительно высказывались против него в некоторых парижских кругах. Мы перепечатали также из «Новой Одерской Газеты» объяснения г. Бакунина и письмо его к Жорж Занд. Теперь печатаем точный перевод письма Ж. Занд к издателю «Новой Рейнской Газеты», прекрасно разъясняющего все дело».

Можно было впрочем предварительно осведомиться у Жорж Занд, располагает ли она действительно такими документами.

В тот момент, когда широкая публика не знала о слухах, распространявшихся про Бакунина, опубликование их в «Новой Рейнской Газете» могло показаться чем-то необычным и преследующим какие-то специальные цели. Сама редакция газеты видимо не вполне была посвящена в дело, ибо она говорит только о слухах, высказывавшихся «в известных кругах Парижа», тогда как мы знаем, что они высказывались и в Брюсселе, и в Бреславле, и в Праге. и т. д. И шли эти слухи, как мы видели, вовсе не из кругов русского посольства в Париже или вернее не только из этих кругов, но и из рядов польской демократической эмиграции. Вот основной первоисточник порочащих слухов про Бакунина, к которому поляки относились недоверчиво еще в 1846 году, т. е. за полтора года до сплетни, пущенной про него в Париже Киселевым в 1847 году. Если этой клевете в свое время легко поверили и консерваторы и либералы, то объяснялось это главным образом тем, что слухи шли из польских кругов.

Теперь мы (в значительной степени по «Исповеди» самого Бакунина и по другим его заявлениям, печатаемым в настоящем издании, а также по другим опубликованным с тех пор сведениям) знаем, что такие слухи распространялись про Бакунина с 1846 года, т. е. задолго до их опубликования в «Новой Рейнской Газете» *. Почему именно эта демократическая газета сочла нужным опубликовать полученное из Парижа циркулярное сообщение, тогда как реакционные газеты о нем умолчали? Во-первых конечно потому, что для реакционной прессы Бакунин не представлял никакого интереса, тогда как для прогрессивной прессы, особенно крайней, как газета Маркса, это была фигура важная, близкая, интересная и сама по себе и как редкая тогда разновидность русского революционера, так что заметка, мимо которой небрежно скользнул глаз реакционного редактора, привлекла напротив пристальное внимание редактора-революционера, да еще лично знакомого с Бакуниным и знавшего, какие широкие связи он успел

* И. Пфицнер, исследователь объективный и хотя в общем больше сочувствующий Бакунину, чем Марксу, но знающий в отличие от большинства буржуазных и анархиствующих историков факты, признает, что слухи о якобы подозрительной политической роли Бакунина существовали уже по меньшей мере с конца 1846 года и снова сгустились в мае 1848 года; по его словам появление заметки в «Новой Рейнской Газете» дало им только «новую пищу» (см. его статью «Бакунин в Пруссии», стр. 261). Но, как мы увидим, не надолго.

завязать в демократической среде. Во-вторых реакционная пресса, сочувствовавшая царизму в его борьбе с поляками и ненавидевшая собственных поляков, желавшая им всякого зла, не могла сочувствовать их несчастьям и разоблачать человека, обвиняемого в том, что он — агент русского царизма, работающий в польской среде. Напротив демократическая газета считавшая русский царизм опаснейшим врагом мировой революции, сочувствовавшая борьбе польской нации за свободу и видевшая контр-революционную опасность славянского движения, используемого реакцией (что видел и сам Бакунин), обязана была гласно поднять вопрос о Бакунине, раз против него выдвинуто было обвинение в содействии видам русского правительства, особенно в критический для революции момент. Эту мысль Маркс впоследствии и развивал в своем письме в редакцию газеты «Morning Advertiser», когда в 1853 выступил в защиту Бакунина против аналогичных обвинений его в служении русскому царизму, выдвинутых англичанином Ф. Марксом (об этом инциденте будет сказано в томе V настоящего издания).

Таким образом утверждение многих историков и публицистов, будто «Новая Рейнская Газета» первая пустила против Бакунина обвинение позорящего свойства, решительно противоречит фактам. Сам Бакунин отлично знал, в чем дело, знал откуда идут порочащие его слухи, знал, что Маркс здесь не при чем. В «Исповеди» он прямо говорит, что «польские демократы были если и не первыми изобретателями (таковым он считал посла Киселева. — *Ю. С.*), то без сомнения главными распространителями моего (Бакунина) незаслуженного бесчестия». И в той же «Исповеди» он объясняет, что возникли эти слухи на почве его неоднократных попыток войти в доверие к польским демократам и добиться сближения с ними для общей революционной работы, а также в результате того, что он хотел хранить нейтралитет в борьбе двух партий в польской эмиграции — аристократической и демократической (так он показывал перед саксонской следственной комиссией). Да и в начале письма своего в «Всеобщую Одерскую Газету» (см. № 502) он прямо заявляет, что порочащие его слухи распространялись в Бреславле до появления заметки в «Новой Рейнской Газете».

Этим и объясняется, почему он сравнительно беззлобно отнесся к появлению инкриминируемой заметки в этой газете и так легко признал себя удовлетворенным ее объяснениями. В то время (в 1848 г.) и в «Исповеди» (1851 г.) он был глубоко убежден, что вся эта сплетня идет от русского посольства в Париже с одной стороны и от поляков-эмигрантов с другой. И только через много лет, отчасти под влиянием уверений Герцена (как мы позже узнаем), отчасти из политических целей, со времени борьбы с Марксом в Первом Интернационале, Бакунин начал приписывать в этом вопросе немецким коммунистам гораздо большую роль, чем какую они действительно играли. А от него уже это перешло в историческую легенду, поддерживаемую в партийных целях анархистскими, буржуазными и социал-демократическими историками (часть последних впрочем до сих пор готова смотреть на Бакунина как на агента русского правительства, а всю его революционную работу рассматривать как направленную к служению интересам царизма!).

Надо вдобавок отметить, что опубликование заметки в «Новой Рейнской Газете» повредило Бакунину меньше, чем можно было ожидать. По крайней мере после ее появления его революционная деятельность не только не ослабела, но даже усилилась. Он мог расширить свои связи среди демократов различных национальностей, в том числе немецких и польских. Это показывает, что после этого гласного объяснения атмосфера несколько очистилась, а тайком распространявшиеся клеветнические слухи прекратились.

№ 502. — Напечатано в № 151 выходившей в Бреславле газеты «Allgemeine Oder-Zeitung» от 12 июля 1848 года. По-русски впервые опубликовано мною в № 14 «Красного Архива».

Это письмо Бакунин писал 9 июля еще в Бреславле; 5-го он был

уже в Берлине; следовательно в Берлин он приехал в начале второй декады июля 1848 года.

[1] «Всеобщая Одерская Газета» начала выходить с 1846 как орган демократической мысли под редакцией д-ра Кутцена. Основана она была и издавалась типографом Генрихом Рихтером. С апреля 1849 начала называться «Новою Одерскою Газетою». Ее сотрудниками были бреславльские демократы, в частности известный романист Макс Ринг и д-р Макс Фридлендер (впоследствии издатель венской «Neue Freie Presse»). Под давлением реакции и вследствие материальных затруднений закрылась в 1855.

[2] Этими словами Бакунин определенно устанавливает, что позорящие слухи распространялись о нем и о цели его пребывания в Бреславле до появления заметки в «Новой Рейнской Газете» и независимо от нее. Слухи исходили из польских кругов.

[3] Враг, о котором говорит здесь Бакунин, это — русское правительство, открывшее против него поход после его выступления на польском банкете в Париже в ноябре 1847 года.

[4] Как показывают отрывки, печатаемые нами под №№ 503 и 506, Бакунин пытался выполнить свое обещание и дать публике пространное разъяснение причин, по которым царское правительство старалось его оклеветать перед европейской демократией и таким образом парализовать его революционные предприятия, но не успел закончить начатой работы. Это снова подтверждает высказанное нами выше предположение, что заметка, помещенная в «Новой Рейнской Газете», не помешала его революционной работе, и что после нее сплетнические слухи не усилились, а напротив ослабели. Иначе Бакунин нашел бы свободное время для того, чтобы закончить столь важное для него письмо.

№ 503. — [1]. Установить, для какой именно немецкой газеты предназначалось то письмо, набросок которого мы здесь печатаем, можно на основании показаний Бакунина, данных им на допросах в саксонской следственной комиссии: там он прямо говорит, что письмо это писалось им для издававшейся тогда в Берлине Арнольдом Руге радикальной газеты «Реформа» (название, явно выбранное в подражание знаменитой парижской газете того же имени). Это письмо несомненно должно было явиться дополнением к первому письму в редакцию «Всеобщей Одерской Газеты» от 9 июля 1848 и представить немецкой демократической публике через тогдашний центральный ее орган подробное разъяснение насчет происхождения и действительного смысла порочивших Бакунина слухов. Все эти отрывки, печатаемые нами под номерами 502 и 505, написаны на ту же тему и отобраны у Бакунина при аресте его в мае 1849 года. Оригиналы их находятся в Дрездене в саксонском государственном архиве и почти все имеются в писарских копиях в первом томе русского полицейского «Дела» о Бакунине, откуда мы их и заимствовали. Впервые документы 1 и 2 были опубликованы по-русски мною в первом томе моей книге о Бакунине, первое издание которого вышло в Москве в 1920 году. Они же были после того напечатаны в первом томе «Материалов для биографии Бакунина», стр. 29 — 33. Относятся они к концу июля — началу августа 1848 года.

[2] И здесь мы имеем подтверждение того факта, что по собственному признанию Бакунина клеветнические слухи на его счет шли в разных местах (надо понимать как среди немцев, так и среди поляков) до и независимо от заметки в «Новой Рейнской Газете».

[3] Всегда и везде, говоря об этой клевете, Бакунин приходит к польскому источнику этих слухов. Вспомним, что мы говорили о первом подозрении против него, возникшем в связи с его попытками установить практическое общее дело с польскими эмигрантами *в 1846 году* (см. комментарий к № 486).

[4] Этими словами Бакунин хочет сказать, что если его попытки завязать практические связи с поляками породили какие-то смутные подозрения, то от них было еще очень далеко до точно сформулированного обвинения в предательстве или, как сейчас говорят, в провокаторстве. Первый, кто сформулировал такое обвинение, был префект парижской полиции в 1847 г.

(чего Бакунин не знал), а затем через членов правительства Гизо такой слух пустил российский посланник в Париже Киселев, который по словам Бакунина, таким путем мстил ему за речь, произнесенную на польском банкете, и вместе с тем рассчитывал парализовать дальнейшие усилия нового врага царизма.

[5] В «Исповеди» Бакунин говорит, что Дюшатель сделал в таком духе сообщение о нем бельгийскому правительству. Откуда бы Дюшатель мог почерпнуть такое сведение, как не от того же Киселева?

[6] Об этом выдвинутом против него обвинении Бакунин с негодованием говорит и в «Исповеди». В «Деле» III Отделения о Бакунине нет указания на то, что русская полиция подозревала его в замыслах на цареубийство. А между тем такое обвинение выдвинуто со слов прусской полиции в обвинительном акте саксонского суда против Бакунина. Дело в том, что русское правительство, само не подозревая Бакунина в подобном умысле, распускало про него такие слухи за границей, чтобы вернее добиться его выдачи. Так поступал Мейендорф (см. ниже комментарий к № 512).

[7] К этим трем небольшим отрывкам (2—4) относится все то, что сказано по поводу отрывка 1. Все это повидимому наброски и материалы для той же статьи в берлинскую «Реформу» или, быть может, для статьи в «Новую Рейнскую Газету» (см. № 506). Первый из этих отрывков взят из «Дела» о Бакунине, второй и третий из второго тома «Материалов для биографии Бакунина» (стр. 693), но с исправлением стиля перевода. Начало второго отрывка напечатано в цит. статье И. Пфицнера (стр. 261); мы взяли его оттуда (оно кстати показывает, как небрежно и неправильно иногда переводил В. Полонский).

№ 504. — Это письмо Бакунина вместе с письмом к нему Жорж Занд было впервые опубликовано на русском языке Б. Н. в заметке «Письмо Жорж Занд к М. А. Бакунину» с предисловиями самого Б. Н. и Д. Р. в «Летописях Марксизма» 1928, №№ VII—VIII, стр. 132—134. Но там письмо Жорж Занд, взятое из «Всеобщей Одерской Газеты», было переведено с немецкого, т. е. с перевода, сделанного Бакуниным с французского оригинала. Между тем в архиве Института Маркса, Энгельса и Ленина мы нашли фототипию статьи из издававшейся тогда в Берлине под редакцией А. Руге газеты «Реформа» под заглавием «Бакунин», в конце которой и перепечатано на французском языке, т. е. с оригинала, письмо Жорж Занд. Отсюда мы и взяли письмо Жорж Занд, переведя его с французского, в то время как вводные строки Бакунина естественно переведены с немецкого.

Где находится настоящий оригинал письма и сохранился ли он, мы не знаем.

В статье «Реформы», предпосланной письму Жорж Занд и принадлежащей наверно самому Арнольду Руге, сказано следующее:

«Редакция «Новой Рейнской Газеты» совершила непонятную бестактность, открыв свои столбцы для заподозривания одного из самых почтенных демократов. Михаил Бакунин, в течение многих лет лично известный как нам, так и редакции «Рейнской Газеты» в качестве человека, исполненного подлинного самоотречения, смелого и бескорыстного, шаги которого отмечены *жертвами*, который повсюду был желанным гостем в рядах борцов за свободу и братство, наш превосходный друг является якобы русским предателем, шпионом или агентом-провокатором, потому что он — *панславист*. Как будто бы то обстоятельство, что он связал и это применение принципа национальности с идеями нового времени, не составляет как раз его особой заслуги! Разве нельзя было бы с таким же основанием объявить господ Маркса и его товарищей тайными соумышленниками аристократии по той причине, что они выступают против «буржуазии» и «конституционализма», или сторонниками покровительственных пошлин за то, что они не являются «фритредерами»?

«Но бессмыслица зашла еще более далеко: Жорж Занд якобы располагает доказательствами против Бакунина. Сначала я хотел посоветовать нашему другу обойти такое безумное обвинение молчанием. Но на это мне было отвечено, что русский демократ по отношению к этой стране *предатель*-

ства и подозрения, где деспотизм давно уже извратил характеры и подорвал доверие к ним, находится в менее выгодном положении, чем партийный товарищ в стране, где уже существуют сложившиеся партии.

«Бакунин обратился с запросом к г-же Занд и получил от нее следующий ответ, который нас просят напечатать в оригинале».

Следует приведенное нами в № 504 письмо Жорж Занд под заголовком Réponse de Madame Georges Sand à Monsieur Bakounine» (Ответ госпожи Жорж Занд господину Бакунину»).

Ясно, что письмо доставлено в редакцию самим Бакуниным, который продолжал поддерживать дружеские отношения с А. Руге. Напечатано оно в «Реформе» от 30 июля 1848 года и недавно перепечатано в книге проф. Пфицнера «Bakuninstudien», Прага 1932, стр. 32—34. Оно было опубликовано и в № 176 «Всеобщей Одерской Газеты» от 30 июля 1848 г., откуда сделан русский его перевод, напечатанный в «Летописях Марксизма».

Судя по письму А. Рейхеля к Бакунину из Парижа от 28 сентября 1848 года, напечатанному в книге Пфицнера «Bakuninstudien», стр. 46 сл. (см. также «Материалы для биографии Бакунина», т. II, стр. 91 сл., где оно приведено без даты и с ошибками), Бакунин пытался использовать для своей реабилитации и парижскую «Реформу», но неудачно. «Что касается новых клевет, распространенных на твой счет, — писал Рейхель, — то здесь не пришлось ничего ни сделать, ни сказать, ибо ни с людьми из «Реформы» нельзя было столковаться, ни Коссидьера поймать» (он тогда скрывался от ареста).

[1] Речь идет о письме к Жорж Занд от 8 июля 1848 и о письме в редакцию газеты от 9 июля 1848, напечатанных у нас под №№ 501 и 502.

[2] Таким образом устанавливается, что Бакунин получил ответное письмо Жорж Занд 25 июля. Это доказывает, что она ответила ему очень скоро. Письмо его от 8 июля до нее не дошло. Копию с него она получила через А. Рейхеля, которому Бакунин догадался эту копию послать (препроводительное письмо Рейхеля напечатано в цитированной статье В. Карениной «Герцен, Бакунин и Жорж Занд», стр. 51 — 52). Кладя два дня на доставку письма из Берлина в Париж и столько же на пересылку его в Ноган, да столько же обратно, мы увидим, что на составление ответа Бакунину Жорж Занд употребила какие-нибудь день-два. Это показывает, насколько она была задета тяжелым обвинением против Бакунина и попыткою втянуть и ее в эту грязную историю.

[3] Это письмо Жорж Занд в редакцию «Новой Рейнской Газеты» было напечатано последнею в номере от 3 августа 1848 года, т. е. через 4 дня после появления второго письма Бакунина с письмом к нему Жорж Занд в № 176 «Всеобщей Одерской Газеты». Содержание этого письма, тоже датированного 20 июля, но гораздо более мягкого по тону, приводится нами выше, в комментарии 2 к № 501.

[4] Помещение в «Новой Рейнской Газете» письма Жорж Занд, ею посланного в редакцию, а еще ранее того письма Бакунина к Жорж Занд из № 151 «Всеобщей Одерской Газеты», а также разъяснительной заметки от редакции Бакунин в то время счел достаточным удовлетворением (хотя конечно затаил обиду в сердце).

[5] Копия письма была Бакуниным на всякий случай послана А. Рейхелю, от которого ее и получила Жорж Занд.

[6] Это письмо до нас не дошло. Но нам известно письмо Бакунина к ней от 14 декабря 1847 года, напечатанное нами выше (см. № 493), на которое она видимо и отвечала.

№ 505. — Оригинал этого документа находится в саксонском государственном архиве в Дрездене и впервые опубликован в книге проф. И. Пфицнера, стр. 32, прим. 2, откуда мы его и заимствуем. Повидимому этот отрывок найден в числе бумаг Бакунина после ареста его в мае 1849 г. Было ли когда-либо закончено и отослано по назначению это письмо, мы не знаем. Написано оно было явно в конце июля, судя по тому, что письмо Жорж Занд, на которое оно отвечает, датировано 20 июля 1848 г. и могло дойти до Бакунина только через несколько дней. Письмо Жорж Занд было

напечатано в газете Руге («Реформа») 30 июля; оно вероятно было получено Бакуниным 25 июля, судя по дате его письма в «Вс. Одерскую Газету» (см. № 504). Самое письмо Жорж Занд, на которое здесь отвечает Бакунин, приводится нами в № 504.

№ 506. — Судя по содержанию, это — проект письма в редакцию «Новой Рейнской Газеты», вызванного заметкою этой газеты в № 64 от 3 августа 1848, которая была напечатана вместе с ответом Жорж Занд и в которой редакция, объяснив причины, побудившие ее огласить парижское сообщение, в то же время отмежевывалась от позорящих его обвинений. Эта заметка приведена в комментарии к № 501.

Это кстати позволяет установить дату этого отрывка: он относится повидимому к первой половине августа 1848.

[1] Вероятно Бакунин имел здесь в виду ту небольшую группу русских эмигрантов, с которою он встречался в Париже, т. е. декабриста Н. И. Тургенева, Н. И. Сазонова, А. И. Герцена (который в тот момент отсутствовал из Парижа, но который тогда по существу был солидарен с ним в этом вопросе), быть может еще И. С. Тургенева и П. В. Анненкова, которых Бакунин также считал вероятно солидарными с ним хотя бы в признании за поляками права на национальную независимость. Но вряд-ли он спрашивал их мнения, когда собирался выступить с речью на польском банкете. О каком-либо соглашении с единомышленниками в самой России конечно не могло быть и речи, так что здесь особенно Бакунин мог думать только о внутреннем единомыслии, а не о соглашении. Да и были ли у него тогда в самой России единомышленники да еще такие, с которыми он мог бы сноситься и договариваться? Белинский, Огарев, Г. М. Толстой, Мельгунов — кого еще мог Бакунин среди своих знакомых считать готовыми к радикальным, не говорим выступлениям, но даже мнениям? И так продолжалось до самого его ареста. Как практический революционный деятель он был одинок, что он впрочем и говорит в данном письме, ограничивая однако свое одиночество Германией и польской границей. Найденный у него при его аресте в мае 1849 манускрипт, содержащий описание русской судебной системы, отнюдь не свидетельствует в пользу существования у него сношений с родиной: он мог быть передан ему кем-либо из русских путешественников, который мог и не знать, что Бакунин просит этой справки для революционных целей (так наверно и было). Но столь же возможно, что здесь Бакунин хотел мистифицировать немецких демократов, уверив их, что у него есть связи с революционерами в самой России. По отношению к славянам он пускался на такие приемы для того, чтобы поднять их настроение. В этом он отчасти сам сознается в «Исповеди»; об этом же говорится и в обвинительном против него акте австрийского суда, где мы встречаем следующее указание: «Кроме того *Бакунин* насчет указаний в его брошюре («Воззвание к славянам») на Россию объявил, что хотя он был всегда убежден, что революция в России есть вещь весьма отдаленная и не может воспоследовать прежде восстановления Польши, но что он старался утверждать особенно чехов во мнении, что в России существует много революционных элементов, для того, чтобы тем ободрить их, а с другой стороны для противодействия надеждам панславянской партии на монархическую Россию».

Впрочем и без стараний Бакунина такие слухи тогда распространялись в разных местах. Так в апреле 1848 года, когда Бакунин проезжал из Берлина в Саксонию, возник слух, будто в Кракове образовался революционный комитет для России, в котором якобы участвуют Бакунин, И. Головин и [А.] Тургенев. Слух пользовался таким распространением, что французский посол Сиркур счел нужным довести о нем до сведения министра иностранных дел Ламартина. Уж очень хотелось с одной стороны демократам, а с другой — тем правительствам, которые, как французское, имели основания опасаться русской интервенции в Европе, чтобы в России началось наконец революционное движение, способное парализовать пагубное влияние царизма на международную обстановку.

Квартирная хозяйка Бакунина в Берлине, вдова Дрейер, показала на допросе 24 августа 1849 года, что в первое время своего пребывания в

Берлине (т. е. в июле — августе 1848 года) он сравнительно часто получал письма из России. Надо полагать, что это показание ложно.

[2] Отсюда текст совпадает с текстом второго отрывка, напечатанного под № 503.

№ 507. — Отобрано у Бакунина при аресте; оригинал вероятно находится в Дрезденском архиве; в «Деле» Бакунина имеется копия с этого документа (в списке бумаг, взятых у Бакунина, № 17, листы 268—269). Несовсем удачный перевод этого отрывка без даты и пояснений напечатан в томе I «Материалов для биографии Бакунина», изд. под ред. В. Полонского.

Письмо повидимому осталось незаконченным и неотосланным: сам Руге о нем не упоминает. Установить его дату довольно трудно. Если судить по началу, то оно писано во второй половине мая: слова об одновременном поражении реакции и торжестве революции как будто намекают на такие события, как известная массовая демонстрация в Берлине 14 мая 1848, венское демократическое восстание 15 мая и открытие общегерманского парламента во Франкфурте 18 мая. Другого такого совпадения выгодных для революции фактов в названных городах нам в 1848 году не удалось установить. Но конец письма, содержащий ссылку на речь А. Руге, заставляет отнести письмо к концу июля или к началу августа, ибо произнесена была цитируемая речь Руге о Польше в заседании Франкфуртского парламента 26 июля 1848. В ней Руге сказал между прочим: «Итальянцы создают нацию, а Радецких придется из Италии выгнать. Мы, немцы, должны желать, чтобы Радецких из Италии прогнали». Ввиду многочисленных раздавшихся в собрании протестов президент его Гагерн заявил: «Я, правда, не призову оратора к порядку, но только могу ему сказать, что выражать пожелание поражения немецких войск значит совершать полуизмену по отношению к нации».

К тому же в июле и августе среди прусских демократов замечалось снова оживление.

Ему естественно поддался и Бакунин. Варнгаген (т. V, стр. 174) записывает под 27 августа визит Бакунина, который «рад повороту событий»; при этом по словам Варнгагена Бакунин расспрашивал его о русской типографии: неужели он собирался печатать что-либо по-русски?

Вот почему мы склоняемся к мысли, что письмо это писалось в разное время на протяжении двух с лишним месяцев и в конце концов так и осталось незаконченным.

Так как, судя по ссылке на выступление Руге в Франкфуртском национальном собрании, письмо составлялось в конце июля или в начале августа, то отсюда следует, что в тот момент Руге находился во Франкфурте, и Бакунин, находившийся в это время в Берлине, писал ему оттуда во Франкфурт. Как видно из письма Бакунина к Гервегу от первой половины августа (см. № 508), Руге вскоре после того приехал в Берлин, куда он с конца июня перенес издание своей «Реформы», и приятели могли поговорить обо всех интересовавших их вопросах лично, так что письмо сделалось излишним и, может быть, потому осталось незаконченным.

№ 508. — Напечатано с ошибками в книге «1848», стр. 21—24. По-русски впервые опубликовано нами в 1920 году в первом томе нашей книги о Бакунине. Для настоящего издания сверено с оригиналом и исправлено.

Это письмо интересно между прочим в том отношении, что в нем Бакунин впервые высказывает несколько анархистских мыслей, в частности применительно к значению представительных собраний и никчемности конституционных хартий. Но видеть в этих нескольких беглых фразах выражение какой-либо более или менее ясной, не говорим уже законченной, системы не приходится. Это — плод мимолетнего настроения, вызванного наступлением реакции и слабостью революционных сил, в частности негодования на бесхарактерность и консерватизм немецкого бюргерства. Но несомненно, что влияние бесед с Прудоном, о котором он в данном письме и упоминает, не могло при благоприятных условиях не сказаться на Баку-

зине, который по симпатиям и взглядам стоял довольно близко к названному французскому писателю.

[1] Письмо Бакунина к Гервегу из Кельна до нас не дошло.

[2] Эти слова могли бы навести на предположение, что письмо писано в Ангальт-Кэтене, а значит относится к более позднему периоду (не раньше октября, а то и ноября 1848 г.). Но судя по ссылке на выступление Прудона, а особенно на слова «Руге здесь» в конце письма, видно, что оно было писано в Берлине. Но если это так, то выходит, что брошюра Бакунина о славянском вопросе или точнее воззвание к славянам (в форму какового она в конце концов вылилась) была задумана еще до переезда его в Ангальт и писалась уже летом в Берлине. Возможно впрочем, что вначале она носила другой характер, и что только впоследствии автор решил придать ей вид призыва к активным выступлениям славянских демократов в союзе с немецкими и венгерскими против монархов и прежде всего австрийского.

[3] Повидимому речь идет о выступлении Прудона 31 июня 1848 г. в Учредительном собрании в защиту своего проекта об уменьшении платежей по долгам на ⅓ и об организации с помощью полученной суммы дешевого кредита, а также о парламентской дуэли его с А. Тьером по вопросу о собственности. После поражения пролетариата в июньские дни 1848, после его обезглавления, избиения и бегства всех его действительных вождей, Прудон, говоря его собственными словами, решил, что пришло его время. Теперь с исчезновением всех более или менее видных фигур крайней левой Прудон начинал казаться чем-то выдающимся. и злоба буржуазии начала сосредоточиваться на нем, человеке, который, правда, являлся самым ожесточенным ненавистником и гонителем коммунизма, только что разбитого на баррикадах, но который когда-то произнес двусмысленную фразу «собственность есть кража», теперь, в период оголтелой реакции, представлявшуюся чем-то чудовищным. Со всех сторон от Прудона требовали, чтобы он показал свое «лицо». И после того как открытое нападение рабочего класса на капиталистическое общество было отбито, Прудон счел возможным вылезть на авансцену со своей системкой разрешения социального вопроса посредством установления дарового кредита. И вот он внес в президиум собрания предложение, стремящееся согласно его собственным выражениям осуществить без насилия, без революции, без экспроприации, без банкротства социальную ликвидацию и отмену (крупной) собственности. Но при всей реакционности и мелкобуржуазности прудоновской «системы» она в тот момент разгара собственнической ярости показалась чем-то ужасным. И в комиссии и в собрании, где А. Тьер защищал против Прудона интересы капитала, выступления Прудона встречены были градом насмешек, ругательств, воплями ярости и издевательствами. В течение четырех часов он защищал свою систему перед озверевшими буржуа, у которых с рук еще не смыта была кровь июньских бойцов, и в то время разгула военщины, полицейщины и поповщины его выступление можно было пожалуй признать актом мужества, как это делает в данном письме Бакунин (видимо не разделяющий самой системы Прудона). Но то, что он вообще мог хвалить Прудона, роль которого в 1848 была в лучшем случае ролью бесхребетного мещанина, показывает, что личные симпатии заглушали в Бакунине правильную политическую оценку или что его собственные взгляды далеко не отличались ясностью и определенностью.

[4] Прудон, Пьер Жозеф (1809—1865) — французский писатель и политический деятель, сын служащего на пивоваренном заводе, наборщик по профессии, самоучка, сразу составил себе имя книгой «Что такое собственность?», выпущенной в 1840 и развивавшей мысль о необходимости ограничить крайнее экономическое неравенство, характерное для современного общества. В своих многочисленных работах, из которых главными являются «Система экономических противоречий или философия нищеты» (на которую Маркс ответил памфлетом «Нищета философии»), «Главная идея революции в XIX веке», «Справедливость в революции и церкви» и др., Прудон развивал систему мирного анархизма и мелкобуржуазной реформы,

предназначенной к тому, чтобы путем организации народных банков, доставляющих производителям даровой кредит, предохранить мелкую собственность от конкуренции крупной и продолжить существование класса мелких собственников в промышленности и сельском хозяйстве. К пролетариату. его средствам борьбы (коалиции, забастовки и т. п.), к революционным методам, а особенно к коммунизму Прудон относился с истерической враждой и только под конец жизни согласился признать некоторые ближайшие требования рабочего класса на том условии, чтобы тот отказался выступать против мелкой буржуазии и обязался поддерживать ее интересы. Эти мысли выражены в посмертном сочинении Прудона «О политической правоспособности рабочего класса».

№ 509. — На допросе в саксонской следственной комиссии Бакунин, признавая, что отрывок писан им, прибавил, что, задумав вести дневник, он однако ограничился данною записью и дневника не продолжал. Верно это или нет, мы не знаем. Во всяком случае до сих пор о других отрывках этого дневника нам ничего неизвестно.

Отрывок был взят у Бакунина при аресте в мае 1849. Оригинал вероятно находится в саксонских архивах. В «Деле» М. Бакунина, находящемся в АОР, имеется копия этой записи (л. 217). Опубликована она в «Материалах для биографии М. Бакунина», т. I, стр. 42. Оригинал писан Бакуниным по-русски.

В писарской копии, равно как в «Материалах» В. Полонского, большинство имен жестоко переврано. К счастью показание Бакунина перед саксонской следственной комиссией (опубликовано В. Полонским в «Пролетарской Революции» 1926, № 7/54, стр. 170—171, а также во втором томе «Материалов для биографии Бакунина», стр. 111 сл.) дает нам возможность восстановить действительно записанные им имена. Вот что говорит Бакунин: «Липский и Шуман—оба из Великого Герцогства Познанского и были они депутатами берлинского национального собрания. Костельский — тоже родом из Великого Герцогства Познанского и проживал он в то время, не знаю с какой целью, в Берлине. Оппенгейм был редактором выходившей в то время в Берлине газеты «Реформа». Карьер — немецкий профессор, много писавший по философии и, как мне кажется, читающий в настоящее время лекции в Гейдельбергском университете. Шейбель это — имя содержателя одного берлинского ресторана. В чем заключалась моя связь или вернее знакомство с названными лицами, ясно усматривается из текста дневника. Сверх этого я ничего больше не покажу».

[1] Липский, Войцех — польский политический деятель из познанских землевладельцев, патриот и демократ; принимал самое активное участие в событиях 1848 года как в Великом Герцогстве Познанском, так и в Берлине. Будучи членом прусского национального собрания от познанского округа Адельнау, стоял за совместные действия с немецкими демократами и только на путях радикальной революции в Германии считал возможным разрешение и польских национальных задач; был членом Центрального комитета демократической партии и членом редакционной комиссии в преобразованной берлинской «Реформе», объявленной официальным органом демократической партии. Был членом ЦК Польской Национальной Лиги, образованной в Берлине в июле 1848 года. Насколько он был популярен среди берлинской демократии, видно из того, что когда в ноябре 1848 после разгона прусского сейма встал вопрос о вооруженном сопротивлении наступавшей реакции, то кандидатом на место главнокомандующего революционных сил (Бакунина в этот момент в Берлине не было) намечен был именно Липский; но, не считая движения достаточно серьезным, он отказался. Был близок с Бакуниным и во многом соглашался с ним по славянскому вопросу.

[2] Косцельский или Костельский, Владислав — польский публицист и политический деятель демократического направления; познанский помещик, родился в 1822 г. в Бромберге; работал в Познани, где был военным комиссаром Иновроцлавского повета; принимал активное участие в национальном движении познанских поляков. Вследствие полемики

в газетах вызвал на дуэль немецкого майора Фойхт-Реецема, но сам был им ранен. Был членом Польской Национальной Лиги, образованной летом 1848 г. в Берлине, но недолго просуществовавшей. С Бакуниным познакомился в Бреславле и близко сошелся. Именно его отправил Бакунин в редакцию «Новой Рейнской Газеты» с требованием напечатать опровержение пущенной против него клеветы или дать ему удовлетворение оружием. Хотя и сохранил дружбу с Бакуниным, но сблизился также и с газетой Маркса. В 1852—1856 годах разыскивался прусскою полициею.

[3] Шуман, Панталеон — познанский помещик, польский политический деятель; в 1848 г. был членом Польского Национального Комитета в Познани; был членом объединенного ландтага в 1848 году, а также членом прусского национального собрания в том же году от Вонгровецкого округа в Познани. Был хорошо знаком с Бакуниным. Участвовал в совещаниях демократов в Берлине, но особенно активной роли не играл.

[4] Любомирский, Юрий, князь (1817—1872) — польский общественный деятель; родился в Вене, с 1836 г. учился в Пражском университете, где под влиянием Ганки проникся панславистскими идеями и сблизился с чешскими славянофилами; в 1848 г. выступал в качестве горячего поборника панславизма, был участником польского съезда в Бреславле (в мае) и славянского конгресса в Праге (в июне), о котором выпустил в 1848 г. особую брошюру. В последнем городе во время святодуховских волнений был даже временно арестован. Был депутатом венского национального собрания (от Галиции), где выступал в консервативном духе и примыкал к тому крылу славянских депутатов, которые срывали работу демократической части собрания и этим помогали победе реакции. Позже поселился в Кракове и в 1861 году был депутатом сейма, где выступал в защиту русин и отстаивал принцип федералистического устройства Австрии.

[5] Повидимому речь идет о парижской газете «La Presse» («Пресса»). Основанная в 1836 году Э. Жирарденом, она носила консервативный характер и поддерживала мещанскую монархию. Предтеча нынешней бульварной печати, она благодаря блестящему составу сотрудников, введению романа-фельетона и т. п. пользовалась европейским распространением. В 1848 году высказалась за республику, а с августа 1848 г. стала резко бонапартистской. Этим она привлекла симпатии многих поляков, связывавших осуществление своих национальных надежд с пришествием к власти Бонапартов. Вероятно здесь Бакунин намекает именно на бонапартизм газеты.

[6] Оппенгейм, Генрих Бернгард (1819—1880) — германский экономист и политический деятель; в 1848 издавал вместе с А. Руге радикальную газету «Реформа» в Берлине; в том же году принужден был эмигрировать и до 1860 жил в Швейцарии, Франции и Англии. По возвращении в Пруссию издавал «Deutsche Jarbücher für Politik und Literatur». Постепенно превратился в сторонника политики Бисмарка, в 1873 и 1874 был избран в рейхстаг, где примыкал к национал-либеральной партии.

[7] Рейхенбах, Эдуард, граф — см. комментарий к № 498.

[8] Штейн, Юлий (1813—1889) — доктор философии, прусский политический деятель; один из вождей демократической партии в Бреславле, где с ним и сошелся Бакунин. Был членом прусского национального собрания, где играл роль одного из руководителей левого крыла. В августе он провел в сейме резолюцию, предлагавшую удалить из армии всех офицеров, несогласных с установившимся после революции строем, что вызвало отставку министерства Ауэрсвальда (11 сентября). В своей книге «Geschichte der Stadt Breslau» («История города Бреславля со вступления на престол Фридриха-Вильгельма IV»), изданной автором в Бреславле в 1853 году, он дает много материала о движении общественных классов Силезии во время революции 1848 года. Там упоминается раза два и о Бакунине.

[9] Ауэрсвальд, Рудольф (1795—1886) — прусский государственный деятель, личный друг принца Вильгельма, будущего императора Германии, а тогда главы реакционной партии в Пруссии; был членом земских чинов прусской провинции; после революции 1848 он был с июня по сен-

тябрь председателем совета министров, министром иностранных дел и членом прусского национального собрания, где он голосовал с правой. Принужден был подать в отставку 11 сентября 1848 после вотума национального собрания, высказавшегося против оставления на военной службе реакционных офицеров. После него составление министерства было на короткое время поручено Беккерату, но в конце концов его составил старый генерал Пфуль.

[10] Беккерат, Герман (1801—1870) — прусский государственный деятель, сын ткача, впоследствии разбогател. В 1847 избран от Крефельда в прусский соединенный ландтаг, где выдвинулся как либерал, был автором ответного адреса на тронную речь. В Франкфуртском национальном собрании примыкал к правому центру и был министром финансов в имперском министерстве. После отставки Ауэрсвальда король пригласил Беккерата, но составленная им в конституционалистском духе программа не получила одобрения. В 1849 был членом депутации, ездившей предлагать Фридриху-Вильгельму императорскую корону. Был сторонником объединения Германии под гегемонией Пруссии.

[11] Речь идет о войне между Австрией и Пьемонтом, закончившейся поражением итальянцев.

№ 510. — Взято у Бакунина при аресте в мае 1849. Оригинал вероятно находится в саксонских архивах. В «Деле» М. Бакунина (л. 197) имеется копия этого документа. Он написан рукою Бакунина латинскими буквами, вероятно для того, чтобы его адресат-славянин, на языке которого Бакунин не мог изъясняться и писать, его разобрал. В. Чейхан, автор чешской книги о деятельности Бакунина в Богемии, считает эту записку ответом на найденное у Бакунина тогда же письмо словака Л. Штура, приглашавшего Бакунина примкнуть к движению южных славян против венгров под предводительством Елачича (Dr. Vaclav Čejchan — «Bakunin v Čechach». Praga 1928, стр. 34). Это весьма правдоподобно. Так видимо думали и следователи. Вот письмо Л. Штура (оно написано так же, как и ответ Бакунина, т. е. латинскими буквами на каком-то выдуманном «общеславянском» языке). Даем русский перевод.

12 сентября, 1848 года. Вена.

Брат, вчера мне сказал Любомирский, что ты ему писал, желая узнать, как теперь идут наши дела. Мы очень хотели бы знать, где ты теперь, почему не являешься к нам, как обещал. В Загребе ожидали тебя с нетерпением, но так как тебя не было, то думали, что с тобою случилось что-нибудь неприятное, и боялись. Слава богу, что не так. Теперь извещаем тебя, что мы на этих днях выступаем из Вены к Карпатам для известного дела и там будем тебя ожидать, как ты обещал. Приходи на славянскую землю и брось немцев.

Все твои знакомые много думают о тебе. До свидания, надеюсь, что до свидания.

Твой брат

Л. Ш.

В «Исповеди» Бакунин, упоминая об этом письме и называя его незначительным, прибавляет, что не мог на него ответить, так как не знал адреса Штура. Более подробно он говорит об этом письме в показаниях перед саксонской следственной комиссией. Он говорит там: «В Аграме должно было произойти продолжение пражского конгресса под руководством Елачича, и на него пригласили также и меня, но так как самое председательствование Елачича мне внушало уверенность, что там будут проводиться антипатичные для меня панславистские идеи, уверенность, которая нашла себе подтверждение в заявлениях нескольких южных славян на пражском конгрессе, то я и не принял приглашения... Я обещал Штуру приехать в Аграм и вместе с ним отправиться в Карпаты, дабы присутствовать при готовившемся тогда восстании словаков против мадьяр. Но так как я к тому времени уже потерял доверие к Елачичу, под водительством которого должно было произойти восстание, и самое восстание уже утратило свою славянскую тенденцию и должно было преследовать скорее русские, реак-

ционные интересы, то я и отказался от своего намерения отправиться в Карпаты и принять деятельное участие в тамошнем восстании, которое и обозначено в письме словами «известное дело».

Штур, Людвиг (1815—1856) — славянский ученый и политический деятель; выдающийся работник словацкого возрождения; профессор Пресс-бургского евангелического лицея; всю жизнь боролся с венграми — пером как депутат австрийского национального собрания в 1848 и оружием; с другой стороны боролся против чешских притязаний, отвергавших самостоятельность словацкой литературы. Издавал газету «Словенские Новины». Принадлежащая его перу работа «Славянство и мир будущего. Послание к славянам с берегов Дуная» издана после его смерти по-русски; она стоит близко к славянофильству. Подобно другим славянским самобытникам сыграл в 1848—1849 реакционную роль.

И. М. Урбан в своих воспоминаниях о Л. Штуре («Slovenské Pohľady» 1882—1884) пытается ослабить тот факт, что в течение известного времени Бакунин оказывал на Штура влияние. Это вполне понятно, тем более, что сам Урбан на пражском съезде поддерживал Бакунина, и, как мы знаем, одно время Бакунин даже надеялся использовать группу Штура — Урбана (позже и Янечека) для революционных целей. По словам Урбана Бакунин не пользовался на съезде влиянием, а господствовали на нем идеи Палацкого и Шафарика («Slovanský sjazd v Prahe 1848». «Slovensk. Pohľ.» 1901). Последнее конечно верно, но этим указанием Урбан все же старается затушевать «грех юности» своей и штуровской, когда они на время поддались демократическому панславизму, а затем, когда они на деле сыграли в истории крайне реакционную роль. Урбан естественно вспоминал об этой полосе своей «розовой юности» с неудовольствием. См. Jan Hertl — «Michal Bakunin v česke literature». «Nové Rusko» («Новая Россия»), год III, № 7, июль 1928, стр. 243 сл.

№ 511. — Отобрано у Бакунина при аресте в мае 1849. Оригинал вероятно находится в саксонских архивах. Копия имеется в «Деле» III Отделения о М. Бакунине среди немецких бумаг (№ 13), лл. 263—264. Напечатано в «Материалах для биографии Бакунина», т. I, стр. 21—22.

Это — явно проект письма в редакцию берлинской «Реформы». И вызван он следующими обстоятельствами.

В августе 1848 года Юлий Фребель, видная фигура среди немецких радикалов и давний знакомый Бакунина еще по Швейцарии (см. комментарий 5 к № 462), поехал по поручению немецких демократов в Вену, чтобы посмотреть, как там обстоят дела и в частности как ведут себя там славяне. Бакунин дал Фребелю рекомендательные письма к нескольким своим знакомым славянам, в том числе к поляку Любомирскому (о котором в то время упорно говорили, что он перешел на сторону правых), к Палацкому и пр. (*J. Fröbel* — «Ein Lebenslauf», Stuttgart 1890, т. I, стр. 191—192). Славянские депутаты вели себя тогда в Австрии как настоящие пособники реакции; в частности 6 сентября они высказались против признания верховной власти за рейхстагом, предали демократию и оказались орудиями камарильи. Возмущенный Фребель написал об этом письмо, которое 10 сентября появилось в берлинской «Реформе», т. е. в газете, в общем дружественной Бакунину и во многом разделявшей его точку зрения на славянский вопрос. В своей статье Фребель между прочим писал: «Я говорю о Палацком и Любомирском, из которых по крайней мере последний, не знаю на каком основании, слыл демократом. Оба эти человека своим присоединением вчера отреклись от революции, доставили вчера победу соглашательской теории... Чехи все без исключения — против демократии, поляки разбились, и большинство из них голосовало не с князем Любомирским... Грустно, что здесь, где немцы демократичны, славяне выступают в качестве противников демократии».

Эти последние слова (с них он и начинает свое возражение) не могли не задеть больно Бакунина. Помимо того, что они констатировали факт, который начинал все больше бросаться в глаза и ему самому, а именно факт поддержки национальным славянским движением самых реакционных

кругов и планов, эти слова Фребеля наносили ему как признанному представителю и певцу славянского демократизма сильный удар, подрывая веру в правильность его утверждений, в его понимание исторических событий и в его программу. Вероятно, что, прочтя статью Фребеля, Бакунин сейчас же схватился за перо. Но факты говорили слишком громко, и отговорить их словами было трудно. Становилось ясно, что обращаться надлежит не столько к немцам, убеждая их в демократических добродетелях славянства, сколько к самим славянским демократам, стараясь выяснить им их интересы и роль и оторвать их от лагеря реакции. Таким образом постепенно назревала идея воззвания к славянам, которое через три месяца и стало фактом.

№ 512. — Оригинал документа находится в прусском государственном архиве. Опубликован он в книге проф. И. Пфицнера, стр. 57—58 в извлечениях, откуда и заимствован нами.

Для понимания этого документа и связанных с ним обстоятельств необходимо иметь в виду следующее.

Российская дипломатия естественно не могла быть довольна пребыванием в Германии Бакунина, проживавшего сравнительно недалеко от российской границы и находившегося в связях с поляками, замышлявшими борьбу с русским владычеством. С одной стороны прусский представитель в России Рохов, а с другой российский посол в Берлине Мейендорф всячески старались опорочить Бакунина в глазах прусского правительства и добиться высылки его из Пруссии, если нельзя было добиться выдачи его России. В частности обвинение в подготовлении покушения на Николая I, от которого Бакунин позже всячески старался оправдаться и источник которого до сих пор оставался неясным, было, как теперь оказывается, выдвинуто против него именно Мейендорфом. На стр. 58 цитируемой книги Пфицнера напечатано отношение Мейендорфа к прусскому министру иностранных дел Арниму (оригинал хранится в прусском госархиве) от 15 июня 1848 г., в котором сообщается, что Бакунин завязал сношения с двумя поляками братьями Выховскими и за большие деньги (это у Бакунина-то большие деньги!) убедил их поехать в Россию и там совершить покушение на царя. Таким изветом, основанным на доносах провокаторов вроде поляка Бзовского, подготовлялась почва не только для высылки Бакунина из Пруссии, но при удобном случае и для выдачи его России *. Минутоли, находившийся в то время накануне своей отставки (он окончательно ушел из полицей-президиума 28 июня 1848 г.) и дважды посетивший тогда Г. Мюллера-Стрюбинга, предупредил его, что если Бакунин вернется в Пруссию, то будет выдан России. Рассказывающий об этом Варнгаген прибавляет: «Двуличный человек» (т. е. Минутоли).

С своей стороны достойный представитель прусской монархии в Петербурге Рохов в донесении от 31 августа/12 сентября 1848 г. (цит. соч. Пфицнера, стр. 58—59) писал следующее: «Высокому королевскому министерству русский подданный Бакунин давно уже известен как опасный заговорщик. В мае месяце его встречали то в Праге, то в Дрездене или Бреславле и вскоре приобрели уверенность, что он временами показывается на прусско-польской и прусско-российской границе (все это — вздор. — *Ю. С.*). Далее почти не подлежит сомнению, что он недавно завербовал двух эмиссаров, которые должны покуситься на жизнь императора. За обоими этими личностями следят и надеются скоро их схватить. Иначе об-

* Заветная мечта русского правительства заключалась в том, чтобы заполучить Бакунина в свои руки. Около того же времени, а именно 22 июня/4 июля 1848 года, Нессельроде, рекомендуя Мейендорфу добиваться решительных репрессивных мер против Мерославского (которого царское правительство побаивалось как возможного польского главнокомандующего в случае восстания Царства Польского), одновременно запрашивал своего агента, нельзя ли как-нибудь добиться выдачи другого «негодяя», все время работающего вместе с поляками, а именно Бакунина, как только он ступит на прусскую землю.

стоит дело с Бакуниным, который находится в прусских пределах и появляется то там, то сям. Как из особого почтения к высочайшей особе императора, так и из уважения к России вообще желательно, чтобы Бакунин, о котором впрочем королевское правительство наверно имеет сведения, был под каким-либо предлогом удален из прусского государства, дабы таким образом сделать его менее вредным для настоящих отношений».

Намек был понят, и прусское правительство, нуждаясь в благосклонности Николая, начало подготовлять обстановку для высылки или выдачи Бакунина. Тем временем к власти пришло новое, реакционное министерство генерала Пфуля. 20 сентября министерство иностранных дел передало рапорт Рохова министерству внутренних дел, во главе которого незадолго до того стал Эйхгорн. 25 сентября последний потребовал от полицей-президиума доклада, который и был представлен ему 28 сентября новым полицей-президентом Барделебеном. Здесь сообщалось, что в последнее время Бакунин был снова замечен в Берлине, но когда были приняты меры к вызову его в полицию на предмет его высылки, он уехал из Берлина в Силезию. Таким образом Барделебен умалчивал о вызове Бакунина 21 сентября в полицию, о допросе его (нами здесь печатаемом), о произведенном у него обыске (который впрочем не дал никаких особенных результатов) и т. п. Возможно, что это умолчание сделано было для того, чтобы не разоблачить факта пребывания Бакунина в Берлине с ведома двух прусских министров Мильде и Кюльветтера (и даже самого министра-председателя Ауэрсвальда). После допроса Барделебен потребовал, чтобы Бакунин в тот же вечер оставил Берлин, но Бакунин выехал из Берлина лишь на следующий день, т. е. 22 сентября *.

Бреславльская полиция запросила Берлин, как ей быть с Бакуниным. Барделебен, новый президент берлинской полиции, сменивший Минутоли, высказал мнение, что его следовало бы выслать из Пруссии. Министерство одобрило эту мысль, и 2 октября с надписью «весьма срочно» пошла в Бреславль бумага, предлагавшая выслать Бакунина как беспаспортного из Пруссии с предуведомлением, что в случае возвращения в последнюю он будет выдан России. 5 октября министерство иностранных дел, видимо не извещенное об этой мере, снова обратилось к Эйхгорну с требованием выслать поскорее Бакунина из Пруссии, так как присутствие этого «опаснейшего врага порядка и спокойствия» неизбежно «должно возбуждать в Петербурге заботы и недоверие». Более ясно засвидетельствовать, что преследование Бакунина производилось под давлением петербургского кабинета и в угоду ему, трудно. Ведь недаром Рохов 4 октября сообщал из Петербурга, что русское правительство не может сократить своих вооружений на прусской границе ввиду тревожного состояния в Польше, а также ввиду того, что «Мерославский и Бакунин пользуются повидимому в Пруссии свободою действий». А 6 октября тот же Рохов передавал негодование

---

* Относящаяся к этому событию и времени запись в дневнике Варнгагена (том V, стр. 203) и датированная 22 сентября 1848 г. гласит: «Я встретил Бакунина, который сказал мне, что сегодня вечером уезжает в Силезию, для того чтобы на русской границе сговориться с поляками и русскими и настоятельно посоветовать им пока ничего не предпринимать». Значит ли это, что Бакунин скрыл от Варнгагена факт своей высылки, и если да, то по какой причине? С другой стороны обращает на себя внимание его заявление о поездке на русскую границу для переговоров с поляками и русскими. О переговорах с поляками в Мысловице, т. е. пункте близком к русской границе, говорится и в письме к неизвестному (поляку) от 2 октября 1848 г. (см. № 513). Значит какие-то переговоры в это время велись. Но вот, что касается встречи с русскими, то если их не присочинил Варнгаген, то здесь Бакунин вероятно прихвастнул. Впрочем вопрос о сношениях его в это время с Россией далеко не освещен, и может случиться, что при ближайшем исследовании окажется, что прочно установившееся убеждение, что таковых сношений с родиною у него в то время не было, не вполне соответствует действительности.

русского правительства по поводу того, что арестованный было в Берлине Бакунин был выпущен на свободу (Пфицнер, стр. 50 сл.). Российское правительство настаивало на применении конвенции от 8/20 мая 1844 г. и, как увидим, преуспело в своих домогательствах.

В этот сток сплетен и клевет против Бакунина вложил свою лепту и мнимый «защитник» его, бывший полицей-президент Берлина Минутоли. Произведенный в советники посольства, но желая снова заслужить милость своих господ, этот неисправимый полициант сочинил 1 августа на основании всех собранных им и дошедших до него шпионских слухов и обывательских пошлостей доклад о славянстве и послал этот продукт полицейского блудословия министру внутренних дел Пруссии. В этом доносе он утверждал, что Бакунин подготовляет восстание в южной России (вероятно на Украине), что революция в Петербурге и Москве близка, что Польша готова восстать, и уверял, что вообще через шесть месяцев всюду начнутся бунты. А потому он рекомендовал прусским властителям не спускать глаз с таких опасных мятежников, как К. Либельт, А. Морачевский, Бервинский и прежде всего Бакунин, «до сих пор находящийся в Пруссии» (Пфицнер, цит. ст., стр. 282).

Дальнейшее см. в комментариях к № 515.

[1] Мильде, Карл Август (1805—1861) — прусский государственный деятель, фабрикант; получил хорошее техническое образование; умеренный либерал с консервативным оттенком; вступив в политическую жизнь с 1831 года, был представителем Бреславля в ландтаге 1841 г.; в соединенном ландтаге 1847 г. представлял города Силезии; член прусского национального собрания в 1848 г., был 26 мая избран его президентом. Вошел в министерство Ганземана в качестве министра торговли. Был и после подавления революции членом прусского ландтага; с воцарением реакции снова перешел в умеренную оппозицию.

[2] О депутате Юлии Штейне см. комментарий 8 к № 509.

[3] Кюльветтер, Фридрих Христиан Губерт (1809—1882) — прусский государственный деятель; по окончании университета служил по судебному ведомству, а с 1845 г. перешел в администрацию. Умеренный либерал-консерватор, сторонник конституционной монархии, в апреле 1848 г. был членом 2-го объединенного ландтага; один из авторов избирательного закона, на основе которого было избрано прусское национальное собрание. Был его членом; с июня по сентябрь 1848 г. был министром внутренних дел в министерстве Ауэрсвальда-Ганземана, призванного проявить твердую власть и подавить «уличную демагогию». Был членом ландтага 1850 г., после чего снова служил по администрации.

[4] Это утверждение не соответствует фактам: первая статья Бакунина в Париже появилась только в 1845 г., а приговор над ним состоялся в 1844 г. — и не за его писания, а за отказ вернуться в Россию по требованию правительства. Имеем ли мы здесь дело с опиской, с ошибкой памяти или с преднамеренной выдумкой, преследующей определенную политическую цель, трудно сказать.

[5] О каких парижских знакомых говорит здесь Бакунин, неизвестно. В Берлине он из парижских знакомых встречался с Э. Араго, быть может с Густавом Зигмундом-младшим, возможно с поляками, знакомыми ему по Парижу. Вряд-ли он имеет здесь в виду К. Маркса, с которым в сентябре встретился в Берлине случайно, так как Маркс проживал тогда в Кельне. Вернее всего Бакунин просто хотел скрыть от полиции, что в Берлин он приехал для встречи с немецкими демократами и с поляками в целях выяснения шансов на новое оживление революции.

№ 513. — Оригинал этого письма находится в дрезденском архиве среди вещественных доказательств по делу Бакунина. Повидимому оно было отобрано у него при аресте в мае 1849 года. Впервые часть этого письма опубликовал В. Чейхан в своей названной книге, стр. 34 и 78, прим. 130; это — тот абзац, в котором говорится о получении письма от Штура и который кончается указанием на неприсылку денег русскими друзьями автора письма. Повидимому саксонское правительство сообщило австрийскому

только эту, интересовавшую его, часть письма, и ее-то заимствовал Чейхан из пражского военного архива. На допросе 12 октября 1849 года Бакунин объяснил, что он должен был в Мысловице встретиться с знакомым поляком, проживавшим тогда в Кракове, и узнать от него, что делается в Польше; но так как после написания письма он встретился с этим человеком в Бреславле, то ему уже не пришлось отправляться в Мысловиц. Письма из Кракова он ждал от того же поляка.

В более полном виде письмо напечатано во втором томе «Материалов для биографии Бакунина» (стр. 85—86), откуда мы заимствовали некоторые его части. Но и там оно напечатано плохо, неясно и без всякого основания названо письмом к Штальшмидту.

Установить адресата этого письма довольно трудно. Оно написано не Штальшмидту, как можно было бы подумать при беглом взгляде на письмо: адрес его дан здесь лишь для указания, куда посылать просимые деньги. Оно не написано А. Рейхелю: живя в Париже, он не мог знать берлинских дел, интересоваться краковскими событиями и т. п. Оно не написано Мюллеру-Стрюбингу: Бакунин не мог никак забыть адреса дома, в котором сам жил несколько месяцев. Оно вообще не написано немцу: во-первых потому, что написано по-французски (хотя иногда Бакунин писал на этом языке, которым лучше владел, и немцам); во-вторых о немцах в нем говорится как о нации посторонней («если имеешь дело с немцами, надо вооружиться терпением»). Отсюда можно сделать тот вывод, что оно адресовано поляку: это вероятно и потому, что там подробно говорится о галицийских делах. Был ли им Леслав Лукашевич? Вряд ли, ибо он жил в Кракове, и ему не приходилось рассказывать о том, что там происходило (хотя просьба о деньгах наводит именно на мысль о Л. Лукашевиче, помогавшем Бакунину). Значит это был скорее поляк, проживавший где-либо вне Галиции, например в Германии. Таким мог быть Ю. Андржейкович, живший в Лейпциге, но утверждать это мы не решаемся. Впрочем Лукашевич и брат его бывали в Берлине *.

Письмо писалось с 27 сентября по 2 октября и как будто так и осталось незаконченным.

[1] Это место показывает, что Бакунин был посвящен в революционные приготовления немецких демократов, особенно прусских и в частности силезских. В «Исповеди» он прямо об этом рассказывает: «В Бреславле, равно как и в Берлине, демократы готовились было к вооруженному отпору против первых реакционерных мер прусского правительства. Никогда, может быть, не была прусская Шлезия так готова к всеобщему народному восстанию, как именно в это время. Я видел сии приуготовления, радовался им, но сам не принимал в них участия, ожидая более решительных обстоятельств». Это было накануне его высылки из Берлина.

[2] Упомянутые в предыдущем комментарии приготовления повидимому связаны были с предполагавшимися выступлениями поляков в Познани, но вероятно и в Галиции. Бакунин и собирался ехать в Мысловиц на свидание с поляком, который должен был привезти сведения о положении дел в Польше (может быть и в Царстве Польском). Мысловиц это — небольшой городок на силезско-прусской границе. Там он должен был видимо встретить познанца, а из Кракова он ждал письма. В Мысловице давно уже

---

* Лукашевич, Леслав (1811—1855) — польский литератор и политический деятель, уроженец Галиции. Принадлежал к «Stowarzyszenie Ludu Polskiego» в Кракове с 1835 г., был в 1845 году по процессу о заговоре приговорен к смертной казни, но подобно другим сопроцессникам выпущен на свободу с зачетом предварительного заключения. Был активным участником краковских событий в 1846 году. Принимал участие в пражском славянском съезде, где сошелся с Бакуниным, к направлению которого стоял близко. Арестованный в 1850 году, он умер в крепости. Подобно своему брату Иосифу, тоже журналисту, историку и демократу, очень хорошо относился к Бакунину и помогал ему по мере сил (деньги он посылал ему именно через Штальшмидта).

проживала Антонина Лисовская, через которую шли сношения между познанцами и русскою Польшею; по предположению Пфицнера (см. цит. ст., стр. 277) она играла роль посредницы в ожидаемой Бакуниным встрече с указанным поляком или поляками.

[3] Не находился ли этот адрес также среди адресов, поспешно сожженных Мюллером-Стрюбингом после вызова Бакунина в полицию 22 сентября? Но об этом факте Бакунин здесь почему-то не упоминает.

[4] Упоминаемое письмо от Л. Штура напечатано нами выше, в комментарии к № 510. Штур звал Бакунина для участия в выступлении словаков против венгров, вдохновлявшемся австрийскою камарильею. Бакунин туда не поехал, вероятно сознавая, что движение приняло явно реакционный характер. Со времени пражского съезда, где они «столковались по всем главным пунктам», много воды утекло, и надежды Бакунина придать выступлению угнетенных славянских народностей вроде сербов, словаков, моравов и т. п. революционный характер не оправдались в действительности. Движение это приняло определенно контрреволюционный характер, и вряд-ли поездка Бакунина в Карпаты могла бы здесь что-нибудь изменить. Он мог бы этою поездкою только себя скомпрометировать.

[5] О каких русских друзьях говорит здесь Бакунин, неизвестно. На упомянутом выше допросе он объяснил, что речь шла о средствах на его личное существование. В таком случае речь могла итти о Герцене, Тургеневе, быть может Анненкове, от которых он мог надеяться получить деньги.

[6] Залеский, Вацлав (1800—1849) — польско-австрийский писатель и политический деятель; этнограф, выпустил в 1833 г. во Львове на польском языке сборник «Польские и русские песни галицийского народа»; состоя на австрийской службе, выказал ту смесь показного либерализма с административным рвением, которая обеспечивает карьеру при всех режимах. По уходе графа Стадиона был в 1848 г. назначен губернатором Галиции, на каковом посту должен был подготовить переход к открытой реакции. Затем был отозван в министерство внутренних дел в Вену, где был докладчиком по вопросам Галиции и Буковины.

[7] Шлик, Франц Генрих, граф (1789—1862) — австрийский генерал из семьи службистов, солдафон, грубиян, насильник; участвовал в наполеоновских войнах, затем служил по провинциальным гарнизонам; революция 1848 г. вытащила его из захолустья подобно многим другим усмирителям того времени. В 1848 г. был краковским комендантом; затем был переброшен на борьбу с революционными венграми. Шлик так и не допустил разрешенного Залеским привоза 3.000 ружей.

№ 514. — Оригинал этого письма повидимому отобран у Бакунина при аресте в мае 1849 г. и хранится в саксонском государственном архиве. Опубликовано оно в книге И. Пфицнера, стр. 59, откуда мы его и заимствуем (по-русски в «Материалах», т. II, стр. 85). У Пфицнера примерная дата не указана, но она легко устанавливается содержанием письма. Во-первых там сказано, что со времени разлуки друзей прошло 6 месяцев, а это указывает на начало октября, так как расстались они в конце марта, когда Бакунин выехал из Парижа. Далее там указано, что «недавно» Бакунин был арестован в Берлине. Это снова приводит нас к началу октября (или концу сентября). Мы полагаем, что Бакунин начал писать это письмо по дороге из Берлина, например в Бреславле, но не закончил его за минованием надобности (см. в конце этого комментария).

Рейхель был в это время довольно аккуратным корреспондентом Бакунина, осведомлявшим его о событиях, развертывавшихся во Франции, поскольку этот человек, интересовавшийся исключительно музыкою, прислушивался к политическим происшествиям и разбирался в них. В книге проф. Пфицнера напечатано несколько писем Рейхеля к Бакунину, показывающих, насколько подробно этот верный друг, не совсем понимавший Бакунина, но любивший и высоко ценивший его, старался осведомлять его обо всем, что могло его интересовать. По мере сил бедный музыкант старался и материально помогать Бакунину.

Уничтоженная впавшим в панику Мюллером-Стрюбингом записная книжка Бакунина с адресами его знакомых могла бы послужить ценнейшим историческим источником, если бы дошла до нас. В жизни Бакунина и после его смерти такие катастрофы с принадлежащими ему документами случались к сожалению не раз.

В данном случае молчание Рейхеля объяснялось повидимому тем, что он в рассматриваемое время уезжал из Парижа, куда вернулся только в конце сентября, как это видно из письма его к Бакунину от 28 сентября 1848 г., находящегося в саксонском госархиве и напечатанного И. Пфицнером в его книге, стр. 46—48 («Материалы», т. II, стр. 91—93). Надо полагать, что, получив это письмо, Бакунин уже не стал продолжать своего письма с жалобою на неаккуратность своего осведомителя, и написал ему какое-то другое письмо, которое было отослано Рейхелю и пока до нас не дошло.

№ 515. — Опубликовано впервые в демократической газете «Berliner Zeitungshalle» 1848, № 246 от 24 октября. Перепечатано в книге проф. Пфицнера, стр. 60—61. По сообщению последнего в саксонском государственном архиве находится начало чернового наброска этого протеста.

В комментарии к № 512 мы говорили о том, что 2 октября из Берлина отправлен был срочный приказ бреславльскому полицеймейстеру. Там сказано было следующее: «Через здешний полицей-президиум до сведения министерства дошло, что русский подданный Бакунин в настоящее время находится там. Последний является беспаспортным иностранцем, и в качестве такового его дальнейшее пребывание в здешнем государстве не может быть терпимо. Посему надлежит безотлагательно в установленном порядке объявить сказанному Бакунину, что ему как иностранцу, не имеющему законного вида от своего отечественного правительства, проживание в Пруссии дозволено быть не может, что потому он должен немедленно оставить эту страну, а в случае своего возвращения сюда должен ожидать, что будет направлен на свою родину». Бакунин жил тогда в Бреславле у своего приятеля, купца Штальшмидта, местного демократа. 4 октября он получил приглашение пожаловать 6-го в участок, и там ему было заявлено о высылке его из Пруссии, и вручен паспорт, в котором указан был следующий маршрут: Лигниц — Бунцлау — Герлиц — Дрезден в Бельгию. Бакунин естественно не пожелал воспользоваться таким любезным разрешением попутешествовать и предпочел перебраться в маленькое княжество Ангальтское, которое в то время было каким-то свободным оазисом среди владений прусского короля.

К этому решению он окончательно пришел после встречи, оказанной ему в «демократической» Саксонии. 8 октября он прибыл в Дрезден*, и уже 9-го местною полициею на его паспорте проставлена была следующая виза: «Предъявитель сего паспорта согласно постановлению окружного директора от 24 мая 1844 года подлежит безотлагательной высылке из здешнего края. Годен для немедленного отъезда в Бельгию». Таким образом саксонская полиция поступила еще более бесстыдно, чем прусская: она открыто ссылалась на постановление дореволюционного правительства, и притом принятое на основании того циркуляра Нессельроде, о котором мы говорим в комментарии к № 477, и в котором указывалось на вредность Бакунина и для других государств. Из Дрездена Бакунин выехал вероятно 11 октября и направился в Ангальт Дессау-Кэтен, где и проживал до конца года.

Арест и высылка Бакунина стали вскоре широко известны не только в Германии, но и за ее пределами. Так в парижской «Реформе», равно как и в других французских газетах, появились заметки о том, что Бакунин под-

---

* Таким образом после вручения Бакунину приказа о высылке, он оставался в Бреславле только сутки, а между тем Ю. Штейн, хорошо его знавший, в своей «Истории города Бреславля» (стр. 259) говорит, что не взирая на приказ о выезде Бакунин «некоторое время еще оставался в Бреславле».

вергнут аресту, и что можно опасаться выдачи его русскому правительству. Прогрессивная пресса Германии правильно усмотрела в репрессиях против Бакунина влияние петербургского кабинета и разразилась рядом выпадов по его адресу. Арнольд Руге в берлинской «Реформе» неоднократно возвращался к вопросу о высылке Бакунина из Пруссии и резко нападал на реакционное министерство Пфуля за превращение его в добровольного полицейского холопа России. За Бакунина вступилась и «Всеобщая Одерская Газета», в редакции которой сидело много его друзей, и которая иронически советовала Бакунину не жалеть о том, что он выслан из Пруссии. Так же естественно вела себя и «Дрезденская Газета». Равным образом и «Новая Рейнская Газета», хотя далеко не разделявшая взглядов Бакунина, не сочла возможным обойти молчанием этот наглый акт правительственного произвола и в номере от 18 октября, сообщая о высылке Бакунина, прибавляла: «Нужно признать, что рука императора Николая очень длинна, а услужливость немецких правительств чрезвычайна». В «Berliner Zeitungshalle» помещена была большая статья Г. Мюллера-Стрюбинга. Все понимали, что такой акт произвола свидетельствует об осмелении реакции, собирающейся явно перейти в наступление, и Варнгаген фон Энзе меланхолически отметил под 7 октября в своем дневнике: «Отваживаются уже на такие угрозы» (том V, стр. 224).

Из Дессау (а не из Кельна, как он указывал для конспирации) Бакунин немедленно, дня через два после прибытия туда, направил два протеста — один в прусское национальное собрание (№ 515), где в защиту его должен был выступить его приятель, демократический депутат от Бреславля Юлиус Штейн, а другой — в саксонскую вторую палату (№ 516), где с запросом правительству должен был выступить демократический адвокат и депутат левой Венер (письмо к нему Бакунина по этому поводу мы помещаем под № 517). Как увидит читатель из комментария к № 516, запрос в саксонской второй палате имел место и прошел для интерпеллянтов удачно, что впоследствии позволило Бакунину снова перебраться в Саксонию, но в прусском национальном собрании дело до запроса не дошло: вскоре оно было распущено, так что интерпелляция по делу Бакунина в нем не состоялась. С этого момента Бакунин ни разу не вступал на прусскую почву.

Любопытно, что с высылкою Бакунина из Пруссии петербургское правительство и его представитель в Берлине все-таки не успокоились: им было крайне неприятно, что Бакунина им просто не выдали, и пока он был на свободе, в какой бы то ни было части Германии, он был для них бельмом на глазу. В письме к Нессельроде от 25 февраля/3 марта 1849 года Мейендорф сообщал своему шефу: «Я имел сегодня продолжительную беседу по поводу Б[акунина] с единственным лицом, способным меня просветить и быть мне полезным по этому вопросу. Оно обещало мне сделать все возможное, но я мало на это надеюсь. Что меня утешает, так это то, что он слишком беден, чтобы быть влиятельным, и печатает слишком много брошюр, чтобы быть опасным. Если он составляет заговоры с таким ничтожеством, как [И. Г.] Головин, то это окончательно роняет его в моих глазах. Я думаю, что он и Мерославский — оба фанфароны, а не люди с широким кругозором вроде Маццини и Ицштейна [1], которые умеют вести себя спокойно — верный признак обдуманности» (P. Meyendorff — «Politischer und privater Briefwechsel», том II, стр. 171). Возможно, что речь идет здесь о беседе с прусским королем, обещавшим способствовать выдаче Бакунина, а если с другою, то во всяком случае важною персоною. Что же могло побудить Мейендорфа снова заговорить с прусскими сановниками об уже высланном Бакунине? Мы думаем, что в это время уже появилась брошюра Бакунина «Русские в Седмиградии» (2-е воззвание к славянам), в которой содержался прямой призыв к вооруженным выступлениям против царских войск и влияния самодержавия в Европе. Она и действительно появилась около этого времени — около конца февраля, т. е. приблизительно за несколько дней до составления цитируемого письма Мейендорфа. Неудивительно, что он взволновался и побежал просить

заступничества против беспокойного крамольника, каждый раз преподносившего начальству новые неприятные сюрпризы.

[1] Ицштейн, Иоанн Адам (1775—1855) — немецкий политический деятель либерального направления. С 1809 состоял на баденской государственной службе; в 1822 избран во 2-ю баденскую палату и быстро занял там место одного из вождей оппозиции; вел против правительства, игнорировавшего сейм, борьбу в прессе и в палате, особенно после июльской революции 1830 г., придавшей силы либеральному течению. Был сторонником конституции и отстаивал бюджетные права народного представительства. В 1848 избран в Франкфуртский парламент, где примкнул к крайней левой, но не играл особенной роли. После разгона остатков Франкфуртского парламента в Штуттгарте едва не был арестован и принужден был некоторое время оставаться в эмиграции (в Швейцарии и Эльзасе), пока не снял с себя подозрения в прикосновенности к баденскому восстанию 1849 года. В последние годы впал в детство. Если Мейендорф мог поставить его наряду с такими заведомыми революционерами, как Бакунин, Мадзини и пр., то это лишь показывает, как сторонники абсолютизма ненавидят и боятся даже буржуазных либералов.

№ 516. — Напечатано в № 246 газеты «Berliner Zeitungshalle» от 24 октября 1848 года и с сокращениями перепечатано в книге проф. Пфицнера, стр. 62, откуда мы и заимствовали этот документ ввиду невозможности отыскать названную газету в московских библиотеках. По существу этого документа см. комментарий к № 515 и № 517.

№ 517. — Печатается впервые. Где находится оригинал этого письма, нам неизвестно. Черновик этого письма имеется в дрезденском государственном архиве; копия с него имеется в Архиве Института Маркса, Энгельса и Ленина, и с нее-то мы его и перевели. По внешнему виду эта копия похожа на те писарские копии, которые были присланы русскому правительству из Германии и находятся в полицейском «Деле» о Бакунине, хранящемся в Архиве Октябрьской революции. Это наводит на предположение, что и данная копия заимствована из судебного саксонского дела, из которого взяты и другие копии с документов, захваченных при аресте Бакунина и напечатанных в настоящем томе. В Институт Маркса, Энгельса и Ленина эта копия, равно как и две другие копии писем к Бакунину такого же рода, попала видимо от частного лица.

Дата письма определяется его содержанием. Судя по данным, приведенным нами в комментариях к №№ 512 и 515, Бакунин, высланный из Берлина по проискам Мейендорфа[4], был изгнан также из Бреславля и Саксонии. Из последней он уехал 11 октября, а 12-го был уже в Кетэне, откуда адресовал и датировал этим днем свои протесты в прусское национальное собрание и саксонскую вторую палату (см. №№ 515 и 516). Отсюда ясно, что и письмо к Венеру относится к октябрю 1848, вероятно к 12-му или 13-му.

Как видно по краткому отчету о заседании палаты 25 октября 1848, помещенному в № 23 «Дрезденской Газеты» от 27.X 1848, протест Бакунина был поддержан адвокатом Венером (Wehner), одним из видных деятелей крайней левой, которому и было адресовано данное письмо. В своей речи Венер выразил удивление, как можно теперь, после революции, высылать людей за действия, направленные против низвергнутого старого строя. Министр Оберлендер[5] разъяснил, что согласно принципам нового правительства деяния такого рода сами по себе не могут повлечь за собою высылки; не было ли в данном случае и других поводов к применению такой меры, ему пока неизвестно. Чирнер, другой видный деятель левой, сослался на это удовлетворяющее его заявление министра в оправдание того, что он не поспешил воспользоваться представившимся случаем интерпеллировать министерство по поводу высылки Бакунина ввиду того, что последний не счел нужным отстоять свои права в обычном инстанционном порядке; можно лишь пожалеть о том, что низший служащий персонал так плохо усвоил суть нового режима, и что в сомнительных случаях чиновники не запрашивают высшее начальство. По предложению Венера протест был приложен к

протоколу, так как, по его словам, он достиг своей цели. Таким образом министр по существу от ответа уклонился, а депутаты, в том числе и Чирнер, впоследствии член революционного дрезденского правительства, не обнаружили никакой настойчивости по этому вопросу. Получается такое впечатление, что люди договорились до заседания: министр обещал сделать такое заявление, которое открывало бы Бакунину возможность скоро вернуться в Саксонию (что он вскоре и сделал), а депутаты согласились не ставить министров в неловкое положение и не заставлять их признаться, что в сущности они действовали по указке царя и его послов, высылая русского политического эмигранта, в обвинение которому можно было поставить только неимение русского паспорта (да и верно ли это? Ведь у Бакунина такой паспорт, хотя и просроченный, должен был иметься).

Венер и после того продолжал интресоваться делом Бакунина и хлопотать за него. Об этом свидетельствует показание Бакунина перед саксонскою следственною комиссиею от 4 июня 1849, где сказано: «Бывший министр Оберлендер передал ему, Бакунину, через члена палаты Вегарна,... что к его пребыванию в Саксонии препятствий не встречается, и что по этому поводу подлежащие полицейские власти получили соответственные инструкции» («Красный Архив», том 27, стр. 165; «Материалы», т. II, стр. 43). Мы думаем, что в оригинале стоит имя Венера и что оно искажено в русской транскрипции, данной В. Полонским.

Обещание министра Оберлендера, данное Венеру, что Бакунина в Саксонии беспокоить не будут, и что полиции преподаны в таком смысле указания, было сообщено Бакунину через Энно Зандера, ангальтского политического деятеля и депутата (см. Пфицнер, цит. соч., стр. 72). Так или иначе, но через три месяца Бакунин снова очутился в Саксонии, где и пробыл до своего ареста в мае 1849 года.

[1] В «Исповеди» Бакунин глухо говорит о «древнем требовании российского посольства»; здесь же он определенно указывает на «указ русского правительства от 24 мая 1844». Здесь речь очевидно идет о том документе, с которым шеф жандармов Бенкендорф 20 марта 1844 предложил министру ин. дел Нессельроде обратиться к российским послам за границею: в этом документе надлежало уведомить все иностранные правительства, во владениях которых будет проживать Бакунин, о его социально-политической вредоносности. Идя навстречу этим домогательствам, франкфуртские союзные власти издали 24 мая 1844 г. циркулярный приказ всем немецким правительствам об аресте Бакунина в случае его появления на их территории. На основании этого именно циркуляра российский посол в Берлине Мейендорф и другие дипломатические агенты царя в остальных германских странах добивались ареста и высылки Бакунина. Как видно, Бакунин был об этих происках хорошо осведомлен и знал, что говорил, хотя в данном случае спутал даты российского указа и франкфуртского циркуляра.

[2] Речь очевидно идет о проходном свидетельстве, которое было выдано Бакунину бреславльской полицией по поручению прусского министерства внутренних дел, и в котором ему предлагалось навсегда оставить прусские пределы. Был ли Брюссель указан в виде конечного пункта его следования с согласия Бакунина или без него, мы не знаем. Во всяком случае в Брюссель Бакунин не поехал. Повидимому, когда он предъявил это проходное свидетельство дрезденской полиции, последняя на основании распоряжения саксонского министра потребовала, чтобы он следовал по этому именно маршруту. Так можно понять слова Бакунина о «подтверждении» дрезденскою полициею проходного свидетельства, выданного ему в Бреславле.

[3] Высылка Бакунина из Берлина вызвала протесты демократической прессы. 13 октября «Новая Рейнская Газета» напала на министерство за эту произвольную меру. Протестовала и берлинская «Реформа», в редакции которой сидел личный друг Бакунина, А. Руге. Вот что писала эта демократическая газета в № от 19 октября:

«Министерство Пфуля пошло по стопам министерства Гизо. Россия требует высылки Бакунина, министерство Пфуля осуществляет ее и угрожает единственному русскому демократу, делающему оппо-

зицию царю из Бреславля, выдачею, если он не выедет. Мы недавно утверждали, что министерству Пфуля не удастся скрыть своего дружественного отношения к России, даже если оно не посмеет открыто провозгласить свой союз с нею. Высылка Бакунина составляет в 1848 году для свободной Пруссии столь же чувствительное оскорбление, каким она была в 1847 году для французской нации. Неужели мы являемся такими слугами царя, что должны нарушать все законы гостеприимства, когда он того пожелает? Не довольно ли того, что угрозы России вызвали «стратегическое» отступление из Ютландии, перемирие с Данией, а письмо из Петербурга повлекло за собою разоружение поляков? Теперь Россия играет также роль и в нашей внутренней политике, чего мы не должны терпеть, и если наши министры этому подчиняются, то мы требуем, чтобы наши депутаты потянули их к ответу, более того, мы требуем, чтобы не мог получать портфеля ни один человек, не свободный от русской дружбы и русских принципов. Пресса не должна оставить этого дела без внимания».

Фототипия этой выдержки находится в архиве Института Маркса, Энгельса и Ленина и взята нами оттуда.

«Die Reform» («Реформа»), орган демократической партии, начала выходить в Берлине с конца марта под редакцией Э. Мейена. Позже она сделалась органом берлинского «Народного Клуба» и выходила под редакцией Оппенгейма, Руге и Мейена. В сентябре 1848 г. была объявлена органом «левой Национального Собрания». С наступлением реакции генерал Врангель, диктатор Берлина, приостановил «Реформу», а в начале марта 1849 новый Центральный комитет (Дестер, Гексамер и Рейхенбах — все друзья Бакунина) объявил о предстоящем выходе «Всеобщей Демократической Газеты», которая должна быть настоящим органом демократической партии.

[4] Мейендорф, Петр Казимирович (1796—1863) — российский дипломат, был посланником в Вюртемберге в 1832, в Берлине в 1839—1850, затем состоял послом в Вене. С 1854 назначен членом Государственного Совета.

[5] Оберлендер, Мартин Готард (род. 1801) — немецкий ученый, юрист и политический деятель, либерал; был гласным в Цвиккау; в саксонском ландтаге 1845 г. был вместе с Тодтом одним из лидеров оппозиции. После мартовской революции вошел в министерство Пфордтена в качестве министра внутренних дел. Будучи единственно популярным среди министров и считаясь человеком определенно либеральных взглядов, Оберлендер в критические минуты один покрывал министерство, занимавшее промежуточную позицию между монархией и демократией. После открытого перехода реакции в наступление вышел в отставку. 24 февраля 1849 года партия Чирнера вела против него разоблачительную кампанию. На смену ему пришло министерство Гельда с Бейстом.

№ 518. — Оригинал этого первоначального наброска «Воззвания к славянам» со множеством заметок и черновиков, впоследствии использованных в этом наброске, находится в дрезденском архиве во втором томе актов против Бакунина под № 1285g. Замечательно, что В. Полонский не заметил в Дрезденском музее такого замечательного документа. Впервые он опубликован проф. Пфицнером в его книге «Bakuninstudien», (стр. 94—105, к сожалению со многими ошибками, подчас довольно грубыми (вызванными, возможно, недостаточным знанием французского языка). Мы почти везде исправили эти ошибки по смыслу; наиболее важные из наших исправлений мы указываем в соответствующих местах. Документ написан весь по-французски.

По рассказу самого Бакунина мысль об обращении к славянам с особым воззванием возникла в его уме следующим образом. Еще в октябре 1848, когда Елачич двинулся на революционную Вену, а князь Виндишгрец оставил с войсками Прагу для подавления венской и венгерской революции, Бакунин задумал поехать в Прагу с целью поднять там демократическое чешское восстание. Но по ряду обстоятельств Бакунину в Прагу поехать не пришлось. К тому времени выяснилась реакционная роль славянства в европейской и в частности австрийской революции. Бакунин уже по

одним своим стремлениям к революции в России заинтересован был в разгроме европейской реакции, в победе европейской демократии. Но последняя была невозможна или во всяком случае сильно затруднена без поддержки демократических элементов славянства. С другой стороны и славянские чаяния Бакунина, в значительной мере обусловливавшие его деятельность в 1848, также повисали в воздухе ввиду союза славянских руководящих элементов, дворянства и высшей буржуазии, равно как большой части мещанства, с австрийской камарильей против немецких и венгерских революционеров (и даже против части славянских, например польских). Поэтому Бакунин считал важнейшей задачей момента установление соглашения между передовыми, демократическими, революционными элементами всех национальностей, населявших Германию и Австрию. «Я, — писал он позже в «Исповеди», — хотел убедить славян в необходимости сближения с германскими, равно как и с мадьярскими демократами». С другой стороны он, если верить «Исповеди», преследовал при этом некоторые личные цели, а именно хотел напомнить о себе забывшим его чехам, а также «доказать полякам и немцам, что я — не русский шпион, и проложить себе дорогу к новому сближению с ними».

Перед европейскою, в частности немецкою демократиею Бакунин выступал как бы в качестве гаранта за политическую благонадежность славянских народов. Он, который на первый план выпячивал тогда национальный момент, он, который в стремлении славянских народностей к своему национальному освобождению усматривал вернейший залог их демократизма и ждал от них усиления левого крыла революции, он, который перед лицом европейской демократии выступал в виде своего рода официозного представителя пробуждавшегося славянства, с горестью взирал на то направление, которое неожиданно для него принимало на деле движение славянских народов, точнее — их дворянской и буржуазной интеллигенции. Вместо того, чтобы усилить стан революции, это движение усилило стан реакции. Оно сделалось в самый решающий момент орудием дворцовой камарильи в Австрии, помогая ей подавить движение австро-немецкой демократии и венгров, т. е. способствуя восстановлению абсолютизма сначала в Австрии, а затем отраженным путем в Германии, в Италии и вообще в центре и на юге Европы. Но этим одновременно убивались всякие шансы на восстановление Польши и на освобождение России. А ведь Бакунин несомненно был одним из вдохновителей того осеннего выступления словаков против венгров, которое под водительством бана Елачича обратилось в первую голову против революционной Вены и нанесло первый решительный удар центрально-европейской революции.

Бакунин страдал от этого для него неожиданного поворота славянской политики вдвойне — и как демократ, и как славянин. Он страдал кроме того и лично как один из тех деятелей, которые пробудили, толкали и направляли это движение, в частности осеннее выступление, давшее столь ужасные для революции, а значит в конечном счете и для дела славянской свободы результаты. Это настроение Бакунина сказалось и в его предостерегающем и упрекающем письме к Л. Штуру от середины сентября 1848 (см. № 510), и в письме к неизвестному (см. № 513). Что рано или поздно Бакунин должен был гласно отозваться на вопросы, возбуждаемые поступлением славян на службу к контрреволюции, это несомненно. Мы не знаем его переписки того времени с славянскими деятелями (сам он утверждал на допросах, что ее тогда и не было, но можно ли полагаться на показания, данные на допросах?), и потому не знаем, исходили ли побуждения к такому отклику из этих кругов, в частности польских. Но опубликованное в той же книге проф. Пфицнера (стр. 90—93) письмо Мюллера-Стрюбинга от 19 октября наводит на предположение, что первую мысль воззвания к славянам подал Бакунину именно этот его берлинский приятель. Вот что между прочим писал Мюллер в этом письме: «Но как плохо ведут себя твои друзья-чехи! Выступи громко против этого, милый, — ты обязан это сделать! Славянин должен возвысить свой голос в пользу демократии и должен формально заклеймить этих коварных рыцарей национальности с их

лживым роялизмом. Ты должен открыто от них отречься. Обратись же с воззванием к славянским демократам. Теперь не ленись. Ты скажешь мне по этому поводу: «чорт [дает хорошие советы»], но, милый мой, от моей лености или активности ничего не изменится, я — один из многих: если я чего-либо не сделаю, то от этого оно не останется несделанным, другие могут сделать это так же хорошо и даже лучше. Твое же положение — исключительное: чего ты не сделаешь, того вообще не будет, ибо ты представляешь славянскую демократию, ты — сила или можешь ею стать».

Мюллер даже указал Бакунину на примерное содержание будущего воззвания и предложил заглавие, лишь немного отличавшееся от того, какое дал ему в конце концов Бакунин. Это конечно не значит, чтобы воззвание обязано было своим появлением всецело инициативе Мюллера. Бакунин наверно и до того задумывался над необходимостью такого выступления, может быть, он даже начал набрасывать его отдельные части. Если верить его показанию от 15 июня 1850 г. в Праге, то он начал писать воззвание к славянам, когда Елачич в октябре двинулся на Вену, а закончено оно было после взятия Вены имперскими войсками. Но так как в середине октября Елачич уже стоял под Веною, то, если верить точности бакунинского показания, выходило бы, что он начал составлять воззвание в первой половине октября, т. е. до получения письма Мюллера. Мы все-таки думаем, что он ошибается, судя по тому, что дальше в том же показании он заявляет, что из печати брошюра вышла только в конце декабря, а из письма Бакунина к Гервегу от 8 декабря (см. № 521) мы достоверно знаем, что к этому дню брошюра уже вышла в свет и даже находилась в руках Бакунина. Таким образом точность дат, приводимых в рассматриваемом показании, возбуждает некоторые сомнения. Потому весьма легко могло случиться, что начал Бакунин писать воззвание во второй половине октября (см. комментарий к № 520). А в таком случае не исключена возможность и того, что приступил он к этой работе вплотную именно под влиянием письма Мюллера, в котором он, разумеется, усматривал и имел право усматривать выражение мнения всей немецкой, по крайней мере берлинской, демократии. Именно от него немецкая демократия ждала такого публичного выступления с отмежеванием от славянской реакционной партии и с предостережением по адресу обманутых славянских демократических масс. Здесь в Кэтене Бакунин мог спокойно и систематически заняться такою работою, которая кстати особенно решительно подсказывалась событиями, разыгравшимися после его прибытия в Дессау, в частности походом Елачича и Виндишгреца с их преимущественно славянскими войсками против революционной «немецкой» Вены.

Печатаемый здесь набросок представляет повидимому **первоначальный проект воззвания к славянам**, сильно разнящийся от той редакции, какую автор счел нужным придать ему в окончательном виде. Только отдельные места вошли из первоначального проекта в печатный текст брошюры. Набросок отличается более энергичным стилем, чем последняя редакция, несколько смягченная по дипломатическим соображениям; затем он гораздо больше распространяется о том, что происходило на пражском съезде в июне 1848 г., и наконец он впервые затрагивает социальный вопрос, который затем исчезает из окончательной редакции, где изложение ведется исключительно с политической и национальной точки зрения. В общем и целом для познания Бакунина документ представляет значительный интерес. По-русски он печатается впервые.

[1] В предыдущих строках Бакунин излагает в сокращенном виде содержание «Манифеста к европейским народам», выпущенного пражским съездом и в значительной части составленного при участии Бакунина (см. в четвертом томе настоящего издания полный текст этого манифеста в комментарии к «Исповеди»).

[2] Подробно о целях инициаторов пражского съезда, о боровшихся на нем тенденциях и о его характере мы говорим в комментарии к «Исповеди» Бакунина в томе IV настоящего издания. Здесь укажем лишь на то, что его инициаторами явились те группы чешской буржуазии, которые хотели

сохранить Австрийскую империю в качестве ими спасенного и от них зависящего орудия и стремились использовать всю революцию для доставления господства в империи чешскому капиталу вместо низвергнутого немецкого. Эту партию Палацкого, Ригера, Туна и пр. и имеет здесь в виду Бакунин.

[3] Когда под давлением крестьянских и ремесленных масс пражский съезд начал обнаруживать демократические поползновения и ускользать из-под руководства реакционной партии, правительство, вероятно по соглашению с чешскими реакционными элементами, спровоцировало восстание студентов и рабочих 12 июня, которое закончилось бомбардировкою и капитуляциею Праги, разгоном славянского съезда, арестами демократов и пр.

[4] Потерпев ряд неудач в стычках с венгерскими революционными войсками, авантюрист Елачич, послушный приказам камарильи, повернул вдруг с своею «славянскою» армиею, собранною якобы для борьбы с мадьярскими притеснителями славянства, на Вену, где незадолго до того произошла демократическая революция. Для того, чтобы вернее обмануть своих солдат и заставить их злее драться с революционерами, этот демагог обратился к чешскому обществу «Славянская Липа» в Праге с письмом, в котором провозглашал себя верным слугою славянства и заявлял, что идет против Вены как против резиденции «немецкой партии». Об этом см. подробно в комментарии к «Исповеди» в томе IV настоящего издания.

[5] Гусс, Иоганн (1373—1415) — чешский богослов, предшественник реформации, осужден как еретик католическою церковью и сожжен на костре; Жижка, Ян (1380—1424) — чешский военачальник, вождь гусситов, восставших против католицизма и империи. Оба считаются национальными героями чехов, и имена их особенно часто повторялись в 1848—1849 гг., причем некоторые предводители славянских отрядов даже принимали имя Жижки, например Янечек.

[6] Часть пражской интеллигенции, увлекаемая национальною враждою, а отчасти и материальными соображениями, выражала тогда готовность включиться в армию Виндишгреца для борьбы с венцами, несмотря на то, что за 4 месяца до того этот самый Виндишгрец разгромил Прагу и положил конец чаяниям чешской демократии.

[7] О «социальном вопросе» здесь Бакунин заговаривает впервые, и это для него характерно. Ибо в то время он стоял на чисто демократической позиции, причем в качестве «крестьянского социалиста», т. е. человека, готового в определенные моменты занять место на самом левом фланге демократии, договаривался до анархистских деклараций, впрочем вполне укладывающихся в рамки мелкобуржуазного социализма. Его занимали главным образом вопросы о «свободе» в самом широком и неопределенном смысле, а затем вопрос национальный, в частности вопрос об освобождении славянства. «Социальный вопрос», т. е. вопрос об освобождении пролетариата, об отмене частной собственности, о создании общества, в котором невозможно деление на классы и эксплоатация одного класса другим, скользил мимо его внимания, о нем он не говорил, да и аудитория у него была для этого неподходящая. В этом смысле рассматриваемые страницы, где Бакунин в 1848 году впервые заговаривает о «социальном вопросе», представляют для нас большой интерес.

Неудивительно, что когда ему пришлось заговорить о социальном вопросе, о котором он до тех пор мало думал, он сделал это слабо и туманно. Подход к вопросу у него здесь чисто идеалистический, пролетариата и его классового движения не видно, речь идет о доброй воле и содействии «всех». Взаимоотношения классов рассматриваются им как случайные, как продукт интриги реакционеров и т. п. Так разрыв между буржуазией и рабочим классом в середине 1848 года он с наивно-идеалистической точки зрения признает продуктом непонимания с одной стороны и подстрекательства с другой. Отказ буржуазии вооружить пролетариат объясняется недоразумением и т. п. Бакунин сам видимо чувствовал слабость этих рассуждений о социальном вопросе и не включил их в окончательную редакцию брошюры, тем более, что он вероятно хотел избежать кривотолков и не-

напугать свою мещанскую аудиторию, подорвав этим эффективность своего воззвания.

№ 519. — Оригинал хранится в дрезденском архиве во втором томе дела против Бакунина под № 1285g. Повидимому это — черновик отправленного письма, взятый вероятно у Бакунина при аресте его в мае 1849 года. Напечатано впервые в цитированной книге Пфицнера (стр. 93), откуда мы его и заимствовали. Написано оно по-французски: Бакунин видимо предпочитал этот язык, который лучше знал, немецкому и писал на нем даже немцам, как например Мюллеру. Так как воззвание к славянам было вероятно закончено во второй половине ноября, то и данное письмо относится к этому времени. Оно показывает, что Мюллер-Стрюбинг не только подсказал идею брошюры, но и участвовал в ее переводе и распространении. Он переводил те части воззвания, которые были написаны у Бакунина по-французски, и правил слог в тех частях, которые автор сам писал по-немецки.

[1] Мюллеру не удалось подыскать польского переводчика. Ни одно из названных в письме лиц не взялось за перевод брошюры на польский язык; эту работу выполнил приятель и поклонник Бакунина Юлий Андржейкович.

Андржейкович, Юлий — польский эмигрант из Вильно, демократ; Бакунин познакомился с ним еще в Париже; снова встретились они в Бреславле в 1848 году. Андржейкович приехал в Познань из Франции для того, чтобы принять активное участие в борьбе за свободу Польши, но остался не у дел. Он принадлежал к числу демократов, озлобленных ходом дел во время революции, неспособностью и нерешительностью вождей, изменою буржуазии, торжеством реакции и т. п. Он стал сторонником бакунинских взглядов и весною 1849 года оказывал ему посильное участие в осуществлении задуманных им планов.

[2] Шуман, Генрих (1822—1910) — польский писатель и политический деятель, уроженец герцогства Познанского; учился в университетах Бреславльском, Бонском и Берлинском, временно служил в судебном ведомстве, затем занимался сельским хозяйством. В 1848 вращался в демократических кругах, но позже сильно поправел. С 1863 г. был редактором газеты «Dziennik Poznansky» и депутатом прусского ландтага, с 1870 г. — председателем Польского Коло. Написал ряд журнальных статей и книг, в том числе «Воспоминания о 1848 годе» и «Биографический очерк К. Либельта».

[3] Липский, Войцех см. комм. к № 509.

[4] Бервинский, Ричард Викентий (1819—1879) — польский поэт-романтик, родом из княжества Познанского; в Берлинском университете увлекся идеями утопического социализма, в каковом духе написал ряд сатир; удрученный неудачею революции, эмигрировал в Турцию, где вступил в отряд М. Чайковского; там и умер.

[5] Шуман, Панталеон; о нем см. комментарий 3 к № 509.

[6] Ни одно из этих писем пока неизвестно.

[7] Это письмо до нас не дошло, если только было написано.

№ 520. — Напечатано по-немецки и по-польски (в переводе Ю. Андржейковича) в Лейпциге в виде брошюры in 8°. Немецкое заглавие брошюры: «Aufruf an die Slaven, von einem russischen Patrioten Michael Bakunin, Mitglied des Slavenkongresses in Prag. Koethen. Selbstverlag des Verfassers, 1848». На самом деле брошюра была издана не в Кэтене (хотя там написана), а в Лейпциге издателем Кейлем, но сделано это неточное указание было для конспирации.

Два экземпляра этой брошюры на немецком языке имеются в полицейском «Деле» о Бакунине, хранящемся в Архиве Октябрьской революции в Москве, и мы пользовались ими для настоящего издания.

Как мы знаем (см. комментарий к № 518), Бакунин начал писать воззвание около середины октября, скорее во второй трети этого месяца. Писалось оно на французском и отчасти на немецком языке. Судя по словам Бакунина в «Исповеди», он писал брошюру дольше месяца, причем откладывал ее, снова за нее принимался, несколько раз изменял (и как мы

видели, довольно основательно, если сравнить первый набросок с окончательною редакциею) и долго не решался ее печатать, так как ему приходилось лавировать между предубеждениями и интересами двух сторон, примирить которые тогда было очень трудно, если не совсем невозможно; а на почве национальной они были пожалуй тогда и вовсе непримиримы. Так как, судя по письму к Гервегу, напечатанному ниже под № 521, брошюра к 8 декабря уже вышла в свет, то надо полагать, что она сдана была в типографию не позже конца ноября (ведь для набора, корректуры, печати и брошировки требовалось во всяком случае не меньше недели). А так как ее пришлось еще переводить, то приходится допустить, что она была закончена автором примерно в середине ноября. Выходит, что она действительно писалась около месяца.

Издать брошюру взял на себя известный в тогдашних демократических кругах владелец «Славянской книготорговли» в Лейпциге Кейль; напечатана она была типографом Александром Виде.

Кейль, Эрнст К. (1816—1878) — немецкий книготорговец, издатель и писатель; журналистом был с 1837 г., 8 лет работал в чужих журналах и служил в книжной лавке приказчиком в Лейпциге, но с 1845 г. основал собственное издательство, привлекши к сотрудничеству в своем журнале «Leuchtthurm» («Маяк») выдающихся представителей тогдашнего либерально-демократического движения, как Роберт Блюм, Иоганн Якоби и т. п. Журнал подвергался правительственным гонениям и вынужден был беспрестанно менять свое местопребывание, а после революции 1848 г. обосновался в Лейпциге и превратился в демократический еженедельник, пользовавшийся большою популярностью. Кейль специально сочувствовал освободительному движению славянства, что объяснялось влиянием на него И. Леловеля; эту симпатию он перенес и на Бакунина. Возможно, что это и было одним из мотивов, побудивших его нелегально издать «Воззвание к славянам» и заняться его распространением. Какое сильное впечатление Бакунин лично произвел на Кейля, как впрочем и на других лейпцигских демократов, об этом свидетельствует статья Кейля, помещенная им в сентябрьском номере «Маяка» за 1849 год: в этой статье, посвященной характеристике всех сотрудников журнала, пострадавших за революцию, имеется и характеристика Бакунина, приведенная Б. Николаевским в своей статье «Бакунин эпохи его первой эмиграции в воспоминаниях немцев-современников» («Каторга и Ссылка» 1930, № 8/9, стр. 111—113) и перепечатанная нами в комментарии 169 к «Исповеди» в томе IV настоящего издания. Реакция сломила и Кейля, человека вообще неустойчивого. В апреле 1852 г. Кейль посажен был на 9 месяцев в тюрьму, а журнал его в конце концов был закрыт. Однако издательство Кейля росло. Особенный успех имел основанный им с 1853 года семейный журнал «Gartenlaube» («Беседка»), образец для всех изданий подобного рода, в том числе и пресловутой русской «Нивы»; несмотря на преследования правительства, журнал достиг широкого распространения (в 1863 г. 157.000 абонентов, в 1881 г. — 378.000) и обогатил своего «поумневшего» издателя.

Неудивительно, что при тогдашних политических взглядах и настроениях Бакунина, которому вдобавок приходилось лавировать между ожесточенными врагами, ни одного из которых он задеть не хотел, его брошюра невольно носила несколько абстрактный и идеалистический характер, она уговаривала и апеллировала к чести, славе, историческим воспоминаниям и т. п. вещам, так что абстрактность ее в свое время была отмечена в статьях Энгельса «Демократический панславизм» в «Новой Рейнской Газете», посвященных брошюре Бакунина (в номерах 222 и 223 от 15 и 16 февраля 1849; перепечатано в «Литературном наследии» — в 3-м томе немецкого издания, в книге «Маркс и Энгельс в 1848» и в собрании сочинений Маркса и Энгельса, т. VIII, стр. 203—220). Но на современников из славянского демократического лагеря брошюра произвела сильное впечатление и помогла Бакунину возобновить старые и завести новые связи, которые он использовал в своих революционных целях. Она много помогла ему и в деле улучшения его отношений с поляками и немецкими демократа-

ми. При аресте в мае 1849 у Бакунина было отобрано несколько писем литвина из Вильно, Ю. Андржейковича, переводившего брошюру Бакунина на польский язык. В одном из них, относящемся к выходу бакунинской брошюры в свет, Андржейкович писал: «Вчера вечером получил твой манифест — теперь я его прочел. Превосходно! Превосходно! Мне слезы выпали, читая, что ты про твой народ пишешь. На нас влияние он сделает ужасное. Перевести его надо, и то как можно поскорей. Я готов это сделать и начну сегодня».

Как отмечает Пфицнер, размер издания и способы его распространения до сих пор не совсем выяснены. Бакунин, разумеется, особенно важным считал распространение воззвания среди чехов. По словам Бакунина Кейль, а по словам Чейхана — Виде отправили часть тиража в Прагу, которую Бакунин намеревался в будущем сделать опорным пунктом своих революционных предприятий. Крупные пражские книготорговли Борроша и Андре продавали брошюру; экземпляры ее впоследствии найдены были и в восьми других пражских книжных лавках. Брошюра продавалась и в Польше, например в Кракове у Баумгартена (причем стоила довольно дорого: 1 гульден и 15 крейцеров). Палацкий имел брошюру в руках уже на рождество. Сабина, редактор газеты «Noviny Slovanske Lipy», органа общества «Славянская Липа», напечатал в своей газете часть этой брошюры в начале января 1849, причем сам редактор и переводчик брошюры (Подлипский) сопроводили перевод рядом оговорок (Чейхан, стр. 136, прим.). Официальная газета «Prager Zeitung» резко напала на Бакунина и на «Известия Славянской Липы», давшие ему приют. В полемике приняли участие и другие чешские газеты (они перечислены у Пфицнера на стр. 85, прим. 2), причем большинство высказывалось за Сабину. Вмешался и Палацкий, напечатав в той же «Prager Zeitung» «Вынужденное заявление» (перепечатано в его «Мелких сочинениях», «Spisi Drobne»), в котором естественно возражал против антиавстрийской и революционной позиции Бакунина и пытался даже оспорить у него звание члена пражского съезда. Ответа Бакунина Сабина не поместил. Об этом см. подробно в комментариях к «Исповеди», в томе IV.

Ничего удивительного нет в том, что австрийские власти начали судебное преследование против брошюры и ее автора по обвинению последнего в государственной измене; но австрийскому правительству пришлось подождать два года, раньше чем заклятый враг его попал к нему в руки.

Так как Бакунин кроме немецкой демократии и прогрессивных элементов славянства интересовался еще мнением европейской свободомыслящей публики, то он пытался распространить свою брошюру и на Западе, особенно во Франции. Ему повезло здесь в том отношении, что кроме старого приятеля Гервега он имел теперь в Париже Мюллера-Стрюбинга, который с начала декабря перебрался во Францию и сразу попал в общество передовых людей, в частности окружения Жорж Занд, Виардо и т. п., не считая Герцена, Гервега и т. д. Именно Мюллеру Бакунин через мадам Виардо, подругу И. С. Тургенева, послал два пакета с воззваниями, сопроводив некоторые из них письмами к отдельным лицам. Пфицнер приводит ряд таких имен, как Флокон, Рибейроль, Жорж Занд, Лавирон (Пфицнер ошибочно пишет Лавизон), Рейхель, Гервег, которые он нашел на одном черновом листке воззвания и которые, как он предполагает, и являются перечнем возможных адресатов брошюры во Франции (стр. 87). Мюллер должен был раздать брошюры и письма адресатам. Отклики не замедлили воспоследовать. Флокон, которому Бакунин послал брошюру с большим письмом, содержавшим изложение его дальнейших революционных планов, немедленно приступил к печатанию французского перевода воззвания в своей газете «Реформа» (с 1 по 14 января 1849). При этом редакция предпослала переводу брошюры следующее сочувственное автору ее предисловие:

«Революционное произведение, перевод которого мы дальше даем, появилось на немецком языке в Лейпциге.

«Это — труд мужественный и энергичный. Наши друзья не забыли

того русского изгнанника Михаила Бакунина, который политикою Луи Филиппа, подчиненною политике царя, был выслан из Франции незадолго до февраля. С тех пор русский демократ Бакунин принял участие в пражском славянском конгрессе, стремясь согласно его всегдашним заявлениям к осуществлению проекта широкой демократической славянской федерации, которая своими братскими узами охватила бы одновременно славянские народы Австрии, освобожденные народы России и народы Польши, восстановленной и освобождённой от ига самой варварской тирании.

«Но этот человек непоколебимых убеждений и необычайного мужества и активности, перед взглядами которого, которые мы в то время рассматривали как благородное мечтание энтузиаста, мы преклонялись, этот человек внушал тревогу и страх Николаю.

«Сначала он пытался преследовать его руками Гизо, но этому помешала разразившаяся революция. Тогда царь пустил в ход другую тактику, гнусную, но вполне достойную московской политики. Из Петербурга дан был сигнал многочисленным услужающим во Франции, Германии и Польше; и повсюду распущен был слух, что демократ Бакунин, имение которого было однако конфисковано Николаем, является русским агентом...

«Это была презренная клевета, которой противоречили действия нашего друга и которую он ныне опровергает своим воззванием к славянам, в котором, приглашая их взяться за оружие и осуществить истинный панславизм, он разоблачает перед ними как русскую аристократию, так и австрийский деспотизм в качестве вековечного, но лицемерного врага национальностей, свободы и славянской расы.

«В предлагаемом читателям произведении наш друг рассматривает европейский вопрос, в настоящее время разрешающийся в Германии и на берегах Дуная, с большою глубиною взглядов и под совершенно новым для нас углом зрения; вместе с тем он обучает славян революционной практике. Мы, немецкие и французские демократы, крайне заинтересованные в возгоревшейся на Дунае борьбе, можем почерпнуть в этой брошюре ряд поучений».

По какой-то непонятной для нас причине Бакунин в то время не узнал ни об этой сочувственной заметке, ни о перепечатке его воззвания в «Реформе». Не получив от Флокона ответа на свое сопроводительное письмо, он решил, что и Флокон поверил клевете на него, и прекратил с ним переписку. Только в тюрьме он узнал, что «Реформа» тепло откликнулась на его брошюру (см. «Исповедь»).

Брошюра несомненно дошла и до Прудона, о чем свидетельствует статья «Панславизм», напечатанная в прудоновской газете «Le Peuple» («Народ») от 7 января 1849 (мы приводим ее в комментарии 188 к № 547). Эта статья, в общем написанная в сочувственном бакунинским взглядам тоне, говорит, хотя и не вполне определенно, уже о воззвании к славянам.

Бакунин заботился и о распространении брошюры среди демократов немецких и польских. Тот же Пфицнер (стр. 87) приводит из «Дела» о Бакунине, хранящегося в саксонском государственном архиве, список имен, набросанных на листке черновика воззвания к славянам и вероятно показывающих, кому из них он собирался послать брошюру по выходе ее. Среди них имеются имена таких людей, как Фальк, Энгельман, Рюль, Фриденсбург (Бреславль), мадам Пиаго Зигмунд, Оппенгейм, Земрау, Крашевский, Косцельский, Лукашевич, Цыбульский, Рейхель, Гервег, Варнгаген (Берлин и пр.). Бакуниным прибавлено здесь: «писать». Повидимому речь шла о лицах, которым брошюра должна была рассылаться с сопроводительным письмом. 12 имен Пфицнер к сожалению не разобрал.

Немецкие демократы в общем отнеслись с симпатией к брошюре Бакунина. Особенно сильно выступала в их защиту «Дрезденская Газета», в которой Виттиг поместил сочувственный отзыв о брошюре в № 18 от 17 января 1849 и которая вскоре сделалась в славянском вопросе почти органом Бакунина. Кейль, поместивший сочувственную заметку о воззвании в своем «Маяке», перепечатал в нем часть воззвания под заглавием

«Революция в России»; и даже спустя долгое время после того, как Бакунин попал в тюрьму, Кейль напечатал в своем журнале анонс о «Воззвании».

Об отзыве Энгельса мы говорили выше.

Воззвание нашло отклик и среди польских демократов. Более молодые и горячие из них, вроде Андржейковича и подобных, были в восторге от него. Но и официальный орган польской демократической эмиграции «Польский демократ» от 17 февраля 1849 г. дал частичную перепечатку брошюры [5].

Николаевских жандармов брошюра Бакунина привела в величайшее негодование. В «Деле» Бакунина сохранилась записка (вероятно Нессельроде к Орлову или, может быть, Мейендорфа к Нессельроде), при которой адресату была прислана брошюра. Вот что она гласит: «Посылаю Вам брошюру Бакунина так же гнусную, как и все, что он написал. В настоящем сочинении только замечательна уверенность, с которою он говорит о духе, обнаруживающемся вследствие революции в наших войсках, и о республиканских стремлениях в Москве. Все слухи, касающиеся этих двух пунктов, — выдумка Бакунина. Может быть, он их распространяет только для того, чтобы нас тревожить. Он поощряет к решительным мерам, но, сколько мне известно, он не находится в связях ни с одним из русских путешественников и не имеет сношения с Россиею. Иногда рождается у меня мысль, что этого подлого человека можно склонить принять помилование с условием жить в одной из внутренних губерний Империи под строгим присмотром полиции и со внушением ему, чтобы он вел себя смирно».

С своей стороны, ознакомившись с брошюрой, Дубельт писал шефу жандармов: «Я с ужасом читал ядовитые возгласы Бакунина и простите меня, ваше сиятельство, ежели осмелюсь сказать, что грешно будет нашим посольствам не употребить тайных стараний задержать его и доставить в Россию. Оскорбление величества этим извергом, его желание уверить немцев в нечистоте намерений и действий государя, возбудить в наших вольнодумцах неповиновение и развить в них разрушительный дух Запада может рано или поздно принести горькие плоды, а потому было бы необходимо послать даже отсюда верных людей, чтобы схватить этого злодея» (Дубельт явно имел здесь в виду убийство Бакунина, ибо это николаевским агентам было бы легче осуществить за границею, чем схватить там Бакунина и доставить его в Россию. Было ли что-нибудь сделано для выполнения этого жандармского плана, нам неизвестно). На этом докладе гр. Орлов надписал: «Об этом лично я докладывал г. императору и сказал его величеству, что у меня не только духу недостало представить ему сих скверностей, но сам едва мог оные прочитать с омерзением».

Брошенная в разгар ожесточенной национальной и классовой борьбы, брошюра, разумеется, не могла оказать какого-либо заметного влияния на ход событий. Вряд ли даже она получила широкое распространение (хотя, как мы видели, она была в извлечениях, иногда довольно больших, перепечатана многими газетами, особенно чешскими). Но если непосредственное влияние ее было ничтожным, то посредственно она сыграла свою роль в том смысле, что обратила на автора внимание молодых славянских, в частности чешских демократов, которые начали чувствовать в нем своего будущего вождя. Так было например с братьями Страка, которые позже сделались его главными агентами по подготовке вооруженного восстания в Богемии весною 1849 года. С другой стороны она доставила ему также популярность среди таких немецких демократических кругов, которые до того вовсе его не знали или имели о нем превратное представление, отождествляя его с панславистами типа Палацкого или Л. Штура, этих вольных или невольных агентов австрийского абсолютизма.

На русский язык брошюра переводилась неоднократно. Переводы ее помещены в женевском издании «Писем» Бакунина под ред. М. Драгоманова, в русском издании этих писем И. Балашова, в «Избранных сочинениях» Бакунина, первый и единственный том которых вышел в Лондоне в 1915. Для настоящего издания перевод сделан Б. Гимельфарбом.

[1] Речь идет о трех разделах Польши между тремя восточно-европейскими монархиями (Россией, Австрией и Пруссией). Но после того как последняя вольная польская территория Краков в результате движения 1846 года была передана Австрии, никаких остатков Польши уже не имелось.

[2] Бакунин имеет здесь в виду консервативную часть чешской общественности, идейными выразителями которой была группа Палацкого, Ригера, Браунера, Шафарика и пр. Они стояли за сохранение Австрийской империи, но наивно мечтали о придании ей славянского характера, о перенесении столицы в Прагу и о короновании там императора. Выражая интересы чешской поместной аристократии и высших кругов буржуазии и опираясь на мещанские круги, эта группа сыграла самую реакционную роль в революции 1848 и способствовала ее разгрому, в результате чего положение славянства естественно ухудшилось.

Ригер, Франц Ладислав (1818—1903) — чешский политический деятель умеренно-либерального направления, панславист австрийского толка. Замешанный до 1848 в политическое движение, принужден был оставить государственную службу и заняться публицистикой. Это доставило ему известность, и в 1848 он был избран в австрийский сейм в 7 округах; в сейме он вместе с своим тестем Палацким выступал от имени чешских националистов, представлявших интересы крупных собственников. Участвовал на пражском славянском съезде, где поддерживал политику Палацкого, т. е. защиту австрийской монархии от немецкой демократии. Впоследствии один из вождей партии старочехов-консерваторов. С 1859 один из редакторов чешской энциклопедии. В 1867 участвовал в славянском съезде в Москве, носившем казенно-царистский характер.

Шафарик, Павел Иосиф (1795—1861) — чешский ученый и политический деятель консервативного направления, славяновед и историк; словак по происхождению, писал по-чешски и по-немецки. С 1833 поселился в Праге, где был при абсолютизме цензором чешских газет, а с 1848 сделался одним из библиотекарей университетской библиотеки. Сделал Прагу центром славяноведения, куда приезжали учиться и русские ученые, по большей части панслависты. Издал много трудов, из которых главный «Славянские древности» (вышел в 1837 один том, переведенный в 1848 на русский язык). В революции 1848 выступал как один из пособников политики Палацкого и сыграл таким образом такую же реакционную роль, как и другие вожди чешского национализма, агенты австрийской камарильи.

О Палацком и Браунере см. ниже, стр. 541.

[3] Елачич, Иосиф (1801—1859) — австрийский генерал, бан Кроации, выдвинувшийся благодаря разжиганию ненависти кроатов к эксплоатировавшей их венгерской аристократии; в 1848 по требованию своих соотечественников был произведен в генералы и назначен баном Кроации, Славонии и Далмации. Вследствие столкновения с венгерским правительством был смещен императором Фердинандом, но, понимая лицемерие этой меры, сохранил свое звание и власть, а когда камарилья сочла возможным сбросить маску и открыто выступить против революции, Елачич сделался одним из важнейших ее агентов. Он объявил войну Венгрии, двинулся на нее со своим славянским войском, затем напал на революционную Вену и способствовал взятию ее войсками Виндишгреца, захватил вместе с последним на время Будапешт, но в конце концов был венграми разбит и сошел со сцены. Получил титул фельдцейхмейстера и возведен в графское достоинство. Один из вождей реакции в 1848—1849 и виновников поражения революции.

[4] Кошут, Людвиг (1802—1894) — венгерский государственный деятель, адвокат, журналист либерального направления, за свою журналистскую работу приговорен к трехлетнему заключению (1837—1840), что доставило ему ореол мученика за свободу; по выходе из тюрьмы основал либеральную газету «Pesti Hirlap», имевшую огромный успех. Основал общество для содействия развитию отечественной промышленности. Избранный депутатом в венгерский сейм в 1847, Кошут стал во главе народно-национальной партии. В первом венгерском кабинете 1848 Батиани предложил ему министерство финансов; после отставки Батиани перед вспышкою революции Кошут

сделался главою венгерского правительства. В ответ на переход австрийской камарильи в наступление на Венгрию Кошут провел в парламенте низложение Габсбургов и провозглашение Венгрии независимой республикой. Разгромив силы славянской и австрийской реакции, Кошут пал перед русской интервенцией, после чего эмигрировал и уже не возвращался на родину.

[5] «Demokrata Polski» («Польский Демократ») — главный орган польской демократической эмиграции. Основан в 1837 и выходил под политическим руководством «Централизации» (ЦК демократической эмиграции), причем редактором его был Казимир Томкевич. В 1841 отделился от «Централизации», вследствие чего Томкевич был объявлен изменником, а д-р Дараш начал издавать под тем же заглавием журнал в Париже; редакторами его были Висниовский и Дараш; с 8 по 10 том редактором был Том. Крыжановский. В 1851 выходил в виде еженедельника под ред. известного демократа Ст. Ворцеля. В 1854 выходил в Лондоне под ред. Жабицкого. С 1857 по 1862 издавался «Демократическим Товариществом» в Лондоне; заведывал редакциею Ант. Жабицкий.

№ 521. — Напечатано в книге «1848», стр. 225—229. Оригинала этого письма в коллекции Онегина, находящейся в б. Пушкинском Доме, не имеется, так что мы в данном случае принуждены довольствоваться тем текстом, какой дан издателями переписки Гервега, и только в одном месте мы исправляем его по смыслу. Перевод сделан Б. Гимельфарбом.

[1] Гагерн, Генрих (1799—1880) — немецкий государственный деятель, либерал, перебежавший на сторону реакции, представитель интересов и настроений крупной буржуазии. Был депутатом гессенского сейма в 1832; в 1847 переизбран; в 1848 был поставлен великим герцогом гессенским во главе либерального министерства, призванного предупредить революцию. Затем был президентом Франкфуртского парламента, где проводил политику уступок реакции и соглашения с нею; той же политики он держался, когда сделался главою национального правительства. Стремясь к объединению Германии во главе с Пруссией, он в 1849 провел постановление, коим корона Германской империи предлагалась прусскому королю; после того как вследствие отказа прусского короля эта политика потерпела поражение, Гагерн сложил с себя свои функции и вышел из парламента.

[2] Если верить «Исповеди», то о возвращении в Париж Бакунин начал подумывать уже в августе 1848 во время пребывания своего в Берлине, где он чувствовал себя весьма скверно. Но он по его словам «не мог и не хотел возвратиться в Париж, единственное прибежище, которое (ему) оставалось, не доказав сперва на живом деле искренность своих демократических убеждений». В Берлине он часто встречался с Эмануилом Араго, послом Французской республики при прусском дворе и своим старым знакомым по Парижу. Когда Бакунин занялся своими богемскими конспирациями, для успеха которых ему необходимо было много денег, которых он в Германии не мог достать, у него естественно возникла мысль съездить на некоторое время в Париж как для изыскания средств, так и по ряду иных соображений: «хотел я было ехать в Париж отчасти за деньгами, отчасти чтоб войти в сношения с французскою и польскою демократиями, а наконец и для того, чтобы познакомиться там с графом Телеки, бывшим посланником или вернее агентом Кошута при французском правительстве, и войти через него в сношения с самим Кошутом; но, обдумав, отказался от сей мысли». Дело в том, что от Рейхеля Бакунин узнал о невыгодном для него впечатлении, произведенном клеветнической корреспонденцией в «Новой Рейнской Газете». А подтверждение этого сообщения Рейхеля он усмотрел в том факте, что Флокон не ответил ему на его письмо (на самом деле Флокон хорошо относился к Бакунину и напечатал в своей газете «Реформа» перевод его воззвания к славянам; но тогда Бакунин об этом не знал). Таким образом задуманная поездка Бакунина в Париж в то время не состоялась.

№ 522. — Отобрано у Бакунина при аресте в мае 1849 года. Оригинал этого отрывка находится вероятно в саксонских архивах. Копия находится в числе немецких бумаг в «Деле» о Бакунине (л. 290).

Этот отрывок показывает, что Бакунин старался всюду выискивать силы, способные составить оппозицию николаевскому режиму. Повидимому он не возлагал никаких надежд на прибалтийских немцев, эту коалицию крупных помещиков и самодовольных мещан, отличавшихся всегда консерватизмом и монархическим сервилизмом, тогда как предполагаемый адресат письма, каковым по нашему был какой-то остзеец и притом немец, очевидно считал возможным проявление и этими элементами оппозиционных чувств.

№ 523. — Отобрано у Бакунина при аресте в мае 1849. Копия этого документа находится на лл. 274—276 «Дела» о Бакунине среди взятых у него французских бумаг *. Перевод этого письма напечатан в первом томе «Материалов для биографии Бакунина», стр. 36—38. Мы даем новый перевод.

[1] Скуржевский, Илиодор, граф (1792—1858) — польский общественный деятель, познанский помещик, принадлежавший к аристократической части польской патриотической общественности. В молодости участвовал в войсках Наполеона I. Он был членом познанского сейма и попал в польскую делегацию на соединенный ландтаг 1848 г., где с другими поляками поддерживал оппозицию. Но держался он весьма умеренных взглядов, был противником революционных методов борьбы даже в борьбе за национальное освобождение и рассчитывал больше на поддержку дипломатии великих держав, в частности Франции. Старался влиять на французского посла в Пруссии Сиркура, а в мае 1848 г. поехал в Париж в наивной надежде оказать влияние на Ламартина, от которого конечно ничего не добился. В демократическом польском лагере к нему относились недоверчиво и даже враждебно, в частности за его дружбу с Сиркуром, заведомым врагом польской свободы. Бакунин познакомился с ним в Бреславле. Между прочим их сближению способствовала принадлежность обоих к масонству. В литературе о Бакунине уже высказывалось предположение, что Бакунин был масоном. Такое предположение высказал и я в томе II моей работы о Бакунине, но относил это к 60-м годам (стр. 292). Теперь оказывается, что Бакунин был масоном уже в 1848 г., и, надо думать, сделался им еще раньше (возможно во время пребывания в Париже до высылки оттуда). В архиве Института Маркса, Энгельса и Ленина мы нашли копию с письма Илиодора Скуржевского к Бакунину от 9 октября 1848, в котором этот факт устанавливается неопровержимо. Оригинал этого письма находится в дрезденском государственном архиве («Acta», II, л. 22). Повидимому это — один из документов, взятых у Бакунина при аресте в мае 1849 и почему-то недоставленных русскому правительству, а значит и не находящихся в департаментском «Деле» о Бакунине.

Вот что Скуржевский пишет (по-немецки) Бакунину в Дессау:

«Бреславль, 9/10. 1848.

«Я рад, что узнал в тебе брата; диплом твой я скоро тебе доставлю и для ускорения дела еще сегодня напишу в Париж.

«Прими бр [атский] привет в известной тебе форме.

Твой друг и бр[ат] Илиодор граф Скуржевский.

---

* Надо заметить, что в писарской копии фамилия Скуржевский переврана в Сторжевский. Так я и писал ее в первом издании моей книги о Бакунине на основании «Дела». Но из дальнейшего изучения литературы я убедился, что действительная фамилия его пишется Skórzewski (см. например Henryk Szuman — «Wspomnienia Berlinskie i Posnanskie z r. 1848», Варшава 1900, стр. 8; Пфицнер в своей немецкой книге пишет Skorzowski без значка на букве о, которого нет в немецком шрифте и который заставляет читать эту букву как русское у). Но В. Полонский продолжает в своих работах, написанных после того, писать эту фамилию как Сторжевский (так же она пишется у него в «Материалах», том II, стр. V, VI, 101, 104, 106, 141, 142, 153, 353, 354, 355, 357, 360, 367, 688, 721). См. также наш комментарий к № 525 в томе III и к № 542 в томе IV, а также комментарий 235 к «Исповеди» (том IV, № 547).

«Советую тебе усердно посещать в Германии л. л. [т. е. ложи масонские.. — *Ю. С.*], для того чтобы получше подготовиться к званию М[астера], к чему у тебя имеются все данные».

(Неполный и плохой перевод этого письма напечатан в «Материалах», т. II, стр. 104).

В Париж Скуржевский повидимому собирался писать в «Великий Восток», являющийся главным центром французского масонства.

Сомневаться после этого письма в принадлежности Бакунина к масонству уже в 40-х годах не приходится.

Сам Бакунин показал на допросе, что в масонскую ложу ввел его Скуржевский. Но здесь речь могла итти только о германской ложе. Слова письма «я рад, что узнал в тебе брата» (возможно по тайному знаку) показывают, что Бакунин был масоном до встречи с Скуржевским. Да и тот факт, что Скуржевский собирался писать по масонским делам Бакунина в Париж, доказывает, что Бакунин имел какое-то отношение к французским ложам.

Отсюда ясно, что попытка Неттлау опровергнуть показание А. Рейхеля, согласно которому Бакунин был масоном в Париже в 1844 — 1847 годах, и утверждать, будто Бакунин сделался масоном только во Флоренции в 1864 г., не выдерживает критики (стр. 22 — 23 его итальянской книги о Бакунине). А. Туччи рассказывал Максу Неттлау, что Бакунин во Флоренции старался изменить характер масонских лож и, не преуспев в этом, мечтал даже о создании новых, независимых, и продолжал заниматься тем же делом и в Неаполе в 1865 году.

Неттлау приводит следующий любопытный документ, относя его к Неаполю и к 1865 году.

Великая Консистория Шотландского Рит[уала] А.·. А.·. долины Арно.

Всем RR ⧉ и Высшим органам масонским в Италии.

Почтеннейший брат Михаил Бакунин едет по своим делам в сей Г.·. (город?), и потому мы горячо рекомендуем его всем RR ⧉ и высшим органам (corpi) масонским, принадлежащим к масонству в Италии.

Ген. Оратор: Бартоломео Одичини. — Ген. Президент: Джузеппе В. де Цуньи.

Великий Восток Итальянского Масонства. — IV-я секция долины Арно.

Ог. Флоренции, 3 д. 4 года. — V. L. 5865.

Относится к 1865 году; дано для Неаполя.

[2] Польский перевод воззвания Бакунина к славянам сделан был Юлием Андржейковичем.

[3] В Праге Бакунин побывал в начале марта в связи с своим замыслом подготовить демократическое восстание в Богемии, долженствовавшее совпасть с восстанием, которое готовили на весну немецкие демократы. О подробностях этой поездки будет сказано в следующем томе в связи с «Исповедью» Бакунина.

[4] У Скуржевского в декабре 1848 года умерла дочь Клавдия.

[5] Здесь речь может итти о двух вещах: или 1) об «Основах новой славянской политики» (см. выше под № 500), что впрочем сомнительно, так как к этому времени упомянутая статья была уже напечатана по-польски и по-немецки; или 2) о том манифесте славянского съезда в Праге к народам мира, который был выпущен от имени съезда и в составлении которого Бакунин видимо принимал участие вместе с Либельтом. Об этом см. в следующем томе.

№ 524. — Напечатано в книге «1848», стр. 229 — 230. Переведено Б. Гимельфарбом.

[1] Полина В и а р д о была возлюбленною И. С. Тургенева. М ю л л е р - С т р ю б и н г, переехавший во Францию, был с нею близок (возможно, что он познакомился с нею через Тургенева). С русскими, в том числе

и с Бакуниным, он сохранял дружбу и при случае оказывал им разные услуги.

[2] Возможно, что в этом пакете и содержалось письмо Бакунина к Флокону и посланный ему экземпляр воззвания к славянам, которое Флокон перепечатал в «Реформе», о чем Бакунин в свое время не узнал. Естественно, что он считал доставку своего воззвания по намеченным адресам весьма для себя важною, так как оно должно было по его мысли рассеять подозрения, возбужденные по сообщению Рейхеля из Парижа против него во французских демократических кругах.

[3] Повидимому здесь речь идет о процессе, возбужденном против Бакунина австрийским правительством за его воззвание к славянам, распространявшееся также и в Праге и содержавшее призыв к разрушению Австрийской империи, и за его участие в пражском съезде и в июньском 1848 года восстании, сорвавшем этот съезд. О новом заговоре Бакунина против безопасности австрийского государства венское правительство вероятно еще не успело узнать. Этот заговор был раскрыт только в мае 1849.

№ 525.— Это второе воззвание Бакунина к славянам было напечатано в № 94 «Дрезденской Газеты» от 20 апреля 1849 под заголовком «Die Russen in Siebenburgen. Eine Ansprache an die Czechen» («Русские в Седмиградии. Обращение к чехам»), но вышло в свет раньше отдельною брошюрою. Написано оно Бакуниным вероятно в феврале 1849, напечатано по-немецки в Лейпциге в конце февраля или в начале марта; около того же времени было распространено, так как богемские власти знали о нем уже в середине апреля. Адольф Страка перевел его на чешский язык, так что оно напечатано было в виде листка на двух языках. В таком духе показывал Бакунин перед австрийской следственной комиссией (это показание цитирует В. Чейхан в своей книге, стр. 38, 45, 82, прим. 181). Один экземпляр воззвания на немецком языке имеется в архиве австрийского министерства внутренних дел, откуда его перепечатал Чейхан в приложении к своей книге; мы перевели его оттуда. Но до сих пор не найден ни один экземпляр этого воззвания на чешском языке.

Второе воззвание к славянам рассылалось при следующем препроводительном письме: «События в Австрии приближаются к развязке. Все национальности были обмануты и обойдены, поэтому всякая борьба между ними должна умолкнуть, и все они должны братски объединиться против общего врага. Ближайшие дни принесут и должны принести нечто значительное и важное, пусть же каждый, кто искренно любит свободу, находится на своем месте и выполняет свой долг. Демократический [немецкий] народ рассчитывает и полагается на благородный чешский народ, что тот примет протянутую ему братскую руку и будет вместе с ним участвовать в общей борьбе. Только тогда, когда свободна будет Германия, славяне также добьются своего права, и только тогда, когда Германия заключит братский союз с славянами как вольными своими соседями, она в состоянии будет отстоять свою свободу. Вы известны как настоящий патриот и будете посильно действовать в своем кругу. Препровождаемые при сем воззвания будут Вам доставлены на Вашем родном языке, и Бакунин просит распространить их в Вашей местности. Благоволите передать часть этой посылки господину Мастей и доктору медицины Шлехте. Необходимо спешить, дело не терпит отлагательства».

Этот документ находится во втором томе «Дела» Бакунина, хранящегося в саксонском госархиве, том II, № 1285с, лист 4, и перепечатан у К. Керстена, стр. 99—100, откуда мы его и заимствовали. На допросе 30 мая 1849 года Бакунин отрицал авторство этого циркуляра, но по всему ходу мыслей, по стилю и изложению это — вероятнее всего произведение Бакунина.

На русском языке перевод этого воззвания был опубликован в № 17 «Красного Архива» за 1926 год с некоторыми пропусками (в том числе и с пропуском заглавия) и неточностями. В предисловии к этому переводу В. Полонский сообщает: «Оно было напечатано в № 49 газеты «Dresdener Zeitung», в июне месяце 1849 г., на немецком языке, переведено затем на

чешский язык и, отпечатанное в Лейпциге, распространено в большом количестве экземпляров» (стр. 138). Здесь что ни слово, то ошибка или недоразумение *. Начать с того, что если Бакунин мог получить от редакции «Дрезденской Газеты» несколько экземпляров ее для раздачи своим друзьям (как несколькими строками ниже сообщается тем же В. Полонским, цитирующим показание Бакунина на допросе), то это никак не могло происходить в июне 1849, ибо в это время Бакунин сидел уже в тюрьме (арестован 10 мая 1849) и никак не мог раздавать газету своим друзьям. И дальше: воззвание было перепечатано (а не напечатано, как пишет В. Полонский) не в № 49, а в № 94 «Дрезденской Газеты» (ну, здесь может быть вина типографии, перепутавшей номер), и происходило это не в июне, а в апреле 1849 (если бы правилен был № 49, то это происходило бы в феврале). Притом и по-немецки и по-чешски воззвание вышло отдельною листовкою не после появления его в «Дрезденской Газете», а до того, месяца за полтора-два. Полонский же уверяет читателя, что воззвание было «переведено затем на чешский язык». Все это неверно. А произошла вся эта путаница потому, что Полонский не дал себе труда выяснить, о каком вступлении русских войск в австрийские пределы говорится в воззвании. Он полагает, что речь идет о вступлении армии Паскевича в июле 1849, тогда как у Бакунина говорится о вступлении корпуса Лидерса в Трансильванию в январе того же года.

В «Исповеди» Бакунин правильно рассказывает об этом, но Полонский не понял его рассказа. По словам Бакунина еще до его отъезда в Прагу, т. е. до начала марта 1849, заговорили о возможности вмешательства России в венгерскую войну и о вступлении русских войск в Венгрию (действительно корпус Лидерса из Дунайских княжеств, оккупированных русскими, вступил в Венгрию в январе 1849 и занял там ряд пунктов, в том числе города Германштадт и Кронштадт; см. также А. Нифонтов — «1848 год в России», Москва 1931, стр. 170). Это известие и побудило Бакунина написать второе воззвание к славянам. В «Дрезденской Газете», как правильно указывает Бакунин, оно было «перепечатано потом», а «немедленно (после составления) переведено братьями Страка на чешский язык и напечатано в Лейпциге на обоих наречиях в большом количестве экземпляров». Только последние три слова Полонский понял и передал правильно, все же остальное исказил.

[1] Елачич см. комментарий к № 520[3].

[2] Ра(й)ячич, Иосиф (1785 — 1861) — сербский монах, митрополит Карловицкий, провозглашенный патриархом венгерских сербов на сербском национальном конгрессе в Карловицах 13 мая 1848, один из вождей в борьбе австрийских сербов против венгров, сыгравший подобно другим правым славянским лидерам реакционную роль в революции 1848 — 1849.

[3] Палацкий, Франтишек (1798 — 1876) — чешский ученый и политический деятель, вождь консервативного чешского буржуазно-помещичьего национализма, автор ряда исторических работ, в 1831 создатель «Чешской Матицы»; сторонник «австрославизма», т. е. течения, стремящегося использовать австрийскую монархию в интересах чешских господствующих классов; стоял за сохранение Австрии, якобы необходимой для свободы славянства; впоследствии лидер «старочехов», т. е. партии, подобно нашим октябристам объединявшей помещиков с крупными капиталистами.

[4] Браунер, Франц Август (1810 — 1880) — чешский деятель, националист, умеренно-либерального направления; в 1836 кончил Венский университет по юридическому факультету; интересовался крестьянским вопросом, по которому выпустил ряд работ; в 1848 вошел в чешский Национальный комитет, а затем во Временный совет при наместнике Туне; после июньских беспорядков был арестован вместе с другими членами Национального комитета, но военным судом оправдан. Был избран от Чехии в австрий-

* Это повторено и во втором томе «Материалов для биографии Бакунина», стр. 72 — 73.

ский рейхстаг; вместе с другими правыми чешскими лидерами поддерживал императорскую династию и способствовал гибели революции.

№ 526. — Отобрано у Бакунина при аресте в мае 1849 года. Копия находится в третьеотделенском «Деле» о Бакунине, часть I, лл. 277—278, среди взятых у него французских бумаг. Русский перевод напечатан в первом томе «Материалов для биографии Бакунина», стр. 22—25. Мы даем свой перевод.

Точное назначение этого отрывка неизвестно: он мог составлять часть задуманной брошюры о русских делах и об отношении России к европейской революции; мог бы составить и главу брошюры о европейской политике; мог бы быть наброском отдельной газетной статьи, например для ругевской «Реформы». Проф. Пфицнер в цитированной статье «Бакунин в Пруссии» (стр. 274) высказывает предположение, что это был набросок особой брошюры о Дунайских княжествах под таким именно заглавием, но для такого предположения мы не усматриваем оснований.

По содержанию рассматриваемый документ связан с революционным движением 1848 года в Валахии и с оккупацией Дунайских княжеств русскими войсками. Здесь явно еще не имеется в виду интервенция России в венгерскую революцию, которая началась гораздо позже, хотя была тесно связана с первой пробой интервенции, произведенной Николаем I в эту эпоху. Факты, заставившие Бакунина взяться за перо, состояли в основном в следующем.

Господарь Валахии Бибеско, тесно связанный с Россией и бывший исполнителем предначертаний петербургского кабинета, пользовался благодаря этому величайшей непопулярностью в своей стране. Либеральная партия, мечтавшая об объединении Валахии и Молдавии с присоединением к ним при случае также венгерской части Румынии (Трансильвании) для создания сильного национального государства, требовала отмены органического регламента, навязанного Россиею в 1831 году, и введения конституции. Начались волнения, которые закончились 21 июня 1848 года провозглашением конституции; ввиду сочувствия армии оппозиционерам господарь 23 июня согласился конституцию подписать, но 25 июня отрекся от престола и был заменен временным правительством. Русское правительство, ненавидевшее всякие проявления революционного духа и вместе с тем желавшее использовать благоприятно сложившуюся международную обстановку для новых захватов, двинуло через Молдавию в мятежную Валахию 12.000-й корпус. Под давлением России султан также отказался признать временное правительство, и таким образом валашская революция очутилась в крайне тяжелом положении. Турецкий представитель в Валахии Солиман, понимая, что интервенция выгодна только России, старался проявить мягкость и либерализм, но по требованию России был отозван и заменен новым турецким комиссаром, действовавшим по указке своего русского коллеги. Этим валашское оппозиционное движение было обречено на гибель: либералы были частью посажены в тюрьмы, частью изгнаны из страны. Власть перешла в руки русского генерала Дюгамеля, установившего режим белого террора против противников российского протектората

Вопросом о Дунайских княжествах Бакунин интересовался в частности потому, что они входили в его панславистские планы. Как видно из ряда его заявлений и в частности из «Исповеди», Бакунин допускал, что Молдавия и Валахия (а в крайнем случае даже мадьяры и греки) войдут в будущую славянскую федерацию, причем в случае присоединения к ней турецких славян, не говоря уже о венграх и греках, создастся, как сказано в «Исповеди», «единое вольное восточное государство,.. и что столицею его будет Константинополь». Понятно, что при таких условиях интервенция царизма, сразу срывавшая этот план, не могла его не задевать, тем более, что, как он прекрасно понимал, эта интервенция легко могла перейти в дальнейшую интервенцию против революции в Западной Европе (что позже и случилось).

Определить точно время составления этого документа трудно: он мог относиться и к июлю — августу 1848 г., и к весне 1849 г., когда Бакунин готовил видимо брошюру о русских делах. Имеется впрочем указание Варн-

гагена (т. V, стр. 133), что в середине июля Бакунин писал какую-то статью о Валахии.

№ 527. — Оригинал этого повидимому незаконченного отрывка находится в Дрезденском архиве и написан по-немецки. Адресат этого письма неизвестен, но это вероятно какой-то венгерец, осуждавший реакционное поведение славян в австрийской революции, а может быть даже высказывавшийся против предоставления славянским народам юго-восточной Европы права на самоопределение. Бакунин хотел опровергнуть его фактическими данными, и вот почему дальше им выписаны на том же листе столбцы цифр, касающихся населения Валахии, территориальных владений Турции в Европе и Азии, распределения населения Турецкой империи по национальному признаку с выделением славянских народностей. Такие же статистические данные мы находим и в отрывке, печатаемом здесь под № 526.

№ 528. — Повидимому с осени 1848 по весну 1849 Бакунин подготовлял какую-то работу, общие контуры которой и конкретное содержание для него самого не успели еще выясниться. Отобранные у него при аресте материалы показывают, что мы имеем дело с разрозненными частями некоего единого целого, поглощавшего внимание Бакунина и могущего быть сформулированным приблизительно как взаимоотношения российского царизма и европейской революции или как брошюра о взаимоотношениях между Россией и Польшей (о которой упоминает Варнгаген фон Энзе). Но вместе с тем в процессе работы перед ним повидимому начали вырисовываться контуры не одной, а двух брошюр, которые хотя и были связаны общей темой, но в то же время готовы были вылиться в две самостоятельные работы: одна из них трактовала преимущественно историю возникновения российского самодержавия и современное положение России, ее экономическое и финансовое состояние, происходящую в ней сословно-классовую борьбу и т. п. (что впоследствии и дало брошюру «Русские дела», печатаемую ниже под № 533), а другая должна была говорить главным образом о внешней политике царизма и об его отношении к европейским делам (особенно к Польше). Во всяком случае такое впечатление производят те бумаги Бакунина, которые пока дошли до нас и копии которых находятся в полицейском «Деле» о Бакунине *. Мы и попытались разбить эти бумаги на две группы: одну из них мы помещаем под № 528, дав ей заглавие «Царизм и германская революция», а другую под № 529 как наброски брошюры о русских делах. Впрочем, как мы уже говорили, обе они связаны и содержанием и настроением, так что деление это в значительной мере искусственно и легко может быть оспорено.

Первая группа состоит из трех отрывков: 1) отрывок, помеченный в списке отобранных у Бакунина немецких бумаг № 15 и находящийся на л. 266 «Дела»; 2) отрывок, помеченный там же № 12 и находящийся на лл. 261 — 262 «Дела»; 3) отрывок, помеченный там же № 2 и находящийся на л. 228 «Дела».

Русский перевод этих отрывков с ошибками напечатан в «Материалах для биографии Бакунина», т. I, стр. 35 — 36, 19 — 21, 8. Мы даем новый перевод.

[1] Нессельроде, Карл Роберт, граф (1780 — 1862)—русский дипломат саксонского происхождения; с 1816 стоял во главе российской внешней политики, проводя захваты вовне и поддержку реакции повсюду. В 1848 отсоветовал Николаю I сразу выступить против европейской революции, предпочитая выждать ослабления западных государств в результате ожесточенной классовой борьбы, а тогда произвести интервенцию (как это и имело место в Венгрии). При получении известий о революции в Австрии и Германии Николай I опубликовал манифест 14 марта, содержавший довольно ясные угрозы вооруженным вмешательством; Нессельроде пришлось пу-

---

* Наше предположение подтверждается следующим местом из письма А. Рейхеля к Бакунину от 28 сентября 1848 года (а ведь Рейхель был хорошо осведомлен о делах своего приятеля из его собственных писем): «А как обстоит дело с твоими обоими брошюрами? Неужели и они тоже отно-

тем обращения к российским миссиям в Германии успокаивать возбужденное европейское общественное мнение. Успокоительный циркуляр Нессельроде был разослан послам в начале июля 1848. Циркуляр говорил о миролюбии России, о ее желании сохранять и впредь нейтралитет в европейских делах и уверял, что сосредоточение войск на западной границе имеет чисто предупредительный характер. Об этом циркуляре и говорит Бакунин.

[2] В Познани прусские войска жестоко расправились с польскими патриотами. В Кракове в апреле запретили переход границы полякам-неавстрийцам; это привело к конфликту, который закончился 25 апреля 1848 уличным боем и обстрелом города правительственной артиллерией, после чего население было разоружено, польский национальный комитет распущен, а все эмигранты неавстрийские подданные высланы. Франкфуртский парламент проявил крайний немецкий национализм по отношению к датчанам, к славянам, итальянцам и пр. Обо всем этом Бакунин здесь и дальше и говорит.

[3] Бакунин имеет здесь в виду следующие события, возможно даже повлиявшие на его отъезд из Бреславля в первую декаду июля 1848 года. Благосклонное отношение немецкого прогрессивного общественного мнения к славянам и в частности к полякам, характеризовавшее первые недели мартовской революции, постепенно под влиянием столкновений в Познани, в Богемии и пр. начало уступать место совершенно иным чувствам. Уже в апреле бреславльский демократ Фриденсбург выступил в № 84 «Силезской Газеты» («Schlesische Zeitung») от 8 апреля против основного пункта польской национальной программы, против требования восстановления Польши в старых государственных границах. События в Австрии, где славяне уже начинали выступать как орудие реакции против либерализма и радикализма немецкой мелкой буржуазии, и в частности события, сопровождавшие пражский съезд и не совсем правильно истолкованные немецким общественным мнением, еще ухудшили положение дел. К моменту возвращения Бакунина из Праги настроение бреславльской демократии по отношению к славянам довольно резко изменилось: все славянское движение готовы были считать результатом русских происков. Не отдавая себе в этом отчета, а может быть желая проверить наступивший поворот и направить симпатии демократов по старому руслу, Бакунин по возвращении из Праги вошел в правление бреславльского демократического клуба, насчитывавшего даже после ухода из него умеренной фракции свыше 500 членов и имевшего ряд филиалов, с предложением опубликовать манифест в защиту и охрану национальной свободы и самостоятельности славянства, в частности чехов, от реакционных династических поползновений. Правление единодушно согласилось с этим предложением и внесло его на пленарное собрание демократического клуба 26 июня. Но тут-то и произошло нечто для Бакунина непредвиденное. Демократический публицист Фридман решительно выступил против предложения, принятие которого одно время казалось предрешенным. Возгорелись трехдневные прения. Фридман доказывал, что пражский славянский съезд был проявлением борьбы не за демократию, а за национальность, за расу. Славянскому демократизму (носителем которого между тем был Бакунин) доверять нельзя, как доказывают события последних двух месяцев (отношение чехов к майской революции в Вене, посылка депутации к императору в Инспрук, выступление против выборов в Франкфуртский сейм не только в Богемии, но и во всей Австрии, связь с клерикализмом, симпатии к России и т. п.), все направленные во вред демократии. Поэтому Фридман пред-

---

сятся к числу вечных?» Как известно, Рейхель называл «вечною» ту книгу о Фейербахе, которую Бакунин собирался писать в Париже в середине 40-х годов и которой он так и не написал. Письмо Рейхеля напечатано в книге Пфицнера, стр. 46—48, а также в «Материалах» В. Полонского, II, стр. 91—93 (с пропуском даты и имен и с искажениями вроде «несколько» вместо «вечные»). Пфицнер в своей статье «Бакунин в Пруссии» высказывает предположение, что одною из двух брошюр была брошюра «Восстание валахов и русская интервенция» (см. № 526).

лагал перейти к очередным делам впредь до получения более точных сведений о демократическом настроении славян.

Бакунин выступил в защиту своего предложения. Во-первых речь по его словам идет не об одних чехах, а обо всех славянах. Во-вторых внутри каждой славянской нации существует подразделение на различные партии, борющиеся между собою. Так среди чехов имеется аристократическая партия, поддерживающая правительство, но есть и демократическая партия, которая вскоре выпустит свой манифест. Поэтому он, Бакунин, добивается издания манифеста к одним славянским демократам. Июньское восстание в Праге было делом рук чешской демократии и борьбою за свободу.

Великодержавно-немецкое чувство начало охватывать все более широкие слои буржуазии, в том числе и демократической. Это чувство на втором заседании 28/VI было еще подогрето речами датчанина и поляка, д-ра Малича из Львова, выступивших против исторических германских захватов. Этим дело Бакунина было испорчено в конец. На третьем заседании 3 июля выступил писатель Бертольд Ауэрбах с резкой речью, отрицавшей за чехами право на национальность, а Фридман угрожал расколом клуба в случае принятия манифеста в пользу чехов. Бакунин потерпел полное поражение. А скоро после того из клуба выделилась определенно националистическая фракция, основавшая свой собственный «клуб немецких демократов». Влияние Бакунина на бреславльских демократов утеряно было безвозвратно. Отныне их глашатаями стали Ауэрбах и Фридман.

Впоследствии Бакунин на допросе в Кенигштейне 19 сентября 1849 г. признал это свое выступление единственным публичным выступлением в Германии: «Во время моего пребывания в Германии я посетил одно только собрание демократического союза в Бреславле летом прошлого года и там произнес речь в защиту славянской расы и в опровержение провозглашенной писателем Бертольдом Ауэрбахом дилеммы между немцами и славянами, по которой между обеими расами возможна только борьба, а не объединение. Тогда победила точка зрения Ауэрбаха» (см. Пфицнер, цит. ст., стр. 263 сл.; «Материалы», II, стр. 48).

[4] В ином, разумеется, тоне Бакунин повторяет это в «Исповеди», уверяя Николая I, что если бы он захотел в июне — июле 1848 поднять славянское знамя, то все славяне Германии и Австрии как один человек сбежались бы «под широкие крылья российского орла» и разнесли бы всю Европу, что вызвало ироническую реплику царя: «не сомневаюсь, т. е. я бы стал в голову революции славянским Мазаниелло. Спасибо!».

[5] В июне 1848 в Модлине были прогнаны сквозь строй приговоренные к каторжным работам Карасиньский, Корженевский, Покашевский и Акорд (о них видимо и говорит Бакунин), а в августе в Варшаве были подвергнуты той же экзекуции за революционную пропаганду портняжные подмастерья Ян Маршанд, Конст. Калиновский, Каз. Базилевский и Каз Фиалковский. (B. Limanowski — «Studwudziestoletnia walka narodu polskiego o niepodległość». Kraków 1916, стр. 310).

[6] Виндишгрец, Альфред Фердинанд, князь (1787—1862) — австрийский генерал, сыграл в 1848 — 1849 роль спасителя австрийской монархии, в июне 1848 подавил восстание в Праге, в октябре 1848 взял Вену и разгромил венскую демократию, затем, произведенный в фельдмаршалы, обратился против венгров, но после некоторых частичных успехов был ими разбит и сошел со сцены. Убежденный сторонник аристократии и абсолютизма.

№ 529.— Эту группу отрывков можно рассматривать как наброски брошюры о положении дел в России с исторической и статистической точек зрения. В нее входят: 1) отрывок, помещенный в списке отобранных у Бакунина при аресте немецких бумаг под № 1 и находящийся на л. 227 полицейского «Дела» о Бакунине; 2) отрывок, помеченный там же № 10 и находящийся на лл. 249—256; 3) отрывок, помеченный там же № 4 и находящийся на л. 230 «Дела»; 4) отрывок, помеченный там же № 3 и находящийся на л. 229; 5) отрывок, помеченный там же № 11 и находящийся на лл. 256 — 260 «Дела».

Русский перевод их напечатан в «Материалах» и пр., т. I, стр. 7—19, в полном беспорядке. Мы даем новый перевод.

[1] Факты таких расстрелов в это время нам не удалось установить. В «За сто лет» Бурцева о них также ничего не говорится. Но так как другие указания Бакунина в его статьях и набросках, относящихся к этому периоду, обычно бывают довольно точными и свидетельствуют о хорошем знакомстве его с тогдашними политическими событиями в России, то и это его указание не может быть просто отброшено, а подлежит еще дальнейшей проверке.

[2] В. Полонский на стр. 18 первого тома своих «Материалов» и пр. выпускает взятые Бакуниным в скобки цифры, которые явно содержат указание на книгу, из которой он позаимствовал слово «миазмы». Поиски В. Полонского были облегчены упоминанием Бакунина о немецком аристократе-путешественнике. В. Полонский мог бы догадаться, что речь идет о Гакстгаузене и его известной книге «Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands», 3 тома. Hannover 1847 и Berlin 1852. А если бы он раскрыл второй том этой книги, то на странице 129, как правильно указывает Бакунин, прочел бы следующее место: «Почти все профессора держат пансионеров, и студенты находятся под строгим присмотром и тщательным наблюдением. Никаких признаков известного быта немецкого студенчества, дуэлей и т. п. здесь не заметно. И тем поразительнее проявляющийся повсюду, где он считает себя свободным от наблюдения и контроля, политический образ мыслей, по большей части самого разрушительного свойства, а между тем литература состоит под строгим надзором, а от профессоров во время лекций они никогда не слышат ни малейшего намека на подобные учения и мнения. Это — миазмы! На прежний слабый надзор гувернеров и гувернанток, которые ежегодно приезжали в Россию, падает главная вина за то, что в недра всех семейств проникли эти учения, а затем позднейшие заговоры при царе Александре I по традиции передали их молодежи. Эти учения пользуются широким распространением среди всех студентов и даже в гимназиях и семинариях, но преимущественно в военных училищах (Kadettenhäusern), педагогических институтах столиц, а также среди штатской и военной молодежи, особенно молодых офицеров гвардии» (цит. соч., стр. 129—130).

№ 530. — Отобрано у Реккеля при его аресте 7 мая 1849. Оригинал вероятно находится в саксонских архивах. Во второй части русского «Дела» о Бакунине имеется копия этого (и последующего) документа. Оттуда мы и заимствовали его, когда впервые опубликовали его на русском языке в первом томе нашей книги о Бакунине (1-е изд., стр. 267). Оно опубликовано также в «Материалах» и пр., т. I, стр. 87.

[1] Сабина, Карл (1811—1877) — чешский писатель и политический деятель; изучал (но не кончил) право в Праге и Вене; карьеру журналиста начал в 1838 в Вене, но полицейские преследования заставили его из этого города уехать; вернулся в Прагу, где работал в ряде журналов и газет. В 1848 принимал активное участие в событиях, примыкая к крайнему демократическому крылу, руководимому Э. Арнольдом. В апреле перенял от К. Гавличка редактирование газеты «Česka Včela». После июньских беспорядков в Праге был арестован и просидел 16 недель. С начала 1849 редактировал «Noviny Slovanské Lipy». В мае 1849 арестован с рядом других лиц, принимавших участие в подготовлении демократического восстания в Чехии, и по процессу Бакунина приговорен военным судом к смертной казни, замененной ему каторжными работами на 18 лет. Просидел в тюрьме до 1857, когда по общей амнистии был освобожден. Вернувшись в Прагу, развил необычайно активную литературную деятельность. Нуждаясь в средствах, стал тайным полицейским агентом-осведомителем; был разоблачен в 1872.

[2] Арнольд, Эммануил (1801—1869) — чешский публицист и политический деятель демократического направления; чешский и славянский патриот, издатель книг для народа; с 1846 был два года членом тайного

политического общества «Рипиль»; в 1847 заключен в тюрьму за резкий памфлет против иезуитов; в тюрьме написал популярную историю гусситского движения для народа. Принял активное участие в революции 1848. С конца 1848 начал издавать популярный демократический журнал «Občanské Noviny», предназначенный для масс. Обратил на себя внимание Бакунина, который постарался привлечь его к своему плану одновременного демократического восстания в Чехии, Польше и Германии. 10 мая 1849 заговор был раскрыт, и Прага объявлена на осадном положении. Арнольд бежал в Лейпциг, но был там арестован и выдан Австрии. В 1854 военный суд приговорил его к смерти, замененной ему 20-летним заключением. Просидел в тюрьме до 1857, затем был амнистирован вместе с другими. В 1861 вернулся в Чехию, но уже старый, замученный, не способный не только к политической деятельности, но и вообще к труду.

[3] Реккель, Карл Август (1814—1876) — саксонский политический деятель, по профессии музыкант, дирижер и композитор. Сын певца, сопровождал его в поездках по Европе, присутствовал в Париже при революции 1830, познакомился со многими французскими политическими деятелями, затем с демократическими эмигрантами разных национальностей, в том числе с поляками, и проникся революционными идеями. В 1832 вернулся в Германию; в 1843 приглашен в дрезденскую оперу; здесь сблизился с Р. Вагнером, поклонником музыки которого сделался. В 1848 принял активное участие в революции; издал «Открытое письмо к солдатам», за что был арестован, но выпущен под залог в 10.000 талеров, внесенных за него адвокатом Минквицем. После того с августа 1848 года по апрель 1849 г. издавал еженедельные «Народные Листки» («Volksblätter»). С Бакуниным познакомился в начале марта 1849 через Л. Виттига и сблизился с ним, так как разделял его взгляды на необходимость соглашения славянских и немецких демократов для победы революции. Находился под влиянием Бакунина, который одно время проживал у него на квартире, откуда вел свои конспирации (здесь он познакомился и с Р. Вагнером). Статьи о России в издававшихся им «Народных Листках» написаны под влиянием Бакунина. В конце апреля 1849 после роспуска саксонской палаты Реккель, опасаясь ареста по делу о воззвании к солдатам, решил съездить в Прагу, куда Бакунин дал ему поручения к своим чешским друзьям. В частности данное письмо адресовано было влиятельным демократическим журналистам д-ру Сабине и Э. Арнольду. Письмо это, равно как и записку, печатаемую нами под № 531, Реккель не отдал, а только показал в Праге и оставил их у себя, почему они и были найдены у него при аресте. Оставался в Праге до 5 мая, но, узнав о восстании в Дрездене, вернулся туда. Позже Реккель судился вместе с Бакуниным и был приговорен к смерной казни, которая была затем заменена ему пожизненным заключением. Отсидел в каторжной тюрьме 12 лет (дольше всех других) и был освобожден лишь в 1862. После освобождения занялся исключительно литературной деятельностью. С 1863 редактировал «Реформу» во Франкфурте-на-Майне, в 1866 переехал в Мюнхен, а вскоре взял на себя редактирование «Малой Прессы» в Вене. Здесь в 1875 его разбил паралич, после чего он уже не мог оправиться. Умер 18 VI 1876 в Будапеште у сына. Его воспоминания August Röckel — «Aus dem Grabe eines 48-er Revolutionärs» и более полно «Sachsens Erhebung und das Zuchthaus zu Waldheim», 2 изд., Франкфурт-на-Майне 1865 См. также Р. Вагнера — «Mein Leben» («Моя жизнь»), том I и II, и их тюремную переписку: «Briefe an August Röckel von Richard Wagner. Eingeführt durch la Mara», 2 изд., Лейпциг 1903.

[4] Речь идет о бароне Байере, бывшем австрийском офицере, принявшем затем участие в венгерском восстании; он был тяжело ранен в бою, выехал за границу Австрии и поселился в Дрездене, где сделался представителем графа Телеки (посла Кошута при французском правительстве) и занимался вербовкою офицеров для венгерской революционной армии. Здесь с ним и познакомился Бакунин, пытавшийся через него связаться с Телеки и Кошутом.

[5] Виттиг, Людвиг (род. 1815) — по образованию кандидат богословия; саксонский журналист, историк и политический деятель радикального направления. Познакомился с Бакуниным в 1842 г. в Дрездене. В 1848 г. был одним из редакторов демократической «Дрезденской Газеты», в которой сотрудничал и Бакунин. Сблизился с Бакуниным и попал под его влияние, разделяя его взгляды на необходимость соглашения демократов немецких, славянских и венгерских для перехода к решительным действиям. Предоставил Бакунину свою и редакционную квартиры для явки. После поражения дрезденского восстания участвовал в баденском восстании, а затем бежал за границу, где написал ряд исторических книг. В Германию вернулся в 1863 году. Умер в 70-х годах.

[6] Гельтман (Heltman), Виктор (1796—1878) — польский революционер; будучи студентом Варшавского университета, основал в 1819 тайный союз «вольных поляков»; арестован и в. кн. Константином отдан в солдаты; во время революции 1831 дезертировал и присоединился к польской армии, где и прослужил до конца кампании; в эмиграции примкнул к «Польскому Демократическому Обществу» и в 1836 избран в первый состав «Централизации», где играл руководящую роль. Бакунин познакомился с ним еще в Париже до своего выступления на польском банкете 1847. В 1848 Гельтман был послан в Краков, а краковскими и познанскими поляками назначен их представителем в Национальном Совете во Львове. По объявлении осадного положения в Галиции Гельтман уехал в марте 1849 в Париж, откуда послан был в Дрезден для политического руководства деятельностью польских демократов и согласования ее с деятельностью других демократов. Здесь застигло его майское восстание, во время которого он играл активную роль по обороне города. Из Дрездена ему удалось уйти, после чего он был одним из комиссаров при баденском революционном правительстве. После подавления баденской революции Гельтман некоторое время скрывался в окрестностях Страсбурга, но, высланный французским правительством, уехал в Брюссель, где и оставался до смерти.

Крыжановский, Александр — польский революционер, эмигрант. В 1847 г. проживал в Брюсселе, где и познакомился с Бакуниным. Принадлежал к «Польскому Демократическому Товариществу», был в 1848—49 гг. командирован Централизациею вместе с Гельтманом в Центральную Европу для использования революционных событий в интересах освобождения Польши. Сотрудник Гельтмана по делу демократической пропаганды в Галиции с апреля 1848 г., с конца 1848 г. участвовал в работах львовского «Национального Совета» (Rada Narodowa). Ими подготовлялось осенью 1848 г. в Галиции восстание, которое в тесном сотрудничестве с венграми должно было нанести смертельный удар Австрии и угрожать России. Но весною 1849 г. им пришлось оставить Галицию вследствие полицейских преследований. В марте они были уже в Париже, откуда скоро были двинуты в Германию с указанными выше заданиями. Вместе с Гельтманом участвовал в дрезденском восстании, после чего бежал и принял участие в южногерманском революционном выступлении.

№ 531. — Отобрано у Реккеля при аресте в мае 1849. Оригинал вероятно находится в саксонских архивах. Копия имеется во второй части русского полицейского «Дела» о Бакунине. Опубликовано по-русски в «Материалах», т. I, стр. 88.

Адресовано И. Фричу и братьям Адольфу и Густаву Страка, участникам бакунинских революционных конспираций в Чехии. Подпись вероятно означает условную кличку Бакунина в созданной им в Богемии революционной организации. В саксонской следственной комиссии на вопрос, почему он так подписался на записке, Бакунин ответил: «Сделал я это потому, что один из господ, которым была адресована эта записка, не выносил моего имени Михаил, а потому в шутку называл меня Максимилианом». Бакунин не хотел выдавать ни существования тайной организации, ни ее отдельных членов и до конца отрицал в Саксонии знакомство с И. Фричем (который между прочим дал «откровенные показания»).

[1] Фрич, Иосиф Вацлав, — см. комментарий к № 500[3].

[2] Страка, Адольф (? — 1872) — чешский революционер; учился в Лейпциге теологии, когда в 1848 познакомился с Бакуниным и быстро подпал под его влияние. Бакунин убедил его в необходимости союза демократов всех наций для борьбы с реакцией и сделал его своим агентом по организации революционных сил в Чехии. Страка ездил по его поручению в Чехию и там вел пропаганду в пользу плана Бакунина. Он привлек на сторону последнего Э. Арнольда и К. Сабину. В 1849 переехал в Прагу для подготовки задуманного Бакуниным демократического восстания. После раскрытия заговора и объявления в Праге осадного положения Страка уехал в Лейпциг. Австрийский военный суд заочно приговорил его к смерти. Страка уехал в Лондон, где жил уроками. С 1861 принял английское подданство.

Страка, Густав — брат предыдущего, вместе с ним принимал участие в революционном движении и также привлекался к суду по делу Бакунина. Об его участи нам не удалось собрать более подробных сведений.

№ 532. — Это письмо заимствовано нами из книги д-ра Вацлава Чейхана «Bakunin v Cechách» («Бакунин в Богемии»), Прага 1928 стр. 64—65. Здесь оно приведено на чешском языке, но оригинал написан был (не рукою Бакунина) наверное по-немецки. Содержание письма стало известно из показаний братьев Страка; оно приводится в протоколах допросов Бакунина в австрийской следственной комиссии (вопрос 150; «Материалы», том II, стр. 460). Бакунин, не оспаривая, что такое письмо могло быть по его поручению послано в Прагу, но и не припоминая этого факта, высказал предположение, что писал его А. Крыжановский; однако это совершенно невероятно. Сам Бакунин в «Исповеди» сообщает, что он не посвящал Гельтмана и Крыжановского в свои чешские дела. Впервые и единственный раз Бакунин упоминает здесь о Крыжановском в связи с своими чешскими конспирациями, к каковым Крыжановский вряд ли имел какое-либо отношение (если не считать обещания поляков прислать своих офицеров в случае начала революции в Богемии). Да и по тону и содержанию письма видно, что писал или диктовал его Бакунин, который один только мог давать братьям Страка такие указания. Отрицал же он свое авторство видимо потому, что в письме содержится прямой призыв к учинению революции, чего он в данный момент не хотел признать перед австрийскою комиссией. Во всяком случае он решительно отрицал то мнение, что думал поддержать дрезденское восстание пражским, наоборот «скорее я полагал, что дрезденское восстание должно быть использовано для восстания в Богемии. Доказательством этого может служить то, что когда Гельтман и Крыжановский отказывались принять активное участие в дрезденском восстании, так как они считали его безнадежным делом, я обратил их внимание на то, как необходимо для польского дела восстание в Богемии с точки зрения ожидаемого действия этого восстания на ход дел в Венгрии; для восстания же в Богемии саксонское восстание целесообразно».

Письмо это могло быть написано не ранее 4 мая, так как в нем говорится о бегстве короля и провозглашении Временного правительства. Вероятно оно и написано под свежим впечатлением этих событий, т. е. в самый день 4 мая 1849 г. после посещения Бакуниным дрезденской ратуши.

№ 533. — Напечатано по-немецки в Лейпциге летом 1849 в издательстве Генриха Маттэса под заглавием «Russische Zustände. Ein Bild aus der Jetztzeit» («Русские дела. Картина современного положения»). В объявлении о выходе этой брошюры, помещенном в «Дрезденской Газете» от 4 августа 1849 (это кстати наводит на мысль, что брошюра вышла в начале августа), сказано, что она «вышла из-под пера известного русского». Не совсем удовлетворительный русский перевод этой брошюры напечатан в № 9/10 «Летописей Марксизма» за 1929, причем Б. Николаевский в предисловии сообщает, что перевод сделан с экземпляра Дармштадтской библиотеки, на котором имеется пометка «Второе издание», что

экземпляров этого второго издания существует 5—6, но что первого издания ему в Германии отыскать не удалось, так что он даже сомневается вообще в его существовании (последнее по-нашему неубедительно, ибо по указанию самого же Б. Николаевского в книжных словарях первое издание зарегистрировано). Мы даем свой перевод с имеющейся в Институте Маркса, Энгельса и Ленина фототипии этой брошюры.

Слухи о том, что Бакунин написал в 1848—1849 какую-то брошюру о России, ходили уже давно. Первое более или менее точное указание на эту брошюру в русской литературе появилось в «Сочинениях» А. И. Герцена, редактор которых М. Лемке напечатал в комментариях к т. XIV (стр. 59) следующую выдержку из письма Гервега к Герцену от весны 1850: «Наконец знаешь ли, что автор брошюры «Russische Zustände» — Бакунин? Некий д-р Виттиг из Дрездена (у Лемке по ошибке поставлено «Виллих» вместо «Виттиг». — *Ю. С.*), живущий здесь, поправил ее слог... Бакунин... вот как несправедливы бывают к друзьям!». Б. Николаевский в своей интересной статье «Взгляды М. А. Бакунина на положение дел в России в 1849 г. (Забытая брошюра Бакунина)», напечатанной в той же книжке «Летописей Марксизма» (№ IX—X за 1929), собрал довольно много свидетельств в пользу принадлежности этой брошюры Бакунину. Основные из этих доказательств мы и приведем.

Евгений Освальд, баденский демократ и писатель, в своей статье «Этюды о России», напечатанной в томах VII и VIII парижского журнала «La Liberté de penser» за 1851, упоминая о брошюре «Русские дела», определенно заявляет, что автором ее является «наш благородный и несчастный» Бакунин. По словам Б. Николаевского Освальд мог узнать об этом от Ф. Каппа, приятеля Герцена. Но в таком случае выходило бы, что заявление Освальда представляет простое повторение сообщения Гервега и само по себе никакой доказательной силы не имеет. Но Б. Николаевский напоминает, что с другой стороны Освальд был связан с Э. Кейлем, тем самым, который издал по-немецки бакунинское «Воззвание к славянам» (первое); а так как Кейль в те времена был близок к демократам, Бакуниным интересовался, проживал тогда в Лейпциге, то он несомненно мог знать автора брошюры и сообщить о нем Освальду.

Бакунин в своих показаниях перед саксонской следственной комиссией заявил, что с начала своего пребывания в Лейпциге, т. е. с января 1849, он начал готовить сочинение о политическом положении России (см. «Красный Архив», № 27, стр. 163). Отрывки и наброски этого сочинения мы привели выше под №№ 526, 528 и 529 (возможно и даже наверно существовали и другие, но они до нас пока не дошли). Но в апреле 1849 ввиду частично уже начавшейся и подготовлявшейся в более массовом размере русской интервенции в Венгрии Бакунин счел нужным пойти навстречу тому жгучему интересу, с которым европейская демократия взирала на страшную и темную восточную державу, и дал ряд статей на тему о внутреннем положении русского царства, книгу о котором он не успел к тому времени написать. Эта серия статей о России была помещена в «Дрезденской Газете», с которою Бакунин был вообще связан, которая служила для него даже явочною квартирою по политическим конспирациям и с редактором которой Л. Виттигом он был тогда особенно близок [24]. Этому Виттигу Бакунин, не бывший естественно в состоянии сам хорошо писать для печати по-немецки, диктовал свои статьи, а тот записывал их правильным литературным немецким языком (как мы знаем, таким же образом Бакуниным была составлена статья о коммунизме, помещенная нами выше под № 475) *.

---

* В книге «Bakuninstudien», стр. 117, проф. Пфицнер приводит показание лейпцигского студента Шанца, данное им на допросе 6 декабря 1850 года и имеющееся в копии в пражском военном архиве в деле против братьев Страка. Со слов другого лейпцигского студента Тиме он заявил, что «Бакунин продиктовал редактору «Дрезденской Газеты» Виттигу несколько статей о России, которые появились в «Дрезденской Газете» при-

Вот эти статьи, составившие серию, впоследствии вошедшую в брошюру «Русские дела»: 1) «Войско» в №№ 86 и 87 газеты от 11 и 12 апреля 1849; 2) «Народ» в №№ 88 и 89 от 13 и 14 апреля; 3) «Дворянство» в № 92 от 18 апреля того же года. Все эти три статьи в неизмененном виде вошли в брошюру, причем к ним были прибавлены: а) конец статьи о дворянстве и новая глава о церкви и духовенстве, чиновничестве и финансах. В газете эти статьи помечены тем самым значком, каким помечены другие неподписанные статьи Виттига, почему Б. Николаевский и допускает, что «в действительности статьи не были написаны самим Бакуниным непосредственно, а записаны Л. Виттигом с его, Бакунина, рассказов или по его же черновым наброскам... Если... это верно, то именно здесь следует искать и объяснения многих шероховатостей в изложении нашей брошюры, а также и некоторых вкравшихся в нее ошибок, которые сам Бакунин сделать не мог: работа над статьями очевидно протекала наспех, совсем по-газетному — в период, когда Бакунин был занят казавшимися ему значительно более важными свиданиями и переговорами, не оставлявшими времени для просмотра и тщательного выправления сделанной Виттигом записи».

О том, что своими статьями Бакунин стремился рассеять страх европейских и преимущественно немецких демократов перед грозною силою российского деспотизма, видно также из статьи венского революционера Фердинанда Кюрнбергера, участника дрезденского восстания, одно время сидевшего вместе с Бакуниным в дрезденской тюрьме. В этой статье, озаглавленной «Русский Бакунин» и напечатанной в №№ 406—407 гамбургской газеты «Norddeutsche Freie Presse» от 17 и 18 июня 1850, рассказывается, что немецкая демократия была весною 1849 подавлена страхом перед русским нашествием, что она пала духом при мысли о возможности русской интервенции, тогда как реакция напротив крепчала и смелела при этой мысли; тогда-то «Бакунин сделал попытку, поскольку это было в его силах, заклясть злого волшебника, освободить немецкую грудь от невидимого призрачного гнета. Именно с этой точки зрения и должна быть рассматриваема та серия статей о русском военном деле, которую Бакунин опубликовал в начале 1849 г. в «Дрезденской Газете» и в которой он в качестве признанного знатока в ярком свете обрисовал всю внутреннюю бессодержательность и моральное ничтожество кажущейся столь страшною солдатской силы России».

Мы имеем наконец свидетельство самого д-ра Виттига, лица наиболее компетентного в этом вопросе. В 1874 Л. Виттиг выпустил в Цюрихе книгу «Ein Jahrhundert der Revolution» («Столетие революции»), в первом томе которой на стр. 281—284 в главе, посвященной характеристике общественных отношений России 40-х годов, он цитирует упомянутую брошюру, причем все цитаты из нее заключает в кавычки, как бы подчеркивая, что это — работа другого автора. Брошюру Виттиг ни разу не называет, но обширные выдержки из нее приводит буквально, причем заявляет, что в своем изложении он опирается на «сообщения известного русского агитатора Мих. Бакунина», высказывавшего эти мысли в 1849 году.

Таким образом приходится признать, что если данная брошюра и не написана непосредственно М. Бакуниным, то он является ее главным, если не единственным автором. Роль Виттига, не знавшего русских условий и во всех отношениях стоявшего ниже Бакунина, могла сводиться только к правке стиля и в крайнем случае к некоторой ретушовке статей в смысле приспособления их к пониманию немецкого читателя. Но вернее всего, что не было и этого, и что Виттиг ограничился добросовестным переводом

мерно в марте 1849 г. и помечены были корреспондентским значком С.». Выходит, что среди демократической публики авторство Бакунина не составляло тогда секрета.

Наконец в конце статьи Герцена «М. Бакунин» («Сочинения» Герцена, том VI, стр. 485) ясно сказано, что брошюра «Русские дела» принадлежит Бакунину.

и литературным приспособлением того, что диктовал ему на плохом немецком языке Бакунин. В пользу этой мысли говорит и то отмечаемое Б. Николаевским обстоятельство, что написанная Бакуниным в 1850 в Кенигштейнской крепости оправдательная записка, которая будет напечатана нами в следующем томе настоящего издания, местами буквально совпадает с содержанием брошюры. Мы же с своей стороны укажем, что отдельные мысли брошюры явно совпадают с другими аналогичными высказываниями Бакунина того периода, как-то: его статьями во французской прессе 1845—1846, его речью на польском банкете 1847, письмами 1843—1849, двумя воззваниями к славянам, найденными при аресте, его бумагами, «Исповедью» и пр. Брошюра, как правильно указывает Б. Николаевский, ценна еще в том отношении, что, являясь документом нетюремного происхождения, а следовательно будучи свободна от вынужденного притворства или умолчания, позволяет (в совокупности с другими документами) судить о тогдашних взглядах Бакунина, в частности о его взглядах на Россию.

[1] Тургенев, Николай Иванович (1789—1871) — русский писатель и общественный деятель. Будучи убежденным противником крепостного права, критику которого он дал в своем «Опыте теории налогов» (1819), Тургенев в конце того же года составил для Александра I записку, в которой высказывался за постепенное освобождение крестьян. С 1819 был активным участником «Союза Благоденствия», а после восстания декабристов был заочно приговорен к смертной казни за прикосновенность к событиям 14 декабря 1825. Поселился во Франции. Здесь издал известный труд «Россия и русские» (на франц.) в 3 томах (1847). Бакунин познакомился с ним в 1844 в Париже и относился к этому патриарху русской политической эмиграции с большим уважением. В те времена еще не были известны всеподданнейшие прошения Н. Тургенева, раскрытые после 1917 года.

В упомянутой книге Н. Тургенева «Россия и русские» и рассказан приводимый Бакуниным эпизод.

[2] Речь идет о манифесте 26 марта 1848, изданном Николаем I по получении известий о революции и содержавшем угрозы по адресу либеральной Европы. В этом манифесте заявлялось о готовности самодержавия противостать врагам, где бы они ни явились, и т. п. Во всей Европе этот манифест был воспринят как прямая угроза российскою вооруженною интервенциею, и министру ин. дел Нессельроде пришлось успокаивать взволнованную европейскую буржуазию.

[3] Конарский, Симон (1808—1839) — польский революционер и патриот, участник революции 1830—1831, затем эмигрант, примыкавший к демократической и активной части польской эмиграции, участвовал в савойском походе итальянского генерала Раморино, был сторонником идеи славянского единения, по поручению демократической эмиграции нелегально поехал в русскую Польшу, где с 1835 по 1838 создал революционную организацию, подготовлявшую восстание. Был арестован и приговорен военным судом к смертной казни, которой подвергся 27 февраля 1839 в Вильно.

Во время заключения Конарского в виленской тюрьме штабс-капитан Кузьмин-Караваев оказывал ему помощь в сношениях с волей. Позже, когда Кузьмин-Караваев сам был арестован, группа офицеров Эстляндского егерского полка сошлась с политическими заключенными и помогала им и Караваеву. Все они были арестованы и преданы суду. Точно участь их неизвестна, но, как говорили, они были приговорены к тяжелым наказаниям, а сам Караваев приговорен к расстрелу; был ли он действительно казнен или сослан в каторжные работы, не установлено. У Бурцева в «За сто лет» (часть II, стр. 26) сказано: «Русские Караваев, Огонь-Догановский, прапорщик Барквиц, Герасимов, француз де Люсине (а не Демосене, как сказано у Бурцева. — *Ю. С.*), замешанные в деле Конарского, объявлены сумасшедшими и сосланы на Кавказ и в Сибирь». Не знаем, было ли так в действительности, но такую меру предлагал применить к аре-

стованным офицерам ген.-ад. Отрощенко в своей «Записке о последователях Конарского» (напечатана в «Русском Архиве» 1869, стр. 1207 сл.). По словам этой записки в дело содействия Кузьмину-Караваеву и арестованным полякам были замешаны прапорщики де Люсине (парижский уроженец) и Герасимов, поручик Шеневский, прапорщик Барквиц и поручик Огонь-Догановский. А. М. Топильской в заметке «Несколько слов о событиях в Вильне после казни эмиссара Конарского», прибавляя к выше названным офицерам подпоручика Литвинова, глухо сообщает, что «офицеры эти были подвергнуты заслуженному наказанию» («Русский Архив» 1870, стр. 1194). О потворстве русских офицеров, арестованных в связи с делом Конарского, говорит и Н. Берг в своих «Записках о польских заговорах и восстаниях после 1831 года» (в «Русском Архиве» 1870, стр. 256, и в отдельном издании).

[4] Тугендбунд, Союз Добродетели — тайная политическая организация молодежи в Германии в первые десятилетия XIX в., преследовавшая патриотические и либеральные цели. Во время заграничных походов русских армий в борьбе с Наполеоном у русских офицеров, впоследствии примкнувших к движению декабристов, установились некоторые связи с этим и подобными тайными обществами оппозиционного характера.

[5] Воронцов, Михаил Семенович, князь (1782—1856) — русский генерал и государственный деятель; в 1814, после занятия союзниками Парижа, был назначен командиром отдельного корпуса, оставленного во Франции; эта оккупация продолжалась три года. Впоследствии управлял Новороссийским краем, а еще позже был наместником на Кавказе.

[6] Бакунин имеет в виду восстание польских демократов в Кракове 1846.

[7] То же самое о склонности русских солдат к дезертирству говорится во 2-м отрывке набросков брошюры о русских делах из числа отобранных у Бакунина при аресте (см. выше № 529).

[8] Картельная конвенция (Kartelvertrag или Kartelconvention) — возобновленный 20 мая 1844 г. после некоторого перерыва договор между Россией и Пруссией о взаимной выдаче дезертиров, уголовных преступников и т. д. В период подписания договора прусское правительство упорно утверждало, что договор не распространяется на лиц, преследуемых за политические преступления, но фактически дело обстояло иначе; общий для всей Германии циркуляр об аресте Бакунина, изданный 24 мая 1844 года, несомненно стоит в связи с этой конвенцией; опираясь на нее же, прусское правительство производило и все выдачи эмигрантов-поляков и т. д. Именно этим объясняется ожесточенная кампания против этого договора, которую вела вся либеральная и демократическая печать в предреволюционные годы. В марте 1848 г., тотчас же после революции, договор этот был фактически отменен, о чем были сделаны даже официальные сообщения, но уже в 1849 году он был восстановлен, и снова едва-ли не первый случай его применения был направлен против политического деятеля: в июле 1849 г. в силу этого договора был выдан русским властям Фейнберг, участник берлинского студенческого легиона и один из участников нападения на арсенал в июне 1848 г.; он умер в Сибири на каторге (прим. Б. Николаевского).

[9] Это место показывает, что уже первые русские революционеры, в том числе и декабристы, видели в раскольниках и особенно сектантах революционную и оппозиционную царизму силу. Факт, на который ссылается Бакунин, действительно имел место.

[10] Факты, на которых Бакунин основывает это утверждение о переговорах «демократической дворянской партии» с Наполеоном, неизвестны. Но известно, что в России тогда были элементы, сочувствовавшие Наполеону как представителю принципов революции и ждавшие от его похода на Россию освобождения крестьян и возможно других вольностей. Этот вопрос в нашей исторической литературе мало освещен.

[11] Эта старинная легенда о рогатом попе излагается и В. Короленко в первом томе «Записок современника»: она характерна для того возбуж-

денного настроения, какое царило среди крестьян в годы, предшествовавшие падению крепостного права.

[12] Аналогичною легендою впоследствии воспользовалось правительство в борьбе с революционерами (во время петербургских пожаров 1862).

[13] Лагарп, Фридрих Цезарь (1754—1838) — швейцарский политический деятель, либерал; принужденный покинуть отечество, сделался наставником двух внуков Екатерины II, Александра и Константина Павловичей (из них первый позже стал императором всероссийским). Согласно исторической легенде его влиянием объясняется относительный либерализм его питомца Александра I в первые годы его царствования. Впоследствии Лагарп принужден был оставить Россию и уехал во Францию, откуда продолжал вести борьбу с своими швейцарскими противниками.

[14] Речь идет о подавлении восстания декабристов в Петербурге 14 декабря и восстания Черниговского полка в конце декабря 1825 года.

[15] Это место важно как в смысле объяснения Бакуниным увлечения русской молодежи немецкою философией в 30-х и 40-х годах XIX века, так и в смысле оценки им этого увлечения в годы политической зрелости.

[16] Бёрне, Карл Людвиг (1786—1837) — немецкий критик и публицист, представитель «Молодой Германии», радикального направления. Революция 1830 года во Франции, особенно ярко вскрывшая в его глазах убожество немецкой жизни, придала его статьям крайне страстный характер беспощадного обличения всех мерзостей тогдашней германской обыденщины, пруссачества, дворянского господства, полицейской монархии, религиозного ханжества и т. п. Отчасти напоминает нашего Писарева, но отличается большею дозою общественного элемента в своих писаниях.

[17] Это указание Бакунина заслуживает внимания историков нашего народничества. Судя по ним, мысль о движении в народ существовала уже в 40-е годы.

[18] Конечно Бакунин, прекрасно знавший, что среди русского монашества никаких орденов не существует, не мог сделать такой ошибки. В ней несомненно виноват Виттиг, что-то здесь неправильно понявший и записавший. Базилианский орден был единственным из допущенных в России католических орденов, и о нем Бакунин упоминал в своей статье о преследовании католицизма в России, напечатанной в парижском «Конституционалисте» в 1846 (см. выше № 486 и комментарий к нему 486 [3]).

[19] Иннокентий, в мире Борисов, Иван Алексеевич (1800—1857) — архиепископ херсонский; в 1823 окончил киевскую духовную академию, ректором которой был с 1830 г., среди русских монахов выделялся образованностью и сравнительным свободомыслием. Как правильно замечает Б. Николаевский, в литературе до 1848—1849 имя его было мало известно, и то обстоятельство, что Бакунин о нем знал, равно как знал о столкновении Филарета с обер-прокурором синода, показывает, что он весьма внимательно следил за событиями русской жизни.

[20] Филарет, в мире Василий Михайлович Дроздов (1782—1867) — с 1826 митрополит московский, идеолог реакции, защитник самодержавия, сословности, крепостного права, телесных наказаний и т. п., один из виднейших столпов православной церковщины и обскурантизма. Столкновение между Филаретом и обер-прокурором св. синода произошло в 1848—1849 по вопросу о пределах компетенции церковных иерархов и поставленного для надзора за ними «ока царева». Николай естественно стал на сторону своего обер-прокурора, и Филарету из синода пришлось уйти.

[21] Бенкендорф, Александр Христофорович (1783—1844) — русский генерал из немцев, участвовал в походах против Наполеона, был личным другом Николая I, доносчик на неблагонадежных, участвовал в подавлении восстания декабристов, был после учреждения особого корпуса жандармов назначен первым его шефом и начальником III Отделения собственной е. и. в. канцелярии. Возглавив политическую полицию, повел истребительную кампанию против российского вольномыслия. Душитель русской литературы и виновник гибели А. С. Пушкина. С 1832 граф.

[22] Перовский, Лев Алексеевич, граф (1792—1856) — русский государственный деятель; в молодости был членом тайного общества «Союз Благоденствия», но вышел из него; в чине полковника оставил военную службу для перехода в администрацию. С 1841 по 1852 был министром внутренних дел, затем уделов, а позже управляющим императорским кабинетом и директором Академии художеств.

[23] Кокошкин, Сергей Александрович (1785—1861) — петербургский обер-полицеймейстер при Николае I, пользовавшийся его доверием и на этом основании поставивший систему взяточничества на недосягаемую высоту. Художественный портрет его оставил Герцен в конце первого тома «Былого и Дум».

[24] «Dresdener Zeitung» («Дрезденская Газета») была органом саксонской демократической партии и одною из лучших демократических газет Германии в 1848. Начала выходить с 1 октября 1848. Основана она была юристом Минквицем, издавалась комитетом дрезденских «отечественных союзов», а редакторами ее были Герман Линдеман и Людвиг Виттиг — первый более спокойный и уравновешенный, второй более пылкий, живой, блестящий полемист, придававший газете боевой тон. Просуществовала до 1850 года, когда под давлением наступившей реакции принуждена была прекратиться. Характерно, что в большой истории германской прессы Саломона, где говорится о всяких мелких реакционных листках, об этой влиятельной демократической газете не упоминается ни одним словом: сервилизм германской буржуазной литературы превосходит все вероятия. Сведения об этой газете приходится почерпать из случайных указаний в отдельных статьях и брошюрах того времени (см. например интересную брошюру *B. Hirschel* «Sachsens jüngste Vergangenheit». Freiberg 1849, где на стр. 62 сл. содержится характеристика газеты и ее сотрудников и где вообще дана характеристика тогдашних политических партий Саксонии). Много номеров ее имеется и в Москве (в Институте Маркса, Энгельса и Ленина, где мы ими пользовались).

Связь Бакунина с газетою установилась через редактора ее Л. Виттига, которого он знал еще с 1842 г. Сначала газета занимала в славянском вопросе хотя и демократическую, но несколько великодержавную немецкую позицию, но постепенно точки зрения ее и Бакунина на славянский вопрос сблизились, так как по существу она стояла на позиции права наций на самоопределение. А вскоре в области славянского вопроса газета стала почти органом Бакунина, который в этом отношении начал играть в ее редакции решающую роль.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Цифры, набранные черным, указывают страницу, на которой сообщаются биографические сведения о данном лице.

В

Г

Д

Е

С

Я

ОГЛАВЛЕНИЕ

НЕ
КОПИРОВАТЬ!